СЕРИЯ «НЕИЗВЕСТНЫЙ ФЕНИМОР КУПЕР»

ФЕНИМОР КУПЕР

ДОЛИНА ВИШ-ТОН-ВИШ

Annotation

Время и место действия романа — последняя четверть XVTI века, Северо-Американский континент.

История трех поколений семейства Хиткоутов — не просто ожесточенная борьба за право найти свое счастье на земле новой родины. Это — в миниатюре — история противостояния англоязычных поселенцев и коренных жителей штатов Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд, писавшаяся очень часто кровью; история, полная — в силу трагического переплетения судеб героев — неожиданностей и загадок, держащих читателя, как это обычно и бывает у Купера, в неослабевающем напряжении вплоть до заключительных глав романа.

- Джеймс Фенимор Купер
  -
  - ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1829 г.2
  - ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1833 г.22
  - ГЛАВА I
  - ГЛАВА II
  - ГЛАВА III
  - ГЛАВА IV
  - ГЛАВА V
  - ГЛАВА VI
  - ГЛАВА VII
  - ГЛАВА VIII
  - ГЛАВА IX
  - ГЛАВА X
  - ГЛАВА XI
  - ГЛАВА XII
  - ГЛАВА XIII
  - ГЛАВА XIV

- ГЛАВА XV
- ГЛАВА XVI
- ГЛАВА XVII
- ГЛАВА XIX
- ГЛАВА XX
- ГЛАВА XXI
- ГЛАВА XXII
- ГЛАВА XXIII
- ГЛАВА XXIV
- ГЛАВА XXV
- ГЛАВА XXVI
- ГЛАВА XXVII
- ГЛАВА XXVIII
- ГЛАВА XXIX
- ГЛАВА XXX
- ГЛАВА XXXI
- ГЛАВА XXXII
- У ИСТОКОВ АМЕРИКИ: ИДИЛЛИЯ ИЛИ ТРАГЕДИЯ?
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПОВЕСТВОВАНИЕ О ПЛЕНЕНИИ И ИЗБАВЛЕНИИ МИССИС МЭРИ РОУЛАНДСОН133
- Вашингтон Ирвинг. ФИЛИП ИЗ ПОКАНОКЕТА
- АПОЛОГИЯ КОРОЛЯ ФИЛИПА, произнесенная в Одеоне (Федерал-стрит, Бостон) преподобным Уильямом Эйпсом242, индейцем, 8 января 1836 года

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9

- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45

- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81

- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117

- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153

- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189

- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225

- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261

- 262
- 263
- 264
- 265
- 266

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

Джеймс Фенимор Купер
Долина Виш-Тон-Виш

*Преподобному Дж. Р. К.[1] из ***, штат Пенсильвания*

Любезность и бескорыстие, с которыми вы снабдили меня материалами для нижеследующего рассказа, заслуживают публично выраженной признательности. Однако, поскольку ваше нежелание предстать перед светом накладывает ограничения, пусть подобное доказательство благодарности дойдет до вас в том виде, какой допускает ваш собственный запрет.

Хотя в ранней истории тех, кому вы обязаны своим бытием, имеется множество поразительных и чрезвычайно интересных событий, все же в этой стране есть сотни других семей, чьи традиции, пусть и не столь точно и скрупулезно сохраненные, как небольшая повесть, представленная вами на мое рассмотрение, могли бы также дать материал для множества волнующих рассказов. У вас есть все основания гордиться своей родословной, ибо, разумеется, если кто и имеет право заявить о себе как о гражданине и владельце собственности в Штатах, так это тот, кто, подобно вам, может указать на предков, чье происхождение теряется во мраке времени. Вы истинный американец. В ваших глазах мы, насчитывающие едва одно или два столетия, должны представляться не более как иностранцами, которым совсем недавно даровано право на жительство. Пусть же и впредь вам сопутствуют мир и счастье в стране, где издавна процветали ваши предки, — таково искреннее пожелание обязанного вам друга.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1829 г.[2]

На таком далеком расстоянии, когда рассказ о традициях индейцев воспринимается с интересом, обычно проявляемым к событиям, затерянным во мраке времени, нелегко передать живое изображение опасностей и лишений, подстерегавших наших предков при обустройстве страны, в коей мы наслаждаемся нынешним состоянием безопасности и изобилия. Скромной целью повести, предлагаемой вам на последующих страницах, является желание увековечить память о некоторых обычаях и событиях, присущих ранним дням нашей истории.

Общий характер войны, которую вели аборигены, слишком хорошо известен, чтобы требовались какие-либо предварительные замечания, но, может быть, имеет смысл на несколько минут привлечь внимание читателя к главным обстоятельствам истории той эпохи, которые как-то связаны с основным содержанием этой легенды.

Территорию, ныне составляющую три штата — Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд, как говорят наши наиболее сведущие историки, прежде занимали четыре больших индейских народности, которые, как обычно, делились на бесчисленные зависимые племена. Из этих народностей массачусеты[3] владели обширной частью страны, ныне образующей штат того же названия; вампаноа[4] обитали там, где когда-то находилась колония Плимут и в северных округах Плантаций Провиденс[5]; наррагансеты[6] владели хорошо известными островами в прекрасном заливе, получившем свое название от этого народа[7],

расположенными южнее графствами Плантаций, а пикеты[8], или, как обычно пишется и произносится, пикоды, хозяйничали в обширной области, лежавшей вдоль западных границ трех других округов.

О политическом устройстве индейцев, которые обычно занимали земли, лежащие близ океана, мало что известно.

Европейцы, привыкшие к деспотическому правлению, естественно, полагали, что вожди, обладавшие властью, были монархами, к которым власть переходила по праву рождения. Поэтому они именовали их королями.

Насколько это мнение насчет правления у аборигенов было верным, остается под вопросом, хотя, конечно, есть основание считать его менее ошибочным в отношении племен штатов Атлантического побережья, чем тех, что позднее были обнаружены дальше к западу, где, по достаточно достоверным сведениям, существуют институты, приближающиеся скорее к республикам, нежели к монархиям. Однако редко случалось, чтобы сын, пользуясь преимуществами своего положения, наследовал власть отца благодаря влиянию, если законы, установленные племенем, не признавали притязаний на наследование. Каков бы ни был принцип передачи власти, опыт наших предков с определенностью доказывает, что в очень многих случаях в сыне видели того, кто займет место, прежде принадлежавшее отцу, и что в большинстве чрезвычайных ситуаций, в которые народ так часто попадал не по своей воле, эта власть была столь же скоротечной, сколь и всеохватывающей.

Имя Ункас[9] стало, подобно цезарям и фараонам, своего рода синонимом слова «вождь» благодаря могиканам[10], одному из племен пикодов, среди которых под этим именем были известны несколько

предводителей, правивших один за другим. Знаменитый Метаком, более знакомый белым как Король Филипп[11], определенно был сыном Массасойта[12], сахема[13] вампаноа, которого эмигранты застали у власти, когда высадились у Плимутской скалы[14]. Миантонимо[15], отважному, но злополучному сопернику тех Ункасов, правивших всем народом пикодов, наследовал его не менее героический и предприимчивый сын Конанчет, и даже в гораздо более позднее время мы находим примеры такой передачи власти, которая дает весомые основания думать, что порядок преемственности основывался на прямом кровном родстве.

В ранних летописях нашей истории нет недостатка в трогательных и благородных примерах героизма дикарей. Виргиния имеет свою легенду о могучем Поухатане[16] и его великодушной дочери Покахонтас[17], которой отплатили неблагодарностью. А хроники Новой Англии полны смелых замыслов и отважных предприятий Миантонимо, Метакома и Конанчета. Все упомянутые воины показали себя достойными лучшей участи, найдя смерть в ратном деле при таких обстоятельствах, что, живи они в более прогрессивном обществе, их имена были бы вписаны в число самых достойных людей своего времени.

Первой серьезной войной, которую пережили поселенцы Новой Англии, была борьба с пикодами. Этот народ был покорен после жестокого столкновения; и все, кто не был убит или сослан в далекое рабство, из врагов рады были превратиться в пособников своих завоевателей. Сей конфликт произошел менее чем через двадцать лет после того, как пуритане отправились искать убежище в Америке.

Есть основания думать, что Метаком провидел судьбу своего народа в незавидной судьбе пикодов.

Хотя его отец и был самым первым и верным другом белых, вполне возможно, что отчасти эта дружба с пуританами была порождена вынужденной необходимостью. Нам рассказывали, что незадолго до прибытия эмигрантов среди вампаноа свирепствовала ужасная болезнь и что это опустошительное бедствие страшным образом сократило их численность. Некоторые авторы намекали на вероятность того, что этой болезнью была желтая лихорадка, вспышки которой, как известно, бывают через неопределенные и, по-видимому, очень длительные промежутки времени. Какова бы ни была причина этого губительного бедствия, считается, что его последствия побудили Массасойта укрепить союз с народом, который мог защитить его от нападений давних и менее пострадавших врагов. Но, как представляется, сын смотрел на возрастающее влияние белых более ревнивым оком, чем его отец. Зарю своей жизни он провел, вынашивая великий план истребления чужеземной расы, и последующие годы потратил в тщетных попытках претворить в жизнь эти смелые замыслы. Его неутомимая деятельность по сколачиванию конфедерации против англичан, его жестокая и беспощадная манера ведения войны, его поражение и смерть слишком хорошо известны, чтобы нуждаться в повторном описании.

Кроме того, существует неписаный и романтический интерес к темной истории некоего француза той поры. Говорят, что этот человек был офицером большого чина на службе своего короля и принадлежал к привилегированному классу, который в то время монополизировал высокие должности и доходы Французского королевства. Традиция и даже письменные анналы первого столетия нашего владения Америкой связывают графа дю Кюстина[18] с иезуитами,

которые, как полагают, намеревались обратить дикарей в христианство наряду с желанием скорее учредить светское господство над их душами. Трудно, однако, сказать, отвращение ли, религия, политика или необходимость побудили этого дворянина покинуть салоны Парижа пади диких берегов Пенобскота[19]. Известно только, что он провел большую часть жизни на этой реке в примитивном Аорте, который в те времена называли дворцом, имел много *ж* ен многочисленное потомство и обладал большим влиянием на множество племен, обитавших по соседству. Полагают также, что он был посредником, поставлявшим дикарям, настроенным враждебно к англичанам, амуницию и оружие более смертоносное, чем то, которое они до того употребляли в своих войнах. Какова бы ни была степень его участия в планах истребления пуритан, смерть избавила его от содействия последней попытке Метакома.

На этих страницах часто упоминаются наррагансеты. За несколько лет до того времени, к которому относится начало этого рассказа, Миантонимо вел беспощадную войну против Ункаса, вождя пикодов, или могикан. Судьба благоприятствовала последнему, тем более что его цивилизованные союзники, видимо, помогли ему не только одолеть своего врага, но и преуспеть в пленении его самого. Вождь наррагансетов погиб при содействии белых на месте, которое ныне известно под названием «Равнины сахема».

Остается только пролить немного света на главные события войны Короля Филипа. Первый удар был нанесен в июне 1675 года, спустя более полувека после того, как англичане впервые высадились в Новой Англии, и ровно за сто лет до того, как пролилась кровь в конфликте, отделившем колонии от метрополии[20]. Полем битвы явилось поселение близ знаменитой горы

Надежды в Род-Айленде[21], где Метаком и его отец долгое время проводили свои Советы. Из этого пункта кровопролитие и резня распространились вдоль всей границы Новой Англии. Были набраны конные и пешие отряды, чтобы встретить врага; предавались огню города, и жизни отнимались с обеих сторон, мало или вовсе не считаясь с возрастом, положением или полом.

Ни в одном столкновении с туземными хозяевами земли растущая сила белых не подвергалась столь большому испытанию, как в знаменитом конфликте с королем Филипом. Почтенный коннектикутский историк оценивает число убитых почти в одну десятую от общего числа участников сражений и в том же соотношении — разрушенные жилища и другие постройки. Каждая одиннадцатая семья по всей Новой Англии стала погорельцами. Поскольку колонисты, жившие возле самого берега океана, были избавлены от опасности, то из этого расчета можно составить представление о мере риска и страданий тех, кто оказался в более уязвимом положении. Индейцы не избежали возмездия. Основные из упомянутых племен были истреблены до такой степени, что впоследствии не могли уже оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления белым, которые с тех пор превратили их древние охотничьи земли в жилища цивилизованного человека. Метаком, Миантонимо и Конанчет со своими воинами стали героями песен и легенд, а потомки тех, кто опустошил их владения и уничтожил их род, отдают запоздалую дань высокой отваге и дикарскому величию их характеров.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1833 г.[22]

За последнее время об индейцах Северной Америки написано так много, что для погружения читателя в обстоятельства и обстановку этой истории долгих пояснений не требуется. Главные действующие лица из числа аборигенов — исторические; и пусть ситуации вымышлены, они столь близки к происшествиям достоверным, что способны дать весьма верное представление о взглядах, привычках и чувствах того рода людей, которых мы сочли уместным именовать дикарями. Метаком или, как его прозвали англичане, Король Филип, Ункас, Конанчет, Миантонимо и Аннавон — все они были индейскими вождями высокого ранга, чьи имена глубоко связаны с историей Новой Англии. Имя Ункаса, в частности, принадлежало, вероятно, целому роду в племени могикан, поскольку его носило несколько сагаморов; позже оно обнаруживается среди их потомков, в сочетании с обычными именами, полученными при крещении, такими как Джон, Генри, Томас и т. д., и обычно почитается за родовое имя.

Метаком или Филип, возникающий на этих страницах в облике злейшего врага белых людей, в конце концов пал на войне, которая была им же развязана. То был самый внушительный спор, в который когда-либо англичане вступали с коренными обитателями страны; и настал момент, когда спор этот сделался серьезной преградой на пути колонизации. Позднее поражение и смерть Филипа позволили белым людям сохранить свои владения в Новой Англии. Преуспей же он в объединении усилий всех враждебных племен, которых конечно же тайно

поддержали бы французы обеих Канад и голландцы Новых Нидерландов, осуществление его обширных и благородных планов стало бы делом куда более реальным, нежели нам то представляется ныне.

Мы считаем, что в отражении способов ведения и самого накала индейской войны, предложенных читателю, не содержится никаких преувеличений. Предания, знакомые всему западному пограничью Соединенных Штатов, подлинные и печатные истории, повествующие об опасностях и борьбе первых поселенцев, и все известные нам обстоятельства служат подтверждением всего, что мы попытались здесь описать.

Можно видеть, что в этом произведении автор чуть отступил от обычного стиля романного повествования, поскольку целью его было воссоздать скорее близкий ему эпос, нежели обычное произведение в прозе. Толчком для этого эксперимента послужило общение с литераторами Европы, а стиль оказался, быть может, больше подвластным переводу, нежели воплощению на том языке, на котором книга была написана. Результат можно было предвидеть — ведь полагают, будто повесть эта добилась большего признания за рубежом, нежели дома.

Труд этот был первоначально напечатан там, где и написан — в Италии, и рабочие, нанятые для этого, были совершенно незнакомы с английским языком. Так много опечаток обнаруживается в книгах, напечатанных при самых благоприятных условиях, что автору поверят, если он отнесет множество таковых, содержащихся в оригинальном издании, за счет упомянутых фактов. Особенно пострадала пунктуация, зачастую столь сильно, что исчезает смысл, и во множестве случаев слова одного звучания подменены сходными, имеющими иной смысл. В нынешнем издании мы позаботились исправить эти погрешности, и

надеемся, что, по меньшей мере в этом отношении, книга выиграла. Мы избавились от некоторых утомительных повторов; временами подвергся изменению смысл — надеемся, к лучшему; были добавлены пояснения, способные помочь европейскому читателю в понимании аллюзий и эпизодов этой книги. В прочих отношениях рассказ остается таким же, как он был первоначально задуман и написан.

Лондон Сентябрь 1833 г.

ГЛАВА I

Готов отдать я руку, но не веру.
Шекспир

Сведения о событиях этой повести следует искать в отдаленном прошлом летописей Америки. Колония самоотверженных и благочестивых беженцев, спасаясь от религиозного преследования, высадилась на Плимутском утесе менее чем за полвека до того времени, когда начинается этот рассказ. Они и их потомки уже превратили множество обширных диких пустошей в радующие глаз поля и жизнерадостные поселения. Трудолюбие эмигрантов ограничивалось главным образом прибрежной местностью, создававшей благодаря своей близости к водам, плещущим между нею и Европой, подобие связи со страной их праотцев и далекими очагами цивилизации. Но предприимчивость и желание отыскать еще более плодородные области, наряду с искушением, в которое ввергали обширные и незнакомые земли, лежавшие вдоль их западных и северных границ, побуждали многих отважных искателей приключений проникать глубже в леса. Место, куда мы хотим перенести воображение читателя, представляло собой одно из поселений, которое уместно назвать обителью утерянных надежд на пути шествия цивилизации по стране.

Так мало было тогда известно об огромных размерах Американского континента, что, когда лорды Сэй и Сил да Брук[23] с немногими сподвижниками получили дарственную на территорию, образующую ныне штат Коннектикут, король Англии поставил свое имя на патенте, сделавшем их владельцами местности, простиравшейся от берегов Атлантики до берегов

Южного океана[24]. Несмотря на явную безнадежность попытки когда-нибудь подчинить, а тем более захватить территорию, подобную этой, эмигранты из первоначальной колонии Массачусетс на протяжении пятнадцати лет со дня, когда они впервые ступили на тот самый хорошо известный утес, были готовы начать этот геркулесов труд. Вскоре возникли форт Сэй-Брук, города Виндзор, Хартфорд и Нью-Хейвен, и с того времени по сию пору родившаяся тогда маленькая община непрерывно, спокойно и благополучно преуспевала в своей жизни, будучи примером порядка и разума, став ульем, из которого рои прилежных, выносливых и просвещенных фермеров распространились по столь обширной площади, что создавалось впечатление, будто они все еще жаждут овладеть огромными пространствами, дарованными им в самом начале.

Среди истово верующих, которых преследования давно погнали в добровольную ссылку в колонии, многочисленнее обычной была доля людей с характером и образованием. Люди отчаянные и жизнерадостные, младшие сыновья, солдаты не при деле и студенты судебных корпораций заранее искали успеха и приключений в южных провинциях, где наличие рабов исключало необходимость трудиться и где война при более смелой и активной политике чаще порождала эпизоды, волнующие кровь и позволяющие проявить способности, лучше всего отвечавшие их привычкам и предпочтениям. Люди более суровые и религиозно настроенные находили прибежище в колониях Новой Англии. Именно туда множество частных джентльменов переправили свои состояния и свои семьи, придав этой части страны облик образованности и более высокого нравственного

уровня, которые она достойно поддерживала вплоть до настоящего времени.

Характер гражданских войн в Англии завербовал в ряды военных мужчин с глубоким и искренним чувством благочестия. Некоторые из них отбыли в колонии до того, как смута на их родине достигла своего апогея, а остальные продолжали прибывать в течение всего периода этой смуты до самой Реставрации[25], когда толпы тех, кто был настроен враждебно к дому Стюартов[26], стали искать безопасность в этих далеких владениях.

Суровый и фанатичный солдат по имени Хиткоут был одним из первых среди себе подобных, отбросивших меч ради орудий ремесла, обеспечивающего успех во вновь осваиваемой местности. Насколько влияние молодой жены могло сказаться на его решении — вопрос неуместный при рассмотрении нашей темы, хотя записки, откуда извлечены вещи, о которых мы намерены рассказать, дают основание подозревать, что, как он полагал, его семейная гармония не будет менее прочной среди дикой природы, нежели среди сотоварищей, с коими он, естественно, общался в силу своих прежних связей.

Подобно ему самому, его супруга родилась в одной из тех семей, которые, беря начало в среде свободных земледельцев времен Эдуардов и Генрихов[27], стали владельцами наследственных земельных поместий и благодаря их постепенно возраставшей стоимости поднялись до положения мелких сельских джентльменов. В большинстве других наций Европы они были бы зачислены в класс petite noblesse[28]. Но семейное счастье капитана Хиткоута было омрачено фатальным ударом с той стороны, откуда обстоятельства не давали ему оснований предполагать опасность.

В тот самый день, когда он высадился в долгожданном убежище, жена сделала его отцом чудесного мальчика — подарок, который она оплатила печальной ценой собственной жизни. Будучи на двадцать лет старше жены, разделившей его судьбу в этих отдаленных местах, отставной солдат всегда считал в совершенном и безусловном порядке вещей, что первым должен будет заплатить долг природе. Поскольку капитан Хиткоут рисовал себе картины будущего достаточно живо и отчетливо, есть основание думать, что он видел его как довольно долгую перспективу спокойного и комфортного наслаждения жизнью. Хотя несчастье добавило серьезности его характеру, и без того более чем сдержанному в силу влияния изощренных сектантских догматов, он не был натурой, которую какие бы то ни было превратности судьбы могли лишить мужества. Он продолжал жить с пользой для себя и не отказываясь от своих привычек, являя пример силы духа на пути мудрости и смелости для ближайших соседей, среди которых жил, но по своему нраву и настроению, омраченным загубленным счастьем, не расположенный занять хотя бы скромное положение в общественных делах, на что по сравнительному благополучию и предыдущим привычкам мог претендовать.

Он дал своему сыну такое воспитание, какое позволили его собственные возможности и условия жизни детской части колонии Массачусетс. А из своего рода обманчивого благочестия, в достоинства которого у нас нет желания вдаваться, он считал, что, кроме того, дал похвальное доказательство собственной безграничной покорности воле Провидения, пожелав прилюдно окрестить сына именем Контент[29]. Его собственное имя, данное при крещении, было Марк, как и у большинства его предков на протяжении двух или

трех веков. Когда суетные мысли чересчур одолевали его, что подчас случается с самыми скромными душами, то слыхивали даже, как он рассказывал о некоем сэре Марке из его семьи, который был конным рыцарем в свите одного из самых воинственных королей его родной страны.

Имеются некоторые основания верить, что великий прародитель зла давно глядел недобрым оком на образцы миролюбия и непреклонной нравственности, которые колонисты Новой Англии насаждали среди остальных христиан. Во всяком случае, откуда ни возьмись, в среде самих эмигрантов возникли разногласия в толковании религиозной доктрины. И вскоре можно было видеть, как люди, вместе покинувшие домашние очаги предков в поисках религиозного мира, обособляли свои судьбы, чтобы каждый мог без помех предаться вере в той форме, какую имел самонадеянность, не меньше, чем безумия, считать необходимой, дабы снискать милость всемогущего и милосердного Отца Вселенной. Если бы наша задача касалась богословия, то здесь можно было бы вставить не без некоторой пользы целую нравственную проповедь насчет тщеславия и в не меньшей степени глупости этих людей.

Когда Марк Хиткоут объявил общине, в которой прожил более двадцати лет, что намеревается вторично воздвигнуть свои алтари среди дикой природы в надежде, что там он и его домашние смогут славить Господа наилучшим, как им кажется, образом, это известие было воспринято с чувством благоговейного страха. Доктрина и религиозное рвение были на время забыты из уважения и привязанности, бессознательно возникших под совместным влиянием непреклонной суровости его облика и неоспоримых добродетелей его образа жизни. Старейшины поселения беседовали с ним откровенно и сочувственно, но голос примирения и

духовного единения прозвучал слишком поздно. Он выслушал доводы слуг Божьих, собравшихся из всех прилегающих приходов, с угрюмым уважением и присоединился к молитвам о просветлении и научении, возносившимся по этому случаю, с глубоким почтением, с каким всегда припадал к подножию Всемогущего. Но он делал то и другое с настроением, проникнутым слишком сильной духовной гордыней, чтобы его сердце открылось навстречу этому сочувствию и любви, которые, будучи присущи нашим мягким и снисходительным догматам, должны бы быть заботой тех, кто призывает следовать своим наставлениям. Все, что было пристойно, и все, что было привычно, было сделано. Но намерение упрямого сектанта осталось неизменным. Его окончательное решение достойно того, чтобы привести его здесь.

— Моя юность была растрачена в безбожии и невежестве, — заявил он, — но в свои зрелые годы я познал Господа. Почти сорок лет я не покладая рук искал истину, и все это тяжкое время провел, подливая масло в свои светильники, чтобы не быть захваченным врасплох, подобно глупым девственницам. А теперь, когда я препоясал свои чресла и моя жизнь близка к закату, стану ли я вероотступником и лжесвидетелем Слова? Я многое претерпел, как вы знаете, покинув суетные владения моих отцов и столкнувшись с опасностями океана и суши во имя веры. И чем продолжать владеть наследием предков, я еще раз с радостью посвящу себя голосам дикой природы, досугу, потомству и, если будет на то воля Провидения, самой жизни!

День расставания был днем неподдельной и всеобщей печали. Несмотря на замкнутость старика и почти непреклонную суровость лица, его угрюмая натура нередко источала струйки добросердечия в поступках, не допускавших неверного истолкования.

Едва ли нашелся хоть один юноша, делающий первые шаги в кропотливом и неблагодарном труде земледельца в поселении, где он жил, округе, никогда не считавшемся ни доходным, ни плодородным, кто не мог бы припомнить неведомую доброжелательную помощь, исходившую от руки, которая окружающему миру казалась сжатой в кулак во имя осмотрительной и запасливой бережливости. Никто из единоверцев по соседству с ним не вверял своей судьбы узам супружества, не получив от него свидетельства заинтересованности в их земном счастье, что для них означало нечто большее, чем просто слова. В то утро, когда фургоны, громыхая домашней утварью Марка Хиткоута, покинули порог его дома и направились в сторону океана, ни один взрослый человек на много миль от его жилища не захотел лишить себя интересного зрелища. Расставанию, как обычно во всех серьезных случаях, предшествовали гимн и молитва, а затем сурово настроенный искатель приключений расцеловался со своими соседями с выражением, в котором сдержанный внешний вид причудливо боролся с чувствами, не раз угрожавшими прорваться даже сквозь непреодолимые барьеры усвоенной им манеры поведения. Жители каждого придорожного дома вышли на улицу, чтобы получить и вернуть прощальное благословение. Не раз те, кто правил его упряжками, получали приказ остановиться, и всех ближних, обладающих свойственными людям желаниями и ответственностью, призывали вознести молитвы за него, отъезжающего, и за тех, кто остается. Прошения о земных благах были несколько легковесными и торопливыми, зато обращения, касавшиеся умственного и духовного света, были долгими, ревностными и часто повторяемыми. Вот таким характерным образом один из первых эмигрантов в Новый Свет совершил свое второе

переселение в край новых физических страданий, лишений и опасностей.

Ни человек, ни имущество не перемещались с места на место в этой стране в середине семнадцатого века с быстротой и удобствами нынешнего времени. Дороги поневоле были малочисленными и короткими, а сообщение по воде — нерегулярным, медленным и далеким от удобства. Поскольку между той частью Массачусетского залива, откуда Марк Хиткоут эмигрировал, и местом близ реки Коннектикут[30], куда он намеревался отправиться, лежал широкий лесной массив, он был вынужден избрать второй способ передвижения. Однако прошло немало времени с момента, когда он начал свое короткое путешествие к побережью, и тем часом, когда наконец смог погрузиться на судно. Во время этой задержки он и его домашние пребывали среди благочестиво мыслящих обитателей узкого полуострова, где уже существовал прообраз цветущего поселения и где ныне шпили благородного и живописного города возносятся над многими тысячами крыш.

Сын не покинул колонию и места своей юности с тем же неколебимым послушанием зову долга, как его отец. В недавно основанном городе Бостоне[31] жило прекрасное, юное и благородное существо, по возрасту, положению, суждениям, обстоятельствам и, что еще важнее, по сродству душ сходное с ним самим. Облик этой девушки давно слился с теми святыми образами, которые суровое воспитание учило его держать наиболее близко перед зеркалом своих мыслей. Поэтому неудивительно, что юноша приветствовал задержку, отвечавшую его желаниям, и воспользовался ею так, как ему столь естественно подсказывало чистое чувство. Он соединился с благородной Руфью Хардинг

всего за неделю до того, как его отец отплыл в свое второе паломничество.

В наше намерение не входит останавливаться на перипетиях путешествия. Хотя гений человека необыкновенного открыл мир, который теперь начинал заселяться цивилизованными людьми, навигация в те дни не блистала достоинствами. Проход среди мелей Нантакета[32] бывал, должно быть, сопряжен с настоящей опасностью не менее, чем со страхом. Да и плавание вверх по самому Коннектикуту было подвигом, достойным упоминания. В должное время отважные путники добрались до английского форта Хартфорд, где задержались на целый год, чтобы обрести покой и душевный комфорт. Однако характер доктрины, которой Марк Хиткоут придавал столь большое значение, пробуждал в нем желание еще более удалиться от человеческого жилья. В сопровождении немногих спутников он продолжил исследовательскую экспедицию, и конец лета застал его на этот раз обосновавшимся в поместье, которое он приобрел с помощью обычных простых формальностей, практиковавшихся в колониях, и за пустяковую цену, за которую тогда обширные округа отчуждались как собственность отдельных лиц.

Любовь к вещам, связанным с этой жизнью, если такая любовь действительно существовала, была далеко не преобладающей в чувствах Пуританина. Он был бережлив больше по привычке и из принципа, чем из неподобающей жажды мирского богатства. Поэтому он довольствовался приобретением усадьбы, которая была бы ценна скорее своим качеством и красотой, нежели размерами. Много таких мест предлагалось между поселениями Уэзерсфилд и Хартфорд и той воображаемой линией, что отделяла владения колонии, которую он покинул, от владений той, к которой он

присоединился. Он устроил себе местожительство, как это именуется на языке данной страны, близ северной границы колонии. Эту территорию, благодаря затратам, которые можно считать расточительными для данной местности в ту эпоху, наличию остатков вкуса, который даже самоотречение и скромные привычки его позднейшей жизни не вполне подавили, и большой природной красоте сочетания земли, воды и леса, эмигрант ухитрился превратить в желанное жилище не только в качестве убежища от мирских искушений, но и по причине его деревенского очарования.

После этого памятного акта самоотречения минули годы покоя среди своего рода равнодушного благополучия. Слухи из Старого Света достигали ушей хозяев этого отдаленного селения спустя месяцы после того, как события, которых они касались, в других местах бывали уже забыты, а про мятежи и войны в родственных колониях они узнавали с опозданием — лишь через длительные промежутки времени. Между тем границы колониальных хозяйств постепенно расширялись и долины начинали расчищаться все ближе и ближе к их собственной. Преклонный возраст стал уже накладывать кое-какие зримые отпечатки на железный костяк капитана, а свежий цвет молодости и здоровья, с которым его сын вступил в лес, начал уступать смуглому налету от пребывания на воздухе и тяжелого труда. Мы говорим о тяжелом труде, ибо, независимо от привычек и мнений округи, строго осуждавшей праздность, даже среди тех, кого фортуна одарила больше других, ежедневные трудности их положения, охота и долгие и непростые походы в окружающий лес, отваживаться на которые бывал вынужден и сам ветеран, существенно подтверждают смысл слов, использованных нами.

Руфь продолжала расцветать и оставаться полной юных сил, хотя вскоре материнское беспокойство

добавилось к прочим причинам ее забот. Тем не менее долгое время не случалось ничего, что возбудило бы чрезмерные сожаления о шаге, предпринятом ими, или вызвало особую тревогу по поводу будущего. Жители пограничной полосы, ибо именно таковыми, по правде говоря, они стали благодаря своему положению на границе, слышали невероятные и ужасные известия о свержении одного короля[33], о междуцарствии[34], как называют правление, превосходящее обычное по мощи и преуспеванию, и о восстановлении на престоле сына того, кого достаточно странным образом прозвали мучеником[35]. Всем этим богатым событиям и непривычным превратностям королевских судеб Марк Хиткоут внимал с глубокой и почтительной покорностью воле Того, в чьих глазах короны и скипетры являются просто более дорогими безделушками мира сего. Подобно большинству современников, искавших убежище на западном континенте, его политические суждения хотя и не были в полной мере республиканскими, но склонялись в пользу свободы, в сильной степени противостоявшей доктрине божественных прав монарха, хотя он был слишком далек от бурных страстей, постепенно побуждавших тех, кто был ближе к трону, терять уважение к их святости и запятнать их блеск кровью.

Когда проезжие и участвовавшие в политической борьбе посетители, через долгие промежутки времени навещавшие его селение, говорили о Протекторе[36], который так много лет железной рукой правил Англией, в глазах старика загорался проблеск внезапного и особого интереса, а однажды, высказываясь после вечерней молитвы по поводу суетности и превратностей сей жизни, он признался, что необыкновенный человек, по существу, если не формально, занимавший трон Плантагенетов[37], был добрым приятелем и нечестивым

собутыльником многих часов его молодости. Засим последовала длинная и исполненная благоразумия импровизированная проповедь насчет тщеты обращения чувств на вещи обыденной жизни и высказанная полунамеками, но тем не менее доходчивая похвала более мудрому пути, который вразумил его воздвигнуть свою собственную обитель в этой глуши вместо того, чтобы умерить шансы на вечное блаженство слишком сильным стремлением к обладанию обманчивой суетой мира.

Но даже кроткая и обычно малонаблюдательная Руфь могла уловить огонек в глазах, нахмуренный лоб и румянец на его бледных и изрезанных морщинами щеках, если кровавые конфликты гражданских войн становились темой разговоров старых солдат. Бывали минуты, в которые религиозное смирение и, мы готовы сказать, религиозные заповеди частично предавались забвению, когда он объяснял своему внемлющему сыну и прислушивающемуся внуку, в чем суть наступления либо как правильно и достойно отступать. В такие минуты его все еще сильная рука даже хваталась за клинок, чтобы показать, как им пользоваться, и много долгих зимних вечеров проходило в косвенном обучении искусству, которое столь сильно расходилось с заповедями его божественного Учителя. Однако раскаявшийся солдат никогда не забывал заключить свой урок обычной молитвой о том, чтобы никто из его потомков не отдал жизнь, будучи не готов умереть, исключая справедливую защиту своей веры, своей личности или своих законных прав. Следует добавить, что либеральная система оговоренных случаев освобождения от запретов оставляла достаточно места для хитроумных уловок любого лица, дабы оправдать чрезмерное пристрастие к оружию.

Однако в их глуши и при их мирных нравах представлялось мало возможностей для практического

применения теории, которой посвящалось столько уроков. Индейские тревоги, как их именовали, не были редкостью, но до сих пор они вызывали не более чем страх в груди кроткой Руфи и ее юного отпрыска. Правда, они слыхали об убитых путниках и семьях, разлученных путем захвата пленников, но то ли благодаря счастливой судьбе, то ли большей, чем обычно, осторожности поселенцев, обосновавшихся вдоль самой границы, нож и томагавк пока что мало пускались в ход в Коннектикутской колонии. Нависшая и опасная война с голландцами в соседней провинции Новые Нидерланды была предотвращена благодаря дальновидности и сдержанности управляющих новыми поселениями; и хотя воинственный и могущественный туземный вождь держал соседние колонии Массачусетс и Род-Айленд в состоянии постоянной бдительности, по причине, уже упоминавшейся, осознание опасности было сильно ослаблено в сердцах людей, живших в таком отдалении, как те, кто составлял семью нашего эмигранта.

Так спокойно текли годы, меж тем как окружающая дикая природа медленно отступала от жилища Хиткоутов, пока они не оказались обладателями стольких жизненных удобств, сколько могла им дать полная оторванность от остального мира.

С этими предварительными пояснениями мы отсылаем читателя к последующему рассказу, рассчитанному на более продолжительное время, и надеемся на больший интерес к изложению событий легенды, которая может показаться слишком непритязательной для вкуса тех, чье воображение ищет сцен более волнующих или условий жизни менее естественных.

ГЛАВА II

Сэр, по всему тому,
Что знаю я о вас, я вам доверю
Существенную тайну.
«Король Лир»[38]

В то самое время, когда начинается действие нашего рассказа, подходил к концу чудесный и плодоносный сезон сбора урожая. Сенокос и уборка второстепенных злаков давно завершились, и младший Хиткоут с работниками провел день, лишая роскошную кукурузу верхушек с целью запасти питательные стебли на корм, дав доступ солнцу и воздуху, чтобы дозрело зерно, которое считается едва ли не основной продукцией местности, где он жил. Ветеран Марк разъезжал верхом среди работников во время их дневного труда столько же для того, чтобы порадоваться зрелищу, обещающему изобилие его отарам и стадам, сколько и ради того, чтобы произнести при случае какое-нибудь полезное духовное нравоучение, содержавшее гораздо больше изощренных умствований, нежели практических наставлений. Наемные работники его сына — ибо старый Марк давно уже передал управление поместьем Контенту — были все без исключения молодыми людьми, родившимися в этой стране, где многолетняя привычка и постоянное повторение приучили их сопровождать большинство житейских занятий религиозными упражнениями.

Поэтому они слушали с почтением, и даже самый легкомысленный из них не позволял себе безжалостной улыбки или нетерпеливого взгляда во время этих проповедей, хотя поучения старика были не очень

краткими и не слишком оригинальными. Но преданность великому делу их жизни, строгие нравы и неослабное трудолюбие во имя поддержания пламени рвения, зажженного в другом полушарии, чтобы дольше и ярче гореть в этом, сплелись в упомянутой повседневности и в большинстве суждений и радостей этих резонерствующих, пусть и простоватых людей. Тяжелая работа шла веселее под дополнительный аккомпанемент, и сам Контент не без примеси суеверия, похоже, сопутствующего чрезмерному религиозному рвению, поддался мысли, что солнце светит на его работников ярче и что земля дает плодов больше, когда эти святые чувства изливают уста отца, которого он почтительно любил и глубоко уважал.

Но когда солнце, как обычно в это время года для климата Коннектикута, склонилось ярким, ничем не замутненным шаром, к вершинам деревьев, ограничивавших горизонт с запада, старик стал уставать от собственных добрых дел. Поэтому он завершил свою речь полезным напоминанием молодежи доделать работу, прежде чем покинуть поле, и, дав направление лошади, медленно поехал с задумчивым видом в сторону жилья. Можно предположить, что некоторое время мысли Марка были заняты умственными вещами, о коих он только что рассуждал с таким усердием; но когда его лошадка остановилась сама по себе на пересечении небольшой возвышенности с кривой коровьей тропой, по которой он следовал, его ум обратился к более мирским и более осязаемым предметам. Поскольку картина, обратившая его размышления от столь многих отвлеченных теорий к реальностям жизни, была характерна для этой страны и более или менее связана с сюжетом нашей повести, мы постараемся вкратце описать ее.

Небольшой приток Коннектикута разделял панораму на две почти равные части. Плодородные

низины, раскинувшиеся по обоим берегам более чем на милю, давно уже были очищены от лесных зарослей и ныне превратились в тихие луга или поля, с которых недавно было убрано зерно и на которых плуг уже оставил приметы свежей вспашки. Вся равнина, постепенно поднимавшаяся от речушки к лесу, была поделена на огороженные участки бесчисленными заборами, сделанными в грубой, но прочной манере этой страны. Изгороди, при сооружении которых мало считались с бережливым отношением к дереву, шли зигзагообразными рядами, подобно апрошам[39], возводимым осаждающими при осторожном продвижении к вражеской крепости, впритык друг к другу, пока не образовывали преграды высотой в семь-восемь футов[40] для защиты от вторжения непослушного скота. В одном месте большая квадратная прогалина врезалась в лес, и хотя бесчисленные пни чернели на ее поверхности, как, по правде говоря, и на многих полях равнины, яркие зеленые злаки буйно и обильно прорастали из богатой и девственной почвы.

Высоко со стороны прилегающего холма, который мог бы сойти и за небольшую скалистую гору, произошло схожее вторжение в царство деревьев, но то ли каприз, то ли расчет побудили покинуть расчищенное место после того, как оно плохо вознаградило тяжкий труд по рубке леса ради разового урожая. На этом месте можно было видеть беспорядочно разбросанные окольцованные и потому мертвые деревья, груды бревен, черные и обугленные пни, уродовавшие красоту поля, которое в противном случае изумляло бы своим расположением глубоко в лесу.

Большая часть площади этой вырубки ныне тоже была скрыта кустарником, что называется второй порослью, хотя здесь и там проглядывали участки, где

пышный белый клевер, естественный для этой страны, захватил огороженное пастбище для скота. Глаза Марка изучающе обратились на эту вырубку, отстоявшую, если провести прямую линию по воздуху, на полмили от места, где остановилась его лошадь, ибо звуки дюжины разнотонных коровьих колокольчиков доносились в тихом вечернем воздухе до его ушей из чащи кустарника.

Однако несомненные свидетельства цивилизации на природной возвышенности и вокруг нее возникли на самом берегу потока так стремительно, что придали местности облик дела рук человеческих. Существовали ли эти взгорья некогда на лице земли повсеместно, исчезнув задолго до вспашки и возделывания, мы гадать не станем. Но у нас есть основание полагать, что они гораздо чаще встречаются в определенных частях нашей страны, чем в любой другой, хорошо знакомой обычным путешественникам, если только речь не идет о какой-нибудь долине Швейцарии. Опытный ветеран выбрал вершину этого плоского конуса, чтобы устроить тот род военной обороны, который делали целесообразным и привычным ситуация в стране и характер противника, коего надлежало остерегаться.

Дом был деревянный, из обычного сруба, обшитый дранкой. Он был длинный, низкий и неправильной формы, свидетельствуя, что воздвигался в разное время по мере того, как нужды растущей семьи требовали дополнительного обустройства. Стоял он на краю естественного склона и на той стороне холма, где его подножие омывала речушка. Грубо сколоченная терраса тянулась вдоль всего фасада, нависая над потоком. Несколько больших неуклюжих и топорно сработанных дымовых труб торчали в разных местах кровли — еще одно доказательство, что при обустройстве строений скорее руководствовались соображениями удобства, нежели вкуса. На вершине холма находились также два

или три отдельно стоящих конторских помещения, расположенных поблизости от жилого дома и в местах, наиболее подходящих для пользования ими. Человек посторонний мог бы заметить, что своим расположением они образуют по всей своей длине разносторонний квадрат, внутри свободный от застройки.

Несмотря на большую протяженность основного здания и наличие менее крупных и отдельно стоящих построек, желаемого расположения не получилось бы, если бы не два ряда грубых сооружений из бревен, с которых даже не содрали кору, призванных восполнить недостающие звенья. Эти первобытные постройки использовались под разнообразную домашнюю рухлядь, а также припасы. Они, кроме того, служили многочисленными жилыми комнатами для наемных работников и низшего персонала фермы. Несколько крепких и высоких ворот из теса соединили первоначально разъединенные части застройки, образовав множество преград для доступа во внутренний двор.

Но здание, всего более бросавшееся в глаза своим расположением, как и особенностями архитектуры, стояло на низком искусственном холме в центре четырехугольника. Оно было высоким, шестиугольным по форме и увенчано остроконечной кровлей, с гребня которой вздымался торчащий флагшток. Фундамент был из камня, но на высоте человеческого роста торцы были сделаны из массивных обтесанных бревен, прочно скрепленных хитроумным соединением их концов, а также перпендикулярными опорами, глубоко вколоченными в их бока. В этой цитадели, или блокгаузе, как ее именовали на техническом языке, имелись два неодинаковых ряда длинных узких бойниц, но не было обычных окон. Однако лучи заходящего солнца бросали блики на два-три небольших

застекленных отверстия в крыше, свидетельствовавших, что верх здания иногда использовали для иных целей, нежели оборона.

Примерно на полпути вверх по сторонам возвышенности, на которой стояло здание, располагался сплошной ряд высоких частоколов, сделанных из стволов молодых деревьев, прочно скрепленных скобами и горизонтальными деревянными связями, причем было видно, что за их состоянием ревностно следили. В целом эта пограничная крепость выглядела опрятной и уютной, а учитывая, что использование артиллерии было неизвестно в этих лесах, — предназначенной для оборонительных целей.

На незначительном расстоянии от подошвы холма стояли хлева и конюшни. Их окружало большое число неказистых, но теплых сараев, в которых обычно укрывали овец и рогатый скот от суровых зимних бурь этого климата. Луга непосредственно вокруг наружных строений имели более ровный и богатый травяной покров, чем более отдаленные, а изгороди были гораздо мастеровитее и, вероятно, прочнее, хотя вряд ли практичнее. Обширный плодовый сад лет десяти — пятнадцати также значительно способствовал ухоженному виду, благодаря которому улыбчивая долина составляла такой сильный и приятный контраст окружавшим ее бесконечным и почти не обжитым лесам.

О нескончаемом лесе нет надобности говорить. За единственным исключением гористого склона и разбросанных здесь и там полос сжатого хлеба, вдоль которых стволы были вывернуты корнями вверх яростными порывами ветра, порой в одну минуту сметающими целые акры[41] деревьев, в обширной панораме этой спокойной сельской картины взгляду не на чем было остановиться, кроме безграничного

лабиринта дикой природы. Изломанная поверхность местности, однако, ограничивала обзор не очень большим расстоянием, хотя искусство человека вряд ли могло изобрести краски такие же живые или такие же жизнерадостные, как те, что дарили блестящие оттенки листвы. Острые хваткие заморозки, знакомые на исходе осени жителям Новой Англии, уже затронули широкие бахромчатые листья кленов, и внезапный и таинственный процесс не обошел все другие виды лесной растительности, производя тот магический эффект, который нельзя увидеть нигде за исключением областей, где природа так щедра и пышна летом и так непредсказуема и сурова при смене времен года.

Старый Марк Хиткоут обозревал эту картину благоденствия и покоя острым взглядом по-зимнему рассудительного человека. Меланхолические звуки разнотонных колокольцев, глухо и жалобно звеневших под сводами деревьев, давали основание думать, что семейные стада охотно возвращаются с безграничных лесных пастбищ. Его внук, ладный живой мальчик лет четырнадцати, шагал по полям в его сторону. Подросток гнал перед собой небольшую отару, которую домашние потребности вынуждали семью держать, невзирая на многочисленные случаи потерь и обременительную трату времени и забот, ибо только то и другое могло уберечь овец от хищных зверей. Возле заброшенной вырубки со стороны холма вышел придурковатый парень-прислужник, которого старик из милосердия приютил среди домашней обслуги. Он шагал, издавая крики и гоня впереди себя табунок жеребят, таких же лохматых, таких же своенравных и почти таких же диковатых, как он сам.

— Ну что, убогий? — сказал Пуританин, сурово глядя на обоих парней, когда те приблизились со своими подопечными с разных сторон и почти одновременно. — Ну что, сэр? Сумеешь впустить скотину в эти ворота,

если разумный человек не присмотрит за тобой? Делай, как будто так оно и есть; это верный и полезный совет, о котором человек ученый и простак, слабый и крепкий умом должны одинаково помнить в своих мыслях и в своих поступках. Вообще-то я не знаю, способен ли загнанный жеребенок стать более благородным и полезным животным в свои лучшие годы, чем тот, кого холят и берегут.

— Не иначе как дьявол вселился во всю отару и во всех жеребят тоже, — угрюмо возразил парень. — Я ругал их и говорил с ними, как будто они мои родичи, и все-таки ни доброе слово, ни непотребные речи не заставили их послушаться совета. Что-то пугает их в лесу в этот раз на заходе солнца, хозяин. Иначе жеребятам, которых я летом перегонял через лес, не годится так скверно обходиться с тем, кого им следовало бы признавать за своего друга.

— Ты сосчитал овец, Марк? — продолжал дед, повернувшись к внуку с менее суровым, но таким же властным выражением. — Твоя мать нуждается в каждом клочке шерсти, чтобы тебе и тебе подобным было чем прикрыться; ты же знаешь, дитя мое, что овец мало, а наши зимы скучны и холодны.

— Ткацкий станок моей матери никогда не останется без дела из-за моей беспечности, — самоуверенно отозвался мальчик, — но считай как угодно, а нельзя получить тридцать семь настригов, если овец всего тридцать шесть. Я потратил целый час в зарослях вереска и в кустах среди завалов на холме, разыскивая потерявшегося барана, и тем не менее — ни клочка шерсти, ни копыта, ни шкуры, ни рога, чтобы понять, что приключилось со скотиной.

— Ты потерял барана! Эта беспечность огорчит твою мать!

— Дедушка, я не зевал. Со времени последней охоты отару разрешили пасти в лесу, потому что за всю

неделю никто не видел ни волка, ни медведя, хотя вся округа была настороже — от большой реки до других поселений колонии. Самым большим четвероногим, потерявшим шкуру во время облавы, был отощавший олень, а самая упорная битва разгорелась между вот этим диким Уитталом Рингом и сурком, который держал его на расстоянии вытянутой руки добрую часть второй половины дня.

— Может, то, что ты рассказываешь, — правда, но это не поможет найти то, что потеряно, и не пополнит численность скота твоей матери. Ты как следует осмотрел пустошь? Не так давно я видел, как скотина щипала траву в той стороне. Что ты вертишь в своих пальцах так бесполезно и бессмысленно, Уиттал?

— То, из чего сделали бы зимнее одеяло, будь этого достаточно! Шерсть! Притом шерсть, добытая из бедра старого барана по прозвищу Прямые Рога. Я еще забыл про ногу, которая дает самый длинный и грубый волос при стрижке.

— Это и вправду похоже на клок шерсти животного, которого недостает! — воскликнул второй мальчик. — Нет другой твари в отаре с такой жесткой и лохматой шерстью. Где ты нашел этот клок, Уиттал Ринг?

— Он рос на ветке с колючками. Странно видеть этот фрукт там, где должны бы созревать молодые сливы!

— Ладно, ладно, — прервал старик. — Ты зря и неразумно тратишь время на досужую болтовню. Иди, собирай свою отару, Марк. И ты, убогий, делай свое дело не с таким шумом, как имеешь обыкновение. Мы должны помнить, что голос дан человеку, во-первых, чтобы он мог вознести молитву благодарения и просить милости Господней, а во-вторых, чтобы поведать о благодати, которая дарована ему и которую его прямой долг попытаться разделить с другими. И еще, в-

третьих, чтобы заявлять о своих естественных нуждах и склонностях.

С этим увещеванием, возможно, проистекавшим из тайного осознания Пуританином того, что он позволил мимолетному облаку эгоизма затемнить сияние его веры, собеседники расстались. Внук и работник направились к отаре и табуну, а старый Марк медленно продолжил свой путь к дому. Час наступления темноты был достаточно близок, и благоразумие требовало сделать приготовления, о которых мы упоминали. Впрочем, не было никакой необходимости особо поспешного возвращения ветерана в убежище для защиты его уютного и надежного жилища. Поэтому он не спеша продвигался вдоль тропы, иногда останавливаясь взглянуть на зрелище молодых злаков, которые начинали прорастать в ожидании наступающего года, и время от времени оглядывая окаймляющую линию горизонта, подобно человеку, имеющему привычку к чрезмерной и неослабной опеке.

Одна из этих многочисленных задержек обещала стать гораздо более долгой, чем обычно. Вместо того чтобы остановить свой сведущий глаз на посевах, старик, словно зачарованный, вперил взгляд в какой-то отдаленный и темный предмет. Казалось, сомнение и неуверенность на долгие минуты смешались в его взоре. Но затем всякое колебание явно покинуло его, ибо губы старика разомкнулись, и он проговорил вслух, вероятно неосознанно обращаясь к самому себе:

— Это не обман зрения, а живое и осязаемое создание Божье. Много дней прошло с тех пор, как такое видели в этой долине. Но либо мои глаза решительно обманывают меня, либо там едет человек, готовый просить гостеприимства, а может быть, христианского и братского приобщения к вере.

Зрение пожилого эмигранта не обмануло его. Человек, выглядевший путником, утомленным и

измотанным долгой дорогой, действительно выехал из лесу в том месте, где тропа, которую легче было заметить по зарубкам на деревьях, стоявших вдоль пути, чем по каким-то приметам на земле, вела к расчищенному участку. Продвижение незнакомца сперва было таким медленным, что внушало мысль о чрезмерной и непонятной осторожности. Дорога, по которой он, должно быть, ехал вслепую, не только далекая, но и трудная, либо ночь, определенно заставшая его в лесу, вели к одному из дальних поселений, расположенных близ плодородных берегов Коннектикута. Мало кто следовал вдоль его извилистого русла, кроме тех, у кого были неотложные дела или нерядовая встреча на почве религиозной дружбы с владельцами долины Виш-Тон-Виш, как, в память о первой птице, увиденной эмигрантами[42], была названа долина Хиткоутов.

Когда всадник стал хорошо виден, всякое сомнение или подозрение, которое путник мог вначале пробудить, исчезли. Он смело и уверенно продвигался вперед, пока не натянул поводья, чему бедное и утомленное животное охотно повиновалось, в нескольких футах от хозяина долины, чьи глаза не переставали следить за незнакомцем с той минуты, как тот впервые появился в поле зрения. Прежде чем заговорить, незнакомец, голова которого выдавала седину, по-видимому, столько же от невзгод, сколько от прожитых лет, человек, чей немалый вес за долгую поездку представлял бы мучительное бремя даже для более выносливого коня, нежели неказистая провинциальная лошаденка, на которой он ехал, спешился и набросил отпущенные поводья на поникшую шею животного. Последнее без минуты промедления и с жадностью, доказывавшей долгое

воздержание, воспользовалось свободой, чтобы приняться за траву там, где стояло.

— Я не ошибусь, предположив, что наконец-то добрался до долины Виш-Тон-Виш, — сказал гость, касаясь замусоленной фетровой шляпы с опущенными полями, более чем наполовину скрывавшей его лицо. Вопрос был задан на английском, который свидетельствовал скорее о родстве с теми, кто проживал в средних графствах старой родины, а не с той интонацией, какую все еще можно проследить как в западных частях Англии, так и в восточных штатах Союза. Несмотря на чистоту выговора, речь незнакомца с очевидностью выдавала суровую манеру религиозных фанатиков эпохи. Он прибегал к тому размеренному и методичному тону, который почему-то считался доказательством полного отсутствия вычурности в языке.

— Ты достиг жилища того, кого ищешь, того, кто является смиренным временным обитателем в мире дикой природы и скромным служителем в отдаленном храме.

— Так это Марк Хиткоут! — произнес незнакомец, заинтересованно и пристально разглядывая его с пытливой подозрительностью.

— Таково мое имя. Надлежащая вера в Того, кто отлично знает, как превратить дикую глушь в приют для людей, и немалые страдания сделали меня хозяином всего, что ты видишь. Явился ли ты провести здесь ночь, неделю, месяц или еще более долгое время как брат по радению и, не сомневаюсь, как тот, кто ратует за правое дело, я говорю тебе: «Добро пожаловать!»

Незнакомец поблагодарил хозяина медленным наклоном головы, но все еще слишком серьезный и изучающий взгляд, хотя и более признательный, не позволил ему дать словесный ответ. С другой стороны,

хотя старик внимательно разглядывал широкополую и потрепанную шляпу, грубый и довольно поношенный камзол, тяжелые сапоги, короче — весь наряд своего гостя, в котором не было заметно какого-либо суетного подлаживания под пустую моду, достойного осуждения, было очевидно, что личные воспоминания не оказали никакого влияния на его пробудившееся гостеприимство.

— Ты удачно добрался, — продолжал Пуританин. — Застань тебя ночь в лесу — и, если только ты не владеешь сноровкой молодых жителей наших лесов, голод, холод и постель без ужина под кустом дали бы тебе повод думать о теле больше, чем это подобает.

Незнакомец, вполне возможно, знавал некоторые затруднения такого рода, ибо беглый и невольный взгляд, брошенный им на свою испачканную одежду, выдавал близкое знакомство с лишениями, на которые намекнул его хозяин. Поскольку, однако, ни один из собеседников не казался расположенным и далее тратить время на столь несущественные материи, путник взял в руку поводья своей лошади и, подчиняясь приглашению владельца жилища, направился вслед за ним к укреплению на природном холме.

Обязанность снабдить подстилкой и задать корм изнуренному животному была выполнена Уитталом Рингом под наблюдением, а иногда и по указанию владельца первого и хозяина второго, причем оба проявляли добрую и похвальную заботу об удобствах для верной лошаденки, которая явно много и долго страдала, служа своему хозяину. Когда эта обязанность была исполнена, старик и его неизвестный гость вместе вошли в дом. Искреннее и безыскусное гостеприимство в местности, подобной этой, не допускало, привечая человека белой крови, проявления подозрительности или нерешительности, особенно если этот человек говорил на языке острова, который первым стал

рассылать свои толпы, чтобы покорить и завладеть обширными частями континента, делящего земной шар почти пополам.

ГЛАВА III

Это более чем странно: ваш отец захвачен страстью, которая оказывает на него сильное действие.
«Буря»

За несколько часов в занятиях членов нашей простой и отрезанной от мира семьи произошли большие перемены. Коровы отдали свою вечернюю дань, волов освободили от ярма и надежно укрыли под навесом, а овец заперли в загонах, обезопасив от нападения рыщущего в поисках добычи волка. Словом, позаботились, чтобы все живое было сосредоточено внутри специальных безопасных и удобных укрытий. Но в то время как все эти меры предосторожности были приняты в отношении живого инвентаря, полнейшее безразличие царило по отношению к движимому имуществу другого рода, которое где угодно охраняли бы, по крайней мере, с равным усердием. Домашние изделия, вытканные Руфью, лежали на площадке для отбеливания, чтобы они впитали ночную росу, а плуги, бороны, телеги, седла и прочие подобные изделия были брошены в таком состоянии, которое свидетельствовало: мужские руки здесь имели столь многочисленные и столь спешные обязанности, что не стоило тратить усилия там, где это не считалось абсолютно необходимым. Сам Контент последним покинул поля и наружные постройки. Добравшись до задних ворот частокола, он остановился и окликнул тех, кто находился наверху, желая узнать, не задержался ли кто-нибудь с наружной стороны деревянных заграждений. Получив отрицательный ответ, он вошел и закрыл небольшие, но тяжелые ворота,

собственноручно и тщательно задвинув перекладину, наложив засов и навесив замок. Поскольку это была не более чем необходимая предосторожность на ночь, то домашние работы не прерывались. Насущная трапеза быстро закончилась, и как подходящее занятие, завершающее полный трудов и достойно проведенный день, последовал общий разговор за легкой работой, присущий долгим вечерам осени и зимы в пограничных семьях.

Несмотря на совершенную простоту мнений и обычаев колонистов в ту эпоху и большое сходство условий быта общин вроде той, о которой мы пишем, индивидуальные суждения и склонности придавали некоторое естественное своеобразие заурядной беседе членов семейства Хиткоута. В огромном очаге помещения, служившего чем-то вроде верхней кухни, сверкал яркий и веселый огонь, делавший свечи или факелы ненужными. Вокруг него сидело шесть или семь закаленных и атлетически сложенных мужчин, одни из которых грубыми инструментами аккуратно обрабатывали ярмо для волов, а другие зачищали топорища или выделывали из березовых заготовок самодельные, но удобные метлы. Застенчиво отводящая взгляд молодая женщина непрерывно вертела большое ткацкое колесо, а одна или две другие энергично сновали из комнаты в комнату с подчеркнутым трудолюбием служанок, занятых заботами по дому. Из этого помещения дверь вела во внутренние более благоустроенные комнаты. Здесь огонь был поменьше, но такой же веселый, а пол недавно подмели, тогда как пол кухни только что посыпали речным песком; сальные свечи стояли на столе вишневого дерева из соседнего леса; стены были обиты панелями из местного черного дуба, кое-какие изделия очень давней моды, орнаментированные искусно и богато, свидетельствовали, что их привезли из-за океана.

Поверх обшивки стен были развешаны геральдические эмблемы Хиткоутов и Хардингов, затейливо и трудолюбиво вытканные на станке.

Главные лица семьи сидели вокруг очага, а задержавшийся в другой комнате из большего, чем обычно, любопытства пристраивался возле них, причем разница в старшинстве или, скорее, в положении, выражалась с его стороны особой заботой о том, чтобы ни одна стружка не замусорила дубовый, без единого пятнышка пол.

До этой вечерней минуты долг гостеприимства и соблюдение предписаний религии мешали семейному разговору. Но обязанности хозяйки дома теперь, с наступлением ночи, были завершены, все служанки вернулись к своим прялкам, и, поскольку хлопоты, связанные с требовавшими большего прилежания и трудолюбия домашними делами, закончились, холодное и сдержанное молчание, до сих пор нарушавшееся только редкими и краткими репликами из вежливости или каким-нибудь здравым намеком на незавидную участь и испытания, выпадающие на долю человека, казалось, располагало к беседе более общего характера.

— Ты пришел на мою вырубку по южной тропе, — начал Марк Хиткоут, достаточно любезно обращаясь к своему гостю, — и, наверное, принес городские вести на берега реки. Сделано ли членами Королевского совета на родине что-нибудь такое, что непосредственно касается благополучия этой колонии?

— Ты хочешь, чтобы я сказал, услышал ли тот, кто сидит ныне на троне Англии[43], петиции своих подданных из этой провинции и гарантировал ли он им защиту от злоупотреблений, которые могли бы легко проистечь в силу его собственной воли, по вине плохих

советчиков или из-за насилия и несправедливости его наследников?

— Воздадим кесарю кесарево и поговорим уважительно о людях, облеченных властью. Я был бы рад узнать, добился ли наш посланец, чтобы его выслушали те, кто дает советы государю, и получил ли он то, чего добивался?

— Он сделал больше, — ответил незнакомец с особой резкостью. — Он добился даже, чтобы его выслушал помазанник Божий[44].

— Значит, Карл умнее и справедливее, чем гласит молва. Нам говорили, что легкомысленное поведение и неподходящее окружение побудили его больше думать о мирской суетности и меньше о нуждах тех, кем Провидение призвало его управлять, чем это подобает тому, кто сидит на столь высоком месте. Я рад, что доводы человека, посланного нами, возобладали над злобными наущениями и что плодами этого предприятия, похоже, явятся мир и свобода совести. Каким образом он собирается навести порядок в будущем управлении этим народом?

— Многое, как обстояло всегда, — собственными указами. Уинтроп[45] возвратился и привез королевскую хартию, дарующую все права, которых давно добивались и осуществляли. Никто отныне не живет под британской короной, имея меньше оскорбительных посягательств на их совесть или обременительных воззваний к их политическому долгу, чем жители Коннектикута.

— Надлежит вознести благодарность за это Тому, кому мы обязаны более всего, — заявил Пуританин, сложив руки на груди и сидя некоторое время с закрытыми глазами подобно человеку, который общается с невидимым собеседником. — Известно ли, какими доводами Господь подвигнул сердце государя

прислушаться к нашим нуждам, или это было явное и ясное знамение Его могущества?

— Я полагаю, это волей-неволей было последнее, — отвечал гость еще более едко и подчеркнуто. — Такая безделица, как посланец во плоти, не могла весить много для того, кто столь гордо восседает пред очами людей.

До этого момента Контент и Руфь с их отпрыском и два-три других слушателя внимали разговору со сдержанной серьезностью, характерной для этой страны. Язык оратора в сочетании с плохо скрытым сарказмом, передаваемым выражением лица не менее, чем подчеркнутым тоном его речи, заставили их те-перь поднять глаза, словно по общему побуждению. Слово «безделица» было с любопытством повторено во всеуслышание. Но выражение холодной иронии уже сошло с лица незнакомца, уступив место суровой и твердой отрешенности, придавшей его упрямому и загорелому лицу черты жесткости. Однако он не выказал желания отказаться от темы и, окинув слушателей взглядом, в котором тесно соединились гордость и подозрительность, продолжил разговор.

— Известно, что его дед, коего добрые люди здешних поселений уполномочили донести их нужды по ту сторону океана, пребывал в милости у человека, последним воссевшего на трон Англии, и ходит слух, что Стюарт однажды в минуту королевской снисходительности украсил палец своего подданного кольцом, отделанным любопытным образом. То был знак любви, которой монарх может одарить человека.

— Такие подарки являются маяками дружбы, но их нельзя использовать как нарядные и греховные украшения, — заметил Марк, когда собеседник сделал паузу как человек, не желающий, чтобы от слушателей ускользнуло хоть что-то из его пронизанных горечью намеков.

— Дело не в том, лежала ли безделушка в баулах Уинтропов или долгое время сверкала перед глазами верующих в заливе, ибо она в конце концов доказала, что является ценной вещицей, — продолжал незнакомец. — По секрету говорится, что это кольцо вернулось на палец одного из Стюартов, а публично заявлено, что Коннектикут получил хартию!

Контент и его жена смотрели друг на друга с печальным удивлением. Такое доказательство безответственного легкомыслия и недостойного поведения человека, который удостоился подарка земного правителя, ранило их простые и честные души, тогда как старый Марк, одержимый еще более решительными и преувеличенными представлениями о духовном совершенстве, явственно сокрушался вслух. Незнакомец испытал заметное удовольствие от этого свидетельства их отвращения к столь вульгарной и непристойной продажности, хотя не видел возможности усилить произведенный эффект, продолжая разговор. Когда хозяин встал и голосом, привыкшим к послушанию, призвал свою семью присоединиться, ради безрассудного правителя страны их предков, к молитве Тому, кто один лишь может смягчать сердца государей, он тоже поднялся со своего места. Но даже в этом проявлении набожности незнакомец имел вид человека, скорее желающего доставить удовольствие своим собеседникам, нежели добиться желаемого.

Молитва, хоть и краткая, была сосредоточенной, горячей и достаточно проникновенной. Ткацкие станки в соседней комнате прекратили свое жужжание, и общее движение означало, что там все встали, чтобы присоединиться к молитве, а один-два из их числа, побуждаемые более глубокой набожностью либо более сильным интересом, подобрались ближе к открытой двери между комнатами, чтобы лучше слышать. Эта единственная, но характерная помеха положила конец

тому особому направлению разговора, которое его и породило.

— А есть ли у нас основание бояться набега дикарей на границы? — спросил Контент, заметив, что живая душа его отца еще не вполне успокоилась, чтобы вернуться к обсуждению мирских дел. — Человек, приносивший товары из городов снизу несколько месяцев назад, излагал причины, по которым следует опасаться брожения среди краснокожих.

Эта тема не представляла интереса для незнакомца. Он остался глух к вопросу либо предпочел сделать вид, что не расслышал. Закрыв обеими крупными и потрепанными непогодой, хотя и сильными, ладонями заметно помрачневшее лицо, он, казалось, так глубоко ушел в свои мысли, отрешившись от всего мирского, что легкая дрожь пробежала по его плотному телу.

— С нами много тех, к кому наши сердца очень привязаны; вот почему нас так волнует малейший признак тревоги с той стороны, — добавила нежная и обеспокоенная мать, устремив взор на поднятые лица двух девчушек, сидящих на скамеечках у ее ног и занятых легким шитьем. — Но я рада видеть, что человек, который прибыл из мест, где умонастроения дикарей должны понимать лучше, не побоялся сделать это безоружным.

Путник медленно открыл свое лицо, и взгляд, брошенный им на лицо говорившей, не был лишен доброго и заинтересованного выражения. Мгновенно овладев собой, он поднялся и, повернувшись к сдвоенному кожаному мешку, который недавно висел на крупе его лошади, а теперь лежал недалеко от стула, вытащил из двух хитроумно придуманных карманов по его бокам пару дорожных пистолетов и демонстративно положил их на стол.

— Хотя я мало расположен искать встречи с кем-нибудь в образе человека, я не пренебрегаю обычными мерами предосторожности тех, кто вступает в дикие места. Вот оружие, которое в твердых руках может легко отнять жизнь либо, при необходимости, сохранить ее.

Юный Марк придвинулся с детским любопытством и, одним пальцем отважившись притронуться к замку, в то же время украдкой бросив понимающий взгляд в сторону матери, сказал с презрительным видом, насколько позволяла его выучка:

— Индейская стрела точнее поразила бы цель, чем такой короткий ствол! Когда ополченец из Хартфорда свалил дикую кошку при расчистке холма, он послал пулю из пятифутового ствола. Кроме того, эта короткоствольная штука будет бесполезным оружием в рукопашной схватке против остроконечного ножа, которым подлый вампаноа умеет пользоваться.

— Мальчик, тебе немного лет, и смелость твоих речей замечательна, — сурово прервал его дед.

Незнакомец не выказал неудовольствия по поводу самоуверенной речи парня. Подбодрив его взглядом, который ясно говорил, что рассуждения о качестве оружия ни в коей степени не умалили его расположения к подростку, он заметил:

— Юноша, который не боится думать о сражении или рассуждать об его исходе, придет к возмужалости духа и к независимости. Сотня тысяч подростков вроде этого сберегла бы Уинтропу его драгоценность, а Стюарта избавила бы от такой постыдной, тщетной и жалкой взятки. Но ты увидишь, дитя мое, что если дело дойдет до смертельных объятий, то подлый вампаноа может наткнуться на лезвие столь же острое, как его собственное.

Говоря это, незнакомец развязал несколько шнуров своего камзола и сунул руку за пазуху. Это позволило

не одному глазу приметить мгновенный блеск оружия, подобного только что описанному, но гораздо меньшего размера, чем то, которое он уже так непринужденно выставил напоказ. Поскольку он тотчас убрал руку и снова запахнул одежду с нарочитой заботливостью, никто не осмелился высказаться по поводу этого обстоятельства, зато все обратили внимание на длинный острый охотничий нож, который он, договорив, положил рядом с пистолетами. Марк отважился раскрыть его лезвие, но с отвращением бросил, внезапно обнаружив, что к его пальцам пристало несколько ворсинок грубой лохматой шерсти.

— Прямые Рога наткнулся на куст острее колючек! — воскликнул Уиттал Ринг, вертевшийся рядом и с детским восхищением следивший за малейшими движениями действующих лиц. — Стальной нож, немного сухих листьев и обломанные ветки сделали бы жаркое из самого старого барана с колокольчиком. Я знаю, что волос у всех моих овечек рыжеватый, и я насчитал их пять на закате. Это как раз столько, сколько продиралось сквозь подлесок, когда я освободил их от пут поутру. Но на тридцати шести спинах не может расти тридцать семь шкур с ненастриженной шерстью. Хозяин знает это, потому что он ученый и умеет считать до ста!

Намек на судьбу пропавшего барана был столь прямым, что не позволял неправильно истолковать смысл слов слабоумного. Животные этой категории были крайне важны для благополучия поселенцев, и, вероятно, среди слушавших Уиттала Ринга не было ни одного, кто не понял бы сути сказанного. В самом деле, громкое хихиканье и то, как откровенно и насмешливо сам парень держал над головой ворсистые волокна, позаимствованные у юного Марка, не допускали никакого утаивания, даже будь к тому желание.

— Этот обделенный умом юноша намекает, что твой нож опробовал свое лезвие на баране, которого недосчитались в нашей отаре с тех пор, как животные поутру ушли в поля на холме, — спокойно сказал хозяин, хотя даже он опустил глаза долу, ожидая прямого ответа на реплику, как того требовало его чувство справедливости и неизменная любовь к истине.

Незнакомец спросил голосом, не утратившим своей глубины и твердости:

— Разве голод — преступление, что те, кто живет так далеко от обителей себялюбия, воспринимают это с гневом?

— Никогда стопа христианина не приближалась к воротам Виш-Тон-Виша, чтобы быть немилосердно отвергнутой, но то, что дается по доброй воле, не должно отторгаться самовольно. С холма, где обычно пасется отара, легко увидеть эти крыши сквозь многочисленные просеки, и было бы лучше, чтобы тело томилось, чем тяжкий грех лег на бессмертную душу, и без того чересчур обремененную, если только тебе не посчастливилось больше, чем другим из падшего племени Адамова.

— Марк Хиткоут, — отвечал обвиняемый все тем же невозмутимым тоном, — взгляни-ка на это оружие, которое, если я виновен, я добровольно передаю в твое распоряжение. Там ты найдешь больше поводов для удивления, чем несколько случайных волосинок, которые пряха выбросила бы за ненадобностью как слишком грубые.

— Давно миновало время, когда я находил радость в обращении с боевым оружием. И пусть как можно дольше не настанет время, когда оно понадобится в этой обители мира. Это орудия смерти, напоминающие те, какими в моей молодости пользовались кавалеры, набиравшие рекрутов для первого из Карлов и его

малодушного отца[46]. То были мирская гордыня и великое тщеславие с массой предосудительного безбожия в войнах, которые мне довелось повидать, дети мои. И тем не менее кровожадный человек находил удовольствие в смутах тех бесстыдных дней! Подойди сюда, юноша! Ты часто жаждал узнать, как всадники имеют обыкновение вступать в бой, когда пушки большого калибра и барабанящий свинцовый град расчистят проход для битвы конь к коню и человек к человеку. Многое, что оправдывает эти сражения, зависит от внутреннего духа и нрава того, кто посягает на жизнь своего грешного ближнего. Но праведный Иисус, как известно, боролся с язычниками, таинством продлив день[47]. И потому, смиренно веря, что наше дело правое, я открою твоей молодой душе, как пользоваться оружием, которого никогда прежде не видали в этих лесах.

— Я держал гораздо более тяжелую штуку, чем эта, — сказал юный Марк, насупясь как от усилия, так и подстрекаемый своим честолюбивым духом, стараясь удержать увесистое оружие в вытянутой руке. — У нас есть ружья, которые могут усмирить волка надежнее, чем любой ствол меньше моего собственного роста. Скажи мне, дед, на каком расстоянии конные воины, о которых ты так часто упоминаешь, берут прицел?

Но дар речи, казалось, внезапно покинул пожилого ветерана. Он оборвал разговор и теперь, вместо того чтобы ответить на вопрос мальчика, медленно и с выражением мучительного сомнения переводил взгляд с оружия, которое тот все еще держал перед собой, на лицо незнакомца. Последний продолжал держаться прямо, подобно человеку, подвергнутому строгому и пытливому осмотру. Эта немая сцена не могла не привлечь внимания Контента. Встав со своего места со спокойной, но властной манерой, какую все еще можно

видеть в домашнем обиходе людей той местности, где он жил, он знаком приказал всем присутствующим покинуть комнату. Руфь и ее дочери, наемные работники, слабоумный Уиттал и даже неохотно подчинившийся Марк проследовали впереди него до двери, которую он закрыл с почтительной осторожностью. А затем вся заинтригованная группа смешалась с теми, кто находился в соседнем помещении, оставив покинутую ими комнату во власти старого главы поселения и его все еще неизвестного и таинственного гостя.

Много тревожных и показавшихся тем, кого прогнали, бесконечными минут прошло, а секретная беседа как будто и не приближалась к своему концу. Глубокое почтение, которое внушали годы, старшинство и характер деда, не позволяли никому приблизиться к части дома, примыкавшей к покинутой ими комнате. Но могильная тишина делала все, что может сделать тишина, чтобы просветить их относительно дела, вызвавшего столь большой и всеобщий интерес. Часто до их слуха доносились глубокомысленные, обкатанные сентенции беседующих, каждая из которых с постоянством и уместностью касалась особой темы разговора, но ни один звук, способный донести смысл сказанного до умов тех, кто находился снаружи, не проникал сквозь пресекавшие любопытство стены. Наконец голос старого Марка стал слышен громче обычного. А затем Контент встал, жестом приглашая окружающих последовать своему примеру. Молодые люди отставили в сторону предметы своих незамысловатых занятий, девушки оставили ткацкие станки, давно не крутившиеся, и вся группа расположилась приличествующим и незатейливым образом для молитвы. В третий раз за этот вечер послышался голос Пуританина, изливавшего душу в общении с Существом,

коему он привык препоручать все свои мирские заботы. Издавна свыкшиеся со всеми своеобразными формами словесного обращения, посредством которых отец обычно выражал свои благочестивые чувства, ни Контент, ни его внимательная половина не были в состоянии определить, какое чувство было сейчас самым сильным. Временами казалось, что это язык благодарения, а в другие минуты это больше походило на мольбу об отвращении беды. Короче, оно было такое изменчивое и, пусть умиротворенное, такое двусмысленное, если можно применить это слово к столь серьезному предмету, что совершенно опрокидывало всякие предположения.

Прошли долгие и томительные минуты после того, как голос полностью умолк, но все еще не последовало никаких указаний пребывавшей в ожидании семье, и ни один звук не проникал из внутренней комнаты, что почтительный сын решился истолковать как свидетельство того, что он может взять на себя смелость войти.

В конце концов опасения начали смешиваться с догадками, и тогда муж и жена переговорили шепотом в сторонке. Дурное предчувствие и сомнение первого вскоре проявились в еще более явных формах. Он поднялся и на виду у всех принялся измерять шагами широкое помещение, постепенно приближаясь к стене, разделявшей две комнаты, явно готовый сейчас же отойти за пределы слышимости, если обнаружит какие-либо доказательства, что его беспокойство не имеет достаточных оснований. Однако по-прежнему ни звука не доносилось из внутренней комнаты. Мертвая тишина, совсем недавно царившая там, где был он, казалось, вдруг переместилась туда, где он тщетно старался уловить малейшее свидетельство присутствия людей. Он снова вернулся к Руфи, и снова они, понизив

голос, посовещались насчет шага, которого, казалось, от них требовал сыновний долг.

— Нас не просили удалиться, — сказала его супруга. — Почему бы не присоединиться к нашему отцу сейчас, после того, как было достаточно времени разобраться в деле, которое столь очевидно беспокоит его душу?

Контент наконец уступил этому мнению. С разумной осторожностью, отличающей его народ, он сделал знак семье следовать за собой, чтобы никакое исключение без надобности не дало повода к предположениям или не возбудило подозрений, которые в конечном счете нельзя было бы оправдать никакими обстоятельствами. Несмотря на сдержанные манеры той эпохи и страны, любопытство и, быть может, более благородное чувство были так сильны, что заставили всех присутствующих подчиниться этому молчаливому приказу и так поспешно двинуться к открытой двери, как никогда бы не позволили правила вежливого поведения.

Старый Марк Хиткоут занимал кресло, в котором его оставили, с тем спокойствием и непреклонной серьезностью во взгляде и чертах лица, какие тогда считались необходимыми для надлежащей чистоты духа. Но незнакомец исчез. Было два или три выхода, чтобы покинуть дом незаметно для тех, кто так долго ждал разрешения войти. И первое впечатление заставило семью ожидать возвращения отсутствующего через один из этих наружных проходов.

Однако Контент прочел в выражении глаз отца, что минута доверительности, если и должна была наступить, еще не пришла. И настолько восхитительна и совершенна была домашняя дисциплина этой семьи, что вопросы, для которых сын не посчитал момент подходящим, никто ниже по положению или моложе по возрасту не мог и помыслить задать. Вместе с персоной

незнакомца исчезло и всякое свидетельство его недавнего пребывания.

Марк не увидел оружия, вызвавшего его восхищение. Уиттал напрасно высматривал охотничий нож, поведавший о судьбе барана. Миссис Хиткоут заметила, бросив беглый взгляд, что кожаные мешки, которые она имела в виду перенести в спальню гостя, тоже исчезли. Безуспешно искала она и отпечаток милого и шаловливого образа своих юных лет, связанный с вещами, сделавшими ее юность привлекательной более обычного, в том числе с массивной серебряной шпорой любопытной и старинной работы, которую ей было позволено брать в руки до того момента, пока семье не приказали выйти.

Ночь на этот раз затянулась позднее того часа, когда люди столь простых нравов привыкли выбираться из своих постелей. Дед зажег восковую свечу и, произнеся обычное благословение всем окружающим с таким спокойным видом, словно ничего не случилось, приготовился удалиться в свою комнату. И тем не менее, казалось, что важное дело не дает ему покоя. Уже на пороге двери он обернулся, и на мгновение все застыли в ожидании хоть какого-то объяснения по поводу обстоятельства, в немалой степени носившего характер волнующей и мучительной тайны. Но их надежды вспыхнули лишь для того, чтобы тут же развеяться.

— Мои мысли не уследили за ходом времени. Который теперь час ночи, сын мой?

Ему сказали, что привычное время сна уже миновало.

— Не важно. Не следует легкомысленно и бездумно пренебрегать тем временем, что Провидение дарует для нашего спокойствия и подкрепления. Возьми лошадь, на которой я привык ездить верхом, Контент, и езжай сам по тропе, что ведет к вырубке на холме. Не

оставь там ничего из того, на что наткнется твой взгляд возле первого поворота дороги к приречным городам. Мы вступили в последнюю четверть года, и чтобы наше трудолюбие не ослабело и все могли энергично пошевеливаться вместе с солнцем, пусть остальные в доме отправляются на покой.

Контент видел по поведению отца, что никакое отступление от строгой буквы этих инструкций недопустимо. Он прикрыл дверь за его удаляющейся фигурой, а затем спокойным и властным жестом приказал своим подчиненным удалиться. Служанки Руфи развели детей по их комнатам, а еще через несколько минут в помещении, уже так часто упоминавшемся, не осталось никого, кроме послушного сына с его встревоженной и любящей супругой.

— Муж, я поеду с тобой, — начала Руфь полушепотом, как только были закончены мелкие домашние хлопоты, чтобы загасить огонь и запереть двери. — Мне не нравится, что ты должен ехать в лес один на исходе ночи.

— Там со мной будет Тот, кто никогда не покидает уповающих на его защиту. Кроме того, моя Руфь, чего бояться в такой глуши? Зверье с холмов недавно прогнали охотники, и, не считая тех, что обитают под нашей собственной крышей, ни одного зверя нет на протяжении целого дня пути.

— Неизвестно! Где тот незнакомец, что вошел в наши двери на закате солнца?

— Как ты говоришь, нам это неизвестно. Мой отец не намерен разомкнуть уста по поводу этого путника, и, разумеется, не сейчас нам брать уроки послушания и самоотречения.

— Тем не менее было бы большим облегчением для души узнать хотя бы имя того, кто отведал нашего хлеба и присоединился к нашим молитвам, пусть он и собирался сразу и навсегда исчезнуть с наших глаз.

— Что он, видимо, уже и сделал! — возразил менее любопытный и более сдержанный муж. — Отец не хочет, чтобы мы о нем выспрашивали.

— И все же невелик грех знать, что это за человек, чьи судьбы и странствия не могут возбудить ни нашей зависти, ни соперничества. Я бы хотела, чтобы мы провели больше времени в совместных молитвах. Это не выглядело бы так, будто мы пренебрегли гостем, который явно нуждался в особой поддержке.

— Наши души соединились в молитве, хотя уши наши были глухи к его нуждам. Однако утром мне надо быть на ногах вместе с молодежью, а отмерить милю недостаточно, чтобы добраться до дороги к приречным городам. Пойдем со мной до задних ворот и присмотри за запорами. Я недолго заставлю тебя сторожить.

Контент и его жена покинули дом через единственную незапертую дверь. При свете полной, хотя и скрытой в облаках луны они миновали ворота между двумя наружными постройками и спустились к частоколам. Запоры и засовы маленьких задних ворот были отодвинуты, и через несколько минут муж, взобравшись на круп отцовской лошади, уже скакал резвым галопом по тропе, ведущей в ту часть леса, что ему было велено обыскать.

В то время как муж следовал этим путем, подчиняясь приказам, которым он всегда без колебаний повиновался, его верная жена возвратилась в укрытие из деревянных укреплений. Больше из вошедшей в привычку осторожности, чем по какойто реальной причине для подозрения, она задвинула засов и осталась возле ворот, с беспокойством ожидая результата операции столь же непостижимой, сколь и необычной.

ГЛАВА IV

Во имя всего святого, сэр, чего это вы так уставились?
«Буря»

В девичестве Руфь Хардинг была одной из самых миловидных и обходительных представительниц рода человеческого. Хотя привязанности жены и матери придали новые стимулы ее от природы добрым чувствам, ее характер после замужества не изменился. Послушная, бескорыстная и преданная тем, кого любила, — такой ее знали родители, и те же качества в ходе совместной многолетней жизни открыл в ней Контент. С величайшим самообладанием она бдительно заботилась о тех немногих, кто составлял ограниченный круг ее бытия. Это чувство непритязательно, но активно жило в ее нежном сердце как великий движущий жизненный принцип. Хотя обстоятельства забросили ее на отдаленную и незащищенную границу, где не было времени для привычного распределения труда, она не изменила ни своим привычкам, ни чувствам, ни характеру. Зажиточность мужа избавила ее от необходимости обременительного труда, а встретившись с опасностями дикой природы и не пренебрегая ни одной из обязанностей своего положения хозяйки дома, она в то же время избежала большинства из тех вредных последствий, которые в той или иной мере способны губительно повлиять на привлекательность женщины. Несмотря на тяготы жизни на границе, она оставалась женственной, миловидной и необычайно моложавой.

Читатель легко вообразит, в каком состоянии духа такое существо провожало взглядом удаляющуюся

фигуру мужа, занятого делом, подобным описанному нами. Несмотря на многолетнюю привычку, даже самый отчаянный лесной житель редко отправлялся в лес без некоего тайного чувства, что там его поджидает настоящая опасность. То был час для рыщущих и голодных обитателей леса, о чем знали все, и шорох листьев или треск сухой ветки под легкой поступью самого мелкого животного был способен вызвать образ хищной пумы с горящими глазами или притаившегося двуногого, хотя и более умелого, но едва ли менее дикого. Правда, такие неприятные ощущения испытывали сотни людей, в действительности никогда не пережившие подобных ужасов. Тем не менее не было недостатка в фактах, дававших для мрачных и оправданных опасений весомое основание.

Волнующими легендами границы были истории о битвах с хищными животными и кровопролитиях, учиненных бродячими и непокорными индейцами. В далекой Европе могли рушиться троны, гибнуть или завоевываться королевства, и о таких событиях жители этих лесов говорили бы меньше, чем об единственном и поразительном случае в лесу, когда поселенцу потребовалось проявить недюжинное мужество и незаурядную сообразительность. Подобные рассказы передавались из уст в уста с пылом сильнейшей личной заинтересованности, и многие из них переходили от отца к сыну по традиции, пока, подобно тому, как в менее безыскусных сообществах по-настоящему невероятные вещи прокрадываются на сомнительные страницы истории, преувеличение настолько переплеталось с правдой, что становилось невозможным когда-нибудь вновь отделить их друг от друга.

Под влиянием этих чувств, а быть может, побуждаемый никогда не оставлявшей его осмотрительностью, Контент набросил на плечо хорошо

проверенное оружие, и когда поднялся на взгорье, где его отец встретился с незнакомцем, Руфь мельком заметила его фигуру, припавшую к шее лошади и мчащуюся сквозь смутный свет этого часа, напоминая один из тех фантастических образов своенравных и тяжело скачущих призраков, о которых так любят рассказывать легенды восточного континента.

Затем потянулись беспокойные минуты, когда ни зрение, ни слух не могли ни в малейшей степени помочь любящей жене, терявшейся в догадках. Она прислушивалась, затаив дыхание, и пару раз ей показалось, что она различает, как копыта ударяют о землю тверже и чаще, чем обычно. Но это случилось, когда Контент взбирался по подъему бокового склона холма и можно было на миг разглядеть, как он стремительно мчится под прикрытие леса.

Хотя Руфи были ведомы тревоги жизни на границе, она, быть может, никогда не знала более мучительных минут, чем те, когда фигура ее мужа слилась с темными стволами деревьев. Из-за ее нетерпения время тянулось дольше обычного, и под влиянием лихорадочного беспокойства, не имевшего какого-то конкретного повода, она отодвинула единственный засов, на который были заперты задние ворота, и вышла совсем за пределы ограждения. При ее подавленных чувствах ей казалось, что частокол заслоняет от нее окрестности. Одна томительная минута тянулась за другой, не принося облегчения. В течение этих беспокойных минут она острее обычного осознала, до какой степени муж и все, кто наиболее дорог ее сердцу, предоставлены самим себе. Чувства жены к мужу возобладали. Преодолев подъем, она медленно пошла по тропе, избранной ее мужем, пока страх незаметно не побудил ее ускорить шаг. Она промедлила только, оказавшись в самом центре расчищенной вырубки на

взгорке, где отец задержался в тот вечер, созерцая растущее благоденствие своих владений.

Здесь она внезапно остановилась, потому что ей почудилось, будто из леса появилась фигура в том самом месте, за которым ее глаза не переставали следить. Оказалось, что это не более чем мимолетная тень облака, более плотного, чем обычно, набросившего свой темный покров на деревья и землю возле опушки леса. Именно в это мгновение в ее голове мелькнула мысль, что она неосторожно оставила задние ворота открытыми, и с чувствами, поделенными между мужем и детьми, она двинулась назад, чтобы исправить упущение, к сознанию которого привычка, не меньше чем благоразумие, прибавила глубокое чувство вины. Глаза матери, ибо именно это святое чувство теперь владело ею сильнее всего, были устремлены на неровный грунт дороги, когда она поспешно пустилась в обратный путь. Ее душа так была поглощена этим забвением долга, в чем она сама себя сурово упрекала, что ее глаза замечали окружающие предметы, не передавая мозгу их четкий, понятный образ.

Несмотря на одну владевшую ею мысль, ей в глаза бросилось нечто, заставившее безучастное тело отпрянуть, душу содрогнуться от ужаса. То была минута, когда бредовое состояние едва не превратило ужас в сумасшествие. Способность мыслить вернулась, лишь когда Руфь оказалась на расстоянии многих футов от того места, где ее зрение полубессознательно уловило этот испугавший ее предмет. Материнская любовь одержала верх, и даже лань из тех же лесов вряд ли мчится с большей сноровкой, чем мать спящей и беззащитной семьи пустилась теперь бежать в сторону дома. Запыхавшись и тяжело дыша, она добралась до задних ворот, которые закрыла руками, исполнившими свое дело скорее инстинктивно, нежели повинуясь мысли, и надежно заперла на два-три засова.

Впервые за столько минут Руфь теперь вздохнула глубоко и без муки. Она старалась собраться с мыслями, чтобы обдумать то, что предписывали благоразумие и ее долг по отношению к Контенту, все еще подвергавшемуся опасности, которой она сама избежала. Ее первым побуждением было дать условленный сигнал, служивший, чтобы собрать работников с поля или разбудить спящих в случае тревоги. Но зрелое размышление подсказало ей, что такой шаг мог стать роковым для того, кто перевешивал в ее чувствах весь остальной мир. Борьба в ее душе кончилась, только когда она четко и безошибочно узнала своего мужа, выезжающего из леса в том самом месте, где он въехал в него. Обратная тропа, к несчастью, лежала непосредственно возле места, где столь внезапный ужас охватил ее душу. Она отдала бы миры, лишь бы знать, как предупредить его об опасности, переполнявшей ее собственное воображение, не доводя это предостережение до других воплощающих угрозу ушей. Ночь стояла тихая, и хотя расстояние было значительное, оно не было так велико, чтобы сделать шансы на успех безнадежными. Едва сознавая, что делает, но тем не менее сохраняя благодаря какому-то инстинктивному благоразумию осторожность, которую постоянная настороженность вплетает в наши привычки, трепещущая женщина сделала усилие.

— Муж! Муж! — закричала она сперва жалобно, но затем повышая голос с энергией, которую ей придавало волнение. — Муж! Скачи быстрее, наша маленькая Руфь лежит в горячке! Ради ее жизни и твоей скачи во весь опор! Не ищи конюшню, а скачи как можно скорее к задним воротам, они будут открыты для тебя!

Это было, разумеется, ужасное известие для слуха отца, и нет сомнения, что, хвати слабых сил Руфи, чтобы передать слова так далеко, как ей хотелось, они

бы произвели желаемое действие. Но она звала напрасно. Ее слабый голос, хотя и прозвучавший на самых высоких нотах, не мог покрыть такое большое пространство. И все-таки она имела основание думать, что ее усилия были не совсем напрасны, так как сперва ее муж задержался и, казалось, вслушивался, а затем ускорил шаг своей лошади, хотя за этим не последовало никакого дальнейшего знака, что он понял сигнал тревоги.

Контент был теперь на самом бугре. Если Руфь вообще дышала в это время, то ее дыхание было неуловимее, чем нежнейшее дыхание спящего ребенка. Но когда она увидела, как он с неосознанной уверенностью едет рысью вдоль тропы со стороны, ближней к жилищам, ее нетерпение прорвало все препоны, и, распахнув задние ворота, она возобновила свои крики голосом, который уже нельзя было не услышать. Цоканье неподкованных копыт снова ускорилось, и еще через минуту муж гарцевал невредимый возле нее.

— Входи! — сказала жена в полуобморочном состоянии, схватив поводья и вводя лошадь внутрь частокола. — Входи, муж, во имя всех, кого ты любишь, входи и вознеси благодарность!

— Что означает этот испуг, Руфь? — спросил Контент, видимо, не без чувства радости в той мере, какую он мог выказать человеку, обнаружившему слабость в отношении его. — Разве ты потеряла веру в Того, чье око никогда не смежается и кто равно оберегает жизнь человека и жизнь подбитой пташки?

Руфь не слушала. Она поспешно задвинула засовы, поставила на место запоры и повернула ключ тройного замка. И только тогда почувствовала себя в безопасности и в состоянии вознести благодарность за спасение того, за чью жизнь она так недавно испытывала страх.

— Зачем эти предосторожности? Ты забыла, что лошадь голодна, а отсюда далеко до яслей и кормушки?

— Лучше пусть она голодает, чем хоть один волос упадет с твоей головы!

— Ну, ну, Руфь, ты, наверное, забыла, что это животное — любимица отца, а он не потерпит, чтобы оно провело ночь внутри ограды.

— Муж, ты ошибаешься. В полях кто-то есть.

— А разве есть место, где Его нет?

— Но я видела смертного и к тому же того, который не имеет прав на тебя или на то, что принадлежит тебе, и который посягает на наш покой не меньше, чем на наши естественные права быть там, где притаился он.

— Перестань. Ты не привыкла так рано отрывать голову от подушки, моя бедная Руфь. На тебя напал сон, пока ты высматривала меня. Какое-нибудь облако отбросило тень на поля или, может быть, охотники отогнали зверей не так далеко от вырубки, как мы думали. Пойдем, раз ты хочешь быть рядом со мной; держи поводья, пока я освобожу лошадь от поклажи.

Когда Контент невозмутимо отправился выполнять намерение, о котором упомянул, мысли его жены тут же переключились от прежних источников беспокойства на предмет, лежавший на крупе лошади и до сих пор совершенно ускользавший от ее внимания.

— Вот оно, животное, которого сегодня недостает в нашей отаре! — воскликнула она, когда тело барана тяжело свалилось на землю.

— Да, и забитое по суровому приговору, раз мы не сумели присмотреть за ним должным образом. В баранине на празднике молотьбы недостатка не будет, зато овца, чьи дни были бы сочтены, проживет еще год.

— Где же ты нашел забитую скотину?

— На суке молодого орехового дерева. Ибен Дадли с его уменьем разделывать туши и предлагать отборное мясо не мог оставить животину висеть на суку. Как

видишь, недостает только одного куска туши и шерсть для тебя — в целости.

— Это не дело рук пикода! — воскликнула Руфь, удивленная собственным открытием. — Краснокожий творит свое злое дело не так аккуратно.

— И не волчьи клыки вспороли брюхо бедняги Прямые Рога. Здесь видно уменье свежевать и умеренность в потреблении пищи. Рука, отрезавшая так немного, намерена сделать это еще раз.

— И наш отец просил тебя отыскать барана там, где ты его нашел. Муж, боюсь, что суровый суд за грехи родителей, похоже, падет на детей.

— Дети мирно спят, а потому вреда для нас нет. Я сниму недоуздок с животного в стойле, прежде чем идти спать, а Прямые Рога порадует нас на молотьбе. Может, баранина будет не так вкусна из-за этого злосчастного случая, но численность твоей отары не изменится.

— А где тот, кто присоединился к нашим молитвам и вкусил от нашего хлеба; тот, кто так долго совещался по секрету с нашим отцом и кто исчез, словно привидение?

— Это в самом деле вопрос, на который у меня нет ответа, — сказал Контент, до этого сохранявший веселый вид, чтобы развеять, как он считал, беспричинный страх в душе своей спутницы, но при этом вопросе опустивший голову, как человек мысленно ищущий ответ. — Это не имеет значения, Руфь Хиткоут. Наши дела в руках человека немалых лет жизни и с большим опытом. И если его жизненной мудрости недостанет, разве мы не знаем, что некто еще более мудрый, чем он, оберегает нас? Я отведу животное в стойло, а потом мы вместе испросим милости Того, кто никогда не смыкает вежды, и с верой в него отправимся на покой.

— Муж, ты больше не выйдешь за частокол этой ночью, — сказала Руфь, останавливая, прежде чем заговорить, руку, уже отодвигавшую засов. — Я предчувствую недоброе.

— Я предпочел бы, чтобы незнакомец нашел другое убежище для недолгого отдыха. То, что он своевольно поступил с моей отарой и удовлетворил свой голод такой ценой, когда стоило лишь попросить, и ему охотно предложили бы лучшее из того, чем хозяин Виш-Тон-Виша может распорядиться, — это правда, которой нельзя отрицать. Ведь он смертный человек, как доказал его добрый аппетит, и наша вера в Провидение не должна порождать сомнение в его нежелании попустительствовать, чтобы несправедливость поселилась в наших телах и душах. Говорю тебе, Руфь, что конь понадобится завтра утром для работы и отец не поблагодарит нас, если мы оставим его ночевать на этой холодной стороне холма. Иди отдыхай и помолись, трусиха. Я позабочусь как следует запереть задние ворота. Не бойся: незнакомцу присущи человеческие нужды, и во власти человека положить предел его способности творить зло.

— Я не боюсь человека белой крови или христианского рода. Но в наших полях кровожадный язычник.

— Тебе снится, Руфь!

— Это не сон. Я видела горящие глазницы дикаря. Не до сна, когда приходится сторожить, как в этот раз. Мне подумалось, что неизвестно, каково это поручение, что наш отец слишком стар, что невольно чувства могли его обмануть и не следует подвергать опасности послушного сына. Ты же знаешь, Хигкоут, что я не могла равнодушно смотреть на опасность, грозящую отцу моих детей, и я пошла за тобой до бугра с ореховым деревом.

— С ореховым деревом! Это было неразумно с твоей стороны. А задние ворота?

— Они были открыты. Ведь, будь ключ повернут, кто бы быстро впустил нас, если бы возникла нужда поспешить? — возразила Руфь, отвернувшись на минуту, чтобы скрыть краску, вызванную сознанием вины. — Хоть я и была неосторожна, я сделала это ради твоей безопасности, Хиткоут. Но на том бугре в яме, оставленной упавшим деревом, спрятался язычник!

— Я проезжал орешник мимо скотобойни нашего необычного мясника и натянул повод, чтобы дать передохнуть лошади возле нее, когда мы возвращались с поклажей. Этого не может быть. Какой-нибудь лесной зверь встревожил тебя.

— Нет! Телом, видом, поведением — во всем такое же создание, как мы, кроме цвета кожи и благодати веры.

— Это странное наваждение! Если бы здесь поблизости были враги, разве люди хитрые, как те, кого ты боишься, позволили бы ускользнуть хозяину жилища и человеку, скажу по правде, без самохвальства, не хуже их способному постоять за себя, но которого поездка в лес не ко времени отдает без сопротивления в их руки? Полно, полно, моя добрая Руфь, ты, наверное, видела почерневшее бревно, а может быть, изморозь не тронула жука-светлячка или могло случиться, что беспокойный медведь почуял сладкий запах от твоих недавно вернувшихся в улей пчел.

Руфь снова твердо положила свою ладонь на руку мужа, который отодвинул другой засов и, пристально глядя ему в лицо, ответила торжественным тоном и с трогательным пафосом:

— Не думаешь ли ты, муж, что глаза матери могут обмануться?

Возможно, упоминание о нежных существах, чья судьба зависела от его заботы, либо глубоко серьезное,

хотя и мягкое и уважительное поведение супруги произвели более сильное впечатление на душу Контента. Вместо того чтобы разобрать запоры задних ворот, как он намеревался, он снова неторопливо задвинул их и застыл в раздумье.

— Если от этого и не будет иной пользы, кроме как успокоить твои страхи, милая Руфь, — сказал он после минутного размышления, — немного осторожности окупится сполна. Тогда оставайся здесь, откуда можно видеть бугор, а я пойду разбужу пару человек. С крепышом Ибеном Дадли и опытным Рейбеном Рингом, чтобы прикрыть меня, лошадь отца можно спокойно поставить в стойло.

Руфь с удовлетворением восприняла задание, которое была готова выполнить равным образом с пониманием и усердием.

— Поспеши в жилье работников, ибо, я вижу, свет еще горит в комнате тех, кого ты ищешь, — был ее ответ на предложение, которое, по крайней мере, успокоило ее страхи за того, из-за кого она еще так недавно чуть не впала в отчаяние.

— Я обернусь быстро. Эй, не стой так открыто в створе ворот, жена! Ты можешь устроиться здесь, где двойные балки под косяком и где вряд ли тебе могут причинить вред, хотя артиллерийский выстрел сокрушил бы дерево.

С этим напутствием остерегаться опасности, которую он совсем недавно был склонен презирать, Контент отправился по своему делу. Двое работников, названных им по именам, были молодыми людьми с характером и физически сильные, и оба были хорошо приучены к труду не меньше, чем к специфическим лишениям и опасностям жизни на границе. Подобно большинству мужчин их возраста и сложения, они были также хорошо знакомы с уловками коварных индейцев, и, хотя провинция Коннектикут, в сравнении с другими

поселениями, меньше пострадала в этого рода смертоносной войне, оба владели боевым мастерством и лично пережили опасности, дающие им право рассказывать об этом во время нетрудных работ длинными зимними вечерами.

Контент пересек двор быстрым шагом, ибо, несмотря на упрямое недоверие, образ его славной жены, стоявшей на своем посту снаружи, заставлял его спешить. Стук в дверь, когда он добрался до жилища тех, кого искал, был громким и неожиданным.

— Кто там? — спросил низкий и твердый голос изнутри при первом же ударе костяшками пальцев по дереву.

— Быстро вылезай из постели и выходи с оружием для вылазки.

— Будет тотчас сделано, — отвечал решительный лесной житель, распахнув дверь и представ перед Контентом в одежде, которую он носил весь день. — Нам как раз снилось, что ночь не пройдет без призыва к оружию.

— Ты что-то видел?

— Наши глаза были закрыты не больше, чем у других. Мы видели, как он вошел, но никто не видел, как ушел.

— Пошли, парень. Даже Уиттал Ринг вряд ли сказал бы речь умнее, чем этот ловкий твой ответ. Моя жена у задних ворот, и мы должны сменить ее. Не забудь рог с порохом, ибо не к нашей чести, если возникнет надобность пустить в ход оружие, а нам нечем будет выпустить по врагам второй заряд.

Работники повиновались, и по прошествии короткого времени, которое понадобилось, чтобы вооружить тех, кто никогда не ложился спать без оружия и амуниции на расстоянии вытянутой руки, челядь Контента поспешно последовала за ним. Руфь застали на ее посту. Но когда муж стал побуждать ее

рассказать, что же произошло в его отсутствие, ей пришлось признаться, что, хотя луна, выйдя из облаков, светила ярче и яснее, она не видела ничего такого, что подтверждало бы ее тревогу.

— Тогда мы отведем скотину в конюшню и выполним свой долг, поставив одного часового на остаток ночи, — сказал муж. — Рейбен будет сторожить задние ворота, а я и Ибен присмотрим за лошадью отца, не забывая о туше для праздника жатвы. Ты слышал, глухой Дадли? Брось барана на круп коня и шагай к конюшне.

— Здесь приложил руку не простак в моем ремесле, — заметил туповатый Ибен, который, хоть и был обыкновенным работником на ферме, но по обычаю, все еще преобладавшему, как правило, в этих местах, был также искусен в ремесле мясника. — Я лишил жизни многих баранов, но это первый за всю мою практику, сохранивший шерсть, когда часть туши попала в котел! Лежи там, бедняга Прямые Рога, если можешь покоиться с миром после такого странного забоя. Рейбен, я уплатил тебе на восходе солнца испанскую серебряную монету как пустячную сумму за сапоги лучше некуда, что ты сделал для последней охоты в холмах. Та монета при тебе? На этот вопрос, заданный пониженным тоном и только на ухо тому, кому он предназначался, последовал утвердительный ответ.

— Дай-ка мне ее, парень; утром тебе заплатят проценты за износ.

Повторный оклик Контента, который вел лошадь, нагруженную тушей барана, со стороны задних ворот, оборвал тайное совещание. Ибен Дадли, получив монету, поспешил вслед хозяину. Но расстояние до наружных построек было достаточным, чтобы он смог незаметно осуществить свое таинственное намерение. Пока Контент старался успокоить тревогу жены,

которая все еще порывалась разделить с ним опасность, теми доводами, что тут же приходили ему в голову, Дадли положил тонкий кусочек серебра между зубами и, обнаружив необыкновенную силу своих челюстей, заставил его принять плоскую и округлую форму. Затем он ловко загнал сплющенную монету в дуло своего ружья, озаботясь убедиться, что она останется там до тех пор, пока он сам не пошлет ее по ее расколдовывающему от чар назначению с помощью пыжа, оторванного от подкладки его одежды. Воодушевленный этим грозным вспомогательным средством, суеверный, но тем не менее храбрый житель пограничной полосы зашагал вслед за своим спутником, насвистывая тихий напев, в одинаковой степени выражавший его равнодушие к опасности обычного рода и его восприимчивость к впечатлениям менее земного характера.

Те, кто живет в более старых округах Америки, где мастерство и трудолюбие соединялись в поколениях, чтобы расчищать землю от неровностей и стереть следы ее природного состояния, могут составить лишь малое представление о тысяче вещей в местах вырубок, которые способны поразить воображение человека, встревоженного увиденным в неверном свете даже не закрытой облаками луны. Еще менее это могут сделать те, кто никогда не покидал Старый Свет, и, только увидев воочию, смогут вообразить себе поля, гладкие, как поверхность спокойной воды, и обрисовать впечатление, производимое тем, что осталось от давно сгнивших деревьев, разбросанных в этот час на широком пространстве расчищенной земли. Как ни были привычны к такому зрелищу Контент и его спутники, возбужденные своими страхами, они видели в каждом темном и дальнем пне дикаря и не пропускали ни одного уголка высокого и прочного частокола, не

бросив пытливого взгляда, чтобы убедиться, не распластался ли враг в его тени.

Однако никакого нового повода для опасений за то короткое время, что двое храбрецов занимались уходом за лошадью Пуританина, не возникло. Задача была выполнена, туша забитого барана Прямые Рога надежно укрыта, и Руфь уже торопила мужа с возвращением, когда их внимание привлекло поведение и выражение лица их спутника.

— Человек ушел, как пришел, — сказал Ибен Дадли, стоявший, качая головой, в явном сомнении, перед пустым стойлом. — Здесь нет скотины, хотя я собственными глазами видел, как дурачок принес сюда полную меру овсяной мешанки, чтобы накормить лошадь. Тот, кто почтил нас своим присутствием за ужином и благодарственной молитвой, устал от компании раньше, чем настал час отдохновения.

— Коня и вправду нет, — сказал Контент. — Человек, должно быть, отчаянно спешил, раз ускакал в лес глубокой ночью, зная, что и в самый долгий летний день он вряд ли достал бы лучшего коня, чем тот, на котором он поспешил к другому христианскому жилью. Для такой прыти явно есть причина, но хватит и того, что нас это не касается. А теперь мы отправимся на боковую в уверенности, что Тот, кто бдит без устали, обережет наш сон.

Хотя человек в тех местах не может довериться сну, не обезопасив себя запорами и замками, мы уже имели случай сказать, что за хозяйством приглядывали без особой заботы. Двери конюшни были просто закрыты на деревянную щеколду, и группа вернулась из этой короткой экспедиции, слегка ускорив шаг из-за чувства какого-то беспокойства, овладевшего каждым в соответствии с его характером. Но до укрытия было рукой подать, и к нему добрались быстро.

— Ты ничего не видел? — спросил Контент Рейбена Ринга, славившегося своим острым глазом и сообразительностью, отличавшими его не меньше, чем беспомощность его брата. — Ты ничего не заметил за свое дежурство?

— Ничего необычного, и все же мне не нравится то бревно возле частокола напротив бугра. Не будь это наверняка полуобгорелый кряж, можно подумать, что он живой. Но когда работает воображение, зрение обостряется. Пару раз мне показалось, что он катится в сторону ручья. Я и сейчас не уверен, что, когда впервые увидел его, он не лежал футах в восьми или десяти выше по склону.

— Это может быть и живое существо!

— Если доверять глазу лесного жителя, это вполне возможно, — заметил Ибен Дадли. — Но будь оно одержимо даже легионом злых духов, его можно усмирить петлей на ближайшем углу. Посторонитесь, мадам Хиткоут (ибо положение и богатство владельцев долины давало Руфи право на такое уважительное обращение работников), дайте мне прошить его... Постойте-ка, в моем ружье особая, заговоренная пуля, которую, пожалуй, грешно тратить на такую тварь. Ведь это может оказаться всего-навсего медведь-сладкоежка. Я оплачу выстрел, если одолжишь мне твой мушкет, Рейбен Ринг.

— Этого не будет, — заявил Контент. — Человек, которого знает мой отец, переступил этой ночью порог нашего дома и ел за нашим столом. Если он уехал таким мало привычным для жителей этой колонии образом, то тем не менее не совершил большого проступка. Я подойду ближе и выясню, он ли это, с меньшим риском ошибиться.

В этом намерении было слишком много стремления поступать правильно, царившего во всех тогдашних простодушных провинциях, чтобы оно встретило

серьезные возражения. Контент, поддержанный Ибеном Дадли, снова покинул задние ворота и направился прямо, хотя и достаточно осторожно, к месту, где лежал подозрительный предмет. Изгиб частокола позволил увидеть его, ибо до этого места его на некоторое время скрывала тень, падавшая от частокола, а в той самой точке, откуда он опять стал виден, ограждение неожиданно оказалось на одной линии с глазами зрителей. Казалось, кто-то следит за приближающимися, ибо в тот самый момент, когда они покидали укрытие, темный предмет был явно неподвижен: даже Рейбен Ринг с его острым глазом стал сомневаться, не заставил ли его некий обман зрения в конечном счете принять кусок дерева за живое существо.

Но Контент и его спутник не были намерены изменить свое решение. Даже когда они очутились в пятнадцати футах от предмета, и, несмотря на то, что полная луна бросала яркий свет на землю, его вид порождал догадки. Один утверждал, что это конец обугленного бревна, каких много все еще валялось по полям, а другой считал, что это какой-то прячущийся лесной зверь. Дважды Контент поднимал ружье, чтобы выстрелить, и столько же раз опускал его, не желая ранить пусть даже четвероногое, о котором не имел представления. Более чем вероятно, что его не столь щепетильный и лишь наполовину послушный спутник решил бы вопрос вскоре после того, как они покинули задние ворота, если бы необычное содержимое его мушкета не заставляло пользоваться им с осторожностью.

— Держи наготове оружие, — сказал первый из них, доставая из ножен свой охотничий нож. — Мы подберемся поближе и выясним, что это там.

Они так и сделали, и Дадли с силой ткнул своим ружьем в сомнительный предмет, прежде чем тот снова

проявил признаки жизни или движения. Затем, действительно, как если бы дальнейшая маскировка потеряла смысл, индейский паренек лет пятнадцати неторопливо поднялся на ноги и встал перед ними с угрюмым достоинством захваченного в плен воина. Контент поспешно схватил подростка за руку, и в сопровождении Ибена, который изредка заставлял пленника ускорять шаг, подталкивая того прикладом, они торопливо возвратились под защиту укреплений.

— Ставлю свою жизнь против жизни Прямых Рогов, которая нынче недорого стоит, — сказал Дадли, задвинув последний засов в его гнездо, — этой ночью мы больше не услышим о приятелях этого краснокожего. Я никогда не слыхал, чтобы индеец поднимал крик, если разведчик попадает в руки врага.

— Это, может быть, и так, — возразил Контент, — и все же спящих домочадцев надо охранять. Мы можем положиться на всевидящую милость Провидения, не пренебрегая собственным мужеством, пока не взойдет солнце.

Контент был человеком немногословным, но исключительно твердым и решительным в нужный момент. Он полностью сознавал, что индейский юноша вроде пойманного ими не был бы застигнут в том месте и при тех обстоятельствах, в которых он был фактически схвачен, не будь у индейцев далеко идущего замысла, оправдывающего такой риск. Нежный возраст подростка также не внушал уверенности, что у того не было сопровождающих. Но он молча согласился со своими работниками, что захват пленного, вероятно, заставит отсрочить нападение, если таковое замышляется. Поэтому он велел жене удалиться в свою комнату, а сам принял меры для защиты жилища в случае крайней необходимости. Не поднимая ненужной тревоги — мера, которая произвела бы меньшее впечатление на врага, чем внушительная тишина,

царившая теперь внутри укрепления, — он приказал двум или трем из своих самых крепких домочадцев собраться у частокола. Особое внимание было обращено на состояние всех выходов из поселения. Мушкеты тщательно проверили; отдали приказ быть бдительными и расставили постоянные посты под прикрытием зданий в местах, где, сами оставаясь невидимыми, они могли безопасно следить за полями.

Затем Контент взял своего пленника, с которым не попытался перемолвиться хотя бы одним словом, и отвел его в блокгауз. Дверь, сообщавшуюся с нижним этажом этого здания, держали постоянно открытой как путь в убежище на случай любой внезапной тревоги. Он вошел, заставил парня подняться по приставной лестнице этажом выше, а затем, убрав средства для бегства, повернул ключ снаружи в полной уверенности, что его пленник надежно заперт.

Несмотря на все эти хлопоты, почти рассвело, прежде чем голова предусмотрительного отца и мужа обрела подушку. Зато его уверенность не позволила растревожить обитателей дома, не считая е|р самого и его жены, так долго не смыкавших глаз в эту ночь, и тех немногих, чьи услуги были необходимы во имя безопасности. К исходу ночи образы только что пережитых сцен стали расплываться и путаться, а затем оба, и муж и жена, заснули здоровым и счастливым сном без помех.

ГЛАВА V

Скажи, какой смельчак! Сейчас с тобой я разберусь.

«Кориолан»

Топор и факел были пущены в ход вокруг жилья Хиткоутов своевременно и результативно. Двойная цель была достигнута путем расчистки большей части остатков леса по соседству с постройками. Необходимые для земледелия работы были выполнены с меньшей затратой сил, и — соображение немалой важности — прикрытие, которое американский дикарь, как известно, ищет при нападении, было отодвинуто на расстояние, значительно уменьшавшее опасность внезапной атаки.

В силу преимущества, полученного благодаря такой предусмотрительности и светлой ночи, которая вскоре стала соперничать с яркостью дня, обязанность Ибена Дадли и его помощника по караулу не была обременительной. В самом деле, к утру они чувствовали себя настолько уверенно, главным образом по причине поимки индейского парнишки, что не раз их глаза, вопреки требованиям службы, смыкались, уступая дремоте и привычке, либо открывались ненадолго, оставляя своих хозяев в некотором недоумении относительно течения времени. Но едва появились признаки наступления дня, как, согласно полученным инструкциям, часовые добрались до своих постелей и проспали пару часов крепко и без опаски.

Когда отец завершил утренние молитвы, Контент в кругу собравшейся семьи сообщил о событиях минувшей ночи то, что, по его мнению, представлялось

необходимым. Он благоразумно ограничился рассказом о поимке юного туземца и о том, как распорядился выставить часовых для охраны семьи. По поводу своей собственной вылазки в лес и всего, что с этим связано, он осмотрительно умолчал.

Нет необходимости передавать, как была воспринята эта тревожная информация. Холодное и сдержанное выражение лица Пуританина стало еще более задумчивым; молодые люди выглядели угрюмыми и настроенными решительно; девушки из прислуги побледнели, задрожали и стали перешептываться. А маленькая Руфь и девочка почти ее возраста по имени Марта теснее прижались к хозяйке дома, для которой в этом не было ничего нового и которая приучила себя принимать решительный вид, хотя была далека от такого настроения.

Первым испытанием, обрушившимся на слушателей после того, как их уши жадно впитали информацию, которой так скупо поделился Контент, стало возобновление духовных усилий его отца в форме молитвы. Особое моление просило пролить свет на их будущее, а также испрашивало милость ко всем людям, умиротворения духа тех, кто бродит среди дикой природы в поисках жертв своей ярости, дарования благодати язычникам и, наконец, победы над всеми заклятыми врагами, откуда бы или в каком бы обличье они ни явились.

Укрепив свой дух этими дополнительными упражнениями, старый Марк затем со знанием дела принялся оценивать признаки и свидетельства приближения опасности путем строгого и тщательного выяснения фактических обстоятельств поимки юного дикаря. Контент за свою осмотрительность удостоился заслуженной и благодарной похвалы от того, кого он по-прежнему продолжал чтить с душевным доверием,

ненамного меньшим, чем то, с каким полагался на мудрость отца в дни своего детства.

— Ты поступил хорошо и мудро, — сказал отец. — Но от тебя потребуется еще большая мудрость и стойкость. Мы получили известие, что язычники возле Плантаций Провиденса неспокойны и обращают свои души к злонамеренным советчикам. Нам не следует спать с чрезмерной беспечностью только из-за того, что между их деревнями и нашей расчищенной местностью лежат несколько дней перехода через лес. Приведите пленного, я допрошу его, чего ради он сюда явился.

До этой минуты всеобщие страхи были настолько обращены на врагов, которые, как полагали, притаились поблизости, что мало кто думал о запертом в блокгаузе индейце. Контент, хорошо знавший неколебимую решимость, равно как и хитрость, индейцев, не стал допрашивать его сразу после поимки, ибо считал, что момент требовал проявить бдительность, а не тратить время на допрос, который характер мальчишки, похоже, делал совершенно бесполезным. Однако теперь, поскольку обстоятельства делали медлительность неуместной, он с вновь пробудившимся интересом отправился за пленником, чтобы представить того на испытующий суд своего властного отца.

Ключ от подвальной двери блокгауза висел там, где его оставили, лестница стояла в стороне, и Контент спокойно поднялся в помещение, куда отвел пленника. Комната была самой нижней из трех, расположенных в этом здании, и все они находились над той, которую можно было назвать его фундаментом. Последняя, не имея иного проема, кроме двери, представляла собой темное шестиугольное помещение, частично заставленное предметами, что могли понадобиться в случае тревоги и в то же время часто требовались в домашнем хозяйстве. В центре размещался глубокий

колодец, защищенный каменной стенкой и устроенный таким образом, чтобы воду можно было подать в комнаты наверху. Сама дверь была из массивной строганной древесины. Обтесанные бревна верхних этажей немного выступали за каменную кладку фундамента, причем второй ряд бревен имел несколько бойниц, откуда можно было обстреливать любого осаждающего, приблизившегося на расстояние, угрожающее безопасности цокольного этажа. Как уже было сказано, два основных этажа были снабжены длинными узкими щелями в бревнах, отвечавшими двойной цели: служить окнами и бойницами.

Хотя помещения явно были приспособлены для обороны, простая домашняя обстановка, находившаяся в них, предназначалась под нужды семьи, окажись она вынуждена использовать это здание как убежище. Было здесь также жилье под самой крышей, или чердачный этаж, как уже упоминалось. Но ему вряд ли предназначалась сколько-нибудь важная роль в использовании блокгауза. Тем не менее преимущество, которым он обладал благодаря своему расположению в самом верху здания, не осталось незамеченным. Небольшую пушку того рода, что некогда был известен и многажды использовался под названием «кузнечик», подняли в это помещение, и было время, когда ее справедливо считали последним оплотом безопасности обитателей дома. В течение нескольких лет ее жерло могли лицезреть все посещавшие долину воинственные аборигены, на коих она хмуро глядела сквозь одно из тех отверстий, что ныне были превращены в застекленные окна. И есть основание думать, что репутация, которую молчаливо заслужило это маленькое артиллерийское орудие, немало способствовало сохранению непотревоженного мира в долине.

Слово «непотревоженный», быть может, чересчур сильное, на самом деле тревоги случались не однажды, хотя никаких настоящих актов насилия не было совершено в границах владений, которые Пуританин считал своими. В одном только случае дело зашло так далеко, что ветерану пришлось занять свой пост на этом чердаке, где, можно не сомневаться, он, если бы того потребовала ситуация, соответствующим образом проявил бы свое знание науки артиллерийской стрельбы. Но простая история Виш-Тон-Виша дала другое доказательство политической истины, не слишком часто предлагаемой вниманию наших соотечественников. Мы считаем, что лучшая гарантия мира — это готовность к войне. В данном случае неприязненная позиция, занятая старым Марком и его людьми, позволила добиться всего, чего они хотели, не доводя дело до крайностей кровопролития. Такие мирные победы гораздо больше согласовались с принципами Пуританина в настоящее время, чем с безрассудным нравом, управлявшим им в молодости.

В причудливом и фанатичном характере той эпохи он внушил семье чувство благодарности к орудию, охранявшему их безопасность, и с этого момента сама комната стала любимым прибежищем старого солдата. Сюда он часто поднимался даже глубокой ночью, чтобы предаться тем тайным духовным упражнениям, которые составляли самое большое утешение и, по-видимому, главное занятие в его жизни. Вследствие этой привычки чердак блокгауза в глазах домочадцев со временем превратился в некую священную обитель хозяина долины. Заботой и мыслью Контента она постепенно обзавелась многими удобствами, способствовавшими личному комфорту его отца, когда того одолевали духовные борения. Было известно, что старик пользовался матрацем, находившимся в комнате среди прочих вещей, и проводил на нем в уединении время

между закатом и восходом солнца. Отверстие, оригинально вырезанное, чтобы выставить «кузнечика», было застеклено, и никто ни разу не видел, чтобы спустили вниз хоть один предмет комфорта, однажды поднятый по тяжелой лестнице в комнату на чердаке.

Было что-то в суровой святости Марка Хиткоута, что благоприятствовало его образу жизни анахорета[48]. Молодые домочадцы воспринимали его непреклонный вид и оттенявшую последний невозмутимую суровость взгляда с почтением, близким к благоговейному трепету. Будь врожденная доброжелательность его характера менее проверена временем или будь он вовлечен в активную жизнь в более давние времена, он легко мог бы разделить судьбу тех, кого его соотечественники не уставали преследовать за то, что они, по поверью, действовали под влиянием нечестивых сил. При настоящих обстоятельствах, однако, это чувство не заходило дальше глубокого и всеобщего почтения, предоставившего предмету своего внимания и маленькому артиллерийскому орудию спокойно владеть жилищем, вторжение в которое было бы расценено как акт, граничащий со святотатством.

Дело, побудившее Контента посетить здание, чью историю и описание мы сочли целесообразным изложить достаточно подробно, привело его лишь до самого нижнего из жилых помещений, предусмотренных на случай войны. Поднимаясь по лестнице, он впервые испытал сомнение, правильно ли было оставлять мальчика так долго без утешительных добрых слов или жеста милосердия. Однако его несколько успокоил вывод, что душа интересующего его человека способна выдержать и большие испытания.

Юный индеец стоял перед одной из бойниц, так пристально глядя на отдаленный лес, где он совсем

недавно скитался на свободе, что не обернулся, даже когда его одиночество нарушил приход поймавшего его человека.

— Выходи из своей темницы, дитя, — мягко проговорил Контент. — Какова бы ни была причина твоего тайного выслеживания вблизи этого дома, ты человек и должен испытывать человеческие нужды. Выходи и получи пищу, здесь никто не причинит тебе вреда.

Язык сочувствия универсален. Хотя слова говорившего были непонятны тому, чьим ушам они предназначались, их смысл передавался доброжелательностью речи. Мальчик медленно отвлекся от созерцания леса и принялся долго и пристально всматриваться в лицо своего пленителя. Тогда Контент в самом деле спохватился, что говорит на языке, незнакомом его пленнику, и попытался дружелюбными жестами пригласить парня следовать за собой. Тот повиновался молча и спокойно. Однако, когда они достигли двора, осторожность хозяина возобладала над чувством сострадания.

— Принеси сюда вон те путы, — приказал он Уитталу Рингу, который в эту минуту направлялся к конюшне. — Здесь один парень, дикий, как самый необъезженный из жеребят. Парень нашей породы и нашего духа, хоть Провидению и было угодно выкрасить его в такой цвет. Но тот, кому молоденький дикарь попадается поутру, должен зорко присматривать за ним днем.

Парень спокойно терпел, пока веревка оборачивалась вокруг одной его руки, но когда Контент собрался проделать то же самое с другой, мальчик выскользнул и с презрением отбросил путы. Этот акт решительного сопротивления, однако, не сопровождался попыткой бежать. Освободившись от уз, вероятно, с его точки зрения означавших недоверие к его способности вытерпеть боль с присутствием духа,

свойственным настоящему воину, парень спокойно и гордо повернулся к своему тюремщику и взглядом, в котором сверкнули одновременно презрение и высокомерие, казалось, открыто выразил полноту своего гнева.

— Пусть будет так, — решил невозмутимый Контент. — Раз тебе не нравятся путы, несмотря на мужскую гордость, часто полезные для тела, пользуйся своими членами, но смотри, чтобы они не сотворили худа. Уиттал, присмотри-ка за задними воротами и помни, что запрещено выходить в поле, пока мой отец будет допрашивать этого язычника. Медвежонка редко встретишь вдалеке от коварной взрослой медведицы.

Затем он сделал знак мальчику следовать за собой и направился к дому, где отец, в окружении большинства членов семьи, ожидал его прихода. Беспрекословная домашняя дисциплина была одной из удивительных черт быта пуритан. К этой суровости поведения, присущей, как полагали, людям падшим и испытуемым, приучались рано, ибо среди тех, кто считал всякое веселье греховным легкомыслием, умение владеть собой с готовностью начинает цениться как основа добродетели. Но каковы бы ни были особые достоинства Марка Хиткоута и его домочадцев в этом отношении, их, похоже, превзошла демонстрация тех же качеств со стороны юноши, так необычно ставшего их пленником.

Мы уже говорили, что это дитя леса выглядело лет на пятнадцать. Хотя он вытянулся подобно сильному и буйному растению, расцветающему на свободе в родных лесах и возносящему ветви к свету, его тело еще не обрело облика мужчины. Ростом, фигурой и поведением он являл образец деятельного, естественного и грациозного отрочества. Отличаясь красотой пропорций, его члены не были мускулистыми; каждое движение все еще обнаруживало свободу и

непринужденность, свойственные детскому возрасту, без малейших признаков той скованности, которая закрадывается в наши манеры, когда условности более взрослой жизни начинают оказывать свое влияние. Гладкий округлый ствол рябины не более прям и свободен от пороков, чем была фигура подростка, который вошел в любопытствующий круг, расступившийся при его появлении и снова сомкнувшийся за ним, с твердостью человека, пришедшего жаловать, а не быть судимым.

— Я его допрошу, — сказал старый Марк Хиткоут, внимательно всматриваясь в острый и невозмутимый взгляд, встретившийся с его пристальным и суровым взглядом с таким равнодушием, с каким менее разумный обитатель лесов мог выдержать взгляд человека. — Я допрошу его, и, быть может, страх, сорвет с его губ признание зла, которое он и его соплеменники замыслили против меня и моих.

— Я думаю, он не знает нашего языка, — возразил Контент, — так как ни добрые, ни гневные слова не заставляют его измениться в лице.

— Тогда подобает, чтобы мы начали с обращения к Тому, кто владеет тайной заставить каждого раскрыть свое сердце нам в помощь. — Затем Пуританин возвысил голос в краткой и чрезвычайно своеобразной молитве, в которой он просил Устроителя Вселенной, чтобы, если его молитва угодна, в ходе допроса свершилось немалое чудо. С этими приготовлениями он перешел прямо к делу. Но ни вопросы, ни знаки, ни молитва не произвели даже самого малого зримого действия.

Подросток внимательно смотрел на жесткое и суровое выражение лица допрашивающего, пока слова слетали с его губ, но как только тот замолкал, пытливый и быстрый взгляд мальчика обегал полные любопытства лица окружавших его людей, словно он

больше доверял чувству зрения, чем слуха, пытаясь получить информацию относительно своей будущей судьбы. Выяснилось, что невозможно добиться от него жеста или звука, способных выдать цель его подозрительного появления, его собственное имя либо название его племени.

— Я побывал среди краснокожих с Плантаций Провиденс, — в конце концов отважился заговорить Ибен Дадли, — и их язык, хоть это искаженный и бессмысленный жаргон, мне знаком. С позволения всех присутствующих, — продолжал он, глядя на Пуританина с выражением, подчеркивавшим, что это общее обращение имело в виду одного его, — с позволения всех присутствующих я так поведу разговор с этим юнцом, что он будет рад ответить.

Получив согласие взглядом, житель пограничья произнес несколько странных горловых звуков, каковые, правда, совершенно не возымели действия, но, как он решительно настаивал, были обычным выражением приветствия среди людей, к которым, как полагали, принадлежал пленник.

— Я уверен, что он из племени наррагансетов, — заявил Ибен, покраснев от досады за свое поражение и бросив не слишком дружелюбный взгляд на юношу, столь ощутимо отвергнувшего его претензию на знание индейских языков. — Видите, у него морские ракушки вделаны в кайму мокасин, а кроме того, у него знак, который так же верно, как ночное небо звезды, носит изображение вождя, убитого пикодами по-нашему, христиан, наущению после одного дела, в коем, будь оно сделано хорошо или плохо, я сам принимал некоторое участие.

— И как же звали вождя? — спросил Марк.

— Ну, у него были разные имена в зависимости от того, чем он занимался. Некоторым он был известен как Прыгучая Пума, потому что прыжок у него был

необыкновенный, а другие, опять же, привыкли называть его Неуязвимым, ибо поговаривали, будто ни пуля, ни сабля не могли войти в его тело, хотя это была неправда, как полностью доказала его смерть. Но его настоящее имя, согласно обычаям и наречию его собственного народа, было Май Антони Мо.

— Май Антони Мо!

— Да. Май означает, что он был их вождем. Антони — данное ему имя, а Мо — это род, из которого он вышел, — подтвердил Ибен с апломбом, довольный, что наконец-то сумел произнести достаточно звучное имя и объяснить совершенно ясно его этимологию. Но действия пленника, когда эти сомнительные звуки поразили его слух, отвели критику от возможной мишени. Руфь отпрянула и теснее прижала к себе свою маленькую тезку, увидев ослепительный блеск его горящих глаз и внезапно и выразительно раздувшиеся ноздри. На мгновение его губы оставались сжатыми с большей, чем обычно, силой выдержки, присущей индейцу, а затем они слегка раздвинулись. Слабый, нежный и, как призналась даже испуганная хозяйка дома, жалобный звук вырвался сквозь них, повторив печально:

— Миантонимо!

Слово было произнесено с отчетливым, но глубоким горловым произношением.

— Мальчик скорбит о своем отце! — воскликнула растроганная мать. — Рука, умертвившая воина, быть может, совершила злое дело.

— Я вижу в этом очевидную и указующую волю мудрого Провидения, — торжественно провозгласил Марк Хиткоут. — Юноша был лишен того, кто мог вовлечь его еще глубже в узилище язычников, а сюда он был приведен, чтобы его направили на праведный и узкий путь. Он станет жить среди нас, и мы будем бороться против зла в его душе до тех пор, пока

наставление не одолеет. Накормите его и заботьтесь о нем наравне со всяким живым существом и мирскими вещами, ибо кто знает, что предстоит ему!

Если в этом мнении старого Пуританина и было больше веры, чем рационального, не нашлось никого, чтобы ему возразить. Пока в доме шел допрос подростка, была произведена тщательная разведка в наружных строениях и в прилегающих полях. Занятые этим поручением вскоре возвратились с известием, что даже самого малого следа засады не обнаружено вокруг поселения. И поскольку сам пойманный не имел оружия, как полагается врагу, даже Руфь начала надеяться, что провидческие идеи ее отца насчет мальчика не так уж и несбыточны. Пленника накормили, и старый Марк собрался положить подобающее начало делу, которое он с такой радостью принял на себя, с вознесения благодарений, как вдруг Уиттал Ринг грубо ворвался в комнату и нарушил торжественность приготовлений неожиданным и громогласным выкриком:

— Долой косу и серп! Много дней прошло, как всадники в буйволиных куртках вытоптали поля Виш-Тон-Виша, а подлые вампаноа устраивали засады!

— Опасность близко! — воскликнула чуткая Руфь. — Муж, предупреждение было своевременным.

— И вправду, несколько всадников из леса направляются к дому, но это явно люди нашего племени и веры, так что нам следует скорее радоваться, а не пугаться. Они похожи на посланцев с реки.

Марк Хиткоут прислушивался с удивлением и, быть может, с кратковременной тревогой, но все эмоции тут же улетучились, потому что человек, столь дисциплинированный в душе, редко допускал какое-либо внешнее проявление своих тайных мыслей. Пуританин спокойно отдал приказ снова поместить пленника в блокгауз, отведя верхний из двух основных

этажей для его содержания. А затем приготовился встретить гостей, не имевших обыкновения нарушать покой его уединенной долины. Он еще отдавал необходимые распоряжения, когда во дворе послышался конский топот, и он направился к двери, чтобы приветствовать незнакомых визитеров.

— Мы добрались до Виш-Тон-Виша и до жилища капитана Марка Хиткоута? — спросил тот, кто по своей внешности и более приличной одежде казался главным из четырех человек, составлявших группу.

— По милости Провидения я зовусь недостойным владельцем этого прибежища.

— Тогда столь законопослушный подданный и человек, так давно доказавший свою верность в этой глуши, не прогонит от своих дверей посланцев его помазанного господина[49].

— Тот, кто более велик, чем любой человек на земле, учил нас не закрывать дверь на щеколду. Прошу вас спешиться и разделить с нами то, что мы можем предложить.

С этим вежливым, но своеобразным взаимным представлением всадники сошли наземь и, предоставив лошадей заботам работников фермы, вошли в дом.

Пока служанки Руфи готовили трапезу, подобающую времени и достоинству гостей, Марк и его сын имели полную возможность рассмотреть внешность незнакомцев. Выражение лиц этих мужчин, казалось, в высшей степени соответствовало характеру принимавших их хозяев, будучи, по правде говоря, таким необычно сдержанным и суровым, что возбуждало подозрение, не являются ли они недавно обращенными истовыми приверженцами нравов Колонии, требовавших подавлять страсти.

Несмотря на свою крайнюю суровость и к тому же в противоречии с обычаями тех мест, они

демонстрировали некоторые свидетельства привычки к моде другого полушария. Пистолеты, прикрепленные к седельным лукам, и другое снаряжение военного образца, вероятно, не привлекали бы внимания, если бы не покрой кожаных курток, шляп и сапог, выдававший более тесное общение с исторической родиной, чем было принято среди менее изысканных уроженцев этих мест. Никто не пересекал леса без средств защиты, но, с другой стороны, мало кто носил отнюдь не дружественные принадлежности со столь мирским видом или в сочетании со столь многими мелочами недавнего каприза моды. Но поскольку они представились офицерами короля, те, кого поневоле и больше всего интересовала цель их визита, терпеливо ждали, когда незнакомцы соизволят поделиться, зачем долг позвал их так далеко от любого более привычного человеческого жилья, ибо, подобно исконным владельцам этих земель, сдержанные и истовые приверженцы религии причисляли бестактную поспешность в чем угодно к самым недостойным слабостям.

За первые полчаса визита с осторожных губ этих людей, явно достаточно искусных в исполнении их нынешнего поручения, не слетело ничего, что дало бы ключ к разгадке их цели. Утренняя трапеза прошла почти без разговоров, и, когда один из приезжих поднялся под предлогом необходимости приглядеть за лошадьми, тот, кто казался предводителем, повел речь о предмете, который по своей политической важности предположительно мог иметь отдаленную связь с главной целью поездки в эту уединенную долину.

— Достигло ли вашего далекого поселения известие о милостивом благодеянии, недавно дарованном благодаря расположению короля? — спросил главный из них, выглядевший гораздо менее воинственно,

нежели его более молодой спутник, казавшийся, судя по его самоуверенному виду, вторым по старшинству.

— Какое благодеяние подразумевают твои слова? — спросил Пуританин, бросив взгляд на сына и дочь, прислушивавшихся вместе с другими, как бы предостерегая их проявлять осторожность.

— Я говорю о Королевской Хартии[50], по которой поселенцам на берегах Коннектикута и колонии Нью-Хевен отныне дозволено объединиться и дарована свобода совести и большая свобода самоуправления.

— Подобный дар был бы достоин короля! Карл действительно сделал это?

— Он сделал это и еще более из того, что подобает доброй и истинно королевской душе. Королевство наконец-то избавлено от злоупотреблений узурпаторов, и власть отныне вновь находится в руках рода, надолго отлученного от своих привилегий.

— Остается пожелать, чтобы опыт сделал их сведущими и мудрыми в их поступках, — заметил Марк несколько сухо.

— Это славный принц! И мало склонный к наукам и занятиям своего отца-мученика[51]. Но он великий искусник в беседе, и мало кто из его окружения обладает более острым умом или более бойким языком.

Марк молча наклонил голову, по-видимому, мало расположенный завершить дискуссию о качествах его земного господина заключением, которое могло показаться оскорбительным такому верноподданному обожателю. Человек, склонный к подозрительности, увидел бы или подумал, что видит, определенную двусмысленность во взгляде незнакомца, когда тот расхваливал жизнелюбивые качества восстановленного на троне монарха, что выдавало его желание выяснить, насколько подобные панегирики могут быть приятны хозяину. Однако он молча согласился с пожеланиями

Пуританина, хотя трудно сказать, сознательно или непреднамеренно, и предложил переменить тему.

— Судя по твоему приезду, это известие пришло в Колонии с родины, — подал голос Контент, который понял по суровому и отчужденному выражению лица своего отца, что настало время вмешаться и ему.

— Один человек прибыл в залив на королевском фрегате с месяц назад. Но ни одно торговое судно еще не совершило плавания между нашими странами, исключая корабль, который делает ежегодный рейс из Бристоля в Бостон.

— А тот, кто прибыл, — лицо, облеченное властью, или это просто еще один слуга Господа, желающий воздвигнуть скинию[52] среди дикой природы?

— Ты узнаешь характер его поручения, — возразил незнакомец, искоса бросив взгляд, исполненный коварства, в сторону своих спутников в ту самую минуту, когда поднялся и вложил в руку хозяина бумагу, на которой явственно виднелась государственная печать. — Ожидается, что человеку, имеющему этот официальный документ, будет оказано всяческое содействие любым лицом, доказавшим свои верноподданнические чувства так же, как капитан Марк Хиткоут.

ГЛАВА VI

Но, с вашего дозволения,
Я человек государственный и пришел для разговора.

«Кориолан»

Несмотря на пронзительный взгляд, который посланец короны с умыслом, а теперь и открыто устремлял на хозяина Виш-Тон-Виша, пока тот читал документ, находившийся у него перед глазами, на невозмутимом лице последнего нельзя было уловить и следа тревоги. Марк Хиткоут слишком долго учился обуздывать свои страсти, чтобы позволить вырваться неподобающему проявлению удивления. И по характеру он тоже был человеком достаточно большой выдержки, чтобы выдать свое беспокойство при любом пустяковом признаке опасности. Возвращая пергамент, он с неколебимым спокойствием обратился к сыну:

— Мы должны широко распахнуть двери Виш-Тон-Виша. Вот человек, наделенный властью заглядывать в тайны всех домов Колонии. — Затем, с достоинством обернувшись к агенту короны, он добавил: — Тебе лучше начать исполнять долг не тратя времени. Ибо нас много и места мы занимаем много!

Лицо незнакомца слегка покраснело то ли от стыда за занятие, ради которого он забрался в такую даль, то ли из-за возмущения за столь прямой намек, что, чем скорее его неприятная миссия закончится, тем приятнее будет хозяину. Тем не менее он никоим образом не проявил намерения уклониться от ее выполнения. Напротив, отбросив более обходительную манеру, которую, вероятно, хотел придать своему

поведению, пока выслушивал мнения человека столь строгого нрава, он довольно неожиданно перешел на манеру поведения, более отвечавшую вкусам того, кому он служил.

— Тогда пошли! — воскликнул он, подмигнув своим сотоварищам. — Раз двери открыты, мы показали бы себя людьми плохо воспитанными, если б отказались войти. Капитан Хиткоут был солдатом и знает, как извинить бесцеремонность путешественника. Наверняка человек, вкусивший удовольствия лагерной жизни, должен временами уставать от этой жизни в лесу?

— Тот, кто крепок в вере, не устает, хотя путь долог и странствие горестно.

— Гм, жаль, что сообщение между веселой Англией и этими колониями уже не такое оживленное. Я не собираюсь наставлять джентльмена, который старше и, вполне вероятно, лучше меня, но случай — это все в судьбе человека. Я думаю, нелишне сообщить вам, достойный сэр, что на родине мнения изменились: прошел целый год с тех пор, как я последний раз слышал в разговоре строку из псалмов или цитату из стихов святого Павла. По крайней мере, от людей, которых все уважают за их рассудительность.

— Эта перемена в манере речи больше подходит твоему земному, нежели небесному господину, — сказал Марк Хиткоут сурово.

— Ладно, ладно, пусть будет мир меж нас, не будем препираться по поводу текста так или иначе, если можно избежать проповеди, — возразил незнакомец, больше не проявляя сдержанности, но смеясь достаточно непринужденно собственному остроумию — своеобразное веселье, к которому его спутники присоединились с большой охотой и не слишком считаясь с настроением тех, под чьим кровом находились.

Небольшое рдеющее пятно окрасило бледные щеки Пуританина и снова исчезло, подобно мимолетному обману зрения, произведенному игрой света. Даже мягкий взгляд Контента загорелся при этом оскорблении. Но, подобно отцу, опыт самообладания и никогда не дремлющее сознание собственных несовершенств подавили минутное проявление обиды.

— Если ты наделен властью заглядывать в потайные места наших жилищ, то делай свое дело, — сказал он тоном, напомнившим, что, хотя тот и облечен поручением Стюарта, но находится на краю империи, где даже власть короля утрачивает часть своей силы.

Притворяясь, что осознает, а может быть, действительно осознавая собственную неучтивость, незнакомец торопливо занялся выполнением своего долга.

— Если бы можно было собрать всех домочадцев в одну комнату, это было бы прекрасно и избавило нас от лишних волнений, — сказал он. — Правительство на родине было бы радо узнать кое-что о настроениях подданных в этой далекой части света. У тебя, несомненно, есть колокол, чтобы созывать стадо в урочные часы.

— Наши люди еще возле дома, — ответил Контент, — если тебе угодно, никто не станет уклоняться от обыска.

Заключив по взгляду офицера, что тот настроен серьезно по поводу выраженного желания, колонист спокойно прошествовал к воротам и, приложив раковину ко рту, издал один из тех звуков, что так часто слышатся в лесах, созывая семьи в свои дома, а также служат сигналами для мирного возвращения либо тревоги. Звук вскоре собрал всех, кто находился в пределах слышимости, во дворе, куда теперь отправились Пуританин и его незваные гости, как к

месту, лучше всего отвечающему намерениям последних.

— Хеллем, — сказал главный из четверых визитеров, обращаясь к тому, кто мог бы быть, если уже не был, каким-нибудь младшим офицером в армии короны, ибо одежда выдавала в нем полузамаскированного драгуна. — Оставляю тебя поразвлечь этих добрых людей. Можешь занять время беседой о суетности мира, о чем, полагаю, мало кто может поговорить вразумительно лучше тебя, либо сказать несколько веских слов, предостерегающих о том, как важно твердо придерживаться веры. Но следи, чтобы никто из твоей паствы не трогался с места, ибо каждый из них должен оставаться недвижим, как неблагоразумная жена Лота[53], пока я не загляну во все потаенные места их жилища. Так что заставь свои мозги поработать и покажи свою ловкость в качестве собеседника.

После столь неуважительного поручения своему подчиненному оратор дал понять Контенту и его отцу, что он и оставшийся с ним помощник намерены приступить к более тщательному обследованию помещений.

Когда Марк Хиткоут увидел, что тот, кто так грубо нарушил мирный уклад его семьи, готов продолжить свое дело, он твердым шагом двинулся впереди него подобно человеку, который отважно встречает следователей, и решительным жестом пригласил того за собой.

Незнакомец, может быть, столько же по привычке, как и по заранее намеченному плану, сперва бросил непринужденный взгляд на группу дрожащих служанок, косо глянул даже на скромную и кроткую Руфь, а затем двинулся в направлении, указанном тем, кто бестрепетно взял на себя обязанность проводника.

Объект этого обыска все еще оставался тайной тех, кто его учинил, и Пуританина, который, возможно, узнал его причину из предъявленных ему письменных полномочий. То, что они исходили от надлежащих властей, не вызывало сомнения, и то, что это каким-то образом связано с событиями, как известно, повлекшими столь внезапный и сильный переворот в правлении страной-родиной, все считали вероятным. Несмотря на явную таинственность процедуры, обыск был весьма строгим. В те времена строилось мало жилищ любого размера или вида, которые не содержали бы определенные потайные места, где при необходимости можно было укрыть ценности и даже людей.

Посланцы короля обнаружили хорошее знакомство с характером и обычным расположением этих частных убежищ. Ни один сундук, шкаф и даже большой выдвижной ящик не ускользнули от их бдительного ока. Не было доски, при простукивании выдававшей, что за нею пустота, чтобы хозяина долины не позвали объяснить причину этого. За пару минут доски бывали с силой выдраны из своих пазов, а пустоты за ними обследованы с тщательностью, возраставшей по мере того, как обыск безуспешно продолжался.

Незнакомцы казались раздосадованными своей неудачей. Прошел час в самом придирчивом и скрупулезном поиске, но не обнаружилось ничего, что продвинуло бы их ближе к цели. То, что они начали обыск с более чем явным предвкушением благоприятного результата, можно было заключить по смелости тона, взятого их начальником, и по подчеркнуто личным намекам, которые он время от времени себе позволял, зачастую слишком вольным и всегда по поводу лояльности Хиткоутов. Но когда он завершил обход зданий, побывав повсюду от подвалов до чердаков, его одолела такая сильная досада, что он

не смог удержаться, чтобы до известной степени не выставить напоказ предоставленную ему свободу действий, которую до той поры он старался прикрыть якобы легкомысленным поведением.

— Ты ничего не заметил, мистер Хеллем? — спросил он у личности, оставленной на часах, когда они пересекли двор, покинув последнее из наружных строений. — Или те следы, что привели нас к этому отдаленному поселению, оказались ложными? Капитан Хиткоут, ты видел, что мы явились не без достаточных оснований, и в моей власти заявить, что мы явились не без достаточ…

Прервав себя, словно едва не сказал больше, чем следовало, он вдруг бросил взгляд на блокгауз и спросил, для чего тот служит.

— Это, как ты видишь, здание, возведенное в целях обороны, — ответил Марк, — одно из тех, куда в случае вторжения дикарей семья может бежать как в укрытие.

— А! Эти крепости мне знакомы. Я встречал и другие за время своего путешествия, но ни одной столь внушительной или обустроенной по-военному, как эта. Видно, что ею управляет солдат и она может выдержать основательную осаду. Поскольку это место определенного назначения, мы заглянем поглубже в его тайны.

Засим он выразил намерение завершить обыск обследованием этого сооружения. Контент незамедлительно распахнул дверь и пригласил его войти.

— Даю слово того, кто, хотя ныне занят более мирным призванием, но в свое время был участником военных действий, что совсем не для детских игр эту башню оснастили артиллерией. Если б твои разведчики известили о нашем приближении, капитан Хиткоут, нам было бы труднее проникнуть сюда. Да здесь приставная лестница! Там, где имеются средства подъема, должно

быть нечто, побуждающее человека забраться наверх. Я хочу вкусить воздух вашего леса из верхней комнаты.

— Ты увидишь, что жилье наверху похоже на это нижнее, просто оно оборудовано ради безопасности безобидных обитателей дома, — сказал Контент, спокойно прилаживая лестницу перед люком, а затем сам показал дорогу на верхний этаж.

— Здесь у нас бойницы для мушкетонов, — воскликнул незнакомец, оглядываясь вокруг с понимающим видом, — и основательная защита от выстрелов! Ты не забыл свое ремесло, капитан Хиткоут, и я считаю, мне повезло, что я проник в твою крепость неожиданно или, должен сказать, по-дружески, ибо мир между нами еще не нарушен. Но зачем так много хозяйственных вещей в месте, столь очевидно оборудованном для войны?

— Ты забываешь, что в этом здании, быть может, придется жить женщинам и детям, — возразил Контент. — Было бы непорядочно отказывать им в вещах, в которых они могут нуждаться.

— Вас беспокоят дикари? — спросил незнакомец несколько поспешно. — Судя по слухам в Колонии, нам нечего бояться с их стороны.

— Никто не может сказать, в какой час существа, закосневшие в нравах дикарей, могут решиться восстать. Жители пограничья поэтому никогда не пренебрегают надлежащей осторожностью.

— Тс-с! — прервал незнакомец. — Я слышу шаги наверху. Наконец-то нюх нас не подвел! Эй, мастер[54] Хеллем! — закричал он в одну из бойниц. — Вели своим соляным столбам оттаять и подойти сюда к башне. Здесь работы на целый полк, ибо мы хорошо знаем, с чем имеем дело.

Часовой во дворе позвал своего товарища, находившегося в конюшне, а затем, откровенно и

шумно радуясь в предвкушении конечного успеха поиска, который до сих пор доставил им лишь бесполезное занятие на много дней и утомительную поездку, они вместе ринулись к блокгаузу.

— А теперь, достойные подданные снисходительного господина, — заявил вожак, обретя подкрепление в лице всех своих вооруженных приспешников и говоря с видом человека, упивающегося успехом, — теперь быстренько раздобудьте средства, чтобы подняться на верхний этаж. Я трижды слышал шаги человека, который ходит по этому помещению, и хотя они легкие и осторожные, доски достаточно болтливы, но им за это не попеняешь.

Контент выслушал требование, высказанное приказным тоном, не моргнув глазом. Не выказав ни колебания, ни заинтересованности, он проявил готовность подчиниться. Протащив легкую лестницу через люк внизу, он приставил ее к люку над собой и, взобравшись наверх, откинул крышку. Затем он вернулся на нижний этаж, сделав недвусмысленный жест, означающий, что кто хочет может подняться. Но незнакомцы смотрели друг на друга с заметным смущением. Никто из подчиненных, казалось, не был расположен опередить своего начальника, а последний явно колебался, в каком порядке надлежит проделать эту операцию.

— А нет ли какого-нибудь другого способа подняться, кроме этой узкой лестницы?

— Нет. Ты убедишься, что лестница надежна и вполне доступной высоты. Она предназначена для женщин и ребятишек.

— Да уж, — пробормотал офицер, — только ваших женщин и ребятишек не зовут наверх, чтобы встретиться лицом к лицу с дьяволом в обличье человека. Парни, оружие наготове? Здесь, пожалуй, понадобится присутствие духа раньше, чем... Тс!

Клянусь божественным правом нашего милостивого господина! Наверху и в самом деле какое-то шевеление. Послушай, мой друг, ты так хорошо знаешь дорогу, что мы предпочитаем следовать за тобой.

Контент, редко позволявший заурядным событиям нарушать невозмутимость своего нрава, спокойно поднялся по лестнице, как человек, который не видит причины опасаться этого шага. Агент короны стал подниматься вслед за ним, стараясь держаться как можно ближе к идущему впереди и приказывая своим подчиненным, не теряя времени, прикрыть его сзади. Вся группа поднялась по лестнице с проворством, не уступающим тому, как если бы они продирались сквозь опасный пролом. И никто из четверых не стал осматривать помещение, в которое они попали, пока все они не заняли боевой порядок, обхватив ладонью рукоять пистолета либо инстинктивно ища эфес своего палаша.

— Клянусь смуглым ликом Стюарта! — воскликнул главарь, убедившись, после долгого и разочаровывающего осмотра, что сказанное им оказалось правдой. — Здесь нет никого, кроме безоружного дикаря-мальчишки!

— А ты кого ожидал встретить? — спросил по-прежнему невозмутимый Контент.

— Гм, то, что мы ожидали встретить, хорошо знакомо милому старому джентльмену внизу да и нашему собственному здравомыслию. Если ты сомневаешься, вправе ли мы заглядывать в самые потаенные утолки, полномочия на то, что мы делаем, последуют. У короля Карла мало причин быть щедрым на милости обитателям этих колоний, которые чересчур охотно прислушиваются к вою и лицемерным речам волков в овечьей шкуре, от коих старая Англия ныне так счастливо отделалась. Твои дома будут снова обыскивать от верхушки дымовой трубы до закладного

камня в твоих погребах, пока не будет покончено с обманом и мятежными уловками, а правда не будет провозглашаться с откровенностью и прямотой смело говорящих англичан.

— Я не знаю, что называется прямотой смело говорящих англичан, ибо прямодушие не есть качество одного народа или одной страны, но зато я твердо знаю, что обман — это грех, и смиренно верю, что с ним мало знакомы в этом поселении. Мне неизвестно, что вы ищете, а потому неправда, будто я замышляю измену.

— Ты слышишь, Хеллем, он рассуждает о том, что затрагивает покой и безопасность короля! — воскликнул тот, чья наглость поведения возрастала вместе с досадой разочарования. — Но почему этот темнокожий мальчишка в заключении? Неужто ты посмел сделать себя повелителем туземцев этого континента и позволил себе кандалы и темницы для тех, кто тебе не по нраву!

— Парень действительно пленник, но он пойман ради защиты жизни, и ему не на что жаловаться, кроме потери свободы.

— Я как следует разберусь с этим делом. Хотя я послан с поручением иного рода, однако, как человек, которому доверены текущие дела, я беру на себя миссию защиты любого притесняемого подданного короны. Из этих дел могут родиться открытия, Хеллем, достойные предстать перед самим Советом[55].

— Здесь ты найдешь мало того, что достойно времени и внимания тех, кто обременен заботой о нации, — возразил Контент. — Юного язычника застигли прошлой ночью, когда он высматривал что-то близ наших жилищ. И его держат там, где ты видишь, чтобы он не смог передать вести о наших делах своим соплеменникам, которые, несомненно, расположились в

лесу, ожидая подходящего момента, чтобы сотворить зло.

— Что ты имеешь в виду? — поспешно воскликнул офицер. — Говоришь, они в лесу, до которого рукой подать?

— В этом почти нет сомнений. Такого юнца вряд ли застанешь вдали от воинов его племени. Тем более что он был взят, когда выполнял задание, сидя в кустах.

— Надеюсь, твои люди имеют хороший запас оружия и другого снаряжения, достаточного для сопротивления? Я полагаю, что ограда крепка и задние ворота умело охраняются?

— Мы должным образом заботимся о своей безопасности, ибо нам, жителям пограничья, хорошо известно, как здесь ненадежно без неослабной бдительности. Молодые люди находились у ворот до самого утра, и мы собирались разведать в лесу признаки, которые могут дать представление о численности и намерениях тех, кем мы окружены, если бы твой приезд не призвал нас к нашим обязанностям.

— Так почему же ты так поздно заговорил об этом намерении? — спросил агент короля, с подозрительной поспешностью спускаясь вниз по лестнице. — Это похвальная осторожность, и дело нельзя откладывать. Я беру ответственность на себя и приказываю принять все необходимые меры для защиты собравшихся здесь подданных короны. Хорошо ли пополнены наши дорожные припасы, Хеллем? Долг, как ты говариваешь, властный господин, и он призывает нас дальше в самое сердце Колонии. Я бы хотел, чтобы он поскорее указал путь в Европу! — пробормотал он, спустившись на землю. — Ступайте, ребята! Позаботьтесь о наших лошадях и велите побыстрей приготовить их к отъезду.

Помощники, будучи людьми достаточно мужественными в открытой войне и когда надо было действовать привычным для них образом, питали,

подобно другим смертным, благодетельное почтение к неизвестной и пугающе выглядящей опасности. Хорошо известная истина, проверенная опытом двух веков: в то время как европейский солдат всегда был готов прибегнуть к помощи ужасного воина американских лесов, он почти в любую минуту, когда возмездие или случай превращали его из зрителя в мишень беспощадной войны, обнаруживал самое здравое, а зачастую и самое нелепое представление об удали своих союзников. Потому-то если Контент выглядел таким уверенным, несмотря на серьезное отношение к особой опасности, которой он подвергался, то четверо незнакомцев явно рисовали себе все эти ужасы, не представляя, как их избежать. Их начальник быстро сменил чиновничью наглость и разочарованный тон на мину повышенной любезности, и, так же как нередко политика внезапно меняет чувства даже лиц с большими претензиями, когда дело принимает новый оборот, так и его речь быстро обрела примирительный и вежливый характер.

На служанок больше не смотрели косо, к хозяйке дома обращались с подчеркнутым вниманием, а выражение глубокого уважения, с которым даже начальник отряда адресовался к пожилому Пуританину, граничило с демонстрацией похвальной почтительности. Было произнесено что-то вроде извинения за неприятные обязанности по долгу службы и насчет разницы между поведением, напускаемым на себя ради тайных целей, и тем, какое диктуют природа и истинное чувство. Но ни Марк, ни его сын, казалось, не проявили достаточного интереса к мотивам поведения своих гостей, чем поставили тех в затруднительное положение, вынуждая повторить объяснения, столь же неуклюжие со стороны тех, кто их произносил, как и ненужные тем, кто их выслушивал.

Едва избавившись от дальнейших помех в делах семейства, поселенцы всерьез поспешили возобновить свое прежнее намерение тщательно прочесать лес. По распоряжению Пуританина дом был соответственно доверен охране примерно половины работников, которым помогали европейцы, коих инстинктивно притягивал блокгауз. Их предводитель снова и снова не без основания заявлял о готовности в любое время рискнуть жизнью на открытой местности, питая непобедимое отвращение к тому, чтобы подвергать ее опасностям среди зарослей. Сопровождаемый Ибеном Дадли, Рейбеном Рингом и еще двумя крепкими молодцами — все хорошо, хотя и легко, вооруженные, — Контент выбрался за ограждение и направился к лесу. Они вступили в чащу там, где она ближе всего подходила к жилью, продвигаясь с осторожностью и бдительностью, продиктованными ощущением нешуточного риска, которому они подвергались, и только богатый опыт мог подсказать верное направление.

Метод поиска был настолько же прост, насколько обещающим казался результат. Разведчики начали объезжать вырубку по кругу, расширяя до предела зону поиска, но не теряя друг друга из виду, и каждый внимательно выискивал признаки следов или привала тех опасных врагов, что, как они имели основание думать, притаились по соседству. Но, подобно недавнему обыску в домах, разведка долгое время не давала никаких | результатов. Много утомительных миль было медленно пройдено и более половины их задания было завершено, а никаких признаков живых существ не обнаружено, исключая явные следы их четверых гостей и след одинокой лошади вдоль тропы, ведущей к поселениям с той стороны, откуда, как было известно, прибыл визитер предыдущей ночью. Никому из отряда сказать было нечего, когда они друг за

другом почти одновременно пересекли эту тропу. Но тихий зов Рейбена Ринга, вскоре после этого донесшийся до их слуха, заставил всех съехаться к тому месту, откуда послышался голос.

— Вот следы человека, ехавшего от вырубки, — сказал зоркий лесной житель, — и к тому же человека, который не числится среди жителей Виш-Тон-Виша, потому что его конь имел подбитую подкову — такой отметины нет ни у одного животного из наших.

— Мы поедем вслед за ним, — сказал Контент, немедленно устремляясь по нечеткому следу, по многим несомненным признакам оставленному каким-то животным незадолго до того. Однако вскоре их поиск закончился. Проехав не слишком большое расстояние, они наткнулись на полуобглоданный скелет лошади. Нельзя было ошибиться насчет владельца этого несчастного животного. Хотя какой-то зверь или, скорее, хищные звери вдоволь полакомились тушей, еще свежей и сочившейся кровью, по остаткам разодранной упряжи, как и по масти и размеру животного было ясно, что это не что иное, как верховая лошадь, на которой ехал неизвестный и таинственный гость, разделивший молитву и вечернюю трапезу семейства Виш-Тон-Виша, а затем так странно и неожиданно исчезнувший. Кожаный мешок, оружие, особенно привлекшее взгляд старого Марка, и вообще все, кроме скелета и остатков седла, отсутствовало. Но и того, что осталось, было достаточно, чтобы опознать животное.

— Здесь поработали клыки волка, — заметил Ибен Дадли, наклоняясь, чтобы осмотреть рваную рану на шее. — И к тому же здесь надрез ножом. Но рука ли это краснокожего, не могу определить.

Все члены отряда с любопытством наклонились над раной. Но результаты их осмотра не пошли дальше подтверждения, что это, без сомнения, мертвая лошадь

незнакомца. Однако не было ни малейшего ключа к разгадке судьбы ее хозяина. Прекратив расследование после долгого и бесплодного осмотра, они отправились заканчивать объезд вырубки. Ночь наступила прежде, чем утомительное задание было завершено. Руфь, стоявшая возле задних ворот в тревожном ожидании их возвращения, увидела по выражению лица своего мужа, что, хотя не произошло ничего такого, что давало бы повод для дополнительной тревоги, не было получено и никакого удовлетворительного свидетельства, чтобы объяснить природу мучительных сомнений, которыми, как нежная и чувствительная мать, она терзалась в течение всего дня.

ГЛАВА VII

Как отдает корова молоко,
Так ты спешишь отдать все эти тайны,
Идя в постель иль к обжиговой яме.
Но надобно ль тебе язык болтливый
Пред нашими гостями распускать?
«Зимняя сказка»[56]

Долголетний опыт показал, что когда белый человек попадает в ситуации, где можно приобрести такое знание, он легко овладевает тем особым мастерством, которое отличает североамериканских индейцев и которое позволяет им, среди прочих вещей, определять любой след в лесу с быстротой и точностью, доводящими это умение почти до уровня инстинкта. Поэтому сообщение разведчиков, единодушных во мнении, что никакой отряд дикарей, чьи силы превосходили бы их собственные, не располагается близ долины, в значительной мере развеяло страхи семейства. Тем более что эти люди, самым громогласным из числа коих был решительный Ибен Дадли, готовы были собственной жизнью поручиться за безопасность тех, кто зависел от их бдительности.

Эта уверенность оказала, без сомнения, успокоительное действие на Руфь и ее служанок. Но это действие оказалось не столь эффективным в отношении незваных гостей, все еще продолжавших обременять Виш-Тон-Виш своим присутствием. Хотя они явно оставили мысли, связанные с первоначальным предметом своего визита, но больше не заговаривали об отъезде. Напротив, ближе к ночи их начальник пришел посоветоваться со старым Марком Хиткоутом и высказал несколько предложений, как еще более

обезопасить его жилище, которые Пуританин не видел причины отвергнуть.

Как следствие, возле частокола был выставлен постоянный караул до самого утра. Часть семейства отправилась на свои обычные места для отдыха, внешне спокойная, если и не полностью уверовавшая в мирный исход, а отряженные караулить заняли свои посты в нижнем из двух боевых помещений цитадели. Благодаря этим простым и для посторонних особенно удовлетворительным мерам ночные часы прошли спокойно. Утро вновь пришло в уединенную долину, как бывало не раз и прежде, в своем очаровании, не омраченном насилием или мятежом.

Так же мирно солнце трижды садилось и, как бывало не однажды, всходило над жилищем Хиткоутов без дальнейших признаков опасности или повода для тревоги. С течением времени агенты Стюарта постепенно вновь обрели самоуверенность. Однако они никогда не пренебрегали возможностью с наступлением темноты укрыться под защитой блокгауза — поста, который, как подчиненный по имени Хеллем не раз с важностью повторял, они благодаря своей дисциплинированности и привычкам людей военных были лучше всего подготовлены защищать. Хотя Пуританин втайне роптал по поводу этого затянувшегося визита, привычное самообладание и умение подавлять свои чувства позволяли ему скрывать недовольство. В первые два дня после тревоги поведение гостей было безупречным. Их чувства, казалось, целиком поглотило обостренное и беспокойное наблюдение за лесом, из которого они как будто ежеминутно ожидали появления банды кровожадных и безжалостных дикарей. Но по мере того, как со спокойным течением времени возрастали уверенность и чувство безопасности, стали проявляться симптомы возврата к легкомыслию.

Вечером на третий день после их появления в поселении человека по имени Хеллем в первый раз увидели прогуливающимся за пределами задних ворот, так часто упоминаемых, в направлении наружных строений. Вид у него был не такой недоверчивый, как в течение многих томительных часов до того, а походка, соответственно, уверенной и надменной. Вместо того чтобы по обыкновению носить на поясе пару тяжелых кавалерийских пистолетов, он не прихватил даже своего палаша и в такой одежде больше выглядел человеком, желающим развлечься и потому отказавшимся от обременительного одеяния, которое все из его отряда до сих пор считали благоразумным носить. Он бегло оглядел поля Хиткоутов, переливающиеся под мягким светом закатного солнца, и взгляд его рассеянно скользнул по очертаниям леса, который его воображение еще столь недавно населяло существами с кровожадным и безжалостным характером.

Стоял час, когда завершаются дневные труды земледельца. К числу тех, кто более обычного был занят в эти хлопотливые минуты, относилась служанка Руфи, чей чистый приятный голос слышался в одном из загонов, временами поднимаясь до высот духовного песнопения, а затем периодически падая до почти неслышного мурлыканья в тот момент, когда она извлекала из любимого животного щедрые порции вечерней дани для молочных запасов своей хозяйки. К этому загону чужак, как бы случайно прогуливаясь, и направил неторопливые шаги, словно пребывая в восхищении от холеного стада, как и от всех прочих приятных обитателей усадьбы.

— У какого дрозда ты брала уроки, милая девица, что я ошибочно принял твое пение за одну из трелей сладчайших певчих птичек вашего леса? — спросил он, доверяя свою персону ограде загона с видом легкого

превосходства. — Можно вообразить, что это малиновка или вьюрок поет свою вечернюю песню, а не голос человека, то громче, то тише распевающего ежедневные псалмы.

— Птицы нашего леса редко подают голос, — возразила девушка, — и та из них, которой есть что сказать больше других, делает это так же, как те, что зовутся джентльменами, когда им приходит охота усладить слух простых деревенских девушек.

— И каким же это образом?

— В насмешку.

— А! Я наслышан об этих искусницах. Говорят, что это сплав гармонии голосов всех прочих певчих птиц, однако в их манере разговора я вижу мало сходства с честной речью солдата.

— Они говорят без особого смысла и чаще просто, чтобы поболтать, чем с серьезным намерением.

— Ты забыла, что я сказал тебе утром, дитя. Похоже, у тех, кто дал тебе имя, нет особой причины радоваться по поводу твоего характера, ибо Неверие больше подходит к твоему нраву, чем Вера[57].

— Наверное, те, кто дал мне имя, плохо знали, какой надо быть доверчивой, чтобы прислушиваться ко всему, во что меня призывают верить.

— Ты можешь без труда согласиться, что ты милашка, потому что глаза сами подтвердят твою веру, а кроме того, девушка с таким острым язычком не может не знать, что она умнее других. В этом смысле я допускаю, что имя Вера определенно не опровергает твой характер.

— Если Ибен Дадли услышит, как ты ведешь разговоры, пробуждающие тщеславие, — возразила слегка польщенная девушка, — он может подумать, что у тебя меньше ума, чем ты, кажется, хочешь приписать другим. Я слышу его тяжелые шаги со стороны стада

коров, и скоро мы наверняка увидим лицо, которое выглядит немного повеселее.

— Этот Ибен Дадли, по-моему, личность совсем ничтожная, — пробормотал тот, продолжив свою прогулку, когда поименованный житель пограничья появился у другого входа в загон. Взгляды, которыми они обменялись, были совсем не дружественные, хотя лесной житель позволил чужаку пройти, не выказав какого-либо устного выражения неудовольствия.

— Капризная телка становится наконец послушной, Фейс Ринг, — заметил парень, опуская приклад своего мушкета наземь с такой силой, что на выгоревшем дерне у его ног осталась глубокая вмятина. — А пятнистый вол, старый Лесоруб, желает идти под ярмо не больше, чем эта четырехлетка отдать свое молоко.

— Эта корова стала добрее с тех пор, как ты нашел способ укрощать ее нрав, — возразила доярка голосом, вопреки стараниям девичьей гордости, выдававшим некоторое душевное волнение, между тем как она с еще большим усердием исполняла свои нетрудные обязанности.

— Гм! Я надеюсь, что так же хорошо ты помнишь некоторые из других моих уроков. Но ты сноровиста в обучении, Фейс. Это видно по тому, как быстро ты усвоила привычку беседовать с мужчиной столь шустрым на язык, как тот нечестивец из-за океана.

— Надеюсь, что если девушка вежливо слушает, это не доказательство неприличного разговора со стороны той, которую учили скромности речи, Ибен Дадли. Ты часто говорил, что святая обязанность той, к кому обращаются, быть внимательной, чтобы не сказали, будто она относится к людям пренебрежительно, и этим она заслужит большее уважение, чем благодаря доброму нраву.

— Я вижу, что ты все еще помнишь из моих уроков больше, чем я мог надеяться. Значит, ты слушаешь так

внимательно, Фейс, потому что девушке неприлично показаться пренебрежй тельной?

— Ты прав. Какого бы плохого мнения я ни заслуживала, ты не имеешь права считать пренебрежение среди моих пороков!

— Да если я… — Тут Ибен Дадли прикусил язык и подавил выражение, которое тяжко оскорбило бы того, чьи понятия о приличии были столь же суровы, как у его собеседницы. — Ты, должно быть, сегодня услышала много полезного, Фейс Ринг, — добавил он, — учитывая, что ты вся обратилась в слух и что тебе представился такой случай.

— Не знаю, что ты имеешь в виду, говоря о случае, — возразила девушка, наклоняясь еще ниже возле объекта своего усердия, чтобы скрыть румянец, который, как подсказало ей чувство, вспыхнул на ее щеках.

— Я хочу сказать, что разговор, должно быть, долгий, если нужны четыре беседы с глазу на глаз, чтобы его закончить.

— Четыре! Поскольку я надеюсь, что меня считают девушкой правдивой в словах и делах, то это всего третий раз, когда посторонний мужчина говорил со мной наедине с того времени, как взошло солнце.

— Если я умею сосчитать количество пальцев на своей руке, то это четвертый раз.

— Нет, как можешь ты, Ибен Дадли, пропадая в поле с тех пор, как пропел петух, знать, что происходило возле домов? Ясно, что это ревность или еще какая-то дурная страсть заставляет тебя говорить с раздражением.

— Откуда я знаю! Может, ты думаешь, Фейс, что только твой брат Рейбен наделен способностью видеть!

— Работа, должно быть, шла с большой выгодой для капитана, пока глаза обшаривали другие вещи! Но, наверное, у кого сильные руки, того отряжают

подглядывать, а кто послабее телом, тех посылают на тяжелые работы.

— Не настолько мне безразлична твоя жизнь, чтобы иногда не посмотреть в эту сторону, дерзкая девчонка. Что бы ты об этом ни думала, но какие вопли поднялись бы в маслобойнях и на молочных фермах, если бы вампаноа проникли на вырубку и не было бы никого, чтобы вовремя поднять тревогу.

— Верно, Ибен, твой страх перед мальчиком в блокгаузе должен быть силен для такого мужчины, как ты, иначе ты не стерег бы дома так внимательно, — съязвила Фейс со смехом, ибо с присущей ее полу сообразительностью она почувствовала свое постепенное превосходство в разговоре. — Ты забыл, что с нами бравые солдаты из старой Англии, чтобы индейцы не причинили нам вреда. Но вот сюда идет храбрый солдат самолично. Хорошо, если он будет на часах, а не то эта ночь может подставить нас под томагавки во сне!

— Ты говоришь об оружии дикарей! — сказал посланец короля, снова подобравшийся поближе с явным желанием принять участие в разговоре, который, пока он следил за ним издали, казалось, стал интереснее. — Я полагаю, что в этот месяц весомая опасность со стороны индейцев миновала.

— В этот месяц да, — заметил с явным намеком Ибен, тихо посвистывая и холодно обводя взглядом грузное тело чужака. — Но следующая четверть месяца может доставить *весомое* доказательство опасности со стороны индейцев, случись порядочная стычка с ними.

— А что общего у луны с вторжением дикарей? Разве среди них есть такие, кто изучает тайны звезд?[58]

— Они изучают черную магию и прочее ведьмовство больше, чем что-либо еще. Нелегко уму человека

вообразить ужасы, которые они придумывают, когда Провидение дарует им успех в набеге.

— Но ведь ты говорил о луне! Каким образом луна связана с их кровавыми заговорами?

— Сейчас полнолуние и коротка та часть ночи, когда глаз часового не разглядит краснокожего в вырубке, но совсем другой разговор, когда в этих лесах на час или два снова наступит непроглядная тьма. Вскоре перемена фазы, и потому нам надлежит быть начеку.

— Значит, ты в самом деле считаешь, что снаружи залегли индейцы, выжидая подходящий момент? — спросил офицер с таким подчеркнутым интересом, который заставил даже наполовину умиротворенную Фейс бросить лукавый взгляд на своего приятеля, хотя тот все еще имел основание не доверять своенравному выражению, мелькавшему в уголках ее глаз и грозившему в любой момент опровергнуть мрачные предзнаменования.

— Дикари могут залечь в лесу на расстоянии целого дня пути. Но они слишком хорошо знают, какую цель выискивает мушкет белого человека, чтобы спать в пределах его досягаемости. Индеец привык есть и спать, когда располагает временем для отдыха, и поститься и убивать, когда настал час резни.

— И каково же, по-твоему, расстояние до ближайшего поселения на реке Коннектикут? — спросил собеседник с таким намеренно безразличным видом, который позволял легко угадать внутреннюю работу его ума.

— Где-то часов двадцать привели бы проворного всадника к крайним домам, если сократить время на еду и отдых. Однако умный человек не станет тратить время на это, пока его голова надежно пристроена внутри одного из зданий вроде того блокгауза либо пока между ним и лесом не встанет, по крайней мере, основательный ряд дубовых частоколов.

— А нет ли проезжей тропы, чтобы путникам не надо было проезжать лесом в темное время суток?

— Я такой не знаю. Тому, кто покидает Виш-Тон-Виш ради городов в низовье реки, изголовьем послужит земля либо придется скакать без передышки, пока животное в состоянии его нести.

— Мы, по правде говоря, испытали это на себе по пути сюда. Ты полагаешь, друг, что дикари сейчас на отдыхе и ждут наступающей четверти луны?

— По моему разумению, раньше они не появятся, — заявил Ибен Дадли, постаравшись тщательно скрыть всякое обоснование своего мнения, если таковое у него было, в глубине своих мыслей.

— И в какое же время суток обычно предпочитают садиться в седло, если дела призывают кого-то в низовые поселения? — Мы никогда не мешкаем приурочить свой отъезд ко времени, когда солнце касается высокой сосны, что стоит вон на той вершине холма. Большой опыт научил нас, что это самый надежный час: стрелка часов не точнее, чем то дерево.

— Мне нравится эта ночь, — сказал солдат, оглядываясь вокруг с видом человека, внезапно пораженного многообещающей картиной погоды. — Тьма больше не висит над лесом, и, похоже, сейчас подходящий момент подвести к завершению дело, ради которого нас прислали.

Сказав это и, видимо, полагая, что в достаточной степени утаил мотивы своего решения, назойливый драгун с видом невозмутимого и ко всему привычного солдата двинулся к домам, делая в то же время знаки приблизиться одному из спутников, следившему за ним на расстоянии.

— Теперь ты веришь, глупый Дадли, что четырех пальцев твоей неуклюжей руки сполна хватает, чтобы посчитать все то, что ты называешь моими разговорами наедине? — сказала Фейс, когда решила, что ничье ухо,

кроме того, к кому она обращается, не может уловить ее слова, и в то же время весело смеясь, согнувшись под коровой, хотя все еще не без досады, которой она не могла полностью подавить.

— Разве я говорил неправду? Таких, как я, не нужно учить, как добраться до того, кто честно занимается ремеслом охотника за людьми. Я говорил, что все живущие в этих краях умеют быть благоразумными.

— Разумеется, ничего другого. Но правда становится такой сильнодействующей в твоих руках, что ее надо принимать вроде горького целебного напитка: с закрытыми глазами и малыми порциями. Тот, кто пьет его слишком резво, может и задохнуться. Я удивляюсь, как человек, так бдительно заботящийся о посторонних, столь неосмотрителен насчет тех, кого его отрядили охранять.

— Я не знаю, что ты имеешь в виду, Фейс. Когда это опасность угрожала долине, а мой мушкет не был на взводе?

— Доброе ружье более верно долгу, чем его хозяин. Может, ты имеешь законное право спать на посту, ибо мы, девушки, не знаем, что нравится капитану в таких делах. Но было бы удоб-нее, хоть и не по-солдатски, оставить оружие возле задних ворот, а самому пойти в комнаты, если уж тебе нужно стоять на часах и спать в одно и то же время.

Дадли выглядел таким смущенным, каким только мог быть человек с его характером и необузданным темпераментом, хотя упорно отказывался понять намек своей обиженной собеседницы.

— Ты не зря вела разговоры с заморским солдатом, раз так умно рассуждаешь о часовых и оружии.

— Он и вправду многому научил меня в этом деле.

— Гм! И каков же итог его уроков?

— А таков, что тот, кто спит возле задних ворот, не должен ни смело болтать о врагах, ни ждать, что

девушки шибко ему поверят.

— В чем, Фейс?

— Ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду его бдительность. Клянусь жизнью, случись кому-нибудь пройти позднее обычного возле ночного поста этого, мягко говоря, солдата, не видать бы его в качестве караульного нашего хозяйства во вторую половину ночи, которая прошла в грезах о вкусных вещах из кладовки мадам!

— Ты в самом деле приходила туда, девчонка? — спросил Ибен, понизив голос и обнаруживая равным образом и свое удовлетворение, и свой стыд. — Но ты ведь знаешь, Фейс, что до этого был утомительный дозорный объезд и что вчера пришлось потрудиться больше обычного. Тем не менее я снова караулил задние ворота вечером с восьми до двенадцати и...

— И хорошенько отдохнешь после этого, не сомневаюсь. Ну, а тот, кто бодрствовал в наряде весь день и устал, нуждается в подходящем наряде, когда наступает ночь[59]. Прощай, недремлющий Дадли. Если поутру раскроешь глаза, скажи спасибо, что девушки не пришили твою одежду к частоколу.

Несмотря на старания молодого человека удержать ее, быстроногая девушка увернулась от его объятий и, неся свою ношу по направлению к маслобойне, припустила по тропе, полуотвернув лицо, на котором торжество и сожаление боролись друг с другом.

Тем временем глава посланцев короля и подчиненные ему военные держали долгий и любопытный совет. Когда он закончился, первый направился в помещение, где Марк Хиткоут имел обыкновение проводить часть своего времени, не занятую тайными бдениями в вере или наблюдением за работниками в поле. С некоторыми околичностями, которые должны были замаскировать его истинные

мотивы, агент короля объявил о намерении окончательно отбыть тем же вечером.

— Я посчитал своим долгом, как человек, приобретший опыт обращения с оружием благодаря кое-какому участию в европейских войнах, задержаться в твоем доме, пока угрожала опасность со стороны притаившихся дикарей. Не подобает солдатам говорить о своих намерениях, но прозвучи в самом деле сигнал тревоги, — поверь, если я скажу, что блокгауз легко не сдался бы! Я доложу тем, кто меня послал, что в лице капитана Марка Хиткоута Карл имеет верного подданного, а конституция — твердую опору. Слухи, по-видимому, ошибочного содержания, приведшие нас сюда, будут опровергнуты, и, несомненно, выяснится, что поводом к этому послужила какая-то случайность. Если представится случай остановиться на подробностях недавней тревоги, я верю, что мои спутники готовы оказать добрую услугу подданному короля. — Смиренный духом старается не говорить ничего дурного о своих ближних и не утаивать ничего доброго, — сдержанно отвечал Пуританин. — Если ты доволен тем, как тебя приняли в моем доме, то милости просим, а если долг или желание зовет тебя покинуть его, да пребудет мир с тобой. Было бы нелишне присоединиться к нам в молитве, чтобы Тот, кто бдит над ничтожнейшей из своих тварей, взял тебя под свою особую опеку и чтобы дикие язычники…

— Ты думаешь, дикари не в своей деревне? — спросил посланец, с неприличной поспешностью обрывая перечисление особых благословений и опасностей, которое его хозяин считал необходимым включить в прощальную молитву.

— Ты ведь не остаешься с нами помочь в защите и к тому же сомневаешься, что твои услуги могли бы быть полезны! — заметил Марк Хиткоут сухо.

— Хотел бы я, чтобы владыка тьмы крепко ухватил тебя и всех прочих отродий дьявола в этих лесах! — пробормотал посланец сквозь зубы. А затем, как будто им руководил дух, которого недолго можно было обуздывать, принял еще более развязный и естественный вид, решительно отказавшись присоединиться к молитве под предлогом спешки и необходимости лично присмотреть за действиями своих спутников. — Но пусть это не воспрепятствует тебе, достопочтенный капитан, вознести молитву от нашего имени, пока мы будем бодрствовать в седле, — заключил он. — Нам же предстоит еще переварить значительную часть прежде пожалованной нам смиренной благодати; и все же мы не сомневаемся, что, подай ты за нас голос, покуда мы одолеваем первые лиги[60] лесных чащ, — и поступь коней не отяжелеет да и нам самим не сделается хуже от этой услуги.

Затем, бросив взгляд, полный едва прикрытого веселья, на одного из своих спутников, пришедшего сообщить, что лошади готовы, он поднял руку в прощальном жесте, с видом, в котором почтение, вызываемое личностью вроде Пуританина, смешивалось с привычным презрением к делам серьезного характера.

Семейство Марка Хиткоута, вплоть до самого последнего домочадца, с глубоким удовлетворением наблюдало за отъездом посланцев короля. Даже девушки, чья природа в моменты слабости пробуждала чувства более легкомысленные, с радостью избавились от кавалеров, неспособных усладить их слух и крохой лести без того, чтоб зачастую жестоко не оскорбить присущих им суровых принципов беззаботным и непочтительным упоминанием о том, что рождало в их сердцах священный ужас. Ибен Дадли с трудом подавил усмешку, с которой взирал вслед отряду, скрывшемуся

в лесу; ни он, ни кто-либо из людей умудренных в такого рода делах не верил, что путники сколько-нибудь серьезно рисковали, покинув их столь внезапно.

Мнение поселенцев, как оказалось, основывалось на верных выводах. Эта и множество последующих ночей прошли без приключений. Сезон продолжал свое шествие, и работникам удалось завершить труды без призыва к оружию и не прибегая к дополнительным мерам по повышению бдительности. Уиттал Ринг неуклонно пас своих жеребят среди тенистых рощ окрестных лесов, а личные стада уходили и возвращались без потерь, пока позволяла погода. Время тревог и визит посланцев короля сделались пищей для воспоминаний, и сезон наступившей зимы часто давал повод для веселья вокруг ярко горящего пламени, столь необходимого в этой местности и в это время года.

Однако в семействе пребывало живое напоминание о необычных событиях той ночи. Пленник оставался взаперти еще долго после того, как случай, отдавший его во власть Хиткоутов, стал забываться.

Желание взрастить семена духовного возрождения, которые, пусть и в состоянии спячки, живы, как верил Марк Хиткоут, во всем роде человеческом и, следовательно, в юном язычнике так же, как и в остальных, — это желание стало своего рода преобладающей страстью Пуританина. Образу жизни и мыслей той эпохи было свойственно сильное тяготение к суевериям, и человеку с его аскетическими привычками и чрезмерным религиозным рвением было совсем нетрудно поверить, что некое особое посредничество свыше отдало мальчика в его руки для неведомой, но великой цели, каковая не преминет заявить о себе в надлежащее время.

Несмотря на сильный налет фанатизма, отмечавший характер приверженцев религии тех дней, они редко бывали лишены мирского благоразумия. Средства,

которые они считали пригодными, чтобы помочь более сокровенным целям Провидения, были в целом полезными и разумными. Так, хотя Марк никогда не забывал вызволить парня из его тюрьмы в час молитвы или включить особое моление за невежественных язычников вообще и этого избранного юношу в особенности, он затруднялся поверить, что благодаря этому свершится подлинное чудо.

Чтобы никакой попрек не мог запятнать той доли долга, что была доверена возможностям человека, он рассудительно прибегнул к силе воздействия доброты и неослабной заботы. Но все попытки привить парню привычки цивилизованного человека оказывались совершенно тщетными. Когда погода стала более суровой, жалостливая и заботливая Руфь постаралась уговорить того облачиться в одежду, считавшуюся необходимой для комфорта мужчин значительно выносливей и сильней его. Особо позаботились, чтобы платье было украшено в манере, отвечавшей вкусам индейца, а кроме того с целью заставить пленника носить его щедро использовали посулы и угрозы. Как-то раз он был даже насильно одет Ибеном Дадли. Когда он предстал в непривычном виде перед старым Марком, последний вознес особую молитву, чтобы юноша прочувствовал значение своей уступки принципам человека раскаявшегося и наставленного на путь истинный.

Но уже через час отважный лесной житель, случайно ставший таким действенным орудием цивилизации, объявил восторженной Фейс, что опыт оказался безуспешным, или, как Ибен несколько непочтительно описал сверхчеловеческие усилия Пуританина, «язычник снова завладел своими кожаными обмотками и пестрой набедренной повязкой, хотя капитан изо всех сил старался с помощью молитвы напялить на его зад лучшее одеяние, которое могло бы

прикрыть наготу целого племени». Короче говоря, результат показал в случае с этим парнем, как с тех пор подобные опыты доказывали на множестве других примеров трудность попыток заставить человека, выросте-го в условиях дикарской свободы и раскованности, согласиться с ограничениями, которые обычно считаются признаком более высокой культуры. Во всех случаях, когда юный пленник имел свободу выбора, он надменно отвергал обычаи белых, придерживаясь с необыкновенным и чуть ли не героическим постоянством обычаев своего народа и его условий жизни.

Парнишку держали в плену под особым присмотром. Однажды, когда его отпустили в поле, он открыто попытался бежать. Чтобы его поймать, Ибену Дадли и Рейбену Рингу пришлось подвергнуть свою прыть самому суровому испытанию, как признались сами дюжие молодые жители леса, какое им до той поры приходилось выдерживать. С этого момента ему никогда не разрешали выходить за частокол. Когда долг призывал работников на поля, пленник неизменно оставался в своей тюрьме, где, в качестве своего рода компенсации за заключение, он мог насладиться преимуществом длительного и тесного общения с Марком Хиткоутом, имевшим привычку проводить ежедневно многие часы, а нередко и долгую часть ночи в уединении блокгауза. Лишь на то время, пока ворота были закрыты либо когда находился кто-нибудь достаточно сильный и энергичный, чтобы контролировать его прогулку, мальчику разрешалось вволю побродить среди строений пограничной крепости. Он никогда не упускал случая воспользоваться этой свободой и часто таким образом, что впечатлительную душу Руфи переполнял тягостный избыток чувствительности.

Вместо того чтобы присоединиться к играм других ребятишек, юный пленник стоял в стороне и смотрел на их спортивные игры отсутствующим взглядом или, подойдя ближе к частоколу, нередко проводил целые часы, тоскливо и пристально вглядываясь в те бесконечные леса, в которых впервые обрел дыхание и которые, быть может, заключали все самое дорогое по его простодушной оценке. Эта молчаливая, но выразительная демонстрация страдания трогала Руфь до глубины души, побуждая ее стараться завоевать доверие мальчика, с тем чтобы вовлечь в занятия, способные облегчить его бремя. Решительного, но тихого подростка никаким искусом нельзя было заставить забыть, откуда он родом. Он как будто понимал добрые намерения своей заботливой госпожи и часто даже позволял, чтобы мать вводила его в круг своих собственных жизнерадостных и счастливых отпрысков, но лишь для того, чтобы смотреть на их забавы со своим прежним холодным видом и при первой возможности вернуться на свое любимое место у частокола.

Имелись все же особые и даже таинственные свидетельства растущего понимания им характера разговора, свидетелем которого он случайно оказывался, что выдавало большее знакомство с языком и суждениями обитателей долины, чем позволяли ожидать его известное происхождение и полный отказ от общения. Этот важный и необъяснимый факт подтверждался частым и полным значения взглядом темных глаз, когда его слуха достигало нечто, затрагивавшее, пусть отдаленно, его собственное положение. А также пару раз вызывающими проблесками жестокости, мелькавшими в его глазах, когда можно было услышать, как Ибен Дадли превозносит доблесть белых людей в стычках с исконными хозяевами страны. Пуританин не упускал

случая взять на заметку эти симптомы пробуждающегося ума как залог плода, долженствующего послужить более чем достойной наградой за его смиренный труд. И они приносили ему большое облегчение от временных угрызений, которые все его усердие не могло полностью подавить, за то, что он является орудием причинения столь многих страданий человеку, в конечном счете не сделавшему ему самому никакого зла.

В описываемое нами время климат этих штатов заметно отличался от того, каким его знают теперешние жители. Зима в провинции Коннектикут сопровождалась чредой многочисленных снегопадов, пока земля не покрывалась целиком плотными массами замерзшей стихии. Случайные оттепели и внезапные ливни, сменявшиеся возвращением ясной погоды и пронизывающего холода из-за северо-западных ветров, имели обыкновение временами укладывать на землю покров, замерзавший до консистенции льда, так что бывало видно, как люди, нередко животные, а иногда и сани передвигаются по его поверхности, как по зеркалу замерзшего озера. В период подобных крайностей времени года закаленные жители пограничья, лишенные возможности заниматься своими привычными делами, имели обыкновение прочесывать лес, охотясь на дичь, которую в поисках пищи влекло к известным местам в лесах, где она становилась легкой добычей сообразительности и ловкости таких людей, как Ибен Дадли и Рейбен Ринг.

Всякий раз, когда молодые люди покидали дом, отправляясь на такую охоту, это возбуждало самый живой интерес мальчика-индейца. Каждый раз при этом он весь день сидел у амбразуры своей темницы, старательно прислушиваясь к далеким отзвукам мушкетов, доносившимся из леса. И единственный раз за все время многомесячного плена видели, как он

засмеялся, внимательно разглядывая злобные глаза и мощные челюсти мертвой пумы, ставшей мишенью для Дадли в одну из таких вылазок в горы. Это пробудило в жителях пограничья) глубокое сочувствие к терпеливому и достойному юному страдальцу, и они с готовностью доставили бы пленнику радость участия в охоте, не будь эта задача одной из трудновыполнимых. Первый из только что упомянутых жителей леса предлог жил даже вести его, подобно собаке, на поводке, но это было похоже на унижение, против которого, как было очевидно, юный индеец, амбициозный по характеру и ревнивый к достоинству воина, открыто восстал бы.

Живой интерес наблюдательной Руфи, как мы видели, скоро обнаружил растущую сообразительность мальчика. Способ, каким человек, никогда не принимавший участия в их трудах и, казалось, редко прислушивавшийся к разговорам семейства, сумел прийти к пониманию смысла языка, считающегося достаточно трудным для школьника, оставался, однако, тайной для нее, как и для всех остальных. Как бы то ни было, посредством того инстинктивного чутья, которое так часто озаряет душу женщины, она была уверена в этом факте. Исходя из этого знания, она взяла на себя задачу постараться получить от своего протеже торжественное обещание, а именно: если ему разрешат присоединиться к охотникам, он вернется в долину к концу дня. Но хотя речь женщины была ласковой, как ее добрый характер, а просьбы, чтобы он каким-нибудь образом подтвердил, что понял смысл сказанного, были настойчивыми и часто повторялись, ни малейшего признака понимания этого ее подопечный не проявлял. Разочарованная и не без сожаления, Руфь в отчаянии отказалась от сочувственного плана, когда, старый Пуританин, остававшийся молчаливым зрителем ее безуспешных усилий, неожиданно заявил, что верит в

честность парня и намерен разрешить ему присоединиться к одной из ближайших партий, которая выйдет за пределы жилища.

Причина этой внезапной перемены настроения до того неизменно и неукоснительно бдительного Марка Хиткоута явилась, подобно столь многим другим его импульсивным поступкам, тайной для его собственного сердца. Уже было сказано, что, пока Руфь по своей доброте предпринимала бесплодные попытки добиться от мальчика какого-нибудь свидетельства того, что; он ее понимает, Пуританин оставался непосредственным и заинтересованным наблюдателем ее усилий. Казалось, он разделял ее разочарование, но благо тех необращенных племен, кои надлежало вывести из тьмы их путей с помощью этого юнца, было гораздо важнее и не допускало мысли о том, чтобы в случае бегства мальчика опрометчиво утратить преимущество, которое старый Марк завоевал, шаг за шагом развивая ум мальчика. По всей видимости, намерение разрешить тому покинуть укрытие было поэтому полностью отвергнуто, как вдруг старик так неожиданно объявил о перемене своего решения. Догадки о причинах этого непредвиденного шага были самыми разными.

Некоторые полагали, что Пуританина побудило к этому таинственное знамение, что таково желание Провидения, а другие думали, что, начав отчаиваться в успехе своего предприятия, он склонен искать более зримого проявления Его целей в виде опыта, когда бы мальчиком руководили его собственные импульсы. Все, казалось, придерживались мнения, что если парень вернется, то это обстоятельство можно будет приписать вмешательству чуда. Как бы то ни было, однажды приняв решение, Марк Хиткоут не изменил своему замыслу. Об этом неожиданном намерении он объявил после одного из долгих и одиноких бдений в блокгаузе, где, возможно, выдержал тяжкую духовную

борьбу по этому поводу. А поскольку погода была чрезвычайно благоприятной для подобной цели, он приказал своим работникам подготовиться к вылазке на следующее утро.

Внезапный и неконтролируемый всплеск восторга мелькнул на смуглом лице пленника, когда Руфь собралась вложить ему в руки лук своего сына и знаками и словами дала понять, что ему будет позволено воспользоваться им на свободе в лесу. Но выражение радости исчезло так же быстро, как и появилось. Принимая оружие, паренек сделал это скорее как охотник, привыкший к обращению с ним, чем как человек, чьим рукам оно так долго было чуждо. Когда он вышел за ворота Виш-Тон-Виша, служанки Руфи столпились вокруг него с интересом и удивлением, ибо странно было видеть юношу, которого так долго и ревностно стерегли, снова на свободе и без охраны. Несмотря на их обычное доверие к тайным озарениям и великой мудрости Пуританина, у всех сложилось впечатление, что парня, чье присутствие окружало так много таинственного и представлявшего интерес для их собственной безопасности, они, пожалуй, видят сейчас в последний раз. Сам мальчик оставался невозмутимым до конца. Однако, ступив на порог дома, он промедлил и, казалось, взглянул на Руфь и ее юных отпрысков с минутным участием, затем, приняв равнодушный вид индейского воина, он заставил свой взгляд сделаться холодным и пустым и проворно зашагал вслед за охотниками, уже вышедшими за пределы частокола.

ГЛАВА VIII

Ладно, ладно, смейтесь надо мной, издевайтесь! Ваша взяла! Бейте лежачего. Мне даже нечего ответить этой уэльской фланелевой фуфайке. Само невежество топчет меня ногами. Делайте со мной что хотите!

«Виндзорские насмешницы»[61]

Поэты, поощряемые общим устремлением человеческой природы, создали весне репутацию, которой она вряд ли заслуживает. Хотя эта категория писателей с богатым воображением наговорила так много о ее благоухающих дуновениях и напоенных ароматами зефирах, мы находим ее почти везде самым отвратительным, неприветливым и переменчивым из четырех времен года. Это юность года и, подобно этому же предваряющему настоящую жизнь человека периоду, она более всего подходит, чтобы сулить обещание лучших дней. Постоянная борьба между действительностью и надеждой идет на протяжении всего этого медлительного и предательского времени года, имеющего тенденцию неминуемо обманывать.

Все, что говорится о ее благодатных плодах, — неправда, ибо земля так же мало способна на щедрую отдачу без поощрительного влияния жаркого лета, как человек не в состоянии производить достойные плоды своего труда, не располагая более высокой нравственной силой, нежели та, какой он обладает благодаря своим врожденным наклонностям. С другой стороны, осени присуще очарование, отдохновение и устоявшееся течение времени, которые можно по справедливости уподобить угасанию хорошо прожитой

жизни. Это во всех странах и в любом климате период, когда физические и нравственные причины, соединившись, питают богатейшие источники радости. Если весна является временем надежды, то осень — пора жатвы и наслаждения плодами. В ней как раз достаточно перемен, чтобы придать вкус течению жизни, и в то же время очень мало перипетий, чреватых разочарованием. Весна приятна по сравнению с зимней обнаженностью природы, тогда как красотой осени наслаждаются, когда плодоносящие силы лета уже растрачены.

Повинуясь этому великому закону земли — что бы ни воспевали и как бы ни фантазировали поэты, — весна и осень в Америке во всем разделяют вселенские отличительные черты этих соперничающих времен года. Природа не поскупилась для этого континента, и если мы можем похвастаться, что конец года, безусловно, соперничает и, за немногими исключениями, затмевает красоты большинства климатов Старого Света, то редко случается, чтобы начальные месяцы не уравновесили дары Провидения самой решительной демонстрацией всех неприятных сторон, которыми они примечательны. Более полугода прошло со времени, когда индейского мальчика застали шпионящим в долине Хиткоутов, и до того дня, когда ему впервые позволили отправиться в лес, не сковывая никакими иными ограничениями, кроме моральных уз, которые, как хозяин долины то ли знал, то ли воображал, не преминули бы заставить его возвратиться в столь тягостную для него тюрьму. Стоял апрель, но то был апрель, каким этот месяц славился в Коннектикуте сто лет назад и каким и поныне это капризное время года так часто обманывает наши ожидания. Погода внезапно и бурно обернулась возвратом зимы во всей ее силе. За оттепелью последовала буря с мокрым снегом и дождем, и отрезок

времени весеннего цветения завершился кусачим северо-западным ветром, который, казалось, наложил вечную печать на затянувшееся вторичное возвращение февраля.

В то утро, когда Контент повел своих спутников в лес, они вышли через задние ворота, будучи одеты в шкуры на меху. Их нижние конечности были защищены грубыми ноговицами, какие они носили и во время предыдущих охотничьих походов прошедшей зимы, если ее можно было назвать прошедшей, ибо она возвратилась, хотя и немного более мягкая, неся все внешние признаки января. Когда его видели в последний раз, Ибен Дадли, самый грузный из группы, твердо передвигался по снежной корке таким уверенным шагом, словно шел по замерзшей земле. Не одна из девушек подтвердила, что, хотя они старались обнаружить следы охотников, ведущие от частокола, потребовалось бы превзойти даже остроту индейского глаза, чтобы проследить их цепочку на оледеневшей тропе.

Проходил час за часом, не принося известий об охотниках. Правда, отзвуки огнестрельного оружия временами звенели под сводами леса и прерывистое эхо несколько часов перекатывалось от холма к холму. Но даже эти звуки постепенно слабели по ходу дня. И задолго до того, как солнце добралось до зенита и его тепло не без труда для этого времени года пробилось в долину, весь массив соседнего леса застыл в своем обычном и торжественном молчании.

Охота, если не считать отсутствия индейского мальчика, была слишком заурядным событием, чтобы дать какой-то особый повод для волнений. Руфь спокойно занималась делами в кругу своих женщин, а когда воспоминание о тех, кто рыскал по соседнему лесу, вообще приходило ей на ум, оно было связано лишь с заботой об их удобствах после трудного дня. То

была нелегкая обязанность. Ее положение превосходно способствовало взращиванию лучших чувств женщины, поскольку порождало мало искушений для иных переживаний, нежели самые естественные. Как следствие, она в любых обстоятельствах проявляла их с самоотверженностью своего пола.

— Твой отец и его товарищи с радостью позаботятся о нас, — говорила хлопотливая матрона своему юному подобию, велев заготовить для охотников провизии из своей кладовой больше обычного. — Домашний очаг всегда особенно приятен после тяжелой работы и непогоды.

— Я сомневаюсь, что Марк выдержит такой утомительный поход, — сказал ребенок, уже представленный под именем Марты, — он еще молод, чтобы ходить в лес с такими рослыми разведчиками, как большой Дадли.

— И язычник, — добавила маленькая Руфь, — он тоже молодой, как Марк, хотя и больше привык к тяжелому труду. Может случиться, матушка, что он никогда больше к нам не придет!

— Это огорчило бы нашего почтенного родителя, ибо тебе известно, Руфь, что он питает надежду поработать над разумом мальчика, пока его натура дикаря не отступит перед тайной силой. Однако солнце садится за холмом, и наступает вечер, холодный, как зимой. Ступайте к задним воротам и выгляните в поле. Хотела бы я знать, не видно ли твоего отца и его отряда.

Хотя Руфь отдала это приказание своей дочери, она тут же не преминула прибегнуть к собственным органам чувств ради такого приятного дела. Когда детишки пошли, как им было сказано, к наружным воротам, сама матрона спустилась в нижнее помещение блока и через разные амбразуры окинула неширокую перспективу долгим и тревожным взглядом. Тени

деревьев, отграничивавших западную сторону обзора, уже легли далеко поперек широкой простыни мерзлого снега, а внезапный холод, наступивший вслед за исчезновением солнца, предвещал быстрое наступление ночи, обещавшей удержать суровый характер прошедшего дня. Однако пронизывающий ветер, принесший с собой холодный воздух Великих озер и одолевший даже более естественное влияние апрельского солнца, затих, оставив после себя температуру, сходную с той, которая обычно держится в умеренное время года среди ледников Верхних Альп[62].

Руфь слишком давно свыклась с такими картинами леса и с такою «зимою, медлящей в объятьях мая», чтобы испытывать на этот счет какое-либо дополнительное беспокойство. Но теперь наступил час, когда следовало ждать возвращения охотников. Вместе с надеждой увидеть их фигуры, выходящие из леса, пришла тревога как неизбежный спутник разочарования. Тени продолжали отступать в глубь долины, пока сумерки не сгустились в ночной мрак, не подавая никаких вестей от тех, кто находился вне дома.

Когда к опозданию, необычному для членов семьи, оказавшихся в обстоятельствах, подобных тем, в каких пребывали обитатели Виш-Тон-Виша, присовокупились разные мелкие наблюдения, сделанные в течение дня, причины для тревоги с каждой минутой стали казаться все более правдоподобными. Отголоски огнестрельного оружия слышались в ранний час в противоположных местах холмов и слишком отчетливо, чтобы спутать их с эхом: верное доказательство, что охотники в лесу разделились. При таких обстоятельствах воображению жены и матери, сестры или той, что тайно питала еще более нежный интерес к кому-то из охотников, было нетрудно рисовать бесчисленные опасности, которым,

как все знали, подвергались участвовавшие в этих вылазках.

— Я сомневаюсь, чтобы охота погнала их из долины дальше, чем следует для такого часа и времени года, — заметила Руфь своим девушкам, собравшимся группой вокруг нее в месте, откуда можно было видеть столько открытого пространства вокруг строений, сколько позволяла темнота. — Самый серьезный мужчина становится легкомысленным, как неразумное дитя, если им руководит азарт погони. Долг тех, кто постарше, подумать за тех, кто хочет испытать себя… Но к каким несдержанным сетованиям приводят меня мои страхи! Возможно, мой муж именно сейчас старается собрать свой отряд, чтобы вернуться. Не слыхал ли кто его раковину, трубящую сбор?

— В лесу тихо с тех пор, как днем среди деревьев послышалось эхо от топора, — отвечала Фейс. — Я слыхала ту, что звучала, словно рев драчливого Дадли, когда он запоет, но это оказалось всего лишь мычание одного из его собственных волов. Быть может, скотине не хватает заботы хозяина.

— Уиттал Ринг смотрел за скотом, и не может быть, чтобы он не накормил среди прочих скотину Дадли. Твой ум обращен на пустяки, Фейс, когда заходит речь об этом молодом человеке. Неприлично особе твоих лет и пола проявлять такое сильное нерасположение при имени юноши честного нрава и достойных привычек, хотя он может показаться нескладным на вид и не пользоваться расположением девушки вроде тебя.

— Не я лепила этого человека, — возразила Фейс, кусая губы и вскинув голову, — и мне все равно, складен он или нет. А что до моего расположения, если он его домогается, ему не придется долго ждать ответа. Но вот та фигура не сам ли парень, мадам Хиткоут? Вот он подходит со стороны восточного холма по садовой тропинке. Этот человек уже здесь; вы

можете видеть, как в эту минуту он сворачивает по излучине ручья.

— Это, несомненно, человек и, должно быть, один из нашего отряда охотников. Однако он не похож ростом или походкой на Ибена Дадли. Ты должна узнавать своих родственников, милая. По мне, так это, похоже, твой брат.

— По правде, это может быть и Рейбен Ринг. Однако в его походке много чванства, как у того парня, тем более что фигуры у них почти одинаковые и манера носить мушкет почти такая же, как у всех жителей пограничья. Нелегко отличить фигуру человека от пня при таком свете, но все же я думаю, это окажется бездельник Дадли.

— Бездельник или нет, он первый, кто возвращается с этой долгой и утомительной охоты, — сказала Руфь с тяжелым вздохом человека, сожалеющего, что это так. — Сходи к задним воротам и впусти его, милая. Я приказала задвинуть засовы, ибо не люблю оставлять крепость под защитой женского гарнизона в такое время с открытыми воротами. Я поспешу в дом и позабочусь о тех, кто голоден, потому что и остальные не заставят себя долго ждать.

Фейс повиновалась неспешно и с подчеркнутым безразличием. К тому времени, когда она добралась до входа, стало видно, как человек поднимается в гору и направляется к тому же месту. В следующую минуту энергичная попытка войти возвестила о его прибытии.

— Потише, мастер Дадли, — сказала своенравная девица, придерживая засов одной рукой и нарочно не спеша отодвинуть его. — Мы знаем, что у тебя сильная рука, но вряд ли частокол обрушится от твоего толчка. Ты не Самсон[63], чтобы обрушить столбы на наши головы. А вдруг мы не расположены впускать тех, кого не бывает дома весь год.

— Открывай ворота, милашка, — потребовал Ибен Дадли, — а потом, если тебе есть что сказать, нам будет сподручнее поговорить.

— А может, беседовать с тобой приятней, если ты по ту сторону. Отчитайся за свое отступничество весь этот день, кающийся грешник Дадли, если хочешь, чтобы я тебя пожалела. А чтобы голод не отшиб тебе память, я могу помочь освежить детали. Первой из твоих провинностей было проглотить больше своей порции холодного мяса; второй — позволить Рейбену Рингу убить оленя и самому притязать на этот подвиг, а третьей — то, что ты так любишь слушать собственный голос, что даже скотина бежит от тебя из отвращения к шуму, который ты производишь.

— Ты шутишь не ко времени, Фейс. Я должен безотлагательно поговорить с капитаном.

— А может, у него есть более полезное занятие, чем желать такой компании. Ты не единственное странное существо из многих, кто поднимал шум у ворот Виш-Тон-Виша.

— Кто-нибудь приходил в течение дня, Фейс? — спросил лесной житель с интересом, какой подобное событие могло бы возбудить в душе человека, привыкшего жить в столь глубоком уединении.

— Что ты скажешь о втором визите незнакомца, изъясняющегося благородным языком? Того, кто удостоил нас такими развеселыми беседами этой осенью. Вот такого гостя стоит принимать! Ручаюсь, ему не пришлось бы стучаться дважды.

— Этот дамский угодник лучше бы остерегался луны! — воскликнул Дадли, ударяя прикладом своего мушкета об лед с такой силой, что девушка вздрогнула в испуге. — Какое дурацкое поручение снова заставило его загнать свою клячу так далеко в лес?

— Нет, твой ум, как всегда, похож на необъезженного жеребчика, твердолобый бродяга. Я не

сказала в прямом смысле, что этот человек приходил. Я только пригласила тебя высказать свое мнение на случай, если бы он неожиданно явился, хотя я далеко не уверена, что кто-нибудь здесь хочет увидеть его лицо снова.

— Все это глупая болтовня, — возразил юноша, спровоцированный на выражение ревности, которой он неосторожно поддался. — Говорю тебе, отодвинь засов, ибо мне очень нужно переговорить с капитаном или с его сыном.

— Ты можешь раскрыть душу первому, если он захочет выслушать тебя, — сказала девушка, позволяя ему войти, — но скорее тебя выслушает второй, если ты останешься у ворот, потому что он еще не вернулся из леса.

Дадли отступил на шаг и повторил ее слова тоном человека, у которого чувство тревоги смешалось с удивлением.

— Не вернулся из леса! Но снаружи больше никого нет, раз я теперь дома!

— К чему ты это говоришь? Я отпускала колкости в твой адрес больше в отместку за старые проступки, чем за какую-то нынешнюю обиду. Ты вовсе не последний, ты первый из охотников, кого мы увидели здесь. Ступай сейчас же к мадам и скажи ей об угрозе, если она имеется, чтобы мы быстренько приняли меры для своей безопасности.

— В этом было бы мало хорошего, по правде говоря, — пробормотал житель пограничья в раздумье. — Оставайся здесь и сторожи задние ворота, Фейс. А я пойду обратно в лес, ибо вовремя сказанное слово или сигнал моей раковины могут заставить их поторопиться.

— Какое безумие овладело тобой, Дадли? Ведь ты бы не пошел в лес снова в такой час и один, если бы была причина бояться? Войди в ворота, человече, чтобы

я могла задвинуть засов. Госпожа будет удивляться, что мы мешкаем здесь так долго.

— Ба! Я слышу шаги на лугу. Я узнаю их по скрипу снега: остальные не замедлят явиться.

Вопреки явной уверенности молодого человека, он, вместо того чтобы пойти навстречу своим друзьям, вернулся обратно и собственноручно задвинул засов, не забыв в то же время заложить деревянную перекладину, придававшую дополнительную надежность запорам задних ворот. Его опасения, если таковые побудили его принять эту предосторожность, были, однако, напрасны, ибо, прежде чем у него нашлось время сделать или хотя бы поразмыслить о каком-либо дальнейшем шаге, хорошо знакомый голос сына владельца долины потребовал впустить его. Суматоха прибытия, потому что с Контентом вошла группа спутников, нагруженных олениной, положила конец спору. Фейс воспользовалась случаем ускользнуть в темноте, чтобы объявить хозяйке, что охотники вернулись, — обязанность, которую она выполнила, не вдаваясь во все детали своего разговора с Ибеном Дадли.

Нет необходимости описывать, с каким удовлетворением Руфь встретила мужа и сына после только что испытанной тревоги. Хотя строгие нравы провинции не допускали сильного проявления мимолетных чувств, тайная радость царила в добрых глазах и рдела на пышущих жизнью щеках рассудительной матроны, когда она лично исполняла обязанности хозяйки за вечерней трапезой.

Отряд вернулся, не встретив ничего необычного, и охотников, казалось, не беспокоило ни одно из соображений, о которых так серьезно и недвусмысленно рассуждал вернувшийся раньше их. Напротив, каждому было что рассказать безмятежно и даже пройдясь на счет неудачливого сотоварища, а

подчас ради того, чтобы все узнали о его личной сноровке охотника. Опоздание приписали, как обычно объясняют подобные опоздания, дальности расстояния и соблазну необычайно успешной охоты. Поскольку аппетит тех, кто провел весь день за возбуждающим занятием, был острым, а еда соблазнительной, первые полчаса прошли быстро, как обычно проходят такие полчаса, в словоохотливых описаниях личных подвигов и того, как едва удалось уйти оленям, которые, не будь фортуна переменчива, фигурировали бы ныне в качестве трофеев поразившей их меткой руки. Только после того, как личное тщеславие было достаточно удовлетворено и особый аппетит жителя пограничья утолен до предела, охотники принялись оглядываться вокруг уже не столь возбужденно и обсуждать события дня с надлежащим спокойствием и рассудительностью, более приличествующими их обычному самообладанию.

— Мы пропустили звук твоей раковины, бродяга Дадли, потому что оказались в глубокой лощине горы, — сказал Контент, воспользовавшись паузой в разговоре, — с того времени ничей глаз или слух не мог уловить следов твоих передвижений, пока мы не встретили тебя у задних ворот, где ты устроился, словно шпион на посту.

Лицо, к которому он обратился, никоим образом не принимало участия в общем веселье. Пока прочие наедались вволю или присоединялись к безобидным шуткам, способным срываться с губ даже людей столь сдержанных, как его сотоварищи, Ибен Дадли едва притронулся к пище. И ни один мускул на его жестком лице не расслабился в улыбке. Серьезность и молчаливость, необычные для человека, так мало привыкшего обнаруживать оба эти качества, не замедлили привлечь внимание. Все посчитали случайностью то, что он вернулся с охоты с пустыми руками, и теперь, когда человек, облеченный властью,

нашел момент подходящим, чтобы придать такое направление разговору, воображаемому виновнику не позволили ускользнуть безнаказанно.

— Нашему мяснику маловато работы с добычей нынешнего дня, — заметил один из молодых людей, — в качестве наказания за то, что он отлучился со скотобойни, его надо заставить отправиться на холм и принести двух оленей, что свисают с молодого клена возле питьевого источника. Наше мясо так или иначе должно пройти через его руки, а не то в нем будет недоставать вкуса.

— С тех пор, как почил отбившийся баран, покупатели Ибена в недоумении, — добавил другой, — парень упал духом и похож на человека, готового уступить свое ремесло первому встречному, который того пожелает.

— Люди спешат отведать настоящего барана, а не стойлового валуха, — поддержал третий, — а потому спрос стал падать накануне этой охоты. Несомненно, благодаря этому он обеспечит поставку в полном объеме для всякого, кто готов поискать оленины в его хлеву.

Руфь заметила, как омрачилось лицо ее мужа при этих намеках на событие, которое, как всегда казалось, он хотел позабыть. И она вмешалась, чтобы вернуть мысли слушателей к вещам, более подходящим для обсуждения.

— Как это так! — воскликнула она поспешно. — Разве отважный Дадли утратил хоть что-то из своего мастерства? Я никогда не рассчитывала с большей уверенностью на обильный стол, чем когда его посылали на холмы за жирным оленем или нежной индейкой. Меня бы очень опечалило известие, что ему начинает недоставать охотничьей сноровки.

— Парень становится меланхоликом из-за пресыщения, — пробормотал своенравный голос среди

занятых посудой в отдаленной части комнаты. — Он занимается своим делом в одиночку, чтобы никто не узнал о его неудаче. Я думаю, он был бы рад отправиться за океан, чтобы заделаться солдатом.

До той минуты объект этих веселых нападок слушал, как человек, слишком уверенный в своей устоявшейся репутации, чтобы почувствовать себя задетым, но при звуке голоса последней из говоривших он сгреб в ладонь заросшую щеку, и когда устремил упрекающий и раздраженный взгляд в глаза уже наполовину раскаявшейся Фейс, к нему вернулся весь его природный нрав.

— Может, моя сноровка и изменила мне и мне нравится быть одному больше, чем чтобы мне досаждала компания тех, кого легко назвать по имени, не имея в виду храбрецов, что скачут взад и вперед по колонии, вбивая злонамеренные мнения в мысли дочерей порядочных людей; но почему Ибен Дадли должен выносить все мелкие стрелы ваших насмешек, когда есть другой, кто, похоже, отбился еще дальше от вашей тропы, чем он?

Все взоры обратились друг на друга, и каждый из молодых людей старался по беглым взглядам прочесть на лицах остальных, кем мог быть этот отсутствующий. Молодые жители пограничья качали головами, узнавая черты каждого хорошо знакомого лица, и общее восклицание протеста было готово сорваться с их губ, когда Руфь воскликнула:

— Правда: нет индейца!

Столь постоянным было ожидание опасности со стороны дикарей в сердцах тех, кто обитал на этой открытой границе, что при этих словах все вскочили на ноги во внезапном и общем порыве, и каждый стал оглядываться вокруг себя с изумлением, немного смахивавшим на смятение.

— Мальчик был с нами, когда мы покидали лес, — заявил Контент после минуты мертвой тишины. — Я похвалил его за активность и умение находить тайные места оленей, хотя не думаю, что он понял мои слова.

— И не будь грешно приводить столь весомое свидетельство по такому ничтожному поводу, я бы поклялся на Библии, что он был возле меня, когда мы вошли в сад, — добавил Рейбен Ринг, человек, славившийся в этой небольшой общине своей наблюдательностью.

— А я готов поклясться или сделать заявление любого рода, по закону или по совести, что он не вошел в задние ворота, когда я открыл их собственной рукой, — возразил Ибен Дадли. — Я пересчитал весь отряд, пока вы проходили, и совершенно уверен, что краснокожий не входил.

— Ты можешь рассказать нам что-нибудь насчет парня? — спросила Руфь, немедленно ощутив тревогу за человека, который так долго пользовался ее заботами и давал пищу ее воображению.

— Ничего. Я не встречался с ним с самого рассвета. Я не видел живого человеческого лица с того времени, правда, если не считать какого-то таинственного существа, которое я встретил в лесу, если его можно так назвать.

Манера, в какой говорил этот житель леса, была слишком серьезной и слишком естественной, чтобы не настроить и слушателей на серьезный лад. К тому же появление Пуританина как раз в этот момент помогло умерить чрезмерную веселость молодых людей, потому что, когда он вошел, более глубокое и общее выражение любопытства явственно отразилось на лицах всех присутствующих. Контент выждал минуту в уважительном молчании, пока его отец медленно шел сквозь людской крут, а затем приготовился продолжить

разбор дела, которое начинало приобретать характер события, заслуживающего расследования.

ГЛАВА IX

— Минувшей ночью,
Когда вон та звезда, левей Полярной,
Пришла светить той области небес,
Где блещет и теперь, Марцелл и я,
Едва пробило час...
— Тсс, замолчи; смотри, вот он опять!
«Гамлет»[64]

Наш долг как правдивых летописцев событий, отраженных в этой непритязательной легенде, не скрывать любые обстоятельства, которые могут пролить необходимый свет на ее перипетии, и любое мнение, которое может способствовать лучшему знакомству читателя с характерами действующих лиц. Чтобы это обязательство могло быть исполнено достаточно внятно и точно, необходимо теперь же сделать короткое отступление от непосредственного развития повествования.

Из уже сказанного читатель понял, что Хиткоуты жили в такие времена и в такой стране, где властвовали весьма радикальные и своеобразные религиозные догмы. В эпоху, когда с уверенностью ожидали и публично заявляли о зримых проявлениях благости Провидения не только в отношении духовных, но и мирских даров, вовсе не удивительно, что полагали, будто более зловещие силы осуществляют свое влияние таким образом, который в какой-то степени противоречит опыту нашего века. Поскольку, однако, у нас нет никакого желания сделать эти страницы рупором теологической или метафизической полемики, то мы с осмотрительностью будем рассказывать о некоторых важных событиях, как

утверждает большинство писателей, современников этих фактов, имевших место в поселениях колонистов Новой Англии в описываемый нами период. Достаточно известно, что тогда верили, будто искусство колдовства и другое, еще более дьявольское и прямое по происхождению, расцвело в этой части света столь сильно, словно отвечая прямо небрежению, с каким относились к большинству других жизненных занятий.

Так много серьезных и уважаемых авторитетов доказывали существование этих пагубных влияний, что требуется перо гораздо более твердое, чем наше, чтобы нападать на них без основательного мотива. «Люди поверхностные, — заявляет ученый и благочестивый Коттон Мезер[65], доктор богословия и член Королевского общества[66], — могут высмеивать эти вещи, но когда сотни самых рассудительных граждан в стране, унаследовавших, несомненно, ума не меньше, чем остальное человечество, *знают, что это правда,* то никто, кроме одержимых абсурдным и упрямым духом фарисейства, не может ставить это под вопрос». Мы не претендуем на скептическое отношение к такому серьезному и заслуживающему доверия авторитету. Мы представляем свидетельство такого писателя в качестве окончательного, хотя, поскольку его достоверность подчас, на наш взгляд, привязана к географическим границам и проистекает отчасти из национального характера, то, возможно, будет благоразумно отослать читателей, обитающих в другом полушарии, к английскому обычному праву по этому интересному предмету, как он умело изложен Киблом[67] и одобрен двенадцатью судьями этого высокоцивилизованного и просвещенного острова. Со столь краткой ссылкой на столь серьезные авторитеты для поддержки того, что собираемся теперь предложить, мы вернемся к сути повествования в

полной уверенности, что дальнейшие события прольют некоторый дополнительный свет на предмет такой большой и всеобщей важности.

Контент уважительно выждал, пока его отец усядется на свое место, а затем, видя, что почтенный Пуританин не намерен немедленно лично вмешаться в дело, приступил к допросу работника с серьезностью, которую с избытком оправдывала серьезность самого дела.

— Ты говорил о человеке, встреченном в лесу. Продолжи по существу разговора и расскажи нам, что это был за человек.

На прямо заданный вопрос Ибен Дадли приготовился дать полный и удовлетворительный ответ. Бросив сперва взгляд вокруг себя, чтобы охватить каждое исполненное любопытства и нетерпения лицо, и задержавшись немного дольше на отчасти заинтересованных, отчасти недоверчивых и слегка ироничных темных глазах, устремленных на него из дальнего угла комнаты, он начал нижеследующий рассказ:

— Вы все знаете, что когда мы добрались до вершины горы, то наш отряд разделился таким образом, чтобы каждый охотник прочесал свой участок леса, дабы ни один лось, олень или медведь не мог получить разумного шанса ускользнуть. Поскольку Рейбен Ринг крупного телосложения и, возможно, более быстроногий, чем другие, молодой капитан посчитал нужным приказать ему расположиться на одном конце линии, а человеку, не уступающему ему ни в скорости, ни в силе, сделать то же самое на другом. Не было ничего особенного и заслуживающего упоминания в том, что происходило на фланге, где я держался первые два часа, если не считать того, что я трижды натыкался на лабиринт хорошо утоптанных оленьих следов, которые всякий раз вели в никуда.

— Это приметы, обычные в лесах, и они не что иное, как многочисленные доказательства, что и животное увлекается упражнениями, как всякое другое игривое создание, если не угнетено голодом или опасностью, — спокойно заметил Контент.

— Я не пытаюсь придавать большое значение этим ложным следам, — подытожил Дадли, — но, короче говоря, вскоре после того, как я перестал слышать звук раковины, я поднял знатного самца из его логовища возле зарослей тсуги[68] и не терял добычу из виду, пока охота не увела меня далеко в сторону глухомани, наверное, на расстояние лиги в две.

— И за все это время у тебя не было подходящей минуты, чтобы подстрелить зверя?

— Совсем ни одной. И даже если бы подвернулся такой случай, не осмелюсь утверждать, что моя рука была бы достаточно тверда, чтобы посягнуть на его жизнь.

— Что же такого было в олене, что охотник старался пощадить его?

— В олене было то, что может навести христианина на самые серьезные размышления.

— Говори более понятно насчет характера и вида зверя, — потребовал Контент, несколько менее спокойный, чем обычно, в то время как позы молодых людей и девушек выражали еще более сосредоточенное внимание.

Дадли подумал мгновение, а затем начал менее сбивчиво перечислять то, что он счел чудесами в своем рассказе:

— Перво-наперво, не было никаких следов ни туда, ни обратно от того места, где зверь устроил свое логово; во-вторых, когда я его поднял, он не встревожился, а резво прыгнул вперед, позаботившись оказаться вне досягаемости мушкета, но не скрываясь с

моих глаз; и последнее — то, как он скрылся, достойно упоминания, как и все остальные его повадки.

— Так каким же образом ты потерял зверя?

— Я загнал его на гребень холма, где верный глаз и твердая рука могли наверняка поразить самца гораздо меньших размеров, когда… Приходилось ли вам слышать нечто такое, что может сойти за чудо в то время года, когда снег еще лежит на земле?

Слушатели с любопытством переглянулись, и каждый силился восстановить в памяти звук, который мог бы подтвердить рассказ, быстро приобретавший захватывающий интерес чего-то чудесного.

— Ты уверена, Чарити, что вой, послышавшийся из леса, был лаем побитого пса? — спросила одна из служанок Руфи у голубоглазой подруги, казалось, равно расположенной внести свою долю свидетельства в подкрепление любой волнующей легенды.

— Это могло быть и что-то другое. Хотя охотники ведь говорят, что побили щенка за строптивость.

— Было какое-то смутное эхо, похожее на грохот от упавшего дерева, — сказала раздумчиво Руфь. — Я, помню, спросила, не хищный ли то зверь вызвал общую пальбу из мушкетов, но отец посчитал, что это смерть подкосила тяжелый дуб.

— В какое время это примерно случилось?

— Это было на исходе дня, потому что в тот момент я вспомнила, как голодны те, кто промышлял среди холмов с самого рассвета. Это и был тот звук, что я имею в виду. Он шел не от падающего дерева, а разнесся в воздухе далеко над всем лесом. Если бы его услышал кто-то более сведущий в тайнах природы…

— Он бы сказал, что это гром, — прервала Фейс Ринг, которой, в отличие от остальных слушателей, качество, отраженное в ее имени[69], было не очень свойственно. — Воистину Ибен Дадли сотворил чудеса

на этой охоте. Он вернулся домой с громом в голове вместо жирного самца на плечах!

— Говори уважительно о том, чего не понимаешь, — произнес Марк Хиткоут сурово и веско. — Чудеса обнаруживают себя одинаково и для невежд, и для сведущих; и хотя суемудрые претенденты на философию утверждают, что противоборство стихий есть не более чем самоочищение природы, однако мы знаем от всех древних авторитетов, что в нем находят выражение другие проявления. Сатана может контролировать воздушные боеприпасы; он может «пустить в ход небесную артиллерию». Князь сил тьмы так же хорошо разбирается в химии, как и умеет делать aurum fulminans[70], — утверждает один из самых мудрых писателей нашего времени.

Не нашлось никого настолько дерзкого, чтобы не согласиться с заявлением и тем паче с эрудицией, проявившей себя в речи Пуританина. Фейс была рада спрятаться среди группы девушек, испытывавших благоговейный страх, между тем как Контент после достаточно уважительной паузы пригласил лесного жителя, которого все еще переполняла самая важна часть его сообщения, продолжать.

— Пока мои глаза резонно искали молнию, что должна бы сопровождать гром, как положено в природе, олень исчез. А когда я взобрался на холм, чтобы держать добычу в виду, передо мной так неожиданно появился человек, поднимавшийся по его противоположному склону, что наши мушкеты едва не уперлись в грудь друг друга, прежде чем каждый успел заговорить.

— Что это был за человек?

— Насколько доступно человеческому суждению, он был похож на путника, который старается продраться сквозь глухой лес из низовых городов к отдаленным

поселениям возле Залива. Но я считаю исключительным чудом то, что скачок оленя свел нас вместе на одной тропе таким необычным образом.

— А оленя ты видел после встречи?

— Сперва, второпях от неожиданности, мне, конечно, показалось, что зверь умчался по лесу в отдаленную чащу, но ведь известно, как легко то, что кажется вероятным, может привести человека к ложному выводу. Без сомнения, зверь сделал то, что ему было предписано исполнить, то есть исчезать то тут, то там таким манером, как я упомянул.

— Может, и так. А незнакомец — ты с ним разговаривал, прежде чем разойтись?

— Мы проговорили почти час. Он рассказал много удивительного о жизни людей близ океана. По свидетельству чужака, силы мрака проявили себя в провинциях ужасным образом. Бесчисленное количество верующих подверглось преследованию невидимками и здорово натерпелось мучений души и тела.

— Я был свидетелем удивительных примеров всего этого в свое время, — сказал Марк Хиткоут своим глубоким и впечатляющим голосом, нарушив испуганное молчание, наступившее вслед за сообщением о столь тяжком испытании для спокойствия Колонии. — Тот, с кем ты беседовал, касался деталей испытаний?

— Он также говорил о некоторых других знамениях, предвещающих, как полагают, близкие беды. Когда я упомянул о своей утомительной охоте и о звуке, раздавшемся в воздухе, он сказал, что это было бы сочтено чепухой в городах Залива, где гром и молнии натворили много зловредных вещей в прошлом году, ибо Сатана показал свою особую злобность, заставляя их причинять ущерб домам Господа.

— Давно были основания полагать, что паломничество истинно верующих в эти дикие места встретит жестокое противодействие тех завистливых натур, что, сами вскармливая зло, терпеть не могут трудов тех, кто старается следовать узкой тропой. Мы же отныне прибегнем к единственному оружию, которое нам позволено держать в руках в этом противоборстве, но которое, если обращаться с ним ревностно и умело, не преминет привести к победе.

Сказав это и не слушая дальше рассказ Ибена Дадли, старый Марк Хиткоут встал и, выпрямившись по обычаю людей своей секты, предался молитве. Серьезная и напуганная, но глубоко доверчивая община последовала его примеру. Губы Пуританина разомкнулись, готовясь произнести первые слова, когда низкая дрожащая нота, похожая на ту, что производит духовой инструмент, прозвучала снаружи и достигла места, где собралось семейство. Раковина висела наготове у задних ворот, чтобы ею мог воспользоваться член семейства, которого случай или работа задержат позже обычного часа, когда ворота запирали. Судя по тому, откуда исходила эта помеха и по ее характеру, у ворот явно стоял человек, претендующий, чтобы его впустили. Реакция аудитории была всеобщей и мгновенной. Несмотря на недавний диалог, молодые люди невольно стали искать свое оружие, а дрожащие женщины сгрудились вместе, подобно стаду трепещущих и пугливых олених.

— Это, несомненно, сигнал снаружи! — заметил наконец Контент, подождав, пока звук замер в углах здания. — Какой-нибудь охотник сбился с дороги и просит гостеприимства.

Ибен Дадли покачал головой, как человек, который не согласен. Но, схватив, как и все остальные юноши, свой мушкет, он стоял так же, как прочие, в нерешительности, в какую сторону направиться. Трудно

сказать, как долго могла продолжаться эта нерешительность, если бы не последовали повторные сигналы. Человек снаружи оказался слишком нетерпеливым, чтобы терять много времени. Раковина снова протрубила, и с гораздо большим эффектом, чем прежде. Звук был продолжительнее, громче и смелее, чем тот, что в первый раз проник сквозь стены жилища, прозвучав в воздухе в полную силу и сочно, словно губы к раковине приложил человек, хорошо напрактиковавшийся в использовании инструмента.

Контент вряд ли бы осмелился не подчиниться приказу, исходящему от отца, даже если бы он не отвечал его собственным намерениям. Но тут же в голове его родилось необходимое решение, и он приготовился дать знак Дадли и Рейбену

Рингу следовать за собой, когда Пуританин приказал ему посмотреть, в чем дело. Подав знак остальному семейству оставаться на своих местах и вооружившись мушкетом, в тот день не раз опробованным с определенной целью, он направился к задним воротам, уже так часто упоминавшимся.

— Кто трубит у моих ворот? — вопросил Контент, когда он и его спутники достигли места под прикрытием низкой земляной насыпи, воздвигнутой специально ради контроля над входом. — Кто просит защиты у мирного семейства в этот ночной час?

— Человек, нуждающийся в том, о чем просит, иначе он не потревожил бы твой покой, — был ответ. — Открой задние ворота, мастер Хиткоут, без боязни; это брат по вере, живущий по тем же законам и молящий о благодеянии.

— Снаружи вправду христианин, — сказал Контент, спеша к задним воротам, которые он, не медля ни минуты, широко распахнул со словами: «Входи, во имя Господа, и добро пожаловать к тому, что мы можем предложить».

Высокий и судя по походке грузный человек, облаченный в одежду для верховой езды, поклонился в ответ на приветствие и тотчас прошел под низкой притолокой. Все взоры были пристально устремлены на незнакомца, который, одолев короткий подъем, остановился, пока молодые люди по приказанию своего хозяина тщательно и внимательно снова задвигали засовы ворот. Когда засовы и запоры были водворены на свои места, Контент присоединился к гостю и, сделав еще одну бесполезную попытку разглядеть его фигуру при слабом свете, падавшем от звезд, сказал в своей мягкой и спокойной манере:

— Ты, должно быть, сильно нуждаешься в тепле и пище. Расстояние от этой долины до ближайшего жилья изнурительно, и тот, кто его проделал в такое время, как это, вероятно, находится на пределе сил. Идем и воспользуйся тем, что мы можем предложить, так же свободно, как будто это твое.

Хотя незнакомец не проявил того нетерпения, какое, как, видимо, думал наследник Виш-Тон-Виша, человек в подобной ситуации имел все основания испытывать, приглашенный таким образом, он не стал медлить. Однако когда он шел вслед за хозяином, то шагал неторопливо и с достоинством, а раз или два, когда хозяин замедлил шаг, чтобы сделать мимоходом какое-нибудь замечание из вежливости, не выказывал особого рвения пускаться в извинения, которые выражали бы искреннюю благодарность человека, совершившего далекое путешествие в ненастное время года и по дороге, где ни жилье, ни безопасность не располагали к отдыху.

— Здесь ты найдешь тепло и гостеприимство мирных людей, — продолжал Контент, вводя гостя в центр группы лиц, на которых читался страх. — Немного погодя добавятся и другие вещи для твоего удобства.

Очутившись под ярким светом и столь многочисленными любопытными и удивленными взглядами, какое-то мгновение незнакомец помедлил в нерешительности. Затем, спокойно шагнув вперед, сбросил с плеч короткую куртку для верховой езды, тесно облегавшую его фигуру, и обнаружил суровый взгляд, угрюмые черты и атлетический облик человека, незадолго до того переступившего порог Виш-Тон-Виша без особого предупреждения и также таинственно покинувшего его.

Пуританин поднялся навстречу посетителю со спокойной и серьезной любезностью. Но явный, неподдельный и необычный интерес мелькнул на его обычно бесстрастном лице, когда, едва черты гостя открылись взгляду, он узнал человека, шедшего ему навстречу.

— Марк Хиткоут, я пришел к тебе. Не важно, много или мало прошло времени, как ты получил вести от меня. Дела последнего времени требуют не откладывать надолго разговор о том, что я должен тебе предложить.

Несмотря на исключительный характер и неожиданность удивления, которое обнаружил ветеран Марк, оно длилось достаточно долго, чтобы его сумели заметить любопытствующие взгляды, жадно пожиравшие все происходящее. Затем к нему мгновенно вернулась сдержанная и характерная манера, вообще отличавшая его поведение, и спокойным жестом, как это делают друзья в минуты доверительности, он пригласил гостя проследовать во внутреннее помещение. Незнакомец выразил согласие и сделал легкий поклон, как человеку уже знакомому, в сторону Руфи, проходя мимо нее по пути в комнату, избранную для беседы явно с глазу на глаз.

ГЛАВА X

Марцелл: Ударить протазаном?
Горацио: Да, если двинется.
Марцелл: Он здесь!
Горацио: Он здесь!
Марцелл: Ушел!
«Гамлет»[71]

Не более минуты нежданный посетитель стоял, сбросив верхнюю одежду, перед глазами любопытной группы, собравшейся в наружном помещении. Однако этого было достаточно, чтобы позволить людям, редко оставлявшим без внимания мельчайшие особенности одежды или внешности, заметить наиболее характерные особенности его наряда. Тяжелые пистолеты всадника, однажды уже выставленные напоказ, были заткнуты за пояс, и юный Марк уловил блеск кинжала с серебряной рукоятью, привлекшего его взгляд предшествующим вечером. Но уход деда и незнакомца из комнаты не позволил парню определить, был ли он в точности такой же, как тот, что висел над постелью деда скорее как память о минувших днях, чем для использования в целях, для которых он предназначался.

— Этот человек еще не расстался со своим оружием! — воскликнул приметливый юноша, обнаружив, что все остальные прикусили языки. — Хорошо бы он оставил его дедушке, чтобы я мог поохотиться за пронырливым вампаноа до его берлоги.

— Горячая голова! Твой язык слишком склонен к легкомыслию, — заметила Руфь, не только снова занявшая свое место, но и возобновившая нехитрую работу, прерванную ударами в ворота, со спокойным

выражением, которое не замедлило в какой-то мере приободрить и ее девушек. — Вместо того чтобы дорожить преподанным тебе уроком мира, твои непокорные мысли все еще клонятся к раздорам.

— А что плохого, если мне хочется владеть оружием, пригодным для моего возраста, и воспользоваться им, чтобы сломить силу наших врагов. А может, заодно и помочь хоть как-то обеспечить безопасность своей матери?

— Твоей матери нечего бояться, — внушительно возразила матрона, бросив в то же время признательный, хотя и мимолетный взгляд благодарной любви на отважного, пусть подчас и упрямого юношу. — Здравый смысл уже научил меня, как глупо пугаться только потому, что кто-то постучался у наших ворот в ночной час. Уберите свои ружья, люди! Вы же видите, что мой муж не хватается больше за мушкет. Будьте уверены, что его глаза предупредят нас, если опасность будет рядом.

Невозмутимость ее мужа была на удивление даже более искренней, чем могла передать простая речь его жены. Контент не только отложил оружие, но и вновь занял свое место возле огня со спокойным и уверенным видом и, как мог бы заметить внимательный наблюдатель, с не меньшей сообразительностью, чем она. До сих пор смелый Дадли стоял, опираясь на свое ружье, застывший и, по-видимому, равнодушный как статуя. Но, следуя повелению того, кому привык повиноваться, он прислонил мушкет к стене с заботливостью охотника, а затем, проведя ладонью по своим спутанным волосам, словно это могло ускорить ход мыслей, хотя он никогда не отличался быстротой соображения, недоуменно воскликнул:

— Вооруженная рука хороша в этих лесах, но вооруженный шпорой каблук нужен человеку не меньше, если он завзятый путешественник из

Коннектикута до Виш-Тон-Виша между восходом и закатом солнца! Чужак находится в седле недолго; это видно из того, что его сапоги без шпор. Когда он безжалостно вонзал шпоры в бока несчастной клячи, пригодившейся в пищу волкам, гоня ее через лес, у него были более приятные встречи. Я видел кости лошади не далее как сегодня днем. Они были до того отполированы хищниками и морозом, что наметенный с гор снег не белее!

Контент и Руфь обменялись многозначительными и тревожными взглядами, когда Ибен Дадли таким образом высказал мысли, внушенные неожиданным возвращением незнакомца.

— Ступай к смотровой бойнице у западного частокола, — сказала последняя, — и посмотри, не притаился ли случайно индеец возле строений, стыдясь своего опоздания и, быть может, боясь позвать, чтобы его впустили. Я не хочу думать, что мальчик решил сбежать от нас без всякого изъявления благодарности и не простившись.

— Я не берусь сказать, какими церемониями малец может вообразить себя обязанным хозяину долины и его домочадцам, но если он еще не сбежал, то снег в оттепель не растает быстрее, чем мальчишка исчезнет в один прекрасный день. Рейбен Ринг, ты хорошо видишь при свете и во тьме. Идем со мной, чтобы ничто от нас не ускользнуло. Если бы твоя сестра Фейс присоединилась к нам, то краснокожему было бы нелегко пересечь вырубку втихомолку.

— Ступайте сами! — поспешно ответила девушка. — Женщине больше пристало позаботиться о нуждах того, кто с самого восхода солнца был в долгой и трудной дороге. Если парень укрылся от твоего недреманного ока, бдительный Дадли, у него не будет причин бояться других.

Хотя Фейс столь решительно отказалась присоединиться к группе, ее брат согласился без колебаний. Молодые люди уже собрались вместе покинуть помещение, когда щеколда, на которой уже лежала рука Дадли, тихо поднялась без его помощи и объект их предполагаемого поиска проскользнул мимо них и занял свое привычное место в одном из самых укромных уголков комнаты. По своему обыкновению, юный пленник вошел так бесшумно, что на мгновение те, кто видел, как его смуглая фигура пересекла комнату, невольно подумали, будто он просто пришел сюда, как это ему всегда разрешали делать в такое время. Но вскоре все опомнились и вновь задумались не только о подозрительных обстоятельствах его исчезновения, но и о том необъяснимом способе, каким он попал через ворота внутрь.

— Не мешало бы присмотреть за караульными! — воскликнул Дадли, когда повторный взгляд убедил его, что его глаза действительно созерцают того, кого недосчитались. — Место, через которое может пробраться подросток, вполне способно пропустить целую толпу воинов.

— Верно, — сказал Контент, — это надо выяснить. А не вошел ли мальчик, когда ворота были открыты для незнакомца? Вот идет тот, кто может рассказать об этом!

— Именно так! — сказало названное лицо, возвратившееся из внутренней комнаты как раз вовремя, чтобы расслышать замечание. — *Я.* обнаружил этого туземного мальчика возле ворот и взял на себя христианскую обязанность приютить его. Я уверен, что человек с таким добрым сердцем и милосердный, как хозяйка этого семейства, не прогонит его во гневе.

— Он не чужой у нашего очага или за нашим столом, — ответила Руфь, — будь это иначе, ты поступил бы правильно.

Ибен Дадли сохранял недоверчивый вид. Его ум в тот день был сильно занят видениями чудес, и у него, по правде говоря, имелись некоторые основания отнестись с недоверием к обстоятельствам возвращения юноши.

— Было бы нелишне осмотреть запоры, — пробормотал он, — чтобы другие, менее желанные, не последовали за ним. Раз здесь в колонии ныне действуют невидимые силы, человек не может спать чересчур крепко!

— Тогда ступай к наблюдательному посту и стой на карау*л* е, пока часы не пробьют полночь, — заявил Пуританин, желая показать, что, отдавая это приказание, он на самом деле руководствуется соображениями гораздо более глубокими, нежели смутные опасения его работника. — Прежде чем сон одолеет тебя, другой будет готов тебя сменить.

Марк Хиткоут редко подавал голос, но почтительное молчание позволило расслышать самые тихие его слова. В данном случае, когда впервые раздался его голос, такое безмолвие овладело всеми в его присутствии, что он закончил фразу под почти неуловимое дыхание слушателей. Среди этой кратковременной, но мертвой тишины раздался звук раковины у ворот, который можно было бы принять за эхо того, что так недавно заставил вздрогнуть и без того возбужденных обитателей селения. При повторе столь непривычных звуков все вскочили на ноги, но никто не произнес ни слова. Контент бросил торопливый и беспокойный взгляд на отца, а тот, в свою очередь, тревожно искал взглядом незнакомца. Последний стоял твердо и неподвижно. Одна рука опиралась на спинку стула, с которого он поднялся, а другая схватилась, может быть неосознанно, за рукоять одного из пистолетов, привлекших внимание юного Марка и еще заткнутого за широкий кожаный ремень, опоясывавший его камзол.

— Похоже, этот звук издает человек, не привыкший обращаться с инструментами простых смертных! — пробормотал один из тех, чей разум благодаря рассказу Дадли был готов поверить в любое чудо.

— Откуда бы он ни шел, это призыв, на который должно ответить, — заявил Контент. — Дадли, твой мушкет! Этот визит так необычен, что обязанность привратника надо поручить не одной руке.

Житель пограничья мгновенно повиновался, бормоча сквозь зубы, пока забивал запал глубже в ствол ружья:

— Ваши заморские храбрецы нынче ночью быстро идут по следу!

Затем, сунув мушкет под мышку, он с неудовольствием и обидой взглянул в сторону Фейс Ринг и приготовился открыть дверь перед Контентом, когда повторный звук разнесся в тишине, царившей снаружи. Второй зов раковины был более настойчивым, долгим, громким и умелым, чем предшествующий.

— Можно подумать, что раковиной забавляются, — заметил Контент, многозначительно глядя на своего гостя. — Никогда еще один звук не походил на другой больше, чем эти, которые мы только что слышали, и те, что ты извлекал из раковины когда просил тебя впустить.

Внезапное озарение осенило незнакомца. Встав в центре кружка скорее с непринужденностью давнего знакомого, чем с недоверием недавно прибывшего гостя, он призвал к молчанию, а затем сказал:

— Пусть никто не двигается, кроме этого смелого лесного жителя, молодого капитана и меня. Мы выйдем, и не сомневайтесь, что безопасность находящихся внутри будет соблюдена.

Несмотря на необычность такого заявления и поскольку оно как будто не возбудило ни удивления, ни возражений со стороны Пуританина и его сына,

остальное семейство не имело ничего против. Едва закончив говорить, незнакомец подошел ближе к горящему факелу и тщательно проверил, в каком состоянии его пистолеты. Затем, обращаясь к старому Марку, он продолжил, понизив голос:

— Возможно, это будет не духовная, а мирская схватка в большей степени, чем любая, которую могут развязать силы, возмущающие беспокойный дух колоний. В подобной крайности полезно соблюдать осторожность солдата.

— Мне не нравятся эти забавы с раковиной, — возразил Пуританин. — Они свидетельствуют о желчном и дьявольски злобном нраве. В последнее время мы имели в этой колонии трагические примеры того, на что способна разрушительная злоба Азазеля[72]. И было бы тщетно надеяться, что вид моей обители Господа не приводит в неистовство силы зла.

Хотя незнакомец с уважением слушал слова хозяина, было ясно, что его мысли занимали опасности иного рода. Рука, по-прежнему лежавшая на рукояти оружия, еще тверже сжимала пистолет, а мрачное, хотя и меланхолическое выражение лица и сжатый рот отражали скорее физическую, нежели духовную решимость. Он сделал знак двум спутникам, которых выбрал, и направился во двор.

К этому времени ночные тени ощутимо сгустились и, хотя было еще рано, темнота окутала долину, так что стало трудно различать предметы на близком расстоянии от глаз. Тьма заставила тех, кто сейчас вышел из дверей здания, продвигаться вперед с осторожностью, чтобы не подвергнуться какой-либо затаившейся опасности, прежде чем она обнаружится. Однако, когда все трое надежно пристроились позади плотного заслона из досок и земли, нависавшего и господствовавшего над входом, где их фигуры от плеч

и ниже были полностью защищены и от пули, и от стрелы, Контент пожелал узнать, кто же, стоя у ворот, просит впустить его в час, когда они обычно заперты на ночь. Но вместо быстрого ответа, как в прошлый раз, стояла такая глубокая тишина, что было отчетливо слышно, *ка* к эхо повторило его собственные слова, что было неудивительно в тот тихий час в соседстве глухих лесов.

— Исходит ли это от дьявола или от человека, — это измена — прошептал незнакомец после приличной паузы. — На хитрость надо отвечать хитростью. Но ты гораздо ловчее в том, что касается лесных козней, чем человек вроде меня, набравшийся опыта в менее хитроумных трюках ведения войны по-христиански.

— А что думаешь ты, Дадли? — спросил Контент. — Стоит ли делать вылазку, или подождем еще одного сигнала раковины?

— Многое зависит от того, каких гостей следует ждать, — ответил тот, у кого спрашивали совета. — Что до хвастливых храбрецов, которые ох какие молодцы среди девиц и у которых душа уходит в пятки, когда они принимают крик сойки за боевые вопли индейцев, меня не беспокоит, даже если вы снимете караульных и пригласите их въехать во двор галопом. Я знаю, как загнать их на верхний этаж блокгауза быстрее, чем выводок сбежится на квохтанье индюшки, но…

— Неплохо придержать язык в такой серьезный и неопределенный момент! — прервал незнакомец. — Не о такого рода храбрецах речь!

— Тогда я вам скажу, как узнать причину музыки вашей раковины. Ступайте оба в дом, громко разговаривая по дороге, чтобы тот, кто снаружи, мог вас слышать. Когда войдете, мое дело будет найти такой пост возле ворот, чтобы никто снова не стучал и никакого привратника не было под рукой, чтобы спросить, что им надо.

— Это уже лучше, — заметил Контент, — и вполне безопасно: еще несколько молодых мужчин, знакомых с такого рода уловками, выйдут через потайную дверь и залягут в ожидании позади строений, чтобы была поддержка в случае нападения. Что бы ты еще ни предпринял, Дадли, помни: ты не должен снимать запоры задних ворот.

— Позаботьтесь о поддержке, — возразил лесной житель, — будь это зоркий Рейбен Ринг, я чувствовал бы себя уверенно, зная, что добрая подмога у меня за спиной. В их семье все быстро соображают и хитры на выдумки, если речь не идет о твари с телом человека, но не с его разумом.

— Будет тебе Рейбен, и никто другой из его родни, — подтвердил Контент. — Приглядывай хорошенько за засовами, а я желаю тебе полного успеха в обмане, который не может быть греховным, ибо имеет целью только нашу безопасность.

С таким напутствием Контент и незнакомец предоставили Дадли опыту его собственных уловок, предусмотрительно соблюдая уговор говорить громко по дороге к дому, чтобы любой, кто подслушивал снаружи, мог предположить, что вся группа прекратила поиски, удостоверившись в их бесплодности.

Тем временем молодой человек, оставленный возле задних ворот, принялся со всей серьезностью за выполнение предпринятой им меры. Вместо того чтобы спуститься прямо к частоколу, он тоже поднялся и сделал крут среди наружных построек по краю откоса. Потом, нагнувшись так низко, чтобы слиться с предметами на снегу, он срезал угол частокола в точке, удаленной от места, близ которой намеревался караулить, будучи, как он надеялся, полностью укрыт от соглядатаев благодаря темному времени суток и теням холма. Очутившись под частоколом, караульный припал к земле, крадясь с величайшей осторожностью

вдоль бревен, связывавших нижние концы частокола, пока не добрался до некоего подобия караульной будки, сооруженной для той самой цели, которой он сейчас собирался достичь. Оказавшись под прикрытием этого маленького убежища, крепкий лесной житель принялся со всем тщанием размещать свое крупное тело удобно и безопасно, насколько позволяли обстоятельства. Здесь он готовился провести много томительных минут, прежде чем возникнет дальнейшая нужда в его услугах.

Читателю будет нетрудно поверить, что мнения, подобные тому, с каким заступил на свой молчаливый пост этот житель пограничья, возникли из сильного недоверия к гостям, которых ему, возможно, предстояло встретить. Было сказано достаточно в доказательство того, что в его душе прежде всего возобладало подозрение, что незваные агенты правительства вернулись по пятам незнакомца. Но, несмотря на явное правдоподобие такого мнения, имели место и тайные сомнения насчет земного происхождения двух последних сигналов раковины. Все легенды и все самые достоверные и авторитетные свидетельства, известные в колониях Новой Англии, подтверждали, какую зловредную радость дьявольские силы находили, вытворяя свои порочные забавы или иным образом мучая тех, кто основывал их помощь на вере, которая, как полагали, была столь отвратительна для их собственных неблагодарных и пропащих натур.

Под влиянием впечатлений, естественно возникших при общении с путником в горах, душа Ибена Дадли одинаково раздваивалась между ожиданием в любую минуту увидеть одного из тех, кого он так бесцеремонно побудил покинуть долину, возвратившегося, чтобы тайком проникнуть за ворота либо стать невольным свидетелем некоего злого проявления той силы, какой временами наделяются

невидимые духи. В обоих этих предположениях, однако, ему было суждено разочароваться. Вопреки сильным духовным пристрастиям, влиявшим на суждения легковерного стража, в его душе было слишком много суетного и мирского, чтобы возвыситься над слабостями рода людского. Столь путаный ум начал уставать от собственных рассуждений и по мере того, как ослабевал из-за чрезмерных усилий, материальная сфера постепенно утверждала свою власть. Мысли, вместо того чтобы оставаться ясными и деятельными, как того, казалось бы, требовали обстоятельства, становились смутными.

Пару раз житель пограничья приподнимался в полроста и как будто оглядывался, наблюдая вокруг себя. А затем, когда его крупная фигура тяжело откинулась назад, приняв прежнее полулежачее положение, успокоился и застыл. Так повторялось несколько раз с возрастающими промежутками, пока по прошествии часа молодого человека, забывшего и про охоту, и про солдат, и про таинственных посланцев зла, не одолела накопившаяся за день усталость. Высокие дубы соседнего леса были недвижимы в мертвой тишине не более, чем его тело, прислонившееся теперь к стенке тесного пристанища.

Сколько времени было таким образом потеряно в бездействии, Ибен Дадли никогда не мог припомнить с точностью. Он всегда упрямо твердил, что это не могло длиться долго, ибо на посту его не потревожил ни малейший из тех звуков, которые подчас раздаются глубокой ночью и которые можно назвать дыханием спящего леса. Его первым отчетливым воспоминанием было ощущение, будто его руку сжали с силой великана. Вскочив на ноги, молодой человек энергично отдернул руку, одновременно произнося довольно бессвязно:

— Если олень пал от выстрела в голову, я уступаю его тебе, Рейбен Ринг, но если он поражен в ногу или тело, то это добыча для более уверенной руки.

— Верно, очень справедливый дележ добычи, — ответил некто вполголоса, словно говорить слишком громко было опасно. — Ты отдаешь голову оленя как добычу Рейбена Ринга и сохраняешь остальную часть зверя для собственных целей.

— Кто послал тебя в такой час к задним воротам? Разве ты не знаешь, что, как думают, здесь в полях залегли чужаки?

— Я знаю, что здесь на внутреннем карауле вовсе не чужаки, — возразила Фейс Ринг. — Какой позор пал бы на тебя, Дадли, подозревай капитан и те, кто с таким рвением там внутри предались молитве, как мало ты тем временем заботишься об их безопасности!

— Да ведь им от этого никакого вреда! Раз капитан удержал их для духовного бдения, я надеюсь, он не позволит, чтобы нечто мирское проникло в эти задние ворота и помешало молению. Поскольку я надеюсь, что при этом со мной поступали честно во всех важных делах, я ни разу не покинул ворота с тех пор, как заступил на караул.

— Иначе ты бы стал самым знаменитым лунатиком в Коннектикутской колонии! Ах ты, соня, даже из раковины нельзя извлечь звука громче, чем издаешь ты, когда спишь, смежив глаза. Может, в твоем разумении слова это и означает караулить, но даже ребенок в люльке замечает, что происходит вокруг него, вполовину больше тебя.

— Я думаю, Фейс Ринг, что ты научилась сильно злословить и говорить гадости о друзьях с той поры, как здесь побывали заморские кавалеры.

— Стыдись говорить насчет заморских кавалеров, да и насчет себя тоже, парень! Я не та девушка, над которой может насмехаться смелый на слова человек,

не знающий, спит он или бодрствует. Говорю тебе, твое доброе имя в семействе погибло бы, дойди до ушей капитана и особенно до сведения того неведомого солдата в доме, к которому даже мадам относится с такими церемониями, что ты караулил, издавая носом мелодии, раскрыв рот и запечатав глаза.

— Если б кто другой, а не ты, сделал такой навет на меня, барышня, то между нами случился бы жаркий разговор! Твой брат Рейбен Ринг хорошо знает, каково будоражить мой нрав такими лживыми обвинениями.

— Ты обходишься с ним так великодушно, что он готов забыть твои скверные поступки. По правде говоря, ему достается голова оленя, а ты довольствуешься потрохами и менее ценными частями! Признайся, Дадли, ты крепко спал, когда я разбудила тебя!

— Чудное время выпало нам, когда вместо бородачей и хорошо вооруженных мужчин юбки совершают обход караулов и определяют, кто спит, а кто бдит! Что увело тебя так далеко от молитв и привело так близко к воротам, госпожа Фейс, сейчас, когда здесь нет заморских кавалеров, чтобы услаждать твои уши лживыми речами и пустыми разглагольствованиями?

— Если речи, которым нельзя верить, это то, что я ищу, — возразила девушка, — то воистину поручение не осталось без вознаграждения. Правда, что привело меня сюда? Мадам понадобились вещи из молочной кладовой, а мои уши — увы! — привели меня к задним воротам. Ты же знаешь, Дадли, любитель музыки, что мне доводилось слышать твои неусыпные мелодии и до этой ночи. Но у меня слишком много дел, чтобы растрачивать время попусту. Теперь, когда ты проснулся, скажи спасибо той, благодаря которой, говорю без хвастовства, один из бородачей не станет посмешищем для всех юнцов семейства. Если ты сам

будешь помалкивать, то капитан, быть может, даже похвалит тебя за бдительный караул, и пусть Небеса простят ему попрание истины!

— Возможно, гнев за несправедливые подозрения разозлил меня немного больше, чем дело того стоило, Фейс, когда я попрекнул тебя любовью к злословию, и теперь я беру назад эти слова, хотя все равно буду утверждать, что всего-навсего какое-то смутное воспоминание о нынешней охоте пришло мне в голову и, вероятно, заставило меня забыть, что у задних ворот надо хранить молчание, и потому, клянусь истиной христианина, я прощаю тебе…

Но Фейс уже не было ни видно, ни слышно. Сам же Дадли, который стал испытывать некоторые уколы совести по поводу своей неблагодарности по отношению к человеку, проявившему столь большую заинтересованность в его репутации, теперь всерьез задумался о том, что оставалось еще сделать. У него были веские причины подозревать, что ему предстояло провести в ночном карауле меньше часов, чем он сперва думал, так что в результате он почувствовал потребность дать какой-то отчет о событиях своей смены. В соответствии с этим он бросил внимательный взгляд вокруг, чтобы убедиться, что факты не будут противоречить его свидетельству, а затем, предварительно проверив запоры задних ворот, поднялся на холм и предстал перед семейством. Члены последнего, проведя, по правде говоря, большую часть времени его отсутствия в духовных упражнениях и в религиозных беседах, отнеслись к его опозданию с отчетом не так строго, как могли бы при иных обстоятельствах.

— Какие вести ты принес нам извне? — спросил Контент, как только сменивший сам себя караульный появился. — Видел ты кого-нибудь или слышал что-нибудь подозрительное?

Прежде чем ответить, Дадли не замедлил изучить полуковарное выражение на лице той, которая была занята какой-то Домашней работой прямо напротив места, где стоял он. Но, прочтя на нем не более чем взгляд игривой, хотя и подавляемой иронии, он приободрился и приступил к отчету:

— Смена прошла спокойно. И нет особой причины и дальше не позволять тем, кого клонит в сон, ложиться в постель. Пусть лучше кто-нибудь вроде Рейбена Ринга и меня не смыкает глаз до утра. Остальным нет причин оставаться на ногах.

Быть может, житель пограничья распространялся бы и дальше насчет своей готовности провести остаток часов отдыха в заботе о безопасности тех, кто спит, если бы еще один лукавый взгляд из темноты и смеющиеся глаза той, которая стояла в столь удобном месте, чтобы следить за его лицом, не напомнили ему, что благоразумнее быть скромным в своих заверениях.

— Итак, тревога, к счастью, миновала, — заявил Пуританин вставая. — Теперь мы с благодарностью и миром отправимся на свидание со своими подушками. Твоя служба не будет забыта, Дадли, ибо ты как-никак подвергал себя явственной опасности ради нас.

— Как бы не так! — пробормотала полушепотом Фейс. — Я уверена, что уж мы, девушки, не забудем его готовности пожертвовать сладкими сновидениями, лишь бы не пострадали слабые.

— Не говори ерунды, — поспешно возразил тот. — С этой раковиной произошел какой-то трюк, ибо теперь мое мнение таково, что, кроме этого незнакомца, вызвавшего нас к воротам, чтобы его впустили, раковину этой ночью вообще никто не трогал.

— Тогда этот трюк повторяется! — воскликнул Контент, вставая с места, так как слабый и прерывистый звук раковины, подобный тому, что в первый раз возвестил об их госте, снова прорвался

между построек, пока не достиг слуха каждого, кто находился в доме.

— Это предвестие, столь же таинственное, сколь, может быть, и зловещее! — сказал старый Марк Хиткоут, когда удивление, если не сказать оцепенение, момента миновало. — Ты не заметил ничего, что может объяснить это?

Ибен Дадли, как и большинство присутствующих, был слишком ошарашен, чтобы ответить. Все, казалось, ждали с тревогой второго и более громкого звука, который должен был дополнить подражание призыву незнакомца. Долго ждать не пришлось, ибо ровно через столько времени, сколько прошло между двумя первыми звуками раковины, последовал еще один, и снова точно на той же ноте, сделавшей его похожим на эхо.

ГЛАВА XI

Сегодня буду с вами;
Быть может, вновьпридет он.
«Гамлет»[73]

— Может быть, это предостережение, данное из милосердия? — вопросил Пуританин, при всех обстоятельствах склонный верить в сверхъестественные проявления заботы Провидения, с торжественностью, которая не замедлила произвести впечатление на большинство слушателей. — История наших колоний полна свидетельства таких милосердных вмешательств.

— Будем считать, что это так, — отвечал незнакомец, ибо вопрос, видимо, адресовался прежде всего ему. — Первым делом следует выяснить, на какую опасность это указывает. Пусть молодой человек по имени Дадли поможет мне, как сильный и смелый мужчина, а потом доверьте мне раскрыть смысл этих частых сигналов раковины.

— Смиренный, ты же не покинешь нас первым еще раз! — воскликнул Марк, удивленный не меньше, чем Контент и Руфь, причем последняя прижала к себе свое маленькое подобие, словно одно это предположение заставило ее представить себе впечатляющую картину сверхъестественной опасности.

— Неплохо будет зрело обдумать этот шаг, прежде чем идти на такое рискованное приключение.

— Лучше, чтобы это был я, — заявил Контент, — ибо мне знакомы сигналы леса и все обычные свидетельства присутствия тех, кто может желать нам зла.

— Нет, — возразил тот, кого впервые назвали Смиренным — прозвищем, подсказанным религиозным энтузиазмом тех времен и принятым им как признание готовности склониться перед неким особым Промыслом Провидения. — Это будет моим служением. Ты — муж и отец, и многие смотрят на твою безопасность как на свою скалу земной опоры и уверенности, тогда как у меня ни родни, ни... Но не будем говорить о вещах, далеких от нашей цели! Ты знаешь, Марк Хиткоут, что я знаком с опасностью. Нет нужды просить меня быть осторожным. Идем, смелый житель леса, взвали на плечо свой мушкет и будь готов довериться своему мужеству, если возникнет причина доказать его.

— А почему не Рейбен Ринг? — поспешил вмешаться женский голос, по которому все узнали сестру только что названного юноши. — Он остер на глаз и быстр на руку в подобных испытаниях. Разве не стоит подкрепить вашу вылазку таким помощником ?

— Спокойно, милая, — мягко заметила Руфь. — Этим делом распоряжается человек, привыкший приказывать. Здесь не нужен советчик с твоим куцым опытом.

Фейс отпрянула в смущении; румянец, покрывавший ее смуглые щеки, обратился в краску цвета крови.

Смиренный (мы пользуемся этим прозвищем за неимением какого-либо иного) на мгновение задержал изучающий взгляд на лице девушки, а затем, как бы продолжая свою мысль, холодно возразил:

— То, ради чего мы идем как разведчики и наблюдатели, может в будущем потребовать помощи и этого юноши, но многочисленность выдала бы нас, не была бы нам на пользу. Однако, — добавил он, задержавшись уже в дверях и серьезно и долго глядя на индейского мальчика, — возможно, там стоит тот, кто мог бы основательно просветить нас, пожелай он говорить!

При этом замечании все взоры обратились на пленника. Паренек стоял под этими испытующими взглядами с бесстрастным и невозмутимым хладнокровием своей расы. Но хотя его глаза смотрели на окружающих надменно и гордо, в них не мерцало того стойкого пренебрежения, которое так часто замечалось в его взгляде, когда, как он думал, его поведение или личность становились объектом наблюдения тех, с кем он имел дело. Напротив, выражение его смуглого лица было скорее дружелюбным, чем ненавидящим, а в какой-то момент во взгляде, брошенном им на Руфь и ее отпрысков, можно было уловить явное участие. Взгляд, исполненный такого значения, не мог ускользнуть от бдительной проницательности матери.

— Мальчик показал себя достойным доверия, — сказала она, — и во имя того, кто смотрит в самую суть и знает, что творится в сердце каждого, позвольте ему еще раз выйти наружу.

Ее губы сомкнулись, ибо раковина снова возвестила о видимом нетерпении тех, кого не хотели впускать. Громкие звуки раковины ударяли по нервам слушателей, словно возвещая приход некоего великого и страшного судилища.

Среди этих часто повторяющихся и таинственных звуков один Смиренный казался спокойным и неколебимым. Отведя взгляд от лица мальчика, чья голова упала на грудь, когда последние ноты раковины отзвучали между строений, он поспешно двинулся вслед за Дадли и покинул комнату.

По правде говоря, уединенное расположение долины, темное время суток и характер неоднократных помех извне легко могли пробудить глубокую тревогу в сердцах далее таких стойких мужчин, как те, что сейчас вышли на открытый воздух, дабы разрешить столь мучительные сомнения. Незнакомец, или Смиренный,

как впредь нам не однажды представится случай называть его, молча направился к той точке возвышенности, где не было построек и откуда глаз мог охватить частоколы, ограждавшие боковые склоны, и видеть дальше всего того, что позволял обнаружить сумеречный и неверный свет.

Это была картина, которая требовала знакомства с жизнью на границе, чтобы постоянно смотреть на нее с равнодушием. Огромный, почти нескончаемый и на первый взгляд непроходимый лес стоял вокруг них, ограничивая обзор узкими пределами долины, словно некий тесный оазис среди океана дикой природы. На расчищенном участке местности предметы были различимы лучше, хотя даже самые близко расположенные и больше всего знакомые из них теперь виднелись только смутными и угрюмыми очертаниями.

Смиренный и его спутник долго и внимательно всматривались в эту тусклую перспективу.

— Нет ничего, кроме неподвижных пней и изгородей, облепленных снегом, — заключил первый, когда его глаза обежали по окружности весь вид с той стороны долины, где они стояли. — Нам нужно идти дальше, чтобы посмотреть ближе к полям.

— Задние ворота в той стороне, — подсказал Дадли, заметив, что тот избрал направление, противоположное тому, что вело к воротам. Но властный жест заставил его в следующее мгновение понизить голос и последовать туда, куда направился его спутник.

Незнакомец обогнул половину холма, прежде чем спуститься к частоколам в том месте, где лежали длинные и массивные бревна, собранные как топливо для семьи. Это было место, позволявшее обозревать наиболее крутой склон возвышенности, который сам по себе именно здесь был так труден для подъема, что делал присутствие пикетов гораздо менее необходимым, чем на более пологих склонах. Тем не

менее даже в этой надежной точке укреплений были соблюдены все предосторожности, уместные в целях безопасности семьи. Бревна были уложены на таком расстоянии от пикетов, чтобы на них никак нельзя было взобраться, а с другой стороны, они образовывали платформы и брустверы, которые могли весьма усилить безопасность тех, кому пришлось бы защищать эту часть крепости. Шагая напрямик среди горизонтально уложенных бревен, незнакомец быстро прошел через весь этот завал, пока не достиг открытого пространства между ним и частоколом — места, осмотрительно оставленного достаточно широким, чтобы его мог перескочить человек.

— Прошло много дней с тех пор, как я побывал в этом месте, — заметил Ибен Дадли, нащупывая по тропе путь, который его спутник прокладывал без всякого видимого колебания. — Моя собственная рука укладывала эти наружные бревна несколько зим назад, и я уверен, что с того времени и по сей день человек их не касался. Однако похоже, что для человека, прибывшего из-за океана, тебе совсем нетрудно найти дорогу среди узких проходов!

— У кого есть глаза, тот разберется, где бревно, а где проход, — возразил тот, остановившись возле частокола, в месте, скрытом от любопытных глаз за тремя-четырьмя заграждениями из дерева. Порывшись в своем поясе, он вытащил что-то, в чем Дадли сразу признал ключ. В то время как Дадли при помощи слабого света, падавшего с неба, пытался хорошенько разглядеть, что происходит, Смиренный вставил ключ в замок, искусно вделанный в одно из бревен на высоте груди человека, и пару раз с силой провернул его, после чего кусок частокола длиной около полуфатома[74] поддался на массивных нижних петлях и опустился,

открыв пространство, достаточно широкое для прохода человека.

— Вот готовый проход для нашей вылазки, — хладнокровно заметил незнакомец, делая знак своему напарнику пройти вперед.

Когда Дадли вылез, его спутник пробрался следом, после чего проход был аккуратно закрыт и заперт.

— Теперь все снова закреплено, а мы в полях, не потревожив ни одной живой души, по крайней мере, — продолжил незнакомец, похлопав ладонью по складкам своего камзола, словно желая почувствовать оружие, и приготовился одолеть трудный склон, лежавший между ним и подножием холма. Ибен Дадли медлил последовать за ним. Беседа с путником в горах всплыла в его разгоряченном воображении, и видения могущественных духов вновь возникли со всей своей первоначальной силой. Все поведение и таинственный облик незнакомца мало годились, чтобы успокоить душу, смущенную такими образами.

— В колонии ходит слух, — пробормотал житель пограничья, — будто духам позволено временами творить свое зло. И может так случиться, что кое-кто из их безбожного сообщества отправится в Виш-Тон-Виш, чтобы найти занятие получше.

— Ты верно говоришь, — ответил незнакомец, — но сила, которая попустительствует злонамеренным мучительствам, может посчитать нужным направить одного из своих же, дабы обезвредить их хитросплетения. Подберемся ближе к воротам, чтобы следить за их коварными замыслами.

Смиренный говорил серьезно и не без некоторой торжественности. Дадли, хотя и с раздираемой сомнениями и неспокойной душой, согласился с его суждением. Как бы то ни было, он последовал по стопам незнакомца с предосторожностями, которые как раз помогли бы ускользнуть от бдительности любых сил,

кроме тех, что черпают информацию из источников более глубоких, чем любой из доступных человеку.

Когда оба разведчика нашли потайное и подходящее место недалеко от задних ворот, они молча принялись ждать результата. Наружные строения пребывали в глубоком покое, ни один звук какого-либо рода не доносился со стороны, как им было известно, их многочисленных обитателей. Ряды заостренных оград; почернелые пни, увенчанные маленькими пирамидами из снега; более длинные и иногда подозрительно выглядевшие вывороченные стволы; стоящее особняком дерево и, наконец, широкая кайма леса — все было одинаково недвижно, сумрачно и окутано сомнительными формами ночи. Однако пространство вокруг хорошо укрепленных задних ворот с тройными запорами было пустынно. Снежная простыня без пятнышка служила фоном, на котором наверняка обнаружилось бы присутствие любого предмета. Можно было увидеть даже раковину, свешивающуюся с одного из бревен, столь же безгласную и безобидную, как в тот час, когда волны выбросили ее на песок океанского берега.

— Здесь мы будем сторожить неизвестного, кто бы он ни был — посланец сил воздуха или человек, отправленный по земным делам, — прошептал Смиренный, держа свое оружие в боевой готовности и одновременно сам располагаясь наиболее удобным образом, чтобы терпеливо выдержать утомительный караул.

— Хотелось бы мне успокоить свою душу насчет того, правильно ли я поступаю, причиняя вред человеку, нарушающему покой семьи жителя пограничья, — сказал Дадли, из предосторожности понижая голос. — Может, будет благоразумно выстрелить первым, если в конце концов человек вроде

заокеанского кавалера надумает беспокоить нас в такое время.

— В таких затруднительных обстоятельствах ты хорошо сделаешь, если не станешь обращать большого внимания, что это за нарушитель, — мрачно возразил второй. — Если появится еще один посланец из Англии…

Он умолк, ибо послышалось звучание раковины, постепенно нараставшее в воздухе, пока вся долина целиком не заполнилась ее громкими и печальными звуками.

— Это не губы человека дуют в раковину! — воскликнул незнакомец, как и Дадли, подавшийся вперед, в сторону задних ворот, в тот миг, когда звук достиг его ушей, и, как и Дадли, отпрянувший в изумлении, которого даже его испытанное самообладание не могло скрыть, когда до него дошла неоспоримая правда, которую содержали его слова. — Это превосходит все прежние примеры чудесных явлений!

— Тщетно пытаться возвысить слабую природу человека до уровня вещей, исходящих от невидимого мира, — заметил лесной житель со своей стороны. — В таких непростых обстоятельствах, похоже, грешному человеку лучше убраться в жилище, где мы можем подпереть свою слабость духовными усилиями капитана.

На это рассудительное предложение возражений со стороны незнакомца не последовало. Не тратя времени на то, чтобы осуществить свое отступление с той же осторожностью, какую они соблюдали, заступая в караул, двое искателей приключений вскоре очутились у потайного входа, откуда они так недавно вышли.

— Входи, — сказал незнакомец, опуская часть частокола перед своим спутником. — Входи же, Бога

ради! Ибо поистине нам необходимо собрать все свои духовные силы.

Дадли намеревался подчиниться, как вдруг темный предмет, сопровождаемый низким пронзительным звуком, прорезал воздух между его головой и головой его спутника. В следующее мгновение стрела с кремневым наконечником дрожа вонзилась в бревно.

— Язычники! — крикнул лесной житель, собрав все свое мужество, когда знакомая опасность стала явной, и отвечая частыми выстрелами в направлении, откуда прилетел предательский снаряд. — К частоколу, люди! На нас напали кровожадные язычники!

— Язычники! — повторил незнакомец зычным, твердым и властным голосом, который явно не раз поднимал тревогу и в более чрезвычайных ситуациях, и прицелился из пистолета, заставив темную фигуру, скользившую по снегу, припасть на одно колено. — Язычники! Кровожадные язычники напали на нас!

За этим грубым вторжением в покой ночи наступила минута глубокой тишины, словно и нападавшие и обороняющиеся выжидали. Затем на крики двух разведчиков ответил взрыв воплей почти по всей окружности холма. В ту же минуту каждый темный предмет в полях превратился в фигуру человека. За криками последовала туча стрел, сделавшая неизбежно рискованным дальнейшее промедление вне укрытия за частоколом. Дадли успел войти, но путь незнакомцу был бы отрезан скачущей и вопящей оравой, преследовавшей его по пятам, если бы широкая полоса пламени, бившего с холма прямо в их смуглые и угрюмые лица, не заставила нападающих обратиться вспять. В следующее мгновение запоры защелкнулись и двое беглецов оказались в безопасности за массивными деревянными столбами.

ГЛАВА XII

Не стоит призраку вставать из гроба,
Чтоб это нам поведать.
«Гамлет»[75]

Души большинства, если не всех, обитателей Виш-Тон-Виша были той ночью настолько сильно встревожены мыслью, что силы невидимого мира готовы накинуться на них, что теперь, когда опасность предстала в осязаемом обличье, на сей счет не осталось ни малейших сомнений. Крик «Язычники! » срывался со всех губ; даже дочь и eleve[76] Руфи повторяли его, пустившись с воплями бегать по дому. На какое-то мгновение ужас и изумление, казалось, ввергли осажденных в невероятное смятение. Но готовность молодых людей защитить себя, наряду с твердостью Контента, вскоре восстановили порядок. Даже женщины обрели подобие спокойствия, поскольку семейство слишком долго приучалось, как вести себя на тот крайний случай, когда они оставались без своих защитников, и не только в самый первый и страшный момент тревоги.

Неожиданный отпор оказал именно то действие, ожидать которого научил колонистов весь опыт их войны с индейцами. Шум и гам нападения прекратились так же внезапно, как и начались, и наступили такой покой и такая тишина, что человек, впервые ставший очевидцем подобной сцены, мог бы легко вообразить все это результатом какой-то дикой и страшной иллюзии.

В эти минуты всеобщего и глубокого молчания два искателя приключений, чье отступление, по всей вероятности, ускорило атаку, породив у индейцев

искушение легкого доступа внутрь укрепления, покинули свое прикрытие из деревянных столбов и взобрались на холм к тому месту, где, как было известно Дадли, расположился Контент на случай ультиматума защитникам.

— Если дотошная разведка не обманула меня насчет сил язычников, — заметил незнакомец, — у нас будет время для передышки, прежде чем атака возобновится. Опыт солдата побуждает меня сказать, что благоразумие требует разузнать численность и расположение наших врагов, чтобы мы могли лучше организовать сопротивление с учетом их силы.

— А как это сделать? Ты же видишь: вокруг нас только тишь да ночная тьма. Ни сказать что-нибудь о численности врагов, ни сделать вылазку мы не можем, потому что это верная гибель для всякого, кто покинет частокол.

— Ты забываешь, что у нас в заложниках мальчишка. Это может дать нам некоторое преимущество, если использовать с умом нашу власть над ним.

— Я опасаюсь, что мы обманываем себя напрасной надеждой, — возразил Контент, направляясь, однако, во двор, который сообщался с главным зданием. — Я пристально изучал взгляд этого парня с момента его необъяснимого проникновения внутрь укреплений и обнаружил в нем мало того, что позволяет довериться ему. Счастье, если тайная договоренность с теми, кто снаружи, не помогла ему пройти за частокол и он не окажется опасным соглядатаем наших сил и действий.

— В отношении того, что он вошел в жилище, не трубя в раковину или не через задние ворота, не беспокойся, — отвечал незнакомец хладнокровно. — Если бы понадобилось, эту тайну легко объяснить. Зато в самом деле может потребоваться все наше умение, чтобы узнать, есть ли у него связь с нашим

противником! Душа туземца не выдает своих тайн в отличие от зеркала, питающего тщеславие.

Незнакомец говорил как человек, который держит часть своих мыслей про себя, а его спутник слушал как человек, который понимает больше, чем стоит или благоразумно выдать. С этим тайным и в то же время двусмысленным взаимопониманием они вошли в здание и вскоре оказались в обществе тех, кого искали.

Постоянная опасность своего положения заставила семейство привыкнуть к методичному и строгому порядку обороны. На случай тревоги определенные обязанности возлагались и на физически самых слабых и самых робких. А в те минуты, что предшествовали приходу мужа, Руфь прилагала усилия, чтобы дать подчиненным ей женщинам несколько необходимых поручений, которых повелительно требовали обычай и в особенности чрезвычайность момента.

— Поспеши, Чарити, в блокгауз и посмотри, в каком состоянии ведра и лестницы, если язычники вынудят нас укрыться там, запасы воды и средства отступления, чтобы в них не было недостатка на крайний случай. А ты, Фейс, поторопись в верхние комнаты и проследи, чтобы ни проблеска света не могло направить стрелы этих убийц на что-либо в комнатах. Поздно Думать, когда стрела или пуля уже в полете! А теперь, когда первая атака отбита, Марк, и мы можем надеяться ответить на уловки врага осторожностью с нашей стороны, ты можешь отправляться к отцу. Было бы слишком безрассудно искушать Провидение, если бы ты бросился без спроса и очертя голову навстречу опасности. Подойди сюда, сынок, и прими благословение и молитвы твоей матери, после чего ты с великой верой в Провидение займешь свое место среди бойцов в надежде на победу. Помни, что ты теперь достаточно взрослый, чтобы достойно представлять свое имя и родословную, и тем не менее в слишком

нежном возрасте, чтобы отличиться не на словах, а на деле в такую ночь, как эта.

Мгновенный прилив крови, только оттенивший последующую бледность, выступил на челе матери. Она наклонилась и запечатлела поцелуй на лбу нетерпеливого мальчика, который, с трудом дождавшись этого выражения нежности, поспешил влиться в ряды защитников.

— А теперь, — сказала Руфь, медленно отводя взор от двери, за которой исчез паренек, и говоря с несвойственным ей хладнокровием, — а теперь позаботимся о безопасности тех, от кого мало толку, если только не использовать их в качестве караульных, чтобы поднять тревогу. Когда ты убедишься, Фейс, что в комнатах наверху нет никакого света, оставленного без присмотра, отведи детей в потайные комнаты. Там они могут следить за полями, не подвергаясь опасности стать случайной мишенью для дикарей. Ты знаешь, Фейс, мои частые наставления на сей счет. Никакие звуки тревоги или страшные вопли снаружи не должны заставить тебя покинуть это место, потому что там ты будешь в большей безопасности, чем в блокгаузе, по которому, несомненно, будут стрелять гораздо больше по причине того, что он выглядит сильно укрепленным. Тебя своевременно известят, если нам придется искать другое убежище. Ты спустишься, только если увидишь, что враги перелезают через частокол со стороны, нависающей над потоком, ибо там у нас меньше всего глаз, чтобы следить за их действиями. Помни, что со стороны наружных строений и полей размещены наши главные силы. Поэтому там у тебя меньше причин подвергать свою жизнь опасности, стараясь с чрезмерным любопытством высмотреть, что происходит. Идите, дети, и да хранит вас небесное Провидение!

Руфь наклонилась поцеловать щечку, которую ее дочь подставила для прощания. Затем она обняла другого ребенка, сказать по правде, едва ли менее близкого ее сердцу, поскольку он был сиротой, дочерью той, что была ей как сестра. Но в отличие от поцелуя, который она запечатлела на лбу Марка, эти объятия были торопливыми и явно пробудили менее сильные чувства. Ведь она подвергала мальчика явной опасности, тогда как остальных, под предлогом целесообразности, отсылала в место, как думалось, даже менее опасное, чем сама крепость, по крайней мере, пока врага можно было удерживать вне укреплений. Как бы то ни было, чувство глубокой материнской нежности завладело ее душой, когда дочь отошла, и, поддаваясь внезапному порыву, она вновь подозвала ее к себе.

— Ты будешь повторять особую молитву о защите от опасностей диких мест, — продолжила она торжественно. — В своей молитве не забудь помянуть того, кому ты обязана жизнью и кто сейчас подвергает свою жизнь опасности, чтобы защитить нас. Тебе известна скала христианина; положи свою веру к ее подножию.

— А те, кто стараются убить нас, — спросило преуспевшее в наставлениях дитя, — они тоже в числе тех, за кого Он умер?

— В этом не может быть сомнения, хотя способ воздаяния — это тайна Божия! Хотя они варвары в своих обычаях и закоснели в злобе своей, они такие же создания, как и мы, и такие же предметы Его попечения.

Льняные локоны, наполовину прикрывавшие лоб и личико, по которому проходили наиболее тонкие следы вен, прибавляли сияния коже, столь беспорочно чистой, словно теплые ветры этих широт никогда не обвевали чела девочки. Сквозь этот лабиринт завитков ребенок

отвел свои глубокие, ясные голубые глаза, с удивлением и страхом обратив взор на смуглое лицо пленного индейского юноши, который в эту минуту был для нее объектом тайного ужаса. В неведении того, какой интерес он возбудил, парень стоял спокойно, надменно и, казалось, равнодушно, стараясь не проявить никаких признаков слабости или причастности к этой сцене женской чувствительности.

— Матушка, — прошептало дитя, еще не оправившееся от удивления, — а мы не можем отпустить его в лес? Я не люблю…

— Сейчас не время для разговоров. Ступай в свое укрытие, дитя мое, и помни как свои молитвы, так и предостережения, которые я перечислила. Ступай, и пусть небесный Промысел защитит твою невинную голову!

Руфь снова наклонилась и спрятала лицо в пышных волосах дочери. В течение минуты царило красноречивое молчание. Когда она выпрямилась, слеза блеснула на щеке ребенка. Последний воспринял поцелуй скорее с апатией, чем с участием. И теперь, отправляясь в верхние комнаты и покидая свою мать, девочка не отрывала пристального взгляда от лица юного индейца, пока стены между ними не скрыли его полностью от ее глаз.

— Ты была заботлива и верна себе, моя добрая Руфь, — сказал Контент, вошедший в эту минуту и воздавший должное самообладанию жены взглядом полнейшего одобрения. — Молодые парни не были так проворны, встречая врага у частокола, как твои девушки в заботе о своих менее обременительных обязанностях. Снаружи все опять спокойно, и мы теперь собираемся скорее на совет, чем ради боевых действий.

— Теперь надо отозвать отца с его поста возле пушки в блокгаузе.

— В этом нет необходимости, — вмешался незнакомец. — Время поджимает, ибо за этим затишьем может слишком скоро последовать буря, которую не усмирят все наши силы. Подведите пленника!

Контент сделал мальчику знак подойти и, когда он оказался на расстоянии вытянутой руки, поставил его точно перед незнакомцем.

— Я не знаю ни твоего имени, ни даже имени твоего народа, — начал тот после долгой паузы, за время которой, казалось, пристально изучал выражение лица парня. — Но я уверен, что, хотя самый порочный из духов может все еще бороться за овладение твоей дикой душой, благородство чувств не чуждо твоему сердцу. Отвечай, можешь ли ты что-нибудь сообщить касательно опасности, угрожающей семейству? Я многое узнал этой ночью по твоему поведению, но чтобы все было понятно, теперь пришло время тебе заговорить словами.

Юноша смотрел прямо в глаза говорящему, пока тот не кончил, а затем медленно перевел пытливый взгляд на встревоженное лицо Руфи. Казалось, будто он колеблется между своей гордостью и сочувствием. Последнее возобладало, ибо, победив глубокое отвращение индейца, он открыто и в первый раз с момента своего пленения заговорил на языке ненавистной расы.

— Я слышу крики воинов, — был его спокойный ответ. — Разве бледнолицые заткнули себе уши?

— Ты говорил с юношами своего племени в лесу, и ты знаешь об этом нападении?

Юноша не ответил, хотя стойко и без страха встретил острый взгляд допрашивающего. Понимая, что вопросов будет больше, чем ответов, незнакомец изменил манеру допроса, маскируя свои вопросы с немного большей хитростью.

— Не может быть, чтобы великое племя вышло на кровавую тропу! — сказал он. — Воины перебрались бы через бревна частокола, как через податливый тростник! Это пикоды, которые разорвали договор с христианами и теперь рыщут повсюду, как волки в ночи.

Внезапное и дикое выражение промелькнуло на смуглом лице мальчика. Его губы шевельнулись, и с них слетели слова, произнесенные тоном язвительного презрения. Однако он скорее пробормотал, нежели громко произнес:

— Пикоды — псы!

— Я так и думал: негодяи выбрались из своих селений, чтобы йенгизы[77] могли накормить своих скво[78]. Но наррагансет или вампаноа — мужчина. Он презирает привычку таиться во мраке. Солнце светит на тропу, по которой он приходит. Пикод крадется в молчании, ибо боится, что воины услышат его шаги.

Было непросто обнаружить хоть какое-то свидетельство, что пленник сочувственно выслушал как похвалу, так и порицание, ибо его бесстрастное лицо было холоднее мрамора.

Незнакомец пытливо, но тщетно всматривался в его черты, а затем, подойдя так близко, что положил руку на обнаженное плечо парня, добавил:

— Мальчик, ты слышал много трогательных вещей, касающихся характера нашей христианской веры, и стал предметом многих горячих молитв. Не может быть, чтобы такой обильный и добрый посев целиком развеялся втуне! Говори! Могу ли я снова доверять тебе?

— Пусть мой отец поищет на снегу. След мокасин уходит и приходит.

— Это правда. До сих пор ты показал себя честным. Но когда клики войны отзовутся в молодой крови,

соблазн присоединиться к воинам может оказаться слишком сильным. Есть у тебя какой-нибудь залог, заклад как ручательство, чтобы отпустить тебя?

Мальчик посмотрел на допрашивающего взглядом, который ясно выразил, что он не понял смысла его слов.

— Я хотел бы знать, что ты можешь оставить мне в доказательство, что мы снова увидим тебя, если откроем ворота для выхода в поля.

Однако взгляд пленника оставался удивленным и растерянным.

— Когда белый человек встает на тропу войны и хочет довериться противнику, он подкрепляет свою веру, удерживая в своих руках жизнь дорогого тому человека как гарантию на-дежности. Что ты можешь предложить, чтобы я знал, что ты вернешься, выполнив поручение, с которым мне приходится тебя послать?

— Тропа свободна.

— Свободна, но нет уверенности, что ею воспользуются. Страх может заставить тебя забыть, куда она ведет.

На сей раз пленник понял, в чем заключались сомнения другого, но, словно не желая снизойти до ответа, отвел глаза в сторону и принял одну из тех неподвижных поз, которые так часто придавали ему вид темной статуи.

Контент и его жена прислушивались к этому краткому диалогу с видом людей, владеющих некими секретными сведениями, позволяющими подавить удивление, которое иначе они могли бы испытать, став свидетелями столь явных доказательств тайного знакомства собеседников. Однако оба проявили несомненные признаки изумления, когда впервые услыхали звуки английской речи из уст мальчика. По крайней мере, это давало проблеск надежды на соучастие человека, ощутившего такое доброе отношение со стороны Руфи и как будто

признательного за это. И Руфь немедленно ухватилась за эту многообещающую надежду как заботливая мать.

— Пусть мальчик отправляется, — сказала она. — Я буду его заложницей, а если он обманет, меньше причин бояться будет в его отсутствии, чем в его присутствии.

Очевидная правда последнего утверждения, вероятно, была более весома для незнакомца, чем такой никчемный залог, как женщина.

— В этом есть резон, — согласился он. — Что ж, ступай в поля и скажи своим людям, что они пошли не той тропой; что она привела их к жилищу друга. Здесь нет пикодов, как нет никого из людей манхэттов[79], а только христиане-йенгизы, которые давно ладят с индейцами, как один честный человек ладит с другим. Ступай, и когда твой сигнал послышится у ворот, они откроются, чтобы снова впустить тебя.

Говоря это, незнакомец сделал мальчику знак следовать за собой, позаботившись, когда они вместе покинули комнату, дать ему наставления относительно всех мелочей, способных помочь выполнению цели миролюбивой миссии, для которой его избрали.

Несколько минут сомнений и опасливой неопределенности сопутствовали этому эксперименту. Незнакомец, увидев, что его посланцу позволили выйти, возвратился в помещение и присоединился к обществу. Несколько минут он мерил жилище широкими шагами человека, целиком занятого интересующим его делом. Временами звуки его тяжелой поступи замирали, и тогда все внимательно прислушивались, стремясь уловить любой звук, который позволил бы им понять, что происходит снаружи. В середине одной из таких пауз в полях раздался вопль, похожий на крики восторга дикарей. За ним последовала мертвая и зловещая тишина, наполнившая время после

быстротечной атаки еще большей тревогой, чем когда опасность носила очевидный и знакомый характер. Но никакое внимание, которое приковывала самая сильная тревога, не давало дополнительного ключа к разгадке того, что предпринимали враги. В течение долгих минут полуночный покой царил как внутри, так и за пределами крепости. Среди этого затишья щеколда двери поднялась, и их посланец появился той бесшумной походкой и с сосредоточенным выражением, которые отличали людей его расы.

— Ты встретил воинов своего племени? — нетерпеливо спросил незнакомец.

— Шум не обманул йенгизов. То не был девичий смех в лесу.

— А ты сказал своим людям, что мы им друзья?

— Слова моего отца были сказаны.

— И услышаны? Были ли они достаточно громкими, чтобы достигнуть ушей молодых воинов?

Мальчик промолчал.

— Говори! — продолжал незнакомец, горделиво выпрямившись, как человек, готовый грудью встретить самый тяжелый удар. — Тебя слушают мужчины. Трубка дикаря набита? Раскурит ли он ее в мире или сжимает в руке томагавк?

Лицо мальчика отражало чувство, проявлять которое для индейца было несвойственно. Он участливо обратил взгляд на добрые глаза встревоженной Руфи. Затем, медленно выпростав руку из-под легкой одежды, частично прикрывавшей его тело, бросил к ногам незнакомца пучок стрел, завернутый в блестящую и полосатую кожу гремучей змеи.

— Это предупреждение, которое нельзя истолковать превратно! — сказал Контент, поднеся к свету хорошо знакомую эмблему непримиримой враждебности и выставляя ее на обозрение своего менее сведущего сотоварища. — Мальчик, что такого

сделали люди моей расы, что твои воины до такой степени жаждут их крови?

Выполнив поручение, мальчик отошел в сторону и, казалось, не имел желания наблюдать, какой эффект это послание может произвести на окружающих. Но при этом вопросе внезапная сила страсти заставила его почти забыть все благородные чувства. Беглый взгляд на Руфь успокоил его чувства, и он остался таким же невозмутимым и молчаливым, как всегда.

— Мальчик, — повторил Контент, — я спрашиваю тебя, почему твои люди жаждут нашей крови?

В темных глазах индейца мелькнул проблеск, сверкнувший быстрее и ярче электрической искры. Казалось, эти глаза испускают лучи, блестящие, как взгляд змеи. Его тело словно распирало от внутренних усилий духа, и на миг во всей полноте явил себя яростный и неконтролируемый взрыв свирепой страсти. Однако чувство победило лишь на мгновение. Поразительным усилием воли он вновь обрел самообладание и, подойдя так близко к тому, кто задал этот самый вопрос, что дотронулся пальцем до его груди, юный дикарь сказал высокомерно:

— Взгляни! Этот мир очень широк. В нем есть место для ягуара и оленя. Почему йенгизы и краснокожие столкнулись?

— Мы тратим драгоценные минуты, пытаясь понять жестокую натуру язычника, — вмешался незнакомец. — У его людей конкретная цель, и с помощью опоры христианина мы дадим отпор их силам. Благоразумие требует от нас поместить парня под стражу, после чего мы починим частокол и докажем, что мы мужчины.

Против этого предложения не могло последовать никаких разумных возражений. Контент был готов запереть своего пленника в погребе, когда подсказка жены заставила его изменить свое намерение. Вопреки неожиданному и свирепому выражению лица юноши,

между ними, посредством взглядов, исполненных доброты и участия, возникло такое взаимопонимание, что мать не хотела отказаться от всякой надежды на содействие мальчика.

— Миантонимо! — сказала она. — Хотя остальные не доверяют твоим намерениям, я тебе верю. Поэтому идем со мной. Я обещаю тебе личную безопасность, но прошу тебя стать защитником моих малышек.

Мальчик ничего не ответил. Но когда он безучастно проследовал за ней в комнаты, Руфь вообразила, что прочла подтверждение верности в выражении его красноречивых глаз. В ту же минуту ее муж и Смиренный покинули дом, чтобы занять свои посты у частокола.

ГЛАВА XIII

Ты мой паж.
Твой господин я. Говори смелее.
«Цимбелин»[80]

Помещение, куда Руфь отправила детей, располагалось в мансарде и, как уже говорилось, с той стороны дома, которая выходила на ручей, бежавший у подножия холма. В нем было единственное выступающее окно, откуда виднелись лес и поля по ту сторону долины. Небольшие отверстия по бокам позволяли также мельком разглядеть земли, лежавшие в отдалении. Кроме крыши и массивного остова здания, внутренняя перегородка из досок защищала это место от попадания большей части боевых снарядов в войнах того времени. В период младенчества эта комната служила для детей спальней и сохраняла это назначение, пока дополнительные наружные сооружения, выросшие со временем вокруг жилых домов, не прибавили семейству смелости устраиваться на ночь более комфортно и, как полагали, не менее надежно в отношении сюрпризов.

— Я знаю, ты тот человек, который сознает, каковы обязанности воина, — сказала Руфь, приведя его вслед за собой туда, где были дети. — Ты не обманешь меня. Жизни этих нежных созданий под твоей зашитой. Присмотри за ними, Миантонимо, и христианский Бог вспомнит о тебе в час твоей собственной нужды!

Мальчик ничего не ответил, но в добром выражении его смуглого лица мать угадала залог, который искала. Затем, когда юноша с деликатностью своей расы отошел в сторону, чтобы те, кто был привязан друг к другу столь тесными узами, могли отдаться своим

чувствам без свидетелей, Руфь вновь приникла к своему чаду со всей материнской нежностью, светившейся в ее глазах.

— Еще раз прошу тебя не следить с чрезмерным любопытством за ужасной схваткой, которая может возникнуть перед нашим домом. Язычники действительно идут на нас с кровавыми намерениями. И молодые, и старые должны теперь показать, что веруют в защиту нашего Господа и такое мужество, какое подобает верующим.

— А почему, матушка, — спросила ее дочь, — они хотят причинить нам зло? Разве мы сделали им что-нибудь плохое?

— Я не знаю. Тот, кто сотворил землю, дал ее нам в пользование, и разум, казалось бы, учит, что если часть ее пустует, тот, кому она действительно нужна, может занять ее.

— Дикарь! — прошептал ребенок, прильнув еще теснее к груди своей нагнувшейся родительницы. — Его глаза сверкают, как звезда, что висит над деревьями.

— Успокойся, доченька. Его дикая натура размышляет над некой воображаемой несправедливостью!

— Ведь мы здесь по праву. Я слыхала, как отец говорил, что, когда Господь подарил меня ему, наша долина была густым лесом, и только тяжкий труд сделал ее такой, какой она стала.

— Я надеюсь, что тому, чему мы радуемся, мы радуемся по праву! И тем не менее, похоже, что дикари готовы отрицать наши притязания.

— А где живут эти кровожадные враги? У них тоже есть долины, как эта, и христиане ворвутся туда ночью, чтобы пролить кровь?

— У них дикие и жестокие обычаи, Руфь, и они мало знают о нашем образе жизни. Они не заботятся о

женщине, как люди расы твоего отца, ибо физическая сила ценится больше, чем родственные узы.

Малютка вздрогнула, а когда зарылась лицом глубже в материнскую грудь, то в этом проявилось более сильное чувство любви к матери и более живое его выражение, чем любые прежние ласки в ее детском восприятии. Когда она умолкла, матрона запечатлела прощальный поцелуй на лбу каждого из детей и, громко молясь, чтобы Господь благословил их, вернулась к исполнению обязанностей, требовавших проявления совсем других качеств. Однако, прежде чем покинуть комнату, она еще раз подошла к мальчику и, держа свечу перед его не дрогнувшими глазами, торжественно произнесла:

— Я вверяю моих малюток попечению юного воина!

Его ответный взгляд был, как всегда, холодным, но не обескураживающим. Долгий и пристальный взгляд Руфи не заставил его ответить, и она собралась покинуть помещение, мучимая неопределенностью относительно намерений опекуна, на которого она оставляла девочек, хотя все еще верила, что многочисленные проявления ее доброты к нему за время плена не останутся без вознаграждения. Ее рука задержалась в нерешительности на щеколде двери. Момент благоприятствовал юноше, ибо она вспомнила, каким образом он вернулся этой ночью, как и прежние его поступки, когда он оправдывал доверие, и была близка к тому, чтобы оставить дверь открытой и дать ему возможность выйти, но тут воздух долины наполнили ужасные крики и вопли атакующих дикарей. Оттянув щеколду, встревоженная женщина спустилась без дальнейших раздумий и заторопилась на свой пост с поспешностью человека, сознающего только необходимость своего присутствия в другом месте.

— Встань у бревен, Рейбен Ринг! Отгони этих прячущихся убийц к их кровожадным собратьям,

идущим следом! Стрелы! Вот, Дадли, амбразура для твоей доблести. Господь милостив к душам невежественных язычников!

Эти возгласы смешивались с выстрелами мушкетов, воплями воинов, свистом пуль и стрел и со всеми прочими звуками такого рода, образуя ужасающий аккомпанемент, приветствовавший Руфь, когда она вышла во двор. Долина изредка озарялась вспышками огнестрельного оружия, и тогда оглушительный грохот временно преобладал в непроглядной мгле. К счастью, среди всей этой сумятицы и насилия молодые люди из долины оставались верны своему долгу. Опасная попытка перебраться через частокол была уже отбита, и, поскольку выяснился истинный характер двух или трех ложных атак, главные силы гарнизона теперь активно использовались для сопротивления основному наступлению.

— Во имя Того, кто с нами в любой опасности! — воскликнула Руфь, подойдя к двум фигурам, которые так основательно были заняты собственными делами, что не обратили внимания на ее появление. — Скажите мне, как идет бой? Где мой муж и сын? Неужто Провидению угодно, чтобы пострадал кто-нибудь из наших людей?

— Дьяволу было угодно, — возразил Ибен Дадли несколько непочтительно для человека, прошедшего здешнюю школу сдержанности, — направить стрелу индейца сквозь мою куртку и шкуру мне в руку! Потише, Фейс, ты думаешь, девушка, что кожа мужчины подобна одеянию овцы, с которой шерсть можно состричь по желанию. Я не линяющая птица, а это стрела не перо из моего крыла. Пусть Господь простит мошенника за неверную цель вроде моей плоти, говорю я, и аминь, как подобает христианину! У него будет случай рассчитывать на милосердие, видя, что ему не на что больше надеяться в этом мире. Теперь, Фейс, я

отдаю должное твоей доброте, и не надо больше колкостей между нами. Твой язычок часто кусает больнее, чем стрела индейца.

— А чья это вина, если старых знакомых подчас недооценивают, разговаривая с новыми? Ты же знаешь, что если говорить как полагается, то ни одна девушка в колонии не ответит вежливее. Рука беспокоит тебя, Дадли?

— Это не пощекотать соломинкой — загнать стрелу с кремневым наконечником до самой кости! Я прощаю тебя за слишком частые разговоры с солдатом и все выпады твоего неутомимого язычка при условии, что…

— Убирайся, скандалист! Ты что, собираешься пустословить здесь всю ночь напролет под предлогом поврежденной кожи и дикарей у наших ворот? Хорошее же мнение составит мадам о твоих подвигах, узнав, что, пока другие юноши отбивали атаки индейцев, ты болтался среди строений!

Смущенный житель пограничья был готов проклясть в душе переменчивый нрав своей возлюбленной, когда боковым зрением увидел, что посторонние уши прислушиваются к их разговору. Схватив оружие, прислоненное к фундаменту блокгауза, он поспешил вслед за матерью семейства, и в следующую минуту его голос и голос его мушкета снова послышались среди общего гама.

— Принес он вести от частокола? — повторила Руфь, желая, чтобы молодой человек вернулся на свой пост, и в то же время боясь задержать его уход. — Что он говорит о нападении?

— Дикари поплатились за свою смелость, а наши люди пострадали мало. Исключая вон того болвана, что ухитрился подставить руку под стрелу, мне неизвестно, чтобы кто-нибудь из наших был ранен.

— Слышишь! Они отступают! Крики отдаляются, и наши молодые люди одержат верх! Ступай на свое

место среди бревен для топлива и последи: пусть ни один соглядатай не останется, чтобы навредить. Господь вспомнил о милосердии, и может так случиться, что это бедствие минует нас!

Чуткое ухо Руфи не обмануло ее. Сумятица нападения постепенно отдалялась от укреплений, и хотя вспышки мушкетов и грохочущие отзвуки, разносившиеся по окружающему лесу, не стали реже, было ясно, что критический момент атаки уже миновал. Вместо яростной попытки захватить частокол внезапным натиском дикари теперь прибегли к более методичным действиям, хотя на первый взгляд не столь пугающим, зато, вероятно, сулившим конечный успех. Руфь воспользовалась временным затишьем, чтобы отыскать тех, в чьем благополучии она была более всего заинтересована.

— Кто-нибудь еще, кроме бравого Дадли, пострадал при нападении? — обеспокоенно спросила женщина, медленно проходя среди группы сумрачных фигур, собравшихся на совет у бровки склона. — Кто-нибудь нуждается в заботливой женской руке? Хиткоут, ты невредим?

— Правда. Тот, чье милосердие велико, позаботился об этом, ибо у нас было мало возможностей подумать о собственной безопасности. Боюсь, что некоторые из наших молодых людей не отнеслись к этому с тем вниманием, какого требует благоразумие.

— Беззаботный Марк не забыл моих наставлений! Мальчик, надеюсь, ты не терял чувства долга настолько, чтобы опережать отца?

— Когда воинственные вопли раздаются меж бревен частокола, матушка, видишь и думаешь только о краснокожих, — возразил мальчик, проводя ладонью по лицу, чтобы скрыть капли крови, сочащиеся с бороздки, оставленной пролетевшей стрелой. — Я держался возле

отца, но впереди или позади него, я не заметил из-за темноты.

— Парень вел себя хорошо и достойно, — сказал незнакомец, — и показал, что сделан из того же металла, что его дед. Ба! Что это светится среди сараев? Пожалуй, понадобится вылазка, чтобы спасти от разорения хлебные амбары и твои загоны!

— К сараям! К сараям! — прокричали двое молодых людей через свои бойницы.

— Постройки в огне! — воскликнула одна из служанок, исполнявшая сходную обязанность под прикрытием жилых домов. Затем последовали залпы мушкетов, каждый из которых был нацелен на вспышки света, ярко сверкавшие в опасной близости к горючим материалам, заполнявшим большинство наружных строений. Вопль дикарей и быстро опавшее пламя пылающего клубка возвестили, что цель достигнута с фатальной точностью.

— Это нельзя оставить просто так! — воскликнул Контент, возбужденный до чрезвычайности крайней степенью опасности. — Отец! — громко позвал он. — Сейчас самое время показать всю нашу силу.

За этим призывом последовала минута напряженного ожидания. Потом вся долина внезапно озарилась так, будто поток электрического света промчался по ее сумрачному ложу. Широкая полоса яркого пламени вырвалась из мансарды блокгауза, а затем раздался рев маленькой пушки, которая так долго пребывала там в молчании. Вслед за этим послышался грохот снаряда среди сараев и треск разрываемого дерева. При мгновенной вспышке стали видны до пятидесяти темных фигур, мечущихся между наружных построек в смятении, естественном для их невежества, и с быстротой, соответствовавшей их смятению. Момент был благоприятный. Контент сделал знак Рейбену Рингу. Они вместе вышли через задние

ворота и исчезли в направлении амбаров. Время их отсутствия было исполнено напряженного беспокойства для Руфи и тревоги даже для тех, чьи нервы были покрепче. Однако нескольких минут хватило, чтобы успокоить эти чувства, ибо рискнувшие выйти вернулись невредимыми и такими же молчаливыми, какими покинули укрепления. Хруст ног по насту, ржание лошадей и мычание испуганного скота, пока обезумевшие животные метались по полям, вскоре разъяснили, ради чего был затеян этот риск.

— Входи, — прошептала Руфь, придерживая рукой задние ворота. — Входи, ради Бога! Ты выпустил весь скот, чтобы ни одна живая тварь не погибла в огне?

— Весь. И, сказать по правде, вовремя, ибо — смотри! — пожар разгорается!

Контент имел все основания поздравить себя со своей вылазкой, потому что, даже пока он говорил, стало видно, как полускрытые факелы, сделанные по обычаю из горящих сосновых шишек, опять движутся по полям, явно приближаясь к наружным строениям такими окольными и укрытыми тропами, которые могли защитить тех, кто их нес, от выстрелов гарнизона. Было сделано последнее и общее усилие, чтобы остановить опасность. Мушкеты молодых людей не бездействовали, и не однажды цитадель сурового старого Пуританина испускала свой поток пламени, чтобы отогнать опасных пришельцев. Немногочисленные крики разочарования и физической боли со стороны дикарей возвещали об успехе этих залпов. Но хотя большинство тех, кто приблизился к амбарам, было либо отогнано в страхе либо стало жертвой своего безрассудства, один из них, более осмотрительный или более опытный, чем его сотоварищи, нашел способ добиться своей цели.

Стрельба прекратилась, и осажденные поздравляли себя с успехом, когда внезапный свет разлился над

полями. Полоса пламени вскоре вихрем взвилась над гребнем пшеничных скирд и быстро охватила горючий материал жадными языками. От этого гибельного разорения средств спасения уже не осталось. Сараи и загоны, еще недавно укрытые ночной темнотой, мгновенно осветились, и жизнь стала бы ценой, уплаченной любой из сторон, если бы кто-то осмелился проникнуть внутрь огненного крута. Жители пограничья вскоре были вынуждены отступить, даже несмотря на скрывавшую их тень от холма, и искать такое укрытие, как частокол, чтобы не стать мишенью для стрелы или пули.

— Это печальное зрелище для того, кто убирал урожай, желая добра всем людям, — сказал Контент дрожащей жене, которая конвульсивно схватила его руку, когда пламя завихрилось потоками горячего воздуха и, пробежав пару раз по кровле сарая, коварно растеклось вдоль деревянной обшивки. — Плоды благословенного сезона готовы обратиться в пепел в огне этих про…

— Спокойно, Хиткоут! Что такое богатство или полные закрома по сравнению с тем, что остается. Сдерживай это роптание своего духа и благодари Господа за то, что он оставляет нам наших малышек и дарует безопасность внутри наших домов.

— Ты верно говоришь, — отвечал муж, стараясь подражать кроткому смирению спутницы жизни. — Что в самом деле весят дары мира сего, если на другой чаше весов мир в душе. А! Этот злокозненный ветер окончательно губит наш урожай! Яростная стихия в самом центре закромов.

Руфь ничего не ответила, ибо, хотя мирские заботы волновали ее меньше, чем мужа, страшное усиление пожара наполнило ее чувством тревоги за личную безопасность. Огонь перекидывался с крыши на крышу и, встречая повсюду легко воспламеняющиеся

материалы, ярко полыхал, пожирая в потоке пламени весь обширный ряд амбаров, сараев, закромов, стойл и наружных строений. До этой минуты напряженное затишье, с надеждой на одной стороне и с опасениями на другой, оставляло обе группы немыми зрителями этой сцены. Но победные крики вскоре возвестили восторг, с которым индейцы стали очевидцами завершения своего жестокого плана. Затем этот взрыв радости сопроводили воинственные вопли, и началась третья атака.

Противники сражались теперь при ярком свете, хотя и менее естественном, но едва ли уступавшем дневному. Поощряемые перспективой успеха, который сулил пожар, дикари ринулись на частокол с большей отвагой, чем обычно им было свойственно проявлять в их осмотрительных военных действиях. Широкая тень от холма и строений на нем лежала на полях со стороны, противоположной пожару, и сквозь этот пояс относительного мрака самая жестокая из банд беспрепятственно проложила себе путь непосредственно к частоколу. Об их появлении возвестили крики радости, ибо слишком много любопытных глаз впитывали пугающую красоту пожарища, чтобы заметить их приближение до того, как атака едва не увенчалась успехом. Натиск защитников и нападающих был теперь одинаково быстр и неудержим. Стрельба была бесполезна, поскольку бревна надежно защищали как нападающих, так и осажденных. Это была битва врукопашную, в которой верх одержала бы численность, если бы более слабой стороне не улыбнулась удача в защите. Удары кинжалов мелькали меж бревен, и изредка слышался выстрел мушкета или свист стрелы.

— Встаньте к укреплениям, люди! — призвал зычным голосом незнакомец, говоривший среди жестокой схватки с той командной и подбадривающей

живостью, которую может вселить только знакомство с опасностью. — Встаньте к укреплениям, и они будут неприступными. Ба! Неплохо задумано, друг дикарь, — пробормотал он сквозь зубы, отражая с некоторым риском для одной руки удар, нацеленный на его горло, в то время как другой он схватил воина, наносившего удар, и, с силой гиганта притиснув его обнаженную грудь к пазу между бревнами, погрузил свое собственное острое лезвие в тело по самую рукоять. Глаза жертвы дико выкатились, а когда железная рука, пригвоздившая его к дереву с силой тисков, ослабила хватку, тот свалился недвижимым на землю. Эта смерть сопровождалась привычным воплем разочарования, и нападающие исчезли так же проворно, как и появились.

— Хвала Господу, что мы можем порадоваться своему превосходству! — сказал Контент, пересчитывая своих людей тревожным взглядом, когда все снова собрались на холме, где благодаря яркому свету они могли в относительной безопасности осмотреть наиболее угрожаемые участки защитных укреплений.

— Все налицо, хотя, боюсь, многие ранены.

Молчание и старания большинства из слушавших его остановить кровь были красноречивым ответом.

— Послушай, отец! — сказал остроглазый и наблюдательный Марк. — Какой-то человек на частоколе совсем рядом с калиткой. Это дикарь? Или я вижу там в поле пень?

Все взгляды устремились в направлении руки говорившего, и с несомненностью стало видно, как что-то, имеющее заметное сходство с фигурой человека, взбирается по внутренней стороне одного из бревен. Участок частокола, по которому взбиралась воображаемая фигура, был погружен во мрак больше, чем остальные укрепления, и сомнения относительно нее возникли не только у остроглазого парня, первым обнаружившего ее присутствие.

— Кто повис на нашем частоколе? — позвал Ибен Дадли. — Откликнись, чтобы мы не подстрелили друга!

Пока был слышен звук выстрелов мушкета пограничного жителя, предмет оставался неподвижнее самого леса, а затем послышалось падение на землю как будто бесчувственной массы.

— Упал, словно подстреленный медведь с дерева! Он был живой, иначе никакая моя пуля не могла бы его сбить! — воскликнул Дадли, немного возбужденный при виде успешного попадания в цель.

— Я пойду и проверю, что он за…

Рот юного Марка накрыла ладонь незнакомца, который хладнокровно заметил:

— Я поинтересуюсь судьбой язычника самолично.

Он собрался пройти к этому месту, как вдруг предполагаемый мертвец или раненый вскочил на ноги с воплем, эхом разнесшимся вдоль опушки леса, и огромными и энергичными прыжками помчался под защиту строений. Два или три мушкета прочертили полосы огня поперек его пути, но, по-видимому, безуспешно. Петляя так, чтобы избежать прицельных выстрелов, невредимый дикарь испустил еще один победный вопль и исчез среди зданий. Его крики поняли, ибо с полей донеслись ответные вопли, и враг снаружи снова бросился в атаку.

— Это нельзя оставить без внимания, — сказал тот, кто более благодаря своему самообладанию и властному виду, нежели по признанному праву командовать, незаметно взял на себя основной контроль за важными событиями той ночи. — Человек вроде этого внутри наших стен может быстро принести гибель гарнизону. Он может открыть для вторжения задние ворота.

— Тройные запоры удерживают их, — прервал Контент. — А ключ спрятан там, где никто не сумеет отыскать его, если он не из нашего дома.

— И, к счастью, ключ от потайной калитки у меня, — пробормотал незнакомец, понизив голос. — Пока что все нормально. Но пожар! Пожар! Девушки должны следить за огнем и источниками света, а юноши пусть закрепятся у частокола, ибо эта атака не допускает дальнейшего промедления.

Сказав это, незнакомец подал пример мужества, проследовав на свое место в пикете, где, поддержанный соратниками, продолжал защищать подступы под градом стрел и пуль, выпущенных с большого расстояния, но едва ли менее опасных для находившихся со стороны склона, чем те, что обрушились на гарнизон ранее.

Тем временем Руфь собрала своих помощниц и поспешила выполнить порученную обязанность. Вскоре пламя обильно заливали водой, а поскольку бушующий пожар давал гораздо больше света, чем было необходимо или безопасно, позаботились загасить любой факел или свечу, которые в суматохе тревоги могли оставить без присмотра в просторной анфиладе жилых и конторских помещений.

ГЛАВА XIV

О мать, печальная и кроткая,
Его не покидай так скоро!
Мать, будь милосердна, подожди!
Когда отчаянье и смерть его удел,
Как можешь ты, столь добрая, земная,
Его теперь оставить?

Дейна

Когда эти предосторожности были приняты, женщины вернулись к своим наблюдательным пунктам, а Руфь, чьей обязанностью в моменты опасности было осуществлять общий надзор, осталась наедине со своими размышлениями и своими страхами. Покинув внутренние комнаты, она подошла к двери, ведущей во двор, и на мгновение забыла о своих сиюминутных заботах при виде впечатляющего зрелища, которое ее окружало.

К этому времени весь обширный ряд наружных строений, сооруженных, как было принято в колониях, из самых горючих материалов и без оглядки на расход дерева, оказался охвачен огнем. Несмотря на то, что не все здания полыхали пламенем, широкие полосы непрерывно пересекали сам двор, и на его поверхности она могла различить мельчайшие предметы, тогда как небосвод перед ней светился грозовым красным отблеском. Сквозь открытые пространства между зданиями четырехугольного двора глаз мог охватить поля, где все свидетельствовало о зловещем намерении дикарей упорно добиваться своей цели.

Было видно, как смуглые звероподобные и почти нагие человеческие фигуры перебегают от укрытия к

укрытию, и не было в пределах полета стрелы ни единого пня или бревна, которые не использовались бы для укрытия дерзким и неутомимым врагом. Было ясно, что индейцев насчитывались сотни, и поскольку атака после неудачи неожиданного нападения продолжалась, было также слишком очевидно, что они настроены на победу даже ценой некоторого риска для себя. При этом враг не пренебрегал никакими обычными средствами устрашения. Крики и вопли непрерывно звучали вокруг, а громкие и часто повторяющиеся звуки раковины выдавали хитрость, с помощью которой дикари так часто стремились еще в начале ночи выманить гарнизон за пределы частокола. Изредка разрозненные выстрелы, сделанные прицельно и с любой удобной точки внутри укреплений, свидетельствовали о хладнокровии и бдительности защищающихся. Маленькая пушка в блокгаузе молчала, ибо Пуританин, слишком хорошо зная ее реальную мощь, не хотел подорвать ее репутацию при чересчур частом использовании. Поэтому орудие было оставлено в резерве на те случаи крайней опасности, которых неизбежно следовало ожидать.

На это зрелище Руфь смотрела с печалью, пронизанной страхом. Долго сохранявшаяся безопасность ее сельского жилища была насильственно нарушена, и вместо покоя, настолько близкого к тому святому миру, коего жаждала ее душа, насколько это вообще возможно на Земле, она и все те, кого она больше всего любила, внезапно оказались лицом к лицу с самым устрашающим проявлением человеческой жестокости. В такую минуту в ней пробудились чувства матери. И, не оставляя времени раздумьям, при свете пожара матрона медленно двинулась через запутанные проходы жилого дома на поиски тех, кого она поместила в безопасных комнатах.

— Надеюсь, вы не стали смотреть на поля, дети мои, — сказала почти запыхавшаяся женщина, войдя в комнату. — Возблагодарите Небо, дети. До сих пор усилия дикарей были напрасны, и мы все еще хозяева своих жилищ.

— Почему ночь такая красная? Подойди ближе, матушка. В лесу видно так, словно солнце светит!

— Язычники подожгли наши амбары, и то, что ты видишь, — это свет пламени. Но, к счастью, они не могут поджечь жилые дома, пока твой отец и молодые люди держат в руках оружие. Мы должны быть благодарны за эту безопасность, какой бы хрупкой она ни казалась. Ты преклоняла колени, моя Руфь, и не забыла подумать об отце и брате в своих молитвах?

— Я снова сделаю это, матушка, — прошептал ребенок, опускаясь на колени и зарываясь юным личиком в платье матроны.

— Зачем прятать лицо? Такая юная и невинная девочка, как ты, может с доверием обратить взор к небесам.

— Матушка, я вижу индейца, если не спрячу лица. Он смотрит на меня, боюсь, с желанием причинить нам зло.

— Ты несправедлива к Миантонимо, дитя, — отвечала Руфь, бросив быстрый взгляд вокруг, чтобы отыскать мальчика, который скромно отошел в дальний и более темный угол комнаты. — Я оставила его с тобой как защитника, а не как того, кто захотел бы навредить. А теперь думай о Господе, — она запечатлела поцелуй на холодном мраморoподобном лбу своей дочери, — и питай веру в его доброту. Миантонимо, я опять оставляю тебя с поручением быть их покровителем, — добавила она, покидая дочь и подходя к юноше.

— Матушка! — вскрикнул ребенок. — Иди ко мне, а то я умру!

Руфь молниеносно отвернулась от слушавшего ее пленника. Один взгляд открыл ей опасность, угрожавшую ее чаду. Нагой смуглый дикарь с мощным торсом и зверским видом в устрашающем маскараде боевой раскраски стоял, накручивая шелковистые волосы девочки на одну руку, а в другой держа сверкающий топор над головой, казалось, неминуемо обреченной на гибель девочки.

— Пощады! Пощады! — воскликнула Руфь хриплым от ужаса голосом, упав на колени столько же оттого, что ноги не держали ее, сколько и в мольбе. — Чудовище, убей меня, но пощади дитя!

Глаза индейца обратились на мать, но с выражением, говорившим, как казалось, скорее о желании пересчитать число своих жертв, чем хоть как-то изменить свое намерение. В дьявольском замысле, обличавшем хорошее знакомство с безжалостной практикой, он снова поднял дрожащего, но безгласного ребенка на воздух и с уверенностью хищника приготовился поразить оружием цель. Томагавк описал последний круг над головой, и одно мгновение решило бы судьбу жертвы, если бы пленный мальчик не встал перед страшным исполнителем этой отвратительной сцены. Быстро выбросив вперед руку, он задержал удар. Глубокий горловой звук, выдавший изумление, исторгся из груди дикаря, в то время как его поднятая рука упала, а тело висевшей в воздухе девочки снова коснулось пола. Взгляд и жесты вмешавшегося мальчика выражали скорее властность, нежели негодование или ужас. Вид у него был спокойный, собранный и, как свидетельствовал результат, производивший впечатление.

— Ступай, — сказал он на языке жестокого народа, отпрыском которого был. — Воины бледнолицых выкрикивают твое имя.

— Снег красен от крови наших юношей, — злобно отвечал другой, — а ни одного скальпа нет на поясах моих людей.

— Эти мои, — возразил мальчик с достоинством, движением руки показывая, что берет под свою защиту всех присутствующих.

Воин мрачно огляделся с видом человека, убежденного только наполовину. Он подвергался слишком грозной опасности, проникнув за частокол, чтобы легко отказаться от своей цели.

— Послушай! — продолжил он после короткой паузы, во время которой в общем грохоте снаружи снова раздался рев пушки Пуританина. — Гром на стороне йенгизов! Наши молодые женщины отвернутся от нас и назовут пикодами, если на нашем шесте не будет ни одного скальпа.

На один миг выражение лица мальчика изменилось, и его решимость как будто поколебалась. Второй, жадно и нетерпеливо следивший за его взглядом, снова схватил свою жертву за волосы, когда Руфь вскрикнула с силой отчаяния:

— Мальчик! Мальчик! Если ты не с нами — значит, Господь оставил нас!

— Она моя! — жестоко сорвалось с губ юноши. — Слушай мои слова, Вомпависсет: кровь моего отца кипит во мне!

Тот промедлил, и удар еще раз был отведен. Горящие глаза дикаря впились в напрягшееся тело и упрямое лицо юного героя, чья поднятая ладонь явно угрожала немедленной карой, если он осмелится не внять заступничеству. Губы воина раскрылись, и слово «Миантонимо» прозвучало так слабо, словно оно пробудило чувство печали. Затем, когда над ревом пожара раздался взрыв воплей, злобный индеец обратился вспять и, оставив дрожавшего и почти

бесчувственного ребенка, бросился вон, как охотничья собака, спущенная на свежий запах крови.

— Мальчик! Мальчик! — пробормотала мать. — Язычник ты или христианин, но здесь есть человек, который будет благословлять тебя…

Быстрый жест руки прервал бурное выражение ее благодарности. Указывая на фигуру удаляющегося дикаря, парень обвел пальцем вокруг собственной головы так, что в смысле этого жеста нельзя было ошибиться, и произнес твердо, но с глубокой выразительностью индейца:

— Молодой бледнолицый имеет скальп!

Руфь не стала слушать дальше. С быстротой инстинкта все чувства ее души обострились до предела, и она ринулась вниз, чтобы предостеречь Марка против замысла столь страшного врага. Еще с минуту ее шаги слышались в пустых комнатах, а затем индейский мальчик, только что так недвусмысленно проявивший упорство и властность ради детей, вновь с прежним спокойствием принял свою задумчивую позу, словно не проявлял никакого дальнейшего интереса к страшным событиям этой ночи.

Положение гарнизона было теперь в самом деле до крайней степени критическим. Поток огня перекинулся с отдаленного края наружных построек на те, что стояли ближе всего к укреплениям. И по мере того, как здание за зданием плавилось под его неистовым натиском, частокол нагревался почти до точки возгорания. Тревога, созданная этой неминуемой опасностью, уже поднялась, и когда Руфь вышла во двор, одна из женщин побежала вслед за ней явно с каким-то поручением крайней важности.

— Ты видела его? — спросила запыхавшаяся мать, останавливая быстро идущую девушку.

— Нет, с тех пор, как дикари провели свою последнюю атаку. Но я ручаюсь, что его можно найти

возле западного угла, где он приводит в порядок укрепления против врага!

— Значит, он не самый первый в драке! О ком ты говоришь, Фейс? Я спрашиваю тебя про Марка. Как раз сейчас один дикарь рыщет среди пикетов в поисках жертвы.

— По правде, я подумала, что вы спрашиваете про… А мальчик — с отцом и неведомым солдатом, который совершает прямо-таки геройские дела ради нас. Я не видела никаких врагов внутри частокола, мадам Хиткоут, с тех пор как пропустили человека, благодаря темноте ускользнувшего от мушкета Дадли.

— Похоже, эта беда минует нас, — резюмировала Руфь, вздохнувшая с облегчением, узнав, что ее сын в безопасности. — Или Провидение в гневе закрыло лицо свое?

— Мы держимся, хотя дикари прижали молодежь до крайности. Ах! Сердце радуется, видя, какие храбрецы наши защитники — Рейбен Ринг и другие вместе с ним. Я себе думаю, мадам Хиткоут, что все-таки скандалист Дадли настоящий мужчина! Правда, парень показал чудеса выдержки и выносливости? Двадцать раз этой ночью я боялась увидеть его убитым.

— А кто это лежит там? — спросила полушепотом встревоженная Руфь, указывая на то место возле них, где в стороне от толпы тех, кто все еще метался в сумятице схватки, вытянувшись на земле, лежал человек. — Кто убит?

Щеки Фейс побелели почти как простыня, которую, несмотря на суматоху, какая-то дружеская рука нашла время набросить с печальным достоинством на тело.

— Он! — запинаясь выговорила девушка. — Мой брат Рейбен, хоть раненный и в крови, наверняка удерживает проход на западном углу, и у Уиттала достаточно здравого смысла, чтобы остерегаться опасности. Это не может быть и незнакомец, ибо под

прикрытием брустверa у потайной двери он держит совет с молодым капитаном.

— Ты уверена, милая?

— Я видела их обоих минуту назад. Слава Богу, слышен голос шумливого Дадли, мадам Хиткоут. Его крик радует сердце в такой ужасный момент.

— Откинь покрывало, — сказала Руфь с торжественным спокойствием, — чтобы мы знали, кто из наших друзей призван на высший суд.

Фейс медлила, а когда, столько же под влиянием тайного любопытства, как и послушания, сделав усилие, повиновалась, — то была решимость отчаяния. Когда простыню откинули, глаза обеих женщин остановились на бледном лице человека, пронзенного стрелой с железным наконечником. Девушка опустила простыню и голосом, в котором прозвучал взрыв истерического чувства, воскликнула:

— Да ведь это тот юноша, что недавно пришел к нам! Мы избежали потери кого-нибудь из старых друзей.

— Это человек, умерший ради нашей безопасности. Я бы отдала не жалея удобства мира сего, чтобы этой беды не случилось или чтобы больше времени было отпущено, дабы быть готовыми к Страшному Суду. Но мы не можем терять ни минуты для скорби. Поспеши, милая, и предупреди всех, что один дикарь скрывается внутри наших стен, чтобы нанести удар исподтишка. Пусть будут начеку. Если по пути тебе попадется молодой Марк, скажи ему дважды об этой опасности: у мальчика своевольный норов, и он может не прислушаться к словам, сказанным на ходу.

С этим напутствием Руфь отпустила девушку. В то время как та отправилась выполнять поручение, первая искала место, где, как она только что узнала, надеялась найти мужа.

Контент и незнакомец действительно держали совет по поводу опасности, угрожавшей разрушением их самых главных средств обороны. Сами же дикари как будто понимали, что пламя работает на них, ибо их натиск заметно ослабел, и, уже потерпев значительный урон в своих попытках досадить гарнизону, они отступили в укрытия и ждали момента, когда их испытанная хитрость подскажет, что они могут с более благоприятными видами на успех снова ринуться в атаку. Краткое объяснение ознакомило Руфь с неминуемым риском положения осажденных. Под влиянием чувства более ужасной опасности она забыла о своем прежнем намерении и с хмурым и скорбным взглядом бессильно и беспомощно стояла, как и ее спутники, оцепеневшим зрителем процесса разрушения.

— Солдат не должен растрачивать слова в бесполезных сетованиях, — заметил незнакомец, сложив руки, как тот, кто сознает, что человек не в силах больше ничего сделать. — Кроме того, скажу вам, жаль, что те, которые возводили вон ту линию частокола, не подумали об использовании рва.

— Я соберу работниц у колодцев, — сказала Руфь.

— Это нам не поможет. Стрелы их достанут, к тому же смертные не смогут долго выдерживать жар этой пылающей печи. Видишь, бревна уже дымятся и чернеют от ее прожорливого огня.

Незнакомец еще продолжал говорить, когда небольшой дрожащий язык пламени заиграл в углах частокола, находившихся ближе всего к горящей опоре. Стихия затрепетала волнообразной линией по краям накалившегося дерева, а потом охватила всю поверхность бревен от их более широкого основания до заостренной верхушки. Словно то был сигнал к сокрушению всего и вся, пламя вспыхнуло в десятках мест одновременно, а затем распространилось по всей

длине частокола со стороны пожара. Победный вопль разнесся по полям, и туча стрел, нацеленных точно на укрепления, возвестила о злобном нетерпении тех, что смотрели, как усиливается пожар.

— Нас загонят в блокгауз, — сказал Контент. — Собери своих женщин, Руфь, и быстро подготовь все для отступления в последнее убежище.

— Иду. А ты не рискуй жизнью в тщетном усилии задержать огонь. У нас еще будет время сделать все, что требуется для нашей безопасности.

— Не знаю, — торопливо заметил незнакомец. — Атака приобретает новый поворот.

Руфь остановилась. Взглянув вверх, она увидела предмет, породивший это замечание. Небольшой и яркий шар взвился со стороны полей и, описав дугу в воздухе, пролетел над их головами и упал на деревянную кровлю здания, составлявшего часть квадрата, который образовывал внутренний двор. То был полет стрелы, выпущенной из лука с далекого расстояния, чей путь обозначился длинным хвостом света, летевшим вслед за ней, словно сверкающий метеор. Эта пылающая стрела была послана с хладнокровным и выверенным расчетом. Она упала на горючий материал, который воспламенялся почти так же легко, как ружейный порох, и глаз едва успевал проследить за ее падением, а яркое пламя уже растекалось по раскаленной крыше.

— Еще и битва за наши дома! — воскликнул Контент, но рука незнакомца твердо легла на его плечо. В это мгновение дюжина таких же похожих на метеоры шаров взмыла в воздух и упала во множестве различных мест на уже наполовину подожженное скопление зданий. Дальнейшие усилия были бы бесполезны. Оставив надежду спасти свою собственность, все стали думать теперь о безопасности людей.

Руфь оправилась от кратковременного шока и поспешила исполнить свою хорошо знакомую обязанность. Затем наступили минуты напряженных усилий, пока женщины перетаскивали все необходимое для жизни и не припасенное в блокгаузе заранее в свою маленькую цитадель. Яркий свет, проникавший в самые темные переходы между строениями, не позволял делать это незаметно. Вопль призвал их врагов к новой атаке. Стрелы густо заполнили воздух, и важные обязанности невозможно было выполнить без риска, которому в какой-то мере подвергались все, передвигаясь сюда и туда, нагруженные необходимыми вещами. Однако сгущающийся дым служил до некоторой степени заслоном, и вскоре Контент получил долгожданное известие, что он может дать своим молодым людям команду отступить от частокола. Раковина прогудела нужный сигнал, и, прежде чем у врага было время понять его значение или воспользоваться тем, что укрепления остались без защитников, все люди внутри них невредимыми достигли дверей блокгауза. Все же спешки и сумятицы было больше, чем того требовала их безопасность. Однако те, кому это было поручено, энергично заняли места у бойниц и стояли в готовности обрушить огонь на любого, кто дерзнул бы подойти на расстояние выстрела, в то время как некоторые еще задержались во дворе проследить, чтобы ничто необходимое для сопротивления или для безопасности людей не было забыто. Руфь была первой в этом деле и теперь стояла, прижав ладони к вискам, как человек, у которого голова идет кругом от собственных усилий.

— Наш павший друг! — сказала она. — Разве мы бросим его останки на растерзание дикарям?

— Конечно нет. Дадли, твою руку! Мы отнесем тело вниз. Ба! Смерть поразила еще одного из наших.

Тревога, с которой Контент сделал это открытие, быстро дошла до каждого, кто его услышал. Было совершенно очевидно по очертаниям простыни, что под ее складками лежат два тела. Обеспокоенные и быстрые взгляды перебегали с лица на лицо, чтобы выяснить, кого недосчитались. А затем, сознавая риск дальнейшей задержки, Контент поднял простыню, чтобы наверняка развеять все сомнения. Первым медленно и осторожно было открыто тело павшего жителя пограничья. Но даже самые крепкие среди зрителей отпрянули в ужасе, когда его лишенная волос и пахнущая кровью голова доказала, что рука дикаря исполнила свою безжалостную волю над беспомощным телом.

— Второй! — с усилием выговорила Руфь, и лишь когда ее муж уже наполовину снял простыню, она успела произнести: — Берегись второго!

Предостережение было небесполезным, ибо простыня с силой заколыхалась, приподнявшись под рукой Контента, и угрюмый индеец прыгнул в самый центр оцепенелой группы. Широко размахивая вокруг себя рукой, сжимающей оружие, дикарь прорвался сквозь расступившийся круг и, издавая устрашающий вопль своего племени, неистово ринулся в открытую дверь главного жилого здания, чтобы полностью пресечь любую попытку преследования. Руфь судорожно протянула руки в том направлении, в котором он исчез, и была готова ринуться как безумная по его следам, когда рука мужа остановила ее порыв.

— Станешь ли ты рисковать жизнью, чтобы спасти какой-нибудь не имеющий цены пустяк?

— Муж, пусти меня! — возразила жена, едва не задыхаясь в муке. — Голос природы уснул во мне.

— Страх ослепляет твой разум!

Тело Руфи прекратило борьбу. Все безумие, которое дико сверкало в ее глазах, утонуло в остановившемся

взгляде почти противоестественного спокойствия. Собрав всю свою душевную энергию в одном отчаянном усилии овладеть собой, она повернулась к мужу и, в то время как ее грудь переполнял ужас, казалось, не дававший ей дышать, сказала голосом, способным внушить страх:

— Если у тебя сердце отца, пусти меня! Мы забыли о наших детях!

Рука Контента ослабила хватку, и в следующую минуту фигура его жены исчезла из виду в том же направлении, которое избрал удачливый дикарь. То был злосчастный момент, выбранный врагом, чтобы воспользоваться своим преимуществом. Злобный взрыв воплей возвестил о натиске атакующих, а залп из всех амбразур блокгауза достоверно оповестил находившихся во дворе, что наступление неприятеля было теперь направлено в самое сердце обороны. Все вооружились, кроме нескольких, задержавшихся исполнить печальный долг перед умершим. Их было слишком мало, чтобы оказать достойное сопротивление, и в то же время слишком много, чтобы решиться оставить обезумевшую мать и ее отпрысков без помощи.

— Входи! — сказал Контент, указывая на дверь блокгауза. — Мой долг — разделить судьбу тех, кто ближе всего мне по крови.

Незнакомец ничего не ответил. Своими сильными руками он решительно втолкнул почти окаменевшего мужа внутрь нижнего этажа дома, а потом быстрым жестом сделал знак всем окружающим следовать за собой. После того как вошел последний, он приказал заложить запоры двери, сам оставшись, как он думал, в одиночестве снаружи. Но когда беглым взглядом он заметил еще одного человека, вглядывавшегося с тупым страхом в лицо убитого, было слишком поздно исправить ошибку. Теперь вопли доносились из клубов

черного дыма, кругами расходившихся от раскаленных зданий, и было ясно, что всего несколько футов отделяют их от преследователей. Подозвав кивком человека, не укрывшегося в блокгаузе, суровый солдат бросился в главное жилое здание, пока что едва поврежденное огнем. Руководимый скорее случаем, чем знанием поворотов здания, он вскоре очутился в жилых комнатах. Теперь он был в растерянности, не зная, куда идти. В эту минуту его спутник, которым был не кто иной, как Уиттал Ринг, указал дорогу, и в следующее мгновение они оказались у дверей потайного помещения.

— Тсс! — произнес незнакомец, поднимая руку, чтобы призвать к молчанию, когда вошел в комнату. — Наша надежда — в сохранении тайны.

— Но как же нам выбраться, чтобы нас не обнаружили? — спросила мать, указывая на предметы вокруг себя, освещенные таким сильным светом, что он проникал во все щели неумело сооруженного здания. — Полуденное солнце не намного ярче, чем это ужасное пламя!

— Господь проявляет себя в стихиях! Его направляющая рука укажет путь. Но здесь нам нельзя оставаться, ибо огонь уже на кровле. Следуйте за мною и не разговаривайте!

Руфь прижала к себе детей, и вся группа покинула жилую мансарду в полном составе. Они быстро спустились в нижнее помещение, не обнаружив себя. Но здесь их предводитель задержался, ибо положение дел снаружи было таково, что требовало величайшей крепости нервов и серьезного раздумья.

Индейцы к этому времени захватили все владения Марка Хиткоута за исключением блокгауза, и поскольку их первым делом было дать доступ огню туда, куда он еще не добрался, то гул пожара теперь слышался со всех сторон. Однако залп мушкетов и крики

сражающихся, усиливавшие ужасающий шум этой сцены, возвещали о несломленной решимости тех, кто удерживал цитадель. Окно комнаты, которую они заняли, позволяло незнакомцу подробно наблюдать за тем, что происходило снаружи. Двор, освещенный как днем, был пуст, ибо возрастающий жар пламени, не меньше, чем залпы из бойниц, все еще удерживал осторожных дикарей в их укрытиях. Была слабая надежда, что пространство между жилым зданием и блокгаузом еще можно преодолеть, избежав опасности.

— Надо было попросить придерживать дверь блокгауза вручную, — пробормотал Смиренный. — Было бы смертельно опасно промедлить хоть на миг при этом жутком свете, да у нас и нет способа…

Кто-то коснулся его руки, и, обернувшись, он увидел темные глаза пленного мальчика, упорно глядевшие ему в лицо.

— Ты хочешь сделать это? — спросил незнакомец тоном, показывавшим, что он сомневается, хотя и надеется.

Красноречивый жест согласия был ответом, а затем фигура парня спокойно выскользнула из комнаты.

Еще мгновение, и Миантонимо появился во дворе. Он шел неторопливо, как человек, уверенный в своей полной безопасности. Одна его рука была поднята в направлении амбразур, как бы выражая дружелюбие, а дальше, опустив руку, он направился в самый центр площади. Здесь мальчик остановился во всем блеске пожара и поочередно неспешно обратил лицо на все стороны вокруг себя. Этим поступком он показал, что хочет привлечь к себе всеобщее внимание. В ту же минуту прекратились вопли в окружающих укрытиях, свидетельствуя об одинаковом общем чувстве, разбуженном его появлением, и риске, которому подвергся бы любой другой, делая себя мишенью в этом страшном эпизоде. Когда этот акт чрезвычайного

доверия был исполнен, мальчик приблизился ко входу в блокгауз.

— Пришел ли ты с миром или это еще одна уловка индейского вероломства? — спросил голос через отверстие в двери, оставленное специально с целью переговоров.

Мальчик поднял ладонь одной руки в направлении говорившего, а другую с жестом доверия положил на свою голую грудь.

— Ты можешь что-нибудь предложить в отношении моей жены и детей? Если золото послужит как выкуп, назови свою Цену.

Миантонимо не составило труда понять смысл этих слов. С готовностью человека, чьи способности рано прошли выучку изобретательности в обстоятельствах чрезвычайных, он сделал жест, который сказал больше, чем даже его образная речь, когда ответил:

— Может ли женщина из бледнолицых пройти сквозь дерево? Стрела индейца быстрее стопы моей матери.

— Мальчик, я верю тебе, — ответил голос изнутри амбразуры. — Если ты обманешь столь слабые и невинные существа, небеса попомнят неправое дело.

Миантонимо снова сделал знак, показывая, что следует проявить осмотрительность, а затем пошел обратно таким же спокойным и размеренным шагом, как и пришел. Вопли смолкли еще раз, выдавая интерес тех, чьи жестокие глаза на расстоянии следили за его движениями.

Возвратившись к группе в жилом здании, юный индеец повел их, не замеченных притаившейся бандой, все еще медлившей в дыму окружающих строений, к месту, с которого был виден весь их короткий, но опасный маршрут. В эту минуту дверь блокгауза наполовину приоткрылась и снова захлопнулась. Незнакомец все еще колебался, ибо видел, как мало

шансов на то, что все смогут невредимыми пересечь двор, а попытки пройти через него повторно, как он знал, были невозможны.

— Мальчик, ты, сделавший так много, можешь сделать еще больше. Попроси милосердия для этих детей как-нибудь так, чтобы тронуть сердца твоих соплеменников.

Миантонимо покачал головой и, указывая на мертвые тела, лежавшие во дворе, холодно ответил:

— Краснокожие отведали вкус крови.

— Значит, надо сделать отчаянную попытку! Не думай о своих детях, преданная и отважная мать, а позаботься лишь о собственной безопасности. Этот безрассудный юноша и я возьмем на себя заботу о невинных.

Руфь отмахнулась жестом руки, прижав свою онемевшую дочь к груди и тем самым показывая, что решение принято. Незнакомец сдался и, повернувшись к Уитталу, стоявшему возле него с видом человека, который, забыв обо всем остальном, целиком занят созерцанием пылающих груд и ожиданием некой опасности для себя лично, попросил его позаботиться о безопасности второго ребенка. Двинувшись вперед, он был готов предложить Руфи такую защиту, какую позволял случай, как вдруг окно с внутренней стороны дома с треском рухнуло, возвещая, что враг ворвался внутрь и грозит неминуемая опасность, что путь к бегству будет перекрыт. Нельзя было терять времени, ибо теперь стало ясно, что только одна-единственная комната отделяет их от врага. В Руфи пробудилась ее благородная натура и, выхватив Марту из рук Уиттала Ринга, она отчаянным усилием, в котором преобладало скорее чувство, чем какой-то разумный мотив, попыталась прикрыть обеих девочек своей одеждой.

— Я с вами! — взволнованно шептала женщина. — Тише, дети, тише! Ваша мать здесь!

Незнакомец вел себя совсем иначе. В тот момент, когда послышался звон разбитого стекла, он бросился назад и тут же схватился с так часто упоминавшимся дикарем, который действовал как проводник дюжины жестоких и вопящих соплеменников.

— К блокгаузу! — крикнул не дрогнувший солдат, сильной рукой задерживая своего противника в тесноте узкого прохода и преградив телом врага путь шедшим вслед за ним. — Ради жизни и детей, женщина, к блокгаузу!

Пугающий призыв достиг ушей Руфи, но в этот момент крайней опасности она потеряла присутствие духа. Крик повторился, и лишь тогда обезумевшая мать оторвала свою дочь от пола. С глазами, все еще устремленными на сцену жестокой борьбы у себя за спиной, она прижала дитя к сердцу и пустилась бежать, приказав Уитталу Рингу следовать за собой. Парень повиновался, и, пока она пересекала половину двора, было видно, как незнакомец, по-прежнему удерживая дикаря как щит между собой и врагами, старается избрать то же направление. Вопли, дождь стрел и залпы мушкетов подтверждали, насколько велика опасность. Но страх придал сверхъестественную силу членам Руфи, и даже стрелы едва ли пронзали раскаленный воздух быстрее, чем она влетела в открытую дверь блокгауза. Уитталу Рингу повезло меньше. Пока он пересекал двор, неся ребенка, доверенного его заботе, стрела вонзилась ему в тело. Обожженный болью, незадачливый парень обернулся в ярости, осыпая бранью руку, которая нанесла рану.

— Вперед, глупый парень! — крикнул незнакомец, пробегая мимо него и все еще подставляя тело дикаря, извивавшегося у него в руках, как мишень для стрел. — Вперед, ради своей жизни и жизни ребенка!

Приказ прозвучал слишком поздно. Рука одного из индейцев уже схватила невинную жертву, и в

следующее мгновение ребенок болтался в воздухе, в то время как острый топор, сопровождаемый отрывистым выкриком, взлетел над его голо-вой. Выстрел из бойницы уложил чудовище на месте. Девочку мгновенно подхватила другая рука, и когда индеец со своим трофеем невредимым влетел в дом, в блокгаузе все голоса повторяли: «Миантонимо!» Два других индейца воспользовались наступившим мигом ужаса, чтобы наложить руки на раненого Уиттала и втащить его в пылающее здание. В ту же минуту незнакомец отбросил не сопротивлявшегося более дикаря навстречу оружию его сотоварищей. Индеец принял на себя удары, целью которых была жизнь солдата, а когда зашатался и упал, его могучий победитель уже исчез в блокгаузе. Дверь маленькой цитадели была мгновенно заперта, и дикари, в ярости обрушившиеся на вход, услышали, как запоры обезопасили его от их атак. Раздался сигнал к отступлению, и в следующую минуту двор остался во власти мертвых.

ГЛАВА XV

Почему же небо
Не защитило их?..
Да почиют с миром!
«Макбет»[81]

— Будем благодарны за эту милость Божию, — сказал Контент, помогая Руфи, находившейся в полуобморочном состоянии, подняться по лестнице и отдаваясь естественному чувству, вовсе не умалявшему его мужества. — Пусть мы потеряли одно дитя, которое любили, зато Господь уберег наше собственное!

Его жена без чувств бросилась в кресло и, укрыв сокровище у себя на груди, скорее прошептала, чем произнесла вслух:

— От всей души, Хиткоут, я благодарна!

— Ты заслоняешь от меня ребенка, — сказал отец, наклоняясь, чтобы скрыть слезу, скатившуюся по его загорелой щеке при попытке обнять дочку. Но, внезапно отпрянув, он встревоженно проговорил: «Руфь!»

Вздрогнув оттого, каким тоном муж произнес ее имя, мать отбросила складки своей одежды, скрывавшие девочку, и, отодвинув ее на длину вытянутой руки, увидела, что в суматохе ужасной сцены детей перепутали и что она спасла жизнь Марте!

Вопреки душевному благородству Руфи, она не смогла подавить разочарования, охватившего ее в момент осознания ошибки. Природа возобладала над всеми другими чувствами, и притом со страшной силой.

— Это не наше дитя! — вскрикнула мать, все еще держа ребенка на расстоянии вытянутых рук и пристально вглядываясь в его невинное и испуганное

лицо с выражением, которого Марта никогда прежде не видела в ее глазах, обычно таких нежных и таких всепрощающих.

— Я твоя! Я твоя! — бормотала дрожащая малышка, напрасно стараясь добраться до груди, так долго лелеявшей ее детские годы. — Если я не твоя, то чья же?

Взгляд у Руфи все еще был диким, а мышцы лица истерично дергались.

— Мадам... Миссис Хиткоут... Матушка! — Слова робко и с перерывами слетали с губ сиротки. Наконец сердце Руфи оттаяло. Она прижала дочь подруги к своей груди, и природа нашла временное облегчение в одном из тех устрашающих проявлений муки, которое как будто готово порвать узы, связывающие душу с телом.

— Подойди, дочь Джона Хардинга! — сказал Контент, оглядываясь вокруг себя с напускным спокойствием наказанного человека, в то время как естественное горе тяжко сдавливало его сердце. — То было Господне соизволение. Подобает, чтобы мы целовали его отеческую руку. Будем же благодарны, — добавил он дрожащими губами, но с твердым взглядом, — что нам была оказана хотя бы эта милость. Наше дитя у индейцев, но наши упования недосягаемы для злобы дикарей. Мы не «сложили сокровищ там, где моль и ржа могут сгноить их, и там, куда воры могут проникнуть и украсть их». Может быть, утром представится случай для переговоров и, как знать, возможность выкупа.

Такое предположение сулило проблеск надежды. Эта идея, казалось, дала новое направление мыслям Руфи и позволила долголетней привычке к самоконтролю несколько восстановить свою прежнюю власть. Источники слез высохли, и после короткой и ужасной борьбы она вновь обрела собранность. Но ни на

минуту, пока длилась эта страшная борьба, Руфь Хиткоут уже не являла собой тот необходимый образец деятельности и порядка, каким была в предшествующих событиях этой ночи.

Едва ли нужно напоминать читателю, что другие действующие лица этой сцены были слишком заняты своими заботами, чтобы заметить краткий взрыв родительской муки Контента и его жены, о котором мы только что рассказали. Судьба тех, кто находился в блокгаузе, слишком очевидно близилась к развязке, чтобы проявлять какой-то интерес к подобному эпизоду в огромной трагедии момента.

Характер сражения несколько изменился. Больше не было непосредственной опасности от стрел и пуль нападающих, зато над осажденными нависла опасность нового и даже более ужасного рода. Правда, то здесь, то там стрела, застряв, подрагивала в отверстиях амбразур, а неловкий Дадли однажды едва избежал пули, которая то ли случайно, то ли пущенная рукой более уверенной, чем обычно, скользнула в одну из узких щелей и оборвала бы историю его жизни, не будь голова, вскользь задетая ею, слишком крепкой даже для такого выстрела. Внимание гарнизона было главным образом приковано к непосредственной опасности, исходившей от пожара. Хотя вероятность той крайности, в какой ныне оказалось семейство, предвидели и в определенной степени приняли меры против нее при определении размеров и сооружении блокгауза, однако, как оказалось, масштаб опасности опрокинул все прежние расчеты.

В отношении нижнего этажа не было оснований испытывать тревогу. Он был из камня такой толщины и прочности, что можно было не считаться с любой хитростью, к которой мог прибегнуть враг. Даже два верхних этажа оставались сравнительно безопасными, будучи сделаны из таких твердых пород, что

требовалось немалое время, чтобы раскалить их, и в силу этого они были огнестойкими, насколько это вообще возможно для дерева. Но кровля, подобно большинству крыш и в современной Америке, делалась из короткой горючей сосновой дранки. Достигавшая наибольшей высоты башня служила слабой защитой. А поскольку пламя с гулом вздымалось над зданиями, выходившими на двор, и широкими вихрями крутилось вокруг пышущей жаром площади, то все хрупкое покрытие блокгауза то и дело окутывали языки огня. Результат можно было предвидеть. Контента первым отвлекли от горечи родительской скорби разнесшиеся среди членов семейства крики, что крыша их маленькой цитадели объята пламенем. Один из обычных колодцев жилища был расположен в цоколе здания, и, к счастью, заранее приняли необходимые предосторожности, чтобы его можно было использовать в случае крайней нужды, вроде того, что наступил теперь.

Надежная каменная кладка колодца поднималась сквозь нижнее жилое помещение до верхнего этажа. Пользуясь этой счастливой предусмотрительностью, помощницы Руфи усердно наполняли ведра, а молодые люди обильно поливали крышу водой из окон мансарды. Последняя обязанность, как легко угадать, выполнялась не без риска. Дождь стрел постоянно и назойливо осыпал трудившихся, и не один юноша получил более или менее тяжкие ранения. По правде говоря, было несколько минут, когда живой интерес представлял вопрос, насколько риск, которому они подвергались, увенчается успехом. Непомерный жар от столь многих очагов пожара и случайное соприкосновение с языками пламени, вихрями метавшимися то тут, то там, стали порождать сомнения, смогут ли любые усилия людей надолго остановить беду. Даже массивные и увлажненные сваи основания укреплений начали

дымиться так, что прикоснуться к ним ладонью можно было не более, чем на миг.

В этот напряженный промежуток времени всех мужчин, стоявших возле амбразур, позвали помочь гасить пламя. О сопротивлении подзабыли ради более насущной обязанности. Да и сама Руфь пробудилась благодаря новой угрозе, когда руки и мысли каждого были заняты напряженным трудом, который отвлекал внимание от событий, представлявших меньший интерес в силу того, что они меньше угрожали немедленной гибелью. Как известно, опасность перестает внушать ужас при близком соприкосновении с ней. Молодые жители пограничья в пылу усердия стали более беззаботно относиться к самим себе, а когда их усилия начали увенчиваться успехом, к ним вернулось нечто вроде легкомыслия более счастливых минут. После того как обнаружилось, что пламя подавлено и сиюминутная угроза предотвращена, брошенные украдкой любопытные взгляды обратились на место, так долго почитавшееся священным и служившее для тайных нужд Пуританина. Яркий свет проникал через несколько пробоин в дранках не хуже, чем через окна, и каждый мог своими глазами обозреть содержимое жилища, куда все жаждали, но никто когда-либо ранее не предполагал войти.

— Капитан неплохо заботится о теле, — прошептал Рейбен Ринг одному из своих товарищей, стирая следы своего труда с обожженного солнцем лица. — Ты видишь, Хирам, здесь хороший запас еды.

— Маслодельня не богаче запасами! — ответил второй с практичностью и живой наблюдательностью жителя пограничья.

— Известно, что он никогда не прикасается к тому, что дает корова, если это не прямо из-под нее, а здесь мы находим самое лучшее, что может дать молочное хозяйство мадам!

— Наверняка твоя бизонья куртка похожа на те, что носят дома праздные кавалеры! Я полагаю, немало времени утекло с тех пор, как капитан уехал из дома в таком обличье.

— Это может быть старая привычка; ты же видишь: у него остатки формы английских солдат, как этот кусок стали. Это то же самое, что его долгие проповеди насчет своей суетной молодости, когда он вспоминает времена, в которые их носили.

Это предположение, казалось, удовлетворило другого, хотя, возможно, что вид свежих запасов пищи телесной, которые вскоре после того выставили напоказ, чтобы получить доступ на крышу, мог привести к некоторым дальнейшим выводам, будь предоставлено больше времени для догадок. Но в эту минуту девушки, наполнявшие ведра внизу, снова подняли крик:

— К бойницам! К бойницам, не то мы погибли!

Такой призыв не допускал промедления. Под предводительством незнакомца молодые люди бросились вниз, где от них и вправду потребовались вся их энергия и мужество. .

У индейцев никоим образом не было недостатка в сообразительности, которая столь заметно отличает военные предприятия этой хитрой расы. Время, затраченное семейством на борьбу с огнем, нападающие зря не теряли. Воспользовавшись тем, что внимание находившихся внутри было сосредоточено на усилиях первостепенной важности, они сумели поднести пылающие головни к дверям блокгауза и нагромоздить возле них кучу горючих материалов, которые грозили вскоре открыть путь в цоколь самой цитадели. Чтобы замаскировать свой замысел и прикрыть подходы, дикарям удалось притащить связки соломы и других подобных материалов к цоколю постройки по соседству с огнем, что увеличивало

реальную опасность для здания и отвлекало внимание его защитников.

Хотя вода, лившаяся с крыши, препятствовала распространению языков пламени в этом месте, она же производила обратный эффект во всех прочих, чего больше всего и хотели дикари. Густые клубы дыма, поднимавшиеся от наполовину укрощенного огня, первыми оповестили женщин о новой грозящей опасности. Когда Контент и незнакомец достигли главного этажа своей цитадели, потребовалось немного времени и немалая доля хладнокровия, чтобы осознать ситуацию, в которой они теперь оказались. Пар, крутясь, поднимавшийся кверху от влажной соломы и сена, уже проник в жилые помещения, и те, кто занимал их, с трудом могли различать предметы и даже дышать.

— Сейчас мы должны проявить величайшую силу духа, — сказал незнакомец своему постоянному спутнику. — Следует принять меры против этой новой уловки, а не то нам суждено погибнуть в огне. Собери самых смелых из молодежи, и я поведу их к выходу, прежде чем злодеяние окажется сильнее противодействия.

— Это стало бы явной победой язычников. Ты слышишь по их воплям, что нас окружила не малочисленная шайка разведчиков. Племя послало отборных воинов свершить свое злое дело. Будет лучше, если мы как следует постараемся отогнать их от наших дверей и предотвратим дальнейшее расползание клубов дыма, ибо выйти сейчас из блокгауза означало бы подставить свои головы под томагавки, а просить пощады так же тщетно, как надеяться сдвинуть скалу слезами.

— И каким же образом можем мы выполнить эту необходимую операцию?

— Наши мушкеты все еще держат вход под прицелом через нижние бойницы, да и воду еще можно использовать через те же отверстия. Мысль о такой опасности учитывалась при обустройстве этого места.

— Что ж, с Божьей помощью! Не откладывай дела. Необходимые меры были приняты немедленно. Ибен Дадли приладил дуло своего ружья в бойнице и разрядил его вниз в сторону грозящих бедой дверей. Но было невозможно как следует прицелиться в темноте, и о его неудаче возвестил издевательский крик торжества. Следом обрушили поток воды, который, однако, преуспел не больше, так как дикари предусмотрели ее применение и приняли меры против этого, поместив над огнем доски и найденные ими сосуды, разбросанные среди построек таким образом, чтобы большая часть влаги не достигла цели.

— Подойди сюда со своим мушкетом, Рейбен Ринг, — торопливо позвал Контент. — Здесь ветер разгоняет дым, и дикари станут громоздить горючее у стены.

Житель пограничья повиновался. Действительно, в отдельные моменты можно было видеть, как темные силуэты безмолвно скользили вокруг здания, хотя густые испарения делали фигуры нечеткими, а их перемещения недостоверными. Холодным и опытным глазом юноша отыскал жертву. Но когда он разрядил свой мушкет, какой-то предмет промелькнул возле его собственного лица, словно пуля срикошетила в того, кто предназначал ей совсем другую цель. Несколько поспешно отскочив назад, он увидел незнакомца, который указывал сквозь дым на стрелу, дрожавшую в дощатом настиле над ними.

— Мы не сможем долго выдерживать эти атаки, — пробормотал солдат, — что-то надо срочно придумать, а не то мы пропадем. — Он замолчал, ибо вопль, от которого, казалось, дрогнул пол у него под ногами, возвестил, что двери проломлены и дикари проникли в

цоколь башни. Обе группы на мгновение как будто растерялись при этом неожиданном успехе, ибо, пока одна стояла, онемев от изумления и ужаса, другая вовсе не праздновала победу. Но это бездействие быстро закончилось. Сражение возобновилось, при этом усилия нападавших подкрепляла уверенность в победе, тогда как сопротивление осажденных сильно походило на решимость отчаяния.

Несколько мушкетов были разряжены, как снизу, так и сверху, по промежуточному этажу, но толщина досок не позволила пулям причинить ущерб. Затем завязалась схватка, в которой соответствующие качества бойцов проявились особенно характерным образом. В то время как индейцы увеличивали свое преимущество внизу с помощью всех уловок, известных по войнам дикарей, молодые люди сопротивлялись с тем отменным умением и проворством владения оружием, которые отличают жителей американского пограничья.

Первой попыткой нападавших было поджечь пол нижнего помещения. Чтобы осуществить это намерение, они швыряли в цоколь пучки соломы. Но, прежде чем успел заняться пожар, вода превратила горючий материал в черную, дымящуюся кучу. Однако дым почти достиг того, чего не сумело добиться пламя. В самом деле, так удушливы были облака дыма, поднимавшиеся сквозь щели, что женщинам пришлось искать укрытие в мансарде. Здесь пробоины в крыше и слабый сквозняк избавили их до некоторой степени от этой досадной напасти.

Когда индейцы обнаружили, что владение колодцем дает осажденным средство для защиты деревянных конструкций изнутри, они попытались перекрыть воду, захватив силой проход в круглую каменную шахту, через которую вода подавалась в комнаты наверху. Эта попытка потерпела неудачу благодаря расторопности

молодых людей, которые быстро проделали отверстия в полу, откуда посылали верную смерть находившимся внизу. Может быть, никакой другой момент наступления не был более упорным, чем тот, что сопровождал эту попытку, и ни атакующие, ни атакуемые по ходу нее не понесли больших потерь. После долгого и жестокого сражения сопротивление оказалось успешным, и дикари прибегли к новым планам, стремясь добиться своей безжалостной цели.

В первые минуты вторжения, рассчитывая пожать плоды победы, когда гарнизон будет подавлен более надежно, большую часть обстановки жилых помещений захватчики разбросали по склону холма. Среди прочих вещей из спален вытащили около шести или семи постелей. Теперь они были пущены в ход как мощные орудия штурма. Их поочередно бросали в еще пылавший, хотя и слабо, огонь в цоколе блокгауза, откуда они посылали вверх облако невыносимых испарений. В эту трудную минуту в блокгаузе послышался страшный крик о том, что колодец пуст! Ведра поднялись такие же порожние, какими их опустили вниз, и были отброшены в сторону как уже бесполезные. Дикари, казалось, сознавали свой перевес, ибо воспользовались смятением, возникшим среди осажденных, чтобы подпитать умирающее пламя. Огонь жадно полыхнул, и менее чем в минуту его языки стали слишком грозными, чтобы их можно было сбить. Вскоре стало видно, как они играют на досках этажом выше. Коварная стихия вспыхивала то здесь, то там, и вскоре пламя уже кралось по наружной стороне раскаленного блокгауза.

Теперь дикари знали, что захват ими здания обеспечен. Крики и вопли возвестили о свирепой радости, с которой они стали очевидцами своей неминуемой победы. Однако было нечто необычное в мертвом молчании, с которым жертвы внутри блокгауза

ожидали своей участи. Вся наружная сторона здания уже была объята пламенем, а изнутри не исходило никакого признака дальнейшего сопротивления или просьбы о пощаде. Противоестественное и пугающее молчание, царившее внутри, постепенно передалось тем, кто находился снаружи. Вопли и победные выкрики прекратились, и только треск пламени или падение балок в прилегающих зданиях нарушали страшную тишину. Наконец в блокгаузе послышался одинокий голос. Его тон был глубоким, торжественным и молитвенным. Свирепые существа, окружившие пылающие постройки, подались вперед, чтобы лучше слышать, ибо их острый слух уловил первые донесшиеся звуки. То был Марк Хиткоут, изливавший душу в молении.

Молитва была пылкой, но твердой, и хотя произносимые слова оставались непонятны находившимся снаружи, они достаточно знали обычаи колонистов, чтобы понять, что то был вождь бледнолицых, общавшийся со своим Богом. Отчасти в страхе, а отчасти в сомнении по поводу того, что могло стать следствием столь таинственного общения, смуглая толпа отошла на небольшое расстояние и молча следила за процессом разрушения. Они слыхали странные рассказы о могуществе Божества захватчиков и, поскольку их жертвы как будто неожиданно отказались от известных средств спасения, они, казалось, выжидали, а может, и на самом деле ждали какого-нибудь необычайного проявления силы Великого Духа пришельцев.

Однако какого-либо признака жалости или смягчения беспощадного варварства войны никто из нападавших не выказал. Если они вообще думали о бренной судьбе тех, кто еще мог быть жив внутри пылающих домов, то лишь с мимолетным сожалением, что упорство обороняющихся лишило их славы с

триумфом принести в свои селения привычные кровавые символы победы. Но даже эти особые и глубоко укоренившиеся чувства были забыты, когда размах пожара сделал надежду на это удовольствие вовсе несбыточной.

Кровля блокгауза снова вспыхнула, и при свете, проникавшем сквозь бойницы, было отчетливо видно, что внутренние помещения охвачены огнем. Пару раз оттуда донеслись приглушенные звуки, словно женщины исторгали подавленные крики. Но они прекратились так внезапно, что слышавшие их остались в сомнении, не был ли это всего лишь плод их собственной возбужденной фантазии.

Дикари становились свидетелями многих подобных сцен человеческих страданий, но ни одной, когда бы смерть встречали с таким бестрепетным спокойствием. Просветленность, царившая в пылающем блокгаузе, внушила им чувство благоговейного страха. И когда здание превратилось в рухнувшую и почерневшую груду развалин, они старались обходить это место, подобно людям, боящимся мести Божества, знающего, как внедрить такое глубокое чувство смирения в сердца своих приверженцев.

Хотя крики победы снова были слышны в долине той ночью и хотя солнце взошло раньше, чем победители покинули холм, немногие из дикарей решились приблизиться к тлеющей груде, возле которой они стали очевидцами столь впечатляющего проявления христианской силы духа. И те немногие, кто осмелился подойти ближе, стояли вокруг этого места скорее с уважением, с каким индеец посещает могилы почитаемых людей, нежели с чувством жестокосердной радости, какой он, как известно, упивается в своей мести павшему врагу.

ГЛАВА XVI

Кто эти
Иссохшие и дикие созданья?
Нет на земле таких, хотя на ней
Они стоят.
«Макбет»[82]

Непогода, о которой уже упоминалось на этих страницах, никогда не бывает долгой в месяце апреле. Охотники заметили перемену ветра даже прежде, чем вышли из зоны холмов, и хотя они были заняты слишком серьезным делом, чтобы обратить пристальное внимание на наступление оттепели, не один из молодых людей нашел случай заметить, что зиме по-настоящему пришел конец. Задолго до эпизода, когда предыдущая глава достигла кульминации, южные ветры смешались с жаром пожарища. Потоки теплого воздуха, сопровождавшие Гольфстрим, устремились на сушу и, проносясь над узким островом, который в этом месте образует выступающий кусок материка, всего за несколько коротких часов разрушили последние дышавшие холодом остатки владений зимы. Теплые, то ласковые, то стремительные потоки прихотливо пронизывали леса, заставляли таять снег в полях, и поскольку все одинаково ощущало благотворное влияние, оно, казалось, дарило обновленную жизнь и человеку, и зверю. Поэтому с наступлением утра долина Виш-Тон-Виш представляла собой картину, совсем не похожую на ту, что недавно предстала перед читателем. Зимы как не бывало, а когда начали набухать почки, согретые еще неустойчивым весенним теплом, человек, не осведомленный о событиях недавнего прошлого, не мог и предположить, что

приход весны был прерван столь суровым образом. Но главная и самая печальная перемена произошла в рукотворных деталях пейзажа. Вместо тех простых и дышавших счастьем жилищ, которые венчали небольшую возвышенность, осталась лишь груда почерневших и обуглившихся развалин. Немногие грубо брошенные вещи домашней обстановки были разбросаны по склонам холма, и кое-где дюжина бревен частокола случайно уцелела от огня. Десяток массивных и мрачно смотревшихся печных труб торчал из дымящихся куч. В центре развалин стоял каменный цоколь блокгауза, на котором еще держалось несколько унылых рядов бревен, похожих на уголь. В середине голая и лишенная опор шахта колодца вздымала свой круглый ствол как угрюмый памятник прошлого.

Обширные развалины наружных построек чернели по одну сторону вырубки, а заборы, расходясь радиусом от общего центра разрушения, в разных местах гнали огонь на поля. Немногочисленный домашний скот пощипывал траву в отдалении, и даже домашняя птица все еще держалась вдали, словно предупрежденная инстинктом, что опасность таится вокруг места ее прежнего обитания. Во всех других отношениях вид был мирный и прелестный, как всегда. Солнце сияло в небе, на котором не было ни облачка. Мягкий ветер и яркое небо придавали оживленный вид даже лесам без листвы. И белесые испарения продолжали подниматься от дымящихся груд высоко над холмами, будто мирный дым сельских домов над крышами.

Безжалостная банда, явившаяся причиной этой внезапной перемены, находилась уже далеко на пути к своим селениям или, возможно, искала какую-либо другую кровавую арену. Опытный глаз мог бы проследить маршрут, избранный этими жестокими обитателями лесов, по поваленным заборам или по скелету какого-нибудь животного, павшего под

смертельным ударом в угаре победы. Из всех этих диких существ осталось лишь одно, и оно, казалось, задержалось на этом месте, испытывая чувства, чуждые тем страстям, что так недавно будоражили сердца его сотоварищей.

Медленной бесшумной поступью одинокий, как бы праздный человек бродил по арене разрушения. Сперва можно было видеть, как он шагает с задумчивым видом среди развалин зданий, образовывавших четырехугольник, а затем, по-видимому, побуждаемый интересом к судьбе тех, кто погиб таким жалким образом, он подошел ближе к руинам в его центре. Самое чуткое и внимательное ухо не смогло бы уловить звука его шагов, когда индеец ступил внутрь мрачного круга обрушившейся стены, и даже дыхание ребенка не слышнее того, как дышал он, стоя на месте, так недавно освященном агонией и мученичеством христианской семьи. То был юноша по имени Миантонимо, искавший какой-нибудь печальный знак памяти о тех, с кем он так долго прожил в дружелюбии, если не в доверии.

Человек, сведущий в истории дикарских страстей, мог бы найти ключ к тому, что происходило в душе юноши, по мимике его выразительного лица. По тому, как темные блестящие глаза пробегали по тлеющим обломкам, могло показаться, что они напряженно ищут какие-нибудь останки человеческого тела. Однако стихия слишком ревностно сделала свое дело, чтобы осталось много зримых знаков ее ярости. Но один предмет, напоминающий то, что он искал, его взгляд поймал и, легким шагом подойдя к месту, где тот лежал, он поднял из углей кость сильной руки. Блеск его глаз, когда их взгляд упал на этот печальный предмет, был диким и торжествующим, подобно взгляду дикаря, когда он впервые ощущает жестокую радость упоения местью. Но одновременно пришли

более добрые воспоминания, и более нежные чувства явно заняли место ненависти, воспитанной в нем расой, которая так быстро согнала с земли его народ. Останки выпали из его ладони, и будь там Руфь, чтобы засвидетельствовать грусть и легкую тень, омрачившую его смуглые черты, она могла бы быть убежденной, что ее доброта не была напрасной.

Сожаление скоро уступило место благоговейному страху. Воображению индейца представилось, будто на этом месте послышался тихий голос, похожий на тот, что, согласно поверью, исходит из могилы. Подавшись вперед всем телом, он прислушался с напряжением и чуткостью дикаря. Ему показалось, что он слышит приглушенные интонации Марка Хиткоута, снова общающегося с Богом. Резец древнегреческого ваятеля любовно очертил бы позы и движения пораженного мальчика, когда он медленно и благоговейно отступил от этого места. Его взгляд обратился в пустоту, где прежде располагались верхние жилые помещения блокгауза и где он в последний раз видел семейство, взывающее о помощи в крайней нужде к своему Божеству. Воображение все еще рисовало жертвы в их пылающем жилище. Вероятно, ожидание некоего видения бледнолицых заставило юного индейца задержаться минутой дольше возле этого места. А затем с задумчивым видом и размягченной душой он легко зашагал вдоль тропы, которая вела по следам его народа. Когда его фигура достигла границы леса, он снова остановился и, бросив прощальный взгляд на место, где судьба сделала его свидетелем такого глубокого домашнего мира и столь многих внезапных страданий, быстро растворился во мраке родного леса.

Дело дикарей теперь казалось завершенным. Было как будто поставлено решительное препятствие дальнейшему продвижению цивилизации в злосчастную долину Виш-Тон-Виш. Если бы природе предоставили

свободу делать свое дело, за несколько лет опустевшая вырубка покрылась бы прежней растительностью, а спустя полвека все тихие просеки были бы снова погребены в тени леса. Но суждено было иное.

Солнце достигло зенита, и враждебный отряд находился в дуги несколько часов, прежде чем случилось нечто, явно означавшее вмешательство руки Провидения. Человек, знакомый с недавними ужасами, мог принять дыхание ветра над руинами за перешептывание отлетевших душ. Короче, казалось, будто безмолвие дикой природы еще раз объяло ее царство, как вдруг оно было нарушено, хотя и очень тихо. В развалинах блокгауза возникло движение. Звук был такой, словно постепенно и осторожно вынимают деревянные планки, а затем над шахтой колодца медленно и очень осторожно поднялась голова человека. Дикий и неземной вид этого воображаемого призрака соответствовал остальным деталям сцены. Лицо, выпачканное копотью и покрытое пятнами крови, голова, обернутая каким-то обрывком грязной одежды, и глаза, смотревшие с каким-то тупым ужасом, были под стать всем другим страшным приметам этого места.

— Что ты видишь? — спросил низкий голос из глубины стенок шахты. — Мы снова возьмемся за оружие или слуги Молоха[83] ушли? Говори, оцепеневший юноша! Что ты увидел?

— Вид такой, что и волка заставит плакать! — отвечал Ибен Дадли, поднимая свое крупное тело так, чтобы встать выпрямившись на стволе колодца, откуда он мог обозревать с высоты птичьего полета большую часть опустошенной долины. — Какие бы злые силы это ни были, мы не можем сказать, что не было знаков предостережения. Но что значит самый хитроумный человек, когда мудрость смертных ставят на весы

против силы демонов? Вылезайте! Велиал[84] уже сделал самое худшее, и мы можем перевести дух.

Звуки, исходившие из глубины колодца, выразили удовлетворение, с каким эта информация была воспринята, не меньше, чем живость, с которой было послушно выполнено приглашение жителя пограничья. Разрозненные планки дерева и короткие куски досок сперва осторожно передали в руки Дадли, который разбросал их, как бесполезный хлам, среди руин здания. Затем он спустился со своего насеста и расчистил место, чтобы остальные могли последовать за ним.

Первым поднялся незнакомец. Вслед за ним появились Контент, Пуританин, Рейбен Ринг и, короче, вся молодежь за исключением тех, кто, к несчастью, пал в сражении. После того, как они поднялись и все по очереди припали к земле, понадобились совсем короткие приготовления, чтобы вызволить физически более слабых. Сноровки и опыта жизни возле границы вскоре оказалось достаточно для налаживания подходящих средств. С помощью цепей и ведер Руфь и маленькая Марта, Фейс и все работницы без исключения были благополучно извлечены из недр земли и возвращены к свету дня. Вряд ли нужно говорить тем, кому опыт лучше всего позволяет судить о таком деле, что не потребовалось ни много времени, ни больших усилий для его выполнения.

В наши намерения не входит испытывать чувства читателя дольше, чем требует простой рассказ о событиях этой легенды. Поэтому мы ничего не скажем о телесной муке или о душевной тревоге, с которыми был осуществлен этот искусный исход из пламени и из-под томагавков. Страдания главным образом обусловливались страхом, ибо спуститься было легко, а расторопность и изобретательность молодых людей

позволили с помощью вещей из обстановки, заранее заброшенных в ствол колодца, и крепких обломков пола, как следует уложенных поперек, сделать положение женщин и детей менее мучительным, чем поначалу можно было предположить, и эффективно защитить их от падающих обломков. Однако последние, похоже, мало могли угрожать их безопасности, ибо корпус здания сам по себе был достаточной защитой от падения его более тяжелых частей.

Встречу семейства среди разоренной долины, пусть и облегченную сознанием, что удалось избежать более тяжкой судьбы, можно легко вообразить. Первым поступком было выразить краткое, но торжественное благодарение за свое спасение, а затем с проворством людей, поднаторелых в трудностях, их внимание было отдано тем мерам, которые, как подсказывало благоразумие, были необходимы ничуть не менее.

Нескольких более энергичных и опытных молодых людей отрядили, чтобы определить направление, взятое индейцами, и раздобыть по возможности сведения относительно их будущих передвижений. Девушки поспешили согнать коров, а другие тем временем с тяжелым сердцем рылись среди руин в поисках таких припасов и вещей, какие можно было отыскать, дабы удовлетворить первейшие потребности природы.

За два часа удалось выполнить большую часть того, что можно было сделать немедленно в этих условиях. Молодые люди вернулись, удостоверившись, что, как свидетельствовали следы, дикари ушли безусловно и окончательно. Коровы отдали свою дань, и эту провизию использовали, чтобы утолить голод, насколько позволяли обстоятельства. Оружие проверили и уложили в готовности к немедленному применению, насколько допускали полученные повреждения. Были сделаны и некоторые поспешные

приготовления, чтобы защитить женщин от холодных ветров наступающей ночи. Короче, было сделано все, что за столь короткое время могли подсказать знания жителя пограничья или его необыкновенное умение находить выход из любого положения.

Солнце начало опускаться к вершинам буков, увенчивавших западную оконечность пейзажа, прежде чем все эти необходимые приготовления были закончены. Однако еще раньше Рейбен Ринг, сопровождаемый другим юношей, столь же энергичным и смелым, появился перед Пуританином хорошо экипированным в той мере, в какой человек в их ситуации мог быть хорошо экипирован для похода через лес.

— Ступайте! — сказал старый ревнитель веры, когда юноши предстали перед ним. — Ступайте и разнесите весть об этом испытании, чтобы люди пришли к нам на помощь. Я прошу не об отмщении заблудшим и погрязшим в язычестве подражателям идолопоклонников Молоха. Они сотворили это зло по невежеству. Не позволяйте никому брать в руки оружие из-за проступков одного грешного и заблудшего. Скорее дайте им заглянуть в тайные мерзости их собственных сердец, чтобы они раздавили живого червя, который, вгрызаясь в семена целительной надежды, может погубить плоды обетования в их собственных душах. Я хочу, чтобы из этого примера Божьего нерасположения извлекли пользу. Ступайте — сделайте обход поселений миль на пятьдесят и просите тех соседей, без которых могут обойтись, прийти нам на подмогу. Им будут рады. И пусть нескоро случится, что кто-нибудь из них пришлет приглашение мне или моим людям явиться на их вырубки по подобному же печальному поводу. Отправляйтесь и помните, что вы посланцы мира; что ваше поручение касается не чувства мести, а только разумной помощи и не оружия в

руке, чтобы загнать дикарей в их убежища, — вот чего я прошу у братьев.

С этим последним напутствием молодые люди отправились в путь. Все же по их хмурым лицам и сжатым губам было видно, что некоторые заповеди всепрощения могут быть забыты, если в путешествии судьба наведет их на след какого-нибудь бродячего обитателя леса. Спустя несколько минут стало видно, как они идут быстрым шагом от полей в чащу леса вдоль тропы, которая вела к городам, лежащим ниже по реке Коннектикут.

Оставалось выполнить еще и другую задачу. Производя временное обустройство семейного пристанища, внимание первым делом уделили блокгаузу. Стены цоколя этого здания все еще держались, и оказалось нетрудно с помощью полуобгоревших бревен и случайных досок, уцелевших от пожара, покрыть его таким образом, чтобы получить временную защиту от непогоды. Эта простая и наскоро сооруженная постройка крайне безыскусного назначения, воздвигнутая вокруг остова печи, включила в себя почти все, что можно было сделать до тех пор, пока время и подмога не позволят построить другие жилые помещения. При расчистке развалин малой башни от мусора благочестиво собрали останки погибших в столкновении. Полуобгоревшее тело юноши, убитого в первые часы нападения, было найдено во дворе, а кости еще двоих, павших внутри блокгауза, были собраны среди руин. Теперь настал печальный долг предать их всех земле с подобающей торжественностью.

Для этого грустного обряда избрали время, когда западная сторона горизонта начала пламенеть тем, что один из наших американских поэтов так красиво окрестил «великолепием, что зачинает день и заключает». Солнце стояло в вершинах деревьев, и

более мягкого или нежного света нельзя было выбрать для такой церемонии. Большинство полей еще нежилось в ярком блеске этого часа, хотя лес быстро приобретал более мрачное обличье ночи. Широкая и угрюмая опушка тянулась вдоль границы леса; здесь и там одинокое дерево отбрасывало на бескрайние луга свою тень в виде темной неровной линии, четко выделяющейся под яркими солнечными лучами. Одно дерево — это было сумрачное отражение высокой и качающей ветвями сосны, которая вознесла свою темно-зеленую пирамиду никогда не опадающей кроны почти на сто футов над более скромной порослью буков — отбрасывало тень на склон возвышенности, где стоял блокгауз. Здесь остроконечные края тени медленно подкрадывались к открытой могиле как символ того забвения, которое так скоро должно было окутать ее скромных обитателей. В этом месте собрались Марк Хиткоут и его оставшиеся в живых сотоварищи. Дубовое кресло, спасенное из огня, предназначалось для отца, а две параллельные скамьи, сооруженные из досок, уложенных на камни, служили остальным членам семейства. Могила находилась посредине. Патриарх расположился на одном ее конце, а незнакомец, так часто упоминаемый на этих страницах, стоял со скрещенными руками и задумчивым видом на другом. Лошадиная уздечка, поневоле украшенная кое-как из-за скудных возможностей жителей пограничья, свешивалась с одного из полуобгоревших частоколов на заднем плане.

— Праведная, но милосердная рука тяжко легла на мой дом, — начал старый Пуританин со спокойствием человека, давно привыкшего умерять смирением свои утраты. — Тот, кто щедро дал, тот и отобрал, и Тот, кто долго с улыбкой следил за моими слабостями, ныне прикрыл лицо свое во гневе. Я познал Его власть благословлять. И надлежало, чтобы я увидел Jго

нерасположение. Сердце, которое коснело в самоуверенности, ожесточилось бы в своей гордыне. Пусть никто не ропщет по поводу того, что случилось. Пусть никто не подражает глупым речам той, что сказала: «Как! Мы обретем добро из руки Господа и не обретем зла? » Я хотел бы, чтобы слабые умом в этом мире — те, кто рискует душой ради суетности; те, кто смотрит с презрением на нужды плоти, — могли узреть сокровища Того, кто неколебим. Я хотел бы, чтобы они смогли познать утешение праведного! Пусть голос благодарения послышится в глуши дикой природы. Отверзните свои уста в хвале, дабы благодарность не пропала втуне!

Когда глубокий голос говорившего смолк, суровый взгляд упал на лицо ближайшего юноши и как будто потребовал внятного ответа на столь возвышенное выражение смирения. Но такая жертва превышала силы человека, к которому был обращен этот молчаливый, но понятный призыв. Взглянув на останки, лежавшие у его ног, бросив беглый взгляд на опустошение, пронесшееся над местом, которое его собственная рука помогала украсить, и вновь ощутив собственные телесные страдания в виде стреляющей боли своих ран, молодой житель пограничья отвел взгляд и, казалось, отверг с отвращением столь назойливо выставляемое напоказ смирение. Видя его нежелание ответить, Марк продолжал:

— Разве ничей голос не воздаст хвалу Господу? Банды язычников напали на мои стада, огонь свирепствовал в моем жилище, мои люди умерли от насилия не познавших божественного света, и здесь нет никого, кто сказал бы, что Господь справедлив! Я хочу, чтобы крики благодарения разнеслись по моим полям! Я хочу, чтобы хвалебное песнопение звучало громче, чем вопль язычника, и чтобы все вокруг было полно ликования!

Наступила долгая, глубокая и выжидающая пауза. Затем Контент ответил своим спокойным голосом в твердой, но скромной манере, которая редко ему изменяла:

— Рука, державшая весы, справедлива и нашла в нас недостаточность. Тот, кто заставил цвести дикую природу, сделал невежественных варваров орудием своей воли. Он остановил время нашего благоденствия, дабы мы вспомнили, что он — Господь. Он говорил в образе смерча, но своим милосердием даровал, чтобы наши уши узнали его голос.

Когда сын умолк, проблеск удовлетворения промелькнул на лице Пуританина. Затем его глаза вопросительно обратились на Руфь, сидевшую среди своих служанок как воплощение женской печали. Общий интерес, казалось, заставил все маленькое собрание затаить дыхание, и сочувствие было ощутимо почти так же, как и любопытство, когда каждый из присутствующих украдкой бросал взгляд на ее кроткое, но бледное лицо. Глаза матери серьезно и без слез созерцали грустное зрелище, представшее перед ними. Они бессознательно искали среди усохших и бесформенных смертных останков, что лежали у ее ног, хоть какие-то намеки на херувима, которого она потеряла. Она вздрогнула, и после внутренней борьбы ее мягкий голос прозвучал так тихо, что даже люди, находившиеся к ней ближе всех, едва смогли уловить слова:

— Господь дал, Господь и взял. Да будет благословенно его святое имя!

— Теперь я знаю, что Тот, кто поразил меня, милостив, ибо наказывает тех, кого любит, — сказал Марк Хиткоут, поднявшись с достоинством, чтобы обратиться к домочадцам. — Наша жизнь есть жизнь в гордыне. Молодым свойственно расти дерзкими, а человек в годах говорит в сердце своем: пребывать

здесь — благо. Тот, кто восседает на небеси, — страшная тайна для нас. Небо — его трон, и он сотворил землю как его подножие. Не позволяйте, чтобы тщеславие слабых разумом пыталось понять это, ибо «кто, в ком есть дыхание жизни, жил пред холмами? ». Узы воплощенного зла, Сатаны, и сынов Велиала развязаны, чтобы вера избранных могла очиститься, дабы их имена, записанные с самого сотворения Земли, могли быть прочтены письменами из чистого золота. Время человека всего лишь миг в отсчете того, чья жизнь — вечность, а Земля — временная обитель!

Кости еще вчера смелого, молодого и сильного лежат у наших ног. Никто не знает, что может принести следующий час. Это случилось в одну-единственную ночь, дети мои. Те, чьи голоса слышались в моих покоях, ныне безгласны, а те, кто так недавно радовался, пребывают в горести. Однако это вроде бы зло было наслано, дабы из него родилось добро. Мы живем в дикой и отдаленной местности, — продолжал он, незаметно позволив своим мыслям обратиться на более скорбные детали их несчастья. — Наш земной дом находится далеко. Сюда нас привел пламенеющий столп Истины, и, однако, козни преследующих нас не преминули появиться следом. Бездомный и гонимый, подобно оленю, преследуемому охотниками, снова принужден бежать. Звездный купол служит нам вместо кровли. Больше никто из нас не может медлить, чтобы втайне совершить обряд в этих стенах. Но тропа твердого в вере, хотя и полная терний, ведет к покою, и последнее упокоение праведного никогда не омрачает тревога. Тот, кто претерпел голод, жажду и страдания плоти во имя истины, знает, как вознаградить, и часы телесных мучений не будут сочтены томительными для того, чья цель — мир праведного.

Резкие черты незнакомца посуровели более обычного, и пока Пуританин продолжал, ладонь,

покоившаяся на рукояти пистолета, так сжала оружие, что пальцы словно погрузились в дерево. Однако он поклонился, как бы признавая обращенный к нему лично намек, и остался безмолвным.

— Если кто-то скорбит о смерти тех, что пожертвовали своей жизнью в сражении, как это дозволено, ради защиты жизни и жилища, — продолжил Марк Хиткоут, глядя на женщину возле себя, — пусть тот вспомнит, что его дни были сочтены от самого сотворения мира и что даже птаха не упадет вниз, если это не отвечает целям мудрости. Пусть же свершившееся напомнит нам о тщете жизни, дабы мы могли познать, как просто стать бессмертным. Если юноша оказался повержен, подобно срезанной траве, он пал от серпа Того, кто лучше знает, когда начинать сбор урожая в свои вечные житницы. Хотя душа, привязанная к его душе, как слабая женщина, жаждет опереться на силу мужчины и скорбит о его смерти, пусть ее скорбь сочетается с радостью.

Судорожное рыданье вырвалось из груди служанки, которая, как все знали, была помолвлена с одним из убитых, и это на минуту прервало речь Марка. Когда снова установилась тишина, он продолжил, а тема благодаря вполне естественной ассоциации заставила его упомянуть о своей собственной скорби:

— Смерть не миновала и моего дома. Ее стрела упала тем тяжелее, что поразила ту, которая, подобно павшим здесь, гордилась своей молодостью, а ее душа радовалась первой радостью рождения ребенка мужского пола! Ты, что восседаешь в горних высях! — добавил он, возведя потухший и без слезинки взгляд к небу. — Ты знаешь, как тяжек был этот удар, и ты предначертал борения угнетенной души. Бремя не было сочтено чересчур тяжким, чтобы его нельзя было перенести. Жертвы оказалось недостаточно. Мирское вновь обрело главенство в моем сердце. Ты даровал нам

воплощение невинности и прелести, обитающих на небесах, и ты же отобрал его, чтобы мы могли познать твое могущество. Мы склоняемся перед этим приговором. Если ты призвал наше дитя в обитель блаженства, оно целиком твое, и мы не смеем роптать. Но если ты все же оставил ее блуждать странницей по жизни, мы доверяемся твоей доброте. Она из многострадального народа, и ты не захочешь покинуть ее среди пребывающих в слепоте язычников. Она твоя, она целиком твоя, Царю Небесный! Но ты все же допустил, чтобы наши сердца томились по ней со всей силой земной любви. Мы ждем какого-нибудь дальнейшего изъявления твоей воли, дабы знать, высохнут ли источники нашей любви в уверенности, что она отмечена твоей благодатью... (жгучие слезы катились по щекам бледной и застывшей матери)... или же надежда, нет, долг перед тобой призывает вмешаться тех, кто привязан к ней узами телесной нежности. Когда самый тяжкий удар постиг разбитую душу одинокого и забытого странника в чуждой и дикой земле, он не отверг отпрыска, коего ты по воле своей даровал ему вместо той, которую призвал к себе. И теперь, когда дитя стало мужчиной, он, как некогда Авраам, тоже кладет свое любимое дитя как добровольную жертву у твоих ног. Поступай с ним, как твоей никогда не ошибающейся мудрости кажется наилучшим.

Эти слова были прерваны тяжким стоном, исторгнутым из груди Контента. Воцарилась глубокая тишина, но когда собравшиеся осмелились бросить взгляд сочувствия и благоговейного страха на осиротевшего отца, они увидели, что он поднялся на ноги и стоит, пристально глядя на говорящего, словно желая понять наравне с остальными, откуда может исходить голос такой муки. Пуританин возобновил свою речь, но его голос прерывался, и на мгновение

слушатели были подавлены зрелищем пожилого и достойного мужчины, убитого горем. Осознав свою слабость, старый человек перестал говорить в духе проповеди и обратился к молитве. Постепенно его голос снова стал чистым, твердым и внятным, и молитва завершилась среди глубокой и благочестивой умиротворенности.

После выполнения этого предварительного обряда простая церемония была доведена до конца. Останки в торжественном молчании опустили в могилу, и молодые люди быстро засыпали ее землей. Затем Марк Хиткоут громко призвал благословение Божие на своих домочадцев и, склонившись телом, как до того душою, перед волей небес, подал знак семейству уходить.

Состоявшийся вслед за тем разговор произошел над местом упокоения мертвых. Рука незнакомца твердо легла на руку Пуританина, и суровое самообладание обоих, казалось, отступило перед скорбным выражением чувства дружбы, которая прошла через такое множество испытаний.

— Ты знаешь, что я не могу задерживаться, — сказал первый из них, словно отвечая некоему высказанному желанию своего сотоварища. — Они принесли бы меня в жертву молоху своего тщеславия. И все же я хотел бы остаться до тех пор, пока не спадет бремя этого тяжкого удара. Я нашел тебя в мире и покое, а покидаю в пучине страданий!

— Ты не веришь в меня либо ты несправедлив к своей собственной вере, — прервал Пуританин с улыбкой, которая осветила его изможденное и суровое лицо, как лучи садящегося солнца освещают зимние тучи. — Разве я выглядел более счастливым, когда твоя рука вложила ладонь любимой невесты в мою, чем сейчас, когда ты видишь меня в этой глуши, бездомного, лишенного своего добра, и да простит Господь неблагодарность, но я сказал бы — почти

бездетного! Нет, право же, ты не должен мешкать, ибо кровавые псы тирании будут идти по твоему следу. Здесь для тебя больше не убежище.

Глаза обоих обратились в общем и печальном чувстве в сторону развалин блокгауза. Затем незнакомец сжал руку друга обеими своими и сказал прерывающимся голосом:

— Марк Хиткоут, прощай! Тот, кто дает кров преследуемому страннику, недолго пребудет бездомным, и покорный Господу не вечно будет сокрушаться.

Его слова прозвучали в ушах сотоварища подобно откровению пророчества. Они снова сжали руки друг друга и, обменявшись взглядами, в которых поневоле неприглядный внешний вид не смог стереть доброты, расстались. Пуританин медленно направился к безотрадному укрытию, приютившему его семейство, а что касается незнакомца, то вскоре после того можно было видеть, как он подгоняет лошадь через пастбища долины в направлении одной из самых уединенных троп этой глухой местности.

ГЛАВА XVII

Мы вместе с ним тогда в село пошли
И о былых друзьях и встречах речь вели:
Кто умер, кто уехал и о том,
Кто все еще живет, храня отцовский дом.

Дейна

Мы представляем воображению читателя заполнить промежуток в несколько лет. Прежде чем нить повествования возобновится, необходимо бросить еще один беглый взгляд на состояние местности, которая служит ареной действия нашей легенды.

Усилия жителей провинции более не ограничивались первоначальными нуждами, без которых существование колоний было бы невозможно. Установления Новой Англии прошли испытание опытом и стали постоянными. Массачусетс уже имел многочисленное население, а Коннектикут, колония, с которой мы связаны более тесно, был заселен в достаточной степени, чтобы проявилась частица той предприимчивости, что с тех пор сделала ее энергичную небольшую общину столь примечательной. Результаты этих возросших усилий становились ощутимо заметны, и мы постараемся представить одну из этих перемен настолько отчетливо, насколько позволят наши слабые силы, глазам тех, кто читает эти страницы.

Если сравнивать с развитием общества в другом полушарии, то условия того, что в Америке зовется новыми поселениями, представляются аномальными.

Там предприимчивость явилась плодом интеллекта, который накапливался в прогрессии по мере развития цивилизации, тогда как здесь усовершенствования в большой степени являются следствием опыта, приобретаемого где угодно. Настоятельная потребность, подталкиваемая пониманием, чего именно недостает, поощряемая похвальным духом соревновательности и ободряемая наличием свободы, рано породила те усовершенствования, что преобразили дикие места в очаги изобилия и безопасности с быстротой, которая выглядит чудом. Трудолюбие сочеталось с умением, и результат оказался необыкновенным.

Вряд ли стоит говорить, что в стране, где законы поощряют любую похвальную предприимчивость, где неизвестны излишне искусственные ограничения и где человеческая рука еще не истощила своих усилий, человеку предприимчивому дана величайшая свобода в выборе поля своей деятельности. Земледелец обходит болото и пустошь, чтобы обосноваться в низовьях реки; торговец ищет места спроса и предложения, а ремесленник покидает родное селение, чтобы поискать работу там, где труд найдет наиболее полное вознаграждение. Следствием этой чрезвычайной свободы выбора является то, что если широкая картина американского общества нарисована очень смело, то значительную часть конкретных деталей еще предстоит дополнить. Эмигрант преследует свои сиюминутные интересы, и, хотя ни одна из обширных и богатых территорий во всех наших необозримых владениях не оставалась в полном небрежении, в то же время ни один конкретный округ не был окончательно обустроен. И поныне можно увидеть город среди дикой природы, а дикая глушь часто соседствует с городом, тогда как последний посылает толпы своих жителей в отдаленные места на заработки. После тридцати лет

заботливой опеки со стороны правительства сама столица представляет собой разрозненные и хилые поселения в центре пустынных «старых полей» Мэриленда, в то время как бесчисленные молодые соперники расцветают на реках Запада, в местах, где бродили медведи и выли волки еще долго после того, как столица была названа городом.

Таким вот образом и получается, что высокая цивилизация в состоянии младенческого бытия и явное варварство часто тесно соприкасаются друг с другом внутри границ этой республики. Путешественник, проведший ночь в гостинице, которая не посрамила бы самую древнюю страну в Европе, бывает вынужден обедать в shanty[85] охотника. Гладкая и вымощенная дорога подчас кончается непроходимой топью, городские закоулки часто прячутся за лесными зарослями, а канал ведет к явной пустоши и необжитой горе. Тот, кто не возвращается посмотреть, что может принести следующий год, обычно выносит из этих сцен воспоминания, влекущие ошибочную оценку. Чтобы увидеть Америку в истинном свете, необходимо смотреть на нее часто, а чтобы понять настоящие условия жизни этих штатов, следует помнить, что одинаково несправедливо как верить, будто в развитии отдаленных населенных пунктов принимают участие все остальные местности, так и делать вывод о недостатке цивилизации в более отдаленных поселениях по немногим неблагоприятным фактам, добытым вблизи центра. По случайному стечению моральных и физических причин многое из той общности, которая отличает установления страны, распространяется на развитие общества по всей ее территории.

Хотя стимулы к совершенствованию во времена Марка Хиткоута были не так велики, как в наши дни, их

основа энергично себя проявляла. Мы представим достаточное свидетельство этого факта, следуя нашему намерению описать одну из тех перемен, намек на которую уже делался.

Читатель припомнит, что описываемый период относится к последней четверти семнадцатого века. Точный момент, в который должно продолжиться действие повествования, составило то время суток, когда предрассветный сумрак вырывает предметы из глубокого мрака ближе к концу ночи. Стоял июнь, и сцена, быть может, заслуживает чуть более подробного описания.

Если бы было светло и какой-нибудь человек расположился так удачно, что мог насладиться видом этого места с высоты птичьего полета, он увидел бы широкую и волнистую полосу лиственного леса, где различные деревья с опадающей листвой, характерные для Новой Англии, оттенялись более насыщенной зеленью случайных массивов вечнозеленой растительности. В центре этих разрастающихся и почти нескончаемых контуров леса лежала долина, раскинувшаяся между тремя невысокими горами. На протяжении нескольких миль равнинной местности были видны все признаки быстро растущего и процветающего поселения. Извилистое русло глубокого и пресного ручья, который в другом полушарии назвали бы рекой, обозначалось среди лугов каймой из ив и сумаха[86]. Близ центра долины путь воде преграждала небольшая запруда, а на искусственной насыпи стояла мельница, чье колесо замерло в неподвижности. Рядом располагалась одна из деревушек Новой Англии.

Деревня насчитывала что-то около сорока домов. Они, как обычно, представляли собой твердый каркас, аккуратно обшитый досками. Удивительным был одинаковый облик домов. И если бы выходец из любой

страны, кроме нашей собственной, задал вопрос, можно бы добавить, что даже самый скромный из них своим внешним видом свидетельствовал о комфорте. Большей частью они имели понизу два этажа, причем верхний нависал над нижним на один-два фута, — способ строительства, бывший весьма в ходу в ранние дни восточных колоний.

Поскольку краска мало применялась в те времена, ни одна из построек не выставляла напоказ цвета, отличного от того, который дерево обретает естественным образом после нескольких лет воздействия непогоды. Каждая имела единственный дьмоход в центре кровли, а две-три обнаруживали более одного-единственного окна с каждой стороны главной или боковой двери. Перед каждым домом был маленький чистенький дворик, выложенный дерном и отделенный от общественной дороги легким дощатым забором. Двойные ряды молодых и крепких вязов обрамляли обе стороны широкой улицы, а посреди нее огромный платан еще держался за свое место, которое он занимал, когда белый человек пришел в лес.

Под сенью этого дерева жители часто сходились, чтобы проведать о житье-бытье друг друга или узнать что-нибудь представляющее интерес, что слух донес из городов возле океана. Узкая и мало используемая колея неброским и извилистым маршрутом пересекала центр широкой и поросшей травой улицы. На вид чуть шире, чем конная тропа, она пролегала в обход деревни между высокими деревянными заборами на милю-другую до того места, где уходила в лес. Тут и там ветви роз пробивались сквозь щели в заборах перед дверями домов, а кусты благоухающей сирени росли по углам большинства дворов.

Дома стояли обособленно. Каждый занимал свой собственный изолированный участок земли с садом позади. Нежилые строения были отнесены на такое

расстояние, которое дешевизна земли и пожарная безопасность делали как легкодоступным, так и выгодным.

Церковь стояла в центре главной улицы ближе к одному концу деревни. Во внешнем облике и орнаментах обязательного храма неукоснительно следовали вкусу времени, так что его форма и простота не имели даже слабого сходства с самоуничижительными и изощренными причудами тех религиозных фанатиков, которые молились под его крышей. Здание, как и все остальные, было из дерева и снаружи в два этажа. Башня без шпиля служила единственным признаком его культового характера. В конструкции этого сооружения особую заботу уделили тому, чтобы тщательно избегать любого отклонения от прямых линий и прямых углов. Узкострельчатые проемы для Допуска света, столь обычные повсюду, суровые моралисты Новой Англии сочли бы имеющими некую таинственную связь с ярко-красным покровом. Пастору так же не могло прийти в голову явиться перед паствой, тщеславно облачась в епитрахиль и сутану, как прихожанам украсить отвратительными орнаментами облик своей суровой архитектуры. Если бы гении света вдруг заменили окна церковного здания окнами гостиницы, стоявшей как раз напротив, самый придирчивый критик селения никогда бы не смог заметить такое самоуправство, поскольку в форме, размерах и стиле обоих не было видимого различия.

Небольшое огороженное пространство неподалеку от церкви и по одной стороне улицы обустроили в стороне как место последнего упокоения тех, кто завершил свой земной путь. Однако на нем была только одинокая могила.

Гостиницу можно было отличить от окружающих строений по ее большим размерам, открытой коновязи и какому-то выпирающему виду, с которым она являла

себя на линии улицы, словно приглашая путника войти. Вывеска раскачивалась на столбе, напоминавшем виселицу и вследствие морозных ночей и теплых дней уже отклонившемся от вертикального положения. Изображение на ней на первый взгляд могло порадовать сердце натуралиста уверенностью, что он открыл какую-то неведомую птицу. Однако художник позаботился насчет последствий столь разительной ошибки, старательно написав под творением своей кисти: «Это вывеска Вип-Пур-Вилла». А даже самый безграмотный путник в тех местах наверняка знал, что так прозвали в народе Виш-Тон-Виш, или американского козодоя[87].

Но мало что осталось от леса в непосредственной близости от деревни. Деревья валили издавна, и прошло достаточное время, чтобы исчезла большая часть следов их прежнего существования. Но если отвести взгляд от скопления построек, становились очевидными признаки более недавних вторжений в дикую природу, пока обзор не заканчивался вырубками, где штабеля бревен и нагромождения срубленных деревьев говорили о недавнем применении топора.

В те давние дни американский земледелец, подобно земледельцам большинства стран Европы, проживал в своей деревне. Угроза насилия со стороны дикарей породила обычай, схожий с тем, что за столетия до того возник в другом полушарии из-за вторжений воинственных варваров и, за немногими и отдаленными исключениями, лишил картину сельской жизни очарования, которое время и совершенствование общественных условий как будто медленно возрождают. Некоторые остатки этой старинной практики все еще прослеживаются в той части Штатов, о коей мы пишем и где даже в наши дни фермер часто покидает деревню, чтобы разыскать свои разбросанные

поля по соседству. Все же, поскольку человек никогда не был здесь подчинен системе и поскольку каждый индивид всегда имел свободу сообразовываться со своим собственным нравом, более смелые духом рано начали порывать с практикой, при которой ровно столько же теряли с точки зрения удобства, сколько выигрывали в отношении безопасности. Даже в описываемой нами картине дюжина скромных жилищ была разбросана среди недавних вырубок по склонам гор и далеко не в том положении, чтобы обещать надежную безопасность от любого внезапного вторжения общего врага.

Однако для защиты всех жителей в случае крайней необходимости в удобном месте близ деревни стоял огражденный частоколом жилой дом, похожий на тот, что мы имели случай описать на предыдущих страницах. Он был укреплен сильнее и более тщательно, чем обычно; пикеты оснащены с флангов блокгаузами, и в других отношениях здание имело вид сооружения, готового к любому сопротивлению, какого могли потребовать войны тех мест. В нем располагалось обычное жилище пастора, и сюда своевременно переправили большинство больных, чтобы избежать необходимости препровождать их туда в менее благоприятный момент.

Вряд ли нужно рассказывать американцу, что тяжелые деревянные заборы делили весь этот небольшой ландшафт на участки площадью примерно по восемь — десять акров; что тут и там крупный рогатый скот и овцы паслись без пастухов или подпасков и что если ближайшие к жилью поля начали приобретать вид заботливо ухоженного хозяйства, то более отдаленные постепенно выглядели все более заброшенными и менее ухоженными, пока наполовину распаханные вырубки с почернелыми пнями и деревьями с ободранной корой не сливались с темным

массивом живого леса. Такие картины более или менее сопровождают любую сельскую сцену в округах местности, где время сделало еще только первые шаги на пути улучшений.

На расстоянии неполной полумили от укрепленного дома, или гарнизона, как благодаря своеобразному искажению термина прозвали здание, обнесенное частоколом, стояло другое здание, своими претензиями превосходившее любую постройку в деревне. Сооружения, о которых идет речь, были простыми, но просторными, и хотя вряд ли отличались от тех, что могли принадлежать сельскому хозяину в любых обстоятельствах, тем не менее в этом поселении были примечательны удобствами, какие только время могло позволить создать, при том что некоторые из них означали весьма зажиточные условия жизни для семьи пограничного жителя. Короче, атмосфера вокруг усадьбы — и расположение ее наружных построек, и их мастерская отделка, и материалы, и множество других хорошо известных обстоятельств — свидетельствовала, что вся эта совокупность зданий восстановлена заново. Поля близ этого жилья были обработаны лучше, чем более отдаленные. Заборы были легче и менее грубы; пни совершенно отсутствовали, а сады и гомстеды[88] были аккуратно обсажены цветущими фруктовыми деревьями. На недалеком расстоянии от главного здания вздымалась возвышенность конической формы. Ее покрывало то прекрасное и особое украшение американской фермы, какое представляет собой пышный и плодоносный яблоневый сад. Однако время еще не позволило предстать во всей красе насаждениям, которые насчитывали что-нибудь около восьми — десяти лет.

Почерневшая каменная башня, поддерживавшая обуглившиеся руины деревянной надстройки, сама по

себе хотя и небольшой высоты, поднималась над самым высоким из деревьев и стояла как достоверный памятник некоего эпизода насилия в краткой истории долины. Близ жилого дома располагался также маленький блокгауз, но на общем фоне царившего вокруг него запустения было совершенно очевидно, что небольшая постройка сооружалась поспешно и лишь для временного использования. Несколько недавних насаждений фруктовых деревьев виднелись и в прочих частях долины, начинавшей обнаруживать много и других свидетельств более высокого уровня земледелия.

В той мере, в какой все эти рукотворные перемены происходили, они были в английском духе. Но то была Англия, равно лишенная своей роскоши и своей бедности, а избыток земли придавал самому скромному жилью облик изобилия и комфорта, которого так часто недостает сравнительно богатым жилищам в тех местностях, где численность населения по отношению к земле гораздо выше, чем было тогда или есть даже сегодня в областях, о которых мы пишем.

ГЛАВАXVIII

Подойди поближе, сосед Уголек. Бог тебе послал добрую славу; потому чтокрасота — это дар судьбы, а грамотность — ну, это уж от природы.

«Много шума из ничего»[89]

Уже говорилось, что временем, когда должно возобновиться действие этого рассказа, было раннее утро. Прохладная ночь, обычная для местности, изрядно покрытой лесом, миновала, и тепло летнего утра на той низкой широте стало причиной испарений, которые плыли над лугами, поднимаясь выше деревьев. Перистые лоскуты соединялись, образуя облако, уплывавшее в сторону вершины далекой горы, куда,

словно к месту общей встречи, стекались все туманы, порожденные минувшими часами мрака.

Солнце еще не было видно, хотя пламенеющее небо возвещало его близкое появление. Несмотря на ранний час, какой-то человек уже поднимался по дороге вдоль небольшого склона недалеко от южного конца деревни в том месте, откуда он мог видеть все предметы, описанные в предыдущей главе. Мушкет, переброшенный через его левое плечо, рог и сумка по бокам, вместе с маленькой котомкой за спиной, выдавали в нем человека, занимавшегося либо охотой, либо кратковременными вылазками менее миролюбивого характера. Он носил одежду из обычного материала по моде сельского жителя той эпохи и той колонии, хотя короткий палаш, подвешенный к поясу-вампуму[90] вокруг его тела, не мог не привлечь внимания. Во всех прочих отношениях у него был вид деревенского жителя, которому представился случай покинуть свой дом по какому-то делу ради удовольствия или долга, не требовавших от него серьезной затраты времени.

Будь то туземец или пришелец, мало кто проходил мимо вышепоименованного холма, не остановив взгляда на мирном и привлекательном скоплении домов, которое с его вершины лежало как на ладони. Упомянутое лицо задержалось, как и все, но вместо того, чтобы проследовать по тропинке, человек скорее искал глазами некий предмет в направлении полей. Неспешно подойдя к ближайшему забору, он сбил пару верхних жердей и знаком подозвал всадника, прокладывавшего себе путь через ухабистый кусок пастбищной земли, торопясь выбраться на проезжую дорогу через проделанный проход.

— Пришпорь-ка посильнее иноходца, — сказал тот, кто оказал эту любезность, видя, что всадник медлит

гнать свою лошадь через изрытый и кочковатый участок. — Ей-богу, этой кляче хватит и трех из ее четырех ног, чтобы пробраться сюда. Фу, доктор! Да любая корова в Виш-Тон-Више перепрыгнула бы через эту изгородь, чтобы первой успеть на дойку!

— Полегче, лейтенант, — отвечал робкий всадник, делая ударение на последнем слоге звания своего собеседника и произнося первый, как если бы он выговаривался с двумя гласными вместо одной. — Твой кураж годится для человека, который спешит ради геройских подвигов, но то был бы печальный день, если больной из долины постучится в мою дверь, а сломанная конечность послужит извинением за то, что я не могу помочь. Твои старания ни к чему, дружище, ибо кобыла вышколена, как и ее хозяин. Я приучал скотину к методичным привычкам, и она приобрела укоренившуюся неприязнь ко всем отклонениям от спокойной езды. Так что перестань дергать за поводья, словно хочешь заставить ее против воли проскакать эти рытвины, и вообще сбрось верхнюю слегу.

— Врачу в этих разбитых местах следовало бы седлать одну из тех птиц, бегающих иноходью, о которых можно прочесть в книгах, — заметил второй, убирая препятствие для безопасного проезда своего друга, — ибо, по правде говоря, поездка ночью по тропам этих вырубок не всегда так же безопасна, как та, что, если верить слухам, одно удовольствие для поселенцев, живущих возле океана.

— И где же ты нашел упоминание о птице, по размеру и быстроте пригодной нести на себе человека? — спросил всадник с живостью, выдававшей некоторую ревность в отношении монополии на ученость. — Я думал, что в долине нет никаких книг, кроме как в моем шкафу, толкующих о таких чересчур заумных вещах!

— Ты думаешь, нам не знакома Библия? Вот сейчас ты на проезжей дороге, и твоей поездке ничто не угрожает. Для многих в этом поселении кажется чудом, как это ты разъезжаешь в полночь среди вывернутых корней деревьев, ям, бревен и пней, не свалившись с лошади.

— Я же тебе сказал, лейтенант, это благодаря долгой выучке лошади. Я уверен, что ни кнут, ни шпора не заставили бы животное преступить границы осторожности. Я часто ездил по этой конной тропе без всякого страха и, по правде сказать, не ожидая никакой опасности, когда и зрение и обоняние были ни к чему.

— Я хотел сказать, что упасть в твои собственные руки означало бы не намного меньший риск, чем попасть в объятия злых духов.

Медик разразился смехом в ответ на шутку своего спутника, но, вспомнив о достоинстве, подобающем человеку его призвания, тотчас же возобновил разговор со всей серьезностью:

— Такими вещами могут шутить те, кто мало знаком с трудностями, которые приходится выносить в повседневной жизни поселений. Мне приходилось взбираться на ту гору, полагаясь на инстинкт моей лошади.

— Ха! Не был ли то вызов из дома моего брата Ринга? — спросил пеший, проследив по взгляду всадника, какой путь тот проделал.

— Верно, так и есть. И, по обыкновению, в неподходящее время, что вовсе не логично по сравнению с большинством случаев в моей практике.

— Значит, Рейбен прибавляет еще одного мальчугана к четырем, которых он мог насчитать вчера?

Медик многозначительно поднял три пальца, кивнув головой в знак подтверждения.

— Это некоторым образом ставит Фейс в положение должницы, — заявил тот, кого называли лейтенантом и

кто был не кем иным, как старым знакомым читателей Ибеном Дадли, возведенным в этот чин в ополчении долины. — Сердце моего брата Рейбена возрадуется при этом известии, когда он вернется из разведки.

— Будет повод для благодарения, ибо он обнаружит семерых под кровом, где оставил только четверых!

— Я сегодня же заключу сделку с молодым капитаном насчет участка на горе! — пробормотал Дадли, как человек, неожиданно убедившийся в выгодности давно обсуждавшегося дела. — Семь фунтов колониальных монет — это не ростовщическая цена, в конце концов, за сотню акров крепко обустроенной земли. И притом как на ладони поселение, где мальчуганы появляются на свет по трое зараз!

Всадник стреножил лошадь и, глядя на своего спутника пытливо и с многозначительным видом, ответил:

— Ты сейчас напал на ключ к важной тайне, лейтенант Дадли. Сей континент был сотворен по определенному замыслу. Это очевидно из его богатств, его климата, его размеров, его возможностей навигации и главным образом из того, что он оставался неоткрытым, пока благодаря развитию общественных условий не представился случай и дерзание заслуживавшим того людям отважиться на это. Прими во внимание, сосед, удивительный прогресс, которого он уже добился в ремеслах и в науках, в доброй славе и в ресурсах, и ты согласишься со мной, что все это было сделано по замыслу.

— Было бы самонадеянно сомневаться в этом, ибо в самом деле у того короткая память, кому надо будет напоминать о времени, когда эта самая долина была всего-навсего логовом для хищных зверей, а эта проезжая дорога — оленьей тропой. Ты думаешь,

Рейбен будет рад поставить на ноги весь этот новоиспеченный дар?

— Со здравым смыслом и с благословения Провидения. Ум деятелен, лейтенант Дадли, когда тело бродит среди лесов, а я много упражнял свои мысли в этих вопросах, пока ты и прочие пребывали в своих сновидениях. Здешние колонии — в своем первом столетии, и тем не менее тебе известно, какой шаг к усовершенствованию они сделали. Мне говорят, что Хартфордское поселение[91] собираются приравнять к городам старой родины Англии, так что есть основание полагать, что может наступить день, когда провинции будут иметь силу, условия культуры и средства сообщения, равноценные тем, какими располагают некоторые части древнего острова!

— Нет, нет, доктор Эргот, — возразил второй с недоверчивой улыбкой. — Это выходит за границы разумных ожиданий.

— Не забудь, я сказал «равноценные *некоторым* частям». Я думаю, мы вправе вообразить, что спустя не слишком многие века эти места будут насчитывать миллионы там, где сегодня человек видит только туземцев и зверей.

— Я соглашусь с любым человеком в этом вопросе, насколько допускает разум. Но ты, несомненно, читал в книгах, написанных по ту сторону океана, об условиях жизни в тех странах, относительно которых ясно, что мы не можем надеяться когда-нибудь добиться высочайшего превосходства, достигнутого ими.

— Сосед Дадли, ты, кажется, готов довести непродуманное выражение до абсурда. Я сказал «равноценные *некоторым* частям», подразумевая в то же время, что и в некоторых отношениях. Ведь известно из философии, что телосложение человека изменилось к худшему и должно вырождаться в этих местах,

подчиняясь законам, установленным природой. Поэтому допустимо сделать скидку на некоторый дефицит менее материальных качеств.

— Выходит тогда, что лучший сорт людей за океаном — это те, кто не расположен покинуть свою страну, — возразил лейтенант, бросив с некоторым недоверием взгляд на мускулистые пропорции своей собственной крепкой фигуры. — У нас в поселении не меньше троих из старых стран, и, однако, я не нахоясу их людьми, похожими на тех, кого стоило бы искать для строительства Вавилонской башни.

— Это означает решать запутанный и научный вопрос на примере немногих поверхностных исключений. Смею сказать вам, лейтенант Дадли, что наука, мудрость и философия Европы исключительно активно занимались этими вещами. И они доказали, к своему собственному совершенному удовлетворению, каковое равнозначно безапелляционному решению вопроса, что человеку и зверю, растению и дереву, холму и долине, озеру и пруду, солнцу, воздуху, огню и воде — всем им недостает некоторого совершенства старых регионов. Я уважаю патриотическое чувство и готов аплодировать дарам, полученным из рук милосердного Творца так же, как любой человек. Но то, что продемонстрировано наукой или собрано путем изучения, далеко превосходит возражения легкомысленных придир, чтобы в этом сомневались люди, обладающие более серьезными знаниями.

— Я не буду оспаривать доказанных вещей, — возразил Дадли, который в споре был так же податлив, как силен и энергичен в физических схватках, — ибо так и должно быть, чтобы ученость людей в старых странах имела подавляющее превосходство в силу их большего возраста. Нам было бы что вспомнить, если бы некоторые из их редкостных преимуществ были занесены в наши собственные молодые провинции!

— А можно ли сказать, что наши умственные потребности были забыты?.. Что нагота ума была вынуждена пребывать без подобающего ей одеяния, сосед Дадли? Мне кажется, что в этом отношении мы имеем редкое основание радоваться и что равновесие природы выражается в том, как действует оздоровляющее влияние искусства. Неуместно в непросвещенной провинции настаивать на качествах, которые убедительно изобличены как ложные, но ученость — это передаваемый и перенимаемый дар, и потому уместно утверждать, что она должна быть здесь в количествах, отвечающих нуждам колонии.

— Я не стану отрицать этого, ибо, будучи больше человеком, который бродит по лесу, нежели путешествует в поисках зрелищ среди поселений вдоль берега океана, допускаю, что там можно увидеть многое, о чем мои бедные способности не сформировали никакого мнения.

— Да разве мы совсем уж непросвещенные люди даже в этой отдаленной долине, лейтенант? — возразила медицинская пиявка, свесившись через шею лошади и обращаясь к спутнику с мягкой и убеждающей интонацией, вероятно, усвоенной им благодаря обширной практике среди женщин поселения. — Разве нас можно причислить по знаниям к язычникам или посчитать людьми невежественными, о коих известно, что когда-то они пробирались через эти леса в поисках удачи! Я не претендую на безошибочность суждения или на какую-то особую осведомленность, но моему несовершенному пониманию не кажется, мастер Дадли, что прогрессу поселения всегда мешало отсутствие необходимого предвидения и что прирост благоразумия среди нас задерживался недостатком умственной пищи. Наши совещательные органы не лишены мудрости, лейтенант, и не часто случалось, чтобы в ходе

обсуждения возникали такие затруднительные для понимания вопросы, с которыми чей-нибудь ум, не скажу больше в похвалу самим себе, не мог успешно справиться.

— Что в долине есть люди, или мне, вероятно, следовало сказать, *есть такой человек,* который на равных со многими чудесами в отношении даров просвещения...

— Я знал, что мы придем к миролюбивым выводам, лейтенант Дадли, — прервал второй, выпрямляясь в седле с видом умиротворенного достоинства, — ибо я всегда считал вас осмотрительным, последовательным и рассудительным человеком, человеком, известным тем, что всегда позволяет себя убедить, если истина смыкается с пониманием. Что люди за океаном часто не так богато одарены, как некоторые, — скажем в качестве подходящего примера, как ты, лейтенант, — не подлежит обсуждению, ибо зрение учит нас, что бесчисленные исключения можно найти во всех самых общих и частных законах природы. Я полагаю, мы не склонны продолжать далее наш спор?

— Невозможно противостоять человеку, так свободно владеющему своими знаниями, — возразил тот, вполне довольный тем, что представляет в своем лице замечательное исключение среди не столь полноценных сотоварищей, — хотя мне кажется, что моего брата Ринга можно выбрать как еще один пример человека рассудительного, в чем ты, доктор, можешь убедиться, глядя, как он идет сюда через вон тот луг. Он, как и я, был в разведке в горах.

— Имеется много примеров физических достоинств среди твоих родственников, мастер Дадли, — отвечал обходительный врачеватель, — хотя может показаться, что твой брат не нашел себе товарища меж ними. Он водится с плохо воспитанным и, можно добавить, таким противным приятелем, которого я не знаю.

— Ба! Похоже, Рейбен напал на след дикарей! Он в компании человека с раскрашенным лицом и с одеялом. Будет неплохо задержаться вон на той вырубке и дождаться их прихода.

Поскольку это предложение не влекло за собой особого неудобства, доктор охотно согласился. Оба приблизились к месту, где люди, пересекавшие поля вдалеке, должны были выйти на проезжую дорогу.

Им не пришлось долго ждать. Через несколько минут Рейбен Ринг, снаряженный и вооруженный как житель пограничья, уже выведенный в этой главе, добрался до вырубки, сопровождаемый неизвестным, чей вид вызвал немалое удивление у следивших за их приближением.

— Что такое, сержант?! — воскликнул Дадли, когда тот оказался в пределах слышимости, немного тоном человека, который имеет законное право задавать вопросы. — Ты напал на след дикарей и захватил пленного? Или какой-то сыч позволил одному из своего выводка выпасть из гнезда на тропу?

— Я думаю, это создание можно считать человеком, — возразил удачливый Рейбен, оперев казенник своего ружья оземь и прислонясь к его длинному дулу, одновременно пристально разглядывая наполовину разрисованное безучастное и крайне подозрительное лицо своего пленника.

— Он раскрашен, как наррагансет, вокруг лба и глаз и, однако, сильно отличается от них фигурой и походкой.

— В физическом обличье индейца бывают аномалии, как и у других людей, — вмешался доктор Эргот, многозначительно глядя на Дадли. — Вывод нашего соседа Ринга может оказаться слишком поспешным, ибо раскраска есть плод искусства и может быть наложена на любое из наших лиц по установившемуся обычаю. Зато свидетельствам природы нельзя не доверять. В

область моих исследований входили различия в телосложении, которые встречаются в разных семействах человека, и натренированному глазу ничего не стоит признать в таких затруднительных случаях аборигена племени наррагансетов. Поставьте-ка, соседи, этого человека более удобно для обследования, и вскоре мы узнаем, к какой расе он принадлежит. Ты увидишь в этом несложном обследовании, лейтенант, ясное свидетельство большинства вещей, которые мы обсуждали сегодня утром. Говорит ли пациент по-английски?

— В том-то и загвоздка с допросом, — ответил Рейбен, или кем он теперь являлся и как его обычно называли «сержант Ринг». — Я говорил с ним на языке христианина не меньше, чем на языке язычников, и, однако, не получил никакого ответа, хотя он подчиняется приказаниям на обоих языках.

— Это не имеет значения, — заметил Эргот, слезая с лошади, подходя ближе к своему «пациенту» и бросая в сторону Дадли взгляд, который, казалось, домогался восхищения последнего. — К счастью, предмет обследования, что передо мной, мало связан со всякими тонкостями языка. Поставьте этого человека в непринужденную позу, такую, чтобы его ничто не сковывало. Форма головы в целом как у аборигенов, но межплеменное отличие не следует искать в этих общих чертах. Лоб, как видите, соседи, покатый и узкий, скулы, как обычно, выпирают, а орган обоняния, как у всех туземцев, похож на римский.

— Ну, а мне кажется, что у этого человека нос курносый, — осмелился заметить Дадли, пока доктор многословно распространялся насчет общих и хорошо известных отличительных черт физического строения индейца.

— Как исключение! Ты видишь, лейтенант, по этому выступу кости и по выпуклости более мясистых частей,

что его особенность — это исключение. Я скорее сказал бы, что нос изначально сходен с римским. Отступление от нормы вызвано какой-нибудь случайностью их войн, такой, как удар томагавком или ножевая рана... Вот! Видишь, здесь шрам, оставленный оружием! Он скрыт под краской, но удалите ее, и вы обнаружите, что он имеет все черты шрама соответствующей формы. Эти отклонения от общих признаков имеют тенденцию сбивать с толку обманщиков — само по себе счастливое обстоятельство для прогресса знания, основанного на твердых принципах. Поставьте этого субъекта прямее, чтобы мы видели природную игру мышц. Размеры ступни свидетельствуют о сильной привычке к воде, что подтверждает первоначальные концепции. Это счастливое доказательство, благодаря которому обоснованные и осторожные заключения подтверждают беглый практический осмотр. Я стою на том, что парень принадлежит к наррагансетам.

— Значит, у этого наррагансета ступня, запутывающая следы, — возразил Ибен Дадли, который изучал походку и позы пленника с такой же живостью и несколько большим пониманием, чем медицинская пиявка. — Братец Ринг, тебе приходилось когда-нибудь видеть, чтобы индеец оставлял такой отчетливый отпечаток ноги на листьях?

— Лейтенант, меня удивляет, что человек с твоей рассудительностью обращает внимание на легкое различие походки, когда представляется случай, позволяющий проследить законы природы до самых истоков. Эти постоянные тревоги из-за индейцев настроили тебя критически насчет расположения ступни. Я сказал, что парень наррагансет, и сказано это не наобум. Своеобразная форма стопы получена в детстве, полнота мышц, груди и плеч от необычных упражнений в среде более плотной, чем воздух, а более нежное строение...

Медик умолк, ибо Дадли хладнокровно подошел к пленнику и, приподняв тонкую накидку из оленьей шкуры, наброшенную на верхнюю часть его тела, выставил на обозрение кожу несомненно белого человека. Это явилось бы ошеломляющим опровержением для человека, привыкшего к столкновению умов, но монополия на некоторые ветви знания предопределила признанное превосходство доктора Эргота, которое по его воздействию можно сравнить с преобладающим влиянием любого другого превосходства на те способности, кои оно парализует, проявляя себя. Его мнение переменилось, чего нельзя сказать о выражении его лица, ибо с находчивостью, столь часто практикуемой в благословенных заведениях, упомянутых нами, когда логика не управляет практикой, а подлаживается под нее, он воскликнул, воздев руки и обратив взгляд кверху, что выражало полноту его восторга:

— Вот еще одно доказательство чудесного действия силы, посредством которой постепенно совершаются перемены в природе! В этом наррагансете мы видим…

— Этот человек — белый! — прервал его Дадли, слегка ударяя по обнаженному плечу, все еще выставленному на обозрение.

— Белый, но ни капельки не меньше и наррагансет. Ваш пленник, вне сомнения, обязан своим существованием христианским родителям, но случай рано забросил его в среду аборигенов, и все части его тела, которые подвержены изменениям, быстро стали приобретать характерные черты племени. Он одно из тех прекрасных и связующих звеньев в цепочке знания, благодаря которым наука доводит свои выводы до наглядности.

— Я вовсе не хотел совершить насилие над подданным короля, — сказал Рейбен Ринг, степенный фермер с открытым лицом, гораздо меньше

озабоченный тонкостями происхождения своего спутника, чем выполнением своего общественного долга, как подобает мирному и благополучному гражданину. — В последнее время у нас было так много тревожных известий насчет военных действий со стороны дикарей, что людям, которым это доверено, следует быть бдительными, ибо (обратив взгляд на руины блокгауза в отдалении) ты знаешь, брат Дадли, что у нас есть повод быть настороже в поселении, расположенном так глубоко в лесу, как наше.

— Я буду отвечать за безопасность, сержант Ринг, — заявил Дадли с выражением достоинства. — Я беру на себя охрану этого неизвестного и присмотрю, чтобы он надлежащим образом и в подходящее время предстал перед властями. Между тем долг заставил нас пренебречь текущими делами в твоем доме, о которых стоило бы сообщить. Твоя жена Эбанденс не пренебрегала твоими интересами, пока ты ходил в разведку.

— Как? — воскликнул с вопросительной интонацией муж, пожалуй, серьезнее, чем обычно позволял себе человек столь сдержанных привычек, как он. — Неужели жене пришлось звать соседей в мое отсутствие? — Дадли кивнул в знак подтверждения. — Значит, я найду еще одного мальчика под своей крышей?

Доктор Эргот трижды кивнул с важностью, которая была бы уместна для сообщения гораздо более весомого, чем сделанное им.

— Твоя жена редко делает доброе дело наполовину, Рейбен. Ты увидишь, что она сделала запас и для преемника нашего доброго соседа Эргота, ибо седьмой сын родился в твоем доме.

Широкое честное лицо отца вспыхнуло радостью, а затем им овладело чувство менее эгоистичное. С легкой дрожью в голосе, что было не менее трогательно со

стороны человека такого крепкого сложения и твердого поведения, он спросил:

— А жена? Как Эбанденс выдержала это благословение?

— Превосходно! — ответила медицинская пиявка. — Ступай к себе в дом, сержант Ринг, и воздай хвалу Господу, что есть кому присмотреть за ней в твое отсутствие. Тот, кому дарованы семеро сыновей за пять лет, никогда не будет бедным или нуждающимся в чужой помощи в такой стране, как эта. Семь ферм вдобавок к тому чудесному гомстеду на горе, который ты возделываешь сейчас, сделают тебя патриархом в старости и отныне сохранят имя Рингов еще на сотни лет, когда эти колонии станут многолюдными и могучими и — я это говорю смело, не заботясь, что меня могут назвать человеком, который хвастает без причины, — равными некоторым надменным и превозносящим самих себя королевствам Европы, — да, даже, вполне может быть, равными могущественному владычеству самой Португалии! Я обозначил твои будущие фермы числом семь, ибо намек лейтенанта на достоинства людей, родившихся с природной склонностью к искусству врачевания, следует принять как комплимент, поскольку это просто выдумка старух, которая была бы вовсе без надобности здесь, где любое приемлемое место такого рода уже занято. Ступай к своей жене, сер ясант, и вели ей радоваться, ибо она сослужила себе, тебе и стране добрую службу, и притом не влезая в дела, чуждые ее разумению.

Крепкий фермер, на которого пролился этот богатый дар Провидения, снял шляпу и, держа ее с достоинством перед лицом, обратил к небу молчаливую благодарственную молитву за эту милость. Затем, передоверив пленника заботе своего начальника и родственника, он вскоре уже размашисто шагал

тяжелой поступью, хотя и с легким сердцем, по полям в сторону своего жилища на горе.

Тем временем Дадли и его спутник обратили более пристальное внимание на молчаливый и почти неподвижный объект своего любопытства. Хотя пленник казался человеком среднего возраста, взгляд у него был бессмысленный, вид робкий и неуверенный, а поза подобострастная и нескладная. По всем этим чертам было видно, насколько он отличается от знакомого обличья туземного воина. Прежде чем распрощаться, Рейбен Ринг объяснил, что этот бродяга встретился ему, когда он прочесывал лес по долгу бдительности, чего потребовали положение колонии и кое-какие недавние признаки, и счел необходимым задержать того ради безопасности поселения. Неизвестный не искал, но и не избегал своего захватчика, однако на вопросы насчет своего племени, мотивов блуждания по этим холмам и дальнейших намерений из него не удалось вытянуть никакого удовлетворительного ответа. Он разговаривал с трудом, и то немногое, что сказал, было произнесено на жаргоне из языка допрашивавшего его и диалекта какой-то варварской нации. Хотя многое в положении колоний в данное время и в обстоятельствах, при которых этот бродяга был застигнут, оправдывало его задержание, по правде говоря, немногое удалось раскрыть, что дало бы ключ к каким-либо фактам его личной жизни или в отношении неких целей его пребывания в непосредственной близости от деревни.

Руководствуясь только этой скудной информацией, Дадли и его спутник, двигаясь в сторону деревни, старались выманить из своего пленника какое-нибудь признание относительно его цели, задавая вопросы с сообразительностью, не чуждой людям в запутанных и затруднительных ситуациях, когда необходимость и опасность способны напрячь всю природную энергию

человеческого ума. Ответы были бессвязными и невразумительными, подчас как будто представляя собой самые тонкие уловки дикарской хитрости, а в других случаях, казалось бы, выражая умственную беспомощность на уровне самого жалкого слабоумия.

ГЛАВА XIX

Я женских слез чужда, мои синьоры.
Увы, без их живительной росы,
Боюсь, увянет ваше милосердье,
А горе будет жечь меня сильней.
«Зимняя сказка»[92]

Если бы перо, которое держит в руках автор, обладало техническими возможностями театральной сцены, было бы легко сменять эпизоды этой легенды так быстро и убедительно, как это требуется для ее правильного восприятия и для поддержания надлежащего интереса к ней. То, чего нельзя сделать с магической помощью машинерии, того следует попытаться добиться менее амбициозными и, боимся, гораздо менее действенными средствами.

В тот же ранний час дня и на небольшом расстоянии от места, где Дадли поведал своему брату Рингу о его счастливой судьбе, произошла еще одна утренняя встреча между лицами той же крови и родственных связей. С той самой минуты, как небо впервые окрасилось бледным светом, предшествующим наступлению дня, распахнулись окна и двери большого дома на противоположной стороне долины. Прежде чем лучи солнца позолотили небо над очертаниями лесного массива на востоке, этому примеру трудолюбия и хозяйственности последовали обитатели каждого дома в деревне и на окружающих холмах. И к тому времени, когда сам золотой шар стал виден над деревьями, во всем поселении не нашлось ни одного человеческого существа подходящего возраста и здоровья, которое не было бы на ногах и в хлопотах.

Излишне говорить, что особо упомянутый дом в данное время служил жильем семейству Марка Хиткоута. Хотя возраст подточил фундамент и почти осушил источники его жизненных сил, почтенный и истовый приверженец веры все еще был жив. В то время как его физическое совершенство постепенно отступало перед обычным разрушительным действием природы, его нравственный облик изменился мало. Возможно даже, что картины будущего в его воображении стали меньше окутываться пеленой плотских интересов, чем когда мы встретились с ним в последний раз, и что его дух обрел некоторое количество энергии, решительно отвоеванной у телесной части его существа. В уже названный час Пуританин сидел на веранде, тянувшейся вдоль всего фасада дома, которому, возможно, недоставало архитектурных пропорций, зато не было недостатка в более существенных удобствах просторной и уютной пограничной резиденции. Чтобы получить достоверный портрет персонажа, столь тесно связанного с нашим рассказом, читателю следует вообразить себе человека, отсчитавшего пять десятков лет, с лицом, на котором глубокая и постоянная работа ума запечатлела множество угрожающих борозд; с дрожащим телом, хотя еще видны следы некогда сильных конечностей и гибких мускулов; с выражением, носившим благодаря аскетическим размышлениям отпечаток суровости, лишь слегка смягчавшейся проблесками природной доброты, которую ни приобретенная привычка, ни какие-либо следы метафизической мысли не смогли полностью стереть.

На эту картину почтенного и умерщвляющего собственную плоть возраста теперь ласково падали первые лучи солнца, освещая потускневшие глаза и изборожденное морщинами лицо с выражением бодрости и покоя. Быть может, безмятежность

выражения следовало отнести столько же на счет времени года и часа дня, сколько и на счет присущего этому человеку характера. Эту кротость черт, необычную скорее своей выразительностью, чем наличием, только усиливал тот факт, что его душа как раз творила молитву, как было принято в кругу его детей и домашних, прежде чем они покидали эти отдаленные части здания, где находили отдохновение и безопасность в ночные часы. Из уже знакомых читателю и привечаемых в семейном кругу присутствовали все, а обильная провизия, приготовленная для утренней трапезы, убедительно доказывала, что их число ни в коей мере не убавилось с тех пор, как читатель познакомился с домашним укладом этого дома.

Время не произвело слишком разительных перемен в облике Контента. Правда, цвет его лица стал еще более смуглым, а тело начало несколько терять свою гибкость и непринужденность движений, обретя степенность, присущую среднему возрасту. Но управляемый темперамент человека всегда держал животное начало в более чем привычной покорности. Даже в свои более ранние дни он скорее обещал проявить, чем обнаруживал на деле обыкновенные черты юношеского возраста. Серьезный настрой души уже давно определил соответствующий физический склад. Имея в виду его внешность и пользуясь языком живописца, можно сказать, что, не произведя никаких перемен в облике и пропорциях, время смягчило краски, если немного седых волос серебрилось здесь и там вокруг его чела, это было похоже на то, как мох скапливается на камнях здания, свидетельствуя скорее о его возросшей устойчивости и испытанной прочности, чем указывая на какие-то симптомы разрушения.

Не так обстояло дело с его милой и преданной половиной. Та мягкость и миловидность, которые некогда тронули сердце Контента, были все еще видны,

хотя сопровождались следами постоянного и разъедающего горя. Свежесть молодости исчезла, а ей на смену пришла более устойчивая и, в ее случае, более трогательная красота выражения. Взгляд Руфи нисколько не утратил своей мягкости, а ее улыбка все еще оставалась сердечной и привлекательной, но этот взгляд часто бывал страдающе-безучастным, как бы устремленным внутрь — на те тайные и иссушающие источники печали, которые глубоко и почти непостижимо укоренились в ее сердце, тогда как улыбка напоминала холодный блеск той планеты, что освещает предметы, отбрасывая заимствованное сияние от своего собственного лона. Однако величавость матроны, женственная лучистость черт лица и мелодичный голос сохранились. Но первая была подорвана до такой степени, что находилась на грани преждевременного увядания; ко второй в ее самых благожелательных проявлениях примешивалась беспокойная озабоченность; а последний редко обходился без того испуганного дрожания, которое так глубоко затрагивает чувства, позволяя понять смысл, не передаваемый словесно.

И все же беспристрастный и заурядный наблюдатель не мог бы не заметить в поблекшей миловидности и увядающей зрелости матроны нечто большее, нежели каждодневные признаки, выдающие поворот в течении жизни человека. Как подобает такой личности, оттенок печали был нанесен рукой слишком деликатной, чтобы его мог заметить любой вульгарный взгляд. Подобно мазку мастера в искусстве, ее горе не нуждалось в сочувствии и было недоступно восприятию тех, кого неспособно взволновать мастерство или в ком равнодушие убивает чувства. Однако она питала искреннюю привязанность ко всем, кто мог хоть как-то притязать на ее любовь. Преобладание опустошающего горя над более жизнелюбивыми источниками ее

радостей лишь доказывало, насколько сильнее влияние великодушных, нежели эгоистических черт нашей природы в сердце, которое по-настоящему наделено нежностью. Вряд ли нужно говорить, что эта добрая и верная женщина скорбела о своем ребенке.

Знай Руфь Хиткоут, что ее девочки нет в живых, ей с ее верой было бы нетрудно положить свою скорбь на алтарь надежд, вполне правомерных над могилой невинного ребенка. Но мысли о том, что ее дитя могло быть осуждено на смерть заживо, редко покидали ее. Она вслушивалась в сентенции о смирении, стекавшие с губ, которые она любила, с преданностью женщины и кротостью христианки, но потом, даже если уроки святости еще звучали в ее внимающей душе, действие непобедимой природы снова возвращало ее к материнскому горю.

Воображение этой преданной и женственной натуры никогда не обладало чрезмерной властью над ее разумом. Ее представление о счастье с человеком, которому она, и по своему разумению, и по своим склонностям, доверяла, подтверждалось и жизненным опытом, и религией. Но теперь ей было суждено узнать, что в скорби есть устрашающая поэзия, способная с изяществом и силой воображения нарисовать такое, с чем никогда не сравняться более жалким усилиям подогретой фантазии. Она слышала нежное дыхание своего витающего в сновидениях ребенка в шепоте летнего ветерка; его плач достигал ее ушей среди завываний бури, в то время как нетерпеливый вопрос и ласковый ответ вторгались в самые обыденные разговоры домашних.

Для нее счастливый детский смех, часто доносившийся из деревни в тихом вечернем воздухе, звучал подобно рыданию, и редко игры детей, привлекавшие ее взгляд, не доставляли ей мучительных страданий. Дважды со времени событий,

связанных с вторжением, она становилась матерью, и, словно вечному недугу было предназначено разрушать ее надежды, крошечные создания, которым она дала жизнь, спали бок о бок вблизи от цоколя разрушенного блокгауза. Она часто приходила сюда, но это было скорее жертвоприношение жестоким образам ее воображения, чем скорбь. Посещавшие ее видения смерти были мирными и даже утешительными, но если иногда ее мысли возносились к обители вечного покоя, а ее слабая фантазия пыталась представить во плоти образ благословенного ребенка, ее умственный взор чаще искал ту, которой не было, чем тех, чью жизнь считали счастливой и безопасной. Какими бы изнурительными и обманчивыми ни были эти мимолетные образы, существовали и другие, гораздо более мучительные, потому что их возникновение было связано со многими грубыми и конкретными картинами этого мира. По общему, а может быть, и самому искреннему убеждению жителей долины, смерть своевременно оборвала судьбу тех, кто попал в руки Дикарей в момент вторжения.

Такой итог отвечал известной практике и беспощадным страстям победителей, которые редко сохраняли жизнь захваченным в плен, разве только чтобы сделать месть более жестоко утонченной или утешить какую-нибудь мать из своего племени, потерявшую близкого человека, предлагая замену погибшему в лице пленника. То было облегчением — рисовать лицо смеющегося херувима в облаках или прислушиваться к ее легким шагам в пустых помещениях дома, ибо в этих иллюзорных, возникающих в мозгу образах страдание исходило из ее собственной груди. Но когда суровая действительность заступала место фантазии и дочь виделась ей живой, дрожащей от порывов зимнего ветра или изнывающей от жестокой жары, унылой в безотрадности женского

рабства и смиренно терпящей жребий физически слабого под властью хозяина-дикаря, она испытывала ту муку, что постепенно опустошает родники жизни.

Хотя и отец не был избавлен от подобной скорби, она овладевала им не с таким постоянством. Он знал, как надлежит мужчине бороться с душевными потрясениями. Пребывая под сильным впечатлением уверенности, что пленникам недолго довелось мучиться, он не пренебрегал никакими обязанностями, которых могли потребовать от него нежность к своей страдающей половине, родительская любовь или долг христианина.

Индейцы ретировались по корке снега, а с оттепелью исчезли всякие отпечатки следов или признаки, по которым можно было выследить таких осторожных врагов. Оставалось сомнительным, к какому племени или даже к какому народу принадлежали мародеры. Мирная жизнь колонии, однако, не была открыто нарушена, и нападение явилось скорее жестоким симптомом насилия со стороны злых сил, которого ожидали, чем настоящим началом беспощадных враждебных действий, с тех пор разорявших жителей пограничья. Но в то время как к политике колонисты оставались равнодушными, личные переживания не позволяли пренебречь ни одним разумным средством, чтобы вернуть мучеников в том случае, если их пощадили.

Разведчики шныряли среди союзнических и наполовину умиротворенных племен, ближайших к поселению, одинаково щедро пуская в ход вознаграждение и угрозы, чтобы установить принадлежность дикарей, опустошивших долину, как и наиболее существенные перипетии судьбы их несчастных жертв. Но все попытки выяснить истину потерпели неудачу. Наррагансеты утверждали, что это их постоянные враги могикане, действуя со

свойственным им вероломством, ограбили своих английских друзей, тогда как могикане яростно бросали такое же обвинение в адрес наррагансетов. В других случаях некоторые индейцы пытались делать смутные намеки на враждебные чувства жестоких воинов, которые, как было известно, под именем Пяти народов обитали в пределах границ голландской колонии Новые Нидерланды[93], и упирали на зависть бледнолицых, говорящих на языке, отличном от языка янки. Короче, расспросы не дали никакого результата, и Контент, представляя в воображении свою дочь все еще живой, был принужден допустить для самого себя вероятность того, что она может быть погребена далеко в океане диких лесов, которые тогда покрывали большую часть этого континента.

Правда, однажды семейства достиг слух волнующего характера. Какой-то бродячий торговец, направлявшийся из дебрей внутренних районов на рынок океанского побережья, забрел в долину. Он принес с собой известие, будто ребенок, предположительно похожий на пропавшую девочку, живет среди дикарей на берегах малых озер соседней колонии. Расстояние до этого места было велико, тропа вела через тысячи опасностей, а результат был далеко не определенный. Однако это оживило долго спавшие надежды. Руфь никогда не выдвигала требований, которые могли повлечь серьезный риск для ее мужа, и многие месяцы последний даже не заговаривал на эту тему. И все же природа мощно работала внутри него. Его взгляд, всегда осмысленный и спокойный, становился все более задумчивым, на его лбу собирались все более глубокие линии от забот, и, наконец, печаль завладела лицом, обычно таким безмятежным.

Как раз в это самое время Ибен Дадли надумал настаивать на решительном и благосклонном ответе со стороны Фейс, которого он всегда добивался на свой неуклюжий лад. Один из удачно предопределенных случаев, время от времени сводивших девушку и молодого жителя пограничья в беседах наедине, позволил ему достаточно четко осуществить свой план. Фейс выслушала его, не проявляя своего обычного непостоянства, и отвечала почти без уклончивости, как предмет разговора, казалось, того требовал,

— Это хорошо, Ибен Дадли, — сказала она, — и это не больше того, что честная девушка имеет право выслушать от человека, который приложил так много усилий, как ты, чтобы добиться ее расположения. Но тот, кому я взбаламучу жизнь, Должен исполнить торжественный обет, прежде чем я прислушаюсь к его пожеланиям!

— Я бывал в городах понизу и изучил их образ жизни, и я побывал в разведчиках колонии, чтобы удерживать индейцев в их вигвамах, — возразил соискатель руки, стремясь напомнить о мужественных поступках, которых можно было обоснованно ожидать от человека, готового отважиться на столь рискованный эксперимент, как женитьба. — Сделка с молодым капитаном насчет участка на холме и гомстеда в деревне вот-вот будет заключена, и поскольку соседи не пойдут на попятный насчет договоренности помочь в закладке или возведении дома, я не вижу ничего, что…

— Ты ошибаешься, наблюдательный Дадли, — прервала девушка, — если думаешь, что твои глаза способны увидеть то, что следует найти, прежде чем наши судьбы соединятся. Ты заметил, Ибен, как побледнели щеки госпожи и как потух ее взгляд с тех пор, как торговец пушниной с неделю пережидал у нас бурю?

— Не могу сказать, чтобы на моей памяти многое изменилось в облике госпожи, — отвечал Дадли, который никогда не отличался мелочной наблюдательностью такого рода, однако доказал остроту своего зрения в отношении предметов, более тесно связанных с его повседневными занятиями. — Она не такая молодая и цветущая, как ты, Фейс; к тому же мы нечасто видим…

— Говорю же тебе, парень, что скорбь владеет ее телом и что она живет только воспоминаниями о пропавшем ребенке!

— Это выводит скорбь за пределы разумного. Дитя упокоилось с миром, как и твой брат Уиттал, вне всяких сомнений. А что мы не нашли их костей, то из-за пожара мало что осталось, так что и говорить не о чем.

— Твоя голова вроде могильного склепа, бестолковый Дадли. Но меня не устраивает то, что внутри него. Человек, который станет моим мужем, должен сочувствовать материнским горестям!

— Что у тебя на уме, Фейс? Разве я могу оживить покойника или вернуть ребенка, пропавшего столько лет тому назад, снова в объятия его родителей?

— Да, можешь! Нет, не раскрывай глаза, словно свет впервые пробился сквозь тьму затянутых тучами мозгов! Повторяю, ты можешь!

— Я рад, что мы наконец высказались открыто, ибо слишком много моей жизни уже растрачено на бестолковые ухаживания, хотя здравая мудрость и пример всех вокруг меня показали, что для того, чтобы стать отцом семейства и чтобы тебя сочли настоящим поселенцем, мне следовало разобраться и жениться несколько лет назад. Я хочу сделать все по-честному, и, давая тебе основания думать, что может наступить день, когда мы станем жить вместе, как положено людям нашего сословия, я посчитал своим долгом просить тебя разделить мою судьбу. Но теперь, раз ты

имеешь в виду вещи невозможные, нужно искать в другом месте.

— Ты всегда так поступал, когда между нами устанавливалось хорошее взаимопонимание. Ты вечно чем-то недоволен, и тогда упреки сыплются на того, кто редко делает что-то такое, что в самом деле может тебя обидеть. Что за безумие думать, будто я требую невозможного! Разумеется, Дадли, может, ты и не замечаешь, как натура госпожи уступает иссушающему жару скорби. Ты не способен вглядеться в муки женщины, а не то ты бы более чутко прислушался к плану отправиться на некоторое время в леса, чтобы выяснить, не ее ли дочь, пропавшая из нашего дома, то дитя, о котором говорил торговец, или это неизвестно чей ребенок!

Фейс говорила не только с досадой, но и с чувством. Ее темные глаза утонули в слезах, а окраска загорелых щек усилилась, что послужило *для* ее приятеля поводом забыть свою досаду во имя сочувствия, которое, каким бы приглушенным оно ни было, все же полностью не пропадало.

— Если поездка в несколько сотен миль — это все, о чем ты просишь, милая, почему не сказать об этом прямо? — заметил он добродушно. — Достаточно было доброго слова, чтобы подбить меня на такую попытку. Мы поженимся в воскресенье, и если будет угодно небу, в среду или самое позднее в субботу я уже буду на тропе торговца с Запада.

— Незачем откладывать. Ты должен отправиться вместе с солнцем. Чем энергичнее ты окажешься в поездке, тем скорее заставишь меня раскаиваться в глупом поступке.

Однако удалось убедить Фейс немного смягчить свою суровость. Они поженились в воскресенье, а на следующий день Контент и Дадли покинули долину ради поисков далекого племени, к которому, как

говорили, был таким насильственным образом привит побег от другого ствола.

Нет нужды останавливаться на опасностях и лишениях подобной экспедиции. Пришлось пересечь Гудзон, Делавэр и Саскуэханну — реки, которые жители Новой Англии больше знали по рассказам, и после мучительного и рискованного путешествия отважные путники добрались до первого из той группы малых внутренних озер, чьи берега ныне так дивно украсили селения и фермы. Здесь, в гуще диких племен, подвергаясь какой угодно опасности в поле и на реке, поддерживаемый лишь своими надеждами и присутствием отважного спутника, которого тяготам или опасности нелегко было согнуть, отец прилежно искал свое дитя.

Наконец был найден народ, удерживавший пленницу, отвечавшую описанию торговца. Мы не будем останавливаться на том, с какими чувствами Контент приближался к деревне, где содержался этот маленький потомок белой расы. Отец не скрывал своей цели, и то, в каком качестве он пришел, снискало жалость и уважение даже среди этих варварских обитателей дикой природы. Собрание вождей приняло его на краю своей вырубки. Его препроводили в вигвам, где был зажжен костер Совета, и толмач открыл беседу, назвав сумму предлагаемого выкупа и изложив слушателям самым торжественным образом заверения в мире, с которым явились пришельцы. Американским дикарям не свойственно легко выпускать из рук человека, ставшего одним из их племени. Но смиренный вид и благородная откровенность Контента затронули скрытые качества этих великодушных, хотя и жестоких, сыновей лесов. Послали за девочкой, дабы она предстала в присутствии старейшин народа.

Никакой язык не может выразить чувство, с которым Контент первым взглянул на эту приемную дочь

дикарей. Возраст и пол соответствовали ожиданиям, но вместо золотистых волос и голубых глаз утраченного им херувима явилась девочка, в чьих черных как смоль косах и таких же глазах ему было легче проследить потомка французов из Канады, чем отпрыска его собственной англосаксонской родословной. Отец не был слишком сообразительным в делах обыденной жизни, но сейчас природа заговорила в нем во весь голос. Не потребовалось повторного взгляда, чтобы увидеть, как жестоко обмануты его надежды. Приглушенный стон вырвался из его груди, а затем самообладание вернулось к нему вместе с впечатляющим величием христианского смирения. Он встал и, поблагодарив вождей за их снисходительность, не стал делать тайны из ошибки, увлекшей его так далеко ради бесплодного дела. Пока он говорил, знаки и жесты Дадли дали ему основание подумать, что спутник хочет сообщить нечто важное.

В разговоре с глазу на глаз последний подсказал средство скрыть правду и спасти ребенка, которого они обнаружили, из рук его хозяев-варваров. Теперь было уже слишком поздно прибегнуть к обману во имя этой цели, если бы суровые принципы Контента допускали такую уловку. Но перенеся хотя бы часть заинтересованности в судьбе своего собственного отпрыска на чувства неизвестного родителя, подобно ему самому, вероятнее всего, скорбящего о неведомой участи девочки, стоявшей перед ним, он предложил выкуп, предназначенный для маленькой Руфи, в пользу пленницы. Выкуп был отвергнут. Обманувшись в своих обеих целях, искатели приключений были вынуждены покинуть деревню с усталостью в ногах и с еще большей тяжестью на сердце.

Если кто-нибудь, прочитавший эти страницы, испытывал когда-либо муки неизвестности в делах, затрагивающих лучшие человеческие чувства, тот

знает, как оценить страдания матери в течение того месяца, когда ее муж отсутствовал во имя своей святой миссии. По временам в ее груди загоралась надежда и отблеск радости снова окрашивал ее щеки и играл в ее глазах. Первая неделя после отъезда была почти счастливой. Опасности путешествия были почти забыты в предвкушении результатов, и хотя мимолетные опасения ускоряли биение пульса той, чей организм с таким страхом реагировал на душевные переживания, в ее предчувствиях преобладала надежда. Она снова расхаживала среди работниц с выражением, в котором радость боролась со смирением подавляемых привычек, а ее улыбки опять стали лучиться обновленным счастьем. До самого дня своей смерти старый Марк Хиткоут не мог забыть внезапное чувство, вызванное мягким смехом невестки, который по какому-то неожиданному поводу донесся до его ушей. Хотя прошли годы между моментом, когда он слышал этот непривычный звук, и временем, до которого добралось ныне наше повествование, он никогда не слыхал, чтобы тот повторился. Желая усилить чувства, преобладавшие теперь в душе Руфи, и находясь на расстоянии одного дня пути от деревни, в которую направлялся, Контент нашел средства послать весточку о своих перспективах на успех. И вот ожившие ожидания должно было обдать холодом разочарования, а вновь пробудившиеся чувства были обречены увянуть под губительным воздействием самого жестокого из всех ударов — сокрушенной надежды.

Солнце почти село, когда Контент и Дадли, возвращаясь в Долину, добрались до безлюдной вырубки. Их путь лежал через это открытое пространство на склоне горы, где было одно место среди кустарника, откуда можно было отчетливо разглядеть постройки, уже поднявшиеся из пепла пожарища. До сих пор муж и отец считал себя готовым

на любые усилия, которых Долг мог потребовать для выполнения этого скорбного поручения. Но здесь он остановился и высказал своему спутнику желание, чтобы тот опередил его и объяснил суть иллюзии, забросившей их в такую даль ради бесплодной миссии. Возможно, Контент сам не сознавал всего того, чего хотел, или каким неловким рукам он доверяет более чем деликатное поручение. Просто он ощущал себя неспособным на это и безвольно, что может найти какое-то оправдание в его чувствах, смотрел, как его спутник отправился дальше, не получив четких указаний и фактически полагаясь только на себя.

Хотя Фейс не выказывала явного беспокойства за время отсутствия путешественников, ее острый глаз первым заметил фигуру мужа, шагавшего походкой усталого человека по полям в направлении жилья. Задолго до того, как Дадли добрался до дома, все его обитатели собрались на веранде. То не была встреча с выражением бурного восторга или шумных приветствий. Отважный путник приблизился среди такого подавленного молчания, что оно совершенно расстроило разработанный им план, с помощью которого он надеялся объявить свои известия подходящим к случаю образом. Его рука уже лежала на калитке малого двора, а никто так и не заговорил. Его нога уже ступила на нижнюю ступеньку, а ни один голос еще не сказал ему «Добро пожаловать». Взгляды маленькой группы были скорее устремлены на фигуру Руфи, чем на личность приближавшегося. Ее лицо было бледным как смерть, ее глаза сузились, но были полны душевного усилия, поддерживавшего ее, а ее губы слегка дрожали, когда, повинуясь чувству еще более сильному, чем то, что так долго тяготило ее, она воскликнула:

— Ибен Дадли, где ты оставил моего мужа?!

— У молодого капитана устали ноги, и он задержался на втором подъеме холма, но такой бывалый ходок не может далеко отстать. Скоро мы его увидим на вырубке возле засохшего бука. И оттуда я передаю привет мадам…

— Такая заботливость Хиткоута похожа на его обычную манеру проявлять чуткость из лучших побуждений, — заметила Руфь, по лицу которой пробежала такая лучистая улыбка, что оно обрело выражение особой благожелательности, приписываемой ангелам. — Все же это лишнее, ибо он должен бы знать, что наша сила зиждется на Скале Вечности. Скажи мне, как мое дорогое дитя перенесло крайнюю утомительность твоего запутанного пути?

Блуждающий взгляд вестника переходил с лица на лицо, пока его глаза не уперлись пристальным бессмысленным взором в черты собственной жены.

— Нет, Фейс держалась молодцом и как моя помощница, и как твоя половина, и, видишь, ее миловидность нисколько не пострадала. Не спотыкалась ли деточка от усталости в этой утомительной дороге и не задерживала ли тебя своими капризами? Но я знаю твой характер, парень. Ты нес ее на своих сильных руках много длинных миль по склону горы и предательской трясине. Ты не отвечаешь, Дадли! — воскликнула Руфь встревоженно, твердо положив руку на плечо того, кого она вопрошала, и, принудив его, наполовину отвернувшего лицо, встретиться с ее взглядом, она словно прочитала в его душе.

Мышцы обожженного солнцем мужественного лица жителя пограничья непроизвольно подергивались, его широкая грудь напряглась до предела, крупные обжигающие капли скатывались по его темным щекам, и тогда, взяв руку Руфи одной из своих крепких ладоней, он заставил ее высвободить плечо, проявив

твердую, но уважительную силу. И, бесцеремонно оттолкнув свою жену, прошел сквозь круг людей и вошел в дом шагом великана.

Голова Руфи упала на грудь, бледность снова покрыла ее щеки, и в тот момент можно было впервые увидеть обращенный в себя взгляд, который после этого стал постоянным и исполненным муки выражением ее лица. С этого часа и до поры, когда семейство из Виш-Тон-Виша снова непосредственно предстанет перед читателем, не доходило больше никаких слухов, способных умерить или усугубить опустошающую скорбь ее сердца.

ГЛАВА XX

Но он ведь не пробовал меда, что мы извлекаем из книг. Он, смею так выразиться, не ел бумаги и не пил чернил, так что ум его не получил пищи. Он вроде животного, у которого восприимчивостью обладают только самые грубые органы.

«Бесплодные усилия любви»[94]

— Вот идет Фейс с вестями из деревни, — заметил муж женщины, характер которой мы так слабо набросали, заняв свое место на веранде в ранний час среди уже упомянутой группы. — Лейтенант пробыл вне дома на холмах всю ночь напролет с отобранной частью наших людей, и, возможно, ее послали сообщить, что удалось выяснить касательно неизвестного следа.

— Тяжело передвигающий ноги Дадли еле добрался до гребня холма, где, согласно донесению, видели отпечатки мокасин, — подал голос юноша, весь облик которого свидетельствовал об энергичном и мужественном характере. — Какой толк от разведки, если она не может одолеть необходимое расстояние из-за усталости своего предводителя?

— Если ты думаешь, парень, что твои молодые ноги способны на равных состязаться с выносливостью Ибена Дадли, то, возможно, случай показать, как ты ошибаешься, представится прежде, чем минует опасность этого восстания индейцев. Ты еще слишком упрям, Марк, чтобы доверить тебе возглавлять отряды, способные обеспечить безопасность всех, кто проживает в Виш-Тон-Више под их охраной.

Юноша выглядел раздосадованным, но, боясь, что отец может заметить и неправильно истолковать его настроение как личную неприязнь, отвернулся, остановив на мгновение хмурый взгляд на робком и брошенном украдкой взгляде девушки, чьи щеки пылали, как небо на востоке, пока она занималась приготовлениями к столу.

— Какие желанные вести ты принесла от знака Вип-Пур-Вилла? — спросил Контент женщину, которая как раз вошла в калитку его двора. — Ты видела лейтенанта с той поры, как отряд взял направление на холм, или какой-то путник поручил тебе сообщение для нас?

— Никто не видел этого человека с тех пор, как он опоясал себя мечом долга, — ответила Фейс, входя на веранду и кивком головы приветствуя всех вокруг, — а что до чужаков, то, как только часы пробьют полдень, будет ровно месяц с того дня, когда последний из них переступил порог моего дома. Но я не жалуюсь, потому что лейтенант никогда не покинул бы стройку с ее сплетнями ради участков на холме, пока было кому забивать его уши чудесами старых стран или хотя бы рассуждать о домашних разборках самих колоний.

— Ты легкомысленно судишь о том, Фейс, кто заслуживает твоего уважения и твоей преданности.

Упорный взгляд Фейс изучающе обратился на ласковое выражение лица той, от кого исходил этот упрек с печалью, свидетельствовавшей, что ее мысли были заняты другими вещами, а затем, как бы внезапно вспомнив, что произошло, она подытожила:

— По правде, что касается долга перед мужчиной как мужем и уважения к нему как к офицеру колонии, мадам Хиткоут, то это нелегкая ноша. Если бы представитель короля присвоил звание моему брату Рейбену и оставил Дадли с алебардой в руках, то такого отличия было бы вполне достаточно для человека с его

характером и лучше всего для доверия к нему поселенцев.

— Губернатор отдает свое предпочтение согласно совету людей, компетентных оценивать заслуги, — сказал Контент. — Ибен был впереди в кровавом деле людей с плантаций, где его мужество послужило хорошим примером всем остальным. Если бы он продолжил так же верно и смело, ты могла бы дожить до того, чтобы видеть себя супругой капитана!

— Не ради славы, заработанной в этом ночном походе, ибо вон там идет человек со здоровым телом и явно с желудком Цезаря, а то и — ох, ручаюсь за это — целого полка! Его аппетит не насытить пустяками вроде этих... Ба! Дай Бог, чтобы парень не был ранен. Правда, ему помогает наш сосед Эргот.

— Там еще один, кроме него, ибо позади шагает кто-то, чья походка и вид мне незнакомы. Обнаружен след, и Дадли ведет пленного! Пойман дикарь, раскрашенный и в одежде из шкур.

Это утверждение заставило всех вскочить, ибо возбуждение, связанное с опасностью вторжения, было еще сильно в Душах отрезанных от мира людей. Больше не было сказано ни слова, пока разведчик и его спутник не появились перед ними.

Быстрым взглядом Фейс окинула фигуру мужа и, успокоив свою душу после того, как убедилась, что он не ранен, первая приветствовала его.

— Ну как, лейтенант Дадли? — сказала женщина, весьма вероятно раздосадованная тем, что неосторожно выдала большую заинтересованность его благополучием, чем обычно считала благоразумным показывать. — Ну как, лейтенант, неужели кампания закончилась, не принеся более ценного трофея, чем этот?

— Парень не вождь и, судя по его походке и тупому виду, даже не воин. Но тем не менее он шпионил возле

поселений, и мы посчитали разумным привести его сюда, — ответил муж, обращаясь к Контенту и отвечая на приветствие жены довольно коротким кивком. — Моя собственная разведка ничего не высветила. Но мой брат Ринг напал на след вот этого, который здесь, и мы немало поломали голову, зондируя, как называет это добрейший доктор Эргот, в чем смысл его задания.

— Из какого племени может быть этот дикарь?

— Мы обсуждали это дело между собой, — ответил Дадли, бросив косой взгляд в сторону врача. — Кое-кто говорит, что он наррагансет, тогда как другие думают, что он из племени, проживающего еще дальше к востоку.

— Выражая это мнение, я просто говорил о его второстепенных или приобретенных привычках, — вмешался Эргот, — ибо, если обратиться к его происхождению, этот человек, несомненно, белый.

— Белый! — повторили все вокруг.

— Вне всякого сомнения, как можно увидеть по разным особенностям его внешнего облика, а именно: по форме головы, мышцам рук и ног, общему виду и походке, помимо всяких прочих признаков, знакомых людям, сделавшим физические особенности двух рас предметом своих исследований.

— Одна из которых эта! — продолжил Дадли, сдергивая накидку пленника и давая своим сотоварищам наглядное доказательство, убедительно устранившее все его собственные сомнения. — Хотя цвет кожи не может служить положительным доказательством, подобным тем, что перечислил наш сосед Эргот, но это все же кое-что, помогающее человеку не слишком ученому составить мнение в таком деле.

— Мадам! — воскликнула Фейс так неожиданно, что заставила вздрогнуть ту, к которой обращалась. — Ради Бога, будьте милосердны! Позвольте своей служанке

принести мыло и воду, чтобы отмыть лицо этого человека от краски!

— Что за глупости у тебя в голове? — возразил лейтенант, под конец проявляя несколько повышенную серьезность, приличествующую, как он полагал, его официальному положению. — Мы же сейчас не под крышей Вип-Пур-Вилла, жена моя, а в присутствии тех, кто не нуждается в твоих подсказках, чтобы придать надлежащую форму официальному расследованию.

Фейс не обратила внимания на упрек. Не дожидаясь, пока другие исполнят то, чего хотела она, она сама взялась за дело с ловкостью, приобретенной долгой практикой, и с жаром, который, казалось, породило какое-то необычное чувство. В одну минуту краски исчезли с лица пленника, и оно, пусть сильно загоревшее под действием американского солнца и знойных ветров, оказалось несомненно лицом человека, обязанного своим происхождением европейским предкам. Все присутствующие с интересом, исполненным любопытства, следили за действиями энергичной женщины, и, когда недолгая работа была окончена, шепот удивления слетел одновременно со всех губ.

— В этом маскараде есть смысл, — заметил Контент, долго и внимательно изучавший тупое и нескладное лицо, попавшее под его тщательное наблюдение при этой операции. — Я слыхал о христианах, продавшихся ради выгоды, которые, забыв религию и любовь своей расы, заключали союз с дикарями, чтобы совершать грабежи в поселениях. В глазах этого негодяя хитрость француза из Канады.

— Прочь! Прочь! — закричала Фейс, проталкиваясь к говорившему, и, положив обе руки на бритую голову пленника, как бы укрыла его лицо в тени. — Прочь всю эту чушь насчет французов и злонамеренных союзов!

Это не подлый заговорщик, а невинный больной человек! Уиттал, брат мой Уиттал, ты меня узнаешь?

Слезы катились по щекам своенравной женщины, когда она вглядывалась в лицо своего слабоумного родственника, глаза которого осветились одним из случайных проблесков разума и который разразился низким бессмысленным смехом, прежде чем ответить на ее серьезный вопрос.

— Кто-то говорит как люди по ту сторону океана, а кто-то говорит как люди из леса. Есть ли здесь что-нибудь вроде медвежьего мяса или горсти кукурузы в вигваме?

Если бы голос человека с того света прозвучал в ушах членов семейства, это вряд ли бы произвело более глубокое впечатление или заставило кровь пульсировать быстрее в их сердцах, чем это внезапное и в высшей степени неожиданное открытие личности их пленника. Удивление и страх заставили их онеметь на некоторое время, а затем все увидели, как Руфь встала перед оправившимся бродягой, ее руки молитвенно сложились, глаза умоляюще сузились, а вся фигура выразила напряжение и волнение, которые обострили ее долго дремавшие чувства до предела.

— Скажи мне, — произнес дрожащий голос, способный пробудить ум человека даже более тупого, чем тот, к кому обращались, — если есть жалость в твоем сердце, скажи мне, жива ли еще моя малютка?

— Она хорошая девочка, — ответил тот, а затем, снова разразившись своим пустым и бессмысленным смехом, с каким-то глупым удивлением обратил взгляд на Фейс, в чьем облике произошло гораздо меньше перемен, чем в отрешенных чертах той, что говорила, стоя прямо перед ним.

— Оставьте его, дорогая мадам, — вмешалась сестра. — Я знаю характер парня и смогу поладить с ним лучше любого другого.

Но эта просьба была бесполезной. Организм матери в ее нынешнем состоянии возбуждения не был готов к дальнейшим усилиям. Ее, упавшую в бдительные руки Контента, унесли прочь, и на минуту тревожный интерес служанок сосредоточился вокруг мужчин на веранде.

— Уиттал, мой старый приятель по играм, Уиттал Ринг, — обратился сын Контента, подходя с увлажненными глазами пожать руку пленнику. — Разве ты забыл, парень, товарища твоих прежних дней? Это молодой Марк Хиткоут говорит с тобой.

Тот поднял глаза на его лицо с ожившим на мгновение воспоминанием, но, покачав головой, отшатнулся с явным отвращением, пробормотав достаточно громко, чтобы его услышали:

— Что за отъявленный лжец этот бледнолицый! Вот изрядный мошенник, желающий сойти за слоняющегося парня!

Что еще произнес Уиттал, слушавшие его никогда не узнали, потому что мгновенно он перешел на какой-то диалект индейского племени.

— Разум несчастного юноши еще больше притупился от пребывания среди дикарей с их обычаями, чем от природы, — заметил Контент, коего, как и большинство остальных, интерес к допросу вернул к сцене, которую они на время покинули. — Пусть сестра заботливо займется парнем, и, когда небесам будет угодно, мы узнаем правду.

Глубокое отцовское чувство придало его словам властность. С готовностью группа расступилась, и почти торжественная обстановка официального расследования сменилась беспорядочными и торопливыми вопросами, разом обрушившимися на слабый ум вновь обретенного странника.

Домашние расселись вокруг кресла Пуританина, сбоку от него поместился Контент, тогда как Фейс

заставила брата усесться на ступеньке веранды так, чтобы всем было слышно. Внимание самого брата от этих перемещений отвлекла еда, которую сунули ему в руки.

— А теперь, Уиттал, я хотела бы знать, — начала проворная женщина, когда глубокое молчание подтвердило внимание слушателей. — Я хотела бы знать, помнишь ли ты тот день, когда я одела тебя в готовую одежду из-за океана и как тебе нравилось красоваться среди коров в такой веселой расцветке?

Юноша взглянул ей в лицо так, словно звуки ее голоса доставляли ему удовольствие, но, вместо того чтобы отозваться, предпочел пережевывать хлеб, с помощью которого она старалась вернуть его назад, к их прежней близости.

— Ведь не мог же ты, парень, так быстро забыть подарок, что я купила на нелегкий заработок от прядильного колеса, которое крутила по ночам. Хвост вон того павлина не красивее, чем был тогда ты, но я сделаю тебе другой такой же наряд, чтобы ты мог пойти с ополченцами на их еженедельные смотры.

Юноша сбросил накидку из шкур, покрывавшую верхнюю часть его тела и, сделав решительный жест, с серьезностью индейца ответил:

— Уиттал воин на тропе; у него нет времени для разговоров с женщинами!

— Ну, брат, ты забыл, как я привыкла утолять твой голод, когда мороз кусал тебя в холодные утра и в тот час, когда скотина нуждалась в твоей заботе, иначе ты бы не назвал меня женщиной.

— А ты нападала на следы пикодов? А ты знаешь, как издать клич воинов?

— Что значит индейский вопль по сравнению с блеянием овец или мычанием коров в кустарнике! Ты помнишь, как звенят колокольчики поздним вечером?

Бывший пастух повернул голову и, казалось, внимательно вслушивался, как собака прислушивается к приближающимся шагам. Но проблеск воспоминания быстро пропал. В следующую минуту парень уступил более весомым и, вероятно, более насущным потребностям своего аппетита.

— Значит, ты потерял способность слышать, иначе не сказал бы, что забыл звуки колокольчиков.

— А ты слыхала когда-нибудь, как воют волки?! — воскликнул тот. — Вот это звук для охотника! Я видел, как великий вождь поразил полосатого кугуара[95], когда самый храбрый воин племени побелел, как трусливый бледнолицый, от его прыжков!

— Не говори мне о своих голодных зверях и великих вождях, а давай лучше вспомним дни, когда мы были молоды и когда ты радовался играм христианских детей. Разве ты забыл, Уиттал, как наша мать всегда разрешала нам проводить свободное время в играх на снегу?

— Мать Нипсета в своем вигваме, но он не спрашивает позволения пойти на охоту. Он мужчина. С первым снегом он станет воином.

— Глупый парень! Это дикари с помощью своего коварства опутали твою слабость узами хитрости. Твоя мать, Уиталл, была женщина христианской веры и принадлежала к белой расе. И она была доброй матерью, опечаленной твоим слабоумием! Разве ты не помнишь, неблагодарное твое сердце, как она ухаживала за тобой, когда ты болел подростком, и как она заботилась обо всех твоих телесных нуждах! Кто кормил тебя, когда ты проголодаешься, и кто потакал твоим выходкам, когда другие уставали от твоих никчемных поступков или не желали терпеть твое слабоумие?

Брат с минуту смотрел на залившееся краской лицо говорившей, будто проблески некоторых слабо различимых сцен промелькнули видениями в его мозгу, но животное в нем все же возобладало, и он продолжал утолять свой голод.

— Это превосходит человеческое терпение! — воскликнула взволнованная Фейс. — Взгляни в эти глаза, несчастный, и скажи, узнаёшь ли ты ту, что заняла место матери, которую ты отказываешься вспомнить… ту, что трудилась изо всех сил ради тебя и никогда не отказывалась выслушать все твои жалобы и умерить все твои страдания. Посмотри в эти глаза и скажи: узнаешь ли ты меня?

— Конечно! — возразил тот, смеясь с наполовину разумным выражением узнавания. — Ты женщина из бледнолицых, и, ручаюсь, та, которая никогда не будет довольна, пока не заполучит все меха Америки на свои плечи и всю лесную оленину на свою кухню. Разве ты никогда не слыхала предания, как эта зловредная раса вторглась на охотничьи земли и стала разорять воинов этой страны?

Разочарование Фейс сделало ее слишком нетерпеливой, чтобы продолжать такой разговор, но в эту минуту возле нее кто-то появился и спокойным жестом велел не перечить нраву блудного парня.

То была Руфь, на чьих бледных щеках и в беспокойном взгляде можно было проследить все напряжение страстных желаний матери в их самом трогательном виде. Еще так недавно беспомощную и придавленную грузом своих переживаний, теперь, казалось, ее поддерживали святые чувства, занявшие место всякой иной опоры; и когда она скользнула сквозь кружок слушателей, даже сам Контент не посчитал нужным предложить ей помощь или вмешаться с увещеванием. Ее спокойный и выразительный жест как бы говорил: «Продолжай и

прояви всю снисходительность к слабости юноши». Привычное уважение обуздало растущую досаду Фейс, и она была готова повиноваться.

— Так что же гласят глупые предания, о которых ты говоришь? — добавила она, прежде чем у него нашлось время изменить направление своих смутных мыслей.

— Это говорят старики в деревнях, и то, что там говорят, святая истина. Вы видите вокруг себя землю, которая покрыта холмами и долинами и на которой когда-то росли леса, не знавшие топора, и по которой щедрой рукой была рассеяна дичь. В нашем племени есть гонцы и охотники, не сворачивавшие с прямой тропы на заходящее солнце, пока их ноги не уставали, а их глаза не переставали видеть облака, висящие над соленым озером, и, однако, они говорят, что повсюду эта земля прекрасна, как вон та зеленая гора. Высокие деревья и тенистые леса, реки и озера, полные рыбы, олени и бобры в изобилии, как песок на берегу океана. Всю эту землю и воду Великий Дух дал людям красной кожи, ибо он их любил, потому что они говорили правду в своих племенах, были верны своим друзьям, ненавидели своих врагов и знали, как снимать скальпы.

Вот тысячу раз снег падал и таял с той поры, как был сделан этот дар, — продолжал Уиттал, говоривший с видом человека, которому доверено передавать важное предание, хотя он, вероятно, всего лишь пересказывал то, что благодаря многократному повторению закрепилось в его бездействующем уме, — но никто, кроме краснокожих, не охотился на лосей и не вставал на тропу войны. Потом Великий Дух рассердился; он спрятал свое лицо от своих детей, потому что они ссорились между собой. Большие каноэ выплыли со стороны восходящего солнца и принесли в эту страну голод и злых людей. Сперва чужаки разговаривали ласково и жалобно, как женщины. Они просили место Для нескольких вигвамов и говорили, что

если воины дадут им землю для посадок, они будут просить своего Бога позаботиться о краснокожих. Но когда они стали сильными, то забыли свои слова и сделались лжецами. О, они как коварные ножи! Бледнолицый как кугуар. Когда он голоден, ты можешь услышать, как он скулит в кустах, словно заблудившийся ребенок, но, когда ты подходишь на расстояние его прыжка, берегись когтей и клыков.

— Значит, эта злонамеренная раса лишила краснокожих воинов их земли?

— Конечно! Они разговаривали как слабые женщины до тех пор, пока не стали сильными, а потом превзошли самих пикодов в коварстве, давая воинам пить огненное молоко и убивая сверкающими придумками, которые они изготовляли из желтой муки.

— А пикоды? Разве их великий воин не умер, прежде чем пришли люди из-за океана?

— Ты женщина, никогда не слыхавшая предания, а то ты знала бы больше! Пикод — слабый, трусливый молокосос.

— А ты, ты, значит, наррагансет?

— Разве я не похож на мужчину?

— Я ошибочно приняла тебя за одного из наших ближних соседей — пикодов-могикан.

— Могикане мастерят корзины для янки. А наррагансет передвигается по лесу прыжками, как волк, идущий по следу оленя!

— Все это вполне разумно, и теперь, когда ты доказал их правоту, я не могу не видеть этого. Но нам любопытно узнать больше о великом племени. Ты когда-нибудь слышал об одном человеке из твоего народа, Уиттал, по имени Миантонимо — весьма знаменитом вожде?

Слабоумный юноша продолжал есть с перерывами, но, услыхав этот вопрос, он, казалось, внезапно забыл

про свой аппетит. На минуту он опустил глаза, а затем ответил медленно и не без выспренности:

— Человек не может жить вечно.

— Как? — сказала Фейс, делая жест в сторону своих глубоко заинтересованных слушателей, чтобы умерить их нетерпение. — Он покинул свой народ? А ты жил с ним, Уиталл, прежде чем он скончался?

— Он никогда не смотрел на Нипсета или Нипсет на него.

— Я не знаю никакого Нипсета; расскажи мне о великом

Миантонимо.

— Разве тебе нужно повторять дважды? Сахем ушел в далекую страну, а Нипсет станет воином, когда выпадет новый снег.

Разочарование набросило тень на все лица, и луч надежды, блеснувший во взгляде Руфи, сменился прежним мучительным выражением глубокого внутреннего страдания. Но Фейс все еще удавалось подавлять всякие разговоры среди тех, кто слушал, продолжив расспросы после короткой заминки, которую ее досада сделала неизбежной.

— Я думала, что Миантонимо все еще воин в этом племени. В каком сражении он пал?

— Могиканин Ункас совершил это злое дело. Бледнолицые дали ему большие богатства, чтобы убить сахема.

— Ты говоришь об отце, но ведь был и другой Миантонимо: тот, что подростком жил среди людей белой крови.

Уиттал внимательно выслушал, а потом, как будто собравшись с мыслями, покачал головой и ответил, прежде чем снова приняться за еду:

— Всегда был только один с таким именем и никогда не будет другого. Два орла не строят своих гнезд на одном дереве.

— Ты верно говоришь, — продолжала Фейс, хорошо зная, что оспаривать сведения брата означает на деле заставить его молчать. — Теперь расскажи мне о Конанчете, нынешнем сахеме наррагансетов, о том, кто заключил союз с Метакомом и недавно был изгнан из своей крепости близ океана, — он еще жив?

Выражение лица брата претерпело еще одну перемену. Вместо детской важности, с какой он до этого отвечал на вопросы сестры, в его тупом взгляде появилось выражение безграничной хитрости. Его глаза медленно и осторожно оглядели все вокруг, словно их владелец ожидал обнаружить зримые признаки тех тайных намерений, которым он с такой очевидностью не доверял. Вместо ответа блудный родственник продолжал есть, хотя не столько как человек, нуждающийся в пище, сколько как человек, решивший не делать никаких сообщений, которые могут оказаться опасными. Эта перемена не осталась без внимания со стороны Фейс и тех, кто напряженно следил за ее стараниями связать воедино путаные мысли человека столь слабоумного и, однако, казавшегося при необходимости таким поднаторевшим в дикарских уловках. Она благоразумно изменила свою манеру допроса, стараясь направить мысли брата в иное русло.

— Ручаюсь, — продолжала сестра, — что теперь ты начнешь вспоминать времена, когда пас скотину в кустарнике и имел привычку звать Фейс, чтобы она накормила тебя, уставшего бродить по лесу в поисках коров. Ты никогда не подвергался нападению наррагансетов, Уиттал, живя в доме бледнолицего? Брат перестал есть. Казалось, он снова размышлял так напряженно, как только было возможно при его ограниченных умственных способностях. Но, покачав отрицательно головой, он молча возобновил приятный ритуал пережевывания.

— Как! Ты решил стать воином, а сам никогда не умел снять скальп и не видел озаренную пламенем крышу вигвама?

Уиттал отложил еду и повернулся к сестре. Его лицо обрело дикое и жестокое выражение, и он разразился тихим, но торжествующим смехом. Когда это проявление удовлетворенности прошло, он снизошел до ответа.

— Конечно, — сказал он. — Мы вышли ночью на тропу против лживых янки, и никакой лесной пожар не выжигал землю так, как мы обратили в угли их поля! Все их хваленые дома превратились в кучи золы.

— Где же и когда вы совершили этот смелый акт возмездия?

— Они назвали это место по имени ночной птицы, как будто индейское имя может спасти их от индейских ножей!

— Ба! Так ты говоришь о Виш-Тон-Више! Но ведь ты, братец, был жертвой, а не поджигателем на этом бессердечном пожарище.

— Ты лжешь, подобно зловредной женщине из бледнолицых, какой ты и являешься! Нипсет был только мальчиком на той тропе, но он шел со своим народом. Говорю тебе, мы спалили самое землю своим огнем, и ни одному из них никогда не поднять снова головы из пепла.

Несмотря на большое самообладание и цель, что постоянно была на уме Фейс, ее пробрала дрожь от жестокой радости, с какой ее брат превозносил размах мести, которую в своем воображении он совершил по отношению к врагам. Все же из опасения нарушить иллюзию, способную помочь ей в так долго терпевшем неудачу и так мучительно желаемом признании, женщина подавила свой ужас и продолжила:

— Это правда, но некоторые остались живы. Наверняка воины увели пленных в свою деревню. Ты

ведь не всех убил?

— Всех.

— Нет, ты сейчас говоришь о несчастных, запертых в пылающем блокгаузе. Но... но некоторые, оставшиеся снаружи, могли попасть в твои руки, прежде чем осажденные стали искать укрытие в башне. Конечно, конечно, ты не стал убивать всех?

Тяжелое дыхание Руфи достигло ушей Уиттала, и на минуту тот обернулся, взглянув ей в лицо с тупым удивлением. Но, снова покачав головой, он ответил тихим утверждающим тоном:

— Всех. Да, и вопящих женщин, и плачущих детей!

— Определенно есть ребенок... я хотела сказать, есть женщина в вашем племени с более красивой кожей и по телосложению отличающаяся от большинства твоего народа. Не увели одну такую пленницей с пожарища в Виш-Тон-Више?

— Ты думаешь, лань будет жить с волком, или заставала когда-нибудь трусливую голубку в гнезде ястреба?

— Нет, ведь ты и сам другого цвета кожи, Уиттал, и вполне возможно, что ты не один такой.

Юноша с минуту смотрел на свою сестру с явным неодобрением, а потом, снова принимаясь за еду, пробормотал:

— В снеге столько же огня, сколько правды в лживых йенгизах!

— Эти расспросы следует прекратить, — сказал Контент с тяжелым вздохом. — В другое время можно надеяться привести дело к более счастливому результату. Но вот там едет человек с особым поручением из городов снизу, как явствует из того, что он пренебрег днем церковного праздника, и не меньше из серьезного вида, с каким он совершает свое путешествие.

Поскольку названное лицо видели все, кто смотрел в направлении селения, его внезапное появление отвлекло всеобщий интерес, так сильно пробудившийся к предмету, хорошо знакомому каждому жителю долины.

Ранний час и то, как неизвестный подгонял свою лошадь и как шагнул в гостеприимно распахнутую дверь Вип-Пур-Вилла, выдавали в нем посланца, который, по-видимому, привез какое-то важное сообщение от правительства колонии для молодого Хиткоута, занимавшего наиболее высокое положение представителя официальной власти в этом отдаленном поселении. Замечания на сей счет переходили из уст в уста, и любопытство сильно возросло ко времени, когда всадник въехал во двор. Здесь он спешился и, покрытый дорожной пылью, предстал перед тем, кого искал, с видом человека, проведшего ночь в седле.

— У меня приказы для капитана Контента Хиткоута, — сказал посланец, приветствуя всех вокруг с обычной серьезной, но заученной вежливостью людей, к кругу коих принадлежал.

— Он здесь, готовый выслушать и повиноваться, — был ответ.

Путешественника немного отличала та таинственность, что так приятна некоторым умам, из-за неспособности внушить уважение каким-либо иным образом обожающим делать тайну из вещей, которые с таким же успехом могут стать достоянием всех. Подчиняясь этому чувству, он выразил желание, чтобы его сообщения были сделаны наедине. Контент спокойно подал ему знак следовать за собой и направился во внутренние комнаты дома. Поскольку это вторжение дало новое направление мыслям зрителей вышеупомянутой сцены, мы тоже воспользуемся случаем сделать отступление, дабы представить читателю некоторые факты общего характера, которые

могут оказаться необходимыми для связи с последующими частями легенды.

ГЛАВА XXI

Смотрите, сэр, чтоб ваше правосудье
Не обернулось произволом.

«Зимняя сказка»

Планы прославленного Метакома стали известны колонистам благодаря предательству рядового воина по имени Сосаман. Наказание за измену повлекло допросы, закончившиеся обвинениями против великого сахема вампаноа. Считая ниже своего достоинства оправдываться перед врагами, которых он ненавидел, и, может быть, не веря в их милосердие, Метаком не старался больше маскировать свои действия, но, отбросив символы мира, открыто выступил с оружием в руках.

Трагедия началась примерно за год до момента, к которому подошел наш рассказ. Произошли события, схожие с подробно описанными на предшествующих страницах: огонь, нож и томагавк сделали свое гибельное дело без жалости и без угрызений. Но в отличие от нападения на Виш-Тон-Виш вслед за этой вылазкой немедленно последовали другие, пока вся Новая Англия не оказалась втянутой в знаменитую войну, упомянутую нами ранее.

Все белое население колоний Новой Англии незадолго до того оценивалось в сто двадцать тысяч душ. Считалось, что из этого числа шестнадцать тысяч человек были способны носить оружие. Будь у Метакома время для вынашивания своих планов, он мог бы быстро собрать отряды воинов, которые, пользуясь своим отличным знакомством с лесами и будучи привычными к тяготам такого рода войн, представляли

бы серьезную опасность для растущей силы белых. Но обычные и эгоистичные человеческие чувства были так же сильны среди этих диких племен, как знакомы они в более развитых сообществах. Неутомимый Метаком, подобно индейскому герою нашего времени — Текумсе[96], потратил годы, стараясь смягчить старинную вражду и успокоить взаимную зависть, дабы все люди краснокожей расы объединились ради сокрушения врага, обещавшего, если ему и впредь не помешать на его пути к власти, вскоре стать слишком могучим для их объединенных усилий.

Преждевременный взрыв в какой-то мере отвел опасность. Он дал англичанам время нанести несколько жестоких ударов по племени их самого большого недруга, прежде чем его союзники решились выступить совместно в его поддержку. Лето и осень 1675 года прошли в активных враждебных действиях между англичанами и вампаноа без втягивания в конфликт какого-либо другого народа. Некоторые из пикодов с зависимыми от них племенами даже приняли сторону белых, и мы читаем о могиканах, активно участвовавших в тактике изматывания сахема во время хорошо известного отступления от того перешейка, где он был окружен англичанами в надежде измором заставить его покориться.

Военные действия первого лета, как и можно было ожидать, сопровождались переменным успехом, причем судьба столь же часто бывала благосклонна к краснокожим в их беспорядочных попытках досадить англичанам, как и к их более дисциплинированным противникам. Вместо того чтобы ограничиться операциями в своих собственных четко очерченных районах, где врага легко окружить, Метаком повел своих воинов к отдаленным поселениям на реке Коннектикут, и как раз во время этих маневров

некоторые из городов на этой реке первыми подверглись осаде и были обращены в пепел. Активные враждебные действия между вампаноа и англичанами прекратились с наступлением холодов, когда большая часть солдат возвратилась домой, а индейцы явно выжидали, чтобы перевести дух перед решительным усилием.

Однако еще до прекращения активных действий уполномоченные объединенных колоний, как их именовали, встретились, чтобы разработать средства согласованного сопротивления. В отличие от прежних угроз по тому, как враждебные чувства распространялись по всей границе, стало ясно, что руководящий индейцами дух настолько придал единство и планомерность вражеским маневрам, насколько, по-видимому, это вообще было достижимо для людей, разъединенных такими расстояниями и так разделенных на общины. Правы они были или неправы, но колонисты всерьез решили, что война с их стороны справедлива. Поэтому была проведена большая подготовка, чтобы вести ее на следующее лето в большем соответствии с их возможностями и безусловными потребностями их положения. Именно благодаря мерам, предпринятым с целью подготовки части жителей колонии Коннектикут к бою, мы застаем главных героев нашей легенды в воинском обличье, в котором они только что снова предстали перед читателем.

Хотя наррагансеты поначалу открыто не участвовали в нападениях на колонистов, до последних вскоре дошли сведения, не оставлявшие сомнения по поводу состояния чувств этого народа. Многие из их юношей были замечены среди последователей Метакома, а в их деревнях видели оружие, взятое у белых, убитых в разных стычках. Поэтому одной из первых мер уполномоченных было предупредить более

серьезное противостояние, направив превосходящие силы против этого народа. Отряд, собранный по этому случаю, был, быть может, самым крупным воинским соединением, когда-либо сформированным англичанами в своих колониях в те давние дни. Он насчитывал тысячу человек, значительную часть которых составляла кавалерия, — род войск, как показал весь последующий опыт, превосходно приспособленный для операций против такого подвижного и хитрого врага.

Нападение было предпринято в разгар зимы и оказалось крайне разрушительным для осажденных. Оборона Конанчета, молодого сахема наррагансетов, была, во всяком случае, по мужеству и сообразительности достойна его высокого положения, и победа досталась колонистам не без серьезных потерь. Туземный вождь собрал своих воинов и занял позиции на небольшом пространстве твердой земли, расположенной в центре густо заросшего лесом болота, а приготовления к отпору обнаружили хорошее знакомство с военным опытом белого человека. Здесь были и брустверы из кольев, и своего рода редуты, и выстроенный по всем правилам блокгауз — и все это надо было преодолеть, прежде чем колонисты смогли проникнуть в саму укрепленную деревню. Первые попытки оказались безуспешными, и индейцы отбросили своих врагов с потерями для них. Но более совершенное оружие и большая согласованность в конце концов одержали верх, хотя и не без боя, продолжавшегося много часов, пока обороняющиеся практически не были окружены.

События того памятного дня произвели глубокое впечатление на души людей, которых редко задевали какие бы то ни было события значительного и волнующего характера. Все же это была тема для серьезного и нередко грустного разговора вокруг

домашнего очага колонистов, да и победа досталась не без помощи побочных обстоятельств, способствовавших, какими бы неизбежными они ни были, росту сомнений в душах совестливых приверженцев религии в том, что касалось правомочности их дела. Говорили, что была сожжена деревня из шестисот хижин и что пламя поглотило сотни убитых и раненых. Полагали, что до тысячи воинов потеряли жизнь в этой битве и, как считали, сила народа была сломлена навсегда. Среди самих колонистов было много пострадавших, и в очень многие семьи вместе с вестью о победе пришла скорбь.

В этой вылазке большинство людей из Виш-Тон-Виша под командованием Контента были заметными участниками. Не обошлось без потерь. Но они убежденно надеялись, что их мужество будет вознаграждено длительным миром, которого они больше всего желали, учитывая свое отдаленное и угрожаемое расположение.

Между тем наррагансеты были далеко не покорены. На всем протяжении этого немилосердного периода они являлись причиной тревоги для жителей пограничья, а в одном-двух случаях их новый сахем предпринял знаменательную месть за ужасное сражение, в котором его люди понесли такие тяжелые потери. С приходом весны нападения участились, а вероятность опасности возросла настолько, что потребовала вновь призвать колонистов к оружию. Гонец, представший в последней главе, имел поручение по делу, относившемуся к событиям этой войны. И как раз по поводу особого сообщения большой срочности он и просил теперь о тайной встрече с главой военной силы долины.

— Тебе надлежит действовать немедля, капитан Хиткоут, — сказал проделавший трудную дорогу путник, оказавшись наедине с Контентом. — Приказы его чести требуют не жалеть ни кнута, ни шпор, пока

старшины пограничья не будут предупреждены насчет положения колонии в настоящее время.

— Разве случилось нечто чрезвычайное, что его честь полагает, будто есть необходимость в особой бдительности? Мы надеялись, что молитвы благочестивых не остались втуне и что мирное время готово прийти на смену насилию, невольными зрителями которого мы, связанные договорами, к несчастью, оказались. Кровавое нападение Петтиквамскота[97] жестоко потрясло наши души — нет, оно даже вызвало сомнения в правомочности некоторых наших поступков.

— В тебе живет похвальный дух всепрощения, капитан Хиткоут, иначе ты припомнил бы и другие случаи, кроме тех, что имеют отношение к наказанию столь наглого врага. На реке рассказывают, что в долину Виш-Тон-Виш в свое время наведались дикари, и люди много говорят о несчастьях, перенесенных ее владельцами в связи с этим прискорбным случаем.

— Правду нельзя отрицать, даже если это во благо. Верно, что мне и моим родичам выпало много страданий из-за нападения, о коем ты говоришь. Тем не менее мы всегда старались смотреть на это скорее как на милосердное наказание, ниспосланное за разнообразные грехи, чем как на тему, о которой стоит вспоминать, дабы подогревать страсти в то время, как по здравому смыслу и из чувства милосердия их следует подавлять, насколько позволит слабая природа человека.

— Это правильно, капитан Хиткоут, и полностью соответствует самим принятым догматам, — отвечал незнакомец, слегка зевая то ли из-за того, что не отдохнул как следует предыдущей ночью, то ли из нерасположенности к столь серьезной теме, — но это мало связано с нынешними задачами. Мое поручение

больше касается дальнейшего разгрома индейцев, чем всяких внутренних изысканий по поводу наших собственных дурных предчувствий насчет правомерности любых действий, имеющих отношение к долгу самозащиты. Нет ни одного недостойного жителя Коннектикутской колонии, сэр, который приложил больше усилий, чтобы взрастить такую нежную вещь, как совесть, чем жалкий грешник, стоящий перед тобой, ибо мне дано великое счастье пребывать под сенью духа, коего мало кто из смертных превосходит в том, что касается ценных даров. Я говорю сейчас о докторе Калвине Поупе, самом достойном и умиротворяющем душу богослове, человеке, который не пожалеет стрекала, если совесть нуждается в уколе, не промедлит утешить того, кто созерцает свое разоренное имение, человеке, который никогда не устает проявлять милосердие и смирение духа, терпение к промахам друзей и прощение врагов, считая это наиглавнейшими признаками нового нравственного бытия; и потому очень мало оснований не доверять духовной правоте всех, кто внимает богатствам его речей. Но когда это становится вопросом жизни или смерти, вопросом о господстве и владении этими прекрасными землями, кои даровал Господь, — что ж, сэр, тогда я говорю, что, подобно израильтянам, имевшим дело с погрязшими в грехах захватчиками из Ханаана[98], нам надлежит хранить верность друг другу и смотреть на язычников очами недоверия.

— Возможно, в том, что ты говоришь, и есть резон, — заметил Контент печально. — Но все же правомерно скорбеть даже о необходимости, если она ведет ко всем этим распрям. Я надеялся, что те, кто руководит советниками колонии, могут прибегнуть к менее насильственным средствам убеждения, дабы вернуть дикарей к разуму, чем те, что исходят из

применения вооруженной силы. Какого рода твое особое поручение?

— Большой срочности, сэр, как будет видно в ходе изложения, — отвечал тот, понизив голос, как человек, который привык к драматической стороне дипломатии, но который мог бы оказаться неловким в ее более интеллектуальных воплощениях. — Ты участвовал в деле наказания Петтиквамскота и не нуждаешься в напоминании о том, как Господь поступил с нашими врагами в тот день его благорасположения к нам. Но, может быть, человеку, живущему в таком отдалении от беспокойных и повседневных деяний христианского сообщества, неизвестно, как дикари восприняли наказание. Неутомимый и все еще не покоренный Конанчет покинул свои города и укрылся в бескрайних лесах, где индейцы превосходят наших цивилизованных воинов в хитрости и навыках обнаруживать в любое время позицию и силы своих врагов. Последствия легко угадать. Дикари вторглись и опустошили полностью или частично сперва Ланкастер — десятого (считая на пальцах), когда многие были уведены в плен; во-вторых, Марлборо — двенадцатого, а тринадцатого сего месяца Гротон; Уорик — семнадцатого; а Рехобот, Челмсфорд, Эндовер, Уэймут и разные прочие места сильно пострадали в последние дни перед тем, как я покинул дом его чести. Пирс из Сичуэйта, решительный воин и человек, опытный в уловках войны такого рода, был отрезан со всем отрядом сподвижников, а Уодсуорт и Броклбэнд, люди, известные и уважаемые за мужество и мастерство, сложили свои головы в лесах, упокоившись вместе со своими злосчастными соратниками.

— Это поистине вести, заставляющие нас скорбеть о порочном характере нашей природы, — заметил Контент, в чьей мягкой душе не было показного

сожаления по этому поводу. — Трудно понять, каким образом остановить зло, не продолжая сражаться.

— Таково же и мнение его чести и всех, кто заседает с ним в Совете, ибо нам достаточно известно о приготовлениях врага, чтобы с уверенностью утверждать, что великий мастер злодеяний в лице того, кого зовут Филип, неистовствует на всем протяжении границы, подстрекая племена к тому, что он называет необходимостью сопротивления дальнейшей агрессии, и подогревая их мстительность разными хитроумными приемами злобного коварства.

— И какой же образ действий предписала в столь затруднительных обстоятельствах мудрость наших правителей?

— Во-первых, есть спешное предписание, чтобы мы подошли к выполнению этого долга как люди, очистившиеся через душевное борение и глубокий самоанализ; во-вторых, рекомендуется, чтобы общины поступали с большей, чем обычно, суровостью со всеми вероотступниками и грешниками, дабы Господь не отвернулся от городов, как случилось с теми, кто жил в обреченных городах Ханаана[99]; в-третьих, решено оказать нашу слабую помощь воле Провидения путем организации определенного числа подготовленных отрядов; и, в-четвертых, предполагается нейтрализовать семена мести путем установления заманчивой цены за головы наших врагов.

— Я согласен с первыми тремя из этих мер, как известными и законными средствами христиан. Но последняя кажется мерой, к которой следует подходить с большей осмотрительностью в образе действий и с некоторым недоверием к цели.

— Не бойся, ибо наши правители дальновидно взвесили в уме столь серьезную политику и действуют со всей надлежащей осторожностью и трезвостью.

Имеется в виду предложить не более половины вознаграждения, обещанного нашими более благополучными и старыми городами в заливе. И есть еще один деликатный вопрос: нужна ли вообще надбавка, если речь идет о нежном возрасте. А теперь, капитан Хиткоут, покончив благополучно со столь уважительным предметом, я перейду к подробному изложению вопроса о количестве и характере тек сил, что, как надеются, ты лично возглавишь в предстоящей кампании.

Поскольку результат того, что последовало, будет виден по ходу рассказа, нет необходимости следить сколько-нибудь дальше за посланцем с его сообщением. Поэтому мы оставим его и Контента заниматься вопросами своего совещания и дадим кое-какой отчет о других персонажах, связанных с нашей темой.

Вынужденная прерваться, как уже сказано, из-за прибытия неизвестного, Фейс старалась новыми уловками добиться от ограниченного ума своего брата каких-нибудь доказательств более здравой памяти. В сопровождении большинства домашних она повела его на вершину холма, ныне увенчанную листвой молодого и цветущего сада, и, поместив у подножия руин, попыталась пробудить цепь воспоминаний, которые привели бы его к более глубоким впечатлениям, а с их помощью, быть может, к раскрытию того важного обстоятельства, получить объяснение которого все так жадно желали.

Попытка не дала счастливого результата. Это место да и долина в целом претерпели столь большие перемены, что и человек, наделенный разумом в большей степени, затруднился бы поверить, что речь идет о тех самых местах, что были описаны на наших предыдущих страницах. Быстрая смена примет окружающего, которые в других странах переживают так мало перемен за долгий ход времен, — черта,

знакомая всем, кто проживает в молодых округах Штатов. Она является результатом быстрых усовершенствований, сделанных на первых этапах заселения. Один только лесоповал уже придает совершенно новый вид картине. И совсем непросто увидеть в деревне, пусть и недавно возникшей, или в обработанных полях, при всем несовершенстве обработки, какие-либо следы места, незадолго до того слывшего логовом волка или убежищем оленя.

Черты лица, а еще более взгляд сестры пробудили воспоминания, долго дремавшие в голове Уиттала Ринга. И хотя эти проблески прошлого были отрывочными и смутными, их оказалось достаточно, чтобы оживить то прежнее доверие, какое частично проявилось в их общении с самого начала. Но вспомнить предметы, не взывавшие к самым живым привязанностям и претерпевшие такие существенные изменения, было выше его слабых сил. И все же слабоумный юноша смотрел на развалины не без некоторого душевного волнения. Хотя травяной покров вокруг их фундамента был пропитан свежестью ярчайшей зелени раннего лета и восхитительный запах дикого клевера радовал его обоняние, все же было что-то в почерневших и бесформенных стенах, положении башни и картине окружающих холмов, несмотря на то, что многие из них были сейчас обкошены, явно взывавшее к его самым ранним впечатлениям. Он смотрел на это место, как охотничий пес смотрит на хозяина, которого не было так долго, что даже его инстинкт притупился. И временами, когда спутники силились помочь слабым воспоминаниям Уиттала, казалось, будто память готова восторжествовать и все те ложные суждения, что привычка и хитроумие индейцев внедрили в его притуплённый ум, вот-вот растают в свете реальной жизни.

Но от притягательной силы жизни, где было так много природной свободы с завораживающими радостями охоты и леса, нельзя было так легко избавиться. Когда Фейс умело вернула его к тем животным удовольствиям, которые он так любил подростком, фантазия брата, казалось, сильно поддалась. Но как только выяснилось, что достоинство воина и все не столь давние и гораздо более соблазнительные радости его последующей жизни придется предать забвению, прежде чем он сможет вернуться к своему прежнему существованию, его притуплённые чувства упрямо отказались принять перемену, которая в его случае мало отличалась бы от той, какую приписывают переселению душ.

После целого часа усердных и зачастую яростных усилий со стороны Фейс извлечь из его памяти хоть какие-то воспоминания об условиях его прежней жизни, попытку на время оставили. Иногда казалось, что женщина как будто одерживает верх. Он часто называл себя Уитталом, но продолжал настаивать, что он в то же время и Нипсет, соплеменник наррагансетов, что у него есть мать в вигваме и что он имеет основания верить: его причислят к воинам своего племени прежде, чем снова выпадет снег.

Тем временем совсем другая сцена разворачивалась на месте, где проводился первый допрос, покинутом большинством зрителей тотчас после внезапного прибытия гонца. Только один-единственный человек сидел у просторного стола, равно предназначавшегося для тех, кто владел поместьем и главенствовал в нем, и для их слуг вплоть до самых скромных. Оставшийся человек бросился в кресло не столько с видом того, кто прислушивается к запросам аппетита, сколько лица, до того поглощенного своими мыслями, что оно остается безучастным к состоянию или функциям своего телесного естества. Его голова покоилась на руках,

практически скрывавших лицо и распростертых на простой, но совершенно чистой поверхности стола из вишневого дерева, который поставили рядом с другим из менее дорогостоящего материала только для того, чтобы подчеркнуть разное отношение к гостям, как присутствие или отсутствие соли на столе в более давние времена и в других странах отражало, как известно, различие в ранге среди тех, кто участвовал в одном и том же празднестве.

— Марк, — позвал робкий голос у его плеча, — ты устал от дежурства этой ночью и от разведки на холмах. Не думаешь ли ты поесть, прежде чем отправиться на покой?

— Я не сплю, — возразил юноша, подняв голову и мягко отодвигая в сторону миску с простой пищей, предложенной той, чьи глаза сочувственно смотрели на его покрасневшее лицо и чьи зарумянившиеся щеки, пожалуй, выдавали тайное осознание того, что ее взгляд нежнее, нежели дозволяет девическая застенчивость. — Я не сплю, Марта, и мне кажется, что я никогда уже не смогу заснуть.

— Меня пугает этот твой дикий и несчастный взгляд. Ты приболел чем-то во время похода в горы?

— Уж не думаешь ли ты, что человек моего возраста и силы неспособен перенести утомление нескольких часов караула в лесу? Тело в порядке, да тяжело на душе.

— И ты не хочешь сказать, в чем причина этой муки? Ты же знаешь, Марк, что в этом доме — нет, я уверена, что можно Добавить, — в этой долине, — нет никого, кто не желал бы тебе счастья.

— Ты так добра, говоря это, милая Марта, но у тебя никогда не было сестры!

— Это правда, у меня никого нет, и все-таки мне кажется, что никакие кровные узы не могут связать

теснее, чем любовь, которую я питаю к той, что пропала.

— У тебя нет матери! Ты никогда не знала, что значит почитать родителей.

— А разве твоя мать и не моя? — отвечал такой глубоко опечаленный и все же такой нежный голос, который заставил молодого человека на миг внимательно взглянуть на свою собеседницу, прежде чем он снова заговорил.

— Правда, правда, — торопливо сказал он. — Ты должна любить и любишь ту, что пестовала твое детство и вырастила тебя заботливо и ласково, пока ты не стала такой красивой и счастливой девушкой.

Глаза Марты заблистали ярче, а цветущие щеки зарделись сильнее, когда Марк неумышленно произнес эту простую похвалу ее внешности. Но поскольку она с женской чувствительностью скрыла волнение от его взгляда, перемена осталась незамеченной, и он продолжал:

— Ты же видишь, что моя мать ежечасно изнемогает под бременем своей скорби из-за нашей малютки Руфи, и кто скажет, каков может быть исход скорби, которая длится так долго?

— Это правда, что была причина сильно бояться за нее. Но с недавних пор надежда возобладала над тревогой. Ты поступаешь нехорошо, нет, я не уверена, что ты не поступаешь дурно, позволяя себе роптать на Провидение из-за того, что твоя мать предается своей скорби больше, чем обычно, не дождавшись возвращения той, которая так тесно связана с ней и которую мы потеряли.

— Дело не в этом, милая, дело не в этом!

— Раз ты отказываешься сказать, что именно причиняет тебе эту боль, я могу только выразить сожаление.

— Послушай, и я скажу. Ты знаешь, что ныне прошло уже много лет с тех пор, как дикие могауки, наррагансеты, пикоды или вампаноа напали на наше поселение и свершили свою месть. Мы были тогда детьми, Марта, и я по-детски рассуждал о том беспощадном пожарище. Наша малышка Руфь была, как ты сама, цветущим ребенком лет семи-восьми, и я не знаю, какое безумие овладело мною, но я всегда продолжал думать о своей сестре как о невинном ребенке в том возрасте, в каком она была тогда.

— Ты же знаешь, что время не стоит на месте, и потому тем больше у нас оснований быть трудолюбивыми, чтобы улучшать…

— Этому учит наш долг. Говорю тебе, Марта, что ночью, когда на меня нисходят сны, как это иногда случается, я вижу, как наша Руфь бродит по лесу, словно резвящееся и смеющееся дитя, какой мы ее знали, и, даже когда я просыпаюсь, я вижу в воображении сестру у себя на коленях, как она привыкла сидеть, слушая те досужие сказки, что согревали наше детство.

— Но мы родились в один год и месяц; ты и обо мне тоже думаешь, Марк, как о девочке того же детского возраста?

— О тебе? Это же невозможно. Разве я не вижу, что ты превратилась в женщину, что твои маленькие каштановые косички стали черными как смоль пышными волосами соответственно твоему возрасту, а ты сама стала статной, и — я говорю это не ради красного словца, — разве я не вижу, что ты выросла во всем великолепии самой пригожей девушки? Но не так обстоит, вернее, обстояло, с той, о которой мы скорбим, ибо вплоть до этого часа я всегда рисовал свою сестру как невинную крошку, с которой мы вместе играли в ту мрачную ночь, когда она была вырвана из наших объятий жестокими дикарями.

— И что же изменило этот милый образ нашей Руфи? — спросила его собеседница, наполовину прикрыв свое лицо, дабы скрыть еще более яркий румянец удовольствия, порожденного только что услышанными словами. — Я часто думаю о ней так же, как ты, да и теперь не вижу, почему мы не можем по-прежнему представлять ее себе, если она еще жива, такой, какой мы хотели бы ее видеть.

— Это невозможно. Иллюзия исчезла, и вместо нее до меня дошла ужасная правда. Здесь Уиттал Ринг, которого мы потеряли мальчиком. Ты видишь, он вернулся мужчиной и дикарем! Нет, нет, моя сестра больше не дитя, какой я любил представлять ее себе, а взрослая женщина.

— Ты плохо думаешь о ней, хотя о других, гораздо менее одаренных от природы, ты думаешь слишком снисходительно, потому что помнишь, Марк, что она всегда была внешне более миловидной, чем любая из тех, кого мы знали.

— Я этого не знаю... Я этого не говорю... Я этого не думаю. Но что бы тяготы и жизнь на открытом воздухе ни сделали с ней, все равно Руфь Хиткоут слишком хороша для индейского вигвама. О! Это ужасно — думать, что она рабыня, прислужница, жена дикаря!

Марта отшатнулась, и целая минута прошла в молчании. Было очевидно, что вызывающая отвращение мысль впервые мелькнула в ее голове, и все естественные чувства удовлетворенной девичьей гордости отступили перед искренним и чистым сочувствием женского сердца.

— Этого не может быть, — пробормотала она наконец, — этого не может быть никогда! Должна же наша Руфь помнить уроки, полученные в детстве. Она знает, что родилась от христианских родителей! С уважаемым именем! С большими надеждами! Со славными обещаниями!

— Ты же видишь на примере Уиттала, который по возрасту старше, как мало те уроки могут противостоять коварству дикарей.

— Но Уиттал обойден природой; он всегда был ниже остальных людей по разуму.

— И все же до какой степени индейского хитроумия он уже дошел!

— Но, Марк, — робко возразила собеседница, словно позволила себе выдвинуть этот аргумент, чувствуя всю его силу, лишь щадя измученные чувства брата, — мы одних лет; то, что произошло со мной, могло с таким же успехом стать судьбой нашей Руфи.

— Ты думаешь, что, не будучи замужем, как ты, или предпочитая в твои годы оставаться свободной, моя сестра могла избежать горькой участи стать женой наррагансета или, что не менее ужасно, рабой его прихотей?

— Разумеется, я верю в первое.

— А не в последнее, — продолжал юноша с живостью, которая обнаружила некоторый внезапный поворот в его мыслях. — Но хотя ты колеблешься, Марта, несмотря на безоговорочное мнение и доброту по отношению к той, что любишь, непохоже, чтобы девушка, оставшаяся в оковах дикарской жизни, стала так долго раздумывать. Даже здесь, в поселениях, никто так не затрудняется с выбором, как ты.

Длинные ресницы над темными глазами девушки задрожали, и на мгновение показалось, будто она не намерена отвечать. Но, робко глядя в сторону, она ответила голосом таким тихим, что собеседник едва уловил смысл того, что она сказала:

— Я не знаю, как могла заслужить эту ложную репутацию у своих друзей, ибо мне всегда кажется, что то, что я чувствую и думаю, слишком быстро становится известно.

— Значит, тот шустрый кавалер из города Хартфорд, что так часто шастает взад-вперед между этим отдаленным поселением и домом своего отца, больше уверен в успехе, чем я думал. Ему не придется намного чаще проделывать долгий путь в одиночку!

— Я рассержусь на тебя, Марк, или ты не будешь так холодно разговаривать с той, которая всегда относилась к тебе по-доброму.

— Я говорю без гнева, ибо было бы одинаково неразумно и не по-мужски целиком отрицать право твоего пола на выбор. Но все же правильным представляется, что если человек тебе по вкусу и решение взвешенное, то не должно быть причин, чтобы не высказать своего мнения.

— И ты думаешь, что девушка моих лет тут же поверит, будто домогаются ее, когда вполне возможно, что тот, о ком ты говоришь, скорее ищет твоего общества и дружбы, чем моей благосклонности?

— Тогда он мог бы избавить себя от многих трудов и некоторых телесных страданий, если седло не доставляет ему большого удовольствия, ибо я не знаю другого молодого человека в Коннектикутской колонии, к кому я питаю меньше уважения. Другие могут видеть в нем вещи, достойные одобрения, но для меня он отличается смелыми речами, нескладной внешностью и очень неприятной манерой разговора.

— Я счастлива, что наконец-то мы приходим к единому мнению, ибо то, что ты говоришь об этом юноше, я уже давно в нем заметила.

— Ты! Ты так думаешь об этом щеголе! Тогда зачем ты допускаешь его ухаживания? Я считал тебя слишком честной девушкой, Марта, чтобы поддаваться на такие обманные уловки. С таким мнением о его характере почему не отказаться от его компании?

— Должна ли девушка высказываться поспешно?

— А если это человек, готовый просить благосклонности, ответ был бы…

— Нет! — сказала девушка, подняв на мгновение глаза и застенчиво встретив страстный взгляд своего собеседника, хотя она произнесла односложное слово с твердостью.

Марк казался смущенным. Совсем новая и необычная мысль овладела его мозгом. Перемена стала заметна по изменившемуся выражению его лица и по щекам, запылавшим, словно пламя. Что он мог бы сказать, большинство наших читателей, перешагнувших за пятьдесят, могут угадать. Но в этот момент стали слышны голоса тех, кто сопровождал Уиттала к развалинам и теперь возвращался, и Марта ускользнула так тихо, что какое-то мгновение он пребывал в неведении, что ее уже нет.

ГЛАВА XXII

Когда среди толпы невмочь
Душе дурацкий смех терпеть,
Как хочется скорее прочь
С земли холодной улететь.
И в неба бездне голубой
Найти невинность и покой!

Брайант. Небеса

День был субботний. Этот религиозный праздничный день отдохновения, даже ныне соблюдаемый в большинстве штатов со строгостью, на которую мало обращают внимания в остальном христианском мире, тогда почитался с истовостью, отвечавшей суровым нравам колонистов. То обстоятельство, что кому-то пришлось находиться в пути в такой день, привлекло внимание всех в деревне. Но поскольку видели, как незнакомец скакал по направлению к жилищу Хиткоутов и время отличалось повышенным интересом к провинции, то порешили, что оправданием путнику служит некая необходимость. Однако никто не отважился поинтересоваться мотивом этого неординарного визита. По истечении часа видели, что всадник отбыл так же, как и прибыл, по-видимому, под давлением крайней необходимости. Он действительно отправился дальше со своими вестями, хотя законность возложения даже этого повелительного долга на святую субботу серьезным образом обсуждалась в Советах тех, кто его послал. К счастью, они нашли или полагали, что нашли, в некоторых притчах Священного Писания прецедент,

достаточный для того, чтобы приказать своему посланцу отправиться в дорогу.

Тем временем необычное волнение, так неожиданно возникшее в доме Хиткоутов, стало сменяться тем покоем, что так прекрасно согласуется с характером святого дня. Солнце ярко и безоблачно поднялось над холмами, а всякие испарения прошедшей ночи растаяли под его мягким теплом, превратясь в невидимую стихию. И долина лежала в своего рода священном спокойствии, от которого сердцу передается такой сладостный и такой мощный призыв. Мир представлял картину славного творения рук Того, кто как бы побуждает свои создания к благодарению и обожанию. Для души еще не испорченной такая сцена исполнена особой прелести и даже божественного успокоения. Повсеместное затишье позволяет слышать малейшие звуки природы, и жужжание пчелы или взмах крыла колибри достигает уха подобно громким нотам всеобщего гимна. Этот временный покой полон смысла. Он учит, как сильно прекрасные радости этого мира, его мирный покой и даже внешняя красота самой Природы зависят от движущего нами духа. Когда человек отдыхает, кажется, что все вокруг него озабочено, как помочь его отдыху, а когда он оставляет раздоры, порождаемые более грубыми интересами, ради того, чтобы возвыситься духовно, кажется, что все живое объединяется в поклонении. Хотя это кажущееся сочувствие Природы, может быть, в большей мере воображаемое, нежели истинное, его урок не пропадает даром, так как он в достаточной степени показывает, что то, что человек считает благом в этом мире, благом и является, и что большинство раздоров и изъянов мира проистекает из его собственной извращенности.

Обитатели долины Виш-Тон-Виш не привыкли нарушать субботний покой. Их ошибка проистекала из другой крайности, поскольку они умаляли щедроты

жизни, стремясь вообще поднять человека над слабостью его природы. Они подменяли отталкивающий аспект возвышенной суровости той приятной, хотя и в рамках правил, внешней стороной, посредством которой все в человеке может наилучшим образом проиллюстрировать их надежды или выразить их благодарность. Особенности облика тех, о ком мы пишем, были порождены ошибкой эпохи и края, хотя кое-что в его крайней строгости, возможно, восходило к наставлениям и примеру личности, руководившей духовными устремлениями прихожан. Поскольку это лицо в дальнейшем будет связано с событиями легенды, мы сведем с ним более тесное знакомство на этих страницах.

Преподобный Мик Вулф по духу отличался редким сочетанием смиреннейшего самоуничижения и жестокого духовного обличения. Подобно столь многим другим представителям своего пасторского призвания в той колонии, где проживал, он был не только из семьи пасторов, но его величайшая земная надежда заключалась в том, чтобы стать также прародителем народа, у которого пасторское служение Богу было бы увековечено так же безоговорочно, как если бы все еще существовали строгие предписания законов Моисея. Он был воспитанником Гарвардского колледжа для детей, учреждения, основанного благодаря мудрости и предприимчивости эмигрантов из Англии в течение первых двадцати пяти лет их пребывания в колонии. Здесь этот отпрыск столь благочестивого и ортодоксального древа с избытком подготовил себя для интеллектуального воительства в своей будущей жизни, с завидным упорством придерживаясь набора мнений, не оставлявших причин опасаться, что когда-нибудь он откажется от самых незначительных правил своей веры. Ни одна крепость никогда не представляла более безнадежной препоны для осаждающих, чем дух

этого фанатика для усилий переубеждения, ибо в отношении своих противников он додумался закрыть всякий доступ глухой стеной, какую только может возвести неукротимое упрямство. Казалось, он полагал, что все даже второстепенные аргументы и резоны изложены его предшественниками и что ему остается только усилить многие доводы в защиту своего предмета и время от времени с помощью беспощадной вылазки рассеивать доктринерствующих оппозиционеров, которые могут случайно атаковать его прихожан.

В этом религиозном фанатике была примечательная душевная целеустремленность, делавшая даже его ханжество в какой-то степени респектабельным и тем самым немало помогавшая очистить сучковатый предмет, коим он орудовал, от весьма смущающей материи. В его глазах, на прямой и узкой тропе лишь немногие удержались бы помимо его собственной паствы. Он допускал некоторые случайные исключения в одном-двух ближайших приходах, с чьими клириками имел обыкновение обмениваться проповедями, и, может быть, кое-где в отношении праведника из другого полушария либо из более далеких городов колоний, чистоте веры которых в его глазах способствовала в какой-то мере их отдаленность, как наш темный шар представляется полным света тем, кто населяет его спутник. Короче, то была смесь показного милосердия с верой в надежду исключительно для себя; неутомимости служения с холодной внешностью; пренебрежения к себе с самодовольной уверенностью и безропотного смирения перед преходящим злом с самыми высокомерными духовными притязаниями, что в определенной степени делало его человеком, которого так же трудно понять, как и описать.

В ранний час предполуденного времени небольшой колокол, подвешенный в неуклюжей звоннице,

воздвигнутой на кровле молитвенного дома, начал созывать членов общины к месту богослужения. Призыву споро повиновались, и прежде чем первые звуки откликнулись эхом среди холмов, широкая и заросшая травой улица заполнилась семейными группами, шедшими в одном направлении. Во главе каждой маленькой группы шагал суровый отец, подчас неся на руках грудного младенца или ребенка, еще слишком малого, чтобы опираться на собственные ноги. А за ним на приличном расстоянии следовала столь же серьезная матрона, бросая косые и суровые взгляды на маленький отряд вокруг себя, в котором усвоенным привычкам еще предстояло одержать некоторые победы над более легкомысленными побуждениями тщеславия. Там, где не было ребенка, нуждающегося в помощи, или где мать предпочла лично нести своего ребенка, муж нес один из тяжелых мушкетов[100] тех дней, а если его руки были заняты чем-то еще, самый сильный из его сыновей выступал в качестве оруженосца. Но никто ни на минуту не пренебрегал необходимыми предосторожностями, ибо положение провинции и характер врага требовали, чтобы бдительность сочеталась даже с религиозными отправлениями. Здесь не позволялось без дела слоняться по дороге, не допускались легкомысленные суетные разговоры по пути и даже какие-либо приветствия, кроме церемонных и серьезных знаков внимания с помощью шляпы или взгляда, которые обычай разрешал как высший предел вежливости на еженедельном празднестве.

Когда тон колокола изменился, Мик появился из ворот укрепленного дома, где он проживал в качестве кастеляна благодаря общественному назначению дома, его большей безопасности и тому обстоятельству, что ученые привычки позволяли исполнять обязанности с

меньшей затратой физического труда, чем это стоило бы деревне, где ответственные обязанности доверяли человеку более энергичному. Его супруга шла следом, но даже на еще большем расстоянии, чем жены других мужчин, словно чувствуя крайнюю необходимость отводить даже самый отдаленный намек на смущение в связи со столь сокровенным служением. Девять отпрысков разного возраста и одна помощница слишком нежных лет, чтобы быть женой, составляли домашний круг священнослужителя. А то, что присутствовали все, было доказательством целебности воздуха долины, ибо только болезнь признавалась достаточным оправданием отсутствия на общем богослужении. Когда это маленькое стадо вышло из-за частокола, какая-то женщина, на чьих бледных щеках еще легко было проследить последствия недавней болезни, придержала открытыми ворота, чтобы дать войти Рейбену Рингу и крепкому юноше, который нес плодовитую супругу последнего с ее щедрым даром, в деревенскую крепость — убежище, которое только бесстрашная решимость этой женщины не позволила захватить прежде, ибо более половины Детей в долине впервые увидели свет под его надежной защитой.

Семейство Мика проследовало в храм раньше него, и когда нога самого служителя переступила порог, вне стен не было видно ни одного человека. Монотонный и печальный звон колокола прекратился, и высокая сухопарая фигура пастора двинулась к своему обычному месту с видом человека, более чем наполовину уже сбросившего бремя телесной обузы. Он окинул паству испытующим и суровым взглядом, словно обладал инстинктивной способностью выявлять любого преступника, а когда уселся, в помещении воцарилась глубокая тишина, всегда предшествовавшая службе.

Когда священник затем обратил свое суровое лицо к пребывавшим в ожидании людям, оно выражало скорее

приверженность к неким мирским делам, чем то отсутствие плотского интереса, с каким он обыкновенно силился приблизиться к Творцу в молитве.

— Капитан Контент Хиткоут, — сказал он с важной суровостью после короткой паузы, дабы возбудить почтение, — некто, проделавший верхом путь через эту долину в день, посвященный Господу, сделал твое жилище местом своего привала. Есть ли у путника оправдание для такого пренебрежения днем отдохновения и находишь ли ты достаточно основательной причину, чтобы позволить незнакомцу под твоей кровлей пренебречь торжественным законом, данным на Горе?[101]

— Он едет по специальному предписанию, — отвечал Контент, почтительно поднявшийся, когда к нему обратились по имени таким образом, — ибо его поручение касается дела большой важности для благополучия колонии.

— Нет ничего более глубоко связанного с благополучием человека, живет ли он в этой колонии или в более высокомерных империях, чем почитание воли Божией, — возразил Мик, наполовину умиротворенный оправданием. — Таков должен быть путь для того, кто не только сам являет добрый пример, но и облечен властью, чтобы отнестись с недоверием к ссылкам на необходимость, которая может оказаться всего лишь воображаемой.

— Причина будет объявлена людям в надлежащий момент, ибо более мудрым будет умолчать о существе поручения гонца, пока не состоится богослужение, дабы не примешивать к нему преходящие обстоятельства.

— В этом ты поступил благоразумно, ибо раздвоение духа приносит мало радости. Я надеюсь, что имеется

столь же уважительная причина, почему не все твои домашние в храме вместе с тобой.

Несмотря на обычное самообладание Контента, он не без волнения обратился к этой теме. Бросив подавленный взгляд на пустующее место, где та, которую он так сильно любил, имела привычку молиться рядом с ним, он сказал, явно стараясь выдержать в голосе свою обычную невозмутимость:

— Этот день пробудил под моей кровлей сильнейший интерес, и, возможно, поэтому искушенные души пренебрегли воскресным долгом. Если мы грешны в этом, я надеюсь, что Он, который благосклонно смотрит на кающегося, простит! Та, о ком ты говоришь, потрясена силой вновь разбуженной скорби. Хотя ее душа полна желания, слабое и сломленное тело неспособно сделать усилие, чтобы явиться сюда, пусть это и дом Господа.

Даже дыхание прихожан не нарушило такое беспримерное проявление власти пастора. Любой случай необычного характера привлекал внимание жителей столь отдаленной деревни, но здесь был и глубокий домашний интерес, связанный с нарушением обычая, а фактически закона, причем все это подогревалось тайным воздействием, побуждающим нас прислушиваться с особым удовлетворением к тем чувствам в других, которые, как полагают, естественно хотеть скрыть. Ни единое слово, сорвавшееся с губ пастора или Контента, ни глубоко суровый тон первого, ни подчеркнутый оттенок вызова со стороны последнего не ускользнули от самого глухого уха в этом собрании. Несмотря на серьезный вид, присущий всем, нет нужды говорить, какое удовольствие доставило маленькое нарушение этой сцены, впрочем далеко не представлявшей чего-то необычного в общине, где не только считали, что духовная власть может распространяться на самые интимные семейные

отношения, но где весьма немногие домашние интересы считались настолько исключительными или личные чувства столь священными, чтобы очень большая часть соседей не могла претендовать на широкое участие в тех и других. Преподобный мистер Вулф удовлетворился объяснением и, дав пройти достаточному времени, чтобы души прихожан вновь настроились на нужный лад, продолжил обычную утреннюю службу.

Нет надобности подробно излагать хорошо известную манеру религиозных отправлений пуритан. Их формы и содержание в достаточной мере передались нам, чтобы сделать и манеру, и учение знакомыми большинству наших читателей. Поэтому мы ограничим свою задачу рассказом лишь о части церемонии (если то, что упорно избегало всякого подобия формы, можно так назвать), имеющей непосредственную связь с событиями.

Пастор совершил краткую вступительную молитву, прочел отрывок из Священного Писания, продекламировал стихи псалма и вместе со всеми объединился в странной гнусавой мелодии, с помощью которой его паства силилась сделать молитву вдвойне приятной, а закончил свое долгое и усердное духовное ристалище прозаическим обращением к Богу минут на сорок, причем сделал прямой намек не только на субъекта своего недавнего допроса, но и на разные прочие семейные интересы своих прихожан — и все это без какого-либо отступления от обычного рвения с собственной стороны или от привычного внимания и полного соблюдения приличий со стороны паствы. Но когда он поднялся во второй раз, чтобы прочесть другую песнь хвалы и благодарения, в центре главного прохода появилась фигура, привлекшая всеобщее внимание как своим нарядом и обликом, так и необычным и непочтительным опозданием. Нарушения

такого рода были редкими, и даже столь опытный и погруженный в свои мысли священнослужитель остановился на минуту, прежде чем продолжить песнопение, хотя среди более грамотных из его прихожан пробежало подозрение, что звучная версия явилась излиянием его собственного вдохновения.

Нарушителем был Уиттал Ринг. Слабоумный молодой человек сбежал из-под крова сестры и направился в то общее прибежище, где собралось большинство деревни. Во время его прежнего проживания в долине здесь не было храма, и здание, его внутреннее обустройство, лица тех, кого он вместил, и дело, ради которого они собрались, явились одинаково незнакомыми для него. Только когда люди возвысили голоса в хвалебном песнопении, на его равнодушном лице можно было уловить редкие проблески давних воспоминаний. Затем он в самом деле проявил некоторый восторг, какой мощные звуки могут пробудить даже в существах такого несчастного душевного состояния. Однако, поскольку он удовольствовался тем, что остался в отдаленной части прохода, вслушиваясь в песнопение с тупым восхищением, то даже степенный лейтенант Дадли, чьи глаза пару раз, казалось, сделались злыми от неудовольствия, не увидел необходимости вмешаться.

Мик выбрал в тот день для своей проповеди отрывок из Книги Судей:

«Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Мадианитян[102] на семь лет». С этим текстом хитроумный проповедник обошелся властно, обильно вторгаясь в таинства и аллегорические намеки, которые столь часто бывали в ходу в те времена. Каким бы образом он ни рассматривал тему, он находил основание уподобить страдающих, потерявших близких

и тем не менее избранных жителей колонии народу евреев. Если они и не были выделены и отмечены перед всеми другими на земле, дабы некто более могущественный, чем человек, мог выйти из их лона, то были уведены в эту отдаленную глушь подальше от искушений развратной роскоши или суетного духа тех, кто строит здание своей веры на песках преходящих почестей, чтобы сохранить в чистоте Слово. Поскольку для самого проповедника не существовало причины не доверять толкованию слов, которые он цитировал, было очевидно, что большинство слушателей охотно соглашались с таким утешительным аргументом.

При ссылке на мадианитян проповедник был гораздо менее внятен. То, что в этом намеке так или иначе подразумевался великий Отец зла, сомневаться не приходилось, но каким образом избранные жители этих областей были обречены ощущать его пагубное влияние, оставалось не столь ясным. По временам жадный слух тех, кого долго взвинчивало впечатление, будто ежедневно пред их очами предстают зримые проявления гнева или любви Провидения, ласкало радостное убеждение и вера в то, что война, бушевавшая тогда вокруг них, имеет целью подвергнуть испытанию их моральную броню и что их триумфальные победы послужат к чести и безопасности Церкви. Затем пошли двусмысленные оговорки, поставившие под вопрос, не является ли возвращение нечистой силы, которая, как было известно, вовсю орудовала в провинциях, ожидаемым судилищем. Не следует полагать, что сам Мик имел совершенно ясное умственное понятие по этому тонкому вопросу, ибо было нечто от туманной галлюцинации в том, как он толковал его, как будет видно из заключительных слов.

— Вообразить, что Азазелю приятно смотреть на долготерпение и стойкость избранного народа, — заявил он, — означает думать, будто самая суть

праведности может обретаться в мерзости обмана. Мы уже видели на многих трагических примерах, как ярится его завистливый дух. Если требуется поднести к вашим глазам предостерегающий сигнал, по которому можно узнать присутствие этого вероломного врага, я должен сказать словами человека сведущего и искушенного в этих хитростях, что «когда некое лицо в здравом уме осознанно и заведомо стремится искать и обрести от дьявола или любого другого бога, помимо истинного Бога Иеговы, способность делать или знать вещи необыкновенные, до которых он не может дойти своими собственными человеческими способностями», тогда он может растерять дарованное ему и должен дрожать за свою душу. И — о, братья мои! Сколь многие из вас цепляются в эту самую минуту за подобные трагические заблуждения и поклоняются вещам мирским, вместо того чтобы насыщаться голодом пустыни, который есть пища тех, что будут жить вечно! Возденьте очи свои горе, братья мои…

— Лучше обратите их к земле! — прервал глубокий властный голос из главного нефа церкви. — Имеется насущная нужда во всех ваших способностях, чтобы спасти жизнь и даже чтобы сохранить храм Господень!

Религиозные бдения составляли отдохновение жителей в этом отдаленном поселении. Когда они встречались совместно, чтобы облегчить жизненные тяготы, молитва и хвалебные песнопения служили одним из обычных и допустимых развлечений. Для них проповедь была подобна веселому сценическому представлению в других, более суетных общинах, и никто не внимал Слову холодно и равнодушно. Буквально повинуясь приказу проповедника и в согласии с его поведением, все глаза в собрании были обращены к голым стропилам кровли, когда незнакомые звуки голоса того, кто заговорил, рассеяли временное помрачение. Нет надобности говорить, что все

задвигались и стали искать объяснение этому неожиданному призыву. Пастор потерял дар речи равным образом от удивления и от возмущения.

Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы убедить всех присутствующих, что речь, похоже, пойдет о новых и важных событиях. Неизвестный сурового вида со спокойным, но проницательным взглядом стоял рядом с Уитталом Рингом. Его одежда была простого покроя и из ткани местной выделки. Однако его экипировка свидетельствовала о достаточном знакомстве с войнами Восточного полушария, чтобы поразить чувства. Его рука была вооружена сверкающим палашом, какие тогда использовались кавалеристами Англии, а за его спиной висел короткий карабин человека, воевавшего в седле. Его лицо отличало выражение достоинства и даже властности, и не было необходимости в повторном взгляде, чтобы увидеть, что по характеру незваный гость решительно отличается от гримасничающего юродивого, стоящего рядом с ним.

— Почему человек неизвестной внешности явился мешать богослужению в храме? — вопросил Мик, когда изумление вернуло ему дар речи. — Трижды этот святой день был осквернен стопой постороннего, и поневоле возникает сомнение, а не живем ли мы под воздействием сил зла.

— К оружию, люди Виш-Тон-Виша! К оружию и на свою защиту!

Снаружи раздался крик, который, казалось, прокатился по всей долине, а затем тысячный вопль разнесся под сводами леса и словно слился в один враждебный грохот над обреченной деревней. То были звуки, которые слышались слишком часто или слишком часто описывались, чтобы их не понял каждый. Последовала сцена дикой суматохи.

Все мужчины при входе в церковь оставляли свое оружие у дверей, и большинство отважных жителей пограничья устремились туда, чтобы завладеть им. Женщины собрали детей возле себя, и сквозь привычную сдержанность начали прорываться крики ужаса и тревоги.

— Тише! — воскликнул пастор, явно возбужденный до степени, превосходящей человеческие чувства. — Прежде чем мы разойдемся, вознесем голос к нашему небесному Отцу. Молитва будет такой же силы, как если бы тысяча солдат сражалась ради нас!

Суматоха улеглась так внезапно, словно повеление исходило из того места, куда надлежало обратить их молитву. Даже незнакомец, следивший за приготовлениями суровым, но тревожным взглядом, склонил голову и, казалось, от всего сердца присоединился к молитве.

— Боже! — воскликнул Мик, протягивая свои худые руки с ладонями, простертыми высоко над головами паствы. — По твоей воле мы уходим. С твоей помощью врата ада не поглотят нас. Твое милосердие вселяет надежду на небесах и на земле. Ради твоей скинии мы проливали кровь. Ради твоего Слова мы боремся. Сразись за нас, о Царь Царей! Пошли свои небесные легионы нам в помощь, чтобы победная песнь воскурилась фимиамом над твоими алтарями, а ушей врага достигла мерзкая хула. Аминь!

Такая сила была в голосе оратора, такое сверхъестественное спокойствие в тоне и такая огромная вера в поддержку могущественного союзника, которому молились, что эти слова дошли до сердца каждого. В людях не могло не быть силы характера, но высокий и вдохновляющий энтузиазм далеко превосходил ее влияние. Таким вот образом разбуженные зовом чувств, которые никогда не умирали, и руководимые всеми побудительными

Жизненными интересами, люди высыпали из храма на защиту личности и домашнего очага и, как они верили, религии и Бога.

Обстоятельства настоятельно потребовали не только подобного рвения, но и всей физической энергии самых решительных из них. Зрелище, представшее их глазам по выходе на открытый воздух, могло привести в ужас воинов более опытных и парализовать усилия людей, менее подверженных влиянию религиозного экстаза.

Темные фигуры мелькали в полях на склонах холмов. И всюду можно было видеть, как вниз по склонам, ведущим к долине, вооруженные дикари неистово мчатся вперед по тропе разрушения и мести. Вслед за ними уже пошли в ход огонь и нож, ибо бревенчатый дом, амбары и отдельно стоящие постройки Рейбена Ринга и некоторых других, живших на краю поселения, выбрасывали клубы густого дыма, среди которых яростно сверкали разветвленные и злобные языки пламени. Но самая большая опасность угрожала вблизи. Длинная цепь жестоких воинов рассыпалась даже по лугам. И в каком бы направлении ни обращался взор, он встречал страшное подтверждение, что деревня полностью окружена превосходящими силами врагов.

— В укрепление! — Закричал кто-то из тех, что были впереди и первыми увидели характер и неизбежность опасности, сами бросившись вперед в направлении укрепленного дома. — В укрепление, а не то мы пропали!

— Стойте! — воскликнул голос, такой непривычный для ушей большинства услыхавших его, но своей силой и твердостью заставлявший повиноваться. — С этим безумным беспорядком мы и вправду пропадем. Пусть капитан Контент Хиткоут придет ко мне на совет.

Несмотря на то, что суматоха и сумятица теперь в самом деле начали страшным образом бушевать вокруг него, спокойное и владеющее собой лицо, наделенное законным и, вероятно, моральным правом приказывать, не утратило своего обычного хладнокровия. По тому, как Контент сперва с большим удивлением смотрел на неизвестного при неожиданном вторжении того в церковную службу, и по взглядам тайного взаимопонимания и признания, которыми они обменялись, было ясно, что они встречались ранее. Но было не время для приветствий или объяснений и не тот случай, чтобы терять даром драгоценные минуты в бесполезных спорах по поводу того или иного мнения.

— Я здесь, — отозвался тот, кого таким образом позвали, — и готов вести людей, куда укажут твое благоразумие и опыт.

— Поговори с людьми и раздели бойцов на три отряда равной силы. Один двинется вперед к лугам и отбросит дикарей, прежде чем они окружат дома за частоколом. Второй будет сопровождать слабых и малых на пути к укрытиям. А с третьим… Но ты знаешь, что бы я сделал с третьим. Поторопись, а не то мы потеряем все из-за медлительности.

Наверно, это было везение, что столь необходимые и неотложные распоряжения были даны человеку, не привыкшему к излишней говорливости. Не выразив ни почтительности, ни несогласия, Контент повиновался. Привыкшие к его авторитету и сознавая критическое положение всего, что было им дорого, мужчины деревни выказали более спорое и действенное повиновение, чем обычно можно встретить у солдат, не знакомых с навыками дисциплины. Боеспособных мужчин быстро разделили на три отряда, состоявших из более чем двух десятков бойцов в каждом. Один, под командой Ибена Дадли, за короткое время продвинулся к лугам в тылу крепости, чтобы остановить вопящий

отряд дикарей, уже угрожавший отрезать отступление женщинам и детям, в то время как другой отправился в почти противоположном направлении по улице деревни с целью встретить тех, которые продвигались по южному входу в долину. Третий, и последний, из этих малочисленных, но самоотверженных отрядов остался на месте в ожидании более точных приказов.

В тот момент, когда первое из этих малых подразделений военной силы было готово выступить, перед ним появился священнослужитель с видом, странным образом сочетавшим духовную надежду на цели Провидения и некоторую демонстрацию мирской решимости. В одной руке он нес Библию, воздетую ввысь, как священный стяг своих последователей, а другой воинственно размахивал коротким палашом в доказательство того, как опасно столкнуться с его клинком. Книга была раскрыта, и через короткие промежутки проповедник громким и взволнованным голосом зачитывал те места, на которые случайно падал его взгляд, а разлетавшиеся страницы представляли довольно примечательную мешанину доктринерства и чувства. Но к этим мелким моральным несуразностям и пастор, и его прихожане оставались одинаково равнодушными, ибо их тонкие духовные упражнения породили тенденцию умело примирять все явные расхождения, так же как и приспосабливать самые отвлеченные доктрины к более знакомым жизненным интересам.

— Израиль и филистимляне вступили в сражение в боевом порядке — войско против войска, — начал Мик, когда отряд, который он возглавил, выступил в поход. Затем, зачитывая с короткими промежутками, продолжал: — Смотрите, я сделаю так в Израиле, что зазвенит в обоих ушах каждого, кто услышит… О, дом Аарона, верь в Господа; он твоя опора и твой щит… Избави меня, о Господи, от злого человека; охрани меня

от насильника… Пусть горящие уголья падут на них; да будут они брошены в огонь, в глубокие ямы, дабы снова не поднялись… Да попадут злокозненные в собственные сети, и пусть я избегну этого… За то мой отец любит меня, что я кладу свою жизнь, чтобы я мог взять ее снова… Тот, кто ненавидит меня, ненавидит и отца моего… Отец, прости им, ибо не ведают, что творят… Они слыхали, что сказано: око за око и зуб за зуб… Ибо Иисус не отвел руку свою, которой он направлял копье, пока не истребил совершенно всех жителей Аи…

До этого места слова Мика были слышны тем, кто оставался, но вскоре расстояние смешало звуки. Затем не стало слышно ничего, кроме воплей врагов, топота людей, теснившихся позади священника, демонстрируя во всей красе воинскую выправку, насколько позволяли их ограниченные средства, и тех чистых высоких голосов, которые отдавались в ушах и усиливали прилив крови к сердцам следовавших за ним, как будто их выдували трубы. Еще через несколько минут маленький отряд рассыпался по полям, и грохот огнестрельного оружия сменил странную и характерную манеру их марша.

Пока впереди производился этот маневр, отряд, которому было приказано прикрыть деревню, не бездействовал. Под командой здорового йомена[103], исполнявшего обязанности лейтенанта, он продвинулся с меньшим религиозным пылом, но не менее энергично в южном направлении. И вскоре стали слышны звуки боя, возвещая как о своевременности принятых мер, так и о накале конфликта.

Тем временем такую же решимость, хотя и умеряемую некоторыми обстоятельствами глубоко личной заинтересованности, проявили те, кто был оставлен перед церковью. Как только отряд Мика

отошел на расстояние, которое гарантировало безопасность тем, кто за ним последовал, незнакомец приказал отвести детей в укрепленный дом. Эту обязанность выполнили дрожащие матери, которых с трудом убедили подчиниться только тогда, когда более холодные головы заявили, что подходящий момент наступил. Несколько женщин рассеялись среди жилищ в поисках немощных, а все подростки пригодного возраста были энергично заняты переноской необходимых товаров из деревни внутрь частокола. Поскольку эти несколько операций проходили одновременно, то протекло совсем немного минут с момента, когда приказы были отданы, до момента, когда они были выполнены.

— Я подразумевал, что ты будешь действовать на лугах, — сказал неизвестный Контенту, когда было исполнено все, кроме того, что оставили за последним из трех маленьких отрядов боеспособных мужчин. — Но поскольку в той стороне дело здорово продвигается, мы выступим совместно. Почему эта девица мешкает?

— По правде, я не знаю, разве только из страха. Марта, здесь есть проход, чтобы ты попала в форт с другими женщинами.

— Я пойду вслед за бойцами, готовыми двинуться на спасение тех, кто остался в нашем доме, — сказала девушка тихим, но твердым голосом.

— А откуда ты знаешь, что именно такое задание предусмотрено для тех, кто здесь построился? — спросил незнакомец, выказывая некоторое недовольство тем, что о его боевых планах стало известно.

— Я вижу это по лицам тех, кому не терпится, — ответила девушка, бросая исподтишка взгляд на Марка, который, стоя в маленькой шеренге, с трудом переносил задержку, грозившую таким большим риском дому его отца и тем, кто в нем находился.

— Вперед! — крикнул незнакомец. — Сейчас нет времени на препирательства. Пусть девица возьмется за ум и поспешит в форт. За мной, мужчины с твердым сердцем, а не то мы придем на помощь слишком поздно.

Марта подождала, пока отряд сделает несколько шагов, а затем, вместо того чтобы подчиниться повторному приказу позаботиться о собственной безопасности, пошла в том же направлении, что и вооруженный отряд.

— Боюсь, что наших сил не хватит, — заметил незнакомец, шагавший впереди рядом с Контентом, — чтобы уберечь дом на таком большом расстоянии без дальнейшей помощи.

— Все-таки тяжким будет испытание, которое заставит нас во второй раз искать в полях место для отдохновения. Каким образом ты получил предупреждение об этом нападении?

— Дикари воображали, что укрылись в укромном месте, но, как ты знаешь, там у меня есть возможность высмотреть их проделки. Провидение присутствует в наших самых искренних расчетах: томительные годы заключения обрели свою награду в этом предупреждении!

Контент как будто согласился, хотя и не очень охотно, но положение дел не позволило вести разговор более подробно.

Подойдя ближе к дому Хиткоутов, они, разумеется, получили большую возможность наблюдать, как обстоит дело в доме и вокруг него. Расположение здания сделало бы отчаянно рискованной любую попытку со стороны находившихся в нем добраться до форта, прежде чем подойдет подкрепление, так как луга, лежавшие между ними, уже кишели свирепыми воинами врага. Но было ясно, что Пуританин, чья дряхлость постоянно держала его внутри дома, не

вынашивал такого плана, ибо четко было видно, что люди внутри позакрывали и заперли окна жилища и что энергично готовились другие меры защиты. Чувства Контента, знавшего, что в доме находятся только его жена и отец с единственной женщиной-помощницей, были напряжены до крайности, когда отряд под его командой подтянулся ближе по одну сторону примерно на том же расстоянии, как и отряд врагов, продвигавшихся по диагонали из леса по другую сторону. Он видел усилия тех, кто был ему так дорог, прибегнуть к средствам безопасности, заготовленным, чтобы отбить настоящую опасность, которая теперь угрожала. И его глазам представлялось, что трясущиеся руки Руфи потеряли свою силу после того, как поспешность и сумятица не раз сводили на нет ее старания.

— Мы должны прорваться и атаковать, иначе дикари окажутся проворнее нас! — сказал он голосом, звучавшим хрипло из-за дыхания, участившегося более, чем следовало для человека с его спокойным темпераментом. — Гляди, они входят в сад! Через минуту они будут хозяевами дома!

Но его товарищ шел твердым шагом и смотрел холодным взглядом. Это был понимающий взгляд человека, хорошо знакомого с внезапной опасностью, а лицо выражало властность привыкшего приказывать.

— Не бойся, — ответил он. — Если искусство старого Марка Хиткоута не покинуло его, он знает, как защитить свою крепость от первого приступа. А если мы расстроим наш порядок, то утратим превосходство согласованных действий и, поскольку нас мало, поражение будет неизбежным. Но в этой позиции и при должной стойкости им не удастся нас отбить. Тебе, капитан Контент Хиткоут, не нужно говорить, что тот, кто сейчас советует, видывал стычки с дикарями и до этого часа.

— Я хорошо это знаю... Но разве ты не видишь, как моя Руфь возится со злополучным ставнем комнаты? Женщину убьют из-за ее беспечности, ибо... Смотри! Враг начинает залповую стрельбу!

— Нет, это тот, кто водил мой отряд в совсем другой войне! — воскликнул незнакомец, чья фигура выпрямилась и чьи озабоченные и глубоко прорезанные морщинами черты приобрели выражение, подобное суровой радости, которая вспыхивает в солдате, когда звуки сражения становятся сильнее. — Этот старый Марк Хиткоут верен своим манерам и своему имени! Он выставил кулеврину[104] против ножей! Смотри, они уже готовы отстать от человека, говорящего так смело, и прорываются через заборы влево, так что мы можем проверить, каков-то их характер. Итак, храбрые англичане, у вас сильная рука и гордое сердце, вы поднаторели в выполнении своего долга, и у вас не будет недостатка в примере. Ваши жены и дети смотрят на ваши подвиги. А наверху есть Тот, кто берет на заметку, как вы несете службу в этом деле. Вот проход: покажите свою сноровку!

ГЛАВА XXIII

Гектор: Кто это говорит? Ахилл?
Ахилл: Ахилл!
Гектор: Так подойди! Дай разглядеть тебя!
«Троил и Крессида»[105]

Теперь, вероятно, следует бросить беглый взгляд на общую картину сражения, разгоравшегося в разных частях долины. Отряд, ведомый Дадли и воодушевляемый Миком, сломал свой строй, достигнув лугов позади форта, и, укрываясь за пнями и заборами, бросился в огонь, одолевая неорганизованную шайку, хлынувшую в поля. Это решение вскоре вызвало перемену в манере наступления. Индейцы, в свою очередь, прибегли к помощи укрытий, и сражение приняло тот беспорядочный, но опасный характер, когда решимость и силы человека подвергаются самому суровому испытанию. Успех казался шатким: белые люди то увеличивали расстояние между собой и своими друзьями в доме, то отступали, словно были готовы укрыться за частоколом. Хотя численный перевес был по большому счету на стороне индейцев, оружие и умение служили подспорьем для их противников. Было очевидно желание первых разделаться с маленьким отрядом, противостоявшим их продвижению к деревне, внутри и вокруг которой они видели ту картину лихорадочных усилий, что была уже описана, — зрелище, вряд ли способное охладить яростный пыл наступления индейцев. Но осмотрительность, с которой Дадли руководил боем, делала это чрезвычайно рискованным экспериментом.

Однако каким бы тугодумом ни казался лейтенант в иных обстоятельствах, в данном случае он был способен проявить свои лучшие и самые смелые качества. Будучи высокого роста и мощного телосложения, он ощущал в моменты напряжения всех сил степень уверенности в себе, соизмеримую с присущей ему физической силой. К этой твердой уверенности следовало добавить немалую долю своего рода воодушевления, способного пробудиться в груди самого ленивого человека и, подобно гневу человека уравновешенного, служащего всего лишь более сильным выражением обычно безобидных привычек. Тем более что это был не первый из многочисленных воинских подвигов лейтенанта Дадли. Помимо отчаянного дела, уже изложенного на этих страницах, он участвовал в различных вылазках против аборигенов и во всех случаях обнаруживал холодную голову и решительный характер.

Настоятельная необходимость в обоих этих существенных качествах выявилась в ситуации, в которой теперь оказался лейтенант. Благодаря правильной расстановке своих небольших сил и в то же время их взаимодействию, а также учитывая осмотрительность врагов в использовании прикрытий и сохраняя часть огневой мощи по всей разорванной, но все же достаточно упорядоченной линии, удалось наконец отогнать дикарей обратно от одного пня до другого, от кочки до кочки и от забора до забора, пока они и вовсе не убрались на опушку леса. Опытный глаз жителя пограничья определил, что далее преследовать их он не может. Многие из его людей истекали кровью и теряли силы, поскольку раны еще кровоточили. Под защитой деревьев враг получал слишком большое преимущество для укрепления своей позиции, и поражение стало бы неизбежным следствием рукопашного боя, который завязался бы после ружейного залпа. На этой стадии боя Дадли стал

бросать тревожные и вопрошающие взгляды назад. Он видел, что поддержки ждать не приходится, а также с огорчением видел, что многие женщины и дети все еще заняты перетаскиванием необходимого из деревни в форт. Отойдя за более надежную линию прикрытий и на расстояние, уменьшавшее опасность попадания в цель стрел — оружие, используемого не менее чем двумя третями врагов, он выжидал в угрюмом молчании подходящий момент, чтобы осуществить дальнейшее отступление.

В то время как отряд Дадли пребывал таким образом в безвыходном положении, яростный вой разнесся под сводами леса. То были клики радости, издаваемые в дикарской манере этих людей, как будто обитателей лесов воодушевил какой-то неожиданный и всеобщий порыв восторга. Скорчившиеся йомены с тревогой смотрели друг на друга, но, не видя никаких признаков колебаний в решительном выражении лица своего предводителя, каждый вел себя сдержанно, выжидая какого-нибудь дальнейшего прояснения замысла врагов. Не прошло и минуты, как на опушке леса появились два воина, где и остались стоять, по-видимому обозревая сцены, разворачивавшиеся в разных частях долины. Не один мушкет был наготове, чтобы поразить их, но знак, поданный Дадли, предотвратил эти попытки, которые, вероятнее всего, были бы сорваны благодаря никогда не дремлющей бдительности североамериканских индейцев.

Однако было что-то во внешности и манере держаться этих двух человек, что заставило Дадли проявить выдержку. Оба явно были вождями, и гораздо более высокого ранга, чем обычно. По обычаю военных предводителей индейцев они были также людьми крупной и властной осанки. На расстоянии, с которого их можно было разглядеть, один представлялся воином, достигшим зенита своих лет, тогда как другого

отличали более легкая поступь и более гибкие движения, свойственные человеку, который гораздо моложе. Оба были хорошо вооружены и по обычаю людей их происхождения, когда те вступали на тропу войны, одеты только в обыкновенную убогую накидку до талии и ноговицы. Однако на первом был ярко-красный, а на втором — богатый плащ с бахромой, ярких цветов и с индейским орнаментом. Старший из двух носил вокруг головы нарядную повязку-вампум из раковин в форме тюрбана, а на голове более молодого не было видно ничего, кроме традиционной для знатного воина пряди волос на бритой голове.

Совещание, как и в большинстве случаев, о которых уже было рассказано, заняло всего несколько минут. Старший из вождей отдал несколько приказов. Ум Дадли лихорадочно старался предугадать их характер, когда оба разом исчезли. Лейтенант остался бы целиком во власти зыбких предположений, если бы быстрое исполнение приказов, отданных самому молодому из индейцев, вскоре не оставило у него сомнения относительно их намерений. Еще раз громкий и общий крик привлек его внимание к правой стороне. И пока он старался усилить свою позицию, призвав трех или четырех из лучших стрелков на тот конец своего маленького строя, стало видно, как младший из вождей мчится по лугам, ведя за собой цепь вопящих воинов к прикрытиям, господствовавшим над их противоположным краем. Короче, позиция Дадли полностью переменилась, а пни и углы заборов, за которыми укрывались его люди, похоже, в дальнейшем грозили стать бесполезными. Критическая ситуация требовала решения. Собрав своих йоменов, прежде чем у врага было время воспользоваться своим преимуществом, лейтенант приказал быстро отступать к фор ту. В этом маневре ему благоприятствовал характер почвы — обстоятельство, которое было удачно

учтено при наступления' И через несколько минут отряд оказался под надежной зашитой рассыпного огня из-за частокола, тотчас же пресекшего преследование со стороны вопящего и ликующего врага. Раненые, после стойкой или скорее упрямой задержки, которая должна была показать несокрушимую решимость белых, отошли в укрепления за помощью, оставив команду Дадли лишившейся почти половины своей численности. С этими сократившимися силами, однако, он своевременно переключил свое внимание на помощь тем, кто сражался на противоположном конце деревни.

Мы уже упоминали о том, как кучно дома нового поселения теснились один возле другого в начале обустройства колоний. Вдобавок к более очевидному и достаточному мотиву, породившему то же самое неудобство и неприглядную манеру строительства в девяти десятых континентальной Европы, было найдено и религиозное обоснование следования обычаю. Один из законодательных актов пуритан гласил, что «никто не поставит свое жилое здание на расстоянии более полумили или самое большее мили от собрания общины, где церковь обычно собирает прихожан для молений Господу». «Укрепление почитания Господа членами церковных приходов» — такова была причина, приводимая в объяснение этого произвольно принятого закона. Но вполне вероятно, что еще одной причиной было желание предотвратить опасность более мирского характера. Внутри форта находились люди, верившие, что разрушения в виде дымящихся кольев, что виднелись тут и там в вырубках на холмах, накликаны пренебрежением той защитой, которая, как полагали, даруется тем, кто опирается с наибольшим доверием даже при совершении мирских сделок на поддерживающую силу всевидящего и всенаправляющего Провидения. К их числу принадлежал и Рейбен Ринг, смирившийся с потерей

своего жилища, как с заслуженным наказанием за легкомыслие, ввергнувшее его в искушение построить дом на самой границе предписанного расстояния.

Когда отряд Дадли отступал, этот йомен стоял у окна комнаты, где в безопасности поселили его плодовитую половину с ее недавним даром, ибо в момент сумятицы муж был вынужден выполнять двойную обязанность — караульного и няньки. Он как раз разрядил свое ружье, имея основание думать, что с успехом, по врагам, подобравшимся слишком близко к отступающему отряду, и, перезарядив оружие, направил печальный взгляд на кучку дымящихся углей, лежавшую теперь там, где так недавно стоял его скромный, но удобный дом.

— Боюсь, Эбанденс, — сказал он со вздохом, покачав головой, — что произошла ошибка при измерении расстояния между молитвенным домом и вырубкой. Кое-какие опасения насчет правильности протягивания мерной цепи через ложбины приходили мне в голову в свое время, но славный холмик, где стоял дом, был таким удобным и полезным для здоровья, что если то и был грех, я надеюсь, что он простителен! Ведь он значит не больше, чем самое малое из бревен, которые огонь не превратил в белую золу!

— Подними меня, муженек, — отвечала жена слабым голосом, естественным при ее болезненном состоянии, — подними меня своей рукой, чтобы я смогла взглянуть на место, где мои дети впервые увидели свет.

Ее просьба была выполнена, и с минуту женщина смотрела в немой печали на разорение своего уютного жилища. Затем, когда снаружи разнесся новый вопль со стороны врага, она задрожала и с материнской нежностью повернулась к ничего не ведающим созданиям, спавшим возле нее.

— Твоего брата язычники загнали к подножию частокола, — заметил Рейбен, на миг взглянув на свою

половину с нежностью мужчины, — и он недосчитался многих раненых.

Последовала короткая, но красноречивая пауза. Женщина обратила свои полные слез глаза вверх и, протянув бескровную руку, ответила:

— Я знаю, что ты сделаешь... Не полагается, чтобы сержант Ринг был сиделкой при женщине, когда враги-индейцы на полях по соседству! Ступай и выполни свой долг, и то, что следует сделать, сделай как мужчина! И все же хочу тебе напомнить, как много тех, кому опорой твоя жизнь и кто нуждается в отцовской заботе.

Фермер сперва осторожно оглянулся, ибо этого требовали благочестивые и суровые нравы пуритан, но, видя, что девушка, время от времени входившая присмотреть за больной, отсутствует, наклонился и, прижав свои губы к щеке жены, бросил тоскливый взгляд на свое потомство, взвалил на плечо мушкет и спустился во двор.

Когда Рейбен Ринг присоединился к отряду Дадли, последний как раз отдал приказ идти на подмогу тем, кто все еще упорно защищал южный вход в деревню. Работы по обеспечению необходимыми запасами еще не были окончены, и в любом случае целью первостепенной важности было отстоять деревню от врага. Задача, однако, оказалась не такой трудной, как поначалу давали основание думать силы индейцев. Сражение к этому времени докатилось и до отряда во главе с Контентом, и, как следствие, индейцы были вынуждены иметь дело с раздельными силами. Сами постройки с заборами и домами, стоявшими на отшибе, тоже представляли собой многочисленные брустверы, и было ясно, что атакующие действуют с осторожностью и согласованностью, которые выдавали направляющую руку некоего ума, более одаренного, нежели обычно выпадает на долю людей нецивилизованных.

Задача Дадли стала не такой трудной, как раньше, поскольку противник перестал наступать ему навстречу, предпочтя следить за маневрами тех, кто удерживал укрепленный дом, чьей численности они не знали и чьих атак они явно опасались. Как только подкрепление достигло позиции лейтенанта, защищавшего деревню, тот скомандовал залп, и его люди двинулись вперед с криком и гамом, причем одни пели духовные песнопения, другие возвышали голоса в молитве, а некоторые воспользовались простыми и, вероятно, не менее действенными средствами, издавая звуки как можно страшнее. Все это подкреплялось энергичными и прицельными залпами мушкетов и обеспечило успех. Через несколько минут враг бежал, оставив ту сторону долины временно в безопасности.

Преследование было бы безрассудством. Выставив нескольких разведчиков в секреты, весь отряд возвратился с намерением отрезать врага, все еще удерживавшего луга близ гарнизона. Однако такие намерения потерпели неудачу. В тот момент, когда их потеснили, индейцы отошли, очевидно, с целью укрыться под защитой леса. А когда белые вернулись в свои укрепления, индейцы последовали за ними, чтобы показать, что те в дальнейшем не смогут маневрировать без риска подвергнуться серьезному нападению. В этих условиях люди в форте и вокруг него были вынуждены оставаться бездействующими зрителями сцены, которая разворачивалась вокруг «Дома Хиткоута», как обычно именовали жилище старого Марка.

Укрепленное здание было возведено для защиты деревни и ее жителей — цель, которую его расположение делало выполнимой. Но оно не могло оказать никакой помощи тем, кто действовал без поддержки стрелков из мушкетов. Единственным артиллерийским орудием, принадлежавшим поселению,

была кулеврина в распоряжении Пуританина, в данный момент послужившая, чтобы остановить продвижение врагов. Но восклицания незнакомца и его призыв к своим людям, завершивший последнюю главу, дали ясно знать, что атака на дом отбита и что дело кровавого свойства теперь предстояло тем, кем предводительствовали он и его соратник.

Земля вокруг дома Хиткоутов позволяла вести более плотный и более ожесточенный бой, чем те, что происходили на других участках поля битвы. Время дало садам разрастись, а благоденствие приумножило и сделало более безопасными огражденные участки и внешние строения. В одном из таких садов и сошлись враждебные отряды, придя к тому исходу, который предвидел воинственный незнакомец.

Контент, подобно Дадли, заставил своих людей разделиться, и они открыли огонь с той же бережной осмотрительностью, что и другой отряд. Успех снова сопутствовал усилиям более дисциплинированных, и белые люди постепенно отбросили врагов, пока не появилась вероятность, что удастся полностью оттеснить их на открытую местность с тыла, — успех, который был бы равносилен победе. Но в этот обещающий момент позади прыгающей и вопящей шайки, все еще мечущейся в разрывах дыма, напоминая множество темных и злобных призраков, справляющих свои дьявольские ритуалы, послышались крики. А затем, когда вождь с тюрбаном на голове, с внушающим ужас голосом и властной статью появился перед ними, вся изломанная линия индейцев получила импульс для броска вперед. Вопли удвоились. Еще один воин, размахивающий томагавком, стал виден на фланге, и вся плотная фаланга ринулась на белых, угрожая смести их подобно тому, как разбушевавшийся поток несет опустошение на своем пути.

— Люди, сомкните ряды! — прокричал незнакомец, пренебрегая укрытием и самой жизнью в момент столь неотложной крайности. — Сомкните ряды, христиане, и держитесь!

Приказ был повторен Контентом и передан из уст в уста. Но прежде чем люди с флангов сумели добраться до центра, удар был нанесен. Всякий порядок нарушился, бой пошел врукопашную, один отряд яростно сражался за победу, а другой знал, что стоит перед смертельной угрозой для своей жизни. После первого залпа мушкетов и свиста стрел, выпущенных из луков, бой продолжался на ножах и топорах. На колющий удар ножа или взмах острого и сверкающего томагавка следовал ответ в виде размашистых и сокрушающих ударов мушкетных прикладов либо удушающей хватки за горло руками, которые смыкались в смертельных тисках. Люди кучей валились друг на друга, а когда победитель поднимался, чтобы отбросить тела тех, кто задыхался у его ног, его хмурый взгляд наталкивался и на друга, и на врага. Сад звенел от воплей индейцев, а колонисты сражались в немом отчаянии. Угрюмая решимость покидала их только вместе с жизнью. И не раз случалось в тот ужасный день, что обычный пахучий знак победы индейца раскачивался перед мрачным и еще осмысленным взором искалеченной жертвы, с головы которой он был содран.

В этой страшной сцене бойни и жестокости главные персонажи нашей легенды не бездействовали. С молчаливым, но глубоким взаимопониманием незнакомец и Контент с сыном встали спина к спине и мужественно сражались против своей злосчастной судьбы. Первый показал себя солдатом не для парада, ибо, зная бесполезность приказов, когда каждый сражается за свою жизнь, он наносил мощные удары молча. Его примеру самоотверженно последовал

Контент, а юный Марк действовал со всей энергией своего возраста. Первый натиск врага был отбит, и на минуту появилась слабая перспектива выйти из сражения живыми. По подсказке незнакомца все трое двинулись в том же порядке к дому с намерением положиться на личную энергию после того, как выберутся из толчеи. Но в этот злополучный момент, когда надежда стала обретать черты вероятности, один из вождей скрытно пробрался через ужасающую сумятицу, выискивая повсюду какую-нибудь жертву своего занесенного топора. Толпа низших воинов шла по пятам за ним, и первый же взгляд показал осажденным, что наступил решающий момент.

При виде столь многих ненавистных врагов, все еще живых и способных страдать, общий торжествующий крик сорвался с губ индейцев. Их предводитель, как человек, возвышающийся над наиболее грубыми чувствами своих воинов, единственный приближался в молчании. Когда отряд разомкнулся и разделился, чтобы окружить жертвы, судьба свела его лицом к лицу с Марком. Подобно своему противнику, индейский вождь был еще в полном расцвете юной мужественности. По стати, возрасту и ловкости антагонисты выглядели равными. И когда воины вождя бросились на незнакомца и Контента, как люди, знающие, что их предводитель не нуждается в помощи, возникла полная вероятность жестокого боя с сомнительным исходом. Хотя ни один из бойцов не обнаруживал ни малейшего желания избежать схватки, ни один из них не спешил нанести первый удар. Живописец или, скорее, скульптор запечатлел бы позы этих молодых воинов, видя в этом прекрасную возможность показать силу своего искусства.

Марк, подобно большинству своих друзей, сбросил всю лишнюю одежду, прежде чем приблизиться к арене схватки. Верхняя часть его туловища была обнажена до

рубашки, и даже та разорвалась пополам в ожесточенных стычках, в которых земля вокруг дома Хиткоутов позволяла вести более плотный и более ожесточенный бой, чем те, что происходили на других участках поля битвы. Время дало садам разрастись, а благоденствие приумножило и сделало более безопасными огражденные участки и внешние строения. В одном из таких садов и сошлись враждебные отряды, придя к тому исходу, который предвидел воинственный незнакомец.

Контент, подобно Дадли, заставил своих людей разделиться, и они открыли огонь с той же бережной осмотрительностью, что и другой отряд. Успех снова сопутствовал усилиям более дисциплинированных, и белые люди постепенно отбросили врагов, пока не появилась вероятность, что удастся полностью оттеснить их на открытую местность с тыла, — успех, который был бы равносилен победе. Но в этот обещающий момент позади прыгающей и вопящей шайки, все еще мечущейся в разрывах дыма, напоминая множество темных и злобных призраков, справляющих свои дьявольские ритуалы, послышались крики. А затем, когда вождь с тюрбаном на голове, с внушающим ужас голосом и властной статью появился перед ними, вся изломанная линия индейцев получила импульс для броска вперед. Вопли удвоились. Еще один воин, размахивающий томагавком, стал виден на фланге, и вся плотная фаланга ринулась на белых, угрожая смести их подобно тому, как разбушевавшийся поток несет опустошение на своем пути.

— Люди, сомкните ряды! — прокричал незнакомец, пренебрегая укрытием и самой жизнью в момент столь неотложной крайности. — Сомкните ряды, христиане, и держитесь!

Приказ был повторен Контентом и передан из уст в уста. Но прежде чем люди с флангов сумели добраться

до центра, удар был нанесен. Всякий порядок нарушился, бой пошел врукопашную, один отряд яростно сражался за победу, а другой знал, что стоит перед смертельной угрозой для своей жизни. После первого залпа мушкетов и свиста стрел, выпущенных из луков, бой продолжался на ножах и топорах. На колющий удар ножа или взмах острого и сверкающего томагавка следовал ответ в виде размашистых и сокрушающих ударов мушкетных прикладов либо удушающей хватки за горло руками, которые смыкались в смертельных тисках. Люди кучей валились друг на друга, а когда победитель поднимался, чтобы отбросить тела тех, кто задыхался у его ног, его хмурый взгляд наталкивался и на друга, и на врага. Сад звенел от воплей индейцев, а колонисты сражались в немом отчаянии. Угрюмая решимость покидала их только вместе с жизнью. И не раз случалось в тот ужасный день, что обычный пахучий знак победы индейца раскачивался перед мрачным и еще осмысленным взором искалеченной жертвы, с головы которой он был содран.

В этой страшной сцене бойни и жестокости главные персонажи нашей легенды не бездействовали. С молчаливым, но глубоким взаимопониманием незнакомец и Контент с сыном встали спина к спине и мужественно сражались против своей злосчастной судьбы. Первый показал себя солдатом не для парада, ибо, зная бесполезность приказов, когда каждый сражается за свою жизнь, он наносил мощные удары молча. Его примеру самоотверженно последовал Контент, а юный Марк действовал со всей энергией своего возраста. Первый натиск врага был отбит, и на минуту появилась слабая перспектива выйти из сражения живыми. По подсказке незнакомца все трое двинулись в том же порядке к дому с намерением положиться на личную энергию после того, как

выберутся из толчеи. Но в этот злополучный момент, когда надежда стала обретать черты вероятности, один из вождей скрытно пробрался через ужасающую сумятицу, выискивая повсюду какую-нибудь жертву своего занесенного топора. Толпа низших воинов шла по пятам за ним, и первый же взгляд показал осажденным, что наступил решающий момент.

При виде столь многих ненавистных врагов, все еще живых и способных страдать, общий торжествующий крик сорвался с губ индейцев. Их предводитель, как человек, возвышающийся над наиболее грубыми чувствами своих воинов, единственный приближался в молчании. Когда отряд разомкнулся и разделился, чтобы окружить жертвы, судьба свела его лицом к лицу с Марком. Подобно своему противнику, индейский вождь был еще в полном расцвете юной мужественности. По стати, возрасту и ловкости антагонисты выглядели равными. И когда воины вождя бросились на незнакомца и Контента, как люди, знающие, что их предводитель не нуждается в помощи, возникла полная вероятность жестокого боя с сомнительным исходом. Хотя ни один из бойцов не обнаруживал ни малейшего желания избежать схватки, ни один из них не спешил нанести первый удар. Живописец или, скорее, скульптор запечатлел бы позы этих молодых воинов, видя в этом прекрасную возможность показать силу своего искусства.

Марк, подобно большинству своих друзей, сбросил всю лишнюю одежду, прежде чем приблизиться к арене схватки. Верхняя часть его туловища была обнажена до рубашки, и Даже та разорвалась пополам в ожесточенных стычках, в которых он уже побывал. Его мощная вздымающаяся грудь была оголена, позволяя видеть белую кожу и голубые вены человека, чьи предки пришли оттуда, где восходит солнце. Его напрягшаяся фигура опиралась на одну ногу, словно

припечатанную с вызовом, тогда как другая была выдвинута вперед, подобно рычагу, в ожидании встречного маневра. Его руки были отведены за спину, а ладони крепко сжимали ствол мушкета, грозившего смертью всякому, кто осмелится подойти на доступное ему расстояние. Голова, покрытая короткими вьющимися русыми волосами его саксонских предков, слегка выдвинулась вперед над левым плечом как будто для того, чтобы поддерживать тело в равновесии. Кровь прилила к лицу, губы были сжаты и решительны, жилы на шее и висках вздулись, едва не лопаясь, а глаза сузились, но их взгляд выражал одновременно чувства отчаянной решимости и восторженного удивления.

С другой стороны, индейский воин был человеком еще более примечательным. По обычаю своего народа он появился на поле битвы с голыми ногами и почти неприкрытым телом. Весь его облик изображал человека, приготовившегося к прыжку; и с точки зрения поэзии было бы позволительно сравнить его прямую и проворную фигуру с припавшим к земле ягуаром. Выставленная вперед нога поддерживала тело, сгибаясь не столько под его тяжестью, сколько благодаря свободной игре мускулов и сухожилий, а слегка наклоненная голова выступала немного вперед. Одна рука крепко ухватила черенок топора, лежавшего на одной линии с правым бедром, а другая твердо держала рукоять ножа из оленьего рога, пока еще подвешенного в ножнах у пояса. Выражение лица было серьезным, суровым и, может быть, немного жестоким, но все в целом смягчалось неколебимым и полным достоинства спокойствием вождя с незаурядным характером. Глаза, однако, смотрели пристально и сосредоточенно; и, подобно глазам юноши, чьей жизни он угрожал, казалось, особенно сузились от удивления.

Недолгая пауза, последовавшая за движением, с которым оба противника приняли красивые позы, была полна значения. Ни один не заговорил, ни один не позволил себе играть мускулами, ни один, казалось, даже не дышал. Заминка не была похожа на промедление, необходимое, чтобы приготовиться к бою, потому что каждый стоял, готовый к смертельному выпаду. Точно так же невозможно было проследить в сосредоточенной энергии лица Марка или в надменном и более искушенном выражении лица и глаз индейца что-либо похожее на нерешительность намерений. Чувство, чуждое этой сцене, казалось, владело ими обоими, деятельный мозг каждого бессознательно готовил себя к близкому кровавому поединку, в то время как неведомая сила души ненадолго сдерживала их.

Предсмертный вопль дикаря, сраженного у самых ног своего вождя ударом незнакомца, и ободряющий крик последнего разрушили кратковременное состояние транса. Вождь еще сильнее согнул ноги в коленях, навершие томагавка слегка приподнялось, лезвие ножа сверкнуло из ножен, а приклад мушкета Марка поддался предельному напряжению его сухожилий, когда рядом раздались крик и вопль, не похожие на любые, звучавшие в тот день до этого. В ту же минуту занесенное для удара оружие обоих бойцов замерло, хотя и благодаря воздействию совсем разных сил. Марк почувствовал, как чьи-то руки обхватили его с силой, достаточной, чтобы привести в смятение, хотя и не сломить, а в ушах прозвучал хорошо знакомый голос Уиттала Ринга:

— Бейте лживых и алчных бледнолицых! Они не оставят нам иной пищи, кроме воздуха, и иного питья, кроме воды!

С другой стороны, когда вождь обернулся в гневе, чтобы поразить того, кто посмел остановить его руку,

он увидел у своих ног коленопреклоненную фигуру, воздетые руки и смятенные черты Марты. Отведя удар, которым один из воинов уже приготовился лишить жизни молящую, он что-то быстро сказал на своем языке и указал на старавшегося освободиться Марка. Стоявшие рядом индейцы набросились на уже наполовину плененного юношу. Вопль привлек к этому месту еще сотню воинов, а затем в саду воцарилась тишина, такая внезапная и почти такая же пугающая, как предшествовавшая ей сумятица. За ней последовал продолжительный, ужасный и тем не менее полный значения вопль, которым американский воин возвещает о своей победе.

С окончанием схватки в саду звуки битвы прекратились по всей долине. Будучи свидетелями успеха своих врагов, люди в форте видели неизбежность гибели не только для себя, но и для тех немощных, кого они были бы вынуждены оставить без надежной защиты, попытайся они совершить вылазку из своего укрепления. Поэтому им пришлось остаться пассивными и печальными зрителями того зла, которое они не имели средств отвратить.

ГЛАВА XXIV

Да вправду ли мы их с тобой видали?
Не пьяного ли мы поели корня,
Который разум нам сковал?
«Макбет»[106]

Час спустя сцена представляла иную картину. Отряды врагов, которые в цивилизованной войне назвали бы группами наблюдения, выжидали при оружии на постах среди зданий или сохраняли свой строй у подножия частокола. Хотя работа по спасению ценностей продолжалась, было очевидно, что, как только первоначальный ужас миновал, хозяева деревни вновь стали обретать некоторую веру в свою способность противостоять врагу. Даже женщины сновали теперь по заросшим травой улицам более уверенно, а собранный внешний вид мужчин выражал решимость, рассчитанную на то, чтобы произвести впечатление на их диких и необузданных противников.

Но дом, внешние постройки и все принадлежности домашнего уюта, так недавно способствовавшие благополучию Хиткоутов, были полностью во власти индейцев. Распахнутые ставни и двери, разбросанная и полуразбитая мебель, картина опустошения, мусор и полное забвение всякого интереса к охране собственности говорили о разнузданном беспорядке успешного штурма. Однако дело разрушения и грабежа прекратилось. Хотя тут и там можно было видеть воина, украшенного согласно склонностям его дикарского вкуса и с личными вещами прежних обитателей дома, сила какой-то невидимой и необычной власти как будто удерживала всякую руку и усмиряла яростный норов победителей. Люди, которыми так недавно двигали

самые жестокие страсти нашей природы, оказались внезапно скованы, если не умиротворены. Не было того возбуждения от мстительной вседозволенности, какое обыкновенно сопровождает торжество индейцев, воины таились возле строений и по прилегающим участкам в молчании, хотя угрюмом и зловещем, но примечательном их характерной покорностью событиям.

Главные предводители нападения и все оставшиеся в живых после поражения были в сборе на террасе дома. Руфь, бледная, печальная и скорбящая о других больше, чем о себе, стояла немного в стороне, сопровождаемая Мартой и юной помощницей, чья несчастливая участь сулила ей быть застигнутой при выполнении своих обязанностей в этот полный событий день. Контент, пришелец и Марк находились вместе, подавленные и связанные, единственные оставшиеся в живых из всего отряда, который они так недавно вели в бой. Седые волосы и телесные недуги Пуританина избавили его от подобного унижения. Еще одним существом европейского происхождения среди присутствующих был Уиттал Ринг. Слабоумный медленно бродил среди пленников, иногда позволяя давним воспоминаниям и чувствам овладевать своим притуплённым умом, но чаще потешаясь над несчастными с бессердечием и злобой усыновившего его народа.

Вожди победоносной стороны стояли в центре, по всей видимости занятые обсуждением какого-то серьезного решения. Поскольку их насчитывалось всего несколько, было очевидно, что Совет включал только самых важных из них. Вожди более низкого ранга, но с великими именами в пределах ограниченной славы этих простых племен, общались группами среди деревьев или расхаживали по двору на почтительном расстоянии от своих совещавшихся начальников.

Даже самый несведущий глаз не мог ошибиться насчет личности того, кто обладал наиболее весомым авторитетом. Воин в тюрбане, уже представленный на этих страницах, занимал центр группы в спокойной и полной достоинства позе индейца, выслушивающего или дающего совет. Его мушкет нес человек, стоявший в ожидании, в то время как нож и топор вернулись на свое место на его поясе. Он набросил легкое одеяло, которое лучше было бы назвать плащом, ярко-красного цвета на свое левое плечо, откуда оно красиво ниспадало складками, оставляя всю правую руку свободной, а большую часть его широкой груди выставленной напоказ. Из-под этого плаща по капле медленно стекала кровь, окрашивая пол возле его ног. Выражение лица этого воина было суровым, хотя быстрые движения неустанных глаз выдавали большую работу ума не меньше, чем неуемную подозрительность. Человек, искусный в физиогномике, мог бы также подумать, что тень подавляемого недовольства боролась с хладнокровными привычками, ставшими частью характера этого индивидуума.

Два спутника, стоявшие ближе всех к вождю, были, как и он сам, людьми старше среднего возраста и с похожими выражением и чертами, хотя не так четко обозначенными и не обнаруживавшими признаков недовольства, время от времени мелькавших в глазах, которые, несмотря на столь натренированный и столь деспотичный дух, не всегда могли сдержать свой яркий блеск. Человек говорил, и по его взгляду было видно, что предметом разговора был четвертый и последний из их числа, занимавший позицию, позволявшую слышать то, о чем говорилось.

В лице этого вождя читатель узнает юношу, который вступил в схватку с Марком и чей быстрый маневр на фланге отряда Дадли первым изгнал колонистов с лугов. Красноречивое положение ног,

натяжение сухожилий и напряжение мускулов, описанные ранее, теперь исчезли. Они уступили место своеобразному отдыху, отличающему индейского воина в моменты бездействия совершенно так же, как это характеризует поведение человека, приученного к формам более изысканной жизни. Одной рукой он слегка опирался на мушкет, а с запястья другой, свободно лежавшей вдоль его бока, свисал на ремне из оленьей жилы томагавк, ронявший капли человеческой крови. На его теле не было другой одежды, чем та, в которой он сражался, и в отличие от своего более пожилого сотоварища по власти он вышел из боя без единой раны.

Фигура и черты этого молодого воина могли бы служить образцом превосходной индейской мужественности. Налитые, округлые, безупречно правильные конечности отличались чрезвычайной энергией, не будучи столь же примечательны мускулистостью. Последняя особенность, прямая поза, отстраненный и великодушный взгляд, так часто облагораживавший его лик, имели близкое сходство со статуей пифийского Аполлона[107], а в налитой, хотя и немного женственной, груди было такое же сходство с тем обликом невинности животного, какой прослеживается в традиционных изображениях Вакха[108]. Однако сходство с божеством, вряд ли способное пробудить возвышенные чувства в зрителе, не внушало неприязни, ибо оно в какой-то мере смягчало жесткость взгляда, который пронзал подобна взгляду орла и который в ином случае мог оставить впечатление слишком малого сочувствия к привычным человеческим слабостям. Все же молодой вождь был в меньшей степени отмечен этой полноватостью груди — плодом периодов бездействия, постоянной поблажки первейшим потребностям природы и полного

воздержания от тяжелого труда по сравнению с большинством тех, кто либо тайно совещались поблизости, либо мерили шагами землю возле дома. В нем это была скорее черта, достойная восхищения, чем упрека, ибо она, казалось, говорила о том, что, вопреки явным признакам суровости, которые обычай и, возможно, характер так же, как и ранг, сконцентрировали в его облике, под всем этим ощущалось и сердце, способное к милосердию человечности. В данном случае его блуждающий взгляд, хотя испытующий и полный значения, явственно смягчался выражением, выдававшим странное и нежеланное душевное смятение.

Совещание троих окончилось, и воин с тюрбаном на голове приблизился к пленникам шагом человека, принявшего решение. Когда грозный вождь подошел ближе, Уиттал отступил, пристроившись сбоку от молодого воина в манере, выдававшей большую близость и, возможно, большее доверие. Внезапная мысль осветила лицо последнего. Он отвел слабоумного на край террасы и заговорил тихо и серьезно, указывая на лес, а когда увидел, что его гонец во всю прыть уже пересекает поля, вернулся со спокойным достоинством в центр группы, расположившись так близко от своего друга, что складки ярко-красного одеяла задевали его локоть. До этого мгновения молчание не прерывалось. Когда большой вождь уловил приход второго, он бросил нерешительный взгляд на своих друзей, но, вновь приняв прежний сосредоточенный вид, заговорил.

— Человек многих зим, — начал он на вполне понятном английском, хотя и обнаруживавшем затрудненность речи, которую мы не будем пытаться воспроизвести, — почему Великий Дух сделал твой народ подобным голодным волкам? Почему у бледнолицего желудок сарыча, горло пса и сердце оленя? Ты видел много раз таяние снегов; ты помнишь

молодое дерево побегом. Скажи мне, почему душа йенгизов такая большая, что должна владеть всем, что лежит между восходящим и заходящим солнцем? Говори, ибо мы хотим знать причину, почему такие длинные руки даны таким маленьким телам.

Характер событий того дня пробудил всю скрытую энергию Пуританина. Поутру он воспрянул духом с обычным воодушевлением, с каким всегда приветствовал день отдохновения. Волнение штурма застало его стоящим выше самых больших земных потрясений и, усилив чувства, которые никогда не могут угаснуть в человеке, близко познавшем обычаи войны, укрепило его мужественное упорство и еще сильнее преисполнило покорностью и терпением. Под влиянием этих чувств он ответил с суровостью, равнозначной серьезности индейца:

— Господь ввергнул нас в узилище язычников, и тем не менее имя его будет благословенно под моей кровлей! Из зла произойдет добро; а из этого торжества невежды последует вечная победа!

Вождь пристально взглянул на говорящего, чья истощенная фигура, почтенное лицо и длинные волосы, дополняемые румянцем воодушевления, игравшим под тусклыми и глубоко посаженными глазами, выдавали характер, казалось, возвышавшийся над человеческими слабостями. Склонив голову в суеверном почтении, он мрачно отвернулся к тем, кто по своему характеру представлялись людьми более от мира сего и потому больше подходили для замыслов, занимавших его мысли.

— Дух моего отца крепок, но его тело подобно ветке обгоревшего болиголова! — Таким лаконичным заявлением он предварил свое следующее замечание. — Почему так? — продолжал он, сурово глядя на трех человек, так недавно противостоявших ему в смертельной схватке. — Вот люди с кожей как

цветок кизила и, однако же, с такими темными руками, что я их не вижу!

— Они почернели от тяжелого труда под палящим солнцем, — возразил Контент, знавший, как разговаривать на образном языке людей, в чьей власти он оказался. — Мы трудились, чтобы наши женщины и дети имели пищу.

— Нет… Кровь краснокожих изменила их цвет.

— Мы подняли топор, чтобы земля, которую даровал Великий Дух, по-прежнему оставалась нашей и чтобы наши скальпы не окуривались дымом вигвама. Разве стал бы наррагансет прятать свое оружие и связывать себе руки, когда клики войны звенят у него в ушах?

При намеке на владение долиной кровь так сильно прилила к щекам воина, что их природный смуглый оттенок сделался еще темнее. Но, судорожно сжав рукоять своего топора, он продолжал слушать как человек, привыкший полностью владеть собой.

— Что делает краснокожий, можно видеть, — ответил он, указывая с мрачной улыбкой на сад и выставляя на обозрение из-под одеяла, когда поднял руку, два дурно пахнущих трофея победы, прикрепленных к его поясу. — Наши уши открыты очень широко. Мы слушаем, чтобы услышать, каким образом охотничьи земли индейцев стали пахотными полями йенгизов. А теперь дай услышать моим мудрецам, чтобы они стали более хитрыми, когда снег посеребрит их головы. Бледнолицые владеют тайной делать так, чтобы черное казалось белым!

— Наррагансет…

— Вампаноа! — прервал вождь с высокомерным видом, с которым индеец отождествляет себя со славой своего народа. Затем, бросив более мягкий взгляд на молодого воина у своего локтя, он добавил поспешно и льстиво: — Это очень хорошо… наррагансет или вампаноа… вампаноа или наррагансет. Краснокожие

люди — братья и друзья. Они снесли ограждения между своими охотничьими землями и очистили тропы между своими деревнями от зарослей. Что вы можете сказать наррагансету? Он еще не заткнул себе уши.

— Вампаноа, если таково твое племя, — заметил Контент, — ты услышишь то, что, как учит моя совесть, является языком, которым следует говорить. Бог англичанина есть Бог людей любого звания и любого времени. — Его слушатели покачали головами в сомнении за исключением самого молодого вождя, чьи глаза ни разу не посмотрели в сторону, пока тот говорил, и каждое слово, казалось, входило глубоко в тайники его разума. — Вопреки этим знакам богохульства я буду провозглашать мощь того, кому я молюсь! Мой Бог — это и твой Бог, и он сейчас смотрит одинаково на наши поступки и испытует с непостижимым знанием сердца нас обоих. Эта земля — Его подножие, а вон то небо — Его престол! Я не претендую проникнуть в Его священные тайны или объяснить причину, почему половина Его дивного творения так долго оставалась в болоте невежества и языческого омерзения, в каком ее застали мои предки; почему эти холмы никогда прежде не откликались эхом на песнопения хвалы или почему долины столь долго пребывали немы. Это истины, скрытые в тайных замыслах Его священных целей, и нам этого не дано знать до их окончательного завершения.

Но великий и праведный дух привел сюда людей, преисполненных любви к истине и богатых замыслами, внушенными тяжким бременем веры постольку, поскольку их помыслы обращены на вещи чистые, в то время как сознание своих прегрешений повергает их в глубоком смирении во прах. Ты выдвигаешь против нас обвинение, что мы домогаемся твоих земель и что наши души исполнены развращенности богатых. Это происходит от неведения того, что было отринуто, дабы

дух того, что угодно Богу, мог крепко держаться за истину. Когда йенгизы пришли в эти дикие места, они оставили позади все то, что может радовать глаз, ублажать чувства и питать желания человеческого сердца в стране своих предков, ибо, как ни прекрасно творение Господа в других странах, нет ничего, что так Же великолепно, как то, от чего отправились в глушь эти пилигримы. На том благословенном острове земля стонет от обилия своих продуктов; их сладкие запахи ласкают обоняние, а глаза не устают лицезреть их прелесть. Нет, бледнолицые покинули домашний очаг и всю эту сладостную жизнь, чтобы служить

Господу, и не по наущению одержимых душ или порочного тщеславия!

Контент сделал паузу, ибо, воспылав духом, который его воодушевлял, он незаметно уклонился от своей темы. Его победители сохраняли чинную серьезность, с какой индеец всегда слушает речь другого, пока тот не закончит, а затем Большой Вождь, или Вампаноа, как он сам себя поименовал, слегка коснулся пальцем плеча пленника и спросил:

— Почему же народ йенгизов заблудился на тропе, которая никуда не ведет? Если страна, покинутая ими, такая привлекательная, разве не может их Бог внять им из вигвамов их отцов? Смотри: если наши деревья всего лишь кустарник, оставьте их краснокожему. Он найдет место под их ветвями, чтобы укрыться в тени. Если наши реки малы, это потому, что сами индейцы малы ростом. Если холмы низкие и долины узкие, а ноги моего бедного народа устают за время долгой охоты, то тем легче им шагать среди них. А то, что Великий Дух создал для краснокожего человека, краснокожий должен беречь. Те, чья кожа подобна свету утра, должны уйти обратно в сторону восходящего солнца, откуда они пришли, чтобы причинить нам вред.

Вождь говорил спокойно, но как человек, давно привыкший действовать в обстановке хитроумных споров, согласно обычаю народа, к которому он принадлежал.

— Бог решил иначе, — сказал Контент. — Он привел своих слуг сюда, чтобы фимиам хвалы вознесся из диких мест.

— Ваш Дух — это злой Дух. Ваши уши поддались на обман. Совет, который велел вашим юношам отправиться так далеко, говорил не голосом Маниту[109]. Он сошел с языка того, кому принято видеть добычу скудной, а скво голодными. Довольно! Вы идете за обманщиком, а не то ваши руки не были бы такими темными.

— Я не знаю, какую обиду могли причинить вампаноа люди с порочными душами, ибо и такие есть среди нас даже в домах людей благонамеренных, но вред кому бы то ни было никогда не исходил от тех, кто живет за моими дверями. За эти земли была уплачена цена, и то, чем теперь изобилует долина, добыто большим трудом. Ты вампаноа и знаешь, что границы охотничьих земель твоего племени свято соблюдались моими людьми. Разве не стоят ограды, поставленные их руками, и разве копыто хотя бы одного жеребенка топтало кукурузу? А когда это случалось, чтобы индеец пришел в поисках справедливости по поводу забредшего в его владения вола и не нашел ее?

— Лось не ест траву у корней, а живет за счет дерева! Он не наклоняется, чтобы кормиться тем, на что наступает ногой! Разве ястреб ищет москита? У него слишком большие глаза. Он может разглядеть птицу. Хватит! Если оленей перебьют, вампаноа сломают ограду собственными руками. Рука голодного человека сильна. Эту ограду соорудил хитрый бледнолицый. Он не дает убежать жеребенку, и он же готов запереть

индейца. Но душа воина слишком велика. Ее не удержать на подножном корму вместе с волом.

Тихий, но красноречивый шепот удовлетворения из уст его угрюмых спутников сопроводил эту реплику вождя.

— Страна твоего племени расположена далеко отсюда, — возразил Контент, — и я не покривлю душой, осмеливаясь судить, справедливо или несправедливо поступили с ним при разделе земель. Но в этой долине краснокожему никогда не причиняли обиды. Какой индеец просил еды и не получал ее? Если он испытывал жажду, сидр появлялся по его желанию; если он замерзал, для него было место возле очага; и все-таки была же причина, почему топор должен оказаться в моей руке и почему моя нога должна ступить на тропу войны! Много лет мы жили в мире на землях, купленных и у краснокожих, и у белых. Но хотя солнце так долго ярко светило, наконец нашли тучи. Темная ночь опустилась на эту долину. Вампаноа, смерть и пламя вошли в мой дом одновременно. Наши юноши убиты, а наши души подверглись жестокому испытанию.

Контент замолчал, ибо его голос сел, а взгляд уловил бледное и измученное лицо той, которая в поисках опоры оперлась на руку все еще возбужденного и хмурого Марка. Молодой вождь слушал словно завороженный. Когда Контент возобновил свою речь, тело юноши наклонилось немного вперед, а вся его поза стала такой, какую люди неосознанно принимают, напряженно вслушиваясь в звуки, вызывающие глубочайший интерес.

— Но солнце взошло снова! — сказал Большой Вождь, указывая на свидетельства процветания, видневшиеся повсюду в поселении, и бросая в то же время тяжелый и подозрительный взгляд на своего молодого соратника. — Утро было ясное, хотя ночь была столь темна. Хитрый бледнолицый знает, как заставить

кукурузу расти на скале. Глупый индеец поедает корни, когда урожай скудный и зерна мало.

— Господь перестал гневаться, — смиренно возразил Контент, сложив руки таким образом, чтобы показать, что не желает больше разговаривать.

Большой Вождь собрался продолжить, когда его более молодой напарник дотронулся пальцем до его обнаженного плеча и знаком показал, что хочет поговорить с ним наедине. Первый отнесся к просьбе уважительно, хотя можно было заметить, что ему не очень понравилось выражение лица сотоварища и что он уступил с неохотой, если не с недовольством. Но лицо юноши выражало решительность, и потребовалась бы более чем обычная твердость, чтобы отказать в просьбе, подкрепленной таким упрямым и многозначительным взглядом. Старший сказал что-то воину рядом с собой, которого назвал Аннавоном, а затем жестом столь естественным и исполненным достоинства, что он мог бы украсить манеры придворного кавалера, изъявил свою готовность последовать за молодым человеком. Несмотря на привычную почтительность аборигенов к возрасту, прочие уступали дорогу юноше с видом, не оставлявшим сомнений, что заслуга или рождение, либо то и другое вместе, сочетались, чтобы снискать ему личное признание, намного превосходившее то, какое обычно проявляют к людям его возраста. Два вождя покинули террасу бесшумными шагами обутых в мокасины ног. Прогулка этих достойных воинов в направлении участков, расположенных за домом, поскольку она была для них столь характерна, заслуживает упоминания. Ни тот, ни другой не произнес ни слова, ни один не проявил свойственного женщинам нетерпения выпытать, что на уме у другого, и ни один не оплошал в тех мелких, но тем не менее ощутимых проявлениях любезности, которые сделали дорогу

приятной и придали уверенность походке. Они добрались до вершины возвышенности, так часто упоминавшейся, прежде чем почувствовали себя на достаточном расстоянии, чтобы предаться свободной беседе, которая иначе могла достичь посторонних ушей. Остановившись в тени благоухающего сада, росшего на холме, и бросив вокруг себя один из тех быстрых, почти неуловимых и тем не менее настороженных взглядов, что позволяют индейцу как бы инстинктивно осмыслить свое точное местонахождение, старший начал диалог. Разговор велся на диалекте их народа, но поскольку маловероятно, чтобы многие из тех, кто читает эти страницы, смогли разобраться, запиши мы его точными словами, в каких он был передан нам, то будет сделана попытка перевода на английский, настолько вольного, насколько того требует предмет и позволит дух обоих языков.

— Чего желает мой брат? — начал вождь с тюрбаном на голове, произнося горловые звуки тихим успокоительным тоном дружбы и даже прочувствованно. — Что беспокоит великого сахема наррагансетов? Похоже, его одолевают тяжкие мысли. Я думаю, перед его глазами стоит нечто большее, чем может увидеть тот, чье зрение застилает туман. Не узрел ли он дух храброго Миантонимо, который умер, словно пес, под ударами трусливых пикодов и лживых на язык йенгизов? Или его сердце переполняет желание видеть, как скальпы вероломных бледнолицых висят у его пояса? Говори, сын мой! Топор давно зарыт на тропе между нашими деревнями, и твои слова проникнут в уши друга.

— Я не вижу духа моего отца, — возразил молодой сахем, — он далеко отсюда в охотничьих землях настоящих воинов. Мои глаза слишком слабы, чтобы прозревать поверх стольких гор и через столько рек. Он

охотится на лосей в землях, где нет зарослей; ему не нужны глаза юноши, чтобы определить, куда ведет след. Зачем мне смотреть на то место, где пикод и бледнолицый отняли его жизнь? Огонь, опаливший этот холм, сделал это место черным, и я уже не могу отыскать следов крови.

— Мой сын очень мудр — за прожитыми им зимами стоит хитрость! То, что однажды было отомщено, забыто. Он смотрит дальше шести лун. Он видит, как воины йенгизов приходят в его деревню, убивают его старых женщин и предают смерти наррагансетских девушек, поражают его воинов с тыла и разжигают костры на костях краснокожих. Я заткну свои уши, потому что стоны умирающих лишают меня силы.

— Вампаноа, — отвечал второй с хищным блеском в своем орлином взгляде и крепко прижав руку к груди, — ночь, когда снег стал красным от крови моего народа, здесь! В моей душе мгла; никто из моих соплеменников с тех пор не навещал место, где стояли жилища наррагансетов, и все же мы никогда не теряли его из виду. С тех пор мы бродили по лесам, неся на своих спинах все, что осталось, но нашу печаль мы носим в своих сердцах.

— Чем обеспокоен мой брат? У его людей много скальпов, и смотри: его собственный томагавк совсем красен! Пусть он успокоит свой гнев, и, пока наступит ночь, на топоре появится больше пятен. Я знаю, ему не терпится, но наши советники говорят, что лучше дождаться темноты, ибо хитрость бледнолицых слишком сильна для рук наших юношей!

— Когда это наррагансет медлил с прыжком после того, как Дан клич, или не хотел оставаться на месте, когда седоголовые мужчины говорят: «так лучше»? Мне нравится твой совет — он полон мудрости. Но ведь индеец всего лишь человек! Может ли он сражаться с

Богом йенгизов? Он слишком слаб. Индеец всего лишь человек, пусть и краснокожий!

— Я смотрю сквозь облака, на деревья, на вигвамы, — сказал второй, делая вид, что с любопытством разглядывает названные вещи, — но не могу увидеть белого Маниту. Бледнолицые говорили с ним, когда мы издали клич войны в их полях, и, однако, он не услышал их. Брось! Мой сын поражал их воинов сильной рукой. Разве он забыл посчитать, сколько мертвецов лежат среди деревьев со сладко пахнущими цветами?

— Метаком, — возразил тот, кого назвали сахемом наррагансетов, осторожно подходя ближе к своему другу и говоря тише, словно опасаясь невидимого слушателя, — хотя ты вложил ненависть в сердца краснокожих, но можешь ли ты сделать их более хитроумными, чем духи? Ненависть очень сильна, но у хитрости рука длиннее. Смотри, — добавил он, подняв пальцы обеих рук перед глазами своего внимательного спутника, — десять раз снег падал и таял с тех пор, как вигвам бледнолицых стоял на этом холме. Конанчет был тогда подростком. Его рука не поражала никого, кроме оленя. Его сердце было полно желаний. Днем он думал о скальпах пикодов, а ночью слышал предсмертные слова Миантонимо. Хотя и сраженный трусливыми пикодами и лживыми йенгизами, его отец пришел ночью в свой вигвам, чтобы поговорить с сыном. «Вырастет ли дитя столь многих великих сахемов большим? — спросил он. — Станет ли его рука сильной, его ноги легкими, его глаз зорким, его сердце мужественным? Будет ли Конанчет похож на своих предков? Когда юный сахем наррагансетов станет мужчиной? » Зачем я должен рассказывать моему брату об этих беседах? Метаком часто видел длинную череду вождей вампаноа в своих снах. Храбрые сахемы иногда входят в сердце его сына!

Отвечая, великодушный, хотя и лукавый Филип тяжело опустил ладонь на свою обнаженную грудь:

— Они всегда здесь. В душе Метакома нет ничего, кроме духа его отцов!

— Устав от молчания, убитый Миантонимо начинал говорить громко, — продолжал Конанчет, выдержав обычную вежливую паузу после высокопарных слов своего спутника. — Он велел своему сыну встать и пойти на йенгизов, чтобы вернуться со скальпами и повесить их в своем вигваме, ибо глазам мертвого вождя не нравится видеть это место голым. Голос Конанчета был тогда слишком слабым для костра Совета; он ничего не сказал... Он пошел один. Злой дух предал его в руки бледнолицых. Он был пленником много лун. Они посадили его в клетку, как укрощенного кугуара! Это было здесь. Известие о его злополучной судьбе дошло из уст молодых йенгизов до охотников, а от охотников оно дошло до ушей наррагансетов. Мой народ потерял своего сахема и пошел искать его. Метаком, мальчик почувствовал силу Бога йенгизов! Его душа стала слабеть; он меньше думал о мести; дух его отца больше не приходил по ночам. Было много разговоров с незнакомым Богом, и слова его врагов были добрыми. Он охотился с ними. Когда он встретил след своих воинов в лесах, его душа встревожилась, ибо он знал их цель. Все же он увидел дух своего отца и стал ждать.

Боевой клич был хорошо слышен в ту ночь. Многие погибли, и наррагансеты сняли скальпы. Ты видишь этот каменный вигвам, по которому прошелся огонь. Тогда там наверху было хитроумное место, и в нем бледнолицые сражались за свою жизнь. Но огонь бушевал, и для них не было никакой надежды. Душа Конанчета была тронута этим зрелищем, ибо те, кто внутри, показали себя людьми чести. Хотя их кожа была такой белой, они не убивали его отца. Но пламя нельзя

было уговорить, и это место стало как угли покинутого костра Совета. Все внутри превратились в пепел. Если дух Миантонимо возрадовался, то это хорошо, но на душе у его сына было очень тяжело. Им овладела слабость, и он больше не думал хвастать своими подвигами на тропе войны.

— Тот огонь выжег кровавое пятно с земли сахема?

— Он сделал это. С того времени я не видел следов крови моего отца. Седоголовый и дети были в том пожаре, а когда бревна обрушились, не осталось ничего, кроме углей. И все-таки те, кто находились в пылающем вигваме, предпочли остаться!

Внимательно слушавший Метаком вздрогнул и бросил быстрый взгляд на развалины.

— Разве мой сын видит духов в воздухе? — спросил он поспешно.

— Нет, они живы. Они готовы на муки. Тот, с белой головой, много говорил со своим Богом. Старший вождь, который сильной рукой поражал наших юношей, тоже был пленником в этом вигваме. Тот, кто говорил, и та, что казалась бледнее Даже, чем ее племя, умерли той ночью, и тем не менее теперь они здесь! Даже храбрый юноша, которого так трудно было победить, похож на мальчика из пламени! Иенгизы имеют дело с неведомыми богами. Они слишком хитры для индейца!

Филип слушал этот странный рассказ, как способен слушать человек, выросший на легендах, полных предрассудков. И все же он был склонен к недоверию, порожденному яростным и неодолимым желанием уничтожить ненавистное племя. Он одерживал верх в Советах своего народа над многими сходными знамениями сверхъестественных сил, выступавших в пользу его врагов, но никогда прежде столь впечатляющие факты не представали перед ним так непосредственно и из такого высокого источника. Даже горделивая решимость и дальновидная мудрость этого

проницательного вождя пошатнулись от этого свидетельства, и был всего один момент, когда мысль о том, чтобы покинуть союз, показавшийся безнадежным, овладела его умом. Но верность самому себе и своему делу, последующее размышление и более твердое намерение вернули ему решимость, хотя и не смогли рассеять смущавшие его сомнения.

— Чего же хочет Конанчет? — спросил он. — Дважды его воины вторгались в эту долину, и дважды томагавки его юношей были краснее, чем голова дятла. Огонь был нехороший огонь, зато томагавк убьет вернее. Если бы голос моего брата не сказал своим юношам: «Не трогайте скальпы пленников», он не мог бы сейчас говорить: «И все-таки они сейчас стоят здесь! »

— Моя душа смущена, друг моего отца. Пусть их искусно выспросят, чтобы узнать правду.

Метаком на мгновенье задумался. Потом, дружески улыбнувшись своему молодому и сильно взволнованному соратнику, сделал знак приблизиться юноше, бродившему по полям. Этот молодой воин был послан гонцом с приказом привести пленников на холм, после чего оба вождя принялись в молчании расхаживать взад-вперед, размышляя каждый над тем, что произошло, с настроением, отвечавшим особенностям характера каждого из них и более глубоким чувствам.

ГЛАВА XXV

Твоя могила ведьм не привлечет
Иль духов злых толпу порой ночной;
Семейство фей, что в зелени живет,
Ее жемчужной обрядит росой.

Коллинз

По правде говоря, редко случается, чтобы философия индейца, обладающего чувством собственного достоинства, была настолько поколеблена, чтобы нарушить его невозмутимость. Когда Контент и семейство Хиткоутов появились на холме, они застали вождей все еще расхаживающими по саду с видом людей невозмутимых и исполненных серьезности, подобающей их рангу. Сопровождавший пленников Аннавон заставил их разместиться в ряд у подножия развалин, а затем стал терпеливо ждать момента, когда его начальники соизволят возобновить расследование. В этом привычном молчании не было ничего от унизительной атмосферы азиатской почтительности. Оно проистекало из привычки к самообладанию, которая научила индейца подавлять все природные чувства. Весьма сходное действие производило и религиозное уничижение тех, кого судьба ныне отдала в их власть.

Для человека, интересующегося поведением рода человеческого, было бы любопытно исследовать различие между физическим спокойствием и полнейшим самообладанием диких хозяев леса и аскетической, опирающейся на духовную силу и, однако, смиренной покорностью Провидению, которую демонстрировало большинство пленников. Мы говорим

о большинстве, ибо было одно исключение. Лицо молодого Марка все еще оставалось хмурым, а его взгляд терял гневное выражение, когда случайно падал на поникшую фигуру и бледные черты матери. Было достаточно времени, чтобы эти особые свойства его характера проявились таким молчаливым образом, потому что прошло немало минут, прежде чем каждый из сахемов как будто проявил склонность возобновить беседу. Наконец Филип, или Метаком, как, не делая различия, мы будем называть его, подошел ближе и заговорил:

— Эта земля — хорошая земля. Она разноцветная, чтобы радовать глаз Того, кто ее сотворил. Одна ее часть темная и, подобно тому, как гусеница принимает окраску листа, по которому ползет, здесь охотники черные; в другой части она белая, и это та часть, где родились бледнолицые и где они должны бы умереть; иначе они могут не найти дороги, ведущей к их землям счастливой охоты. Многие настоящие воины, убитые на далеких тропах войны, все еще блуждают в лесах, потому что тропа скрыта, а их зрение затуманено. Нехорошо так сильно полагаться на хитрость…

— Жалкий и слепой поклонник Аполлиона![110] — прервал его Пуританин. — Мы не из идолопоклонников и слабоумных! Нам было даровано познать Господа. Для его избранных приверженцев все земли одинаковы. Дух способен одинаково воспарить над снегами и смерчами, ураганом и безветрием; из стран солнца и стран морозов; из глубин океана, из пламени, из леса…

Его в свою очередь прервали. При слове «пламя» палец Метакома многозначительно лег на его плечо, и когда он замолчал, ибо до того ни один индеец не заговорил бы, тот серьезно спросил:

— А если человек с бледной кожей сгорел в огне, может ли он снова ходить по земле? Разве река между

этой вырубкой и сочными полями йенгизов так узка, что настоящие мужчины могут перешагнуть через нее, когда захотят?

— Это тщеславие того, кто погряз в трясине языческих мерзостей! Дитя невежества! Знай, что преграды, отделяющие небеса от земли, непроходимы, ибо какое чистое существо могло бы преодолеть немощь плоти?

— Это ложь лицемерных бледнолицых, — заявил коварный Филип, — это говорится, чтобы индеец не смог научиться их хитрости и стать сильнее йенгизов. Мой отец и те, кто с ним, однажды сгорели в этом вигваме, а теперь он стоит здесь, готовый взяться за томагавк!

— Гневаться на это богохульство значило бы отринуть жалость, которую я чувствую, — сказал Марк, сильнее задетый обвинением в некромантии, чем хотел показать. — И все же допустить, чтобы такая роковая ошибка распространялась среди этих заблудших жертв Сатаны, означало бы пренебречь долгом. Ты слышал какую-то легенду твоего дикого народа, человек из племени вампаноа, которая может навлечь двойную погибель на твою душу, если, по счастью, не будешь спасен из пасти лукавого. Это правда, что я и мои близкие были в крайней опасности в этой башне и что глазам людей снаружи казалось, что нас расплавил жар пламени. Но Господь подвиг наши души искать убежище там, куда огонь не мог добраться. Колодец стал орудием нашего спасения во имя исполнения его непостижимых планов.

Несмотря на издавна практикуемую и чрезвычайную изворотливость слушателей, они восприняли это простое объяснение того, что считали чудом, с изумлением, которое нелегко было скрыть. Восхищение великолепной уловкой было с очевидностью первым и общим чувством их обоих. И они не поверили до конца,

пока не убедились воочию, что услышанное ими было правдой. Маленькая железная дверь, открывавшая доступ к колодцу для обычных домашних целей семьи, была все еще на месте. И только после того, как каждый из них бросил взгляд в глубину сруба, он, казалось, убедился в осуществимости такого поступка. Затем торжествующий взгляд блеснул на смуглом лице Филипа, тогда как черты его соратника выразили одновременно удовлетворение и сожаление. Они отошли в сторону, обдумывая только что увиденное и услышанное. И когда заговорили, то опять на языке своего народа.

— Язык моего сына не умеет лгать, — заметил Метаком успокоительным льстивым тоном. — То, что он видел, он рассказывает, а что он рассказывает, правда. Конанчет не мальчик, а вождь, чья мудрость седовласа, в то время как его члены молоды. Тогда почему бы его людям не снять скальпы этих йенгизов, чтобы они никогда больше не смогли забраться в норы на земле подобно хитрым лисам?

— Дух сахема слишком кровав, — возразил молодой вождь поспешнее, чем было свойственно людям его положения. — Пусть оружие воинов отдыхает, пока они не встретят вооруженные отряды йенгизов, иначе они чересчур устанут, чтобы сражаться со всем пылом. Мои молодые воины снимали скальпы с той поры, как солнце поднялось над деревьями, и они насытились… Почему Метаком глядит так сурово? Что видит мой отец?

— Темное пятно посреди белой равнины. Трава не зеленая, она красная как кровь. Оно слишком темное для крови бледнолицых. Это обильная кровь великого воина. Дожди не могут смыть его, оно становится темнее с каждым восходом солнца. Снега не могут выбелить его; оно остается там многие зимы. Птицы пронзительно кричат, пролетая над ним; волк воет; ящерицы ползут другим путем.

— Твои глаза стареют. Огонь зачернил это место, а то, что ты видишь, — лишь уголь.

— Огонь разгорелся и в колодце, но пылал не сильно. То, что я вижу, — это кровь.

— Вампаноа, — жестко возразил Конанчет. — Я сжег это место с вигвамами йенгизов. Могила моего отца покрыта скальпами, снятыми рукой его сына… Зачем Метаком смотрит опять? Что видит вождь?

— Индейский город, пылающий среди снега; юношей, поражаемых в спину; пронзительно кричащих девушек; детей, поджариваемых на угольях, и стариков, умирающих, как псы! Это деревня трусливых пикодов… Нет, я вижу яснее: йенгизы в землях Великого Наррагансета, и храбрый сахем сражается с ними! Я закрываю глаза, ибо дым слепит их!

Конанчет выслушал этот намек на недавнюю и прискорбную судьбу главного поселения его племени в угрюмом молчании, ибо желание мести, пробудившееся в нем с такой яростью, теперь, казалось, шло на убыль, если не пропало совсем, под влиянием какого-то таинственного и сильного чувства. Он переводил угрюмый взгляд с внешне отсутствующего выражения лица своего лукавого соратника на лица пленников, чья судьба ожидала только его приговора, так как отряд, который в то утро напал на Виш-Тон-Виш, состоял за немногими исключениями из оставшихся в живых воинов его собственного могущественного народа. Но хотя его взгляд выражал недовольство, воспитанные в нем высокие душевные качества нелегко было обмануть при виде того, что происходило, пусть мимолетно, на его глазах.

— Что еще видит мой отец? — спросил он с любопытством, которое не мог подавить, заметив еще одну перемену в выражении лица Метакома.

— Человека, ни бледнолицего, ни краснокожего. Молодую женщину, которая скачет как молодая

олениха; которая жила в вигваме, ничего не делая; которая говорит на двух языках; которая держит ладони перед глазами великого воина, так что он слепнет, как филин на солнце… Я вижу ее…

Метаком замолчал, ибо в эту минуту перед ним появилось существо, необыкновенно похожее на это описание, представляя наяву воображаемую картину, нарисованную им с такой иронией и искусством.

Робкий заяц едва ли мог быть торопливее или нерешительнее, чем существо, теперь неожиданно представшее перед воинами. Было видно по тому, как она медлила, отступив на полшага назад после того, как появилась вприпрыжку, что она боится приблизиться, в то же время не зная, насколько уместно будет скрыться. В первую минуту ее поза, выражающая колебание и сомнение, была похожа на ту, что могло бы принять создание, сотканное из тумана, прежде чем исчезнуть, но затем, когда она встретила взгляд Конанчета, ее приподнятая нога вновь коснулась земли, а вся фигура обрела скромный и застенчивый вид индейской девушки, стоящей в присутствии сахема своего племени. Поскольку этой женщине предстоит сыграть немаловажную роль в том, что последует, читатель должен быть благодарен за более подробное описание ее личности.

Незнакомке было под двадцать. Фигурой она превосходила обычный рост индейской девушки, хотя пропорции тела были такими легкими и плавными, насколько это вообще совместимо с полнотой, обычно свойственной ее возрасту. Ноги, видневшиеся под складками короткой юбки ярко-красного цвета, до мельчайших пропорций отвечали канонам классической красоты, и никогда мокасины с опушкой не привечали стопу с более высоким подъемом и более нежной округлости. Хотя ее тело от шеи до колен скрывала тесно прилегающая ситцевая рубашка и вышеназванная

короткая юбка, фигура вырисовывалась достаточно, чтобы заметить очертания, которые никогда не уродовали ни неподходящие орудия ремесла, ни губительные результаты тяжелого труда. Кожа виднелась только на ладонях, лице и шее. Ее белизна была слегка затушевана пребыванием на воздухе, а насыщенный румянец посягнул на природный светлый цвет лица, который некогда был ослепительно хорош. Глаза были большие, нежные и синевы, напоминавшей вечернее небо; брови тонкие и выгнутые; нос прямой, изящный и слегка греческий; лоб крупнее, чем обычно у девушки из племени наррагансетов, но правильный, красивый и гладкий, волосы же не спадали длинными прямыми косами, черными как смоль, а выбивались золотистыми локонами из-под стягивавшей их ленты из обшитого бисером вампума.

Особенности, отличавшие эту девушку от других из ее племени, не ограничивались только неизгладимыми приметами природы. Ее поступь была более гибкой, походка прямее и грациозней, ступни менее обращены вовнутрь, а все движения свободнее и уверенней, чем у женщин племени, обреченных с детства на покорность и тяжкий труд. Хотя и украшенная некоторыми выразительными изделиями ненавистной расы, которой она явно была обязана своим появлением на свет, она имела дикий и робкий вид тех, с кем выросла во взрослую женщину. Ее красота была бы заметной в любой части земного шара, в то время как присущие ей игра мышц, простодушное сияние глаз, свободное владение телом и непринужденность поступков редко выходят за пределы детского возраста у людей, которые так часто портят творения природы в попытках усовершенствовать их.

Хотя цвет глаз очень сильно отличался от того, что обычно бывает у лиц индейского происхождения, их быстрый и пытливый взгляд и тот полутревожный и тем

не менее понимающий вид, с каким это необыкновенное создание сделалось хозяйкой собрания более широкого характера, перед которым она предстала, напоминали наполовину инстинктивное умение человека, привыкшего постоянно и самым активным образом проявлять свои способности. Указав пальцем на Уиттала Ринга, стоявшего немного позади, она тихим нежным голосом спросила на языке индейцев:

— Зачем Конанчет послал за своей лесной женщиной? Молодой сахем не ответил. Заурядный зритель не сумел бы даже определить по его виду, заметил ли он присутствие женщины. Напротив, он сохранял надменную сдержанность вождя, занятого текущими делами. Но как бы глубоко ни тревожили его мысли, было нелегко проследить какое-либо свидетельство состояния его души в спокойствии черт, выглядевших привычно невозмутимыми. На одно лишь предательское мгновение он бросил взгляд, исполненный доброты, на робко стоящую в ожидании девушку, а затем, перебросив все еще окровавленный томагавк в ладонь одной руки, пока ладонь другой крепко держала его топорище, он остался твердо стоять на ногах, не изменив выражения лица. Совсем иначе повел себя Филип. При внезапном появлении девушки мрачный и хмурый проблеск недовольства отразился на его лице, быстро сменившись выражением саркастического и язвительного презрения.

— Желает ли мой брат снова узнать, что я вижу? — спросил он, выждав после оставшегося без ответа вопроса девушки время, достаточное, чтобы убедиться, что его соратник не расположен ответить.

— Что же видит теперь сахем вампаноа? — спросил Конанчет гордо, не желая показать, что случилось некое происшествие, прервавшее тему их разговора.

— Зрелище, которому не поверят его глаза. Он видит большое племя на тропе войны. Много храбрецов

и вождь, чьи отцы сошли с облаков. Их руки в воздухе. Они наносят крепкие удары; стрела проворна, а пуля не видно как летит, но она убивает. Кровь бежит из ран, и она цвета воды. Сейчас он не видит, но он слышит! Вот крик охотников за скальпами, и воины радуются. Духи в блаженных охотничьих землях с радостью выходят встречать убитых индейцев, ибо им знаком крик, издаваемый их сыновьями, когда снимают скальпы.

Выразительное лицо молодого сахема непроизвольно ответило на это описание сцены, через которую он уже прошел. И для столь бывалого человека оказалось невозможным предотвратить быстрый прилив крови к сердцу, которое желания воина всегда заставляют биться сильнее.

— Что еще видит мой отец? — спросил он, причем торжество незаметно закралось в тон его голоса.

— Гонца. А еще он слышит… мокасины женщин!

— Довольно! Метаком, женщины наррагансетов не имеют вигвамов. Их деревни лежат в золе, и они идут вслед за юношами ради пищи.

— Я не вижу ни одного оленя. Охотник не найдет оленины на вырубке бледнолицых. Но кукуруза полна молока. Конанчет очень голоден; он послал за своей женщиной, чтобы поесть!

Пальцы той ладони, которая сжимала топорище томагавка, казалось, погрузились в дерево. Сам сверкающий топор слегка приподнялся, но яростный блеск негодования ослаб, когда гнев молодого сахема улегся и величавое спокойствие опять утвердилось на его лице.

— Хватит, вампаноа, — сказал он, гордо взмахнув рукой, словно преисполнившись решимости больше не позволять себя смущать языку своего коварного соратника. — Мои юноши издадут боевой клич, когда услышат мой голос, и они убьют оленя для своих женщин. Сахем, у меня своя голова на плечах.

Филип ответил на взгляд, сопровождавший эти слова, взглядом, который угрожал местью. Но, подавив гнев со своей обычной мудростью, он покинул холм, напустив на себя вид, изображавший больше сочувствие, чем негодование.

— Зачем Конанчет послал за лесной женщиной? — повторил тот же нежный голос рядом с молодым сахемом с меньшей робостью представительницы другого пола теперь, когда беспокойный дух индейцев тех областей исчез.

— Нарра-маттах, подойди ближе, — приказал молодой вождь, изменив низкий и горделивый тон, которым обращался к своему неутомимому и дерзкому соратнику по оружию, на тон, лучше подходивший для нежного уха, которому предназначались его слова. — Не бойся, дочь утра, ибо те, кто вокруг нас, принадлежат к народу, привыкшему видеть женщин у костра Совета. Теперь взгляни открытыми глазами. Есть ли что-нибудь среди этих деревьев, что напоминает старинное предание? Ты когда-нибудь видела такую долину в своих снах? Не приводил ли к тебе Великий Дух темной ночью вон тех бледнолицых, которых пощадили томагавки моих юношей?

У нее был дикий и неуверенный взгляд, но при всем этом он не был совершенно лишен проблесков пробудившегося разума. До этой минуты она была слишком занята попыткой угадать, зачем ее позвали, чтобы разглядывать окружавшие ее картины природы. Но когда ее внимание так прямо обратили на них, ее глаза схватили каждый предмет в отдельности и все их вместе с четкостью, отличающей тех, чьи способности обостряются опасностью и необходимостью. Перебегая из стороны в сторону, ее быстрые взгляды окинули отдаленную деревню с ее маленьким фортом, строения на ближних участках, пологие зеленеющие поля, благоухающий сад, под тенью листвы которого она

стояла, и обугленную башню, высившуюся в его центре, как некий угрюмый памятник, поставленный там, чтобы напоминать зрителю, что неразумно слишком доверяться приметам мира и безмятежности, царившим вокруг. Откинув назад локоны, падавшие ей на виски, недоумевающая женщина озабоченно и в молчании вернулась на свое место.

— Это деревня йенгизов! — сказала она после долгой и выразительной паузы. — Женщина наррагансетов не любит смотреть на вигвамы ненавистного племени.

— Послушай! Лживые слова никогда не входили в уши Нарра-матты. Мой язык говорил как язык вождя. Ты пришла не из сумаха, а из снега. Эта твоя рука не похожа на руки женщин моего племени; она мала, ибо Великий Дух сотворил ее не для труда; она цвета утреннего неба, ибо твои предки родились близ места, где встает солнце. Твоя кровь подобна родниковой воде. Все это ты знаешь, ибо никто не говорил лживо в твои уши. Скажи, ты никогда не видела вигвам своего отца? Разве его голос не нашептывал тебе на языке его народа?

Женщина стояла в позе, которую могла бы принять сивилла[111], завороженная и полная внимания, вслушиваясь в темные повеления таинственного оракула[112].

— Почему Конанчет задает эти вопросы своей жене? Он знает то, что знает она; он видит то, что видит она; его душа — это ее душа. Если Великий Дух сделал ее кожу другого цвета, то ее сердце он сделал таким же. Нарра-матта не будет слушать лживый язык; она затыкает свои уши, потому что в его звуках обман. Она старается забыть его. Один язык может сказать все, что она желает сказать Конанчету. Зачем ей оглядываться назад в сновидениях, если ее муж — Большой Вождь?

Добрый взгляд воина, когда он посмотрел на открытое лицо говорившей, стал взглядом влюбленного. Жесткость исчезла, а вместо нее осталась побеждающая нежность большого чувства, которое, поскольку оно принадлежит природе, отражается иногда в выражении глаз индейца так же сильно, как оно издавна услаждает общение в более культурных условиях жизни.

— Девушка, — сказал он с ударением после минуты раздумья, словно призывая ее и себя самого к более важным обязанностям, — это тропа войны. На ней одни мужчины. Ты была подобна голубке с нераскрывшимися крыльями, когда я подобрал тебя из гнезда. С тех пор ветры многих зим пронеслись над тобой. Ты никогда не думала о тепле и о пище дома, где провела так много лет?

— В вигваме Конанчета тепло. Ни одна женщина племени не имеет столько мехов, как Нарра-матта.

— Он великий охотник! Заслышав его мокасины, бобры ложатся, чтобы дать себя убить! Но бледнолицые люди владеют плугом. Разве Наметенный Снег не думает о тех, кто оградил забором вигвам ее отца от холода, или о том, как живут йенгизы?

Его юная и послушная жена, казалось, задумалась, но, подняв лицо с выражением радости, которая не могла быть притворной, отрицательно покачала головой.

— Разве она никогда не видела, как пожар разгорается среди вигвамов, или не слыхала криков воинов, когда они врываются в поселение?

— Много пожаров отгорело перед моими глазами. Зола города наррагансетов еще не остыла.

— Разве Нарра-матта не слыхала, как ее отец говорил с Богом йенгизов? Слышишь: он просит милости для своего ребенка?

— Великий Дух наррагансета имеет уши для своего народа.

— Но я слышу более нежный голос! Это женщина из бледнолицых среди своих детей. Разве дочь не слышит?

Нарра-матта, или Наметенный Снег, мягко положила свою ладонь на руку вождя и, не ответив, задумчиво и пристально всмотрелась в его лицо. Ее взгляд, казалось, умолял умерить гнев, который могло разбудить то, в чем она собиралась признаться.

— Вождь моего народа, — продолжила она, ободренная все еще спокойным и добрым выражением его лица, — то, что девушка из вырубок видит в своих снах, она не станет утаивать. Это не вигвамы ее народа, потому что вигвам ее мужа теплее. Это не пища и не одежды хитрых людей, потому что кто же богаче жены Большого Вождя? Это не ее отец, говорящий с их Духом, потому что нет никого сильнее Маниту. Нарра-матта забыла все; она не желает думать о подобных вещах. Она знает, как ненавидеть голодное и жадное племя. Но она видит ту, кого не видят жены наррагансетов. Она видит женщину с белой кожей: ее глаза нежно смотрят на дитя ее снов; это ее глаза, это язык! Он говорит: чего хочет жена Конанчета? Ей холодно? Вот меха... Она голодна? Вот оленина... Она устала? Объятия бледнолицей женщины раскрыты, чтобы индейская девушка могла заснуть. Когда в вигвамах тишина, когда Конанчет и его юноши ложатся, эта бледнолицая женщина начинает говорить. Сахем, она ведет речь не о битвах своего народа, не о скальпах, добытых ее воинами, не о том, как пикоды и могикане боятся ее племени. Она не рассказывает о том, как молодая женщина из наррагансетов должна повиноваться своему мужу, не о том, как женщина должна хранить в вигвамах пищу для утомленных охотников. Ее язык пользуется странными словами. Он зовет по имени могущественного и справедливого Духа,

он говорит о мире, а не о войне; он звучит, как тот, что говорит из облаков; он подобен водопаду среди скал. Нарра-матта любит слушать, ибо слова кажутся ей похожими на Виш-Тон-Виша, когда он свистит в лесах.

Конанчет устремил взгляд глубокого и прочувственного интереса на дикое и прелестное лицо существа, стоявшего перед ним. Она говорила с тем серьезным и естественным красноречием, с которым не может сравниться никакое искусство. И когда она замолчала, он ответил, с ласковой, но печальной нежностью положив руку на ее склоненную голову:

— Это ночная птица поет своему птенцу! Великий Дух твоих отцов гневается, что ты живешь в вигваме наррагансета. Его взгляд слишком проницателен, чтобы его можно было обмануть. Он знает, что мокасины, вампум и одежда из меха лгут: он видит цвет кожи под ними.

— Нет, Конанчет, — возразила женщина поспешно и с решительностью, которой ее робость не позволяла ожидать. — Он видит глубже, чем кожа, и знает, какого цвета душа. Он забыл, что одна из его дочерей потерялась.

— Это не так. Орел моего народа был взят в вигвамы бледнолицых. Он был юн, и они научили его петь на другом языке. Его оперение изменило свой цвет, и они думали обмануть Маниту. Но когда дверь оказалась распахнута, он расправил крылья и улетел обратно к своему гнезду. Это не так. Что было сделано, то было хорошо, а то, что будет сделано, — лучше. Подойди! Перед нами прямая тропа.

Сказав это, Конанчет сделал жене знак направиться к группе пленников. Предыдущий диалог происходил в месте, где развалины частично скрывали обе стороны друг от друга. Но так как расстояние было незначительное, сахем и его спутница вскоре оказались лицом к лицу с теми, кого он искал. Оставив свою жену

немного в стороне от группы, Конанчет подошел и, взяв не сопротивляющуюся и находящуюся в полубессознательном состоянии Руфь за руку, вывел ее вперед. Он поставил обеих женщин так, что каждая могла вплотную видеть лицо другой. Сильное чувство отражалось на его лице, которое, вопреки хищной маске с боевой раскраской, не могло полностью скрыть его переживаний.

— Вот! — произнес он по-английски, серьезно глядя то на одну, то на другую. — Добрый Дух не стыдится своей работы. То, что он сделал, он сделал. Ни наррагансет, ни йенгизы не могут этого изменить. Вот белокожая птица, прилетевшая со стороны океана, — добавил он, слегка касаясь пальцем плеча Руфи, — а вот птенец, гревшийся под ее крылом.

Затем, сложив руки на обнаженной груди, он, казалось, собрал всю свою энергию, чтобы в сцене, которая, как он знал, должна последовать, мужество не могло изменить ему каким-нибудь поступком, недостойным его имени.

Пленники поневоле не поняли смысла сцены, только что развернувшейся у них на глазах. Так много странных и по-дикарски выглядевших фигур постоянно сновало перед их глазами, что появление еще одной почти не замечалось. Пока она не услышала, как Конанчет говорит на ее родном языке, Руфь не уделяла внимания разговору между ним и его женой. Но образный язык и не менее примечательный поступок наррагансета внезапно самым волнующим образом вывели ее из состояния меланхолии.

Ни одно дитя нежного возраста не представало когда-либо пред очами Руфи Хиткоут, не вызвав в ее памяти мучительного воспоминания об образе потерянного ею ангельского дитяти. Жизнерадостный детский голос, достигавший ее слуха, отдавался острой болью в ее сердце. Как и намек, пусть самый

отдаленный, на людей или случай, сходный с печальными событиями ее собственной жизни, не мог не усиливать никогда не умиравшего биения материнского сердца. Ничего удивительного поэтому, что, когда она очутилась в ситуации и обстоятельствах, описанных выше, природа заговорила в ней со всей силой и ее душа ухватила проблески, какими бы туманными и неясными они ни были, правды, уже предугаданной читателем. Все же верного ключа к разгадке недоставало. Воображение постоянно рисовало ей дитя в образе невинного ребенка, каким оно было вырвано из ее объятий. А сейчас, хотя столь многое совпало с разумными ожиданиями, мало что отвечало давно и любовно лелеемой картине. Заблуждение, если можно так назвать столь святое и естественное чувство, укоренилось слишком глубоко, чтобы освободиться от него в один миг. Вглядываясь пристально, долго, серьезно и с выражением, изменявшимся с каждой сменой чувств, она держала незнакомку на расстоянии вытянутой руки, то ли желая удержать ее, то ли не допустить близко к сердцу, которое по праву могло принадлежать другой.

— Кто ты? — спросила мать голосом, дрожавшим от чувств, по природе столь священных. — Скажи, таинственное и прелестное существо, кто ты?

Нарра-матта обратила испуганный и умоляющий взгляд на застывшую и невозмутимую фигуру вождя, как бы ища защиты у того, у кого привыкла находить ее. Но иное чувство овладело ее душой, когда она услышала звуки, слишком часто ласкавшие ее слух в детстве, чтобы их можно было забыть. Смятение исчезло, и ее гибкое тело приняло позу напряженного и завороженного внимания. Голова склонилась набок, словно слух старался впивать повторяющиеся звуки, хотя ее озадаченный и восторженный взгляд все еще искал лицо мужа.

— Лесное видение! Ты не хочешь отвечать? — продолжала Руфь. — Если в твоем сердце есть почитание Бога Израиля, ответь, чтобы я признала тебя!

— Тсс! Конанчет! — пробормотала жена, на чьем лице румянец радостного и дикого удивления выступил еще отчетливей. — Подойди ближе, сахем, ибо дух, который говорит с Нарра-матта в ее снах, рядом.

— Женщина йенгизов! — сказал муж, с достоинством подходя к этому месту. — Сдунь завесу облаков с твоих глаз... Жена наррагансета! Взгляни как следует. Маниту твоего племени говорит громко. Он велит матери признать свое дитя!

Руфь не могла больше медлить. Из ее уст не вырвалось ни звука, ни восклицания, но, когда она прижала к сердцу податливое тело вновь обретенной дочери, казалось, будто она силилась слить оба тела в одно.

Крик радости и изумления всколыхнул всех вокруг нее. Затем явилось доказательство могущества природы, когда оно пробуждается во всей силе. Возраст и молодость одинаково признали эту силу, и недавние тревоги были забыты в чистой радости такой минуты. Даже душа высокомерного Конанчета была потрясена. Воздев руку, с запястья которой все еще свисал окровавленный томагавк, он закрыл лицо и, отвернувшись, чтобы никто не увидел слабость столь великого воина, заплакал.

ГЛАВА XXVI

Безумец видит больше чертовщины,
Чем есть в аду.
«Сон в летнюю ночь»[113]

Покинув холм, Филип созвал своих вампаноа и с помощью послушного и жестокого Аннавона, дикаря, который в более возвышенных обстоятельствах мог бы показать себя способным соратником Цезаря[114], покинул поля Виш-Тон-Виша. Привыкшие к этим внезапным вспышкам нрава своих вождей, приверженцы Конанчета, не терявшие сдержанности и в более сложных обстоятельствах, без удивления и тревоги наблюдали, как тот уходит. Но когда их собственный сахем появился на земле, еще красной от крови сражавшихся, и объявил о своем намерении бросить добычу, представлявшуюся более чем наполовину завоеванной, его выслушали не без ропота. Власть индейского вождя далека от деспотической, и, хотя есть основание думать, что ее часто подкрепляют, если не порождают, случайные причины вроде рождения и происхождения, она находит главную опору в личных качествах правителя. К счастью для вождя наррагансетов, даже его прославленный отец, несчастный Миантонимо, не добился такого высокого авторитета за мудрость или отвагу, как тот, что был честно завоеван его молодым сыном.

Грозные взгляды, редко не доводившие угрозу до исполнения, заставили утихомириться дикарский нрав и жгучее желание мести даже самого смелого из подчиненных ему; не было среди них и такого, кто при вызове смело встретит гнев или противостоит красноречию своего вождя и не уклонится от

соперничества, в котором, как научило их думать привычное уважение, шансы на успех были далеко не равными. Меньше чем через час после того, как Руфь прижала к груди свое дитя, захватчиков уже не было. Мертвых из их отряда унесли и погребли со всей обычной заботливостью, чтобы ни один скальп воина не остался в руках его врагов.

Для индейцев не было необычным уходить, удовлетворившись результатами своего первого удара. Их военный успех так сильно зависел от внезапности нападения, что чаще им случалось отступать из-за его неудачи, чем одерживать победу благодаря упорству.

Пока бушевала битва, их храбрость равнялась всем ее опасностям. Но для людей, ставивших себе в заслугу умение воевать, вовсе не удивительно идти на риск не более, чем это оправдывалось самым трезвым благоразумием. Поэтому, когда стало известно, что враг исчез в лесу, жители деревни были скорее готовы поверить, что это явилось результатом их собственного мужественного сопротивления, чем искать мотивы, которые могли показаться не столь лестными для их самоуважения. Отступление посчитали вполне естественным, и, хотя осмотрительность предостерегала от преследования, ловкие и крепкие на ноги разведчики были посланы по следам врагов как для того, чтобы предупредить новые неожиданности, так и для того, чтобы позволить силам Колонии узнать, из какого те племени и какое направление избрали.

Затем наступила пора торжественных ритуалов и глубокой печали. Хотя отрядам под командой Дадли и лейтенанта посчастливилось выйти из боя с немногими несущественными ранами, солдаты, возглавляемые Контентом, за исключением уже поименованных, пали до единого человека. Смерть поразила разом двадцать самых способных мужчин этой изолированной и простой общины. В обстоятельствах, когда победа оказалась

такой бесплодной и так дорого купленной, чувство скорби было гораздо более сильным, чем радости. Воодушевление приняло обличье смирения, и хотя эти люди сознавали свою заслугу, они тем более ощущали свою зависимость от силы, на которую не могли повлиять и которой не могли понять. Суждения фанатичных приверженцев религии приняли еще более экзальтированный характер, и конец дня ознаменовался проявлением особенно преувеличенных впечатлений колонистов в такой же мере, в какой его начало — ужасами насилия и крови.

Когда один из наиболее энергичных разведчиков вернулся с известием, что индейцы ушли через лес, оставив множество следов, — верный признак, что они не замышляли новой засады вблизи долины и что их выследили на много миль обратного пути, обитатели деревни вернулись в свои привычные жилища. Мертвых затем разобрали те, кто предъявил наибольшее право на то, чтобы выполнить последний долг любви; и было бы справедливо сказать, что скорбь поселилась почти в каждом доме. В такой ограниченной общине все были связаны узами крови, а где их не было, жизненные привязанности были такими тесными и естественными, что никто не вышел из боя без ощущения, что события дня навеки лишили его того, от кого частично зависело его благополучие или счастье.

На исходе дня маленький колокол вновь призвал общину в церковь. По этому торжественному случаю отсутствовали лишь немногие из тех, кто еще был жив, чтобы услышать его звуки. Минута, когда Мик поднялся для молитвы, была минутой общего и сильного чувства. Места, которые так недавно занимали те, кто пал, теперь пустовали и походили на многочисленные красноречивые пропуски в описании того, что произошло, выражая гораздо больше, чем любой язык может передать. Обращение Мика к Богу было в его

обычном духе высокопарного благочестия, где загадочное проникновение в скрытые цели Провидения странным образом смешивалось с более понятными нуждами и страстями человека. Приписывая небесам славу победы, он в то же время говорил с высокомерным и претенциозным смирением, присущим орудию их могущества. И хотя он как будто признавал, что его прихожане с избытком заслужили тяжкий удар, обрушившийся на них, было здесь и очевидное неприятие сил, посредством коих он был нанесен. Принципы сектанта так своеобразно смягчались чувствами жителя пограничья, что человеку, искушенному в аргументировании, не составило бы труда обнаружить изъяны в рассуждениях этого ревнителя веры. Но поскольку столь многое было окутано метафизическим туманом и столь много было общих мест вероучения, то все слушатели без исключения так примеряли на себя то, что он проповедовал, что это явно приходилось каждому по душе.

Проповедь была такой же импровизацией, как и молитва, если столь натасканный и закосневший в своем мнении ум способен на какую-то импровизацию. Она заключала во многом одно и то же и лишь немного меньше риторики. Потерпевшим членам общины хотя и внушалось, что они явились сосудами, особо отмеченными ради некой великой и славной цели Провидения, было ясно сказано, что они заслуживают гораздо более тяжких напастей, чем та, что обрушилась на них сейчас. Им напомнили, что их долг даже желать осуждения, дабы прославить Того, кто сотворил небо и землю! Затем они услыхали утешительный вывод, который благоразумно наставлял их ожидать, что, хотя, рассуждая отвлеченно, в этом и состоят обязанности настоящего христианина, но имеются веские основания считать, что все, кто прислушивается к столь чистым

учениям, будут помянуты с особым благорасположением.

Такой полезный служитель храма, как Мик Вулф, не забывал и о практическом приложении своего учения. Правда, он не показывал никакой зримой эмблемы креста, дабы возбудить своих слушателей, и не поощрял их пускать охотничьих собак по следу врагов. Но крест достаточно часто присутствовал перед их духовным взором благодаря постоянным намекам на его заслуги, а на индейцев указывалось как на орудия, посредством коих великий отец зла надеется добиться, чтобы «плевелы не расцвели подобно розам, издавая божественное благоухание». Открыто назывались имена Филипа и Конанчета и делались некоторые темные намеки на то, что личность первого не более чем обитель Молоха, в то время как подходящего духа, управляющего физическими силами второго, слушателю предоставлялось вообразить среди любой из еще более злых сил, упоминаемых в Библии. Любые сомнения насчет правомочности противоборства, которые могли бы овладеть чувствительной совестью, отметались смелой и решительной рукой. Однако не было и попытки оправдать его, ибо все затруднения этого рода разрешались посредством следования безоговорочным обязанностям долга.

Некоторые искусные намеки на то, как израильтяне изгнали захватчиков из Иудеи, сослужили хорошую службу в этой особой части проповеди, так как было нетрудно убедить людей, столь сильно ощущавших импульсы религиозного подъема, что их воодушевление праведно. Опираясь на это преимущество, мистер Вулф не проявлял желания уклониться от главного вопроса. Он утверждал, что если царство истинной веры нельзя учредить никакими иными средствами, — обстоятельство, как он считал, достаточно очевидное для всякого понимающего, — то долг молодых и старых,

немощных и сильных объединиться, дабы помочь покарать прежних хозяев страны посредством того, что он именовал гневом оскорбленного Бога. Он говорил об ужасном побоище прошлой зимы, когда не щадили ни возраста, ни пола, как о победе правого дела, поощряющей продолжать его с не меньшим упорством. Затем, что не было чемто необычным в эпоху столь примечательную в отношении религиозных тонкостей, Мик неожиданно переключился на иную тему и вернулся к более мягким и очевидным истинам, пронизывающим учение Того, защитником чьей Церкви он себя провозглашал. Он наставлял слушателей блюсти жизнь в смирении и милосердии, после чего милостиво отпустил их по домам со своим благословением.

Члены общины покинули помещение с чувствами людей, считающих себя взысканными особыми и необыкновенными духовными узами с Творцом всяческой истины, так что войско самого Магомета едва ли пребывало под меньшим влиянием фанатизма, чем эти ослепленные поборники религии. Ведь было нечто столь лестное для слабой натуры человека в том, чтобы примирить их злобу и их мирские интересы с религиозным долгом, что это не должно вызывать удивления, если мы добавим, что большинство из них было полностью готово стать орудием мести в руках любого смелого предводителя. Пока жители поселения таким образом переживали борьбу столь противоречивых страстей, вечерние тени постепенно упали на их деревню, а затем тьма явилась быстрой поступью, какой она следует за заходом солнца в низких широтах.

За некоторое время до того, как тени деревьев приняли причудливые и преувеличенные очертания, предшествующие последним лучам светила, а люди еще внимали своему пастырю, одинокий человек

расположился на головокружительной высоте, откуда мог следить за передвижениями жителей деревни, сам не будучи объектом наблюдения. Короткий выступ горы врезался в долину со стороны, ближайшей к дому Хиткоутов. Небольшой низвергающийся ручей, который таяние снега и редкие обильные дожди этого климата периодически превращали в поток, проточил глубокий овраг в ее скалистой груди. Время и постоянное действие воды, а также зимние и осенние бури превратили многие участки этого оврага в дико выглядящие картины человеческого жилья. Однако здесь было одно особое место, откуда более тщательный обзор округи, чем то позволяло расстояние до домов поселения, помогал обнаружить гораздо более верные признаки приложения человеческих рук, чем предоставляло воображаемое сходство фантастических углов и случайных сочетаний.

Как раз в том месте, где изгиб горы позволял наилучшим образом обозревать долину, скалы принимали самый дикий, самый запутанный и, следовательно, самый благоприятный вид для сооружения какого-нибудь жилья, если было желательно избежать любопытных глаз поселенцев и в то же время обладать преимуществом наблюдать за их жизнью. Отшельник избрал бы эту точку как место, подходящее для отдаленного и спокойного созерцания мира и одновременно во всех отношениях пригодное для уединенных размышлений и аскетических молитв. Всякий, кому приходилось проезжать мимо узких и размытых водой виноградников и лугов, омываемых Роной, прежде чем эта река приносит свою дань Женевскому озеру, видел подобное место, нависающее над селением Сен-Морис в кантоне Вале и занятое одним из тех, кто посвятил свою жизнь затворничеству и алтарю[115]. Но в швейцарской обители отшельника

присутствует некая атмосфера нарочитости, не свойственная месту, о котором пишем мы, ибо один расположился на своем высоком и узком ложе, словно желая показать миру, в каких опасных и ограниченных пределах можно поклоняться Богу, тогда как другой искал свободы ради полного одиночества, с самой ревностной осмотрительностью добиваясь скрытности. Маленькая хижина приткнулась к скале под косым углом. Была проявлена забота, чтобы окружить ее такими естественными предметами, которые давали мало оснований опасаться, что о ее истинном назначении может узнать кто-то, кто никогда не взбирался на труднодоступный выступ, на котором она стояла. Свет проникал в это примитивное и скромное жилище через оконце, выходившее к оврагу, а низкая дверь открывалась в сторону, ближнюю к долине. Постройка была частично из камня, а частично из бревен, с кровлей из коры и дымоходом из глины и жердей.

Человек, который, судя по его суровому и мрачному лицу, был подходящим хозяином для столь уединенной обители, в названный час сидел на камне на самом продолговатом выступе горы и на месте, откуда глаз охватывал наиболее обширный и менее всего заслоняемый вид на человеческое жилье в отдалении. Камни были навалены таким образом, чтобы спереди возник небольшой бруствер, так что если бы какой-нибудь блуждающий взгляд скользнул по поверхности горы, было маловероятно, чтобы он обнаружил присутствие человека, вся фигура которого, за исключением верхней части, была по-настоящему скрыта.

Было бы трудно сказать, разместился ли этот отшельник таким образом, чтобы позволить себе привычное и воображаемое общение с маленьким мирком долины, или сидел на своем посту на страже. По

его виду было похоже, что он предавался каждому из этих занятий, ибо временами его взгляд становился печальным и более мягким, как будто его душа находила отраду в естественной для человека благожелательности, а временами лицо угрюмо хмурилось и губы сжимались сильнее обычного, как у человека, ищущего опору в своей прирожденной решимости.

Уединенность места, атмосфера всеобщего покоя, царившая наверху, безграничный ковер из листьев, расстилавшийся перед глазами с этой высокой точки, и безмолвное дыхание лесного массива соединились, чтобы придать величие этой сцене. Фигура хозяина оврага была так же неподвижна, как любой другой предмет, доступный зрению. Она казалась высеченной из камня во всем, кроме цвета и выражения. Локоть опирался на маленькое ограждение спереди, а ладонь подпирала голову. На расстоянии полета стрелы взгляд мог легко принять его не более чем за еще одно из случайных подражаний, выточенных в скале вековыми переменами. Прошел час, но ни одна конечность не шевельнулась, ни одна мышца не расслабилась. То ли созерцание, то ли терпеливое ожидание какого-то предусмотренного события, казалось, приостановили обычные жизненные функции. Наконец, это необычайное бездействие прервалось. Сперва в кустах наверху послышался шорох, не громче, чем тот, что произвел бы прыжок белки. За ним последовал треск веток, а затем кусок скалы стал падать с обрыва, пока не пролетел над головой все еще неподвижного отшельника и не упал с шумом, отозвавшимся чередой откликов эха из пустот под этим местом внизу в овраге.

Несмотря на неожиданность этой помехи и сопровождавший ее необычайный грохот, тот, кого, как можно было предположить, это больше всего касалось, не проявил ни одного из обычных симптомов страха или

удивления. Он внимательно прислушивался, пока последний звук не замер вдали, но скорее в ожидании, чем с тревогой. Медленно поднявшись, он осторожно осмотрелся, а затем, быстрым шагом пройдя вдоль уступа, ведущего к его хижине, исчез в двери. Однако через минуту он снова виднелся на своем прежнем посту, а короткий карабин, какой тогда использовали кавалеристы, лежал у него на коленях. Если сомнение или замешательство и овладели душой этого человека при столь ощутимом знаке, что одиночеству, которого он добивался, угрожает опасность быть прерванным, то они не были настолько сильны, чтобы нарушить его внешнюю невозмутимость. Во второй раз затрещали ветки и послышались звуки с более низкой стороны обрыва, словно производивший шум стал спускаться. Хотя никого не было видно, в характере шума больше нельзя было ошибиться. Это явно была поступь человека, ибо ни один зверь, достаточно тяжелый, чтобы оставить такой глубокий отпечаток, не стал бы перебираться через место, где помощь рук была почти так же необходима, как и ног.

— Иди вперед! — сказал тот, кто во всем, кроме принадлежностей одежды и враждебных приготовлений, мог вполне сойти за отшельника. — Я уже здесь.

Слова не были брошены на ветер, ибо внезапно на уступе со стороны поселения и в двадцати футах от говорившего появился человек. Когда их взгляды встретились, удивление, явно овладевшее пришельцем и тем, кто, по-видимому, имел больше права находиться там, где они столкнулись, казалось обоюдным. Карабин последнего и мушкет, который нес первый, легли на опасную линию прицела в одно и то же мгновение и мгновенно же снова были вскинуты вверх, словно их владельцами руководил общий порыв. Хозяин хижины сделал знак второму подойти ближе, а затем всякое

проявление враждебности растворилось в том роде приятельских отношений, который порождается доверием.

— Как получилось, — спросил первый своего гостя, когда оба спокойно уселись позади маленького ограждения из камней, — что ты напал на потайное место? Чужая нога нечасто ступала по этим скалам, и никто до тебя ни разу не спускался по обрыву.

— Мокасины надежны, — ответил тот с лаконичностью индейца. — У моего отца зоркий глаз. Он может видеть очень далеко из двери своего вигвама.

— Ты знаешь, что люди моего цвета кожи часто обращаются к своему Великому Духу, и они не любят просить его расположения на людных дорогах. Это место посвящается его святому имени.

Незваным гостем был сахем наррагансетов, а тот, кто, несмотря на такое правдоподобное объяснение, столь явственно искал скорее скрытности, нежели одиночества, был человек, который так часто представал на этих страницах под покровом тайны. Мгновенное узнавание и обоюдное доверие не требуют дальнейшего объяснения, так как в ходе повествования уже было сказано достаточно, чтобы показать, что они не были чужими друг для друга. Все же встреча произошла не без скованности с одной стороны и большого, хотя превосходно завуалированного, удивления с другой. Как подобало его высокому положению и возвышенному характеру, поведение Конанчета не обнаруживало никакой мелочности вульгарного любопытства. Он встретил старого знакомца со спокойным достоинством своего положения, и было бы затруднительно для самого дотошного глаза уловить удивленный либо пытливый взгляд или любой иной признак того, что он вообще считал это место необычным для такой беседы. Он выслушал скупые объяснения другого с серьезной

вежливостью, и прошло не так много времени, прежде чем он заговорил.

— Маниту бледнолицых должен быть доволен моим отцом. Его слова часто достигают ушей Великого Духа! Деревья и скалы знают их.

— Как всякий из грешного и падшего племени, — возразил неизвестный с суровым выражением человека пожилого, — испытываю большую нужду в молитвах. Но почему ты думаешь, что мой голос так часто слышится в этом потайном месте?

Палец Конанчета указал на выщербленную скалу у его ног, а глаза бросили беглый взгляд на протоптанную тропу, которая пролегла между этим местом и дверью в хижину.

— У йенгиза твердая пята, но она мягче камня. Копыто оленя должно ступать много раз, чтобы оставить такой след.

— У тебя острый глаз, наррагансет, и тем не менее твое суждение может оказаться ошибочным. Мой язык не единственный взывающий к Богу моего народа.

Сахем слегка наклонил голову в знак молчаливого согласия, как бы не желая настаивать на своем мнении. Но его собеседник не удовлетворился этим, ибо сознавал бесплодность попытки обмана, побуждавшего его какими-нибудь правдоподобными средствами усыпить подозрения индейца.

— То, что я сейчас один, может быть делом настроения или случая, — добавил он. — Ты ведь знаешь, что это был трудный и кровавый день для бледнолицых и в их вигвамах есть мертвые и умирающие. Тот, у кого нет собственного вигвама, может найти время помолиться в одиночестве.

— Душа очень чутка, — возразил Конанчет. — Она может услышать, когда уши глухи; может увидеть, когда глаза закрыты. Мой отец говорил с Добрым Духом вместе с остальными из своего племени.

Замолчав, вождь многозначительно указал на церковь вдалеке, откуда в тот момент выливались на зеленую и мало хоженную улицу деревни возбужденные члены общины, описанной нами. Другой, казалось, понял смысл его жеста и в то же мгновение осознал глупость и бесполезность попытки и впредь обманывать человека, который уже так много знает о его прежнем образе жизни.

— Индеец, ты говоришь правду, — ответил он угрюмо. — Душа зрит далеко, и она часто зрит с горечью скорби. Моя Душа общалась с душами тех, кого ты видишь, когда впервые послышались твои шаги. Кроме твоих, ноги человека никогда не поднимались до этого места, исключая тех, кто обслуживал мои телесные потребности. Ты говоришь верно: душевное зрение остро, и мой дух часто уносит меня далеко за те отдаленные холмы, что так славно сейчас освещают последние лучи заходящего солнца. Когда-то ты разделял со мной мое жилище, юноша, и мне доставляли много радости старания открыть юную душу для истин нашей расы и научить тебя говорить на языке христианина. Но прошли годы... Чу! Кто-то идет по тропе. Тебе угрожают йенгизы?

Спокойное выражение, с каким Конанчет слушал его, сменилось холодной улыбкой. Его ладонь нашла замок мушкета незадолго до того, как собеседник услышал приближающиеся шаги, но, пока не был задан вопрос, никакой перемены в лице не было заметно.

— Разве мой отец боится за своего друга? — спросил он, указывая в направлении того, кто приближался. — Это вооруженный воин?

— Нет. Он приносит средства для поддержания бремени, которое надлежит нести, пока тот, кто знает, что хорошо для каждого из его созданий, не пожелает избавить меня от него. Это, должно быть, отец той, которую ты в этот день вернул ее друзьям, или,

возможно, ее брат, ибо иногда я обязан такой добротой разным членам этой достойной семьи.

Выражение понимания пробежало по смуглым чертам вождя. Казалось, он принял решение. Поднявшись, он положил свое оружие у ног собеседника и быстро двинулся вдоль уступа, как бы желая встретить пришедшего. В следующую минуту он вернулся, неся небольшой сверток, туго обвязанный ремнями из богато вышитого вампума. Осторожно положив его рядом со стариком, ибо время изменило цвет волос отшельника на седой, он проговорил тихой скороговоркой, со значением указывая на то, что сделал:

— Посланец не уйдет обратно с пустыми руками. Мой отец мудр, он скажет, что хорошо.

Для дальнейших объяснений не было времени. Едва дверь хижины закрылась за Конанчетом, как Марк Хиткоут появился на том месте, где тропинка поворачивала за угол обрыва.

— Ты знаешь, что случилось, и позволишь мне уйти после короткого разговора, — сказал молодой человек, положив еду у ног того, кого пришел проведать. — Ба! Что это здесь у тебя? Ты раздобыл это в утренней схватке?

— Это добыча, которую я добровольно дарю. Отнеси ее в дом своего отца. Она оставлена с этой целью. А теперь расскажи мне, как смерть обошлась с нашими людьми, ибо ты знаешь, что необходимость вынудила меня покинуть их, как только была дарована свобода.

Марк не выказал расположения удовлетворить желание собеседника. Он смотрел на сверток Конанчета так, будто его глаза никогда прежде не видели подобного предмета, и остро борющиеся страсти играли на лице, которое редко бывало таким спокойным, как того требовали привычки эпохи и страны обуздывать свои чувства.

— Это будет сделано, наррагансет! — произнес он сквозь сжатые зубы. — Это будет сделано! — Затем, повернувшись на каблуках, он зашагал по головокружительной тропинке стремительными шагами, держа оставшегося в страхе за его безопасность, пока его энергичная фигура не скрылась из глаз.

Отшельник встал и окликнул занявшего его убогое жилище.

— Выходи! — позвал он, открыв узкую дверь перед вождем. — Юноша ушел с твоим свертком, и ты теперь один со старым союзником.

Конанчет откликнулся на зов, но его взгляд горел менее ярко и лицо было менее суровым, чем когда он вошел в маленькую хижину. Медленно подойдя к камню, на котором сидел до того, он остановился на мгновение и, казалось, бросил взгляд печального сожаления на то место, где оставил сверток. Однако, овладев своими чувствами с обычным самообладанием своего народа, он вновь занял прежнее место с видом человека серьезного по натуре, не прилагая, по всей видимости, никакого усилия, чтобы сохранить восхитительную невозмутимость своих черт. Последовало долгое и глубокомысленное молчание, а затем отшельник заговорил:

— Мы сделали друга из вождя наррагансетов, а этот союз с Филипом разорван!

— Йенгиз! — возразил другой. — Во мне течет одна кровь — сахемов.

— Зачем индейцу и белому человеку творить насилие друг над другом? Земля велика, и на ней есть место для людей любого цвета и любого народа.

— Мой отец нашел самую малость, — сказал другой, бросив такой странный взгляд на тесные владения хозяина, что сразу выдал саркастический смысл своих

слов, хотя это в равной степени свидетельствовало о великодушии его сердца.

— Легкомысленный и тщеславный принц сидит на троне некогда благочестивой нации, и мрак вновь накрыл страну, еще недавно сиявшую чистым и ярким светом! Людей праведных заставили бежать из домов их детства, а храмы избранных преданы скверне идолопоклонства. О Англия, Англия! Когда чаша горечи твоей переполнится? Когда эта напасть минует тебя? Моя душа стенает над твоим падением. Да, до самой глубины души я скорблю при зрелище твоих бедствий.

Конанчет был слишком деликатен, чтобы смотреть в потускневшие глаза и на пылающее лицо говорящего, но слушал с изумлением и неведением. Такие выражения и прежде часто достигали его слуха, хотя в силу нежного возраста, вероятно, не производили большого впечатления, и теперь, когда он снова услышал их, будучи взрослым, они не имели для него сколько-нибудь вразумительного смысла. Внезапно положив палец на колено собеседника, он сказал:

— Сегодня рука моего отца была на стороне йенгизов. Однако они не дали ему места у своего костра Совета!

— У грешника, который правит на острове, откуда пришел мой народ, рука настолько же длинная, насколько суетна его душа. Хотя я отрешен от Советов этой долины, вождь, было время, когда мой голос звучал в Советах, тяжко ударявших по власти его племени. Эти глаза видели справедливое воздаяние тому, кто дал жизнь лживому орудию Велиала, которое ныне управляет богатым и славным королевством!

— Мой отец снял скальп большого вождя!

— Я помог снять ему голову! — ответил отшельник, и луч горького волнения прорезался сквозь обычную суровость его лица.

— Смотри! Орел летает над облаками, чтобы ничто не мешало размаху его крыльев. Ягуар дальше всего прыгает на просторной равнине; самая большая рыба плавает в глубокой воде. Мой отец не может распрямиться между этими скалами. Он слишком большой, чтобы улечься в маленьком вигваме. Леса обширны: пусть он изменит цвет своей кожи и станет седовласым старейшиной у костра Совета моего народа. Воины будут прислушиваться к тому, что он скажет, ибо его рука совершила большой подвиг!

— Это невозможно… Это невозможно, наррагансет. То, что зародилось в душе, должно оставаться неизменным, и «легче арапу сделаться белым или леопарду переменить свои пятна», чем тому, кто прочувствовал силу Господа, отбросить его дары. Но я принимаю твои предложения дружбы в духе милосердия и прощения. Моя душа всегда с моим народом. Однако в ней есть место и для других приязней. Так что порви этот союз со злокозненным и неугомонным Филипом и закопай топор навечно на тропе между твоей деревней и городами йенгизов.

— А где моя деревня? Есть глухое место близ островов на берегах Великого озера, но я не вижу никаких вигвамов.

— Мы заново отстроим твои города и снова заселим их людьми. Пусть будет мир между нами.

— Моя душа всегда с моим народом, — возразил индеец, повторив слова другого с выражением, в котором нельзя было ошибиться.

Последовала долгая и печальная пауза. А когда разговор возобновился, он касался событий, происшедших в судьбах каждого с того времени, когда оба были хозяевами блокгауза, стоявшего среди прежних жилищ Хиткоутов. Каждый, по-видимому, слишком хорошо понимал характер другого, чтобы предпринимать дальнейшие усилия в попытке

заставить собеседника изменить намерения. И они поднялись, чтобы войти в хижину отшельника не раньше, чем тьма сгустилась вокруг этого места.

ГЛАВА XXVII

Ты, сон, мне деда заменил: ты дал
Мне мать, отца и братьев.
«Цимбелин»[116]

Короткие сумерки уже миновали, когда старый Марк Хиткоут завершил вечернюю молитву. Разноречивый характер памятных событий того дня породил чувство, которое не могло найти иного выхода, чем тот, что проистекал из привычного, ревностного, доверительного и экзальтированного излияния души. По данному поводу он даже прибег к ритуалу благодарения и хвалы сверх обыкновения, так что человек, менее преданный вере, мог бы впасть в искушение посчитать это чрезмерным рвением.

Отпустив присутствующих домочадцев и опираясь на руку сына, он удалился во внутренние покои, и там, окруженный лишь самыми близкими из тех, кто мог претендовать на его привязанность, старик вновь возвысил голос во хвалу Того, Кто среди столь великой и всеобщей скорби снизошел обратить очи памяти и благорасположения именно на его род. Он назвал имя своей вновь обретенной внучки и поведал всю историю ее пребывания в плену среди язычников и ее возвращения к подножию алтаря с рвением человека, видящего в событии мудрые предопределения Провидения, и с нежным чувством, которое с возрастом далеко не угасло. Как раз к моменту завершения этой личной и исключительной молитвы мы возвращаемся в его семейство.

Дух реформы двигал теми, кто так неодолимо ощущал его влияние на многие поступки, по меньшей мере столь же отталкивающие для воображения, как

обычаи, именуемые ими идолопоклонством и подвергаемые нападкам их собственных неуступчивых теорий. Первые протестанты изгнали столь многое из службы у алтаря, что Пуританину мало что оставалось разрушить, не впадая в риск вообще лишить ее привлекательности. Из-за странной подмены изощренности уничижением считалось фарисейством преклонять колена на виду у всех, дабы великую суть духовной молитвы не вытеснила более доступная формальность догмы. И в то время как жестокие требования и предписанное поведение нового рода соблюдались со всем усердием новообращенных, старая и даже естественная практика осуждалась — главным образом, мы полагаем, из-за той потребности обновления, которая представляется неизбежной частью всех планов совершенствования, успешны они или нет. Но хотя пуритане отказывались преклонять свои неподатливые конечности, если на них был обращен взгляд человека, даже вымаливая благодеяния, подобающие их собственным возвышенным представлениям, наедине позволялось принимать позу, допускавшую, как считалось, столь грубое злоупотребление, поскольку оно лишь подтверждало жизнеспособность религии, хотя на самом деле душа может быть спокойна лишь под зашитой простых нравственных требований.

В данном случае те, кто молился тайком, склонили свои тела в самой смиренной позе истовой веры. Когда Руфь Хиткоут поднялась с колен, ее рука крепко ухватила ту, которая, как заставляло ее думать религиозное рвение, была спасена от условий жизни гораздо более мрачных, чем могила. Она прибегла к мягкому принуждению, чтобы удивленное существо рядом с ней присоединилось хотя бы к обрядовой стороне молитвы. И теперь, когда молитва закончилась, она искала лицо дочери, чтобы прочесть впечатление,

произведенное на нее этой сценой, со всей озабоченностью христианки и жаром самой нежной материнской любви.

Нарра-матта, как мы будем продолжать называть ее, своим видом, выражением и позой походила на человека, живущего иллюзией воображаемого мира, некоего волнующего сна. Ее слух вспоминал звуки, которые так часто повторялись в ее детстве, а в памяти оживали неясные воспоминания о большинстве предметов и обычаев, так внезапно вновь возникших перед ее глазами. Но первые теперь доносили свой смысл до души, обретшей силу в совсем иной системе теологии, а последние явились слишком поздно, чтобы вытеснить обычаи, укоренившиеся в ее чувствах с помощью множества диких и соблазнительных привычек, превращающихся, как известно, в почти неодолимые для тех, кто долго подвергался их влиянию. Поэтому она стояла в центре серьезной и сосредоточенной группы ближайших родственников как чужая им по крови, напоминая некую робкую, но лишь наполовину прирученную птицу, которую человеку удалось одомашнить, поместив ее в общество более спокойных и доверчивых обитателей птичника.

Несмотря на силу своих чувств и преданность всем естественным обязанностям своего положения, Руфь Хиткоут не нуждалась теперь в том, чтобы научиться подавлять любое их насильственное проявление. Первая всепрощающая радость и благодарность прошла и сменилась неутомимой, неусыпной всепоглощающей, но разумной настороженностью, порожденной естественным ходом событий. Сомнения, опасения и даже пугающие предчувствия, владевшие ею, сглаживало видимое довольство. И нечто вроде проблесков счастья снова мелькало на лице, так долго омраченном неназойливой, но разъединяющей озабоченностью.

— Помнишь ли ты свое детство, моя Руфь? — спросила мать, когда время почтительного молчания, всегда следовавшего за молитвой в этой семье, миновало. — Твои горести никогда не были нам чужды, но природа заняла свое место в твоем сердце. Расскажи нам, дитя мое, о своих скитаниях в лесу и о страданиях, которые такой нежный возраст должен был пережить среди варварского народа. Это радость — выслушать все, что ты видела и перечувствовала, теперь, когда мы знаем, что несчастьям конец.

Она обращалась к слуху, остававшемуся глухим для подобного языка. Нарра-матта явно воспринимала ее слова, хотя их смысл был окутан тьмой, из-за чего она не желала и не была способна его уразуметь. Остановив взгляд, в котором неразрывно смешались радость и удивление, на глазах матери, излучавших нежную любовь, она торопливо порылась в складках своей одежды и, сняв пояс, ярко украшенный по самой искусной моде удочерившего ее народа, подошла к своей польщенной и в то же время страдающей матери и руками, одинаково дрожавшими от робости и радости, повязала его вокруг ее тела, желая показать его богатство в самом выгодном свете. Довольное исполненным, бесхитростное существо ревностно искало одобрения, но в глазах матери читалось всего лишь сожаление. Взгляд Нарра-матты, встревоженной выражением, которое она не могла истолковать, блуждал, словно ища защиты от какого-то чуждого ей ощущения. В комнату прокрался Уиттал Ринг, и, не обнаружив привычных черт собственного любимого жилища, глаза испуганного создания остановились на лице слабоумного бродяжки. Она энергично указала на дело своих рук, взывая красноречивыми и безыскусными жестами ко вкусу человека, знающего, хорошо ли она поступила.

— Славно! — произнес Уиталл, подходя ближе к предмету своего восхищения. — Славный пояс, и только жена сахема может сделать такой подарок.

Девушка умильно сложила руки на груди, опять демонстрируя довольство собой и миром.

— Здесь видна зримая рука того, кого привлекает всякий грех, — сказал Пуританин. — Совратить сердце суетностью и направить чувства на ложный путь, соблазняя их мирскими вещами, — вот коварство, коим он наслаждается. Падшая природа слишком податлива. Мы должны обходиться с ребенком ревностно и зорко, а не то лучше бы ее кости лежали рядом с теми малышами из твоей семьи, кто уже унаследовал обетованное.

Почтительность заставила Руфь смолчать. Но хотя она скорбела по поводу невежественности своего ребенка, природное чувство было сильно в ее сердце. С тактом женщины и нежностью матери она одновременно и видела, и чувствовала, что суровость не служит средством добиться желаемого результата. Усевшись сама, она притянула свое дитя к себе и, сперва взглядом умоляя всех вокруг замолчать, продолжила так, как диктовало таинственное влияние природы, попытки проникнуть в глубины души своей дочери.

— Подойди ближе, Нарра-матта, — позвала она, пользуясь именем, на которое та только и откликнулась бы. — Ты еще молода, дитя мое. Но Тому, чья воля — закон, доставило радость сделать тебя свидетельницей многих перемен в этой изменчивой жизни. Скажи мне, помнишь ли ты дни детства и возвращались ли когда-нибудь твои мысли к дому твоего отца в те горестные годы, когда тебя не было с нами?

Руфь легким усилием притянула дочь ближе, пока говорила, и та снова приняла прежнюю позу, оставшись на коленях возле матери, как она часто делала в

детстве. Эта поза навевала слишком много нежных воспоминаний, чтобы не быть желанной, и полувстревоженному лесному созданию было позволено остаться в ней на время большей части последовавшего диалога. Но хотя лично она была послушной, по безучастному или, скорее, удивленному взгляду, так красноречиво выражавшему все эмоции и знания, которыми она владела, было очевидно, что для Наррематты понятны всего лишь нежные слова и обращение матери. Руфь понимала смысл ее недоумения и, умеряя причиняемую им боль, постаралась приспособить свою речь к привычкам столь простодушного человека.

— Даже седые головы из твоего народа были когда-то молоды, и они помнят вигвамы своих отцов. Думала ли моя дочь иногда о времени, когда она играла среди детей бледнолицых?

Внимательное существо у колен Руфи жадно слушало. Знание ею языка детства достаточно укоренилось до пленения и слишком часто использовалось в разговорах с белыми людьми и особенно с Уитталом Рингом, чтобы оставить ее в сомнении насчет смысла того, что она сейчас услышала. Бросая украдкой робкий взгляд через плечо, она нашла лицо Марты и, почти минуту пристально изучая его очертания, громко рассмеялась заразительным смехом индейской девушки.

— Ты нас не забыла! Этот взгляд на ту, что была подругой твоего детства, вселяет в меня уверенность, и мы вскоре снова обретем душу нашей Руфи, как сейчас обрели ее тело. Я не стану говорить тебе ни о той страшной ночи, когда насилие дикарей оставило нас без тебя, ни о горькой скорби, овладевшей нами при этой потере. Но есть Тот, кого ты все же должна знать, дитя мое. Тот, кто восседает над облаками, кто держит землю в своей ладони и кто милосердно взирает на все, что шествует по тропе, на которую указывает Его перст.

Есть ли место для Него в твоих мыслях? Помнишь ли ты Его святое имя и думаешь ли еще о Его могуществе?

Слушательница склонила голову набок, словно желая уловить полный смысл того, что она слышала, и тени глубокой почтительности пробегали по лицу, которое так недавно расплывалось в улыбке. После паузы она внятно пробормотала слово «Маниту».

— Маниту или Иегова, Бог или Царь царей и Всевышний! Не важно, каким словом пользуются, чтобы выразить его могущество. Значит, ты знаешь его и никогда не переставала повторять его имя?

— Нарра-матта — женщина. Она боится громко разговаривать с Маниту. Он знает голоса вождей и открывает свои уши, когда они просят о помощи.

Пуританин тяжко вздохнул, но Руфь продолжала, подавляя собственные терзания, чтобы не нарушить возрождающееся доверие дочери:

— Это может быть Маниту индейца, но это не Бог христианина. Ты принадлежишь к народу, который молится по-другому, и тебе следует называть его именем Бога твоих предков. Даже наррагансет способен выучить эту истину! У тебя белая кожа, и твои уши должны внимать традициям людей твоей крови.

Дочь опустила голову при этом намеке на цвет ее кожи, словно не сумела скрыть от всех убийственную правду. Но не успела она ответить, как Уиталл Ринг подошел ближе и, указывая на ее пылающие краской щеки, ставшие еще темнее столько же от стыда, сколько и от жаркого американского солнца, сказал:

— Жена сахема меняет цвет. Скоро она станет как Нипсет, вся красная, — добавил он, приложив палец к той части собственной руки, где солнце и ветер еще не уничтожили первоначальный цвет. — Дух Зла влил воду и в его кровь, но она снова уйдет. Как только он станет таким темным, что Дух Зла не узнает его, он вступит на тропу войны, и тогда лживые бледнолицые смогут

выкопать кости своих предков и уходить на восход солнца, а не то его вигвам будет набит волосами цвета оленя!

— И ты, дочь моя, ты можешь без содрогания выслушивать эту угрозу людям твоего народа… твоей крови… твоего Бога?

Взгляд Нарра-матты выражал сомнение, однако она смотрела на Уиттала со своей обычной добротой. А дурачок, переполняемый своей воображаемой славой, с ликованием воздел руку и жестами, которые трудно было истолковать неправильно, показал, каким способом он намеревается добыть у своих жертв обычный трофей. Пока юноша представлял отвратительную, но красноречивую пантомиму, Руфь, затаив дыхание, мучительно следила за выражением лица своего ребенка. Ей стало бы легче от одного-единственного взгляда неодобрения, от одного-единственного движения протеста или от малейшего признака того, что нежной натуре человека, столь прелестного и в других отношениях столь доброго, претит недвусмысленное свидетельство варварской практики народа, который ее удочерил.

Но ни одна императрица Рима не могла бы следить за агонией умирающего гладиатора, никакая супруга более современного властителя не могла бы читать кровавый список жертв триумфа своего мужа или какая-нибудь обрученная красавица слушать о кровавых деяниях того, кого воображение рисовало ей как героя, с большим равнодушием к человеческим страданиям, чем то, с каким жена сахема наррагансетов взирала на мимическое изображение подвигов, завоевавших ее мужу столь высоко ценимую славу. Было слишком очевидно, что представление, каким бы грубым и дикарским оно ни было, не вызывало в ее душе ничего, кроме картин, радовавших избранную воином спутницу жизни. Меняющееся выражение и

сочувственный взгляд слишком явно выдавали симпатию той, кого научили восторгаться успехом бойца. А когда Уиттал, возбужденный собственными стараниями, разразился демонстрацией насилия, еще более безжалостного, чем обычное, он был откровенно вознагражден новым взрывом смеха. Нежные, по-женски изысканные звуки этого невольного взрыва радости прозвучали в ушах Руфи подобно погребальному звону над нравственной красотой ее ребенка. Подавляя эти чувства, она задумчиво провела рукой по своему бледному лицу и, казалось, надолго задумалась над опустошением души, когда-то обещавшей стать такой чистой.

Колонисты еще не отторгли все те естественные узы, которые привязывали их к Восточному полушарию. Их легенды, их гордость и во многих случаях их воспоминания помогали сохранять живое чувство дружелюбия и, можно добавить, веры в отношении к стране своих предков. Для некоторых из их потомков, вплоть до настоящего времени, bel ideal[117] превосходства во всем, что относится к человеческим качествам и человеческому счастью, связан с образами страны их происхождения. Расстояние, как известно, набрасывает смягчающую пелену одинаково как на нравственное, так и на физическое видение. Голубые очертания горы, тающие на пылающем фоне неба, приятны не более, чем картины, которые фантазия подчас извлекает из вещей не столь материальных. Но, подойдя ближе, разочарованный путешественник слишком часто находит голый и бесформенный вид там, где он любовно воображал увидеть сплошную красоту. Ничего удивительного поэтому, что жители непритязательных провинций Новой Англии смешивали воспоминания о стране, все еще именовавшейся родиной, с большинством своих поэтизированных

картин жизни. Они сохраняли язык, книги и большинство привычек Англии. Но иные обстоятельства, раздельные интересы и особые взгляды постепенно начали открывать бреши, которые время с тех пор расширило и которые обещают вскоре оставить мало общего между двумя народами, исключая те же формы речи и общее происхождение. Остается надеяться, что какая-то приязнь может сочетаться с этими связями.

По-особому умеренные привычки ревностных приверженцев религии во всех британских провинциях явственно противостояли простым вещам, украшающим жизнь. Искусства допускались, только если служили своим наиболее полезным и очевидным целям. Наряду с ними музыка ограничивалась молитвенными песнопениями, и еще долгое время после породившего его чувства песнопение не уводило душу от того, что мыслилось как одна великая цель бытия. Всякий стих пели не иначе, как сочетая святые идеи с радостями гармонии, и никогда в этих пределах не слыхивали звуков, приличествующих пирам. Тем не менее слова, приспособленные к этим особым условиям, вошли в обиход, и, хотя поэзия не была ни обыденным, ни выдающимся свойством души людей, приученных к аскетическому быту, она рано обнаружила свою силу в замысловатом стихосложении, всегда имевшем целью с успехом, в котором простительно сомневаться, способствовать вящей славе Господа. Это было всего лишь естественное углубление благочестивого образа жизни, дабы приспособить некоторые из этих духовных песнопений для практики воспитания детей.

Когда Руфь Хиткоут задумчиво провела рукой по своему лицу, она сделала это в мучительном убеждении, что ее власть над душой своего ребенка печально ослабела, если не утеряна навсегда. Но усилия материнской любви нелегко отторгнуть. Одна

мысль мелькнула в ее голове, и она решила проверить, каков будет результат попытки, которую та подсказала. Природа наделила ее мелодичным голосом и слухом, научившим так управлять своим голосом, что редко ему не удавалось тронуть сердце. Она обладала музыкальным талантом, выражающим себя в мелодии, не ослабленной чрезмерной аффектацией, часто обременяющей ее по вине того, что смеют именовать наукой. Притянув дочь ближе к своим коленям, она запела одну из песен, тогда часто исполнявшуюся матерями колонии, причем ее голос при первых нотах едва поднимался над шепотом вечернего воздуха, но по мере продолжения постепенно обретал богатство и диапазон, которых требовал столь простой напев.

При первых тихих и живых нотах этой детской песни Нарра-матта застыла, словно ее округлая и раскованная фигура была изваяна из мрамора. Удовольствие засветилось в ее глазах, когда одна строфа сменяла другую. И прежде чем окончился второй стих, ее взгляд, поза и каждая мышца ее простодушного лица красноречиво выразили восхищение. Руфь рискнула на эту попытку не без трепета за ее результат. Чувство передалось музыке, и когда по ходу пения она в третий раз обратила взгляд на свое дитя, то увидела нежные голубые глаза, пристально и мечтательно смотревшие на ее лицо, залитое слезами. Ободренная этим несомненным свидетельством успеха, природа еще более умножила свои усилия, и заключительный стих был спет уху, приютившемуся возле самого сердца матери, как Нарра-матта часто делала в прежние годы, когда вслушивалась в эту печальную мелодию.

Контент был бессловесным, но взволнованным очевидцем этого трогательного свидетельства пробуждающегося понимания между своей женой и ребенком. Он лучше всех понял взгляд, который

излучали глаза первой, в то время как ее руки с чрезвычайной бережностью обвились вокруг той, что все еще прижималась к ее груди, словно мать опасалась, что столь робкое создание может испугаться из-за какой-то внезапной или непривычной помехи. Минута прошла в глубочайшем молчании. Даже Уиттал Ринг был так убаюкан, что утихомирился. Прошли долгие и скорбные годы с тех пор, как Руфь переживала минуты такого чистого и неподдельного счастья. Тишину нарушили тяжелые шаги в соседней комнате. Чья-то рука с большей силой, чем обычно, распахнула дверь, и молодой Марк появился с лицом, пылающим от возбуждения, с выражением, явственно сохранявшим воинственную исступленность боя, и походкой, выдававшей душу, терзаемую какой-то яростной и нежеланной страстью. В руках у него был сверток Конанчета. Он положил его на стол, а затем, указав на него так, чтобы привлечь внимание, повернулся и покинул комнату так же стремительно, как и вошел.

Крик радости сорвался с губ Нарра-матты в то мгновение, когда вышитые бусами пояса бросились ей в глаза. Руки изумленной Руфи отпустили свою ношу, и не успело изумление уступить место более связным мыслям, как дикое существо, возлежавшее у ее ног, бросилось к столу, вернулось, заняло прежнюю позу, расправило складки одежды, и перед смятенным взором матери предстали невозмутимые черты индейской девушки.

Сил нашего безыскусного пера недостало бы, пожелай мы передать читателю верное представление о смешении чувств, стремившихся завладеть лицом Руфи. Врожденному и никогда не умирающему чувству материнской радости противостояли все те чувства гордыни, которые предубеждение не могло не взрастить в груди даже такой кроткой женщины. Не было необходимости рассказывать историю

родственных связей малыша, смотревшего вверх на ее лицо с тем особым спокойствием, что так отличает его народ. Хотя детский возраст умерял их блеск, это были темные блестящие глаза Конанчета. Можно было также заметить покатый лоб и поджатые губы отца. Но все эти признаки его происхождения смягчались черточками той красоты, которой было примечательно детство ее собственного ребенка.

— Посмотри! — сказала Нарра-матта, поднося дитя еще ближе к прикованным к нему глазам Руфи. — Это сахем краснокожих людей! Рано покинул орленок свое гнездо.

Руфь не могла противостоять зову своей любимицы. Низко склонив голову, чтобы полностью скрыть собственное пылающее лицо, она запечатлела поцелуй на лбу индейского мальчика. Но ревнивый взгляд молодой матери нельзя было обмануть. Нарра-матта заметила разницу между холодным поцелуем и теми пылкими объятиями, что достались ей самой, и разочарование отозвалось холодом в ее сердце. Со спокойным достоинством расправив складки одежды, она поднялась с колен и грустно отошла в дальний угол комнаты. Там она уселась и с глазами, о которых вполне можно было сказать, что они полны упрека, принялась напевать тихую индейскую песню своему малышу.

— Мудрость Провидения в этом, как и во всех Его промыслах, — прошептал Контент из-за плеча своей едва ли не бесчувственной половины. — Если бы мы вновь обрели ее, когда потеряли, благодать могла бы превысить наши заслуги. Наша дочь опечалена тем, какими холодными глазами ты смотришь на ее дитя.

Намека было достаточно для той, чьи чувства были скорее задеты, чем холодны. Он вернул Руфь к воспоминаниям, и это сразу рассеяло тени сожаления, неосознанно омрачившие ее лицо. Недовольство, или правильнее назвать это печалью, молодой матери было

легко развеять. Улыбка, адресованная ее ребенку, заставила кровь снова прилить к ее сердцу сладким и бурным потоком. И сама Руфь скоро позабыла причины сожалений, наблюдая невинный восторг, с которым ее собственная дочь теперь спешила продемонстрировать физическое совершенство мальчика. От этой сцены проявления природных чувств Контента слишком поспешно оторвало известие, что снаружи некто ожидает его по делу крайней важности для благополучия поселения.

ГЛАВА XXVIII

Он алчет крови, ибо кровь — за кровь.
«Макбет»[118]

Посетителями были доктор Эргот, достопочтенный Мик Вулф, лейтенант Дадли и Рейбен Ринг. Контент застал этих четверых сидящими в соседней комнате с серьезным и невозмутимым видом, не уступавшим самообладанию Совета индейцев. Его встретили степенными и сдержанными приветствиями, все еще нередко принятыми в общении жителей восточных штатов нашей республики, заслуживших там, где их мало знают, репутацию людей, которым недостает более деятельного чувства добросердечия. Но то был век подчеркнуто возвышенных учений, самоограничения и сурового нравственного контроля, и большинство людей считало заслугой проявлять по любому поводу господство духа над простыми низменными импульсами. Обычай, родившийся из преувеличенных представлений о духовном совершенстве, с тех пор превратился в привычку, хотя и ослабленную влиянием времени, но все еще существующую, что часто ведет к ошибочной оценке человека.

При появлении хозяина дома наступило чинное молчание, в некотором роде похожее на то, что предшествует общению аборигенов. Наконец лейтенант Дадли, физическое естество которого, вероятнее всего вследствие своей массы, превышало обычное соотношение с менее материальной частью, проявил некоторые признаки нетерпения в желании, чтобы священнослужитель перешел к делу. Получив такое напоминание или, возможно, понимая, что сделана

достаточная уступка достоинству человеческой природы, Мик отверз уста и заговорил.

— Капитан Контент Хиткоут, — начал он с той туманной затейливостью речи, которую опыт сделал почти неотделимой от всех его выступлений. — Капитан Контент Хиткоут, это был день ужасающих испытаний и благодатных преходящих даров. Язычники сурово уязвлены рукой верующих, а верующие принуждены платить пеню за недостаток веры в виде нашествия дикарской силы. Азазелю было позволено хозяйничать в нашей деревне, а легионам грешников привольно чувствовать себя на наших полях, и все же Господь вспомнил о своем народе и провел его через испытание кровью, столь же опасное, сколь переход избранного им народа через воды Чермного моря[119].

Есть причина печалиться и есть причина радоваться этому проявлению его воли: печалиться, что мы заслужили его гнев, и радоваться, что было проявлено достаточно искупающей милости, чтобы спасти Гоморру[120] наших сердец. Но я говорю с человеком, искушенным в делах духовных и прошедшим школу превратностей мирской жизни, так что нет нужды в дальнейшем разговоре, дабы усилить его участие. Поэтому мы обратимся к более безотлагательным и мирским делам. Все ли из твоих домочадцев вышли невредимыми из тяжких испытаний этого кровавого дня?

— Хвала Господу, что такова была его воля. Не считая скорби, поразившей нас трауром по поводу друзей, удар лишь слегка пал на меня и моих близких.

— Ты свое отбыл. Отец не наказывает, пока жива память о прежних наказаниях. Но здесь сержант Ринг с сообщением, которое может потребовать твоего мужества и твоей мудрости.

Контент обратил свой спокойный взгляд на йомена в ожидании, что тот скажет. Рейбен Ринг, человек многих твердых и ценных качеств, вероятнее всего, в тот самый момент выполнял бы воинские обязанности мужа своей сестры, владей он так же речью. Но его способности выражались скорее в поступках, чем в речах, и волна популярности вследствие этого коснулась его меньше, чем это произошло бы в обратном случае. Но в данный момент было необходимо преодолеть природную неразговорчивость, так что не пришлось долго ждать, пока он ответил на вопрошающий взгляд своего командира.

— Капитан знает, как мы отделали дикарей на южном краю долины, и нет нужды вдаваться в детали. Двадцать шесть краснокожих убиты в лугах, помимо того, что гораздо больше покинули поле на руках своих друзей. Что до наших людей, то есть несколько раненых, но все вернулись на собственных ногах.

— Это хорошо, судя по тому, как было дело.

— Еще был отряд, посланный прочесать лес по следам индейцев, — продолжал Рейбен, не обратив внимания на то, что его прервали. — Разведчики ходили на дело парами, а под конец люди вели поиск поодиночке, и я в том числе. Два человека, о которых речь…

— О ком ты говоришь?

— Два человека, о которых речь, — повторил тот, продолжая прямолинейный способ изложения событий и явно не считаясь с необходимостью связывать нити своего сообщения. — Люди, о которых я говорил святому отцу и лейтенанту…

— Продолжай, — сказал Контент, понимая ход мысли своего земляка.

— После того как один из этих людей расстался с жизнью, я не видел причины делать день кровавей, чем он был, тем более что Господь пожелал начать его с

милосердия, пролив свои щедроты на мой собственный дом. С мыслью, что поступаю правильно, я связал второго и отвел в вырубки.

— Ты захватил пленного?

Губы Рейбена едва шевельнулись, еле слышно пробормотав подтверждение. Но лейтенант Дадли взял на себя дальнейшие разъяснения, а то, на чем прервал рассказ его родственник, позволило сделать это достаточно понятно.

— Как доложил сержант, один из язычников убит, а другой снаружи ожидает решения своей судьбы.

— Я полагаю, нет желания причинить ему вред, — сказал Контент, обводя тяжелым взглядом своих собеседников. — Нынешняя стычка натворила достаточно в нашем поселении. Сержант имеет право требовать как трофей скальп убитого, но к тому, кто жив, пусть будет проявлено милосердие!

— Милосердие — это качество небесного происхождения, — заметил Мик Вулф, — и не должно извращаться, чтобы не ущемить целей небесной мудрости. Азазель не должен восторжествовать, хотя племя наррагансетов следовало бы смести метлой истребления. Право, мы согрешающий и впадающий в заблуждения род, капитан Хиткоут. И тем больше поэтому необходимо, чтобы мы подчинялись, не противясь, внутренним наставлениям, взращенным в нас по милости Божией, дабы указать путь нашего долга…

— Я не могу согласиться пролить кровь теперь, когда стычка прекратилась, — поспешно прервал Контент. — Хвала Провидению! Мы победили, и пора прислушаться к голосу милосердия.

— Таковы заблуждения близорукого ума! — возразил священник, в мутных запавших глазах которого блестели отсветы чрезмерно взвинченного и лукавого духа. — Все кончилось хорошо, и мы не смеем

без смертельной опасности подвергать сомнению то, что нам подсказывают небесные щедроты. Но здесь нет речи о том, чтобы казнить пленника, ибо он предназначен послужить гораздо более великому делу, чем любое, зависящее от его жизни или смерти. Язычник пожертвовал своей свободой без особой борьбы, и у него есть предложения, которые могут привести нас к выгодному завершению трудов нынешнего дня.

— Если он может помочь в чем-то, что уменьшит гибельность и бесчинства этой беспощадной войны, он не найдет более расположенного слушателя, чем я.

— Он заявляет, что способен оказать эту услугу.

— Тогда ради Бога! Пусть его приведут сюда, и мы посоветуемся насчет его предложений.

Мик сделал знак сержанту Рингу, и тот покинул помещение, возвратясь через минуту в сопровождении пленника. Индеец был одним из смуглых дикарей со злобным взглядом, обладающих большинством низменных свойств, порождаемых условиями их жизни, и немногими возмещающими эти недостатки качествами или вовсе без оных. У него был угрюмый и недоверчивый взгляд, выражающий равно опасение и мстительность, тело средней степени совершенства, оставляющего так же мало места для восхищения, как и для осуждения, а одежда такова, что выдавала в нем одного из тех, кого можно отнести к второразрядным воинам. Однако выражением своего лица, невозмутимостью походки и подконтрольностью всех движений он обнаруживал манеру держаться, редко изменяющую его народу, если только слишком частое общение с белыми людьми не начнет разрушать их характерные черты.

— Вот наррагансет, — сказал Рейбен Ринг, заставив своего пленника встать в центре комнаты. — Он не вождь, как можно убедиться по его невзрачному виду.

— Если он исполнит то, о чем здесь шла речь, его ранг мало что значит. Мы стараемся остановить потоки крови, текущие как проточная вода в этих благословенных колониях.

— Он это сделает, — подтвердил священник, — а не то мы заставим его ответить за нарушение обета.

— Каким же образом он намерен помочь остановить работу смерти?

— Путем отдачи жестокого Филипа и его дикарского союзника, бродяги Конанчета, в руки правосудия. Когда эти вожди будут истреблены, в наш храм можно будет войти с миром и глас благодарения вновь вознесется в нашем Вифлееме, не прерываемый безбожным вторжением криков дикарей.

Контент вздрогнул и даже отступил на шаг, услышав, каков характер предлагаемого способа замирения.

— А где гарантия такого хода дела, буде этот человек говорит правду? — спросил он голосом, достаточно выдававшим его сомнения по поводу уместности такой меры.

— Нас оправдывает закон, нужды страждущего народа и слава Божия, — сухо возразил священнослужитель.

— Это выходит за пределы благоразумного исполнения доверенной мне власти. Я не люблю брать на себя такую большую власть без письменных полномочий на ее исполнение.

— Это возражение вызвало некоторое затруднение и в моей собственной душе, — заметил лейтенант Дадли. — И поскольку оно заставило работать мысли, возможно, то, что я хочу предложить, встретит одобрение капитана.

Контент знал, что его давний слуга, хотя часто и бывал груб в своих поступках, в глубине души — человек с отзывчивым сердцем. С другой стороны, с

трудом признаваясь в этом самому себе, он питал тайный страх в отношении чрезмерно пылких чувств своего духовного руководителя. И как следствие, он воспринял вмешательство Ибена с нескрываемой благодарностью.

— Говори откровенно. Когда люди держат совет по делу такой важности, каждый отвечает за себя.

— Так вот, это дело можно устроить без затруднений, похоже, смущающих капитана. У нас есть индеец, который предлагает провести отряд через леса к пристанищу кровавых вождей, а там дело будут решать мужество и благоразумие.

— В чем же ты предлагаешь отступить от уже сделанных предложений?

Лейтенант Дадли достиг своего нынешнего чина, не преминув обрести соответствующей доли осторожности, часто, как считают, придающей достоинство чувствам должностного лица. Отважившись высказать мнение, уже изложенное, пусть туманно, перед своими слушателями, он терпеливо выжидал, как оно подействует на его начальника. А последний серьезным и недоумевающим выражением своего лица не меньше, чем только что заданным вопросом, обнаружил, что все еще пребывает в неясности, какое же средство хочет подсказать его подчиненный.

— Я думаю, что больше не будет необходимости захватывать пленных, — пояснил Ибен, — поскольку тот, что имеется, способен породить затруднения на наших советах. Если и есть в колонии какой-то закон, гласящий, что люди должны сражаться по-благородному, в открытом бою, то об этом законе мало вспоминают в обиходе. И хотя я не претендую на мудрость законодателей, я беру на себя смелость добавить: об этом законе прекрасно можно забыть, пока не будет подавлен этот мятеж дикарей.

— Мы имеем дело с врагом, который никогда не внемлет мольбе о пощаде, — заметил Мик Вулф, — и хотя милосердие есть плод христианских качеств, имеется долг больший, нежели любая земная обязанность. Мы не более чем слабые и ничтожные орудия в руках Провидения, и как таковые наши души не должны очерстветь по отношению к нашим внутренним побуждениям. Если бы в поступках язычников можно было найти свидетельство лучших чувств, мы могли бы питать надежды на завершение дела. Но силы тьмы еще свирепствуют в их сердцах, а нас научили верить, что дерево узнается по его плодам.

Контент сделал всем знак дождаться своего возвращения и покинул комнату. В следующую минуту он ввел свою дочь в центр кружка. Несколько встревоженная молодая женщина прижимала к груди спеленутого сына, робко глядя на суровые лица жителей пограничья и в страхе отведя глаза, когда ее торопливый взгляд встретился с запавшим, пристальным, исступленным и тем не менее уклончивым взглядом достопочтенного мистера Вулфа.

— Ты сказал, что дикари никогда не прислушиваются к мольбе о пощаде. Вот живой свидетель, что ты говорил заблуждаясь. Несчастье, когда-то постигшее мою семью, известно всякому в этом поселении. Ты видишь в этом трепещущем создании нашу любимую дочь, о которой мы так долго скорбели. Оплаканная моим семейством снова с нами. Наши сердца были разбиты, теперь они снова возрадовались. Господь вернул наше дитя!

Голос отца был насыщен глубоким пафосом, задевшим большинство его слушателей, хотя каждый выразил свои чувства в манере, отвечавшей его собственному душевному складу. Душа священника была тронута, и вся энергия его суровых принципов обратилась на то, чтобы удержаться от проявления

слабости, которую он посчитал бы умалением своего духовного воспарения. Поэтому он сидел молча, сложив руки на коленях, и выдавал борьбу с пробудившимся сочувствием, только крепче сжимая перекрещенные пальцы, а также невольным подергиванием лицевых мускулов. Дадли позволил радостной улыбкой осветить свое широкое открытое лицо, а врач, до этого остававшийся просто слушателем, произнес несколько тихих слов восхищения по поводу физического совершенства существа, стоявшего перед ним, вкупе с неким проявлением чувства природной доброты.

Рейбен Ринг оказался единственным человеком, открыто обнаружившим настоящий интерес к обретению вновь потерянной женщины. Здоровяк йомен встал и, двинувшись навстречу вошедшей Нарра-матте, взял ребенка в свои широкие ладони. Честный житель пограничья в течение минуты пристально смотрел на мальчика задумчивым и нежным взглядом. Затем, поднеся крошечное личико ребенка к своему крупному лицу отважного человека, он коснулся его щеки губами и вернул дитя матери, следившей за всей этой процедурой с таким трепетом, какой дрожащая самка вьюрка обнаруживает, когда нога мальчишки ступает слишком близко от гнезда с ее птенцами.

— Ты видишь, что рука наррагансета застыла, — сказал Контент, когда глубокая тишина последовала за этим кратким переполохом, говоря с интонацией, выдававшей надежду одержать верх.

— Пути Провидения неисповедимы! — возразил Мик. — Там, где они приносят утешение сердцу, мы поступаем правильно, выражая благодарность, а там, где их отягощает сиюминутное несчастье, надлежит склониться, смирившись душой, перед Его повелениями. Но семейные испытания — это просто…

Он остановился, ибо в этот момент дверь отворилась и вошла группа людей, неся поклажу,

которую они с надлежащим и суровым почтением положили на пол в самом центре комнаты. Бесцеремонность вторжения, уверенная и привычная серьезность их вида свидетельствовали, что эти жители деревни считали характер своего поручения достаточным извинением за это вторжение. Даже если бы дело минувшего дня не вело естественным образом к такому заключению, то поведение и внешний вид тех, кто принес поклажу, подсказали бы, что то было тело человека.

— Я думал, что никто не погиб в сегодняшней стычке, кроме тех, кто встретил свой конец возле моих дверей, — сказал Контент после долгой, уважительной и скорбной паузы. — Снимите покрывало с лица, чтобы мы могли узнать, на кого пал удар.

Один из молодых людей повиновался. Было нелегко узнать изувеченные жестокой рукой дикаря черты страдальца. Но повторный и более пристальный взгляд позволил признать окровавленное и все еще носившее следы муки лицо человека, покинувшего в то утро Виш-Тон-Виш с поручением колониальных властей. Даже люди столь привычные, как те, что бывали свидетелями ужасающей изобретательности индейцев в отношении жестокости, с отвращением отвернулись от зрелища, рассчитанного на то, чтобы кровь стыла у каждого, кто не остается бесчувственным к человеческим страданиям. Контент сделал знак накрыть бренные останки несчастного и с содроганием закрыл лицо руками.

Нет необходимости останавливаться на последовавшей за этим сцене. Мик Вулф воспользовался неожиданным событием, чтобы привлечь к своему плану внимание офицера, командовавшего в поселении, который был, разумеется, гораздо более расположен выслушать его предложения, чем до того, как это осязаемое

свидетельство безжалостности врагов предстало перед его глазами. Все же Контент слушал его неохотно и наконец согласился распорядиться, чтобы с рассветом отряд отправился в путь, не отказавшись от намерения и в дальнейшем проявлять осмотрительность по данному поводу. Поскольку значительная часть разговора велась с теми полупонятными намеками, которые отличают людей их привычек, вполне вероятно, что каждый из присутствующих имел собственный взгляд на это дело, хотя, несомненно, все как один искренне считали, что действуют только под влиянием оправданной заботы о своих мирских интересах, что до некоторой степени становилось еще более похвальным под предлогом служения Господу.

После ухода посетителей Дадли ненадолго остался наедине со своим бывшим хозяином. Лицо прямодушного лейтенанта выглядело озабоченным больше обычного. Он даже выждал немного, пока никто не мог его услышать, прежде чем набрался решимости затронуть тему, явно сильнее всего занимавшую его ум.

— Капитан Контент Хиткоут, — начал он наконец, — зло или добро не ходят в одиночку в этой жизни. Ты нашел ту, которую искали с такими большими мучениями и опасностью, но с ней ты нашел больше того, что может желать благородный христианин. Я человек скромного положения, но я могу смело сказать, что знаю, каковы должны быть чувства отца, чье дитя обретено вновь, обогащенное таким сверхщедрым подарком.

— Выражайся яснее, — сказал Контент с твердостью.

— Тогда я скажу, что не годится человеку, занимающему место среди лучших в этой колонии, иметь отпрыска с примесью индейской крови, при рождении которого не был совершен обряд христианского бракосочетания. Вот Эбанденс, женщина

чрезвычайно полезная во вновь заселяемой местности, нынешним утром подарила Рейбену трех отличных мальчиков. Об этом прибавлении мало знают и меньше говорят, потому что Добрая жена привыкла быть такой щедрой и потому что этот день принес еще более значительные события. Вот ребенок Женщины вроде этой никогда не вызовет пересудов среди соседей и не возбудит необычной розни в семье. Мой брат Ринг был бы счастлив прибавить мальчика к своему выводку. А если в будущем возникнут какие-либо толки насчет цвета парнишки, это не станет поводом для удивления, даже если бы все четверо родились в день вторжения краснокожих под началом самого Метакома.

Контент, не прерывая, дослушал своего собеседника. На одно мгновение, когда смысл слов лейтенанта стал совершенно ясен, его лицо покраснело от понятного чувства, которое ему долго было чуждо, но страдальческое выражение исчезло так же быстро, а на его месте воцарилась смиренная покорность Провидению, привычно характеризовавшая его черты.

— Что меня тревожила эта суетная мысль, я не стану отрицать, — ответил он. — Но Господь дал мне силу устоять. Это Его воля, чтобы один отпрыск языческого рода пришел под мою кровлю, и пусть исполнится Его воля! Мое дитя и все, что связано с нею, желанны в этом доме.

Лейтенант Дадли не стал настаивать, и они расстались.

ГЛАВА XXIX

Постой немного; есть еще кое-что.
«Венецианский купец»[121]

Поменяем место действия. Читатель перенесется из долины Виш-Тон-Виш в глубину густого и темного леса.

Можно подумать, что такие сцены слишком часто описывались, чтобы нуждаться в повторении. Однако, поскольку не исключено, что эти страницы могут попасть в руки тех, кто никогда не покидал пределы более старых территорий Штатов, постараемся дать им хотя бы слабое представление о том, как выглядит место, куда наш долг велит перенести действие повествования.

Хотя подразумевается, что неживая, как и живая, природа имеет свои границы существования, жизнь дерева не имеет определенного и общего предела. Дуб, вяз и липа, быстро растущий платан и высокая сосна — у каждого из них свои законы, регулирующие рост, размер и долголетие. Благодаря такой заботе природы дикая поросль, несмотря на многие последующие перемены, всегда находится на уровне, наиболее близком к совершенству, ибо пополнение так незначительно и постепенно, что ее характер сохраняется.

Американский лес представляет высшую степень величавого покоя. Поскольку природа никогда не совершает насилия в отношении собственных законов, почва производит на свет растение, чей рост она наилучшим образом способна поддержать, и нечасто глаз разочаровывает зрелище хилой растительности. Как будто среди деревьев всегда происходит благородное соперничество, которого нельзя найти у

других семейств, если им предоставляют влачить существование в одиночестве среди полей. Каждое пробивается к свету, и таким образом получается равенство массы и сходство формы, едва ли составляющие их отличительные черты. Результат легко вообразить. Под арочными сводами теснятся тысячи высоких, без единой трещины колонн, поддерживающих сплошной и трепещущий шатер из листьев. Внизу нескончаемое царство приятного полумрака и внушительной тишины, тогда как вне его кажется, что атмосфера покоится на облаке из листвы.

В то время как блики света играют на изменчивой поверхности верхушек деревьев, землю окрашивает затененный и мало меняющийся тон. Безжизненные и покрытые мхом овраги, взгорья под покровом разложившейся растительности, кладбища давно отживших поколений деревьев, ямы, оставленные падением выкорчеванных стволов, темные грибы, плодящиеся вокруг сгнивших корней готовых упасть деревьев и немногочисленные стройные, хрупкие и невысокие растения, предпочитающие тень, — вот что составляет картину внизу. Все в целом смягчается свежестью, доставляющей летом удовольствие не меньше, чем подземный свод, не обладая его холодящей сыростью. Посреди этой мрачноватой уединенности редко слышны шаги человека. Покой земли нарушают лишь промелькнувший олень или неторопливо бегущий лось, а на значительном удалении можно встретить грузного медведя или прыгучего кугуара, сидящего на ветвях какого-нибудь почтенного дерева. Бывает, что встречаются стаи голодных волков, бегущих по следу оленя. Но это скорее исключения на фоне безмолвия этих мест, чем непременные детали картины. Даже птицы, как правило, безгласны, а когда они все-таки нарушают тишину, эта дисгармония соответствует характеру дикого места их обитания.

В такой обстановке два человека усердно прокладывали себе путь на следующий день после только что описанного вторжения. Они привычно шли друг за другом, причем тот, что был помоложе и поэнергичнее, указывал дорогу среди однообразия леса так же аккуратно и так же решительно, как моряк правит курс по шири вод с помощью стрелки компаса. Шедший впереди был худощав, ловок и не казался уставшим, а шагавший позади был человеком крупного телосложения, чья поступь выдавала меньшее знание леса и, возможно, некоторый недостаток природной силы.

— Твой глаз, наррагансет, как безошибочный компас для рулевого, а твои ноги как неутомимый боевой конь, — сказал последний, уперев приклад своего мушкета в конец гнилого бревна и прислонясь к его стволу для опоры. — Если ты встаешь на тропу войны с таким же усердием, как исполняешь наше миролюбивое поручение, колонистам следует бояться твоей неприязни.

Второй обернулся и, не снимая ружья, покоившегося у него на плече, ответил, указав на несколько деревьев:

— Мой отец — этот самый платан; он опирается на молодой дуб. Конанчет — прямая сосна. В седых волосах много хитрости, — добавил вождь, сделав несколько шагов вперед, пока его палец не лег на руку Смиренного. — Могут ли они назвать час, когда мы будем лежать под мхом, как мертвый болиголов?

— Это превосходит мудрость человека. Хватит и того, сахем, если, упавши, мы сможем искренне сказать, что земля, накрытая нашей тенью, достаточно хороша для нас. Твои кости будут лежать в земле, по которой ходили твои предки, а мои пусть белеют под сводами какого-нибудь угрюмого леса.

Спокойное лицо индейца исказилось. Зрачки его темных глаз сузились, ноздри раздулись, выпуклая

грудь вздымалась, но затем все успокоилось подобно ленивому океану после бесплодного усилия вздыбить свои воды разбухшей волной во время общего штиля.

— Огонь стер следы мокасин моих отцов на земле, — сказал он с умиротворенной, хотя и горькой, улыбкой, — и мои глаза не могут их отыскать. Я умру под тем пологом, — он показал сквозь просвет в листве на синее пятно неба, — и падающие листья покроют мои кости.

— Зато Господь связал нас новыми узами дружбы. Вон там тисовое дерево и тихое кладбище вдалеке, где поколения моего народа спят в своих могилах. Место, белое от камней с именами…

Смиренный внезапно замолчал, а когда поднял глаза и взглянул на своего спутника, то успел заметить, как любознательный интерес последнего вдруг сменился холодной замкнутостью и как вежливо индеец переменил тему разговора.

— За тем холмиком есть вода. Пусть мой отец попьет и подкрепится, чтобы он дожил до того времени, когда сможет лежать в вырубках.

Второй кивнул, и они молча проследовали к этому месту. По времени, затраченному на требуемый отдых, могло показаться, что путники проделали долгую и далекую дорогу. Однако наррагансет ел более умеренно, чем его спутник, ибо казалось, что его душу гнетет груз, гораздо более обременительный, чем усталость, которую претерпевало тело. Тем не менее внешне хладнокровие мало ему изменило, ибо во время молчаливой трапезы он сохранял вид скорее достойного воина, нежели человека, на поведение которого может сильно повлиять душевная скорбь. Умиротворив природу, оба поднялись и продолжили свой путь через непроходимый лес.

Примерно с час после того, как они покинули ключ, наши путешественники двигались быстро, не

отвлекаясь каким-либо мимолетным впечатлением или временной остановкой. Однако к концу этого часа быстрота шага Конанчета стала убывать, а его взгляд, прежде постоянно устремленный вперед, начал блуждать в какой-то нерешительности.

— Ты потерял те тайные знаки, благодаря которым мы так далеко проложили себе путь в лесу, — заметил его спутник. — Одно дерево похоже на другое, и я не вижу никаких различий в этой дикой природе. Но если ты заблудился, мы можем на самом деле потерять надежду добраться до цели.

— Вот орлиное гнездо, — возразил Конанчет, указывая на названный предмет, расположившийся на верхних побелевших ветвях засохшей сосны, — и мой отец может видеть дерево Совета — этот дуб, но здесь нет вампаноа!

— В этом лесу много орлов, и этот дуб не единственный среди себе подобных. Твои глаза обманулись, сахем, и какой-то ложный знак сбил нас с пути.

Конанчет внимательно посмотрел на своего спутника. Спустя минуту он спокойно ответил:

— Разве мой отец когда-нибудь ошибался тропой, идя от своего вигвама к месту, откуда он смотрел на дом своего Великого Духа?

— Эта хоженая тропа — иное дело, наррагансет. Мои ноги истоптали скалу за множество раз, да и расстояние было всего ничего. Но мы прошли не одну лигу леса, и наш путь лежал через ручьи и холмы, через заросли и болота, где зрение человека неспособно обнаружить даже малейшего признака присутствия людей.

— Мой отец стар, — почтительно сказал индеец. — Его глаз не так остер, как тогда, когда он снял скальп Великого Вождя, иначе он заметил бы отпечаток мокасин. Взгляни! — Он показал спутнику след

человеческой ноги, едва различимый по тому, как располагались опавшие листья. — Скала истерта, но она тверже, чем почва. Она не может рассказать по своим отметинам, кто проходил или когда.

— Здесь и вправду есть то, что при желании можно принять за отпечаток мужской ноги. Но он всего один и может быть случайной игрой ветра.

— Пусть мой отец посмотрит в обе стороны, и он увидит, что здесь прошло племя.

— Возможно, это и правда, хотя мои глаза не могут обнаружить того, что ты хочешь показать. Но если здесь прошло племя, то пойдем дальше.

Конанчет покачал головой и растопырил пальцы обеих ладоней, изобразив радиусы круга.

— Ага! — сказал он, еще не успев многозначительно ответить жестами. — Вот и мокасины!

Смиренный, так часто и так недавно ополчавшийся на дикарей, невольно стал искать затвор своего карабина. У него был угрожающий вид и поза, хотя его блуждающий взгляд не мог заметить ничего, что вызывало бы тревогу.

Не то Конанчет. Его более острый и более опытный глаз вскоре уловил беглый силуэт направлявшегося к ним воина, временами скрытого стволами деревьев, чьи шаги по опавшим листьям первыми выдали его приближение. Сложив руки на обнаженной груди, вождь наррагансетов ожидал его прихода в позе спокойного достоинства. Он не произнес ни звука, и ни один мускул не дрогнул на его лице, пока ладонь не легла на его руку и подошедший ближе не произнес дружеским и уважительным тоном:

— Молодой сахем пришел навестить своего брата?

— Вампаноа, я шел по твоим следам, чтобы твои уши услышали, что скажет бледнолицый.

Третьим лицом в этой беседе был Метаком. Он бросил надменный и злобный взгляд на незнакомца, а

затем, вновь обретя спокойствие, обернулся к своему товарищу по оружию, чтобы ответить.

— Считал ли Конанчет своих юношей с тех пор, как они возвысили клич войны? — спросил он на языке аборигенов. — Я видел, как многие ушли в поля и не вернулись. Пусть белый человек умрет!

— Вампаноа, его привел вампум сахема. Я не пересчитывал своих юношей, но я знаю, что они достаточно сильны, чтобы утверждать, что то, что их вождь обещал, будет сделано.

— Если йенгиз — друг моего брата, то он желанный гость. Вигвам Метакома открыт, пусть он войдет в него.

Филип сделал им знак следовать за собой и зашагал впереди к месту, которое назвал.

Место, выбранное Филипом для своего временного становища, подходило для такой цели. По одну его сторону чаща была гуще обычного; крутой и высокий утес защищал и прикрывал его тыл. Пресный широкий ручей шумел над обломками, с течением времени падавшими с обрыва перед лагерем, а в направлении садящегося солнца ураган проделал длинную и унылую просеку в лесу. Несколько хижин из хвороста прислонились к подножию холма, а скудные орудия домашнего хозяйства были разбросаны среди жилищ дикарей. Весь отряд не насчитывал и двадцати человек, ибо, как было сказано, вампаноа последнее время больше действовали через своих союзников, чем собственными силами.

Вскоре все трое сидели на утесе, подножие которого омывал быстрый поток падающей воды. Несколько индейцев с угрюмым и злобным видом издалека следили за совещанием.

— Мой брат шел по моему следу, чтобы мои уши смогли услышать слова йенгиза, — начал Филип, выдержав достаточную паузу, чтобы избежать обвинения в любопытстве. — Пусть говорит.

— Я пришел один в логово льва, неугомонного и беспощадного вождя дикарей, — возразил смелый изгнанник, — чтобы ты мог услышать слова мира. Почему сын стал смотреть на действия англичан совсем иначе, чем его отец? Массасойт был другом преследуемых и стойких пилигримов, взалкавших отдыха и убежища в этом Вифлееме веры. Но ты ожесточил свое сердце против их мольбы и жаждешь крови тех, кто не желает тебе зла. Несомненно, твоей натуре присущи гордыня и заблуждения тщеславия, как и всему твоему народу, и ради суетной славы твоего имени и племени кажется необходимым сражаться против людей иного происхождения. Но знай, что есть Тот, кто господин всего здесь на земле, как и Царь Небесный! Ему приятно, чтобы сладкий фимиам поклонения поднимался из глубины дикой природы. Его воля — закон, и тот, кто станет противиться, лишь роет себе яму. Так что прислушайся к миролюбивым советам о том, что землю можно поделить по справедливости, чтобы удовлетворить нужды каждого, а страну подготовить для воскурений с алтаря.

Увещевание было произнесено глубоким и почти потусторонним голосом и с горячностью, вероятно усиленной напряженным и горестным размышлением последнего времени по поводу своих взглядов и ужасных сцен, участником которых он так недавно был. Филип слушал с отменной вежливостью индейского вельможи. Каким бы непонятным ни был смысл слов оратора, его лицо не обнаружило никакого проблеска нетерпения, а губы — насмешливой улыбки. Напротив, благородная и величественная серьезность царила в каждой черте. И как бы ни был он невежествен в отношении того, что хотел сказать другой, его внимательный взгляд и склоненная голова выражали всяческое желание понять.

— Мой бледнолицый друг говорил очень мудро, — сказал он, когда тот умолк. — Но он слабо видит в этих лесах: он слишком много сидит в тени; его глаза лучше видят на вырубке. Метаком не хищный зверь. Его клыки поистерлись; его ноги устали от ходьбы; он не может совершить дальний прыжок. Мой бледнолицый брат хочет поделить землю. Зачем заставлять Великого Духа делать свою работу дважды? Он дал вампаноа их охотничьи земли и места на соленом озере, чтобы ловить себе рыбу и моллюсков, и он не забыл своих детей — наррагансетов. Он поместил их посреди воды, потому что увидел, что они умеют плавать. Разве он забыл про йенгизов? Или поместил их в болоте, где они превратились бы в лягушек и ящериц?

— Язычник, мой голос никогда не станет отрицать даров моего Бога! Его рука привела моих предков в плодородную землю, богатую добрыми плодами мира сего, счастливо расположенную, опоясанную озерами и урожайную. Счастлив тот, кому оправданием может послужить дом, построенный в его пределах.

Пустая бутыль из тыквы лежала на утесе рядом с Метакомом. Наклонившись над потоком, он наполнил ее водой до краев и подержал сосуд перед глазами своих собеседников.

— Смотри, — сказал он, указывая на ровную поверхность жидкости, — столько Великий Дух велел ей вмещать. Теперь, — добавил он, зачерпнув ладонью другой руки из ручья и вылив горсть в бутыль, — теперь мой брат знает, что некоторое количество должно вылиться. Вот так и с его страной. В ней больше нет места для моего бледнолицего друга.

— Если бы я пытался обмануть твои уши этими россказнями, я бы поселил лживость в своей душе. Нас много, и мне жаль, что о некоторых из нас приходится говорить, что они похожи на тех, кому имя — «легион». Но сказать, что уже нет места для всех, чтобы умереть

там, где они родились, — значит говорить заведомую неправду.

— Земля йенгизов хорошая, очень хорошая, — возразил Филип, — но их юношам нравится та, что еще лучше.

— Твоя натура, вампаноа, не способна понять мотивы, что привели нас сюда, и наш разговор становится бесполезным.

— Мой брат Конанчет — сахем. Листья, опадающие с деревьев его страны в сезон холода, ветер заносит в мои охотничьи земли. Мы соседи и друзья, — заявил он, слегка наклонив голову в сторону наррагансета. — Когда скверный индеец бежит с островов к вигвамам моего народа, его секут и отсылают обратно. Мы держим тропу между нами открытой только для честных краснокожих людей.

Филип говорил с презрительной усмешкой, которую его обычное величественное поведение не скрыло от его союзника вождя, хотя она была такой слабой, что полностью ускользнула от внимания того, кто стал объектом его сарказма. Конанчет встревожился и в первый раз за время диалога нарушил молчание.

— Мой бледнолицый отец — храбрый воин, — заметил молодой сахем наррагансетов. — Его рука сняла скальп Великого сагамора[122] его народа!

Выражение лица Метакома мгновенно изменилось. Вместо иронического презрения, которое изображали его губы, оно стало серьезным и почтительным. Он пристально вгляделся в твердые и обветренные черты своего гостя. И вполне вероятно, что слова более любезные, чем сказанные им до тех пор, слетели бы с его уст, если бы в этот момент молодой индеец, сидевший в карауле на вершине утеса, не подал сигнал, что кто-то приближается. И Метаком, и Конанчет, казалось, восприняли этот крик с некоторым

беспокойством. Однако ни тот, ни другой не встал, и ни один из них не обнаружил такого доказательства тревоги, которое означало бы более глубокий интерес к помехе, чем естественным образом могли вызвать обстоятельства. Вскоре стал виден воин, вошедший в лагерь со стороны леса, лежавшего, как было известно, в направлении Виш-Тон-Виша.

В ту минуту, как Коначет увидел личность вновь прибывшего, его взгляд и поза обрели прежнее спокойствие, хотя взгляд Метакома еще оставался хмурым и недоверчивым. Разница в поведении вождей, однако, была недостаточно сильна, чтобы ее заметил Смиренный, собиравшийся завершить разговор, когда вновь прибывший прошел мимо группы воинов в лагерь и уселся около них на камень, лежавший так низко, что вода омывала его ступни. По обычаю, некоторое время индейцы даже не приветствовали друг друга, и все трое, казалось, рассматривали этот приход как вещь привычную. Но беспокойство Метакома ускорило общение, сократив паузу.

— Мотукет, — сказал он на языке их племени, — потерял след своих друзей. Мы подумали, что вороны бледнолицых) подбирают его кости!

— На его поясе не было скальпа, и Мотукету было стыдно, что его видели среди юношей с пустыми руками.

— Он помнил, что слишком часто возвращался, не поразив смертельного врага, — ответил Метаком, вокруг твердого рта которого таилось выражение плохо скрываемого презрения. — А сейчас он одолел воина?

Индеец, бывший просто человеком более низкого положения, поднял трофей, висевший у него на поясе, чтобы показать его вождю. Метаком взглянул на внушающий отвращение предмет со спокойствием и почти с интересом, с каким знаток рассматривал бы какой-нибудь древний памятник победы прежних веков.

Он продел палец в отверстие в коже, а потом, заняв прежнее положение, сухо заметил:

— Пуля попала в голову. Стрела Мотукета причиняет мало вреда!

— Метаком никогда не смотрел на юношу как друг, с тех пор как брат Мотукета был убит.

Взгляд, который Филип бросил на эту мелкую сошку из своего стана, хотя и не был лишен подозрительности, был исполнен царственного и дикарского презрения. Белый свидетель не мог понять разговора, но недовольство и беспокойные взгляды обоих слишком явно показывали, что диалог был далеко не дружественным.

— У сахема разногласия с его юношей, — заметил он, — и из этого он может понять природу того, что побуждает многих покинуть страну своих отцов под восходящим солнцем ради этой глуши на западе. Если теперь он готов слушать, я коснусь далее порученного мне дела и остановлюсь более подробно на предмете, который мы затронули лишь слегка.

Филип проявил внимание. Он улыбнулся гостю и даже кивнул в знак согласия с предложением. В то же время его острый взгляд, казалось, читал в душе своего подчиненного сквозь завесу его угрюмого лица. Как бы играя, пальцы его правой руки переместили оружие с груди к бедру, словно им не терпелось схватить нож, чья рукоять из оленьего рога лежала всего в нескольких дюймах от них. Однако его поведение в отношении белого человека оставалось сосредоточенным и полным достоинства. Последний снова собрался заговорить, когда своды леса внезапно взорвались залпами мушкетов. Все в лагере и близ него вскочили на ноги при хорошо знакомом звуке и тем не менее пребывали в неподвижности, словно там было установлено множество темных, но живых статуй. Послышался шелест листьев, а затем тело молодого

индейца, стоявшего на посту на утесе, скатилось к краю обрыва, откуда упало, как бревно, на упругую крышу одного из жилищ внизу. Из леса позади лагеря исторгся крик, среди деревьев прогремел залп, и сверкающий свинец просвистел в воздухе, со всех сторон срезая ветки с подлеска. Еще два вампаноа покатились по земле в смертельной агонии.

Голос Аннавона послышался в лагере, и в следующее мгновение это место опустело.

В этот ошеломляющий и страшный момент четыре человека возле потока оставались недвижимы. Конанчет и его друг-христианин схватились за оружие, но скорее как люди, прибегающие к средствам зашиты в минуты большой опасности, чем преисполненные агрессивной враждебности. Метаком, казалось, пребывал в нерешительности. Привыкший получать и преподносить сюрпризы, столь опытный воин не мог находиться в замешательстве, однако колебался, какого поведения следует придерживаться. Но когда Аннавон, находившийся ближе к месту событий, подал сигнал к отступлению, он прыгнул в направлении возвратившегося воина и одним ударом своего томагавка размозжил голову предателю. Жертва и вождь обменялись взглядами, полными звериной мести и неугасимой, хотя и напрасной, ненависти, пока первый лежал на утесе, хватая ртом воздух, и тогда второй повернул назад и поднял окровавленное оружие над головой белого человека.

— Вампаноа, нет! — сказал Конанчет громовым голосом. — Наши жизни неразделимы.

Филип медлил. Жестокие и опасные страсти боролись в его груди, но обычное хладнокровие хитрого политика тех лесов возобладало. Даже в момент этой кровавой и тревожной сцены он улыбнулся своему сильному и бесстрашному молодому союзнику, а затем,

указав на самые глубокие тени леса, пустился в их сторону с быстротой оленя.

ГЛАВА XXX

Но мир ему. Он нынче в вечной жизни,
Где страха смерти нет. Она прекрасней,
Чем жизнь под страхом смерти на земле.
«Мера за меру»[123]

Мужество — это одновременно и относительное, и наживное достоинство. Если страх смерти — слабость, свойственная всему роду человеческому, то ее можно подавить, если часто подвергать себя смертельной опасности или даже преодолеть вовсе путем размышлений. Поэтому два человека, оставшиеся наедине после бегства Филипа, встречали приближение угрожавшей им опасности с совсем иными чувствами, чем это было бы при естественном ходе событий. Позиция возле ручья пока что защищала их от пуль нападающих. Но обоим было одинаково очевидно, что через минуту-другую колонисты войдут в опустевший лагерь. Как следствие, каждый действовал, сообразуясь с суждениями, воспитанными привычками своего образа жизни.

Поскольку для Конанчета речь шла об акте мести, подобном тому, который только что у него на глазах совершил Метаком, то он при первых же признаках тревоги сосредоточил все свое внимание на том, чтобы понять характер нападения. Для этого оказалось достаточно первой же минуты, а вторая позволила принять решение.

— Идем, — сказал он торопливо, но с полным самообладанием, указывая на быстро бегущий поток у

своих ног, — мы пойдем по воде, пусть приметы нашего пути обгоняют нас.

Смиренный медлил. Нечто вроде высокомерной воинской гордости, заключенной в упрямой решимости его взгляда, казалось, не позволяло ему навлечь на себя позор столь недвусмысленного и, как он, вероятно, думал, столь же недостойного его натуры бегства.

— Нет, наррагансет, — ответил он. — Беги, спасая свою жизнь, но предоставь мне увидеть жатву моих деяний. Они могут всего лишь уложить мои кости рядом с костями этого предателя у моих ног.

Лицо Конанчета не выразило ни волнения, ни недовольства. Он спокойно закинул на плечо угол своего легкого плаща и приготовился вновь занять место на камне, с которого только минуту назад поднялся, как собеседник снова стал торопить его бежать.

— Враги вождя не должны говорить, что он завел своего друга в ловушку и что когда он был быстр на ноги, то бежал прочь, словно удачливый лис. Если мой брат остается, чтобы его убили, Конанчет будет рядом с ним.

— Язычник, язычник! — откликнулся другой, тронутый едва ли не до слез верностью своего проводника. — Многие христиане могли бы извлечь уроки из твоей верности. Веди, я поспешу за тобой изо всех своих сил.

Наррагансет прыгнул в ручей и двинулся вниз по течению — в сторону, противоположную той, которую избрал Филип. В этом была своя мудрость, ибо, хотя их преследователи могли увидеть, что воду взмутили, нельзя было с уверенностью определить, куда направились беглецы. Конанчет учел это маленькое преимущество и с инстинктивной сообразительностью своего народа не замедлил им воспользоваться. А на

Метакома повлияло направление, взятое его воинами, отступившими под защиту утесов.

Пока два беглеца не одолели сколько-нибудь значительного расстояния, они слышали крики врагов в лагере. А вскоре после этого рассыпные выстрелы возвестили, что Филип уже сплотил своих людей для сопротивления. Последнее обстоятельство давало некоторую уверенность в безопасности, что позволило им замедлить шаг.

— Мои ноги не столь быстры, как в былые дни, — заметил Смиренный. — Поэтому будем по возможности экономить силы на крайний случай. Наррагансет, ты всегда верил мне, и будь ты какой угодно расы или верований, здесь есть тот, кто помнит об этом.

— Мой отец смотрел глазами друга на мальчика-индейца, которого держали в клетке, словно молодого медведя. Он научил его говорить на языке йенгизов.

— Мы провели вместе тяжкие месяцы в нашей тюрьме, вождь. И даже Аполлион должен бы иметь каменное сердце, чтобы устоять против случая подружиться в такой ситуации. Но даже там мое доверие и забота были вознаграждены, ибо без твоих таинственных намеков знаками во время охоты не в моих силах было бы предостеречь друзей, что твои люди замыслили нападение в ту несчастную ночь пожара. Наррагансет, мы совершили много добрых поступков, каждый на свой лад, и я готов признать, что этот последний был не самой незначительной из твоих услуг. Хотя я и белой крови, и христианского происхождения, я почти готов сказать, что сердце у меня, как у индейца.

— Так и умри смертью индейца! — прокричал голос в двадцати футах от того места, где они переходили ручей.

Выстрел раздался одновременно с угрожающими словами, а не вслед за ними, и Смиренный упал.

Конанчет бросил свой мушкет в воду и обернулся, чтобы поднять своего спутника.

— Это просто возраст не справился со скользкими камнями ручья, — сказал тот, когда вновь встал на ноги. — То был бы роковой выстрел! Но Господь по одному ему ведомым причинам на сей раз отвратил удар.

Конанчет не ответил. Схватив ружье, лежавшее на дне потока, он выволок своего друга на берег вслед за собой и нырнул в заросли, окаймлявшие берега. Здесь они были временно защищены от выстрелов. Но залп мушкетов сопровождался воплями, исходившими, как он знал, от пикодов и могикан — племен, смертельно враждовавших с его собственным народом. Нельзя было тешить себя надеждой скрыть свои следы от таких преследователей, а его спутнику ускользнуть путем бегства — это он тоже знал — было невозможно. Нельзя было и терять времени. В таких чрезвычайных обстоятельствах мысль индейца приобретает черты инстинкта. Беглецы стояли у подножия молодого дерева, вершину которого полностью скрывала масса листьев, принадлежавшая подлеску, кучившемуся вокруг его ствола. Конанчет помог Смиренному взобраться на это дерево, а затем, не объясняя собственных намерений, мгновенно покинул это место, оставляя как можно более широкие и заметные следы и мимоходом прибивая к земле кусты.

Прием верного наррагансета увенчался полным успехом. Не пройдя еще и сотни ярдов от этого места, он увидел первого из враждебных индейцев, бегущего, как охотничья собака, по его следам. Он двигался медленно, пока не увидел, что, заметив его, все преследователи миновали дерево. Тогда стрела, вылетающая из лука, едва ли бывала быстрее, чем его бег.

Теперь преследование представляло собой картину всех будоражащих случайностей и изобретательности индейской охоты. Конанчета вскоре выгнали из его укрытия и заставили довериться более открытым частям леса. Мили холмов и ложбин, равнины, утесов, болот и рек были оставлены позади, а закаленный воин продолжал свой путь, не сломленный духом и лишь чуть-чуть ощущая усталость в ногах. Достоинство дикаря в таком Деле заключается больше в его выносливости, чем в быстроте. Трое или четверо колонистов, посланных с отрядом дружественных индейцев, чтобы перехватить тех, кто мог попытаться ускользнуть вниз по течению, вскоре выбились из сил, и теперь борьба шла исключительно между беглецом и людьми с не менее выносливыми ногами и не уступающими в сноровке.

У пикодов было большое численное преимущество. Частое петляние беглеца держало погоню в пределах мили, а когда кто-то из врагов уставал, свежие преследователи были готовы занять его место. В таком соперничестве результат не вызывал сомнений. После более чем двух часов отчаянного напряжения всех сил ноги Конанчета стали отказывать, а быстрота бега падать. Изнуренный почти сверхъестественными усилиями, задыхающийся воин распростерся на земле и несколько минут лежал как мертвый.

Во время этой передышки его трепещущий пульс несколько успокоился, сердце стало биться не так сильно, а кровообращение постепенно возвращалось к естественному ритму в состоянии покоя. Именно в тот момент, когда отдых восстановил его энергию, вождь услыхал поступь мокасин по своим следам. Поднявшись, он оглянулся на путь, только что пройденный с такой великой мукой. Но в поле зрения был только одинокий воин. На миг вновь воспрянула надежда, и он поднял мушкет, чтобы свалить приближающегося противника.

Мишень была спокойна, далека, и исход был бы фатальным, если бы бесполезный щелчок затвора не напомнил ему, в каком состоянии ружье. Он отбросил вымокшее и непригодное оружие и схватил свой томагавк. Но отряд пикодов бросился на помощь своему соплеменнику, делая сопротивление безумством. Понимая безнадежность своего положения, сахем наррагансетов опустил томагавк, развязал пояс и, безоружный, с благородной отрешенностью, двинулся навстречу своим врагам. В следующее мгновение он стал их пленником.

— Ведите меня к своему вождю, — заявил пленник высокомерно, когда обыкновенная толпа, в чьи руки он попал, стала задавать ему вопросы по поводу его спутника и его самого. — Мой язык предназначен, чтобы говорить с сахемами.

Его послушались, и не прошло и часа, как знаменитый Конанчет стоял лицом к лицу со своим самым заклятым врагом.

Местом встречи стал опустевший лагерь отряда Филипа. Здесь уже собралось большинство преследователей, включая всех колонистов, участвовавших в вылазке. Последние насчитывали Мика Вулфа, лейтенанта Дадли, сержанта Ринга и дюжину жителей деревни.

Результат предприятия к этому времени в общем и целом был известен. Хотя Метаком, его главная цель, ускользнул, однако, когда поняли, что в их руки попал сахем наррагансетов, не было в отряде ни одного человека, который не считал бы свой личный риск более чем полностью оправданным. В то время как могикане и пикоды сдерживали свое ликование, чтобы не польстить гордости пленника таким свидетельством его значительности, белые люди теснились вокруг него с нескрываемым интересом и радостью. Но поскольку он сдался индейцу, склонялись к тому, чтобы оставить

вождя на милость его победителей. Возможно, некий глубоко взвешенный политический расчет оказал свое влияние на этот акт показной справедливости.

Помещенный в центре любопытствующего круга, Конанчет тотчас оказался перед лицом главного вождя племени могикан. Это был Ункас, сын того Ункаса, которому сопутствовала удача с помощью белых в конфликте с его, Конанчета, отцом, злополучным, но благородным Миантонимо. Ныне рок распорядился, чтобы та самая злосчастная звезда, что управляла судьбами предшественника, распространила свое влияние на второе поколение.

Народ Ункаса, хотя и не такой сильный, как прежде, и утративший многое из своего особого величия благодаря развращающему союзу с англичанами, все же сохранил большинство прекрасных качеств дикарского героизма. Тот, кто теперь выступил вперед, чтобы принять своего пленника, был воином среднего возраста, хорошего телосложения, серьезного, хотя и свирепого, вида и со взглядом и чертами лица, выражающими все те противоречивые черты характера, которые делают воина-дикаря почти настолько же восхитительным, насколько и ужасным. До этого момента вожди-соперники никогда не встречались, исключая сумятицу битвы. Несколько минут никто не заговаривал. Каждый стоял, разглядывая тонкие черты, орлиный взгляд, гордую осанку и суровую серьезность другого с тайным восхищением, но и с невозмутимым спокойствием, желая полностью скрыть работу своей мысли. Наконец они постарались придать лицу выражение, подходившее к роли, которую каждый должен был исполнить в предстоявшей сцене. Выражение лица Ункаса сделалось ироничным и ликующим, а его пленника — еще более холодным и равнодушным.

— Мои юноши, — сказал первый, — поймали лиса, притаившегося в кустах. У него были очень длинные ноги, но не хватило духа ими воспользоваться.

Конанчет скрестил руки на груди, а взгляд его спокойных глаз, казалось, говорил врагу, что столь обычные уловки недостойны их обоих. Второй то ли понял это, то ли более высокие чувства возобладали, ибо он добавил более тактично:

— Разве Конанчет устал от жизни, что оказался среди моих юношей?

— Могиканин, — ответил вождь наррагансетов, — он был там раньше. Если Ункас пересчитает своих воинов, он увидит, что некоторых недостает.

— У индейцев с островов нет преданий! — заявил тот, с иронией посмотрев на вождей возле себя. — Они никогда не слыхали о Миантонимо, они не знают такого места, как Равнина Сахема!

Выражение лица пленника изменилось. На одно мгновение оно как будто потемнело, словно на него упала глубокая тень, а затем каждая черточка обрела, как прежде, достойное спокойствие. Победитель следил за игрой его лица, и, когда подумал, что природа берет свое, в его жестоком взгляде мелькнуло торжество. Но когда к наррагансету вернулось самообладание, он решил больше не тратить бесплодных усилий.

— Если люди с островов знают мало, — продолжил Ункас, — то иначе обстоит с могиканами. Был некогда среди наррагансетов великий сахем. Он был мудрее бобра, быстрее лося и хитрее рыжего лиса. Но он не умел заглядывать в завтрашний день. Глупые советчики подсказали ему встать на тропу войны против пикодов и могикан. Он потерял свой скальп: тот висит в дыму моего вигвама. Мы посмотрим, узнает ли он волосы своего сына. Наррагансет, здесь мудрые люди из бледнолицых. Они будут говорить с тобой. Если они

предложат трубку, покури, ибо табак не в достатке у твоего племени.

Затем Ункас отвернулся, предоставив пленника для допроса своим белым союзникам.

— Он похож на Миантонимо, сержант Ринг, — заметил лейтенант Дадли брату своей жены, довольно долго и внимательно разглядывая черты пленника. — Я вижу взгляд и поступь отца в этом молодом сахеме. И более того, сержант Ринг, вождь похож на мальчика, которого мы подобрали в полях столько лет тому назад и держали в блокгаузе в течение многих месяцев в клетке, словно молодого кугуара. Ты не забыл ту ночь, Рейбен, и парня и блокгауз? В горящей печи не жарче, чем было в той груде, пока мы не нырнули под землю. Я никогда не перестаю думать об этом, когда добрый пастырь со всей строгостью наказывает грешника, и о печах Тофета![124]

Молчаливый йомен понял бессвязные намеки своего родственника и не замедлил приметить ощутимое сходство между их пленником и индейским мальчиком, чья личность некогда была знакома его глазам. Восхищение и удивление смешались на его честном лице с выражением, казалось, выдававшим глубокое сожаление. Однако, поскольку ни один из них не был главным в своем отряде, каждому пришлось оставаться внимательным и заинтересованным наблюдателем того, что было дальше.

— Поклонник Ваала! — начал замогильным голосом священник. — Царю небесному и земному было угодно защитить свой народ! Торжество твоей злобной натуры было коротким, и теперь настает судилище!

Эти слова были сказаны в уши, оставшиеся глухими. В присутствии своего самого заклятого врага и в качестве пленника Конанчет не был человеком, чья решимость подвержена колебаниям. Он смотрел на

говорившего холодно и отчужденно, и даже самый подозрительный или опытный глаз не смог бы обнаружить по выражению его лица, что он знает английский язык. Разочарованный стоицизмом пленника, Мик пробормотал несколько слов, в которых наррагансет упоминался странным образом, так что обвинения и молитвы в его пользу раз за разом причудливо и чрезмерно перемешивались. А потом он уступил место тем присутствующим, на кого возложили обязанность решить судьбу индейца.

Хотя Ибен Дадли был главным и по-настоящему военным человеком в этой маленькой экспедиции из долины, его сопровождали те, чей авторитет преобладал во всех делах, не относившихся к строгому исполнению долга. Вместе с отрядом шли уполномоченные, назначенные правительством Колонии и наделенные властью разделаться с Филипом, буде этот грозный вождь, как ожидалось, попадет в руки англичан. Этим лицам надлежало теперь решить судьбу Конанчета.

Мы не станем задерживать рассказ, останавливаясь на деталях Совета. Вопрос рассматривался серьезно, и решение было принято с глубоким и осознанным чувством ответственности тех, кто выступал в качестве судей. Обсуждение заняло несколько часов, причем Мик открыл и закрыл заседания торжественной молитвой. Затем приговор был объявлен Уикасу самим пастором.

— Мудрые люди моего народа сообща совещались по делу наррагансета, и их души упорно бились над этим предметом. И если в их заключении есть нечто от злобы дня, пусть все помнят, что небесное Провидение так сплело интересы человека со своими собственными благими целями, что плотскому взгляду они на вид могут показаться нераздельными. Но то, что совершено здесь, совершено с благой верой в тебя и всех других, кто поддерживает алтарь в этой глуши. И вот наше

решение: мы передаем наррагансета на твой суд, ибо очевидно, что, пока он на свободе, ни ты, который является слабой опорой Церкви в этой местности, ни мы, которые являемся ее смиренными и недостойными слугами, не пребываем в безопасности. Так что бери его и поступай с ним согласно своему разумению. Мы ограничиваем твою власть только в двух вещах. Не подобает, чтобы дитя человеческое, обладающее человеческими чувствами, страдало плотью больше, чем может быть необходимо в целях следования долгу. Поэтому мы предписываем, чтобы пленный не умер под пытками. А для большей уверенности в этом нашем милосердном решении двое наших будут сопровождать тебя и его к месту казни. Это в том случае, если в твои намерения входит предать его наказанию смертью. Другое условие согласия с этой предопределенной необходимостью — чтобы христианский пастырь был под рукой, дабы страдалец мог отойти, напутствуемый молитвами человека, привыкшего возвышать голос, припадая к стопам Всемогущего.

Вождь могикан выслушал этот приговор с глубоким вниманием. Когда он понял, что должен отказаться от удовольствия испытать или даже сломить выдержку своего врага, глубокое облако пробежало по его смуглому лицу. Но сила его племени была давно сломлена и сопротивляться было бы настолько же невыгодно, насколько было бы недостойно роптать. Поэтому условия были приняты и сделаны соответствующие приготовления со стороны индейцев, чтобы приступить к судилищу.

У этих людей было мало противоречивых принципов, которые приходилось бы примирять, и никаких хитросплетений, уводящих от решения. Прямые, бесстрашные и простые во всех своих поступках, они ограничились тем, что собрали голоса вождей и ознакомили пленника с результатом. Они знали, что

судьба бросила им в руки неумолимого врага, и полагали, что самосохранение требует его жизни. Их мало заботило, были ли у него в руках стрелы или пленник сдался безоружным. Он знал, какому риску подвергался, покоряясь, и, вероятно, прислушивался скорее к голосу своей натуры, чем думал об их жизнях, отбросив прочь оружие. Поэтому они вынесли смертный приговор пленнику, просто соблюдая предписание своих белых союзников, приказавших не применять пытку.

Как только огласили это решение, уполномоченные Колонии поспешили прочь от этого места, прибегнув к некоторой помощи своего изощренного учения, чтобы успокоить собственную совесть. Однако они были искусными казуистами и, спеша по дороге, ведущей к дому, большинство отряда было довольно, что проявило скорее милосердное участие, нежели совершило какой-либо акт подлинной жестокости.

В течение двух или трех часов, прошедших в этих торжественных и привычных приготовлениях, Конанчет сидел на утесе, как непосредственный, но явно безучастный зритель всего, что происходило. Его взгляд был мягким и временами печальным, но оставался неизменно ясным и непреклонным. Когда ему объявили приговор, это не вызвало перемены. И он смотрел, как отбыли все бледнолицые, со спокойствием, которое не изменяло ему все это время. Только когда Ункас, сопровождаемый своим отрядом и двумя оставшимися белыми наблюдателями, подошел к нему, его душа, казалось, пробудилась.

— Мои люди сказали, что больше не будет волков в лесах, — сказал Ункас, — и они приказали нашим юношам убить самых голодных из них.

— Это хорошо! — холодно отозвался тот.

Проблеск восхищения и, может быть, человечности мелькнул на мрачном лице Ункаса, когда он пристально

взглянул на твердые черты своей жертвы, которые выражали безмятежность. На мгновение его намерение пошатнулось.

— Могикане — великое племя! — добавил он. — А народ Ункаса становится малочисленным. Мы раскрасим нашего брата так, что лживые наррагансеты не узнают его, и он станет воином на твердой земле.

Это проявление сочувствия со стороны врага возымело соответствующее действие на великодушный нрав Конанчета. Надменная гордыня погасла в его глазах, а взгляд стал мягче и человечнее. С минуту напряженная мысль бороздила его лоб, решительные мышцы рта играли, хотя едва заметно, а потом он заговорил:

— Могиканин, к чему вашим юношам спешить? Мой скальп станет скальпом большого вождя завтра. Они не снимут два, если убьют своего пленника сейчас.

— Неужели Конанчет кое-что забыл, что он не готов?

— Сахем, он всегда готов… но… — он сделал паузу и проговорил нетвердым голосом: — Разве могиканин живет один?

— Сколько солнечных восходов просит наррагансет?

— Один. Когда тень той сосны укажет на ручей, Конанчет будет готов. Он встанет тогда в тени с пустыми руками.

— Ступай! — сказал Ункас с достоинством. — Я услышал слова сагамора.

Конанчет повернулся, быстро прошел сквозь молчаливую толпу, и вскоре его фигура пропала в окружающем лесу.

ГЛАВА XXXI

Так обнажите грудь.
«Венецианский купец»[125]

Следующая ночь выдалась ненастной и печальной. Стояло почти полнолуние, но в небе виднелось только то место, где располагалась луна, так как плывшая по воздуху завеса тумана лишь временами разрывалась, позволяя коротким проблескам мерцающего света упасть на сцену внизу. Юго-западный ветер скорее со стоном, чем со вздохом, пронизывал лес, и бывали моменты, когда его порывы усиливались до того, что казалось, будто каждый лист — это язык и каждое низкорослое растение наделено даром речи. За исключением этих впечатляющих и отнюдь не неприятных природных звуков в деревне Виш-Тон-Виш и вокруг нее царил торжественный покой. За час до момента, когда мы возвращаемся к событиям легенды, солнце село в лесу по соседству и большинство простых и трудолюбивых обитателей селения уже отдыхало.

Однако огни еще светились во многих окнах «Дома Хиткоутов», как на языке этой местности прозвали жилище Пуританина. В конторских помещениях шла обычная оживленная деловая жизнь, а в верхних помещениях дома, как обычно, все было спокойно. Только на его террасе можно было видеть одинокого человека. То был молодой Марк Хиткоут, в нетерпении меривший шагами длинную и узкую галерею, словно досадуя на какую-то помеху его намерениям.

Беспокойство молодого человека длилось недолго, ибо он провел не так уж много минут на своем посту, когда дверь отворилась и две легкие фигуры робко выскользнули из дома.

— Ты пришла не одна, Марта, — заметил юноша с некоторым недовольством. — Я же говорил тебе, что дело, о котором я должен рассказать, только для твоих ушей.

— Это наша Руфь. Ты же знаешь, Марк, что ее нельзя оставлять одну, потому что мы боимся, как бы она не вернулась в лес. Она похожа на плохо приученную олениху, способную умчаться прочь при первом хорошо знакомом звуке из леса. Я и теперь боюсь, что мы далеки друг от друга.

— Не бойся ничего. Моя сестра обожает своего ребенка и не думает о бегстве. Как видишь, я здесь, чтобы помешать ей, будь у нее такое намерение. А теперь говори откровенно, Марта, и скажи искренне, действительно ли визиты кавалера из Хартфорда нравятся тебе меньше, чем думает большинство твоих подруг?

— То, что я говорила, остается в силе.

— Однако ты можешь сожалеть об этом.

— Я не отношу антипатию, которую могу испытывать к молодому человеку, к числу своих слабостей. Я слишком счастлива здесь, в этой семье, чтобы желать покинуть ее. А вот наша сестра… Смотри! Какой-то человек разговаривает с ней в эту минуту, Марк!

— Это всего лишь дурачок, — ответил молодой человек, устремляя взгляд на другой конец террасы. — Они часто беседуют друг с другом. Уиттал только что вернулся из леса, где очень любит бродить час или два каждый вечер. Ты говорила, что теперь наша сестра…

— У меня нет особого желания поменять место жительства.

— Тогда почему не остаться с нами навсегда, Марта?

— Слышишь? — прервала его собеседница, догадываясь о том, что услышит, и с непостоянством

человеческой натуры уклоняясь от того самого объяснения, которое больше всего желала услышать. — Тсс! Какое-то движение. Ах! Руфь и Уиттал убежали!

— Они ищут какую-нибудь забаву для ребенка. Они возле наружных построек. Так почему бы не воспользоваться правом остаться навсегда…

— Не может быть, Марк! — воскликнула девушка, вырвав свою руку из его. — Они убежали!

Марк неохотно выпустил ее руку и прошел к месту, где сидела его сестра. Ее и вправду не было, хотя прошло несколько минут, прежде чем даже Марта всерьез поверила, что та исчезла, не намереваясь вернуться. Взволнованность обоих направила поиск не в том направлении и сделала его неуверенным. Возможно, тайное удовольствие продолжить беседу хотя бы в этой иносказательной манере помешало им вовремя поднять тревогу. Когда же такой момент наступил, было слишком поздно. Обследовали поля, тщательно обыскали сады и наружные постройки — никаких следов беглецов. Было бы бесполезно отправляться в лес в темноте, и все, что можно было сделать разумного, — это выставить караул на ночь и подготовиться к более активным и продуманным поискам утром.

Но задолго до восхода солнца маленькая и печальная группа беглецов ушла через лес на такое расстояние от деревни, которое сделало бы любой план семейства неосуществимым.

Конанчет, сопровождаемый своей молчаливой половиной, прокладывал путь через множество лесных кочек, водных преград и темных оврагов с ловкостью, способной смутить усердие даже тех, от кого они бежали. Уиттал Ринг, неся ребенка на себе, неутомимо брел позади. Так проходили часы, а ни один из троих не произнес ни слова. Раз или два они останавливались в каком-нибудь месте, где вода, прозрачная, как воздух,

низвергалась со скал. И, попив из ладоней, возобновляли путь с тем же безмолвным упорством, как и прежде.

Наконец Конанчет устроил привал. Он внимательно изучил положение солнца и бросил долгий и тревожный взгляд на лесные приметы, чтобы не ошибиться в направлении. Неопытному глазу своды деревьев, покрытая листьями земля и гниющие стволы показались бы повсюду одинаковыми. Но было нелегко обмануться в лесу человеку столь бывалому. Удовлетворенный в равной мере проделанным путем и затраченным временем, вождь сделал знак двум своим спутникам разместиться рядом с собой и уселся на низкий выступ утеса, голый край которого торчал с боковой стороны холма.

Еще немало минут после того, как все уселись, никто не нарушал молчания. Взгляд Нарра-матты искал лицо мужа, как глаза женщины ищут подсказки в выражении черт, уважать которые она приучена. Однако она по-прежнему молчала. Слабоумный положил терпеливого младенца у ног матери и подражал ее сдержанности.

— Приятен ли воздух лесов цветку жимолости после жизни в вигваме ее народа? — спросил Конанчет, нарушив долгое молчание. — Разве может цветок, распустившийся под солнцем, любить тень?

— Женщина наррагансетов счастливее всего в вигваме своего мужа.

Глаза вождя с любовью встретили ее доверчивый взгляд, затем, нежные и полные доброты, они обратились на лицо ребенка, лежавшего у их ног. То была минута, когда выражение горькой печали запечатлелось на его лице.

— Дух, сотворивший землю, — продолжал он, — очень мудр. Он знал, где посадить болиголов и где должен расти дуб. Он оставил лося и оленя охотнику-

индейцу и дал лошадь и вола бледнолицым. У каждого племени есть свои охотничьи земли и своя дичь. Наррагансеты знают вкус моллюсков, в то время как могауки едят горные ягоды. Ты видела яркую радугу, светящуюся в небе, Нарра-матта, и знаешь, как один цвет смешивается с другим, словно краска на лице воина. Лист болиголова похож на лист сумаха, ясеня — на каштан, каштана — на липу, а липы — на широколистное дерево, приносящее красный плод в вырубках йенгизов. Но дерево красного плода маленькое, как болиголов! Конанчет — высокий и прямой болиголов, а отец Нарра-матты — дерево с вырубки, приносящее красный плод. Великий Дух разгневался, когда они стали расти вместе. Чуткая жена прекрасно поняла течение мысли вождя. Однако, подавляя страдание, которое испытывала, Нарра-матта ответила с готовностью женщины, чье воображение подстегивали ее переживания:

— То, что сказал Конанчет, правда. Но йенгизы привили яблоко своей земли на колючки из наших лесов, и получился добрый плод!

— Он похож на этого мальчика, — сказал вождь, указывая на своего сына. — Ни краснокожий, ни бледнолицый. Нет, Нарра-матта, что повелел Великий Дух, даже сахем должен исполнить.

— Разве Конанчет скажет, что этот плод нехорош? — спросила жена, поднося с материнской радостью улыбающегося ребенка к его глазам.

Сердце воина было тронуто. Склонив голову, он поцеловал ребенка с такой любовью, какой не в состоянии выразить и менее суровые родители. В эту минуту он, казалось, испытал удовлетворение, глядя на многообещающее дитя. Но когда он поднял голову, его взгляд поймал блик солнца, и выражение его лица полностью изменилось. Сделав шаг в сторону жены,

чтобы снова положить ребенка на землю, он повернулся к ней с торжественным видом и продолжил:

— Пусть язык Нарра-матты говорит без страха. Она побывала в вигвамах своего отца и вкусила от их изобилия. Радо ли ее сердце?

Молодая жена медлила. Вопрос принес с собой внезапное воспоминание обо всех тех оживших чувствах, о той нежной заботе и том успокоительном сочувствии, объектом которых она так недавно была. Но эти чувства быстро выветрились, ибо, не решаясь поднять глаза, чтобы встретить внимательный и тревожный взгляд вождя, она сказала твердо, хотя и слабым от неуверенности голосом:

— Нарра-матта — твоя жена.

— Тогда она прислушается к словам своего мужа. Конанчет больше не вождь. Он пленник могикан. Ункас ждет его в лесу.

Несмотря на недавнее заявление молодой жены, она выслушала известие об этом несчастье без обычного спокойствия, свойственного индейской женщине. Сперва казалось, будто ее чувства отказываются понимать смысл этих слов. Удивление, сомнение, ужас и страшная уверенность — каждое из этих переживаний по очереди брало верх, ибо она была слишком хорошо выучена всем обычаям и суждениям народа, с которым имела дело, чтобы не понять опасности, угрожавшей ее мужу.

— Сахем наррагансетов — пленник могиканина Ункаса! — повторила она тихим голосом, словно его звук должен был рассеять какую-то ужасную иллюзию. — Нет! Ункас не тот воин, чтобы повергнуть Конанчета!

— Слушай мои слова, — сказал вождь, касаясь плеча жены, как человек, пробуждающий друга от сновидений. — В этих лесах есть бледнолицый, который, как лис, скрывается в норе. Он прячет свою

голову от йенгизов. Когда его люди шли по следу, воя, как голодные волки, этот человек доверился сагамору. То была проворная охота, а мой отец сильно стареет. Он взобрался на ствол молодого пекана[126], словно медведь, а Конанчет увел прочь лживое племя. Но он не лось. Его ноги не могут бежать вечно, как проточная вода!

— Зачем же великий наррагансет отдал свою жизнь ради чужого человека?!

— Этот человек — храбрый воин, — возразил сахем гордо. — Он снял скальп вождя!

Нарра-матта снова примолкла. Ошеломленная, она раздумывала о страшной правде.

— Великий Дух видит, что мужчина и его жена из разных племен, — отважилась она наконец заговорить. — Он хочет, чтобы они стали людьми одного народа. Пусть Конанчет покинет леса и пойдет в вырубки с матерью своего сына. Ее белый отец будет рад, а могиканин Ункас не посмеет преследовать их.

— Женщина, я сахем и воин своего народа!

В голосе Конанчета прозвучало суровое и холодное недовольство, которого его спутница не слышала никогда прежде. Он говорил скорее как вождь с женщиной своего племени, нежели с той мужской нежностью, с какой привык обращаться к отпрыску бледнолицых. Слова пали на ее сердце подобно губительному холоду, и скорбь сковала ее уста. Сам вождь еще минуту сидел в суровом спокойствии, а затем, поднявшись с недовольным видом, показал на солнце и кивком приказал своим спутникам продолжить путь. За время, показавшееся трепещущему сердцу той, что следовала за его быстрыми шагами, всего лишь мгновением, они обогнули небольшую возвышенность и еще через минуту стояли перед группой, явно ожидавшей их прихода. Эта угрюмая группа состояла

только из Ункаса, двоих его воинов самого свирепого и атлетичного вида, священнослужителя и Ибена Дадли.

Быстро подойдя к тому месту, где стоял его враг, Конанчет занял свой пост у подножия рокового дерева. Указав на тень, еще не обращенную к востоку, он сложил руки на обнаженной груди и принял вид величественной отстраненности. Это было проделано среди глубокой тишины.

Разочарование, невольное восхищение и недоверие — все эти чувства прорывались сквозь маску привычной сдержанности на смуглом лице Ункаса. Он смотрел на своего давно ненавидимого и ужасного врага взглядом, казалось стремившимся обнаружить какие-то скрытные признаки слабости. Было бы нелегко сказать, испытывал ли он в большей степени уважение или сожаление по поводу верности наррагансета своему слову. Сопровождаемый двумя угрюмыми воинами, вождь проследил положение тени с придирчивой дотошностью, и, когда больше не осталось предлога, чтобы подвергнуть сомнению пунктуальность пленника, из груди каждого исторглось согласие перейти к делу.

Подобно осмотрительному судье, чей приговор обусловлен юридическими прецедентами и желающему подтвердить, что в судопроизводстве не было упущений, могиканин сделал знак белым людям подойти ближе.

— Человек дикой и неисправимой натуры! — начал Мик Вулф в своем обычном наставительном и отрешенном тоне. — Час твоего бытия подходит к концу! Приговор вынесен. Ты взвешен на весах и признан очень легким. Но христианское милосердие никогда не иссякает. Мы не можем противиться предписаниям Провидения, но можем смягчить удар по преступнику. То, что ты здесь, чтобы принять смерть, — предписание, вынесенное беспристрастно и внушающее благоговение благодаря таинству. Но далее Небо не

требует покорности своей воле. Язычник, у тебя есть душа, и она готова покинуть свою земную обитель для неведомого мира…

До сих пор пленник слушал с вежливостью равнодушного дикаря. Он даже внимательно смотрел на сдержанное воодушевление и крайне противоречивые страсти, светившиеся в глубоких чертах лица оратора с долей такого почтения, какое мог бы проявить к демонстрации одного из так называемых откровений прорицателя своего племени. Но когда священнослужитель заговорил насчет его участи после смерти, его душа обрела ясный и для него безошибочный ключ к истине. Неожиданно положив руку на плечо Мика, он прервал его следующими словами:

— Мой отец забывает, что его сын краснокожий. Перед ним лежит тропа к счастливым охотничьим землям настоящих индейцев.

— Язычник, твоими словами владыка духа обмана и греха произнес свои богохульства!

— Послушай! Видел ли мой отец то, что колышет кустарник?

— Это был незримый ветер, ты, идолопоклонник и несмышленое дитя в теле взрослого мужчины!

— И однако, мой отец разговаривает с ним, — возразил индеец с серьезным, но язвительным сарказмом своего народа. — Смотри! — добавил он высокомерно и даже со злостью. — Тень прошла корни дерева. Пусть лукавый человек бледнолицых отойдет в сторону. Сахем готов умереть!

Мик издал громкий стон подлинной скорби, ибо, несмотря на пелену, которой возбуждающие теории и доктринерские тонкости опутывали его суждения, милосердные порывы этого человека были искренними. Покоряясь тому, что он считал таинственным Промыслом небесной воли, он отошел на небольшое

расстояние, преклонив колена на утесе, и его голос был слышен во время всего остального ритуала, возносясь в жаркой молитве о душе осужденного.

Едва священник покинул это место, как Ункас сделал Дадли знак приблизиться. Хотя по натуре этот житель пограничья был, в сущности, человеком честным и добрым, в своих суждениях и предубеждениях он был всего лишь сыном своего времени. Если он и согласился на судилище, отдававшее пленника на милость его неумолимых врагов, то у него хватило достоинства подсказать средство, чтобы защитить мученика от той изощренной жестокости, готовностью легко прибегнуть к которой славились дикари. Он даже добровольно вызвался быть одним из действующих лиц, чтобы подкрепить собственное мнение, хотя, поступая таким образом, совершал немалое насилие над своими природными наклонностями. Поэтому пусть читатель судит о его поведении в этом деле с той степенью снисходительности, которой требует правильное понимание условий страны и обычаев эпохи. Выражение лица свидетеля этой сцены, расположенного к пленнику, смягчилось и на нем даже отразилась готовность отступить от намерения, когда он заговорил. Сперва он обратился к Ункасу:

— Счастливый случай, могиканин, в чем-то с помощью силы белых людей, предал этого наррагансета в твои руки. Верно, что уполномоченные Колонии согласились, чтобы ты по своей воле распорядился его жизнью. Но в груди каждого человеческого существа есть голос, который должен звучать сильнее, чем голос мщения, и это голос милосердия. Еще не слишком поздно прислушаться к нему. Возьми с наррагансета обет верности; больше того, возьми в заложники этого ребенка, за которым

вместе с его матерью будут присматривать англичане, и отпусти пленного.

— У моего брата большая душа! — сухо заметил Ункас.

— Не знаю, зачем и почему я прошу со всей серьезностью, но лицо и поведение этого индейца оживляют во мне старые воспоминания и прежнюю доброту! И к тому же здесь один человек, женщина, связанная, я знаю, кое с кем из нашего поселения узами более тесными, чем обычное милосердие. Могиканин, я добавлю добрый дар из пороха и мушкетов, если ты прислушаешься к голосу милосердия и возьмешь клятву с наррагансета.

Ункас с иронической холодностью указал на пленника, проговорив:

— Пусть скажет Конанчет!

— Ты слышишь, наррагансет? Если ты тот самый человек, как я начинаю подозревать, то ты знаешь кое-что об обычаях белых. Говори! Клянешься ли ты сохранять мир с могиканами и закопать топор войны на тропе между вашими деревнями?

— Огонь, спаливший вигвамы моего народа, обратил сердце Конанчета в камень, — был твердый ответ.

— Тогда я могу только проследить, чтобы договоренность была соблюдена, — сказал Дадли с разочарованием. — У тебя свой нрав, и он дает себя знать. Господь милостив к тебе, индеец, и выносит тебе приговор, какой надлежит применить к дикарю.

Он жестом дал знать Ункасу, что закончил, и отошел на несколько шагов от дерева. На его честном лице отражались все его чувства, а взгляд не переставал пристально следить за каждым движением враждебных сторон. В ту же минуту угрюмые помощники вождя могикан, повинуясь знаку, заняли места по обе стороны пленника. Они явно ждали последнего и рокового сигнала, чтобы довершить свое неумолимое намерение.

В этот напряженный момент наступила пауза, как будто каждое из главных действующих лиц взвешивало нечто серьезное в глубине своей души.

— Наррагансет ничего не сказал своей жене, — заметил Ункас, втайне надеясь, что его враг, может быть, еще проявит хотя бы какую-то недостойную мужчины слабость в минуту столь сурового испытания. — Она здесь, рядом.

— Я сказал, что мое сердце — камень, — холодно возразил наррагансет.

— Посмотри! Девушка плачет, словно испуганная птичка в листве. Если мой брат Конанчет взглянет, он увидит ту, которую любит.

Лицо Конанчета омрачилось, но он не дрогнул.

— Мы отойдем в кустарник, если сахем боится говорить со своей женщиной под взглядами могикан. Воин не любопытная девушка, чтобы наблюдать скорбь вождя!

Конанчет ощутил желание найти какое-нибудь оружие, которое могло бы повергнуть его врага наземь, но тут тихий шепчущий звук возле локтя так нежно коснулся его слуха, что разом усмирил взрыв страсти.

— Разве сахем не взглянет на свое дитя? — спросил умоляющий голос. — Ведь это сын великого воина. Отчего лицо его отца так потемнело при взгляде на него?

Нарра-матта подобралась к своему мужу не далее чем на расстояние его руки. Раскинув руки, она протянула вождю залог своего былого счастья, словно желая вымолить последний и ласковый взгляд признания и любви.

— Разве великий наррагансет не взглянет на своего сына? — повторила она голосом, прозвучавшим как самые слабые ноты какой-то трогательной мелодии. — Отчего его лицо так омрачилось при виде женщины своего племени?

Даже жесткие черты сагамора могикан выдали, что он тронут. Приказав своим мрачным помощникам зайти за дерево, он повернулся и отошел в сторону с благородным видом дикаря, действующего под влиянием своих лучших чувств. Тогда хмурое лицо Конанчета просветлело. Его глаза искали лицо своей убитой горем и скорбящей супруги, которая меньше переживала по поводу нависшей над ним опасности, чем была опечалена его нерасположением. Он принял мальчика из ее рук и долго и внимательно всматривался в его черты. Подозвав Дадли, в одиночестве наблюдавшего эту сцену, он положил дитя в его объятия.

— Гляди! — сказал он, указывая на ребенка. — Это цветок с вырубок. Он не будет жить в тени леса.

Затем он остановил взгляд на своей трепещущей половине. В этом взгляде присутствовала мужняя любовь.

— Цветок равнинной земли! — сказал он. — Маниту твоего народа отнесет тебя в поля твоих предков. Солнце будет сиять над тобой, а ветры из-за соленого озера будут гнать тучи в сторону лесов. Справедливый и великий вождь не может закрыть свои уши для Доброго Духа своего народа. Мой призывает своего сына охотиться среди храбрецов, отправившихся по вечной тропе. Твой указывает иной путь. Ступай, послушайся его голоса и повинуйся. Пусть твоя душа будет как широкая вырубка. Пусть все ее тени будут возле леса. Пусть она забудет сон, приснившийся ей среди деревьев. Такова воля Маниту.

— Конанчет требует слишком многого от своей жены. Ее душа всего лишь душа женщины!

— Женщины бледнолицых. Теперь пусть она разыщет свое племя. Нарра-матта, твой народ говорит о странных преданиях. Он говорит, что какой-то справедливый человек умер ради людей всякого цвета.

Я не знаю. Конанчет — дитя среди хитрецов и мужчина с воинами. Если это правда, он будет искать свою женщину и сына в счастливых охотничьих землях, и они придут к нему. Среди йенгизов нет охотника, способного убить так много оленей. Пусть Нарра-матта забудет своего вождя до того времени, а потом, когда она позовет его по имени, пусть говорит громко, ибо он будет очень рад снова услышать ее голос. Ступай! Сагамор готов отправиться в долгое странствие. Он прощается со своей женой с тяжелым сердцем. Она посадит маленький цветок двойной окраски перед своими очами и будет счастливо наблюдать, как он растет. А теперь пусть она уходит. Вождь готов умереть.

Внимательно слушавшая женщина ловила каждое медленное и взвешенное слово, как человек, воспитанный на суеверных легендах, внимает словам оракула. Но привыкшая к повиновению и выбитая из колеи своим горем, она больше не колебалась. Покидая его, Нарра-матта уронила голову на грудь, а лицо спрятала в одежде. Она прошла мимо Ункаса почти неслышными шагами, но, увидев ее шатающуюся фигуру и быстро обернувшись, он поднял руку высоко в воздух. Ужасные немые стражи тотчас показались из-за дерева и исчезли. Конанчет вздрогнул и, казалось, приготовился нырнуть головой вперед. Но отчаянным усилием овладев собой, он откинулся назад, прислонясь к дереву, и упал в позе вождя, сидящего в Совете. На его лице играла улыбка жестокого торжества, а губы явно шевелились. Ункасу пришлось, задержав дыхание, наклониться вперед, чтобы расслышать:

— Могиканин, я умираю прежде, чем мое сердце смягчилось! Такие слова, произнесенные с трудом, но твердо, дошли до его слуха. Затем последовали два долгих и тяжких вздоха. Один был вновь обретенным дыханием Ункаса, а второй — предсмертным вздохом

последнего сахема сокрушенного и рассеянного племени наррагансетов.

ГЛАВА XXXII

Пусть и оплаканный сполна,
Ты с нею вместе вновь и вновь;
Пока скорбит душой она,
К тебе жива ее любовь.

Коллинз

Спустя час основные действующие лица предыдущей сцены исчезли. Остались только вдовая Нарра-матта с Дадли, священник и Уиттал Ринг.

Тело Коначета все еще оставалось в сидячем положении, подобно вождю в Совете, там, где он умер. Дочь Контента и Руфи пробралась ближе к нему и уселась в том состоянии оцепеневшего горя, которое так часто сопровождает первые минуты неожиданного и переполняющего душу потрясения. Она не разговаривала, не рыдала и не выражала тех переживаний, какие горе обычно возбуждает в организме человека. Казалось, что ее душа парализована, хотя губительное ощущение от удара запечатлелось ужасом в каждой черточке ее выразительного лица. Румянец покинул щеки, губы были бескровными и временами судорожно подергивались, как у спящего ребенка, а грудь конвульсивно вздымалась, словно душа внутри тяжко боролась, чтобы вырваться из своей земной темницы. Дитя лежало без присмотра рядом с ней, а Уиталл Ринг поместился по другую сторону тела.

Два агента, назначенные Колонией засвидетельствовать смерть Коначета, стояли неподалеку, скорбно глядя на вызывающее жалость зрелище. В тот миг, когда душа осужденного отлетела,

священник перестал молиться, ибо верил, что в этот момент душа пошла на суд. Но в его внешности было больше человеческого участия и меньше чрезмерной суровости, чем обыкновенно гнездилось в глубоко прорезанных чертах его угрюмого лица. Теперь, когда дело свершилось и возбуждение, порожденное крайностями теории, уступило место более рассудительному восприятию результата, в некоторые минуты у него даже возникали сомнения по поводу законности акта, от которых он до этого отмахивался под предлогом правомерного и необходимого свершения правосудия. Душу Ибена Дадли не смущали никакие тонкости доктрины или закона. Так как изначально его взгляды на необходимость приговора были не столь крайними, то больше твердости было и в том, как он смотрел на его исполнение. Разнородные чувства, которые можно было назвать переживаниями, тревожили грудь этого решительного, но справедливо настроенного жителя пограничья.

— Это было по необходимости печальное испытание и суровое проявление предназначенной воли, — заметил лейтенант, взглянув на грустное зрелище перед собой. — Отец и сын — оба умерли, как бы то ни было, в моем присутствии, и оба отправились в мир иной при обстоятельствах, доказывающих неисповедимость Провидения. Но не видишь ли ты на лице той, которая выглядит как фигура из камня, отпечатков знакомого выражения лица?

— Ты намекаешь на супругу капитана Хиткоута?

— Верно, именно на нее. Ты, достопочтенный сэр, недостаточно долго живешь в Виш-Тон-Више, чтобы помнить эту леди в ее юные годы. Но мне час, когда капитан повел своих соратников в глухомань, представляется так, будто это было в начале прошлого года и я был проворен на ноги, но немного туговат на мысли и разговоры. Как раз в том походе женщина, что

ныне мать моих детей, и я впервые познакомились. Я видел много хорошеньких женщин в свое время, но никогда не встречал такую приятную для взора, какой была супруга капитана до той ночи пожарища. Ты много наслышан об утрате, которую она тогда пережила, и с того времени ее красота стала походить скорее на октябрьский лист, чем на его свежесть в сезон цветения. А теперь взгляни на лицо этой скорбящей женщины и скажи, разве оно не похоже на отражение в воде, как бывает, когда смотришь из нависающих кустов? По правде, я был готов поверить, что это горюющие глаза и облик самой матери, потерявшей дорогого ей человека.

— Горе тяжко поразило эту безобидную жертву, — произнес Мик с большой, но скрываемой мягкостью. — Следует возвысить голос за нее, иначе...

— Тсс! В лесу кто-то есть. Я слышу шорох листьев.

— Голос того, кто сотворил землю, шепчет в ветрах; жизнь природы — это его дыхание!

— Здесь живые люди!.. Но, к счастью, это встреча друзей, и новой причины для стычки не будет. Отцовское сердце надежно, как острый глаз и быстрые ноги.

Дадли опустил мушкет рядом с собой, и оба, он и его спутник, стояли, с достоинством и хладнокровно ожидая появления тех, кто приближался. Подошедший отряд показался со стороны дерева, стоявшего напротив того, у которого смерть поразила Конанчета. Огромный ствол и толстые корни сосны скрывали группу у ее подножия, но вскоре фигуры Мика и лейтенанта заметили. Когда их обнаружили, тот, кто вел вновь прибывших, направился к ним.

— Если, как ты предположил, наррагансет снова увел ее, — Он слишком долго горевал по ней в лесу, — сказал Смиренный, служивший в качестве проводника тем, кто следовал за ним. — Мы здесь недалеко от его

прибежища. Возле вон той скалы он назначил встречу с кровожадным Филипом, а место, где благодаря ему мне была дарована бесполезная и горестная жизнь, находится в самой гуще тех зарослей, что окаймляют ручей. Этот слуга Господа и наш отважный друг лейтенант могут подробнее рассказать нам о его действиях.

Говоривший остановился на небольшом расстоянии от двух названных лиц, но по-прежнему со стороны дерева, противоположного тому, где лежало тело. Он обращался к Контенту, который тоже остановился в ожидании Руфи, шедшей позади, опираясь на сына, в сопровождении Фейс и доктора, причем все снарядились, как люди, занятые поисками в лесу. Материнское сердце поддерживало слабую женщину в течение многих утомительных миль, но она брела все медленней, пока они так счастливо не напали на следы присутствия человека близ места, где теперь встретили двух представителей Колонии.

Несмотря на глубокую заинтересованность обеих групп в поисках, разговор начался без явных изъявлений чувств каждой из сторон. Для них поход в лес не обладал новизной, и после целого дня хождений по его лабиринтам вновь прибывшие встретили своих друзей, как люди встречаются на более протоптанных дорогах в странах, где их пути неизбежно пересекаются. Даже появление Смиренного перед путниками не породило удивления на бесстрастных лицах тех, кто наблюдал за его приближением. В самом деле, обоюдная сдержанность человека, так долго скрывавшегося, и тех, кто не раз видел его в поразительных и таинственных обстоятельствах, могла вполне оправдать мнение, что тайна его присутствия близ долины не была связана с жизнью одного лишь семейства Хиткоутов. Этот факт делается еще более

вероятным, если вспомнить о честности Дадли и о профессиональных качествах двух других.

— Мы идем по следам беглеца, который, как блудный олень, снова ищет убежище в лесу, — сказал Контент. — Наша погоня велась наудачу и могла оказаться тщетной, ведь столько людей за последнее время исходило лес, если бы Провидение не направило наш путь к этому нашему другу, который предположительно мог знать вероятное расположение лагеря индейцев. Тебе известно что-нибудь насчет сахема наррагансетов, Дадли.

И где те, кого ты повел против хитрого Филипа? Что ты напал на его отряд, мы слыхали, хотя желаем знать больше, чем о твоем общем успехе. Вампаноа ускользнул от тебя?

— Злые силы, помогающие ему в его планах, использовали крайности этого дикаря. Хотел бы я, чтобы его судьба была такой, какую, боюсь, обречена испытать гораздо более достойная душа.

— О ком ты говоришь?.. Впрочем, это не важно. Мы ищем наше дитя. Та, которую ты знал и которую ты совсем недавно видел, снова покинула нас. Мы ищем ее в лагере того, кто был для нее… Дадли, тебе известно что-нибудь о сахеме наррагансетов?

Лейтенант взглянул на Руфь, как однажды до того уже пристально смотрел на горестные черты этой женщины, но ничего не сказал. Мик сложил руки на груди и, казалось, молился про себя. Однако нашелся человек, нарушивший молчание, хотя в его тихом голосе звучала угроза.

— Это было кровавое дело! — пробормотал дурачок. — Лживый могиканин поразил великого вождя в спину. Пусть он зароет отпечаток своих мокасин в землю своими ногтями, как лиса роет нору, ибо кто-то пойдет по его следу, прежде чем он спрячет свою голову. Нипсет станет воином с первым снегом!

— Это мой слабоумный брат! — воскликнула Фейс, бросаясь вперед, но отшатнулась, закрыв лицо ладонями, и в сильном изумлении опустилась на землю.

Хотя время шло своим обычным ходом, тем, кто стали очевидцами последовавшей далее сцены, показалось, будто переживания многих дней вместились в пределы нескольких минут. Мы не станем задерживаться на первых душераздирающих и волнующих моментах ужасного открытия.

Короткого получаса хватило, чтобы ознакомить каждого со всем тем, что было необходимо узнать. Поэтому мы перенесем рассказ на конец этого времени.

Тело Конанчета все еще покоилось возле дерева. Глаза были открыты, и хотя это был взгляд мертвеца, все же возле лба, сомкнутых губ и широких ноздрей осталось многое от той надменной твердости, которая поддерживала его в последнем испытании. Руки недвижно лежали по бокам, но одна ладонь была сжата в усилии, с каким она часто держала томагавк, а Другая утратила силу в тщетной попытке отыскать то место на поясе, где надлежало быть острому ножу. Эти два жеста, возможно, были непроизвольными, ибо во всех других отношениях тело изображало достоинство и покой. Рядом с ним все еще занимал свое место мнимый Нипсет, и угрожающее недовольство пробивалось сквозь обычное выражение слабоумия на его лице.

Остальные собрались вокруг матери и ее убитой горем дочери. Могло показаться, что все другие чувства в тот момент поглотило беспокойство за последнюю. Было достаточно оснований опасаться, что недавний удар внезапно расстроил что-то в том сложном механизме, который привязывает душу к телу. Такого результата, однако, следовало больше опасаться из-за общей апатии и ослабления организма, чем из-за какого-то резко выраженного и понятного симптома.

Биение сердца еще ощущалось, но с трудом, и походило на неравномерные и прерывистые обороты мельницы, которую затихающий ветер перестает вращать. На бледном лице застыло выражение муки. Оно было совершенно бесцветным, даже губы имели неестественный вид, какой приобретают восковые фигуры. Ее руки и ноги, как и черты лица, были неподвижны, и все же временами последние подавали признаки жизни, как будто подразумевавшие не только работу сознания, но и ожившие и мучительные воспоминания о том, что с ней произошло в действительности.

— Это превосходит мое искусство, — сказал доктор Эргот, выпрямившись после долгого и молчаливого прослушивания пульса. — В строении тела есть тайна, которую человеческое знание еще не раскрыло. Токи жизни подчас замирают непостижимым образом, и это, я полагаю, тот случай, что смутил бы и самого сведущего в нашем искусстве даже в наиболее древних странах земли. Мне довелось видеть многих приходящих в этот суетный мир, но мало покидающих его, и тем не менее я осмелюсь предсказать, что это человек, обреченный покинуть его пределы, прежде чем исполнится естественное число ее дней!

— Давайте обратимся ради того, что никогда не умрет, к Тому, кто предписывает ход вещей от начала времен, — призвал Мик, жестом приглашая окружающих присоединиться к молитве.

Затем священник возвысил голос под сводами леса в жарком, благочестивом и красноречивом молении. Когда этот торжественный долг был выполнен, внимание снова обратилось на страдалицу. К всеобщему удивлению обнаружили, что кровь вновь прилила к ее лицу и что ее лучистые глаза светятся выражением ясности и покоя. Она даже сделала

попытку подняться, чтобы лучше разглядеть тех, кто собрался возле нее.

— Ты узнаешь нас? — трепеща спросила Руфь. — Взгляни на своих друзей, долготерпеливая и многострадальная дочь моя! Это та, что огорчалась твоими детскими горестями, что радовалась детскому счастью, что так горько оплакивала свою потерю и молится за тебя. В эту страшную минуту вспомни уроки юности. Нет, нет, Господь, который милостив к тебе, хотя он и наставил тебя на удивительный и непостижимый путь, не покинет тебя в его конце! Подумай, чему тебя учили прежде, дитя любви моей! Как бы ты ни ослабела духом, семя еще может взойти, пусть оно и было брошено туда, где обетованная слава так долго была сокрыта.

— Матушка! — произнес в ответ тихий прерывающийся голос. Это слово достигло слуха каждого и приковало всеобщее внимание, заставив затаить дыхание. Голос звучал мягко и тихо, может быть, по-детски, но безучастно и размеренно. — Матушка… Почему мы в лесу? Разве кто-то похитил нас из нашего дома, что мы ютимся под деревьями?

Руфь умоляюще подняла руку, чтобы никто не прерывал иллюзии.

— Природа оживила воспоминания ее юности, — прошептала она. — Пусть душа отходит, если такова Его святая воля, в блаженстве детской невинности!

— Зачем Марк и Марта ждут? — продолжала та. — Ведь ты знаешь, матушка, что небезопасно забираться далеко в лес. Язычники могут выйти из своих селений, и никто не знает, какой злой случай может приключиться с неосторожным человеком.

Из груди Контента вырвался стон, а мускулистая рука Дадли сжала плечо жены, пока, затаившая дыхание и вся внимание, женщина не отступила бессознательно, испытывая муку.

— Я столько раз говорила Марку, чтобы он не забывал твоих предостережений, матушка. А эти дети так любят бродить вместе! Но Марк в общем хороший, не брани его, если он забредет слишком далеко, матушка… Не брани его!

Юноша отвернулся, ибо даже в такую минуту мужская гордость молодого человека побуждала его скрыть свою слабость.

— Ты молилась сегодня, дочь моя? — спросила Руфь, стараясь собраться с силами. — Ты не должна забывать свой долг перед Его благословенным именем, пусть даже мы оказались бездомными в лесу.

— Я помолюсь сейчас, матушка, — сказала жертва этой таинственной галлюцинации, стараясь спрятать лицо в коленях

Руфи. Ее желания послушались, и в течение минуты было отчетливо слышно, как тот же слабый детский голос повторял слова молитвы, приуроченной к самому раннему периоду жизни. Как ни слабы были звуки, ни одна интонация не ускользнула от слушателей, пока ближе к концу своего рода святое успокоение, казалось, поглотило слова. Руфь приподняла тело дочери и увидела на ее лице выражение мирно спящего ребенка. Жизнь играла на нем, как мерцающий свет задерживается на гаснущем факеле. Ее взгляд голубки был обращен на лицо Руфи, а улыбка понимания и любви смягчила страдания матери. Широко открытые и кроткие глаза переходили от лица к лицу, оживляясь каждый раз радостью узнавания. На Уиттале они остановились в смятении и сомнении, а когда встретили неподвижный, хмурый и все еще повелительный взгляд мертвого вождя, застыли навсегда. Была минута, когда страх, сомнение, привычки дикарей и прежние воспоминания боролись друг с другом. Руки Нарра-матты дрожали, и она судорожно ухватилась за одежду Руфи.

— Матушка! Матушка! — прошептала взволнованная жертва столь многих противоречивых переживаний. — Я помолюсь еще… Злой дух преследует меня.

Руфь почувствовала, с какой силой дочь ухватилась за нее, и услышала несколько слов молитвы, произнесенных на одном дыхании, после чего голос умолк, а руки ослабили свою хватку. Когда лицо почти бесчувственной матери отодвинулось, казалось, что мертвые пристально смотрят на каждого из остальных с таинственным и неземным пониманием. Взгляд наррагансета был спокойным, как в час торжества его гордости, высокомерным, непокорным и полным вызова, в то время как взгляд бедного создания, так долго жившего его добротой, был смущенным, робким, но не без проблеска надежды. Последовало торжественное молчание, а затем Мик опять возвысил голос в лесу, чтобы просить руку Всемогущего, управляющую небом и землей, осенить своим благоволением тех, кто остался жив.

Перемены, происшедшие на этом континенте за полтора века, просто удивительны. Города возникли там, где в те времена землю покрывали дремучие леса, и имеется веское основание полагать, что на том или близ того места, где встретил смерть Конанчет, ныне стоит цветущий город. Но несмотря на то, что в стране возобладала столь деятельная жизнь, долина — арена этой легенды — изменилась мало. Деревенька разрослась до поселка; фермы превратились в обширные хозяйства; жилища стали просторнее и несколько более удобными; количество церквей возросло до трех; укрепленные дома и все другие признаки защиты от опасности насилия давно исчезли, но это место все еще заброшено, редко посещаемо и носит заметные следы своего первоначального лесистого характера.

Потомок Марка и Марты является в данное время владельцем усадьбы, в которой разворачивалось действие столь многих волнующих событий нашего незатейливого рассказа. Даже здание, послужившее вторым жилищем для его предков, частично сохранилось, хотя пристройки и усовершенствования сильно изменили его облик. Сады, молодые и цветущие в 1675 году, ныне состарились и чахнут. Деревья уступили место по преимуществу тем сортам плодовых, с которыми почва и климат с тех пор познакомили жителей. Все же некоторые стоят, ибо известно, что в их тени происходили ужасные сцены и их существование полно глубокого нравственного смысла.

Развалины блокгауза, хотя и сильно обветшавшие и разрушающиеся, тоже можно увидеть. Возле них находится последнее прибежище всех Хиткоутов, живших и умиравших по соседству в течение почти двух столетий. Их могилы более недавнего времени можно распознать по мраморным плитам, но ближе к руинам расположены многие из тех, чьи надгробия, полускрытые в траве, вырезаны из обычной необработанной древесины плодовых деревьев этой местности.

Человеку, увлеченному воспоминаниями о давно прошедших днях, подвернулся случай несколько лет назад посетить это место. Было легко проследить рождения и смерти поколений по зримым надписям на более долговечных надгробиях тех, кого здесь хоронили в течение ста лет. Поиск сведений о людях, живших до того, становился делом трудным и мучительным, но рвение этого человека было нелегко обуздать.

На каждом маленьком холмике, за единственным исключением, лежал камень, и на каждом камне была надпись, пусть ее и невозможно было прочитать. Безымянная могила по своему размеру и расположению

предположительно вмещала останки тех, кто пал в ночь пожара. Была здесь и еще одна, где глубоко выбитыми буквами было начертано имя Пуританина. Смерть настигла его в 1680 году. Рядом располагался скромный камень, на котором с большим трудом читалось единственное слово: «Смиренный». Было невозможно установить, стояла ли там дата 1680 или 1690. Смерть этого человека покрыта такой же тайной, какая окутывала столь многое в его жизни. Его настоящее имя, происхождение или характер более подробно, чем они раскрыты на этих страницах, так и не удалось проследить. Однако в семействе Хиткоутов еще хранится книга приказов и распоряжений кавалерийского отряда, как гласит легенда, связанная каким-то образом с его судьбой. К этому испорченному и отрывочному документу приложен фрагмент какого-то дневника или журнала, имеющего отношение к осуждению Карла I к смерти на эшафоте[127].

Тело Контента лежит рядом с его малолетними детьми, и, кажется, он еще был жив в первой четверти прошлого столетия. Не так давно был в живых пожилой человек, помнивший, что видел его, седоголового патриарха, почитаемого за свои годы и уважаемого за свою незлобивость и справедливость. Он прожил полвека или около того, оставаясь неженатым. Этот печальный факт достаточно очевиден исходя из даты на камне ближайшего холмика. Надпись гласила, что это могила «Руфи, дочери Джорджа Хардинга из Колонии залива Массачусетс и жены капитана Контента Хиткоута». Она умерла осенью 1675 года, как сообщает камень, «с душой, порушенной для земных целей по причине многих семейных несчастий, хотя и с надеждой в согласии с Заветом и своей верой в Господа».

Священник, в последнее время отправлявший службу, если ныне и не служит в главной церкви

поселения, именуется достопочтенным Миком Лэмом. Хотя он притязает на то, что является потомком того, кто проповедовал в храме в период, к которому относится наше повествование, время и смешанные браки произвели эту перемену фамилии, как, к счастью, и некоторые другие, в ортодоксальном толковании долга. Когда этот достойный служитель церкви ознакомился с целью, заставившей человека, родившегося в другом государстве[128] и считающего себя потомком ревнителей веры, покинувших страну предков, чтобы молиться по-иному, проявить интерес к судьбам первопоселенцев долины, ему доставило удовольствие помочь расспрашивающему. В поселке и его окрестностях было много домов, где жили семейства Дадли и Рингов. Он показал камень, окруженный многими другими, носившими те же фамилии, на котором было грубо нацарапано: «Я Нипсет, наррагансет; с первым снегом я стану воином! » Идет молва, что хотя несчастный брат Фейс постепенно вернулся на пути цивилизованной жизни, он часто испытывал порывы к соблазнительным радостям, что вкусил когда-то, живя свободной жизнью лесов.

Среди этих печальных останков прежних времен священнику был задан вопрос относительно места, где был погребен Конанчет. Он с готовностью предложил показать его. Могила находилась на холме и была приметна только надгробным камнем, который трава не позволяла разыскать раньше. Он содержал всего одно слово: «Наррагансет».

— А этот рядом с ним? — спросил заинтересованный путник. — Здесь еще один, не замеченный раньше.

Священник склонился к траве и соскреб мох со скромного надгробия. Затем он указал на строку, вырезанную с большей, чем обычно, тщательностью. Надпись гласила только: «Ее оплакивала вся долина».

У ИСТОКОВ АМЕРИКИ: ИДИЛЛИЯ ИЛИ ТРАГЕДИЯ?

В национальную литературу Фенимор Купер вошел как полновластный хозяин. В своей прозе он освоил весь предшествующий литературный путь и дал едва ли не столько же разновидностей сочетания истории и романа, сколько написал книг в этом жанре. Представление о романном жанре у Купера как о повторении одной и той же модели гораздо менее правомерно, чем обратное утверждение, что все они очень разные и в главных чертах неповторимые.

Нам представляется, будто мы хорошо знаем столь знакомые нам вершины Купера: «Шпион», «Лоцман» и все книги пенталогии о Кожаном Чулке. И все же чувство это обманчивое, потому что куперовские романы получают все новое и новое прочтение в критике. По-прежнему возникают споры о том, верно ли изображал писатель индейцев? Сильный он художник или слабый? Патриот или «европеец» по своим пристрастиям? Демократ или консерватор? И множество других...

«Забытые» или недооцененные романы Купера и проясняют, и усложняют ответы на эти вопросы. Купер предстает в них подчас писателем загадочным и сложным. К числу особенно примечательных в этом плане относится «Долина Виш-Тон-Виш».

К роману об истоках Америки, о пуританстве Купер пришел закономерно — как к самому глубинному слою национальной истории: после романов об Американской революции («Шпион», «Лайонел Линкольн») последовал этюд о более ранних событиях колониальных войн («Последний из могикан»), пуританское же прошлое

было самой ранней вехой в истории Америки, какая была доступна во времена Купера. Всегда соблазнительно и интересно бывает заглянуть под основание дома или храма, особенно если это твой собственный дом и если дом этот — национальная история.

Надо сказать, что, как и многие другие темы, тема пуританства к 1820-м годам оставалась еще неосвоенной в литературе США. Тут Купер тоже был первооткрывателем. Правда, писатель не был непосредственно связан корнями с Новой Англией и с пуританством настолько, как его последователи Уиттьер, Готорн, Лонгфелло. Его взгляд был суждением стороннего человека, и все же Купер не был совершенно чужд новоанглийского наследия. Можно сказать, что все американские романтики вышли из библейской образности пуританства, поскольку культурное влияние Новой Англии к началу XIX века было огромным и ни с чем другим не сравнимым. Центральное место в культуре США Библия обрела именно в Новой Англии. В этой связи интересно вспомнить, что Купер позднее стал основателем Национального библейского общества. Другими словами, путь Купера к «Долине» был закономерным, поскольку роман этот имел самое непосредственное отношение к одному из самых фундаментальных для США историко-культурных феноменов.

Пуританство и характерный для США культурный комплекс пуританизма берут свое начало непосредственно в истории первых англоязычных поселений в Новом Свете, основанных «отцами пилигримами», то есть представителями крайних ветвей протестантизма, покинувшими Англию в XVII веке, ибо они подвергались там религиозным гонениям. Провозгласив создание в колониях свободной веротерпимой общины, на деле они, однако, установили

жесткое теократическое правление, основанное на строгом соблюдении моральных норм, а члены религиозных общин сильно зависели от своих старшин-проповедников. Светские аспекты жизни, в том числе развлечения (пляски, музыка, книги и т. д.), если они не были Библией и пением псалмов, последовательно изгонялись из сферы пуританского быта. В своей политике по отношению к туземцам пуритане исходили из доктрины провиденциализма («предустановленной судьбы»), собственной богоизбранности и особой миссии, будто бы возложенной на них Богом. Поэтому территориальная экспансия и агрессивность пуритан в отношении индейцев, в которых им виделись исчадья дьявола, имела идеологическую основу и отличалась последовательной непримиримостью.

Представители этой культуры, практически целиком основанной на Ветхом Завете, повсюду искали аналогии библейским событиям и ситуациям. Культура эта была книжной, предполагавшей знание древних языков, в частности латыни и древнееврейского.

Впоследствии Новая Англия (включавшая штаты Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Нью-Хемпшир, Вермонт и Мэн) надолго стала колыбелью американской интеллигенции, здесь были основаны старейшие национальные университеты. Но «пуританизм» как комплекс национального сознания сохраняется и поныне. С ним связывают склонность к саморефлексии и провиденциализму в восприятии жизни, особую жесткость и непримиримость нравственных оценок, априорную идейную заданность суждений и неспособность к восприятию иных точек зрения.

Сами отцы пилигримы оставили после себя обширный пласт хроник, описаний и «историй», отмеченных исповедальностью и духом религиозного избранничества, интенсивной духовной рефлексией, связанной с истолкованием собственной жизни и, таким

образом, обращенной на самих себя. Многое в них еще было связано со средневековым сознанием. Неудивительно, что преодоление пуританского комплекса и полемика с ним протянулись через всю историю американской литературы. «Охота на ведьм» — выражение, ставшее нарицательным после сожжения пуританами девятнадцати невинных жителей городка Сейлема в поисках колдуний, которых не было. «Пуританин — это тот, кто подозревает: а вдруг кому-то, где-то, почему-то может быть хорошо», — едко заметил известный критик начала XX века Генри Менкен. «Пуритане сначала пали на колени, а встав, напали на индейцев», — вторит ему современный индейский публицист.

В литературе теме пуританства начало положил Вальтер Скотт в романе «Бренная плоть», более известном у нас как «Пуритане» (1816); потом тема «переселилась» на американскую почву. После Купера ее признанным исследователем стал Готорн, за ним — Лонгфелло; полемические образы пуритан можно встретить у Мелвилла и ряда других писателей. Как видим, все это были представители романтической эпохи. Что же могло привлечь их внимание к пуританству?

Ответ на это способен дать анализ романтических произведений: пуританская притчеобразность видения мира превращалась у романтиков в художественный прием; крайнее своеобразие быта, поведения и склада ума людей «новой формации», провозгласивших строительство нового духовного порядка, было достаточно противоречивым прошлым для писателя-романтика, чтобы его игнорировать; словом, романтиков привлекали переломность исторического периода и двойственность пуританской природы.

Роман о пуританах Новой Англии Купер начал в стране-метрополии, на родине пуританства, в 1827

году, продолжил во Франции и Швейцарии в 1828 году, а завершил в Италии в 1829-м (отсюда его замечание в письме к другу о том, что «книга писалась уж слишком по-дорожному»).

Критические отклики на роман за всю историю его существования были весьма разноречивыми, порой он даже признавался неудачным. Однако по выходе книга была тепло встречена европейским читателем: роман вышел в пяти странах на четырех языках одновременно. Современный критик, перечитывая Купера, говорит о «Долине», что это интересное произведение, в котором писатель «некоторые вещи делает неплохо, а иные — превосходно»[129]. В самом деле, роман «Долина Виш-Тон-Виш» сегодня выглядит явлением столь необычным, что эта необычность даже затрудняет его анализ.

Прежде всего бросается в глаза идейно-тематическая насыщенность произведения: перед нами — «не только роман о характере ранних пуритан в Америке; в равной мере это и история войны с Королем Филипом на территории штата Коннектикут; о судьбе одного из судей короля Карла I времен Английской революции; о типично индейском способе ведения военных действий; о прекрасной белой пленнице и ее благородном муже Конанчете и о других вещах, в том числе — о проблеме смешанного брака»[130]. С этим наблюдением критика невозможно не согласиться, и потому стоит углубиться в каждую из этих тем, чтобы проследить, насколько писатель преуспел в их раскрытии.

Итак, прежде всего «Долина» — роман нравоописательный, воссоздающий групповой психологический портрет общины пуритан. Чувства, испытываемые Купером к пуританам, неоднозначны. Ему интересны крайности их мировосприятия и влияние идеологии на характер; он способен на мягкую иронию

и на радикальное осуждение там, где видит у пуританина отсутствие такта и неприятие иной нравственной шкалы ценностей. Повсюду заметен пристальный анализ априорных догматов пуританства на фоне реалий, вытекающих из условий пограничья: их столкновение обостряет ценностные конфликты. Но писатель идет и еще дальше: подобная точка зрения помогает ему увидеть ограниченность человеческой природы (в лице пуританства) и утвердить ценность отдельного индивидуума, иной точки отсчета (тут ему пригодились индейцы) и особого рода иронию, выявляемую самой жизнью. При некоторой абстрактности, умозрительности трактовки пуританского характера очевидным завоеванием Купера можно считать то, что каждый из пуритан у него предстает в индивидуальном обличье.

В центре повествования находится семейство Хиткоутов во главе с патриархом Марком, суровым и мудрым, храбрым и справедливым, словно писатель намеренно стремился к параллели с Марком Евангелистом (по-латыни Marcus означает «молот»). Вообще, значащие имена, заимствуемые из библейского контекста и выражающие личное кредо — обычай, характерный для пуритан, — постоянно обыгрываются Купером, превращаясь в средство характеристики персонажа и одновременно выстраивая символику идейной схемы романа. Поскольку Марк является главой поселения, столь же уместно выглядит английская трактовка его имени (мета, точка отсчета). Имя его сына, молодого человека по имени Контент (Content — «удовлетворение», «довольство», «покой»), напротив, контрастирует с характером человека, которому принадлежит. Контент способен на сострадание, в том числе и к индейцу, ему свойственны внутренние сомнения по поводу религиозного доктринерства. Впрочем, именно ему и его жене Руфи

вместо покоя и довольства суждены испытания: им предназначено судьбой утратить дочь в результате индейского набега и пленения.

Имена других пуритан, членов единой общинной семьи, также весьма откровенно характеризуют их самих и в какой-то степени их жизненные судьбы. Таковы Вера (Faith), Милосердие (Charity), Изобилие (Abundance). Особняком в ряду пуританских образов стоят три персонажа: слабоумный Уиттал Ринг, Покорность (Sunmission, в настоящем издании переведено как «Смиренный») и преподобный Мик Вулф. Другими словами, куперовские пуритане предстают пестрым сборищем индивидуумов; среди них есть такие, что вызывают симпатию, есть взывающие к сочувствию, но присутствуют и ироничные или даже полемично-заостренные образы, стоящие на грани осуждения. Так, образ доктора Эргота (Ergot — «спорынья»), возникающий во второй части романа, явно сатирический (надо сказать, этот персонаж вписывается в ряд других невежественных эскулапов-ученых Купера, среди которых доктор из «Пионеров», Овид Бат из «Прерии» и другие).

Важное место в романе занимает тема осуждения и казни короля. История гибели Карла I (осужденного на смерть, по замыслу Купера, судьей по имени Смиренный во время Английской революции) получает отражение в осуждении пуританами индейского «короля» Конанчета (кстати, в ранних описаниях Нового Света индейских вождей, по аналогии с европейскими монархами, именовали «королями»). Прототипом Смиренного являлся полковник Уильям Хофф (1605? — 1679?), судья-пуританин, который послужил прототипом героя романа В. Скотта «Певерил Пик» (1823), а после Купера — героя новеллы Готорна «Седой заступник» (1837), как и героев ряда других сочинений. Когда восстановление на престоле Карла II стало очевидным, Хофф, спасаясь

от преследования слуг короля, бежал в Новую Англию. Ряд легенд Новой Англии посвящен тайным скитаниям изгнанника из дома в дом в поселениях Массачусетса и Коннектикута, его отшельничеству в пещерах. В «Долине» он предстает загадочным романтическим пришельцем, в соответствии со своим именем вверившим судьбу Провидению, какая бы роль в жизни ни была ему отведена. Любопытно, однако, что именно он по роковому стечению обстоятельств оказывается спутником, затем невольным виновником пленения и смерти Конанчета, как прежде короля Карла. Персонаж по имени Покорность, выступая у Купера в целом как символ «антикоролевского», свободолюбивого начала, не свободен и от обреченности, вызванной трагическим выбором.

Духовное лицо на страницах романа Купера — в замысле произведения фигура всегда функционально значимая. Так было с псалмопевцем Дэвидом Гаммой в «Последнем из могикан» (уже в нем проявляются черты пуританина), со священником из Тэмплтауна в «Пионерах», с патером Аминь в «Прогалинах в дубровах». В «Долине Виш-Тон-Виш» имя преподобного Мика Вулфа (Meek Wolfe, в переводе — Кроткий Волк) по меньшей мере выдает присущую образу противоречивость, впитавшую в себя крайности пуританства. Воинствующий пастырь, намеревающийся увести паству то ли в Землю обетованную, то ли в пустыню (Купер заставляет нас колебаться в выводах), живет в мире абстракций и исступленной веры. Он беспощаден к слабостям ближнего и далек от гуманности, так же как нередко оторван от конкретных обстоятельств жизни (недаром писатель противопоставляет призыв Вулфа, стоящего *внутри* церкви, к молитве, и призыв Смиренного, вошедшего *снаружи,* обороняться от врага). Фигура Вулфа позволяет Куперу вскрыть противоречивость

пуританства и открывает путь к дальнейшему развитию образа проповедника в «Моби Дике» Мелвилла.

Конечно, важнейшей проверкой пуританства на гуманность служит аборигенный мир. В романе Купера он играет обычно несколько ролей: с ним входит в повествование романтический колорит эпохи, а вместе с историей и авантюра; но индейский элемент важен роману не только для контраста, но и для утверждения уникального содержания.

Война с Королем Филипом — вторая значительная тема романа — являлась закономерным историческим итогом тех методов освоения континента, которые практиковали пуритане; она обнажила жесткую замкнутость их сознания и жизненной философии. У Купера Король Филип предстает как противоречивый характер, полный коварства и мрачной горечи, как неистовый романтический дикарь, подверженный приступам ярости, очень часто справедливой.

Между тем факты говорят нам о личности неординарной. Метаком (его имя в различных источниках писалось по-разному: Метакомет, Пометакомет и Метамосет), второй сын знаменитого вождя вампаноа Массасойта (Осамекуна), воистину стал примечательнейшей фигурой Новой Англии в колониальную эпоху. Ему первому в ряду индейских лидеров удалось создать федерацию родственных племен и бросить их на колонистов-пуритан. Из девяноста городков (вроде того, что описан Купером) пятьдесят два подверглись нападению, а двенадцать были полностью уничтожены — так говорит статистика.

Во множестве случаев храбрость индейцев была поразительной, и лишь предательство и соперничество в их рядах, по всей вероятности, спасли колонистов от полного краха. Личность самого Филипа с тех пор освещалась многократно — сначала в негативном, а затем и в сочувственном тоне. Несомненно, что он

представлял собой вождя эпохи экспансии белых и что его ненависть имела под собой конкретную почву. Согласно историку Докстэйдеру, Филип готовился к войне девять лет, стараясь преодолеть разобщенность племен, отчасти уже попавших в зависимость от колонистов или христианизированных[131]. Сама война разразилась «досрочно» и началась, как и закончилась, с предательства. Правая рука Филипа Сассамон (Сосаман) предупредил губернатора плимутской колонии Джосайю Уинслоу о заговоре, а когда Сассамона вскоре нашли мертвым, колонисты, осудив, повесили трех индейцев.

Военные действия начались при участии выдающегося военного вождя Аннавона (? — 1676), и индейцы сумели одержать ряд побед, однако тактика выжженной земли и разделения восставших, проводимая колонистами, вскоре привела к перелому в войне. Аннавон оставался преданным Филипу до конца, и ему долго удавалось уходить от преследования капитана Бенджамена Черча, возглавившего силы пуритан. В конце концов вождь, однако, разделил злую судьбу Филипа и был казнен.

Среди племен, вошедших в союз с Филипом, были и наррагансеты, предоставившие ему немало воинов. Их вождь Миантонимо (также Миантономо, ок. 1600 — 1643) оказался между двух огней: между Ункасом, вождем могикан, с одной стороны, и колонистами — с другой. Последние навязали вождям-соперникам военный конфликт, а затем коварно выдали Миантонимо на милость Ункаса, тем способствуя его казни.

Конанчет (ок. 1630 — 1676), ставший вождем наррагансетов по смерти отца, известен также под именем Нанунтено. Поначалу он воздерживался от союза с Филипом, но постоянные нападения колонистов

на всех индейцев без разбора коснулись и его. Узнав, что наррагансеты Род-Айленда укрывают враждебных воинов из племени вампаноа, пуритане направили против Конанчета в 1676 году карательную экспедицию, которая была, однако, уничтожена индейцами. Это повлекло за собой целенаправленную кампанию против вождя наррагансетов, и в результате преследования он был выслежен и схвачен индейскими союзниками колонистов. Конанчет отказался заключить мир в обмен на свободу, поскольку не видел возможности соглашения между исконными владельцами земель и агрессивными пришельцами. Вождь был привезен в Стонингтон, штат Коннектикут, где воины могауков и пикодов его расстреляли, а потом обезглавили.

Несколько иная, более распространенная версия гибели Конанчета рассказана Ирвингом в очерке «Филип из Поканокета»; отчасти ей следует и Купер. Юный вождь наррагансетов предстает у Купера романтическим героем, словно наследуя образ Ункаса, идеального краснокожего рыцаря из романа «Последний из могикан». Конанчет исполнен благородства и величия, ему свойственны глубина мышления и человечность. Купер ввел в роман также тему его привязанности к семейству Хиткоутов: вождь постоянно колеблется между благодарностью и враждой. В момент нападения индейцев Короля Филипа на общину Хиткоутов жена Контента Руфь вверяет юному воину свою дочь, унаследовавшую ее имя. Полагая, что все колонисты погибли в пламени пожара, Конанчет уводит девочку в леса и продолжает о ней заботиться. Спустя годы она становится его женой. В финале романа он, удостоверившись в том, что родители его молодой супруги живы, и претерпев глубокие душевные муки, возвращает им дочь. Правда, это происходит уже после того, как он сам оказывается

лишен возможности заботиться о ней, будучи осужден на смерть. Конанчет любит ее и сына, ею рожденного. Чтобы проститься с ней и высказать последнее напутствие, он даже добивается у врагов отлучки под честное слово (коллизия, не раз описанная в колониальной литературе и впоследствии вторично использованная Купером в «Зверобое»). Словом, если образ Филипа выведен писателем в амбивалентных тонах, то Конанчет наделяется обаянием и не может не вызвать сочувствия и восхищения читателя.

Имя Ункаса, как известно, возникает на страницах Купера неоднократно. Писатель идеализировал и прославил его (как и племя могикан), сделав это имя родовым для нескольких поколений сагаморов из племени могикан. Возможно, предки Купера были как-то связаны семейными обстоятельствами с одним из носителей этого имени, ибо на родовом могиканском кладбище в Норвиче, штат Коннектикут, рядом с обелиском Ункаса лежат и двое Куперов. Писатель упоминает о какой-то услуге, оказанной предкам своего героя одним из индейских вождей (в чем признается Данкан Ункас Миддлтон в «Пионерах»). Во всяком случае, над этой загадкой еще предстоит поработать будущим биографам писателя.

Что же касается исторического Ункаса (ок. 1606 — ок. 1682), факты говорят о другом. Могиканин, родственный пикодам, был изгнан ими за злонравие и сделался вождем таких же бродяг, как и он сам, присвоивших себе имя «могикан». Ункас часто совершал набеги на соседние племена наррагансетов, могауков, пикодов и сделался последовательным союзником колонистов, стремясь извлечь из этого собственную выгоду.

Будучи соперником Миантонимо, он в 1643 году разбил его отряд, захватил вождя и передал его англичанам в Хартфорде, а те лицемерно возвратили

ему Миантонимо для совершения казни. Во время войны с Королем Филипом Ункас немало способствовал избавлению колонистов от верной гибели. Но к тому времени, когда умер, он был уже давно известен в среде белых просто как старый злобный пьяница; в памяти же индейцев за ним навсегда осталась слава предателя.

Как можно видеть, Купер в истории Конанчета объединяет эпизоды и обстоятельства жизни его отца Миантонимо с деталями из версии, приведенной Ирвингом, в результате чего финальная сцена исторической трагедии предстает в тонах высокой патетики. Вина за содеянное, по Куперу, ложится, однако, не столько на Ункаса, сколько на его белых союзников, не помнящих добра, оказанного вождем (спасение детей во время набега, возврат дочери и избавление Смиренного). Дикарь предстает благороднее цивилизованных и просвещенных праведников-пуритан. Финал, впрочем, связан и с роковым стечением обстоятельств, призванных доказать неизбежность исторического «заката» индейской вольности и индейского образа жизни (эту тему специально акцентирует спор Короля Филипа с Хиткоутом в главе XXTV).

Роман, таким образом, пронизывают насквозь две параллельные линии: спор о возможностях сосуществования белых и индейцев (в том числе о праве тех и других на первенство) и «проверка» этого тезиса судьбой Руфи и Конанчета. Среди всех остальных персонажей лишь им суждено поменяться местами, «примеряя» — буквально и в переносном смысле — одежды пуританского и индейского общества (в метафорах Купера, «просеки» и «тени лесной»). Библейская аллюзия в имени и судьбе Руфи-младшей более чем прозрачна: «Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты

пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает; смерть одна разлучит меня с тобою» (Книга Руфь, гл 1, ст. 16 — 17). Писатель словно продолжает линию сближения своих прежних персонажей, Коры Дункан и Ункаса из «Последнего из могикан». На судьбе новых героев он испытывает путь возможного союза двух культур и, как прежде, демонстрирует его невозможность. Все герои приходят к прозрениям в конце пути по-своему, но слишком поздно и слишком дорогой ценой. Не становится ли символом этого грустного открытия всеобщей тщеты Уиттал Ринг — символом одновременно безумия мира и достоинства, обретенного ненадолго в мире краснокожих? Эхо несбывшихся надежд, настойчиво отдающееся в ушах остальных героев, относится и к каждому из них: «Следующей зимой я буду воином! »

Повествование о судьбах поселенцев и коренных обитателей долины венчает картина кладбища, увиденного глазами участливого посетителя много лет спустя. Пожалуй, ни в одном другом романе лирическое «я» писателя не выступало столь явно на первый план. И быть может, финал ни одного из его романов не был столь печальным. В надписях на могильных камнях перед нами — собрание посмертных судеб. Примечательно, что волей Купера белая подруга Конанчета, Руфь (она же Нарра-матта, Наметенный Снег), положена не среди родных ей по крови пуритан, а рядом с индейским супругом. Ее образ, конечно, сильнее всего романтизирован и мистифицирован в книге. Что губит ее? Смерть мужа? Тяжкий опыт, в котором сошлись несовместимые миры «просек» и «лесных теней»? Невозможность, в силу духовной несовместимости, вернуться к родичам? К чему

относится ее таинственная фраза: «Злой дух преследует меня! »? Этого мы так и не узнаем.

По своему обыкновению, Купер старается придать формулам сюжета и замысла многозначность. Это касается и названия романа. «The Wept of Wish-Ton-Wish» может осмысливаться в контексте произведения как долина идиллического приволья на природе, в духе столь близкой пуританам идеи обетованной земли, в которую своевольно вторгается реальность Нового Света. Можно понимать его и как Whip-Poor-Will, Долина Козодоев (о чем говорится непосредственно в тексте книги), но и это — лишь один из многих оттенков смысла. Последние же слова романа открывают еще одно, быть может самое важное, толкование. «The Wept» может означать и «оплаканная», и потому, ввиду судьбы Нарра-матты, название переводимо и как «Слезы Виш-Тон-Виша». Из замысла Купера как будто следует, что смерть расторгает заведомо обреченный межрасовый брак. Однако Конанчет и Нарра-матта счастливы вдвоем и гибель одного влечет за собой гибель другого: героиня не в силах вернуться к жизни людей, среди которых родилась. На символическом уровне, конечно, писателя интересует другой «брак» — союз национального прошлого с будущим. Строго говоря, название романа может быть переведено и во множественном числе: «Оплаканные из Виш-Тон-Виша», и тогда оно относится ко всем участникам трагических событий. Какое будущее предрекают семена, посеянные в пуританской долине Виш-Тон-Виш? Купер словно нарочно ставит вопросы, на которые не дает прямого ответа, вопросы, побуждающие читателя к глубокому раздумью.

Конечно, в книге можно обнаружить и немало слабостей. Романная структура в этом произведении ослаблена; слишком медленно автор переходит от описаний к действию. «Суставы романа

потрескивают»[132], — говорит критик Ричард Билл Дэвис. Однако возможно, что мистика и определенная мера расплывчатости составляют неотъемлемую черту своеобразия этого произведения; от знакомства с текстом создается впечатление, что писатель сознательно мистифицировал смысл эпизодов, придавал двойственность ситуациям и характерам и многозначность — именам. Думается, в данном случае это делает произведение более проблемным. А кроме того, в сознании читателя навсегда остаются моменты, описанные столь ярко, словно пережиты им лично: мистический многократный зов раковины, звучащий словно трубная весть Апокалипсиса; стремительный набег индейцев на поселение; величественная и простая сцена гибели Конанчета. Все они властно ставят нравственные вопросы, от которых не уйти никому — ни во времена пуританства, ни в романтическую эпоху создания романа, ни в наши дни.

А. В. Ващенко

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения к роману Купера «Долина Виш-Тон-Виш» по своему характеру призваны воссоздать историко-литературный контекст книги. Он включает в себя круг произведений, каждое из которых стало памятником малой классики в литературе США. Написанные в разных документальных жанрах, все они связаны темами пуританства и войны с Королем Филипом.

Знакомясь с хрониками колониальной эпохи, в период работы над романом Купер не мог пройти мимо историй об индейских «пленениях» и самой известной из них — истории Мэри Роуландсон.

Поскольку писатель-романтик Вашингтон Ирвинг был предшественником Купера, первооткрывателем темы войны с Королем Филипом, очерк о нем, возникший на базе в основном тех же источников, что и роман Купера, приобрел известность и, несомненно, использовался автором «Долины Виш-Тон-Виш».

Брошюра Уильяма Эйпса, потомка Короля Филипа, современника Купера, стала полемическим откликом на пуританские источники о нем и одновременно — первым индейским опусом на ту же тему. Таким образом, эти произведения, дополняя друг друга, вместе с романом Купера образуют четыре версии и точки зрения на события одной эпохи.

Произведение Мэри Роуландсон является самым непосредственным откликом на события войны с Королем Филипом. 20 июня 1675 года Метаком начал систематические набеги на английские поселения. За время войны, продолжавшейся около года, было разорено свыше двадцати городков; по некоторым источникам, было сожжено более 1200 домов, погибло

около 600 колонистов и убито 3000 индейцев. Непосредственным поводом для войны послужила казнь в Плимуте, штат Массачусетс, трех индейцев племени вампаноа, соплеменников Филипа. Однако причин для вооруженного конфликта накопилось значительно больше. Главная заключалась в обнищании племен и начале голода среди аборигенного населения Новой Англии: среди индейцев окрепла мысль о необходимости общего противодействия пришельцам из-за океана в попытке удержать исконные земельные владения. Война с Королем Филипом завершилась в августе 1676 года, после того как Филип был убит, а его жена и Дети проданы в рабство на один из островов Вест-Индии. В результате этой войны с организованным военным сопротивлением индейцев в Новой Англии было покончено, хотя отдельные выступления аборигенов против завоевателей — порой объединенными силами союзных племен — предпринимались и в дальнейшем (в романе «Прогалины в дубровах», в частности, Купер касается более поздней подобной попытки в 1812 году под началом Текумсе).

Пожалуй, самой известной из жертв индейских набегов стала миссис Мэри Роуландсон, жена священника из города Ланкастер, штат Массачусетс, автор «Повествования о пленении и избавлении миссис Мэри Роуландсон».

О жизни автора этих записок известно очень мало. Родилась она, по-видимому, в Англии и ребенком была привезена в Америку. Ее отец, Джон Уайт, богатый землевладелец в колонии Массачусетс-Бей, поселился в Ланкастере. Приблизительно в 1656 году она вышла замуж за священника Джозефа Роуландсона, и последующие двадцать лет ее жизни были посвящены детям и деятельной помощи мужу.

Миссис Роуландсон была взята в плен 10 февраля 1676 года во время нападения индейцев на Ланкастер и находилась в плену до 2 мая 1676 года, когда за ее освобождение был внесен выкуп в двадцать фунтов. В следующем году она вместе с мужем отправилась в Уэзерфорд, штат Коннектикут, и там в 1678 году мистер Роуландсон умер. Городские власти постановили выплачивать миссис Роуландсон ежегодную ренту «до тех пор, пока она будет жить среди нас, пребывая вдовой». Однако никаких записей о том, как долго продолжалась выплата ренты, как и о том, когда именно умерла миссис Роуландсон, не сохранилось.

Свои воспоминания миссис Роуландсон написала вскоре по возвращении в Ланкастер. Они были опубликованы в 1682 году и являются единственным свидетельством ее писательского дара.

Вместо глав повествование разбито на «переходы» (одновременно слово «remove» в церковной фразеологии означает шаг или ступень в ряду испытаний, выпавших на долю верующей души). Повествование в целом имеет вид дневника и вместе с тем исповеди. Основное место в нем, вслед за описанием резни при нападении индейцев, уделено страданиям духа и тела под тяготами плена. Перед нами рассказ об унижениях и бедах, постигших автора, который усматривает в них путь постижения справедливости Господней и испытаний, уготованных ему, чтобы вернее восторжествовать и послужить примером для собратьев-христиан.

Наряду с этим наблюдения Мэри нередко объективны и ценны тем, что помогают увидеть аборигенов времен войны с Королем Филипом глазами пуританки. Бесхитростный взгляд на жизнь индейцев выявляет ощущение родства с ними: пусть это язычники, но все же человеческие существа со своими заботами и нормами поведения. Всего важнее, в

описании автора, становится урок «воспитания чувств» и познания себя, достигаемого через тяжкий опыт. Глубокий психологизм является отличительной чертой не только всего повествования миссис Роуландсон, но в какой-то степени целого жанра подобных сочинений, названных «пленениями» (captivities). Однако именно это «повествование» стало одним из самых популярных произведений XVII века как в Америке, так и в Англии, и является не только первым, но и лучшим (по манере изложения и выразительности созданных образов) среди сотен других «пленении». Жанр этот стал частью литературного наследия США и Канады; «пленения» неоднократно использовались в художественной литературе — в частности, такими писателями, как Чарльз Брокден Браун («Эдгар Хантли»), Джеймс Фенимор Купер («Последний из могикан» и «Долина Виш-Тон-Виш»), Уильям Фолкнер («Святилище»), Конрад Рихтер («Свет в лесу») и другими.

Очерк Вашингтона Ирвинга «Филип из Поканокета» входит в сборник малой прозы Ирвинга «Книга эскизов» (1820). Это произведение, вместе с сопутствующим очерком более общего плана «Черты индейского характера», явилось первым самостоятельным этюдом на тему аборигенного лидерства, сочувственно трактующим историческую фигуру, одиозную для Новой Англии. Ирвинг предлагает романтизированную трактовку, воссоздавая облик Филипа на основании колониальных (прежде всего пуританских) источников; он их неоднократно цитирует. Писатель, таким образом, начинает разработку индейской темы, к которой затем фронтально обратится Фенимор Купер. Совершенно очевидно, что отдельные эпизоды жизни и черты облика Коначета взяты Купером (по-своему их переосмыслившим) именно из очерка Ирвинга. Транскрипция индейских имен собственных (Короля Филипа, Коначета, Сассамона и др.) в отличие от

публикуемого в настоящем томе перевода романа Купера соответствует оригиналу Ирвинга.

Все, что мы знаем о незаурядной личности Уильяма Эйпса (1798 — 1839; полагают, что его имя может иметь и индейское звучание, Апесс), известно нам из его автобиографических сочинений. Из них следует, что он родился близ Колрэйна, штат Массачусетс. Отец его происходил наполовину из пикодов, жил среди них и женился на чистокровной индианке, которая будто бы являлась родственницей Королю Филипу. Вскоре по рождении сына родители разошлись, оставив детей на попечении бабки в Колчестере, штат Коннектикут. Из-за дурного обращения Эйпс сменил впоследствии несколько семей. В пятнадцать лет он бежал в армию и принял участие в канадской кампании 1812 года. До 1818 года он странствовал, пока не был окрещен, а затем, в 1829 году, стал методистским проповедником.

В 1833 году Эйпс посетил племя машпи, проживавшее в резервации на Кейп-Коде, стал их соплеменником и возглавил борьбу за их политические права; об его успехах сочувственно писала аболиционистская газета У. Гаррисона «Либерейтор», а среди современных машпи до сих пор сохраняется память об Эйпсе как о народном герое.

Первая книга Эйпса «Сын леса» (1829) представляла собой первую из аборигенных автобиографий. Во втором произведении «Опыт пяти индейских христиан племени пикодов» (1833) в пяти биографических очерках (о себе, своей жене и трех индианках) с приложением эссе «Аборигенное зеркало, направленное на белого человека» Эйпс осуждает расизм, алкоголь, безработицу, коррупцию и лишение племен их владений как суть так называемой «индейской проблемы».

В 1835 году Эйпс опубликовал документальную книгу, посвященную отстаиванию прав машпи, —

«Индейская отмена неконституционных законов Массачусетса относительно племени машпи, или Объяснение мнимого мятежа».

Последнее произведение Эйпса — «Апология Короля Филипа». Преодолевая влияние Ирвинга и развивая его традиции, Эйпс обращается к воссозданию личности своего знаменитого предка. Тема Филипа становится здесь отправной точкой для атаки на пуританство. Современник Купера, автор живет в экспансионистскую эпоху президентства Джексона, и оттого опыт индейцев Новой Англии вызывает у него сравнение с его повторением на просторах американского Запада. В «Апологии» Эйпс предъявляет пуританству счет от лица аборигенов, полемизируя с пуританским лицемерием, воинствующе односторонней картиной мировидения, религиозным нетерпением. Он отмечает резкое расхождение между нормами пуританства и прагматично-односторонним их соблюдением. Позиция автора интересна сочетанием христианского сознания с аборигенной точкой зрения; она придает тону повествования гнев, сарказм и особую бескомпромиссность.

Аргументация Эйпса порой звучит наивно, но искренне и эмоционально, а завершает он свою «Апологию» обвинением Конгресса в вероломстве по отношению к своим индейским соотечественникам! Видя в пуританском комплексе тяжелое наследие современной Америки, исповедующей ту же антииндейскую политику, Эйпс в своем обличительном пафосе предвосхищает некоторые черты индейской литературы и публицистики 1960 — 1990-х годов.

ПОВЕСТВОВАНИЕ О ПЛЕНЕНИИ И ИЗБАВЛЕНИИ МИССИС МЭРИ РОУЛАНДСОН[133]

10 февраля 1675 года[134] множество индейцев напало на Ланкастер[135]. Они появились на рассвете; услышав ружейные выстрелы, мы выглянули в окно: горело несколько домов и дым поднимался к небу. В одном доме индейцы захватили пять человек; отцу, матери и грудному младенцу проломили головы; двух других захватили и увели живыми. Еще трое не успели укрыться в доме. Одного ударили по голове, а другой убежал; третий тоже хотел убежать, но его ранили, и он упал. Несчастный молил пощадить его, обещал деньги (так говорили мне сами индейцы), только они не стали его слушать, ударили по голове, сорвали с него одежду и вспороли живот. Один человек увидел возле своего сарая множество индейцев и решил выйти, но его сразу убили. Было еще трое убитых из того же дома. Индейцы забрались на крышу сарая и сверху легко убивали тех, кто укрывался возле дома. Так эти кровожадные негодяи продвигались вперед, уничтожая и сжигая все на своем пути.

Наконец они приблизились и осадили наш дом, и вскоре этот день стал самым скорбным днем моей жизни. Дом наш стоял у небольшого холма. Несколько индейцев укрылись за холмом, часть из них проникла в сарай, остальные затаились кто где смог, и стрельба началась со всех сторон, так что пули сыпались как град. Скоро один из нас был ранен, потом другой, а потом и третий. Часа через два (насколько я способна была тогда замечать время) индейцы уже были возле

нашего дома, а так как он ничем не был укреплен, кроме двух заслонов в противоположных углах двора, да и то один из них не был достроен, то они, набрав в сарае кудели и пакли, подожгли дом; а когда кто-то из дома выскочил и погасил огонь, индейцы тут же зажгли его опять, и на этот раз огонь разгорелся. И вот настал страшный час. Раньше мне доводилось лишь слышать о подобных ужасах, а теперь пришлось увидеть все своими глазами. Несколько человек продолжали еще бороться за свою жизнь, но многие уже лежали в крови, дом над нашей головой был охвачен пламенем, а эти кровожадные язычники ждали, когда мы выйдем, чтобы проломить нам головы. Плач стоял вокруг, кричали матери и дети: «Господи, что же нам делать? » Тогда я решилась: взяла своих детей, а одна из моих сестер взяла своих, и мы попытались покинуть горящий дом. Но только мы появились в дверях, стрельба усилилась, и пули так стучали по стенкам дома, будто кто-то, набирая пригоршни камней, бросал их в стены; так что нам пришлось вернуться. У нас было шесть сильных собак, но ни одна из них даже не пошевельнулась, хотя раньше, стоило только индейцу подойти к двери, собаки рвались, чтобы броситься на него и разорвать на куски. Видно, Господь являл нам свою волю, дабы мы помнили, что спасение наше исходит только от Него. Однако нам следовало выбраться из дома; огонь усиливался и с ревом надвигался сзади, а впереди были индейцы с ружьями, копьями и топорами, готовые наброситься на нас. Не успели мы выйти, как мой шурин (он был ранен в горло, когда вместе с другими защищал дом) упал мертвым, и сразу же индейцы с дикими криками набросились на него и сорвали одежду. Пули так и свистели; одна попала мне в бок, и, похоже, эта же пуля прошла через живот и ручку дорогой моей малютки, которую я держала на руках. У одного из детей моей старшей сестры (его звали Уильям) была

сломана нога; индейцы, видя это, тут же проломили ему голову. Так они продолжали безжалостно убивать одного за другим, а мы стояли, ошеломленные, и кровь ручьями растекалась по земле. Моя старшая сестра была еще в доме, она видела, как язычники тащили матерей в одну сторону, а детей в другую и многие были залиты кровью; старший сын сказал ей, что Уильям мертв, а я ранена, и она закричала: «О Господи, дай мне умереть вместе с ними! » И не успела она это сказать, как пуля сразила ее, и она упала на пороге. Я надеюсь, что ей воздастся за ее добрые дела, ибо она преданно служила Господу. В юности на ее долю выпало немало душевных страданий, пока она не приняла сердцем слова Священного Писания: «Но *Господь* сказал мне: «Довольно для тебя благодати Моей»»[136]. Много позже, через двадцать с лишним лет, я слышала от нее самой, каким утешением были для нее эти слова.

Но вернусь к своему рассказу. Индейцы оттащили меня в одну сторону, а детей в другую и сказали: «Пойдешь с нами». Я спросила: «Меня убьют? » Они ответили, что не тронут, если я добровольно пойду с ними.

О! Какой горестный вид являл собой наш дом! «Приидите и видите дела Господа, — какие произвел Он опустошения на земле»[137]. Из тридцати восьми человек, бывших в этом доме, никто не избежал либо смерти, либо горького плена, кроме одного, который мог бы сказать: «... И спасся только я один, чтобы возвестить тебе»[138]. Двенадцать человек было убито; кого застрелили, кого закололи копьями или зарубили топорами. Когда мы жили благополучно, о, как мало мы помышляли о таких ужасах, о том, что придется увидеть родных и близких, истекающих кровью! Одному человеку проломили голову, сорвали с него одежду, а

он все продолжал ползать взад-вперед. Ужасно было видеть столько христиан, лежащих в крови, подобно овцам, растерзанным стаей волков. Со всех была сорвана одежда, и они лежали нагие, а эти исчадия ада ревели, пели, выкрикивали оскорбления и неистовствовали, будто у каждого хотели вырвать сердце. И все-таки Господь своим могуществом сохранил многим из нас жизнь. Двадцать четыре человека индейцы взяли в плен.

Раньше я часто говорила, что скорее умру, чем сдамся живой в плен, если нападут индейцы, но, когда настал час испытаний, я уже так не думала. Сверкание оружия устрашило мой дух, и я не рассталась с жизнью, а предпочла пойти за этими кровожадными чудовищами. Чтобы лучше поведать о том, что случилось со мной за время горестного моего плена, я расскажу подробно о наших странствиях по диким местам.

Переход первый

И вот мы должны следовать за этими варварами, хотя тела наши изранены и кровоточат, а сердца исходят кровью не меньше, чем тела. В ту ночь мы прошли около мили и поднялись вверх по склону холма к небольшому городу, где индейцы решили остановиться. Они выбрали место рядом с пустым домом, который обитатели покинули из страха перед индейцами. Я спросила, можно ли мне провести ночь в этом доме; на это мне ответили: «Что, тебе все еще нравятся англичане? » Это была самая печальная ночь, какую когда-нибудь видели мои глаза. О! Дикие крики, и рев, и вопли, и пляски этих дьяволов среди ночи у костров напоминали страшные картины ада. А сколько было загублено лошадей, коров, овец, свиней, телят,

ягнят, поросят и всякой птицы, награбленной индейцами в городе! Что-то жарилось, что-то валялось и горело, что-то варилось, чтобы насытить наших безжалостных врагов, которые веселились, тогда как мы были безутешны. В довершение к скорби прошедшего дня и печалям этой ночи мысли мои все время возвращались к утратам и жалкому моему положению. Все было потеряно: нет мужа (во всяком случае, он далеко от меня, так как уехал к заливу[139]; к тому же индейцы сказали, что убьют его, как только он вернется домой); нет моих детей, нет ни друзей, ни родных, ни прежнего благополучия — потеряно все, кроме самой жизни, да и та может оборваться в любой момент. Ничего не осталось, только несчастный раненый ребенок на руках. И нечем мне ни восстановить, ни подкрепить его силы.

Многие люди редко задумываются над тем, насколько свирепы и жестоки наши враги. Да, это плохо представляет себе даже тот, кто, попав к ним в руки, долго прожил среди них.

Семь человек, убитые в Ланкастере прошлым летом в воскресенье (и еще один, погибший позже в будний день), были зверски зарублены одноглазым Джоном и молящимися индейцами[140] из Марлборо, которых капитан Мосли доставил в Бостон. Так говорили мне сами индейцы[141].

Переход второй[142]

На следующее утро пришлось оставить город и отправиться вместе с индейцами в неизвестные мне дикие края. Не могу передать, какая скорбь лежала у меня на сердце, но Господь был со мной и поддерживал мой дух. Один индеец вез мое бедное дитя на лошади.

Девочка все время стонала: «Я умру! Умру! » Я шла следом, и печали моей не описать. Наконец я не выдержала, взяла девочку и, сколько могла, несла ее на руках, но силы изменили мне, и я упала вместе с ребенком. Тогда они посадили меня на лошадь вместе с моей несчастной малышкой. В это время наш путь шел с крутой горы; ни седла, ни уздечки не было, и мы обе упали через голову лошади. О, как хохотали и радовались эти бесчувственные создания, я же думала, что тут нам придет конец. Но Господь укрепил мои силы и поддержал меня, дабы я могла узреть его могущество. Да, никогда бы не поверила, что у меня хватит сил все это пережить. Скоро пошел снег, и, когда наступила ночь, индейцы остановились. Я сидела прямо на снегу у небольшого костра (сложив немного веток у себя за спиной), держа больного ребенка на коленях. Девочка все время просила пить, потому что из-за раны у нее начался сильный жар. Моя рана тоже так воспалилась, что я с трудом могла сесть или встать. Так я просидела всю холодную, зимнюю ночь с больным ребенком на руках, зная, что каждый час может оказаться для бедняжки последним, и ни одного христианина не было рядом, кто мог бы помочь или хотя бы поддержать. О, я вижу великое могущество Господа в том, что дух мой не сломился под бременем несчастий. Господь поддержал меня своим милосердием, и мы обе пережили ночь и увидели свет наступавшего утра.

Переход третий[143]

Когда настало утро и индейцы начали собираться в путь, один из них сел верхом на лошадь, а меня с моей малюткой посадил за своей спиной. Это был очень трудный и утомительный день; девочке становилось все

хуже, да и моя рана не давала мне покоя. Легко можно представить себе, как мы ослабели: у нас обеих не было ни крошки во рту со среды до субботы, ничего, кроме холодной воды. В полдень (судя по солнцу, было около часа) мы подъехали к месту, куда индейцы направлялись, viz.[144] индейскому поселению Уэнимессет, к северу от Квабог-Ривер. Как только мы появились, о, сколько язычников (теперь наших безжалостных врагов) окружило меня, так что я могла бы сказать словами Давида: «Посмотри на врагов моих, как много их и *какою* лютою ненавистию они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю»[145]. На следующий день было воскресенье, и тогда я подумала, как легкомысленно относилась раньше к этому святому дню, сколько воскресных дней прожито мной неразумно и потеряно, как провинилась я перед Господом. Я видела все это теперь так ясно, что понимала, сколь справедлив был бы Господь, если бы тут же оборвал нить моей жизни и отринул от себя навечно. Однако Господь продолжал являть мне свое милосердие и, нанося раны одной рукой, врачевал другою. В тот день подошел ко мне человек по имени Роберт Пеппер (из Роксбери), который был взят в плен во время военного столкновения капитана Бирса с индейцами. Он прожил среди них продолжительное время и дошел с ними почти до Олбэни, потому что хотел, как он сам мне сказал, повидать Короля Филипа[146]. Из-за этого он задержался в здешних краях и, услышав, что я тоже здесь, попросил разрешения отлучиться, чтобы встретиться со мной. Роберт Пеппер рассказал, как был ранен и не мог ходить, так что индейцам пришлось нести его, но он все время прикладывал к ране дубовые листья, и вот теперь с Божьей помощью опять передвигается самостоятельно. Тогда я тоже набрала

дубовых листьев, приложила к своей ране на боку и милостью Божией поправилась. Но прежде чем исцеление свершилось, я могла бы сказать словами псалма: «Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу»[147]. Почти все время я сидела одна с моим бедным ребенком на руках. Малютка стонала день и ночь, и нечем было мне подкрепить тело и поддержать дух бедняжки. Вместо этого подходил кто-нибудь из индейцев и говорил: «Твой хозяин скоро разобьет ей голову». Такое вот слышала я от них утешение. Как сказал Иов: «Жалкие утешители все вы»[148]. Так провела я девять дней; рана моя опять открылась, а дитя мое готово было покинуть эту юдоль скорби. Видя это, индейцы приказали мне унести ребенка в другой вигвам (думаю, им не хотелось видеть столь горестную картину). Я пошла туда с тяжелым сердцем и провела ночь, держа ребенка на коленях, и сама смерть стояла перед моими глазами. Около двух часов ночи 18 февраля 1675 года дитя мое кротко, как ягненок, покинуло этот мир. Было ей шесть лет и около пяти месяцев. Прошло девять дней с того часа, как она была ранена, и провела она эти дни, не имея ни крошки во рту, ничего, кроме холодной воды. Раньше я совсем не могла оставаться в комнате, где находился мертвец. Теперь же я пролежала всю ночь рядом с моим мертвым ребенком. С тех пор я часто думала о милосердии Господа, который не дал мне потерять рассудок в тот страшный час и удержал меня от греховной попытки покончить со своей жалкой жизнью. Наутро, когда индейцы увидели, что ребенок мертв, они отправили меня назад, в вигвам моего хозяина. Говоря «мой хозяин» в этом повествовании, я имею в виду Кванопина[149]. Но первым моим хозяином был не он, меня продал ему индеец из племени наррагансетов, который схватил нас с дочкой,

когда я вышла из укрытия. Я хотела унести с собой тело моего ребенка, но мне сказали, чтобы я его оставила. Пришлось уйти, но при первой возможности я выскользнула из вигвама моего хозяина и вернулась туда, где лежало тело моей дочери, чтобы выполнить все, что положено. Когда я пришла, тела там не было. Я спросила, что они сделали с ним. Индейцы сказали, что оно уже на холме, пошли туда со мной и показали место, где была вскопана земля; там они ее похоронили. Так оставила я свое дитя в тех диких местах, вручив ее, как и себя, воле Всевышнего. Господь взял у меня этого дорогого ребенка, и вот я отправилась повидать свою другую дочь, Мэри, которая находилась в том же селении. Хотя вигвам, где она жила, был не очень далеко, у нас не было возможности видеть друг друга. Мэри было около десяти лет. Ее захватил в плен у дверей нашего дома. Молящийся индеец, который потом променял ее на ружье. Увидев меня теперь, она расплакалась. Это рассердило индейцев, они не разрешили мне приблизиться к ней и сказали, чтобы я ушла. Слова их как ножом полоснули меня по сердцу: один мой ребенок умер, другой неизвестно где, а к третьему не разрешают даже приблизиться. «И сказал им Иаков, отец их: „Вы лишили меня детей: Иосифа нет; и Симона нет; и Вениамина взять хотите, — все это на меня!“»[150] В таком состоянии я не могла усидеть на месте и все время бродила с места на место. Сердце мое было полно печали: у меня остались дети, и народ, которого я не знаю, властвует над ними. Тогда я обратилась с горячей молитвой к Всевышнему, чтобы он смилостивился надо мной в беде моей и, если будет на то Его святая воля, подал мне надежду на утешение. И в самом деле, Господь ответил на мои горячие мольбы. Пока ходила я так взад-вперед, тоскуя и оплакивая свои несчастья, ко мне подошел мой

сын. Я не видела его со времени нападения на город и не знала, где он, пока сам он не сообщил, что находится среди меньшей группы индейцев, расположившихся милях в шести. Со слезами на глазах он спросил, правда ли, что умерла его сестра Сара, рассказал, что видел свою сестру Мэри и умолял меня не беспокоиться за него. То, что ему удалось на сей раз повидаться со мной, объяснялось просто: как я уже говорила, милях в шести от нас находилось небольшое индейское селение, где жил пленником мой сын. В это время группа индейцев из лагеря, где была я, и несколько человек из меньшего селения (в том числе и хозяин моего сына) решили напасть на Медфилд и сжечь его[151]. В отсутствие хозяина его жена привела моего сына повидаться со мной. Я восприняла его приход как ответ на мои неустанные молитвы. На другой день (тот, о котором я веду рассказ) они вернулись из Медфилда; индейцы из меньшего лагеря тоже прошли через селение, где находились мы. Но прежде чем они показались, о Господи, какой ужасный поднялся шум и крик! Все принялись вопить и шуметь еще за милю до селения. Таким образом они сообщали, сколько англичан уничтожили (к тому времени — 23 человека). Все, кто оставался дома, услышав эти крики, немедленно сбежались и всякий раз, как раздавался крик победителей, отвечали на него дружным ревом, так что земля дрожала. И это продолжалось до тех пор, пока участники похода не подошли к вигвамам сагамора; и тут, о, какое ужасное глумление, какое торжество началось вокруг скальпов англичан, которые победители сняли (по своему обыкновению) и принесли с собой! Но я не могу не рассказать о чудесном милосердии Господа, пославшего мне Библию. Один из индейцев, который участвовал в нападении на Медфилд и взял добычу, подошел ко мне и сказал, что у него есть

Библия, что, если я хочу, он может мне ее дать и что она у него в корзине. Я очень обрадовалась и спросила, как он думает, разрешат ли индейцы мне читать. Он ответил: «Да, разрешат». И вот я взяла Библию, и в горести моей пришла мне в голову мысль почитать 28-ю главу Второзакония[152]. Так я и сделала. По прочтении же сердце мое исполнилось печали: не будет, видно, мне ни прощения, ни милосердия, я их не заслужила — на мою долю остались одни проклятия. Но Господь и тут пришел мне на помощь, и, продолжая читать, я дошла до 30-й главы, где уже первые семь стихов обещали милосердие, если обратиться ко Всевышнему с покаянием[153]: хотя и разбросало нас всех по земле далеко друг от друга, Господь воссоединит нас и обратит проклятия на наших врагов. До самой смерти не забуду я эти слова Священного Писания и то утешение, которое они мне принесли; не хотела бы я дожить до того часа, когда слова эти сотрутся из моей памяти.

Тут индейцы стали поговаривать о том, чтобы покинуть это место и, разделившись, разойтись в разные стороны. Теперь, кроме меня, было уже девять пленных англичан (все это были дети и лишь одна женщина). Мне удалось повидаться с ними. Им предстояло направиться в одну сторону, а мне в другую, и я спросила, полагаются ли они на Господа в своих надеждах на спасение. Делают все, что могут, ответили дети. Это успокоило меня немного; видно, Господь побуждал детей уповать на Него. Но женщина (ее звали Джослин) сказала, что найдет в себе силы попытаться бежать, так что мы с ней больше не увидимся. Я старалась ее отговорить: на руках у нее был двухлетний малыш, и она ждала уже другого ребенка (ей оставалось не больше недели), и мы находились милях в тридцати от любого английского

селения, к тому же ей пришлось бы перебираться через опасные реки, а мы все страшно ослабели от недоедания. Со мной была Библия, я достала ее и спросила, не хочет ли она почитать Священное Писание. Мы открыли Библию, и глаза наши сразу остановились на 26-м псалме, в котором нас особенно поразили ver. ult. :[154] «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на господа»[155].

Переход четвертый[156]

И вот я должна расстаться с той небольшой группой людей, с кем довелось встретиться. Я рассталась тут с моей дочерью Мэри (я не видела ее больше до самой встречи в Дорчестере, когда она вернулась из плена); рассталась с четырьмя маленькими кузинами и друзьями; некоторых я больше не видела никогда; один Господь ведает, что случилось с ними после. Не увидела я больше и той несчастной женщины, о которой упоминала раньше. Мне рассказывали потом, что конец ее был полон грусти. Она очень печалилась из-за своего тяжелого состояния (близилось ее время) и постоянно просила индейцев отпустить ее домой; те не соглашались, но ее назойливость раздражала их, и как-то раз, собравшись вокруг нее, они сорвали с нее одежду и начали петь и плясать (по своему дьявольскому обычаю), пока им это не надоело, а потом проломили голову ей и ребенку, которого она держала на руках. Затем они разожгли костер, положили обеих в огонь и сказали другим детям, что с ними случится то же самое, если они попытаются бежать. Дети рассказывали потом, что Джослин не пролила ни слезинки, только все время молилась. Но я вернусь к моим собственным странствиям. Мы были в пути

полдня, а может, немного больше и наконец достигли такого места, где никогда раньше не было ни людей, ни жилищ. Все было покрыто снегом; холодно, сыро, и негде присесть, и нечем поддержать силы, а вокруг — одни лишь вопли индейцев.

Чего только я не передумала о моих бедных детях, затерянных далеко друг от друга в этих глухих краях среди диких зверей! Голова моя кружилась то ли от голода и сидения на холодной земле, то ли от скорбных мыслей, то ли от всего вместе. Я едва держалась на ногах, все тело болело, и печаль мою, что давила душу, невозможно описать; но Господь поддержал меня, подсказав нужные слова. Я открыла Библию и прочла: «Так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской»[157]. Это было сердечным утешением для меня в час, когда я готова была потерять сознание. Много, много раз плакала я над этими строками и получала облегчение.

Мы пробыли там около четырех дней.

Переход пятый[158]

Причина, вынудившая тогда индейцев поспешно тронуться в путь, по-моему, заключалась в том, что английская армия находилась близко и преследовала их. Какое-то время индейцы двигались так быстро, словно от этого зависела их жизнь. Наконец они остановились, отобрали несколько самых сильных мужчин и отправили их назад, чтобы задержать английских солдат, пока остальные смогут уйти. А потом, подобно Иеую[159], опять все, и стар и млад, поспешно двинулись вперед — кто нес детей, кто

дряхлую мать. Четверо индейцев несли на носилках тело дряхлого старика, но в густом лесу они не могли двигаться быстро, поэтому, взвалив его на спину, несли по очереди, пока не достигли Бакуог-Ривер. К этой реке мы подошли в пятницу, вскоре после полудня. Когда на берегу собрались все индейцы, я попыталась сосчитать, но было их так много, к тому же они беспрерывно передвигались, что я не смогла этого сделать. На этот раз индейцы были более благосклонны ко мне и не нагрузили, как обычно, непосильной ношей; я несла только две кварты поджаренной муки и свое вязание. Я очень ослабела и попросила хозяйку дать мне ложку муки, но та не дала даже попробовать. Индейцы быстро начали валить сухие деревья, чтобы сделать плоты для переправы через реку. Скоро пришла и моя очередь. На плоты индейцы положили ветки, так что можно было сесть, и благодаря этому я не промочила ноги (хотя на другом конце плота вода достигала колен). Это само по себе являлось милосердием Божьим для моего больного тела, потому что было очень холодно. Раньше не приходилось мне испытывать подобных опасностей и невзгод. Но сказано: «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не потопят тебя… »[160]. В ту ночь немало индейцев переправилось через реку, но окончательно все перебрались на другой берег только в ночь после воскресенья. В субботу они сварили ногу старой лошади, и мы выпили этот отвар, как только женщины решили, что он готов. Когда почти все было выпито, котелок наполнили вновь.

В первую неделю моего пребывания среди индейцев я почти ничего не ела; за вторую неделю я очень ослабела, но все-таки не могла проглотить ни кусочка этих омерзительных отбросов, однако на третью неделю их еда показалась мне даже вкусной, хоть я знала, что раньше мой желудок не смог бы принять

подобную пищу и я скорее согласилась бы умереть, чем дотронуться до нее. В ту пору я вязала белые хлопчатобумажные чулки для хозяйки, но в субботу вязать не стала. Когда мне приказали продолжать работу, я попросила разрешения соблюсти субботу и пообещала поработать больше на другой день. В ответ на это мне посулили разбить лицо. Тут я не могу не отметить Провидения Господа, сохранившего этих язычников. Индейцев собралось на берегу несколько сот: старые и малые, больные и увечные; у многих за спинами были дети; на этот раз среди индейцев было много скво, которые тащили на себе все свои пожитки, и все-таки все они переправились через реку. В понедельник индейцы подожгли свои вигвамы и ушли. В тот же самый день следом за ними к реке подошли английские солдаты; они видели дым индейских вигвамов, но, похоже, река остановила их. Бог не дал им ни мужества, ни отваги преследовать нас. Видно, мы не были готовы к такому великому милосердию как победа, иначе Господь указал бы путь и англичане переправились бы через реку, как он позволил сделать это индейцам со всеми их скво, детьми и пожитками. «О, если бы народ Мой слушал Меня, и Израиль ходил Моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на притеснителей их»[161].

Переход шестой[162]

Как я уже говорила, в понедельник индейцы подожгли свои вигвамы и отправились дальше. Утро было холодное. Путь преграждал большой и довольно глубокий ручей, покрытый льдом. Некоторые из индейцев перешли его вброд по колени и выше в ледяной воде, другие (и я в их числе) пошли вдоль

ручья, пока не увидели бобровую плотину. Мы перешли по ней, так что милостию Божию я не промочила ног. Весь день я шла, предаваясь печали и скорби: каждый шаг удалял меня от родных мест, я все дальше уходила в глухие, неведомые края. Теперь я поняла силу искушения жены Лота, которая не выдержала и оглянулась назад[163].

В тот день мы подошли к большому болоту и неподалеку от него начали располагаться на ночлег. Когда я поднялась на соседний холм, с которого был виден весь лагерь, то даже подумала, что мы подошли к какому-то большому индейскому селению: индейцев было так много, как деревьев в лесу; казалось, стучат сразу тысячи топоров! Куда ни посмотришь — всюду индейцы: спереди, сзади, сбоку… И я одна среди них, и рядом ни одной христианской души. Как только Господь сохранил меня?! Поистине великое милосердие явил Он и мне, и моим близким!

Переход седьмой[164]

После беспокойной голодной ночи переход на следующий день был для меня очень трудным. Болото, возле которого мы расположились, представляло собой глубокую впадину, и, чтобы выбраться из нее, нужно было подняться на высокий холм с обрывистыми, крутыми склонами. Пока я добиралась до вершины, мне казалось, сердце выскочит из груди, а ноги и все тело откажутся повиноваться. Из-за боли во всем теле и сильной слабости этот день был для меня особенно мучительным.

По мере того как мы продвигались вперед, стали попадаться выгоны, где английские поселенцы прежде пасли скот и держали коров. Даже вид этих мест

невольно приносил мне утешение. Вскоре мы увидели английскую тропу, и это так взволновало меня, что я готова была тут же лечь и умереть. После полудня мы подошли к Сквокегу, и все индейцы быстро рассыпались по опустевшим, покинутым англичанами полям, подбирая оставшиеся колосья, рассыпанное зерно, початки кукурузы и земляные орехи. Кому-то удалось найти смерзшиеся снопы пшеницы. Их тотчас бросились обмолачивать. Мне досталось два початка кукурузы, но только я отвернулась, как один початок у меня стащили. Тут как раз подошел индеец, у которого в корзине была печенка. Я попросила дать мне кусок. «Разве ты можешь есть конину?» — удивился он. Я сказала, что попробую, и тогда он дал мне кусок печенки. Я сразу же положила его на уголья, но не успела печенка поджариться, как половину куска отрезал другой индеец, так что мне пришлось скорее съесть оставшееся полусырым. И хотя из недожаренного куска сочилась кровь, конина показалась мне очень вкусной. Поистине: «Голодной душе все горькое сладко»[165].

Печально было смотреть на брошенные, разоренные пшеничные и кукурузные поля, остатки урожая с которых стали пищей для наших безжалостных врагов.

На ужин у нас была похлебка из пшеницы.

Переход восьмой[166]

На следующее утро нам предстояло переправиться через реку Коннектикут, чтобы встретиться с Королем Филипом. Два каноэ с людьми уже переправились на противоположный берег, пришла моя очередь, но не успела я шагнуть в лодку, как вдруг поднялся крик, и вместо переправы оставшимся индейцам и мне вместе с

ними пришлось подняться четыре-пять миль вверх по реке. Индейцы разбежались кто куда. Я думаю, паника была вызвана тем, что они обнаружили в округе английских следопытов. Во время нашего перехода вверх по реке индейцы остановились поесть и отдохнуть. Когда я сидела, погрузившись в свои мысли, ко мне вдруг подошел мой сын Джозеф. Мы стали расспрашивать друг друга о том, как нам живется, и оплакивать наши беды и потери. Ведь у нас была семья — муж и отец, дети, родственники и друзья, дом и все необходимое, а ныне мы могли бы сказать, подобно Иову: «... Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно»[167]*35* .

Я спросила Джозефа, не хочет ли он почитать Библию. Сын сказал, что ему очень бы этого хотелось. Он раскрыл Библию и сразу увидел такие строки: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня»[168]. «Мама, — воскликнул Джозеф. — Ты читала это?»

Мне хотелось бы воспользоваться случаем и сказать, почему я в своих записках привела именно эти строки: и для того, чтобы, как сказано в псалме, возвестить дела Господа, который милосердием и могуществом своим сохранил нас, когда мы были в руках врагов в диком краю, и вернул нас потом из плена; и для того, чтобы возблагодарить Господа за безграничную доброту, с какой Он наводил меня на такие строки Священного Писания, которые в бедственном моем положении несли мне утешение и надежду[169].

Вернусь, однако, к своему повествованию. Мы двигались, пока не стемнело, а утром должны были переправиться через реку к людям Филипа. Уже сидя в каноэ, я не могла не подивиться многочисленности

язычников, собравшихся на другом берегу. Когда я вышла из лодки, они окружили меня; я видела, как они о чем-то спрашивали друг друга, смеялись и радовались своим успехам и победам. Тут сердце мое не выдержало, и я заплакала. Не помню, чтобы раньше случалось мне плакать перед ними. Многие беды постигли меня, и не раз сердце готово было разорваться от боли, но перед ними я не пролила ни слезинки и была словно каменная. Но в ту минуту я могла бы сказать о себе словами псалма: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе»[170].

Кто-то из индейцев спросил, почему я плачу. Не зная, как ответить, я сказала, что они, наверное, убьют меня. «Нет, — ответил он, — никто тебя не тронет». Тут подошел ко мне другой индеец и, чтобы утешить меня, дал две полные ложки муки, а потом третий принес полпинты гороха, и это было дороже целых бушелей в иное время.

Потом я пошла к Королю Филипу. Он пригласил меня сесть и предложил трубку (обычная любезность в наши дни, как для праведных, так и для грешников). Мне это было уже не нужно. Хотя раньше я прибегала к табаку, но бросила столь дурную привычку. Ведь это не что иное как приманка, с помощью которой дьявол заставляет людей зря тратить драгоценное время. Я со стыдом вспоминаю, как, бывало, выкурив две-три трубки, вскоре опять тянулась к табаку. Сущее колдовство! Благодарю Господа, что Он дал мне силы побороть это наваждение. Есть на свете много людей, которые могли бы найти более достойное занятие, чем лежать, посасывая вонючую трубку.

В это время индейцы собирали силы, чтобы напасть на Норт-Хэмптон. Накануне вечером один из них громко оповестил об этом лагерь, и все стали готовиться к

походу; кипятить земляные орехи и поджаривать муку, всю, какая у них была. Утром они отправились в путь.

Пока я жила в этом месте, Филип попросил меня сшить рубашку для его сына и дал мне за это шиллинг. Я предложила эти деньги моему хозяину, но он сказал, чтобы я оставила их себе. Тогда я купила на них кусок конины. Потом Филип попросил меня сшить шапку для мальчика и пригласил на обед. Он угостил меня большой, толщиной в два пальца, лепешкой. Сделана она была из подсушенной дробленой пшеницы и поджарена на медвежьем жире. Мне показалось, что я никогда не ела ничего более вкусного!

Вскоре одна скво попросила меня сшить рубашку для ее сэннапа[171] и дала за это кусок медвежатины. Другая попросила связать чулки и заплатила квартой гороха. Я сварила горох с медвежатиной и пригласила своих хозяев пообедать, но гордячка-хозяйка есть не стала, потому что я подала им еду в одной миске. Она съела лишь один кусок, который муж протянул ей на кончике ножа.

Я узнала, что сын мой тоже здесь, и отправилась его повидать. Когда я его нашла, он лежал, растянувшись, на земле. Я с удивлением спросила, как он может так спать, а он ответил, что не спит, а молится и лежит так, чтобы индейцы не догадались, чем он занят. Я молю Бога, чтобы мой сын никогда не забывал этого теперь, когда он в безопасности.

Солнце уже поднялось высоко и светило в тот час так ярко, что я боялась ослепнуть от его лучей и дыма вигвамных костров. Я с трудом отличала один вигвам от другого. Была там одна женщина из Медфилда. Ее звали Мэри Тарстон. Видя, что со мной происходит, она предложила мне свою шляпу, но, как только я ушла, хозяйка Мэри догнала меня и отняла ее.

Как-то раз одна скво дала мне ложку муки, и я спрятала ее в свою сумку. Кто-то ухитрился стащить эту муку, но взамен оставил пять початков кукурузы, и они послужили мне чудесной пищей в течение целого дня пути.

Индейцы, вернувшиеся из Норт-Хэмптона, пригнали с собой лошадей и овец и привезли все, что им удалось захватить. Как мне хотелось, чтобы индейцы, усадив меня на одну из этих лошадей, увезли в Олбэни и променяли там на порох; иногда они совершали такие сделки. Я была совершенно беспомощна и не смогла бы пешком добраться домой. Страшно было даже представить себе, сколько мучительных шагов пришлось уже пройти.

Переход девятый[172]

Вместо Олбэни мы продвинулись еще миль пять вверх по реке, пересекли ее и там на некоторое время остановились. В том месте жил один довольно жалкий индеец. Он как-то заговорил со мной и попросил сшить ему рубашку, но ничего за это не заплатил. Жил этот индеец у реки. Я часто ходила к реке набрать воды и каждый раз напоминала ему, что он со мной не расплатился. Наконец он сказал, что заплатит, если я сошью другую рубашку, на этот раз для его будущего ребенка. Когда я выполнила и эту работу, он дал мне нож. Я вернулась в вигвам, держа нож в руках. Моему хозяину нож понравился, и он попросил его у меня. Я немало обрадовалась тому, что смогла подарить им вещь, которую они приняли с удовольствием.

Пока мы оставались на этом месте, вернулась служанка моих хозяев. Три недели назад она отправилась в земли наррагансетов за кукурузой, которую они спрятали в земляных хранилищах. Она

принесла около половины бушеля зерна. Это произошло в то время, когда в землях наррагансетов был убит их великий воин Наананто.

Теперь, когда я знала, что мой сын находится в одной миле от меня, мне захотелось повидать его, и я попросила разрешения пойти к нему. Надо было подниматься на холмы, пробираться через болота, и я скоро заблудилась. Не могу не восхищаться могуществом и милосердием ко мне Господа! Хоть и была я далеко от дома, сталкивалась с самыми разными индейцами, мне незнакомыми, и не было возле меня ни одной христианской души, ни один из этих людей не сделал мне ничего дурного.

Не зная, куда идти, я было повернула назад, но тут встретила своего хозяина, и он показал мне, как пройти к сыну. Когда я наконец пришла к Джозефу, оказалось, что он нездоров: на боку у него появился нарыв, и это очень его беспокоило. Мы оба посетовали на свои невзгоды, постарались утешить друг друга, и я пошла обратно. Но только я вернулась, как меня снова охватила тревога. Я ходила взад-вперед, не находя себе места, печалясь и тоскуя. Мысли о моих бедных детях не давали мне покоя, и я совсем пала духом. Сын мой хворал, я никак не могла забыть, каким несчастным он выглядел, и не было возле него ни одного христианина, который позаботился бы об его душе и теле. А моя бедная дочь! Я не знала ни где она, ни что с ней: больна или здорова, жива или мертва. В горести своей я открыла Библию (великое мое утешение в ту пору) и сразу увидела строки: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя»[173].

Надо было, однако, пойти и поискать какой-нибудь еды, чтобы утолить голод. Бродя между вигвамами, я зашла в один, и там скво, пожалев меня, дала мне кусок медвежатины. Я спрятала мясо в сумку и вернулась в

вигвам своих хозяев, но никак не могла выбрать подходящий момент, чтобы поджарить мясо, потому что боялась, как бы его у меня не отняли. Так оно и пролежало весь день и всю ночь в моей провонявшей сумке. Наутро я опять пошла к той скво, которая дала мне мясо. У нее в котелке в это время варились земляные орехи. Я попросила у нее разрешения сварить кусок медвежатины в ее котелке. Она не только разрешила, но даже дала к мясу горсть земляных орехов. Никогда бы не подумала, что получится так вкусно! Мне приходилось видеть, как англичане готовили медвежатину, некоторым она нравится, но даже мысль о том, что это мясо медведя, заставляла меня содрогаться. Теперь же мне казалось вкусным то, что раньше вызывало только брезгливость.

Как-то раз мне не нашлось места у очага, а день был на редкость холодный. Я вышла из вигвама и остановилась, не зная, что делать. Постояв немного, я решила пойти в другой вигвам. Там тоже все тесно сидели вокруг очага, но одна скво сразу встала, постелила мне шкуру, предложила сесть ближе к огню и даже дала земляных орехов. Она пригласила приходить еще и сказала, что их семья купила бы меня, будь у них такая возможность. А ведь то были совсем незнакомые мне люди, которых я раньше никогда не видела.

Переход десятый[174]

В тот день небольшая группа индейцев, в том числе и мои хозяева, отошла на расстояние около мили, собираясь на другой день двинуться дальше. Когда нашли подходящее место для ночлега и поставили вигвамы, я решила вернуться назад. Мне страшно хотелось есть, и, помня доброту скво и ее приглашение,

я пошла в ее вигвам. Но когда я была там, за мной пришел индеец, которого послали меня разыскивать. Он погнал меня назад, в вигвам моих хозяев, и всю дорогу пинал ногами. У хозяев жарилась оленина, но мне не дали ни кусочка.

Так иногда я встречалась с добротой, а подчас не видела ничего, кроме хмурых взглядов.

Переход одиннадцатый[175]

На следующее утро индейцы отправились дальше, намереваясь весь день двигаться вверх по реке. Как обычно, я взвалила груз на спину, мы быстро пересекли реку вброд и стали взбираться на бесконечные холмы. Один холм был такой крутой, что я вынуждена была ползти на четвереньках, хватаясь за ветки и кусты, чтобы не упасть навзничь. Голова кружилась, меня шатало из стороны в сторону, но я надеялась, что каждый мучительный шаг предвещает долгожданный покой: «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня»[176].

Переход двенадцатый[177]

Было воскресное утро, когда мои хозяева начали готовиться в путь. Я спросила хозяина, не согласится ли он продать меня моему мужу. Он ответил: «Nux»[178], и я воспрянула душой.

Перед тем как отправиться в путь, моя хозяйка пошла к месту, где был похоронен ее ребенок. Вернувшись и увидев, что я сижу и читаю Библию, она разозлилась, вырвала ее у меня из рук и выбросила из вигвама. Я бросилась следом и, схватив Библию,

спрятала ее в сумку. Больше я никогда не вынимала ее на глазах у хозяйки.

Все вещи были уложены; мне указали на мой груз, который я должна была нести. Когда я пожаловалась, что ноша слишком тяжела для меня, хозяйка ударила меня по лицу и велела поторапливаться. Я мысленно обратилась к Господу, надеясь на то, что освобождение мое близко. Грубость хозяйки нарастала с каждым днем.

Мысль о том, что мы движемся в сторону дома, придала мне силы настолько, что я почти не чувствовала груза на спине. Однако, к моему величайшему удивлению и огорчению, скоро все вдруг переменилось. Хозяйка неожиданно заявила, что дальше не пойдет; она возвращается назад, и я должна идти вместе с ней. Ей хотелось, чтобы сэннап тоже вернулся, но он отказался. Он сказал, что пойдет вперед и вернется к нам через три дня. Признаюсь, я была просто возмущена и сказала себе, что скорее умру, чем пойду за хозяйкой. Трудно передать, в каком я была состоянии, но все-таки мне пришлось смириться и последовать за ней.

Как только выдалась минутка, я открыла Библию, и на глаза мне попались строки: «Остановитесь и познайте, что Я Бог»[179]. Эти слова немного успокоили меня, но я поняла, что мне предстоят трудные времена: хозяин мой ушел, а он среди индейцев, как мне кажется, был моим лучшим другом и в холоде, и в голоде. И очень скоро я в этом убедилась.

Печаль переполняла меня, но я была так голодна, что не могла усидеть на месте и пошла поискать что-нибудь съедобное под деревьями. Я нашла шесть желудей и два каштана, и это меня немного подкрепило. К вечеру я собрала немного хвороста, чтобы не пришлось мерзнуть, но, когда настало время

ложиться спать, мне приказали уйти из вигвама, потому что к ним должны были прийти гости. Я сказала, что не знаю, куда мне деваться — стоит мне уйти в другой вигвам, как они сразу рассердятся и пришлют за мной. Тогда один из них вынул нож и крикнул, что проткнет меня, если я сейчас же не уберусь прочь. Мне пришлось подчиниться этому грубияну, и я вышла прямо в ночь, не зная, куда идти. Потом, спустя какое-то время, мне довелось увидеть этого малого в Бостоне. Вместе с другими такими же он расхаживал по городу, выдавая себя за дружественного индейца.

Я зашла в один вигвам, но мне сказали, что для меня нет места; в другом повторилось то же самое. Наконец какой-то старый индеец позвал меня к себе, а его скво дала мне немного земляных орехов. Она предложила мне шкуру, чтобы подложить под голову; в вигваме горел яркий огонь, так что с Божьей помощью в ту ночь у меня был теплый, удобный ночлег. Наутро другой индеец позвал меня переночевать в его вигваме и дал шесть земляных орехов.

Мы находились в двух милях от реки Коннектикут и утром отправились к реке собирать земляные орехи, а к вечеру вернулись обратно. Я шла с большим грузом на спине, потому что индейцы, по своему обычаю, забирают с собой все свои пожитки, даже если уходят на небольшое расстояние. Я пожаловалась, что от такой тяжести до крови растерла спину, на что в ответ услышала «утешение»: «Голова отвалится — тоже не важно! »

Переход тринадцатый[180]

И вот вместо того, чтобы двигаться в направлении залива (как мне того хотелось), пришлось, пройдя пять-шесть миль вниз по реке, углубиться в густые заросли.

Там мы прожили около двух недель. В это время одна индианка попросила сшить рубашку для ее ребенка и за это угостила меня супом с измельченной древесной корой; чтобы сделать похлебку вкуснее, она добавила в нее горсть гороха и немного поджаренных земляных орехов.

Я уже довольно давно не видела своего сына и спросила о нем одного индейца. Тот ответил, что хозяин Джозефа уже поджарил мальчишку, все ели, и ему самому тоже достался кусок, толщиной в два пальца; мясо было вкусное. Господь помог мне сдержаться! Я знала об ужасной приверженности индейцев ко лжи, знала, что среди них нет ни одного, чья совесть вынуждала бы говорить правду.

Однажды, лежа в холодную ночь у огня, я отодвинула в сторону толстую ветку, которая загораживала от меня тепло. Хозяйка подтолкнула эту ветку на прежнее место. Я подняла голову и посмотрела на нее. Тогда она, схватив горсть золы, бросила ее мне в глаза. Я думала, что ослепну, но за ночь слезы и вода вымыли грязь, и к утру мне стало легче. После этого случая и многих, подобных ему, я могла бы, пожалуй, сказать подобно Иову: «Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои; ибо рука Божия коснулась меня»[181].

Мне вспоминается, как часто, сидя в вигваме и задумавшись о прошлом, я вдруг вскакивала и выбегала, забывая, где я и что со мной, но стоило только посмотреть вокруг — и память возвращалась ко мне. Это напоминало мне слова Самсона: «… Пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него»[182].

Я уже стала думать, что все мои надежды на освобождение рухнули. Сначала я надеялась на английскую армию, на то, что солдаты придут и

отобьют меня у индейцев. Напрасно! Потом я надеялась, что окажусь в Олбэни, но эти надежды тоже не оправдались. Думала, что меня продадут моему мужу, как обещал мой хозяин, но он ушел, а я осталась и теперь совсем пала духом.

Я попросила у хозяйки разрешения пойти собрать немного хвороста. Просто мне хотелось побыть одной и открыть свое сердце перед Господом. Я взяла с собой Библию, но на этот раз не нашла в ней утешительных слов, которые всегда поддерживали меня. Для Господа так легко высушить и этот источник! И все же я должна сказать, что во всех моих печалях и несчастьях Господь не покидал меня и не допустил, чтобы мое нетерпение излилось в мыслях о несправедливости Его ко мне. Я знаю, что Он возложил на меня ношу меньше, чем я того заслуживала. Позже я как-то перелистывала Библию, и Господь подсказал мне слова Священного Писания, которые немного подбодрили меня: «Мои мысли — не ваши мысли, не ваши пути — пути Мои, говорит Господь»[183], а также стих пятый 36-го псалма: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит».

В это время с победным кличем прибыли индейцы из Хэдли; они убили трех англичан и привели пленника по имени Томас Рид. Индейцы сразу собрались вокруг него плотным кольцом и накинулись с вопросами. Мне тоже хотелось подойти к нему. Когда я наконец подошла, он горько плакал, полагая, что его скоро убьют. Я спросила одного индейца, собираются ли они убивать своего пленника, и тот ответил, что нет. Это немного подбодрило несчастного, и тогда я спросила его о моем муже. Он сказал, что видел его как-то в заливе и был он здоров, но печален. Из этого я поняла (хотя подозревала и раньше), что все разговоры индейцев о моем муже были ложью и пустым хвастовством. Одни

говорили, будто он мертв, убит индейцами; другие уверяли, что он снова женится и что сам губернатор настаивает на этом, ибо его убедили, что я уже мертва. Одним словом, все эти дикари — лгуны и так похожи на того, кто явился источником всякой лжи[184].

Как-то раз, когда я сидела в вигваме, ко мне подошла служанка Филипа с ребенком на руках и попросила дать ей кусок моего фартука, чтобы сделать ребенку накидку. Я отказалась. Вмешалась моя хозяйка и приказала мне отдать кусок фартука, но я опять сказала: «Нет! » Служанка пригрозила, что сама оторвет кусок моего фартука, если я не соглашусь, а я ответила, что в таком случае разорву ее одежду. Тут моя хозяйка вскочила, схватила большую палку и попыталась меня ударить. Я отскочила в сторону, и палка запуталась в подстилке вигвама. Пока хозяйка ее вытаскивала, я подбежала к служанке и отдала ей весь мой фартук, так что буря на этот раз улеглась.

Узнав, что сын мой здесь, я пошла повидать его и сообщить добрую весть: отец его здоров, хоть и в большой печали. На это мой сын сказал, что тревожится за отца не меньше, чем за себя. Слова сына удивили меня. Мне казалось, на мою долю выпало столько бед, что вряд ли следовало беспокоиться о тех, кто находится в безопасности и среди друзей.

Джозеф рассказал также, что недавно его хозяин вместе с другими индейцами отправился было к французам за порохом, но по дороге напали могауки и убили четверых из их отряда, так что остальным пришлось вернуться. Я возблагодарила Господа за то, что сын остался у индейцев, а не был продан французам.

В тех местах я решила повидать английского юношу, Джона Гилберта из Спрингфилда. Тот лежал на голой земле под открытым небом. Я стала

расспрашивать его, и он рассказал, что тяжело болен дизентерией. Индейцы выгнали его из вигвама, а вместе с ним и полумертвого индейского ребенка, чьи родители убиты. Оба были почти без одежды, а день выдался очень холодный. На юноше не было ничего, кроме рубахи и жилета. Такое зрелище растопило бы и каменное сердце. Оба лежали, дрожа от холода: юноша — свернувшись, как собака, а ребенок вытянулся; глаза, нос и рот у него были забиты грязью, но он все еще был жив и стонал.

Я посоветовала Джону добраться до огня. Он ответил, что от слабости не может держаться на ногах, но я все-таки продолжала настаивать, стараясь убедить его в том, что, лежа тут, он умрет. С трудом я привела его к огню, а сама вернулась в вигвам. Не успела я войти, как явилась дочь хозяина этого юноши и стала допрашивать, что я сделала с англичанином. Я ответила, что отвела его к огню. Теперь мне впору было повторить молитву св. Павла: «Избави нас от людей злых и безрассудных»[185] . Пришлось мне с ней идти туда, где я оставила этого юношу; но не успела я вернуться обратно, как поднялся шум, что я сбежала с английским юношей, а в вигваме на меня накинулись с бранью и оскорблениями, допытываясь, где я была, что делала и вообще обещали проломить этому англичанину голову. Я объяснила, что ходила повидать английского юношу, но убегать не собираюсь. Меня обозвали лгуньей и, грозя топором, запретили выходить из вигвама. Поистине я могла бы сказать словами Давида: «… Тяжело мне очень; но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его; только бы в руки человеческие не впасть мне»[186].

Если я буду повиноваться и сидеть в вигваме, то умру от голода, а если ослушаюсь и выйду, мне проломят голову! Так продолжалось полтора дня, а

потом Господь, чье милосердие безгранично, сжалился надо мной. Ко мне пришел индеец и принес пару чулок, которые были ему слишком велики. Он просил распустить чулки и связать новые, по его ноге. Я согласилась, но сказала, чтобы он попросил мою хозяйку отпустить меня с ним. Хозяйка разрешила, и я, немало порадовавшись обретенной свободе, пошла с этим индейцем. Он дал мне немного поджаренных земляных орехов, и это подкрепило меня.

Освободившись от надзора хозяйки, я смогла снова заглянуть в Библию, которая постоянно служила мне мудрым советчиком в дневное время и изголовьем ночью. Как только я открыла ее, мне сразу бросились в глаза слова утешения: «На малое время Я оставил тебя, но с великою милостию восприму тебя»[187]. Так Господь не покидал меня и постоянно поддерживал в трудные минуты.

Через некоторое время ко мне пришел мой сын, и я попросила его хозяина, чтобы он разрешил побыть нам вместе. Мне нужно было присмотреть за Джозефом, прочесать ему волосы, потому что он был весь покрыт вшами. Джозеф сказал, что очень хочет есть, а у меня совсем ничего не было. Я посоветовала ему, чтобы, возвращаясь к своему хозяину, он по пути заходил в вигвамы, и, может быть, его где-нибудь накормят. Он так и сделал, но, видно, немного задержался. Хозяин рассердился, побил его, а потом вскоре продал. Джозеф прибегал ко мне сказать, что у него теперь новый хозяин и он уже дал ему немного земляных орехов. Тогда я пошла вместе с сыном к его новому хозяину, и тот сказал, что мальчик ему нравится и голодать он не будет. Этот индеец увел Джозефа с собой, и я больше не видела своего сына до того дня, когда мы встретились с ним на берегу Пискатаквы, в Портсмуте.

В ту ночь меня опять попросили выйти из вигвама. У моей хозяйки был болен малыш; ночью он умер. Нет худа без добра — в вигваме стало просторнее. Я ушла к соседям, там мне дали шкуру для постели и угостили олениной с земляными орехами. У индейцев это считается лакомством.

На другой день утром ребенка похоронили, и весь день до вечера в вигвам приходили люди, чтобы оплакать умершего и погоревать вместе с матерью. Должна признаться, что не особенно разделяла их горе. Много печальных дней провела я среди них и часто бывала одинока. «Стенал я, как журавль, как ласточка; тосковал, словно голубь; уныло смотрели глаза мои к небу: Господи! Тоска гнетет; спаси меня!»[188] Я могла бы воззвать к Господу, подобно Иезекиилю: «О Господи! Вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно и с преданным *Тебе* сердцем и делал угодное в очах Твоих»[189].

Теперь у меня было время проследить все свои поступки: по совести говоря, я не могла бы обвинить себя в несправедливости к тому или иному человеку, но в своем отношении к Господу я была недостаточно почтительна. Как сказал Давид: «Тебе, Тебе единому согрешил я»[190]. Я могла бы также сказать словами мытаря: «Господи! Будь милостив ко мне, грешному»[191].

В воскресные дни, глядя на солнце, я представляла себе, как люди идут сейчас в храм Божий, чтобы укрепить душу, а вернувшись домой, могут подкрепить и тело, тогда как я, подобно блудному сыну, лишена и того и другого. «И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему»[192]. Как и он, я могла бы сказать: «Отче! Я согрешил против неба и пред Тобою»[193].

Я вспоминаю, как раньше, накануне воскресного дня и после него, вся семья собиралась вокруг меня;

приходили родные и соседи. Мы молились и пели псалмы. Потом подкрепляли тело добрыми Божьими дарами, а ночью могли отдохнуть в удобной постели. И вместо всего этого теперь у меня лишь немного помоев, чтобы утолить голод, и, подобно свинье, я должна ложиться на грязную землю.

Я не в силах передать людям, какая печаль лежит у меня на душе. То ведомо одному Господу! И все-таки мне постоянно приходят на память чудесные слова из Священного Писания: «На малое время Я оставил тебя, но с великою милостию восприму тебя»[194] .

Переход четырнадцатый[195]

И вот опять мы должны укладывать все вещи и уходить из дикого леса, направляясь к городам залива. Весь день я ничего не ела, кроме нескольких крошек старой лепешки, которую индеец дал моей девочке в тот день, когда нас взяли в плен. Дочь дала лепешку мне, и я спрятала ее в сумку; там она и лежала, пока совсем не заплесневела. Лепешка, очевидно, была плохо выпечена, невозможно было определить, из чего она была сделана, и теперь, развалившись на крошки, превратилась в комочки, которые, засохнув, стали твердыми как кремень. И все-таки они не раз подкрепляли меня, когда я готова была потерять сознание от голода. Я постоянно думала о том, что, если мне удастся вернуться домой, я расскажу всем людям, каким благословением Господним могут стать столь жалкие крохи.

В пути индейцы убили стельную олениху, и мне дали кусочек мяса детеныша. Оно было такое нежное, что его можно было есть вместе с костями, и показалось мне необыкновенно вкусным.

К ночи пошел дождь; мы остановились, и индейцы поставили вигвам, покрыв его корой, так что ночь я провела на сухой подстилке. Когда утром я выглянула из вигвама, оказалось, что многие спали всю ночь под дождем. Я узнала это по тому, что от их одежды шел пар. Поистине Господь был милостив ко мне, и не один раз была я в лучшем положении, чем многие из индейцев.

Поутру индейцы наполнили олений желудок кровью этого животного и сварили. Я не могла заставить себя попробовать, но все ели с удовольствием.

Между тем в иных вещах индейцы бывают очень брезгливы. Например, когда я принесла воды и опустила миску, которой набирала воду, в котелок с водой, индейцы страшно возмутились, закричав, что это признак неряшливости, и пригрозили прибить меня.

Переход пятнадцатый

Снова в путь. Мне дали горсть земляных орехов, груз, который мне предстояло нести, и я радостно тронулась в путь — ведь направлялись мы в сторону моего дома! Ноша давила на плечи, но на душе не было тяжести. В тот день мы опять подошли к Бакуог-Ривер и остановились неподалеку на несколько дней.

Иногда индейцы давали мне кто трубку, кто немного табаку или соли. Все это я меняла на съестное. Я не думала раньше о том, что, когда человек постоянно недоедает, у него развивается волчий аппетит. Много раз, если мне давали поесть чего-нибудь горячего, я набрасывалась на еду с такой жадностью, что обжигала рот, и боль потом долго не проходила. И все-таки в следующий раз я делала то же самое. Если мне случалось сильно проголодаться, я потом долго никак не могла насытиться. Иногда

выдавались дни, когда еды у меня было до-статочно, и я ела до тех пор, пока не могла уже проглотить ни кусочка, но все равно чувство голода оставалось, как если бы я только приступала к еде. Теперь я нашла подтверждение подобному явлению в Священном Писании (многое в Священном Писании проходит мимо нашего внимания; мы не замечаем или не понимаем, пока сами не испытаем на себе): «Ты будешь есть — и не насытишься»[196].

Теперь больше, чем когда-либо раньше, я могла видеть, какие несчастья навлекает на нас грех. Не раз я готова была наброситься на дикарей, но слова Священного Писания успокаивали меня: «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?»[197] Господь помог мне правильно понять Его слово и усвоить великий урок: «О человек! Сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим... Слушайте жезл и Того, Кто поставил его»[198].

Переход шестнадцатый

Мы начали с того, что перешли вброд Бакуог-Ривер. Река была по колено, течение очень быстрое, а вода такая холодная, будто ноги резали острыми ножами. Я так ослабела, что едва стояла на ногах, казалось, пришел мой конец, и это после того, что я столько перенесла. Индейцы смеялись, глядя на мои неловкие движения, но и в отчаянии моем Господь даровал мне сознание истины и доброты в обещании: «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не потопят тебя»[199].

Выйдя из воды, я села, надела чулки и ботинки и, хотя слезы стояли в глазах и печаль давила сердце, пошла следом за всеми.

Тут подошел какой-то индеец и сказал, что я должна идти в Вачусит к своему хозяину, потому что сагаморам пришло письмо от Совета[200] о выкупе пленных и через четырнадцать дней придет еще письмо, так что я должна явиться туда.

Несколько минут назад у меня было так тяжело на сердце, что я с трудом могла говорить или идти, но после такого известия на душе стало легко, кажется, так бы и побежала! Силы вернулись ко мне, укрепили дрожавшие колени и изболевшееся сердце.

Но, к сожалению, в ту ночь индейцы продвинулись только на одну милю и остановились лагерем на два дня. К нам подъ но в псалме: «И возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших их»[201].

У моего хозяина было три скво, и он жил то с одной, то с другой, то с третьей. Скво, в чьем вигваме я теперь находилась и где мой хозяин прожил последние три недели, была уже старой. Вторая скво — Ветамо — та женщина, которой я прислуживала все это время. Это была строгая и гордая госпожа. Каждый день она тщательно наряжалась и проводила за этим занятием не меньше времени, чем благородная дама: пудрила волосы, накрашивала лицо, вдевала в уши серьги, украшала руки браслетами, а шею ожерельями. Нарядившись, она приступала к своему главному занятию — делала вампумы из раковин и бус. Третья скво была молодая; у нее от моего хозяина было двое маленьких детей.

К тому времени, как старая скво хорошо накормила меня, за мной пришла служанка моей хозяйки. Я заплакала. Тогда старая скво, чтобы успокоить меня, сказала, что я могу приходить к ней, если

проголодаюсь, и даже предложила спать в ее вигваме. Пришлось вместе со служанкой возвращаться к своей хозяйке. Но я скоро ушла от нее и устроилась на ночь в вигваме старой скво. Она дала мне подстилку и укрыла хорошим одеялом; первый раз мне оказывали такое внимание.

Наверное, Ветамо подумала, что, разрешив мне прислуживать старой скво, она потеряет служанку и лишится выкупа, который за меня заплатят. Мысль о выкупе снова придала мне силы и вернула надежду на то, что с Божьей помощью моим горестям придет конец.

Вскоре пришел индеец и попросил связать ему три пары чулок. Он дал мне за это шляпу и шелковый платок; потом одна женщина попросила сшить ей платье-рубашку и дала мне за работу фартук.

Второе письмо Совета, которое касалось пленных, привезли Том и Питер[202]. Хотя они были индейцами, я взяла их за руки и расплакалась. От волнения я не могла говорить, но, справившись с собой, стала расспрашивать о муже, друзьях и знакомых. «Все у них хорошо, — ответили оба. — Только грустные». Они принесли мне фунт табаку и немного галет. Табак разошелся очень быстро, и когда один из индейцев попросил у меня табаку, чтобы набить трубку, я сказала, что табака уже нет. Тогда он стал браниться и угрожать. Я пообещала дать ему табаку, когда за мной приедет мой муж. «Повесить негодяя! — закричал он. — Пусть только явится, я вышибу ему мозги! » И тут же сказал, что, если даже сотня англичан придет без оружия, их никто не тронет. Вообще они вели себя как ненормальные. Боясь худшего, я не решилась послать весточку мужу, хотя было предположение, что он появится, чтобы выкупить и забрать меня с собой. Трудно сказать, что из всего этого получится: нельзя

было особенно доверять ни им, ни тем, кому они служат.

Когда пришло письмо, сагаморы собрались на совет, чтобы решить вопрос о пленных. Они позвали и меня, так как хотели знать, какой выкуп заплатит мой муж. Войдя в вигвам, я по их обычаю села рядом с ними, но меня заставили встать, заявив, что представляют собой Высший Совет[203]. Потом меня спросили, какой выкуп, по моему мнению, заплатит за меня муж. Я была в большом затруднении: все наше имущество разорено индейцами, но, если я назову малую сумму, индейцы не проявят интереса, и это лишь вызовет задержку, если же назову большую сумму… Я не знала, где мы сможем достать деньги. Я сказала наугад: «Двадцать фунтов», но тут же высказала пожелание, чтобы взяли меньше. Они не стали меня слушать и послали сообщение в Бостон, что я буду освобождена за выкуп в двадцать фунтов. Письмо написал для них молящийся индеец.

Был там и другой молящийся. Он рассказал мне, что у него есть брат, который не ест конину — такой он жалостливый и мягкосердечный (хотя сущий дьявол, когда дело касается уничтожения бедных христиан). Этот индеец прочитал своему брату строки из Священного Писания, где говорится: «И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по восьмидесяти сиклей серебра и четвертая часть каба голубиного помета — по пяти сиклей серебра»[204]. Молящийся индеец растолковал своему брату, что во время голода дозволено есть все то, что не едят в обычное время, и теперь его брат ест конину, как и все индейцы.

Был и еще один молящийся индеец, который натворил много безобразного, а потом, чтобы спастись самому, выдал в руки англичан своего отца.

Какой-то молящийся индеец участвовал в нападении на Садбери[205], и в конце концов, как он того и заслуживал, его повесили. Был и такой молящийся индеец, жестокий и свирепый, который носил на шее шнурок с нанизанными на нем отрубленными пальцами христиан.

Когда индейцы напали на Садбери, один из молящихся индейцев отправился вместе с ними и взял с собой жену с ребенком, которого она привязала за своей спиной. Перед этим по-ходом индейцы собрались на nay-bay[206]. Все происходило следующим образом: один индеец стоял на коленях на оленьей шкуре; все остальные собрались кольцом вокруг него, ударяли по земле ладонями или палками и что-то бормотали. Рядом с тем, кто был на коленях, стоял индеец с ружьем в руках. Тот, кто стоял на коленях, произносил речь, и все выражали одобрение. Так повторялось много раз. Потом они приказали человеку с ружьем выйти из круга. Он так и сделал. Но как только он вышел, его позвали опять, а он как будто отказывался. Его начали убеждать, пока он опять не вернулся. Все сразу стали петь и дали ему еще ружье: по ружью в каждую руку. Тот, кто был на оленьей шкуре, опять произнес речь, и в конце каждой фразы все громко выражали одобрение. При этом они что-то бормотали и били руками по земле. Затем человеку с двумя ружьями опять приказали выйти из круга. Он вышел и остановился. Его позвали опять, на этот раз очень настойчиво, но он стоял, покачиваясь, будто не знал, что ему делать и куда идти. Его звали все настойчивее и требовательнее. Постояв какое-то время, он повернулся и, шатаясь, пошел, вытянув руки и держа в каждой руке по ружью. Как только он вошел в круг, все очень обрадовались и опять стали петь, а потом тот, кто был на оленьей шкуре, произнес речь, и снова все криками выразили

одобрение. Так закончилась эта церемония, после которой они отправились на битву в Садбери.

Я полагаю, индейцы нисколько не сомневались в том, что вернутся с великой победой. Они хвастали, что убили двух капитанов и около ста солдат. Одного англичанина привели с собой, и он подтвердил, что индейцы натворили достаточно бед в Садбери, так что все оказалось правдой. Но индейцы вернулись без своего обычного шумного торжества, которое всегда проявляли, а скорее (по их собственному выражению) как «собаки, потерявшие уши». Я не думаю, что причиной тому были их собственные потери. По их словам, они потеряли пять-шесть человек. Я не заметила, чтобы кого-нибудь среди них не хватало. Когда они отправлялись в поход, казалось, сам дьявол заверил их в победе, а теперь они вели себя так, будто он предсказывал им поражение. Так оно было на самом деле или нет, этого я не могу сказать, но вскоре дела их пошли хуже. Так продолжалось в течение всего лета и закончилось полным поражением.

Боевой отряд вернулся из Садбери в воскресенье, и тот индеец, который стоял на оленьей шкуре, был чернее самого дьявола (я нисколько не преувеличиваю). Мой хозяин, вернувшись, попросил меня сшить рубашку для его малыша из наволочки с голландскими кружевами. Приблизительно в это же время один индеец пригласил меня в свой вигвам и угостил свининой с земляными орехами. Когда я ела, другой индеец сказал, что, похоже, этот индеец мой добрый друг, но в Садбери он убил двух англичан, и за моей спиной лежит их одежда. Я оглянулась и увидела окровавленную одежду, пробитую пулями. Господь, однако, не допустил, чтобы этот негодяй причинил мне боль. Напротив, и он, и его скво много раз (пять или шесть) кормили меня, поддерживая мое бренное тело. Стоило мне в любое время зайти в их вигвам, и они

всегда давали мне что-нибудь поесть, хотя это были совершенно чужие мне люди.

Однажды какая-то скво дала мне кусок свежей свинины, немного соли и свою сковородку, чтобы поджарить мясо. До сих пор не могу забыть, каким восхитительным показалось мне это блюдо! Как мало мы ценим повседневные радости, когда они окружают нас постоянно.

Переход двадцатый[207]

Натворив бед и не желая, чтобы их обнаружили, индейцы, по своему обыкновению, переходили сразу на другое место. Так они поступили и на этот раз. Когда мы прошли около трех-четырех миль, индейцы остановились и стали сооружать огромный вигвам, который мог бы вместить не менее ста человек. Они готовились ко дню великой пляски. Между собой они говорили, что губернатор так разозлится из-за потерь в Садбери, что не пришлет больше вестей о пленных. Это меня взволновало и очень опечалило.

Недалеко от того места, где я теперь находилась, была и моя сестра. Узнав, что я здесь, она попросила, чтобы ее хозяин разрешил ей повидать меня. Он согласился и хотел пойти вместе с ней, но она быстро собралась и ушла раньше. Она уже прошла больше мили, когда хозяин нагнал ее, стал бранить как ненормальный и заставил вернуться под дождем назад, так что я не видела сестру до нашей встречи уже в Чарлзтауне. Однако Господь воздал им за многие из совершенных ими зол, и этого индейца (хозяина моей сестры) потом повесили в Бостоне.

Вскоре индейцы стали собираться со всех сторон в ожидании дня обрядовых плясок. Вместе с ними появилась и миссис Кеттл. Я пожаловалась, что у меня

очень тяжело на сердце. «И у меня тоже, — сказала миссис Кеттл и тут же добавила: — Надеюсь, скоро мы услышим добрые вести».

Я знала, как хотела меня видеть моя сестра, и мне самой очень хотелось повидаться с ней, но не представилось возможности. Моя дочь тоже находилась недалеко от меня, не дальше мили, и я не виделась с ней уже девять или десять недель, а свою сестру не видела с того дня, как нас взяли в плен. Я просила, чтобы мне разрешили повидать их обеих; да, я уговаривала, умоляла, но индейцы были так жестоки, что не дали мне этого сделать. Они использовали всю свою деспотическую силу, пока это было в их власти, но благодаря милости Божьей их время подходило к концу.

В воскресенье после полудня прибыл мистер Джон Хоур, который предпринял эту поездку по своей доброй воле и с разрешения Совета. С ним приехали Том и Питер, о которых я уже говорила раньше. Они доставили третье письмо от имени Совета[208]. Меня в это время не было, и я их не видела, но как только я пришла, индейцы позвали меня в вигвам, велели сесть и не двигаться. Потом они схватили свои ружья и выбежали так поспешно, словно поблизости были враги. Послышались выстрелы. Я решила, что случилась большая беда. Увидев мое беспокойство, индейцы поинтересовались, в чем дело. Я ответила, что, по-моему, они убили англичанина (мне уже сообщили о его приезде), но они сказали, что с англичанином ничего не случилось: стреляли поверх его лошади, под ней и перед ее мордой, заставляя кидаться из стороны в сторону, просто чтобы показать свою силу и ловкость. Потом они дали англичанину приблизиться к вигвамам. Я попросила, чтобы разрешили мне встретиться с ним, но они отказали, и я вынуждена была повиноваться. Когда индейцы поговорили с англичанином сколько им

хотелось, они разрешили мне пойти к нему. Мы стали расспрашивать друг друга обо всем, что нас интересовало, я спросила о своем муже и друзьях. Мистер Хоур сказал, что все здоровы и будут рады меня видеть. Среди вещей, присланных моим мужем, был фунт табаку, который я продала за 9 шиллингов, потому что многие индейцы, не имея табака, курили тсугу или будру плющевидную. Жестоко ошибаются те, кто может подумать, что я сама просила прислать табак. С Божьей помощью этот соблазн я преодолела.

Я спросила индейцев, можно ли мне вернуться домой вместе с мистером Хоуром. Они ответили: «Нет!» Мы легли спать, так и не дождавшись иного ответа. Наутро мистер Хоур пригласил сагаморов на обед, но, когда мы собрались приготовить угощение, оказалось, что индейцы украли из мешков мистера Хоура большую часть продуктов. Даже в этом одном случае видно проявление божественной силы Господа: нас окружало множество индейцев, жадных до хорошей еды, в то время как англичан было только двое — мистер Хоур и я. Индейцы легко могли проломить нам головы и взять все, что было в мешках: не только продукты, но и ткань, которая являлась частью двадцати фунтов, назначенных для выкупа. Вместо этого они сами, казалось, были смущены случившимся и сказали, что все это сделал какой-то плохой индеец. О, можно ли даже предположить, будто есть что-то невозможное для Господа! Он явил свое могущество, подобно тому, как явил его Даниилу, брошенному в ров с голодными львами[209].

Мистер Хоур немедля позвал индейцев на обед, но они ели очень мало, потому что были заняты подготовкой и переодеванием к обрядовым пляскам. Их должны были исполнять восемь человек: четверо мужчин и четыре женщины. Мой хозяин с хозяйкой

тоже участвовали в плясках. Хозяин надел льняную рубашку с великолепными кружевами, нашитыми внизу; на нем были белые чулки, серебряные пуговицы; его подвязки были унизаны шиллингами; на голове и плечах — низки вампума[210]. Наряд хозяйки был сшит из кёрзи[211] и украшен низками вампума до самой поясницы; руки от локтей до запястий унизаны браслетами, на шее несколько рядов бус, а в ушах разнообразные украшения. Тонкие красные чулки и белые туфли завершали наряд. Волосы ее были напудрены, а лицо покрыто красной краской. Так были одеты все, кто участвовал в плясках. Двое индейцев пели и стучали по котелку — это была их музыка. Танцоры все время подпрыгивали один за другим; посередине на угольях подогревался котелок с водой, чтобы они могли время от времени утолять жажду. Так продолжалось почти до самой ночи. Танцуя, они бросали вампум в стоявших вокруг зрителей. Когда совсем стемнело, я опять спросила, можно ли мне отправиться домой, и мне опять ответили: «Нет! » Я смогу уйти только в том случае, если за мной приедет муж.

Мы уже легли спать, когда мой хозяин вышел из вигвама и через некоторое время прислал индейца по имени Джеймс-Печатник[212], который сказал, что мой хозяин обещает разрешить мне завтра уйти домой, если мистер Хоур даст бутылку спиртного. Тогда мистер Хоур позвал своих индейцев, Тома и Питера, и попросил их вместе с Джеймсом-Печатником пойти к моему хозяину. Он хотел, чтобы тот повторил свое обещание перед этими тремя людьми. Если он это сделает, то получит виски. Мой хозяин обещал, и мистер Хоур передал для него бутылку спиртного. Тогда Филип[213], почуяв, что тут можно поживиться, подозвал меня и спросил, чем я заплачу ему за добрую весть и как

отблагодарю, если он замолвит за меня словечко. Я спросила, что он хочет. Филип быстро ответил: «Две куртки, двадцать шиллингов, полбушеля кукурузы и табак». Поблагодарив его за такую заботу обо мне, я сказала, что добрая весть известна не только хитрому лису, но и мне самой.

Мой хозяин неожиданно с шумом ворвался в вигвам и потребовал мистера Хоура, заявив, что хочет выпить за его здоровье. Он был уже изрядно пьян и вел себя очень странно: то пил за здоровье мистера Хоура, говоря, что тот хороший человек, то твердил, что его надо повесить. Потом он позвал меня. Я боялась услышать, что он скажет, но вынуждена была повиноваться. Он выпил и за мое здоровье, не проявив никакой грубости. Вообще это был первый индеец, которого я видела пьяным за все время моего пребывания среди них. Наконец его скво выскочила из вигвама, и он бросился за ней; они обежали вокруг жилища — монеты на одежде звенели и били его по коленям. Жена все-таки ускользнула от него; тогда он отправился к своей старой скво, так что, слава Богу, нас в ту ночь больше никто не беспокоил.

Я никак не могла уснуть, хотя, можно сказать, не спала три ночи подряд. Накануне того дня, когда пришло письмо от Совета, меня переполняли страх и беспокойство. Господь часто оставляет нас в неведении, когда освобождение уже близко. Да, в то время я не находила покоя ни днем, ни ночью. На следующую ночь меня охватила безмерная радость: мистер Хоур прибыл с такими добрыми вестями! На третью ночь я была совершенно поглощена мыслями о возможном возвращении домой и о том, что, уезжая, оставляю в этих диких краях своих детей. Всю ночь я не могла сомкнуть глаз.

Во вторник утром индейцы собрали свой, как они называют, Высший Совет, чтобы решить, могу ли я

вернуться домой. Все, как один, дали согласие, кроме Филипа, который не соизволил явиться.

Прежде чем продолжить свой рассказ, я хотела бы отметить несколько знаменательных случаев проявления Божественного Провидения, на которые я обратила особое внимание за время моих бедствий в плену.

1. Мне хотелось бы сказать о благоприятной возможности, упущенной англичанами во время длительного перехода вскоре после сражения за форт, когда наша армия была так многочисленна и, преследуя неприятеля, могла бы захватить и уничтожить многих врагов. Индейцы так нуждались в провизии, что наши люди легко могли бы обнаружить их по следам, оставленным в земле, когда они вынуждены были задерживаться, чтобы выкапывать земляные орехи. Я считаю, что наша армия, тоже нуждаясь в провианте, должна была прекратить преследование и вернуться, ибо уже на следующей неделе враги напали на наш город, подобно медведям, лишившимся своих детенышей, или стае голодных волков, раздиравших нас и наших детей, словно ягнят. Но что тут скажешь?! Как видно, Господь, явив Свою святую волю, предоставил Своему народу самому справляться с бедой. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?»[214] Они «… не болезнуют о бедствии Иосифа. За то ныне пойдут они в плен во главе пленных… »[215]. На то воля Господа, и для нас она священна.

2. Не могу не вспомнить, как индейцы высмеивали медлительность и нерасторопность английской армии. После разрушения Ланкастера и Медфилда я, уже пленницей, отправилась в путь вместе с индейцами, и они спрашивали меня, как я думаю, когда английская армия начнет их преследовать? Я ответила, что не

знаю. «Может, в мае! » — сказали они. Так индейцы издевались над нами, намекая на то, что англичанам потребуется несколько месяцев, чтобы подготовить наступление.

3. Я уже упоминала раньше о том, что английская армия, пополнив провиант, была послана преследовать врага. Индейцы, зная это, отступали, пока не подошли к Бакуог-Ривер. Они благополучно переправились через реку, тогда как для англичан это оказалось невозможным. Я не могу не восхищаться чудесным Провидением Господним, сохранившим язычников и обрекшим нашу бедную страну на дальнейшие бедствия. Множество индейцев смогло переправиться на другой берег, но англичане вынуждены были остановиться. И в этом была воля Господа.

4. Считалось, что лишить индейцев их урожая кукурузы — значит обречь на голодную смерть. Поэтому вся кукуруза, которую удавалось найти, уничтожалась, а сами индейцы изгонялись из тех мест, где у них были небольшие запасы. Индейцев вытесняли в глушь, в леса, но даже посреди зимы Господь чудом сохранил их для своих божественных предначертаний и ради уничтожения еще многих англичан! Господь удивительным образом оберегал их! За все время моей жизни среди индейцев я не видела ни одного мужчины, ни одной женщины или ребенка, которые умерли бы от голода. Хотя им не однажды приходилось есть то, к чему не притронулись бы ни свинья, ни пес, тем не менее этим Господь укрепил их, и они стали бичом для Его же народа.

Основную пищу индейцев составляют земляные орехи. Едят они и лесные орехи, желуди, клубни и коренья различных сорняков и других растений, названий которых я не знаю.

В случае нужды они разыскивают старые кости, разделяют их в суставах и, если там полно червей и

личинок, держат их над огнем, пока все паразиты не вылезут, потом варят и пьют этот отвар, а суставы дробят в ступе и едят. Едят они также конские уши и кишки; всяких диких птиц, каких только смогут поймать, а также медведей, оленей, черепах, лягушек, белок, собак, скунсов, гремучих змей и даже древесную кору, а кроме того, разумеется, все, что им удастся украсть у англичан. Я могу только восхищаться могуществом Господа, который обеспечивает существование такого множества наших врагов в этих диких краях, где они обречены на полуголодную жизнь. Не раз мне приходилось видеть, как утром они съедали все, что у них было, и все-таки, когда возникала необходимость, еда находилась. «О, если бы народ мой слушал Меня, и Израиль ходил Моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на притеснителей их!»[216] Однако порочным поведением и упрямством в своей неправоте мы погрешили против Бога и так Его разгневали, что Он, вместо того чтобы обратить Свою руку против врагов, оберегает и питает их, и они становятся бичом страны.

5. Я хотела бы отметить еще и другую необычность в Провидении Господнем: внезапный поворот событий, когда индейцы были на высоте положения, а англичане в самом низу. Я пробыла среди врагов одиннадцать недель и пять дней, и ни одной недели не прошло без того, чтобы ярость врага не выливалась в нападениях и разрушениях огнем и мечом того или другого места. Они оплакивают свои потери (покрыв лица черной краской) и в то же время торжествуют и радуются своей бесчеловечной, а порой прямо-таки дьявольской жестокости по отношению к англичанам. Они хвастают своими победами, заявляя, что за два дня уничтожили такого-то капитана с его отрядом в таком-то месте, другого капитана и его отряд — в другом месте, а

третьего капитана с его солдатами — в третьем месте; хвастают тем, что разрушили много городов, и тут же с издевкой замечают, что сделали доброе дело, так быстро отправив англичан на небеса. Они говорят, что летом проломят всем негодяям головы, прогонят их в море или заставят бежать из страны, полагая при этом, конечно, подобно Агату, что для них «горечь смерти миновала»[217]. Язычники вообразили, что все принадлежит им, а бедные христиане в это время совсем потеряли надежду и стали все чаще обращаться к Богу, глаза их направлены к небесам и слова искренни: «Помоги, Господи, а не то мы погибнем!» Когда по воле Господа люди дошли до такого состояния, что не видят нигде ни помощи, ни спасения, кроме как в Нем самом, тогда Господь берет решение спора в свои руки. И хотя индейцы воображают, что в то лето приготовили для англичан яму, глубокую, как преисподняя, Господь низверг в эту яму их самих. И не было у Господа столько путей, чтобы сохранить их, сколько у Него есть теперь, чтобы их уничтожить.

Но вернусь к рассказу о моем возвращении домой. В этом тоже проявилось чудесное вмешательство Провидения. Вначале все индейцы были против и говорили, что отпустят меня только в том случае, если за мной приедет муж. Но потом, когда все согласились отпустить меня, казалось, даже обрадовались; кто просил прислать ему муки, кто — табаку, кто пожимал мне руку, предлагая капюшон или шарф в дорогу. Никто не возражал и не пытался остановить. Так Господь ответил на мои мольбы и на мольбы тех, кто просил Его за меня.

Однажды во время моих странствий ко мне подошел индеец и предложил бежать вместе с ним и его женой. «Нет! — сказала я. — Бежать я не хочу. Я дождусь часа, назначенного Господом, когда спокойно, без страха

смогу вернуться домой». И вот теперь Господь исполнил мое желание. О, чудесное могущество Господа, которое мне довелось увидеть и испытать на себе! Что пришлось мне пережить... Я была среди ревущих львов и свирепых медведей, которые не боятся ни Бога, ни человека, ни дьявола; была среди них и днем и ночью; один на один, и в толпе, и даже когда все спали где придется, но никто из них ни разу не сказал и не сделал ничего такого, что оскорбило бы мое целомудрие. Кто-нибудь может подумать, что я ставлю это себе в заслугу. Но я говорю, как перед Господом и во славу Его. Могущество Господа так же велико теперь, как и в те времена, когда Он сохранил Даниила во рву со львами или спас жизнь трех мужей в печи огненной[218]. Я сказала бы словами псалма: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!»[219] Мне, кого Господь спас из рук врагов, следует вознести хвалу Ему и особенно за то, что ухожу я из этого скопища сотен врагов мирно и спокойно, и ни один пес не подаст голос.

Итак, я покинула их, но сердце мое обливалось кровью больше, чем в то время, когда я жила среди них и меня одолевал страх, смогу ли я когда-нибудь вернуться домой.

Солнце уже начало садиться, когда мистер Хоур, я и два индейца приблизились к Ланкастеру. Печальное это было зрелище. Здесь прожила я много благополучных лет среди родных и близких, но теперь не видно было ни одного христианина, ни одного уцелевшего дома. Мы направились к сохранившейся фермерской постройке и, хотя там не было ничего, кроме соломы, провели ночь благополучно. Господь хранил нас. Мы проснулись рано, отправились в путь и еще до полудня с Божьей помощью достигли Конкорда. Меня переполняли и радость и печаль. Радость от того, что я вижу так много христиан и среди них даже своих соседей. Я встретила

брата и зятя (мужа моей сестры). Он спросил меня, не знаю ли я, где его жена. Бедняга! Он и не знал, что сам помогал хоронить ее. Мою сестру застрелили у самого дома, но в огне пожара тело сильно обгорело и поэтому те, кто был в Бостоне во время нападения на наш город, а потом вернулся и участвовал в захоронении мертвых, не могли ее узнать.

Печаль же не покидала меня постоянно, особенно когда я думала о том, сколько людей надеялись и мечтали (как и мои дети!) об освобождении, и я не знала, увижу ли я их когда-нибудь.

Мы запаслись продуктами, необходимой одеждой и в тот же день отправились в Бостон, где я встретилась со своим дорогим мужем. Однако мысли о наших детях, одна из которых умерла, а двое других находились неизвестно где, омрачали нашу встречу.

Еще недавно я была окружена безжалостными и жестокими дикарями, а теперь меня окружали добросердечные и сострадательные христиане. Несмотря на мое нищенское положение, меня встретили очень сердечно, и я была принята во многих домах. Симпатию и доброжелательность выказывало мне столько людей (знакомых и тех, кого я совсем не знала), что назвать их невозможно. Но Господь знает их всех и воздаст стократ за их доброту. Двадцать фунтов — цена моего освобождения — были собраны несколькими джентльменами из Бостона и миссис Ашер, чью доброту и милосердие я не могу не упомянуть.

Мистер Томас Шепард из Чарлзтауна пригласил нас в свой дом, где мы прожили одиннадцать недель. Эта семья по-отечески заботилась о нас. Там мы встретили много добросердечных друзей. Нас окружали вниманием и любовью, но тяжесть часто давила сердце: мы не могли не думать о наших детях и родственниках, которые все еще оставались в плену. Спустя неделю

после моего возвращения губернатор и Совет опять послали своих людей к индейцам, и не безрезультатно: на этот раз привезли мою сестру и миссис Кеттл. То, что ни одна из них ничего не могла сказать о наших детях, было для нас тяжелым испытанием, но мы все-таки втайне надеялись снова их увидеть. Мысль об умершей дочери тяжестью лежала на моей душе, мне было больнее за нее, чем за тех, кто остался среди дикарей. Я вспоминала, как страдала девочка от ран, а я ничем не могла ей помочь, да и похоронена она среди язычников, в диком краю, далеко от христиан.

Мы не знали, что и думать; до нас доходили разные слухи: то говорили, будто они двигались в одном направлении, то в другом, то как будто прибыли в одно место, то в другое. Мы продолжали наводить справки, прислушиваться, расспрашивать, но ничего определенного не было.

Приблизительно в это время Совет объявил о всеобщем праздновании Дня благодарения. Хотя у меня оставалось немало причин для траура и у нас с мужем не было определенного плана, мы все-таки решили отправиться на восток и попытаться разузнать что-нибудь о наших детях. В пути (Господь мудро ставит все на свои места!) между Ипсуичем и Роули мы встретили мистера Уильяма Хаббарда, который сообщил, что наш сын Джозеф и сын моей сестры находятся сейчас у майора Уодрона. Я спросила у Хаббарда, откуда ему это известно. Он ответил, что ему сказал об этом сам майор.

Мы отправились дальше и достигли Ньюбери. Тамошний священник отсутствовал, и моего мужа попросили отслужить службу по случаю Дня благодарения. Муж не хотел оставаться на ночь в Ньюбери, так как намеревался сразу отправиться в Солсбери, чтобы еще что-нибудь разузнать о наших детях, но обещал вернуться утром и отслужить службу

в церкви. Он сделал как обещал, а когда служба кончилась, к нему подошел какой-то человек и сказал, что наша дочь находится в Провиденсе. Поистине, милости посыпались на нас с двух сторон! Теперь с Божьей помощью исполнились драгоценные слова Священного Писания, которые так утешали меня в тяжелые минуты. Когда сердце мое готово было погрузиться в бездну, колени подгибались от слабости и я брела в долине смерти, тогда Господь подсказал мне слова утешения, а теперь их исполнил: «Так говорит Господь: „Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской“»[220].

Теперь мы находились между сыном и дочерью: один был на востоке, другая на западе. Расстояние до сына было ближе, и мы направились прежде к нему, в Портсмут, где встретились и с сыном, и с майором. Майор сказал нам, что сделал все возможное, но не смог добиться выкупа меньше семи фунтов, которые охотно собрали жители. Да вознаградит Господь майора и всех незнакомых мне людей за их доброту! Сына моей сестры выкупили за четыре фунта. Совет распорядился выплатить эти деньги.

Теперь, когда сын был с нами, мы поспешили к дочери. Возвращаясь через Ньюбери, мой муж прочитал в церкви воскресную проповедь, за что его щедро отблагодарили.

В Чарлзтаун мы прибыли в понедельник и там узнали, что губернатор Род-Айленда послал за нашей дочерью, чтобы позаботиться о ней, так как теперь это было в его юрисдикции. Мы приняли эту весть с большой благодарностью, но так как наша дочь находилась ближе к Рихоботу, чем к Род-Айленду, то за ней отправился мистер Ньюмен и привез ее к себе

домой. В нашем бедственном положении милосердие Божье было поистине замечательно: со всех сторон призвал Он к нам на помощь друзей, хотя мы ничем не могли отблагодарить их за доброту.

Индейцы двигались в нашем направлении, поэтому ехать за дочерью было небезопасно. Однако случилось так, что опасную территорию она проехала с обозом, который доставлял провиант английской армии и хорошо охранялся, так что наша дочь благополучно прибыла в Дорчестер, и там мы ее встретили. Да будет благословен Господь, ибо могущество Его велико и Он творит то, что есть благо!

Возвращение нашей дочери из плена произошло следующим образом. Однажды она с корзиной за спиной совершала вместе с индейцами очередной переход. Индейцы шли впереди и скоро исчезли из виду — все, кроме одной скво. Она шла за этой скво до темноты, а потом обе улеглись под открытым небом прямо на голой земле. Так они шли три дня. Дочь не знала, куда идет, и не было у них ничего, кроме воды и незрелых лесных ягод. Наконец они пришли в Провиденс, где ее тепло приняли во многих домах. Индейцы часто говорили мне, что не отпустят мою дочь меньше чем за двадцать фунтов. Но вот Господь вернул ее без всякого выкупа и вручил мне второй раз. Это было благословением Божьим! Теперь исполнились и другие слова Священного Писания: «Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь, Бог твой, и оттуда возьмет тебя… Тогда Господь, Бог твой, все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя»[221].

Так Господь вывел меня и моих родных из ужасной преисподней и снова поселил среди добрых и отзывчивых христиан. Я искренне хочу, чтобы мы

оказались достойными тех благодеяний, которые нам оказали и продолжают оказывать.

Теперь, когда вся наша семья (те, кто остался в живых) собралась вместе, бостонская Южная церковь сняла для нас дом. Мы покинули семью Шепардов, которые стали нашими сердечными друзьями, и отправились в Бостон, где прожили девять месяцев. Господь не покидал нас своею милостью. Мне казалось странным поселиться в доме, где нет ничего, кроме голых стен, но, как сказал Соломон: «За все отвечает серебро»[222]. С помощью наших друзей-христиан в Бостоне, других городах и даже в Англии наш дом за короткое время был меблирован. Господь был так милостив к нам в беде нашей, что, не имея ни дома, ни крыши над головой, ни самого необходимого, мы ни в чем не нуждались, ибо Господь склонил к нам сердца многих людей. Как сказано: «И бывает друг, более привязанный, нежели брат»[223]. Сколько же таких друзей мы обрели и живем теперь среди них! Такого друга нашли мы в лице мистера Джеймса Уайткома, в доме которого жили. Истинного друга и в большом, и в малом.

Я вспоминаю то время, когда спокойно спала всю ночь и мысли не мучили меня. Теперь все по-другому. Когда все вокруг спят и бодрствует лишь неусыпное око Господа, меня начинают осаждать мысли о прошлом: о великом Провидении Божьем, Его чудесной силе и могуществе, которые помогли нам пройти через все испытания и благополучно вернуться из плена. Мне вспоминается, как совсем недавно меня окружали тысячи врагов и смерть стояла рядом. Трудно было тогда поверить, что когда-нибудь исчезнет страх перед голодом и я вволю поем хлеба. Теперь у нас есть и хлеб из отборной пшеницы, и «мед из скалы»[224] , и «откормленный теленок»[225] вместо отбросов. Мысли об

этом и о милосердии Господа, которое Он проявил к нам, вызывают в памяти слова Давида, сказанные им о себе самом: «Слезами моими омочаю постель мою»[226]. О дивное могущество Господа, которое видели глаза мои! Этого достаточно, чтобы задуматься и проливать слезы, когда все вокруг спокойно спят.

Я познала тщету и суетность этого мира: сегодня я здорова, богата, ни в чем не нуждаюсь, а завтра — больна, изранена, под угрозой смерти, и нет у меня ничего, кроме печали и горя.

До того как я узнала, что такое беда, я готова была пожелать ее. Когда все было благополучно, меня окружали родные, я была беззаботна и весела, я не могла не видеть, что многие люди, которых я ставила выше себя, подвергались бедам и страданиям — болезням и слабости, тяжким испытаниям и потерям. И меня порой одолевала зависть: я считала, что полноценная жизнь минует меня, и мне приходили на ум слова Священного Писания: «Ибо Господь кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого приемлет»[227]. Теперь я вижу, что Господь назначил Свой час, чтобы испытать и наказать меня. Участь одних — получать свою долю бед и несчастий по капле: сначала одну, потом, через время — другую, но судьба, уготованная мне, была иной. Я до дна испила свою чашу бед, обрушившихся на меня подобно ливню, который уносит все живое. Я хотела страданий, и я их получила полной мерой (как я полагала), даже через край. И все-таки я вижу, что, обрекая человека на страдания, какими бы тяжкими они ни оказались, Господь всегда может благополучно провести его через все беды и дает почувствовать, что человек в результате этого выиграл. Надеюсь, в какой-то мере и я могу сказать словами Давида: «Благо мне, что я пострадал»[228]. Господь показал мне суетность и тщетность внешнего

мира; дал понять, что это суета сует и смятение духа, что все это преходящее — всего лишь тень, порыв ветра, мыльный пузырь. Мы должны полагаться только на Господа, и полагаться во всем. Если я начинаю беспокоиться по пустякам, мне легко сдержаться — стоит лишь задать себе вопрос: «Из-за чего я тревожусь? » Совсем недавно, если бы мне принадлежал весь мир, я отдала бы его за свое спасение или хотя бы за то, чтобы прислуживать христианину. Я научилась смотреть выше сиюминутных, малых бед и успокаивать себя словами Моисея: «… Стойте и увидите спасение Господне… »[229]

Вашингтон Ирвинг. ФИЛИП ИЗ ПОКАНОКЕТА

Индейские мемуары[230]

Из бронзы монумент: недвижен взгляд,
Дух — жалости хозяин, но не раб;
Взращенный колыбелью чащ до гроба,
Чтоб крайности добра и зла сравнять,
Застыл, страшась лишь одного — позора,
Лесной муж-стоик, не для слез и вздора.

Кэмпбелл[231]

Достойно сожаления, что мемуаристы, писавшие об открытии и заселении Америки, не оставили нам более детальных и искренних рассказов о замечательных характерах, взращенных жизнью среди дикой природы. Скудные анекдоты, дошедшие до нас, интересны и изобилуют подробностями; они представляют приближенные наброски человеческой натуры и показывают, чем являлся человек на весьма примитивной стадии своего развития и чем он обязан цивилизации. В процессе высвечивания этих диких и неисследованных черт человеческой природы рождается очарование, близкое к открытию; воистину, становишься свидетелем развития у туземцев нравственного чувства, обнаруживая в естественной стойкости и грубом великолепии щедрый расцвет тех романтических качеств, которые цивилизация развивала искусственным путем.

В жизни цивилизованного общества, где счастье и само существование человека столь сильно зависят от мнения ближнего, он постоянно находится под наблюдением. Здесь дерзновенные и индивидуализированные черты аборигенного характера шлифуются или смягчаются нивелирующим влиянием того, что именуют воспитанием; он практикует такое множество мелких обманов, затрачивает так много щедрых чувств ради достижения популярности, что истинное становится трудно отличить от искусственного. Индеец свободен от ограничений и условностей светской жизни и, будучи в значительной мере одинокой и независимой личностью, следует порывам своего нрава или велениям собственного выбора; таким образом, черты его натуры, взращиваясь свободно, предстают во весь свой рост и во всей своей разительности. Общество подобно газону, на котором сглаживается всяческая неровность, искореняется любой сорняк и где глаз упивается улыбчивой зеленью бархатистой поверхности; однако тот, кто посвятит себя изучению природы в ее первозданности и разнообразии, обязан углубиться в чащу, сойти в долину, противоборствовать течению и бросить вызов пропасти.

Соображения подобного рода возникли при случайном знакомстве с томом истории, посвященным первым колониям[232], в котором с немалым гневом описываются возмущения индейцев и их войны с поселенцами Новой Англии. И мучительно на основании этих предвзятых сочинений отдавать себе отчет в том, что наступление цивилизации пятнается кровью аборигенов; что колонисты легко склоняются к вражде из-за алчности, а их военные действия жестоки и разрушительны. Воображение бледнеет при мысли о том, как много выдающихся личностей исчезло с лица

Земли, сколь много храбрых и благородных сердец, отчеканенных из чистейшего природного серебра, было повержено и растоптано в прах!

Такова была и судьба Филипа из Поканокета, индейского воина, чье имя некогда наводило ужас на весь Массачусетс и Коннектикут. Он был самым выдающимся из числа современных ему сахемов, царивших над пикодами, наррагансетами, вампаноа и другими восточными племенами в пору раннего заселения Новой Англии, — из отряда необразованных туземных героев, поднявшихся на самую жестокую борьбу, какую только знала человеческая природа, и сражавшихся до последнего вздоха за свою землю, без надежды на победу или признание. Достойные эпической эпохи и чести стать героями ярких сюжетов для местных легенд и романтического вымысла, они едва оставили после себя сколько-нибудь заметный след на страницах истории, если не считать исполинских теней, встающих в неясных сумерках предания[233].

Когда пилигримы, как назвали плимутских поселенцев их потомки, впервые нашли пристанище на берегах Нового Света, спасаясь от религиозных преследований Старого, их положение оказалось до крайности жалким и унылым. Немногочисленные количественно, несущие утраты в результате болезней и лишений, окруженные вопиющей дикостью и враждебными племенами, подвергаясь воздействию суровой, почти арктической зимы и превратностям переменчивого климата, они заполонили свой разум мрачными пророчествами. Ничто не способно было удержать их от отчаяния, кроме сильного порыва религиозности.

В этом заброшенном состоянии к ним пришел Массасойт, верховный сагамор вампаноа,

могущественный вождь, правивший обширной территорией. Вместо того чтобы воспользоваться малочисленностью незнакомцев и изгнать их из своих владений, в которые они вторглись, он с самого начала проникся к ним искренней дружбой, раскрыв объятия радушного гостеприимства. Ранней весной он явился в их поселение в Новом Плимуте всего лишь с горсткой спутников, заключил с ними торжественный союз о дружбе; продал им часть земли и пообещал им обеспечить дружественное расположение своих диких союзников. Что бы ни говорили об индейском вероломстве, можно сказать с уверенностью, что честность и миролюбие Массасойта никогда не подвергались сомнению. Он всегда оставался верным и благородным другом белых людей, позволяя им расширять свои владения и укрепляться на близлежащих землях, не выказывая ревности к их нарастающей мощи и процветанию. Незадолго до своей смерти он вновь явился в НьюПлимут с сыном Александером с целью обновления соглашений и сохранения мира для потомства.

На этой встрече он попытался защитить веру своих предков от возрастающего давления миссионеров и заметил, что следует прекратить всякие попытки отвлечь его народ от древней веры; однако, обнаружив упорное сопротивление со стороны англичан, скромно отказался от своего требования.

Практически последним шагом в его жизни было намерение привести обоих своих сыновей, Александера и Филипа (как их назвали англичане), в дом главы поселения, дабы те же любовь и дружба, что существовали между белыми людьми и им самим, перешли и на его детей.

Добрый старый сахем отошел в мире и счастливо воссоединился со своими отцами до того, как несчастье

пришло в его племя; дети же остались жить, дабы испытать на себе неблагодарность белого человека.

Старший сын, Александер, наследовал ему. Он обладал порывистым и вспыльчивым нравом и гордился своими наследственными правами и привилегиями. Экспансионистская политика и диктат пришельцев возмутили его; с волнением следил он за опустошительными войнами чужаков против соседних племен. Вскоре и ему самому было суждено испытать их враждебность, ибо его объявили соучастником заговора, преследовавшего цель совместно с наррагансетами восстать и сбросить англичан в море. Невозможно утверждать, насколько это обвинение согласуется с фактами и насколько основано на чистом вымысле. Однако из жестоких и самонадеянных действий колонистов ясно, что к этому времени они ощутили подъем собственной мощи и сделались еще более требовательными и безответственными в своих отношениях с аборигенами. Были направлены вооруженные отряды, дабы принудить Александера предстать перед судом. Его выследили в лесном жилище, захватив врасплох в хижине, где он отдыхал после охотничьих трудов безоружный, с группой своих спутников. Внезапность ареста и оскорбление, нанесенное его дикарскому достоинству, столь сильно повлияли на необузданные чувства этого гордого туземца, что его охватил приступ ярости. Ему разрешили вернуться домой, но при условии, что он оставит сына в залог собственного слова; этот удар, нанесенный ему, оказался роковым, и еще в дороге он пал жертвой мук уязвленного духа.

Наследником Александера стал Метамосет, или Король Филип, как именовали его поселенцы, из-за его благородного духа и дерзновенного темперамента. Эти качества, вкупе с широко известной энергичностью и предприимчивостью, сделали его предметом великой

зависти; его обвинили в давнишнем заговоре и неукротимой враждебности к белым. Быть может (что вполне естественно), так это и было на самом деле. С самого начала он видел в белых людях чужаков, вторгшихся в пределы его страны, воспользовавшихся гостеприимством хозяев и постоянно расширявших свое пагубное для жизни дикарей влияние. Он видел, как число его соплеменников тает под их натиском, исчезая с лица Земли; как земли просачиваются меж пальцами, а племена слабеют, рассеиваясь и попадая в зависимость. Скажут, будто земля эта изначально была куплена поселенцами у аборигенов; но кто же не знает обстоятельств «покупки» индейских земель, сделанных в период колонизации? Европейцы всегда заключали выгодные сделки благодаря особой изворотливости в договорах; они присваивали обширные территории, легко провоцируя военные конфликты. Неискушенный туземец не мог быть глубоко сведущим в тонкостях закона, согласно которому можно легально и ощутимо нанести ущерб. Свои суждения он выносил на основе фактов; и Филипу достаточно было знать, что до вторжения европейцев его соплеменники были хозяевами своих земель, тогда как теперь они стали бродягами на землях своих отцов.

Но каковы бы ни были чувства, породившие эту враждебность и особый гнев, вызванный судьбой брата, Филип временно подавил их, возобновив контакт с поселенцами, и на много лет мирно зажил в Поканокете, или, как именовали его англичане, Маунт-Хоупе[234], древней столице владений своего племени. Однако подозрения, вначале расплывчатые и неопределенные, постепенно стали обретать почву и форму; и в конце концов его обвинили в намерении подготовить одновременное выступление восточных племен, дабы путем общих усилий сбросить ярмо

угнетателей. Говоря о столь давней эпохе, трудно установить истинность этих ранних обвинений против индейцев. Подозрительность и поспешность в насилии всегда отличали белых, которые придавали вес и важность любой досужей истории. Если речь шла о вознаграждении, информаторов возникало в избытке; меч обнажался лишь тогда, когда сулил верную удачу, а взмахи его вдохновлялись идеей имперского господства.

Единственным достоверным свидетельством против Филипа служит обвинение некоего Сосамана, индейца-ренегата, чья природная хитрость возросла благодаря начаткам образования, полученного в среде поселенцев. Дважды или трижды изменял он свою веру и подданство с легкостью, выдававшей его беспринципность. Какое-то время он выполнял обязанности доверенного лица и советника Филипа, пользуясь его благами и защитой. Обнаружив, однако, что тучи сгущаются вокруг его покровителя, он оставил свою службу, перешел к белым и, дабы снискать их расположение, обвинил былого благодетеля в заговоре, угрожавшем их безопасности. Состоялось тщательное расследование. Филип и несколько его подчиненных согласились подвергнуться допросу, и ничего предосудительного против них не было обнаружено.

Колонисты, однако, зашли слишком далеко, чтобы отступать; они уже хорошо уяснили, что Филип является опасным соседом; во всеуслышание они высказали свое недоверие к нему и сделали немало для того, чтобы возбудить с его стороны враждебность; таким образом, согласно простой логике, принятой в таких случаях, его уничтожение стало необходимым шагом для обеспечения их благополучия. Сосаман, предатель-доносчик, вскоре был найден мертвым в пруду, пав жертвой мести со стороны соплеменников. Трое индейцев, в том числе друг и советник Филипа,

были схвачены и судимы и на основе показаний одного весьма сомнительного свидетеля осуждены на казнь как убийцы.

Подобное обращение с его подданными и позорное наказание друга уязвили гордость и вызвали раздражение Филипа.

Молния, ударившая у самых его ног, известила его о надвигающейся буре, и он принял решение не доверять более власти белого человека. Судьба оскорбленного и павшего духом брата все еще отдавалась в его сердце; очередным предупреждением для него стала трагическая история Миантонимо, великого сахема наррагансетов, который, после мужественного противостояния обвинителям на суде колонистов, отведя от себя обвинения в заговоре и получив уверения в дружбе, был коварно умерщвлен при пособничестве тех же колонистов. В результате всего этого Филип, собрав вокруг себя воинов, убедил всех, кого мог, присоединиться к себе, отослав женщин и детей в целях безопасности к наррагансетам, и повсюду, где бы ни появлялся, представая в окружении вооруженных воинов.

Когда оба лагеря отличают взаимное недоверие и раздражение, одной искры достаточно, чтобы высечь огонь.

Индейцы, имея в руках оружие, сделались дерзкими и совершили несколько мелких проступков. Во время одного из их набегов некий воин был застрелен поселенцем. Это послужило сигналом для начала открытой вражды; индейцы стремились отомстить за гибель товарища, и угроза войны нависла над всей плимутской колонией.

В ранних хрониках тех темных и мрачных времен мы встречаем множество свидетельств больного воображения, владевшего общественным сознанием. Мрачный дух религиозной умозрительности,

враждебность окружения — посреди девственных лесов диких племен — предрасположили колонистов к сверхъестественным фантазиям, наполнив их воображение пугающими химерами ведьмовства и демонологии. Они оказались весьма подвержены и вере в предзнаменования. Конфликту с Филипом и индейцами предшествовал, говорят нам, ряд тех ужасных предзнаменований, что сопутствуют великим общественным потрясениям. Ясные очертания индейского лука возникли в воздухе над Нью-Плимутом, что было воспринято его обитателями как «чудовищный призрак». В Хэдли, Нортэмптоне и других близлежащих городах слышался гром пушечных залпов, сопровождавшийся сотрясением земли и гулким эхом[235]. Других колонистов солнечным утром напугали звуки выстрелов из ружей и пушек; им показалось, будто мимо свищут пули и звук барабанов отдается в воздухе, словно бы удаляясь на запад; иным мерещилось, будто они слышат скок коней над головой; а рождение младенцев с отклонениями от нормы, отмеченное в это время, наполнило верящих в предрассудки недобрыми предчувствиями. Многие из этих зловещих видений и звуков можно отнести за счет природных феноменов: северного сияния, которое случается в тех широтах; метеоров, рассыпающихся в воздухе; простого порыва ветра в верхушках лесных деревьев; шума падающих стволов или обрушенных скал; и других причудливых звуков и эха, порой столь сильно поражающих слух в полной тишине лесных чащ. Все это могло породить ряд болезненных вымыслов, могло быть преувеличено из-за пристрастия к чудесам и восприниматься с живостью, с которой мы поглощаем все пугающее и таинственное. Повсеместное распространение этих сверхъестественных фантазий и

мрачная хроника, составленная на их основе ученым мужем того времени, хорошо характеризуют эпоху.

Характер последовавшего столкновения напоминал военные действия между представителями цивилизации и дикарями. Белые вели их с большей сноровкой и успехом, хотя и с людскими потерями, игнорируя естественные права своих противников; со стороны индейцев они велись с отчаянием мужей, презревших смерть, которым нечего ждать от примирения, кроме унижений, зависимости и угасания.

События войны передает нам достойный служитель Церкви тех времен; с ужасом и возмущением как враждебный описывает он каждый шаг индейцев, даже тогда, когда те поступали справедливо, однако с восхищением упоминает о самых кровавых жестокостях белых. Филипа осуждают как убийцу и предателя, не принимая во внимание, что это был принц по рождению, доблестно сражавшийся во главе своих подданных, дабы отомстить за несправедливость по отношению к семье, укрепить пошатнувшуюся власть своего рода и избавить край от гнета алчных захватчиков.

План обширного и одновременного восстания, если таковой и в самом деле существовал, свидетельствовал о глубоком уме его создателей и, не будь он раскрыт заранее, мог бы сыграть решающую роль в будущем. Война же, разразившаяся на самом деле, была всего лишь войной стычек, простой вереницей заурядных выступлений и разрозненных вылазок. И все же она обнаруживает военный гений и дерзкую доблесть Филипа, и всюду, где сквозь предвзятость и ярость описаний, оставленных о ней, обнаруживается фактическая сторона дела, мы сталкиваемся с энергией ума, широтой мышления, презрением к страданию и тяготам и непреклонной решимостью, вызывающей нашу симпатию и восхищение.

Изгнанный из своих родовых владений в Маунт-Хоупе, Филип устремился в глушь обширных лесов, что окружали поселения, и практически непроходимых ни для кого, кроме дикого зверя да индейца.

Здесь он собрал свои силы, подобно тому как буря накапливает запас коварства в утробе грозовой тучи, чтобы внезапно, производя хаос и смятение в деревнях, разразиться в том месте и в то время, когда ее менее всего ожидают. Время от времени предзнаменования грядущих возмущений порождали в сознании колонистов ужас и опасение. То раздастся звук ружейного выстрела в глубине диких чащ, где, как известно, неоткуда взяться белому человеку; то бродящий по лесу скот вдруг вернется домой израненным; то один-другой индеец мелькнут на краю леса, чтобы тут же исчезнуть, подобно тому как молния, бывает, молча играет по краю тучи, накапливающей в себе бурю... Преследуемый, а порой даже окруженный поселенцами, Филип, однако, всегда волшебным образом ускользал, сводя на нет все их усилия, и, бросаясь в чащу, исчезал, чтобы вновь появиться в каком-либо дальнем краю, опустошая всю округу. В числе его излюбленных прибежищ были обширные трясины и топи, часто встречающиеся в некоторых местах Новой Англии, полные черной грязи, усеянные кустарником, валежником, зловонными сорняками, накренившимися и гнилыми стволами мертвых деревьев, затененные мрачным болиголовом. Зыбкость и непролазность этих косматых чащ делали их непроходимыми для белого человека, тогда как индеец мог ступать по этим лабиринтам с проворством оленя. В одно из таких мест, огромную топь перешейка Покассет, Филип с горсткой своих соратников и был загнан. Англичане не осмелились преследовать его, ибо это означало вступить в темные и устрашающие бездны, где они могли сгинуть в топях и болотистых

ямах либо пасть от руки внезапно возникающего противника. Поэтому они перекрыли выход с перешейка и принялись возводить укрепление, намереваясь выжить врага голодом; но Филип и его воины под покровом ночи переправились на плоту через морской залив, оставив позади себя только женщин и детей; они ускользнули на запад, разжигая пламя войны среди племен Массачусетса и в краях нимпуков[236], угрожая колонии Коннектикута. Тут-то Филип и сделался предметом всеобщего внимания. Таинственность, которой он был окружен, усугубляла реальную угрозу. Он был злом, скрытым во мраке, чьего появления никто не мог предугадать и против которого никто не мог оборониться. Всю страну наводнили слухи и тревоги. Филип, казалось, был вездесущ; ибо где бы, по всему обширному пограничью, ни происходил набег из чащи, его приписывали Филипу. С ним связывали немало сверхъестественного. Говорили, будто он занимался черной магией, будто его посещает старая индейская ведьма-предсказательница, с которой он советуется и которая помогает ему своими чарами и заклинаниями. В самом деле, такое нередко встречалось у индейских вождей либо из-за их собственной доверчивости, либо из-за доверчивости их соратников; и влияние пророка и предсказателя на индейское сознание полностью подтвердилось в ходе недавних войн с дикарями[237].

Ко времени, когда Филип осуществил свой побег с Покассета, его положение стало отчаянным. Силы его в постоянных схватках поредели, и истощились почти все ресурсы. В ту пору превратностей судьбы он обрел верного друга в лице Конанчета, верховного вождя всех наррагансетов. Тот был сыном и наследником Миантонимо, великого сахема, который, как уже говорилось, достойно отведя от себя обвинения в заговоре, был тайно казнен по наущению поселенцев.

«Он унаследовал, — говорит древний хронист, — всю отцовскую гордость и надменность, так же как и его злобу к англичанам»; однако он конечно же унаследовал и нанесенные отцу оскорбления и обиды и стал законным мстителем за его убийство. И хотя Конанчет воздерживался от активной роли в этой безнадежной войне, он принял Филипа с его расстроенными силами в распростертые объятия, оказав ему самый радушный прием и поддержку. Тотчас же это навлекло на него враждебность англичан, и было решено нанести удар, способный привести к гибели обоих сахемов. В связи с этим значительные силы были собраны в Массачусетсе, Плимуте и Коннектикуте и посланы в край наррагансетов в середине зимы, когда болота, замерзшие и голые, можно довольно легко преодолеть и когда те не смогут послужить для индейцев укрытием, а для врага — неодолимой преградой.

Отвечая на нападение, Конанчет отвел большую часть своих сил вместе со стариками, немощными, женщинами и детьми в хорошо защищенную крепость; туда он вместе с Филипом созвал свои отборные силы. Эта крепость, представлявшаяся индейцам неприступной, была расположена на возвышенном холме либо на чем-то вроде острова, размером в шесть-семь акров, посреди болот; она была воздвигнута с искусством и разумением, превышающим обычные в индейских укреплениях, и свидетельствовала о военном гении этих двух вождей.

Следуя за индейцем-отступником, англичане пробились сквозь декабрьские снега к этой твердыне и обрушились на гарнизон внезапно. Схватка была жестокой и бурной. Первый натиск нападающих был отброшен, и несколько храбрейших офицеров при штурме крепости пали с оружием в руках. Нападение возобновилось с большим успехом. Были возведены

ложементы[238], и индейцев стали оттеснять с одного рубежа на другой. Сражаясь с яростью отчаяния, они отстаивали свою территорию дюйм за дюймом. Большая часть их ветеранов была разнесена в куски, и после длительной и кровавой битвы[239] Филип и Конанчет с горсткой уцелевших воинов, отступив от форта, нашли убежище в зарослях окружающих лесов.

Победители подожгли вигвамы и форт; вскоре все заполыхало в огне; многие старики, женщины и дети погибли в пламени. Это последнее злодеяние сломило даже стоицизм дикарей. Соседние леса отозвались воплями ярости и отчаяния воинов, спасшихся бегством, наблюдавших уничтожение своих жилищ и слышавших предсмертные крики своих жен и младенцев. «Сожжение вигвамов, — сообщает писатель-современник, — вопли и крики женщин и детей и вопли воинов представляли самую ужасную и впечатляющую сцену, тронувшую некоторых солдат». Тот же автор осторожно добавляет: «Они впали в глубокое сомнение — тогда, как и впоследствии, — настойчиво вопрошая, согласуется ли сожжение врагов заживо с человеколюбием и великодушием евангельского духа?»[240]

Судьба храброго и великодушного Конанчета заслуживает особого упоминания: последняя страница его жизни являет один из благороднейших предметов индейского величия.

Лишившись военных сил и запасов в этом единственном поражении, но верный своему союзнику, как и злосчастному делу, с которым себя связал, он отверг все предложения о мире взамен на выдачу Филипа и его сторонников и объявил, что «лучше станет сражаться до последнего человека, нежели сделается прислужником англичан». Когда дом его был разрушен, край опустошен и подвергнут разорению вторгшимися

завоевателями, он вынужден был уйти к берегам Коннектикута; там он назначил место встречи для всех индейских племен Востока и разорил несколько английских поселений.

Ранней весной он отправился в опасную экспедицию всего лишь с тридцатью отборными воинами, чтобы проникнуть в Сиконк, поблизости от Маунт-Хоупа, с целью раздобыть кукурузных семян для посева, на поддержание своего войска. Этот маленький дерзкий отряд незамеченным миновал земли пикодов и находился в центре земель наррагансетов, отдыхая в вигвамах близ реки Потакет, как вдруг был подан сигнал о приближении врага. Имея под рукой всего семерых мужчин, Конанчет направил двоих на вершину соседнего холма, чтобы разведать, куда продвигается неприятель.

Охваченные паникой при появлении отряда англичан и индейцев, приближавшихся в быстром темпе, они промчались мимо своего вождя, не уведомив его об опасности. Тогда он отправил еще одного лазутчика, и с тем же результатом. Он отправил еще двоих, один из которых, поспешая назад в смятении и ужасе, сообщил ему, будто вся английская армия гонится за ним по пятам. Вождь попытался спастись, огибая холм, но был обнаружен, и в погоню за ним бросились наиболее проворные враждебные индейцы и быстрейшие из англичан. Заметив, что ближайший преследователь нагоняет, он сбросил сначала свое одеяло, затем подбитый серебром камзол и пояс из вампума, по которому враги узнали Конанчета и удвоили свое рвение.

В конце концов, войдя в реку, он поскользнулся на камне и упал, погрузившись в воду так глубоко, что замочил полку своего ружья. Это происшествие повергло его в такое отчаяние, что, как он позже

признался, «сердце и нутро будто перевернулись, и, обессилев, он уподобился гнилой ветке».

Он оказался до того потрясен, что, будучи схвачен у реки индейцем пикодом, не оказал никакого сопротивления, хотя это был человек сильный телом и духом. Но, превратившись в пленника, он вернул себе гордость духа; с этого момента мы обнаруживаем, в пересказах, оставленных его врагами, исключительно свидетельства возвышенного и благородного героизма. Будучи спрошен о чем-то ближайшим из англичан, не достигшим и двадцати двух лет, гордый воин, глядя с величественным презрением в лицо юноши, ответил: «Ты всего лишь ребенок, и тебе не понять военных дел; пусть придет твой брат либо вождь — ему я отвечу».

Хотя ему неоднократно делались предложения сохранить жизнь в обмен на сдачу вместе со всем племенем в руки англичан, он отвергал их с презрением и не передал ни одного предложения такого рода обширному кругу своих подданных, пояснив, что знает: никто не согласится на это. На упреки в том, что он подорвал доверие белых людей, что хвастал, будто не предаст никого из вампаноа, ни даже ногтя вампаноа, что угрожал, будто станет жечь англичан живьем в собственных домах, он не удосужился оправдываться, ответствуя с едкостью, что столь же резко за войну выступают и другие и что «он не желает больше ничего подобного слышать».

Столь благородный и стойкий дух, столь глубокая преданность своему делу и дружбе способны были бы тронуть чувства великодушного и храброго человека; но Конанчет был индейцем — существом, в войне с которым благородства не требовалось, человечность перестала быть законом, религия не знала сострадания, и потому он был осужден на смерть. Последние слова его, дошедшие до нас, достойны этой великой души. Когда смертный приговор ему был оглашен, он заметил,

что «доволен этим, ибо хотел бы умереть, прежде чем его сердце смягчится или он выскажет нечто, недостойное себя». Враги предали его смерти солдата, ибо он был расстрелян в Стонингэме тремя молодыми сахемами его собственного ранга.

Поражение у наррагансетской крепости и смерть Конанчета сыграли роковую роль в военной судьбе Короля Филипа. Он предпринял было попытку расширить очаг войны, подняв могауков на вооруженные действия, но природный талант государственного деятеля, его искусство столкнулись с превосходящим искусством его просвещенных врагов, и ужас перед их воинской сноровкой поколебал решимость соседних племен. Одни из них были подкуплены белыми; другие пали жертвой изнуряющего голода и частых атак, предпринятых на их владения. Все кладовые Филипа были захвачены; преданные друзья были сметены у него на глазах; дядя его пал от пули, сражаясь бок о бок с ним; сестру увели в плен; а во время одного из своих поразительных избавлений ему пришлось оставить любимую жену и единственного сына на милость врага. «Его крах, — говорит историк, — назревая столь неуклонно, не только не уменьшал, но лишь множил его несчастья, заставив пережить и осознать плен своих детей, потерю друзей, истребление подданных, оплакивание всех семейных связей, прежде чем он лишился собственной жизни».

В довершение перечня всех несчастий собственные сторонники начали злоумышлять против него, дабы, пожертвовав им, купить бесчестную свободу. В результате предательства ряд его преданных сторонников, подданных Ветамо, индейской принцессы Покассета[241], ближайшей родственницы и союзницы Филипа, были коварно преданы в руки врага. В ту пору

Ветамо была среди них и попыталась спастись, переплыв ближайшую реку; либо от переутомления, либо ослабев от голода и холода, она погибла и была найдена мертвой, в обнаженном виде, на берегу реки. Но преследование ее не прекратилось и за гробом. Даже смерть, прибежище несчастных, когда зло обычно прекращает свои происки, не стала защитой этой отверженной женщине, чьим тягчайшим преступлением была преданность своему родичу и другу. Тело ее стало предметом бесчестного и низкого оскорбления; голову, отделив от тела, вздернули на кол и в таком виде выставили в Тонтоне на обозрение ее плененных подданных. Тотчас же узнав черты лица своей несчастной царицы, они были так потрясены этим варварским представлением, что, как сообщают, разразились «самыми ужасными и дьявольскими стенаниями».

Как ни сопротивлялся Филип множеству невзгод и несчастий, его преследовавших, предательство сторонников, казалось, тяжким грузом легло ему на сердце, повергнув в уныние. Говорят, будто «он никогда более не знал радости и не имел удачи ни. в каких замыслах». Источник надежд иссяк, дерзость предприимчивости угасла — он озирался вокруг, и всюду его ждали опасность и мрак; ни сочувственного взгляда, ни руки, способной принести избавление. Со скудной горсткой сторонников, по-прежнему верных его отчаянному жребию, несчастный Филип отправился назад, в район Маунт-Хоупа, древней твердыни отцов. Там он метался повсюду как призрак посреди картин былой мощи и процветания, ныне лишенный дома, семьи и друга. Нет нужды рисовать картину его отчаянного и жалкого положения — это сделал лучше своим безыскусным пером хронист, против воли пробуждая читательское сочувствие к злосчастному воину, которого он осуждает.

«Филип, — говорит он, — затравленный, подобно разъяренному дикому зверю в лесах, англичанами, выслеживавшими его сотни миль, был наконец загнан в свое логово у Маунт-Хоупа, где он залег, с несколькими своими лучшими друзьями, в болоте, которое оказалось только тюрьмой, прочно державшей его до тех пор, пока посланцы смерти по воле свыше не явились, дабы совершить над ним возмездие».

Даже в этом последнем прибежище безрассудства и отчаяния мрачное величие осеняет его память. Нам он видится сидящим посреди своих изможденных соратников, печально размышляющим в молчании над своим печальным жребием, черпая величие у диких чащ и в безысходности собственного положения. Побежденный, но не ввергнутый в смятение, сброшенный на землю, но не униженный, он, казалось, становился еще надменнее под гнетом несчастья и испытывал злобное удовлетворение, расточая последние капли своей горечи. Несчастье укрощает, подчиняя себе, мелочные умы; великие поднимаются над ним. Сама необходимость подчинения разъярила Филипа, и он поразил насмерть одного из своих соратников, предложившего мирный исход. Брат жертвы бежал и в отместку выдал убежище своего вождя. Отряд из белых и индейцев немедленно был отряжен на болото, где скрывался Филип, пылая яростью и отчаянием. Прежде чем он заподозрил об их приближении, его начали окружать. Вскоре он увидел, как пятеро преданнейших друзей пали у его ног; дальнейшее сопротивление стало напрасным; он бросился вон из укрытия и сделал отчаянную попытку спастись, но был убит выстрелом в сердце, пав от руки отступника из своего же племени.

Такова скудная история храброго, но злосчастного Короля Филипа, гонимого при жизни, бесславно обесчещенного после смерти. Однако, даже знакомясь с

предвзятыми рассказами его врагов, мы уловим в них приметы благожелательной и благородной натуры, достаточные, чтобы возбудить симпатию к его судьбе и почтение к памяти. Мы обнаружим, что посреди всех тревожных забот и ужасных превратностей постоянных войн Филип был открыт для нежных чувств супружества и отцовства и щедростей дружбы. О пленении его «любимой супруги и единственного сына» упоминается с ликованием, ибо это доставило ему горечь унижения; смерть всякого близкого друга с торжеством заносится в историю как новый удар по его чувствительности; но предательство и дезертирство множества его соратников, в чью преданность он, как говорят, верил, опустошило его сердце, лишив дальнейшего покоя. Он был патриотом, привязанным к своей родной земле; предводителем, верным своим подданным, нетерпимым к их обидам; солдатом, дерзким в битве, твердым в превратностях судьбы, терпеливо сносящим лишения, голод, любое физическое страдание, готовым погибнуть за дело, которое защищал. Гордый сердцем, обладая неискоренимой любовью к вольной жизни, он предпочитал наслаждаться ею среди зверей, в лесных тайниках, среди унылых и бесплодных болот и топей, лишь бы не смирить дух в неволе, живя зависимым и презренным в покое и роскоши поселений. Обладая героическими чертами характера и способностью к дерзким свершениям, способным прославить цивилизованного воина, стяжав дань поэта и историка, он жил беглецом и скитальцем на собственной земле и покинул мир подобно одинокому кораблю, тонущему посреди мрака и бурь — без сожалеющего взгляда, который бы оплакал его падение, или дружеской руки, способной запечатлеть его борьбу.

АПОЛОГИЯ КОРОЛЯ ФИЛИПА, произнесенная в Одеоне (Федерал-стрит, Бостон) преподобным Уильямом Эйпсом[242], индейцем, 8 января 1836 года

Кто по прошествии стольких лет возвысит голос здесь, в этом знаменитом храме, утверждая, что индейцы не люди? А если они люди, то, как и другие, имеют право на свое наследие.

Я не собираюсь восхвалять знаменитого воина, одаренность которого сияет, подобно славе могущественного Филиппа Греческого[243], Александра Македонского или Вашингтона, чьи добродетели и патриотизм запечатлены в сердцах моих слушателей. Я также не считаю войну лучшим способом обуздать тирана в образе *человека* даже во имя утверждения цивилизации. Нет! Я далек от подобных мыслей. Но я хотел бы привлечь ваше внимание к созданиям, сотворенным Господом, к тем, в чьи души он заронил чувство сострадания, которое вечно пребудет в памяти человечества, и чьи природные достоинства так высоки, что самые блестящие таланты, рожденные цивилизацией, не в состоянии затмить яркой одаренности людей мира нецивилизованного. Значит ли это, что мы не станем говорить о сильных и смелых мужах нашей Земли, благородных творениях Господа? Кто устоит, чтобы не поведать о них! А между тем самые чистые и гуманные побуждения их остаются

нераскрытыми. Благороднейшие качества, коими отмечены поступки этих людей, не тронутых цивилизацией, кроются во мраке ночи.

Я взываю к приверженцам свободы, а не к тем потомкам, кои и теперь остаются символом жестокости людей, явившихся, дабы «улучшить» наш народ, «исправить наши ошибки». Некогда возлюбленные чада, коих качали на коленях и коих, увидев теперь, вы спросите в горести, с разбитым сердцем: «Неужто это те самые возлюбленные чада? » И кто-нибудь ответит, как в свое время отвечали и их предки: «То был взрыв гнева, великого гнева! » Не покажется ли вам, что это скорее существа из камня, чем живые люди? Однако эти самые люди пришли к индейцам за помощью и поддержкой и позже сами признавали, что индейцы приняли их как нельзя лучше, и отношение к ним сделало бы честь любой нации: им дали мяса и всякой снеди в изобилии и продали много хогсхедов[244] кукурузы (не говоря уже о бобах), чтобы они могли сделать запасы на зиму. Было это в 1622 году. Не прояви тогда индейцы такой человечности, колонисты в Новой Англии полностью бы погибли. Известно, что, когда они болели, индейцы заботились о них, как о своих собственных детях. И за все это индейцев объявили варварами! И сделали это те самые люди, ради которых совершались добрые дела.

Мы говорим о доброте индейцев, которую проявили они к страждущим колонистам, и о тех белых, кто хорошо знал, какую помощь получили от индейцев их братья и сестры. А как колонисты относились к индейцам еще до того, как обратились к ним за помощью? Слушайте! Все обстояло следующим образом, и мы полагаем, что белые не откажутся от своих собственных слов.

Декабрь 1620 года (по старому стилю). Пилигримы высадились в Плимуте и, бесцеремонно захватив земли, построили себе дома, а потом составили договор и вынудили индейцев принять его. Подобные действия, произойди они в наше время, расценивались бы как иностранное вторжение; всех призвали бы исполнить патриотический долг, защищая свою страну, и если бы захватчики до единого были уничтожены, то с каждой колокольни стали бы возвещать, что победа и проявленный патриотизм соответствуют требованиям дня. Однако индейцы смирились с вторжением (хотя многие из них были против таких действий), не пролили крови и не совершили насилия. Тем не менее за свою покорность и доброту по отношению к белым они получили прозвище дикарей, коих Господь и создал лишь для того, чтобы белые могли их уничтожить. Нам кажется, что Господь иначе понимал цели своих деяний.

Однако продолжим. Как видим, между пилигримами и индейцами был заключен договор, который действовал в течение сорока лет. За это время молодые индейские вожди научили пилигримов, как выжить в их стране и обеспечить всем необходимым своих женщин и детей. Скванто и Самосет[245] — имена тех двух благородных вождей, которые были так добры к пилигримам. И за все это индейцев назвали дикарями.

Теперь нам предстоит показать нечто ужасное. Мы обратимся к событиям января — марта 1623 года, когда колония мистера Уэстона была близка к гибели от голода. Некоторые колонисты, чтобы выжить, вынуждены были наниматься в услужение к индейцам. В обмен на пищу они должны были носить воду и дрова. Однако многие белые не довольствовались этим и пытались воровать у индейцев кукурузу. А так как индейцы выражали недовольство, то они же и были

наказаны, и сделано это было, по словам белых, дабы усмирить дикарей.

Давайте, однако, посмотрим, кто же в большей степени является дикарями. Человек, укравший зерно, был крепкого, атлетического сложения, и, чтобы спасти его от наказания, колонисты схватили больного, хромого старика, который ткачеством зарабатывал себе на пропитание. Полагая, что старик не так уж и полезен, колонисты вместо вора повесили этого не виновного в преступлении человека. О дикарь! Где ты, чтобы оплакать преступления христиан! (Индейцы всех без исключения белых называют христианами.)

А вот еще один пример гуманности истинных христиан, каковыми они сами себя считают.

Некто капитан Стэндиш[246], собрав разной снеди, лицемерно заявляет, что готов устроить пир для индейцев, а когда те усаживаются за трапезу, люди капитана закалывают их ножами. И белые называют такое убийство угощением для дикарей! Мы полагаем, из этого видно, кто является дикарями, ибо подобное преступление скорее свойственно истинным дикарям, чем истинным христианам.

Голову индейского вождя Уиттамумета белые водрузили на шест в своем форте и, насколько нам известно, вознесли хвалу своему Богу за успешное убийство несчастного индейца, ибо в обычае у них возносить хвалу Господу за подобную победу, так как они верят, будто, поступая таким образом, выполняют его волю и наказ. Интересно, не считают ли они наказом Господним, когда лгут, напиваются пьяными, грешат и прелюбодействуют? И одно и другое — дикость. Что скажете вы, судьи? Разве это не так, разве их дела не подтверждают этого? Индейцы полагают, что это так.

Не следует думать, что к Массасойту[247] и его сыновьям пилигримы относились с уважением, потому

что они были достойными людьми. Их просто боялись. И мы полагаем, что пилигримы, будь это в их власти, безжалостно убили бы их, несмотря на утверждение, что исповедуют милосердие. Достаточно вспомнить оскорбления, каким подвергался сын Массасойта. Однажды, когда Александер[248] сидел со своими людьми за утренней трапезой, за ним явились вооруженные представители губернатора с приказом немедленно схватить Александера. Сделано это было без малейшего повода. Александер и его люди видели приближение вооруженных посланцев губернатора и могли бы оказать сопротивление, но они не стали этого делать, полагая, что у губернатора нет никаких оснований для враждебных действий, но бессердечный негодяй приставил шпагу к груди Александера и заявил, что убьет его, если тот не последует за ним, и, если бы не вмешательство одного из людей Александера, ему пришлось бы уступить. Александер был человеком вспыльчивым и гордым. Такое бесцеремонное, оскорбительное отношение привело к тому, что он заболел лихорадкой, да так и не поправился. Кое-кто из индейцев подозревал, что Александера отравили. Он умер в 1662 году.

«После него, — пишет известный богослов доктор Мэзер[249], — приобрел известность второй сын Массасойта, некто проклятой памяти Филип».

Живи доктор Мэзер сейчас, он, возможно, обнаружил бы, что, по мнению людей здравомыслящих, память о Короле Филипе настолько ярче, нежели память о нем самом, насколько свет солнца ярче звезд в полуденный час. К тому же надо думать, что такой человек, как доктор Мэзер, сведущий в Священном Писании, должен бы лучше понимать свои обязанности и не злословить или проклинать любое творение Господа. Он должен был бы знать, что Бог создал своих

краснокожих детей не для того, чтобы их проклял доктор Мэзер, ибо если бы Господь хотел, чтобы они были прокляты, то сделал бы это сам. Напротив! Многострадальный Господь велел возлюбить врагов своих, молиться за своих мучителей. Он учил: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними»[250]. Мы сомневаемся в том, что сыновьям пилигримов понравилось бы, если бы мы, несчастные индейцы, стали сейчас проклинать доктора Мэзера и их самих, как это они постоянно делают по отношению к нам. Предположим, что наступит день, когда наши дети отплатят за все беды и несправедливости. Разве это не то, что делалось по отношению к нам? Однако мы искренне надеемся, что в нас больше человечности.

Некоторые авторы, описывая историю Новой Англии, свидетельствуют о том, что племена наши были большими и с ними считались. Да и как могло быть иначе — ведь безопасность колонистов зависела от дружественных индейцев. Они бы и дальше оставались дружественными, если бы к ним хорошо относились. Надо отдать должное индейцам — несмотря на недоброе отношение белых, именно индейцы помогли им выжить.

Эти авторы сообщают также, что нередко находили младенцев, плачущих у груди мертвых матерей. Ужасно! И подумать только, что болезни распространялись среди индейцев специально, чтобы их уничтожить. Пусть дети пилигримов покрас-неют от стыда, тогда как сын леса уронит слезу и оплачет судьбу своих убитых или изгнанных отцов. Подобно Иову, проклявшему день своего появления на свет, они сказали бы детям пилигримов: «День тот да будет тьмою»[251] — день 22 декабря 1622 года[252]. Да будет он забыт в речах и праздниках ваших, да будет погребен

Камень, на который впервые ступила нога отцов ваших[253]. Хотя Евангелие провозглашается благом для всех народов, мы, несчастные индейцы, никогда не считали тех, кто принес его нам, вестниками милосердия. Напротив! Мы говорим: пусть каждый краснокожий облачится в траур 22 декабря и 4 июля[254], ибо это дни скорби, а не радости. Пусть постятся они и молятся Великому Духу, Богу индейцев, который несет своим краснокожим детям не гибель, а милосердие.

О христиане! Можете ли вы держать ответ за уничтожение тех созданий, кои, как и вы сами, угодны Господу? Ибо Сын Божий не только ваш Спаситель, он Спаситель всех людей на Земле.

Осмеливаетесь ли вы утверждать, что, отмечая день 22 декабря, вы исполняете волю Божию? На самом деле многие из вас одобряют деяния своих отцов, и делается это всякий раз, когда празднуется День пилигримов. Тем самым, хотя на словах это отрицается, на деле поддерживаются беззакония и несправедливость отцов пилигримов. Семена предубеждения, посеянные в тот день, живут и поныне. Существует распространенное и глубоко укоренившееся в сердцах многих людей мнение, что индейцы и были созданы для того, дабы их изгнали и уничтожили белые христиане и заняли их место, и что такова испокон веков воля Господа. Если бы рассуждающие так теологи глубже вникали в явления природы, они смогли бы лучше понять суть и предназначение добра, уразумели бы, что деяния Всевышнего благи и святы, и все благородные творения созданы во славу Его и должны возлюбить друг друга, а не преследовать и уничтожать.

Дабы убедить вас в том, что дух пилигримов все еще живет, мы приведем высказывание богослова с Дальнего Запада. Его преподобие Наум Голд из поселения Юнион Гроу (район г. Пуатнем) записал 12

июня 1835 года: «Пустыня стала раем. Пусть каждый, взглянув на это поселение, представит себе, что было здесь три года назад, сердце его наполнится радостью и он воскликнет: „И это сотворил Господь!“ Дикари покинули землю ради людей цивилизованных; богатые прерии, бесцельно выгоравшие на солнце, теперь приняли многочисленные семена и приносят Церкви богатые урожаи кукурузы и пшеницы.

Поистине теперь это виноградник Божий: Он собрал лозу, отборную лозу в далекой стране, и перенес ее и посадил в добрую землю. Теперь Он ждет плодов. Он собрал каменья и прочь изгнал краснокожих ханаанитов[255], дабы они не вытаптывали зря эту землю и не мешали ее процветанию» (опубл. в издании «Евангелист», Нью-Йорк, август 1835 г.).

Но что иное можно услышать от столь «благочестивого» человека? Да, братья мои, бедные миссионеры хотят иметь деньги, дабы можно было отправиться в путь и обращать в христианство несчастных дикарей, как будто Господь не может обратить их в христианство там, где они есть, а должен прежде изгнать их из родных земель. Мы полагаем, что если Господь пожелает, чтобы краснокожие были обращены в христианство, он может сделать это в любом месте. И я должен сказать, что подобные бездушные миссионеры причинили нам намного больше зла, чем принесли пользы, ибо они унизили наш народ, довели его до деградации, разрушили наши формы управления, лишили права голоса, да и вообще всех прав человека в обществе. О, доктрина их поистине отвратительна! Она, безусловно, не пригодна для того, чтобы сделать людей цивилизованными и тем более не в состоянии спасти их души. И мы, несчастные индейцы, не желаем, чтобы такие миссионеры (хотя его преподобие и не является критерием) жили среди нас.

Я предложил бы следующее: пусть священники и другие белые люди относятся к цветным, живущим ныне среди них, как к человеческим существам, прежде чем обращать их в христианство, и пусть продемонстрируют они это в своих церквах, и пусть заявят об этом во всеуслышание, и я сказал бы тогда благотворителям: придержите свои трудовые деньги, пока слова не превратятся в дело и пока перестанут перекладывать свои собственные злодеяния на Господа, ибо это не что иное, как богохульство.

Мы познакомили вас с множеством исторических фактов и толкований, дабы показать, что Филип и вообще все индейцы испытывали возмущение деяниями белых, и поэтому индейцы охотно объединились вокруг своего короля и властителя. Теперь обратимся к истории Филипа. Честь Короля Филипа несомненно подверглась жестокому испытанию, которое завершилось потерей самой жизни и потерей страны.

Точная дата рождения Короля Филипа неизвестна, но известно, что родился он и жил в Маунт-Хоупе, Род-Айленд. В 1656 году умер его отец, Массасойт. Там же в 1662 году умер и брат Филипа — Александер, причиной смерти которого яви-лось, как уже упоминалось ранее, оскорбительное отношение губернатора Уинтропа. После смерти отца и брата власть перешла к Филипу, самому талантливому и великому человеку из всех, кто когда-либо жил на берегах Америки. Он обратил на себя внимание вскоре после прихода к власти, хотя до этого не выделялся ни на военных советах, ни на советах мира. Филип сразу почувствовал, какая огромная ответственность лежит на нем, и понял, что страна его, по всей вероятности, будет уничтожена жестокими захватчиками. Однако внешне он вел себя по отношению к белым доброжелательно и продавал им землю почти за бесценок, что явствует из записей, сделанных в плимутской колонии, начиная с 23 июня

1664 года, когда Уильям Бентон, купец из Род-Айленда, купил Метапоисетт у Филипа и его жены. Сумма не указывается; свидетелями были советники Филипа и два пилигрима. В 1665 году Филип продал за 40 долларов Нью-Бэдфорд и Комптон. В 1667 году он продает Констант Саутворт и другие луговые земли от Дартмута до Метапоисетта и получает за них 60 долларов. В том же году Филип продает Томасу Уиллету полоску земли длиной в две мили и, очевидно, такой же ширины, за что получает 40 долларов. В 1668 году он продает землю, которая теперь носит название Суонзи. В следующем году там было продано еще 500 акров земли за 80 долларов. Свидетелями во всех этих сделках выступали советники и переводчики Филипа и пилигримы.

В 1641 году Осамекван[256] уступил за определенное вознаграждение Джону Брауну и Эдварду Уинслоу восемь квадратных миль земли, расположенной по обеим сторонам реки Палмер. Филип в 1668 году вынужден был подписать отказ от притязаний на эту землю, что он и сделал, как нам известно, в присутствии своих советников. В том же году Филип предъявил права на участок земли под названием Нью-Мэдоуз на том основании, что земля эта не входила в сделку, за которую мистер Браун заплатил товарами на сумму в 44 доллара. Дело было улажено без труда. В 1669 году Филип продал за 40 долларов некоему Джону Куку целый остров Накотай, недалеко от Дартмута. В том же году была продана полоса земли в Миддлборо за 52 доллара. В 1671 году был продан Хью Коулу большой участок около Суонзи за 16 долларов. В следующем, 1672 году Филип продал 16 квадратных миль земли Уильяму Бентону и другим лицам из Тонтона, за что он и его вожди получили 572 доллара. Этим контрактом, подписанным Филипом и вождями, закончилась

продажа земель. Всего, как явствует из записей, Филип получил 974 доллара.

В 1673 году Филип подвергся грубому оскорблению. Некто Питер Тэлмон из Род-Айленда подал жалобу в плимутский суд на Филипа как правопреемника и наследника своего брата Александера, который обвинялся в нанесении ему, Питеру Тэлмону, ущерба в размере 3200 долларов. Суд вынес решение в пользу пилигрима Тэлмона; Филип вынужден был отдать в погашение иска большие участки земли возле Сапамета и в прилежащих к нему местах. Однако, по утверждению суда пилигримов, этих земель не хватило для того, чтобы возместить большой ущерб, нанесенный истцу.

Давайте немного задержимся на этом вопросе. Человек, который купил землю, заключил, по его собственным словам, контракт с Александером десять или двенадцать лет тому назад. В таком случае, почему он не предъявил иск раньше, сделал это после смерти Александера? Это нетрудно понять. Здесь явное намерение обманом получить большую выгоду. Одного взгляда на требуемую сумму достаточно, чтобы удовлетворить самого придирчивого критика. Весь ход предвзятого судебного разбирательства заставил вождя и его народ почувствовать сильное недоброжелательство белых.

В 1668 году Филип подал жалобу на некоего Уэстона, по вине которого один из людей Филипа лишился ружья и нескольких свиней. У нас нет никаких свидетельств, что Филипу удалось добиться возмещения ущерба, нанесенного его пострадавшему соплеменнику. Впрочем, бедным индейцам трудно рассчитывать на справедливость в суде, где царило в то время, да и поныне сохраняется, притворное благочестие. В доказательство этого утверждения я отсылаю моих слушателей или читателей к записям

различных законодательных учреждений и судов по всей Новой Англии, а также к моей книге «Индейская отмена».

Далее хотелось бы напомнить, кому же приходилось выступать при рассмотрении дел, касавшихся прав индейцев. Их друзьям? Нет, этим занимались их враги. Именно враги судили и выносили приговор. А если принять во внимание, что, по мнению пилигримов, индейцы вообще не имеют никаких прав, то вполне понятно, почему приговор выносился не в пользу индейцев. И делалось это практически постоянно.

У Филипа были трудности в отношениях с пилигримами и до упомянутого оскорбления. Пилигримы уже в 1671 году относились к нему с подозрением. Однажды через посланца они потребовали, чтобы Филип явился к ним. Он игнорировал это требование, что вызвало у них еще большее подозрение. Трудно сказать, какие у них были на то основания, разве что нечистая совесть, преследующая их за все зло, содеянное против индейцев. Позднее Филип сам послал своих людей в Тонтон, приглашая пилигримов явиться к нему для переговоров, на что губернатор то ли из гордости, то ли из страха не согласился и в свою очередь отправил посланцев к Филипу, приглашая его в свою резиденцию в Тонтон. Филип это приглашение принял. В числе посланцев губернатора был и достопочтенный Роджер Уильяме[257], христианин, патриот и, к нашей радости, друг индейцев. О, если бы таких, как он, были тысячи!

Не доверяя пилигримам, Филип оставил несколько белых заложников, чтобы обеспечить свое возвращение. Когда Филип и его люди приблизились к городу, группа плимутцев попыталась напасть на них, но эти попытки были предотвращены представителем властей, который потом, вместе с губернатором,

участвовал в переговорах с Филипом. С общего согласия встреча состоялась в молельном доме. Филип предъявил обвинение пилигримам, заявив, что они нанесли ущерб плодородным землям его народа. Пилигримы, действовавшие в качестве третейских судей, посчитали предъявленные им обвинения несостоятельными и так как решением они не были удовлетворены, а удовлетворить пилигримов могло только полное лишение индейцев всех прав, то они потребовали, чтобы Филип приказал своим людям доставить в город имеющиеся у них боеприпасы и оружие, а уж суд решит, как с ними поступить. Мало того, Филип должен был уплатить стоимость переговоров, что составляло четыреста долларов.

Благочестивый доктор Мэзер утверждает, что Филип обязан был заплатить эти деньги, дабы возместить расходы, в какие была вовлечена колония из-за его наглых протестов. Интересно, стали бы пилигримы платить индейцам за все беды, которые они им причинили? Если да, то не иначе как путем их уничтожения. Судя по всему, Филип не хотел ссоры и пошел на компромисс. Стремясь умиротворить пилигримов, он действительно приказал некоторым из своих людей (кому не мог доверять) явиться с оружием к пилигримам, но те, за малым исключением, от этого воздержались.

Насколько же неправедны подобные действия со стороны тех, кто заявляет о своем дружелюбии, человечности и миролюбии по отношению ко всем людям! Не может быть, чтобы пилигримы были настолько лишены здравого смысла, что полагали, будто подобные действия приведут к миру, а не к постоянным ссорам. На самом деле они стремились не к миру, а к войне, что видно из второго Совета, который по приказу губернатора собрался в Плимуте 13 сентября 1671 года. Как известно, снова послали за

Филипом, однако он на Совет не явился и в свою очередь обратился с жалобой к губернатору, который заставил Филипа направить ее в Совет. В то же время губернатор велел членам Совета придерживаться умеренной позиции и не принимать поспешных и опрометчивых решений. Однако уже 24 сентября стало очевидно, что положение изменилось к худшему — собрался новый Совет, и эти возмутители спокойствия, кои бесцеремонно вторглись в жизнь миролюбивого народа, предъявили Филипу следующие обвинения:

1. Он пренебрег их решением сдать оружие в установленное время.

2. Во многих случаях он вел себя слишком гордо и дерзко, отказываясь являться на Совет (когда за ним посылали), дабы установить взаимопонимание.

Какое оскорбление для его величия! Независимый вождь могущественного народа должен являться по первому зову своих соседей, когда они этого пожелают! И разве Филип не следовал решениям, принятым в Тонтоне, что в случае возникновения трудностей следует обращаться в Высший Совет Массачусетса, причем решений этого Совета должны придерживаться обе стороны? Разве для пилигримов что-нибудь значили такие решения? Нет! Будучи непогрешимыми, они, разумеется, не могут ошибаться!

3. Филип также обвинялся в том, что давал приют разным «бродячим» индейцам. Как можно предъявлять королю подобные обвинения, называя его подопечных бродягами, потому только, что люди эти им не нравятся? И вообще, какое право имели пилигримы судить: хорошие или плохие подопечные у Филипа? Не думаю, что Филипа когда-либо беспокоило, как между собой живут белые. Не было и такого, чтобы он выдвигал против них жалобы за то, что они общаются с кем хотят. Я также не думаю, что он называл их

бродягами и бездельниками, ибо сам Филип был благороднее и выше своих обвинителей.

4. Четвертое обвинение было вызвано тем, что Филип отправился в Массачусетс и подал на пилигримов жалобу, чем настроил одну власть против другой.

Это обвинение скорее касается самих пилигримов, чем Филипа, и удостоверяет, что жалоба его была справедливой и вина ложится на самих пилигримов.

5. Филип был не так вежлив, как им бы этого хотелось.

Мы полагаем, что эти пришельцы очень раздражали Филипа, и он, конечно, время от времени отмахивался от них или не особенно обращал внимания на их предложения. Подобные обвинения не делают чести пилигримам.

Несмотря на старания пилигримов, этот Совет во всем, что касалось разоружения индейцев, завершился, как и предыдущие Советы, их поражением — пилигримам не удалось настоять на своем. Так закончились события 1671 года.

Как известно, пилигримы, не удовлетворившись таким положением, сочли необходимым послать к Филипу проповедника-индейца и к тому же предателя, который должен был обратить и самого Филипа, и его народ в христианство. Имя этого проповедника Сассамон. Я хотел бы спросить своих слушателей, разве не очевидно, что плимутцы стремились разжечь ссору с Филипом и его людьми? Разве не оскорбление прислать человека, которого индейцы считают бесчестным? Предателя, на которого взирают с отвращением? Мало того, по законам индейцев такой человек должен умереть, он обречен, и Филип убил бы его, если бы не отговорили советники. В марте 1674 года один из людей Филипа все же убил Сассамона, тело бросил под лед в пруд около Плимута, и сделано это было,

безусловно, по приказу Филипа. Начались поиски, и вскоре схватили индейца по имени Патуксон и его сына Тобиаса, одного из советников Филипа. Их судили, но, как явствует из записей, судебный процесс был отложен, и оба индейца до суда, продолжение которого назначили на июнь, были взяты на поруки под залог в 400 долларов (на эту сумму были заложены земли). Наступил июнь, и теперь уже трое были привлечены к суду и осуждены. 3 июня все трое были казнены (через повешение или расстрел). Судя по всему, виновен был один, и, говорят, вину свою он признал, тогда как двое других до конца настаивали на своей невиновности.

Убийство этого проповедника привело к началу войны на год раньше, чем предполагал Филип. Последовавшие за этим события настолько возмутили Филипа, что он стал обдумывать, как отомстить пилигримам, ибо полагал, что белые пришельцы не имеют права наказывать его подданных и что подобные действия являются нарушением прежних договоров. Стоит вспомнить о том, как нагло и пренебрежительно вели себя белые по отношению к Филипу, не считаясь ни с чем, бросая вызов ему, его власти и авторитету, и мы не станем удивляться гневу Филипа. Проведав, что Филип возмущен, губернатор шлет к нему своих посланцев, дабы узнать, почему Филип намерен воевать против пилигримов, которые, по его словам, во всем поступают правильно и справедливо. Губернатор выражает желание заключить с ним новый договор. На это Филип ответил следующим образом: «Ваш губернатор — всего лишь подданный короля Англии Чарлза. Я не стану вести переговоры с подданным. Переговоры о мире я буду вести только с братом моим, королем. Пусть приезжает, я готов с ним встретиться».

Этот ответ заслуживает того, чтобы весь мир узнал о нем. Ни один принц не мог бы ответить с большим достоинством, не желая считать себя на одном уровне с

низшими подданными короля и одновременно давая понять, что осознает свою независимость и намерен сохранить ее. Настало время пробуждения: одного из советников Филипа и двух других его людей схватили и убили подданные короля Чарлза. Филип не мог больше им доверять. До казни трех индейцев, обвиненных в убийстве Сассамона, ни Филип, ни его воины враждебности не проявляли, но говорят, что уже во время судебного разбирательства в индейских поселениях отмечалось передвижение вооруженных людей Филипа. Когда же о казни стало известно, Филип не мог больше сдерживать своих воинов. 24 июня молодые воины, убив скот и нанеся иной ущерб населению Суонзи, спровоцировали их ответные действия. Это явилось сигналом к войне, и, казалось, они добились того, к чему стремились, однако среди индейцев бытовал предрассудок, что потерпит поражение та сторона, которая сделает первый выстрел. Предрассудок, несомненно, заимствован у пилигримов. И все же первый выстрел был сделан индейцами, и произошло это в день поста, когда пилигримы возвращались из церкви. Индейцы обстреляли их, и несколько человек было убито. Существует предположение, что Филип не руководил этим нападением и был против него. Однако не подлежит сомнению, что он намеревался отомстить своим врагам и в течение некоторого времени старался объединить своих соплеменников, посылая гонцов ко всем вождям, которые, подобно Филипу, были возмущены действиями белых.

На совете Филип обратился к своим вождям, советникам и воинам с речью:

«Братья! Взгляните на эту землю, раскинувшуюся перед вами. Великий Дух дал ее отцам нашим и нам с вами. Посмотрите на бизонов и оленей — они кормят и одевают нас.

Братья, посмотрите на жен и детей наших. Они ждут, чтобы мы позаботились о них.

А теперь посмотрите на врага перед собой, врага, который стал наглым и дерзким. Вы видите, что все наши древние обычаи попраны, все договоры, которые заключали наши отцы и мы сами, теперь нарушаются, а мы все оскорблены и унижены; Костры наших Советов погасли; братьев наших убивают у нас на глазах, и духи их взывают к отмщению.

Братья! Эти люди из неведомой страны вырубят все наши леса, осквернят землю и места охоты, прогонят нас от могил наших отцов, а женщин и детей превратят в рабов».

Эта знаменитая речь Филипа была направлена на то, чтобы люди взялись за оружие и сделали все возможное, дабы защитить свои права. Удар был нанесен, жребий брошен, и впереди — лишь кровь и жестокие битвы.

Теперь Филип стал вездесущим, как ветер; проворен и силен, словно исполин; несокрушим, аки свод небесный, и отважен, аки лев. Поистине, это могучий противник пилигримов! Быстрый, как орел, он собирает свои силы воедино, готовясь к битве.

Перечень всех племен, воины которых входили в войско Филипа, занял бы слишком много места, достаточно сказать, что в разное время таких племен было шесть или семь. Начиная войну, Филип собрал и вооружил около пятисот своих соплеменников и присоединил около девятисот человек из других племен, так что под его началом насчитывалось до полутора тысяч воинов. Надо напомнить, что война эта была объявлена Филипом официально, и колонисты были честно предупреждены. Действия Филипа не были неожиданным, варварским нападением — война была нагло спровоцирована самими пилигримами; вели войну Филип и его люди по своим правилам, соответственно

их обычаям и нравам (как это и следовало ожидать). Однако мы не слышали о каких-либо особых жестокостях, совершенных Филипом в течение этой тяжелой войны. По нашему мнению, за время долгих споров и вражды Филип проявил больше благородства, чем все лидеры пилигримов.

Молодые воины Филипа рвались в бой, стремясь захватить в плен как можно больше своих надменных противников. Речь Филипа у Костров Совета, как видно, воспламенила сердце каждого индейца, и лес был буквально полон воинов. Перед такой силой оскорбленного народа не могли устоять города белых. Пока отряды пилигримов двигались в одном направлении, воины Филипа неожиданно появлялись с другой стороны, сжигая все на своем пути, пока Миддлборо, Тонтон и Дартмут не оказались в руинах и не были покинуты их обитателями.

В великой битве при Покассете Филип лично руководил сражением. В это время он со своим войском укрывался на болотах, куда отступил, стараясь ускользнуть от пилигримов, кои следовали за ним по пятам, и число их было так велико, что они считали, будто участь Филипа уже решена. Пилигримы начали окружать болото, рассчитывая уничтожить все войско. Но на краю болота Филип расставил часть своих людей, чтобы те заманили наступающие отряды врага в засаду; с ними и завязали бой пилигримы. Эти люди Филипа с боем отходили, а белые преследовали их до тех пор, пока сами не оказались в окружении и были почти полностью уничтожены. Остатки наступавших отрядов пилигримов оказались в трудном положении, и, хотя подошло подкрепление, они получили приказ отступить. Пилигримы были убеждены, что уйти из болота Филип не сможет, но силы у него по-прежнему были большие, ибо он потерял в бою лишь несколько человек. Некоторые из пилигримов предлагали,

перекрыв возможные пути отступления индейцев, осадить болото и уморить Филипа голодом.

Положение Филипа действительно было не простым. Болото сообщалось с рекой Коннектикут неширокой протокой длиной около семи миль. Это был единственный путь скрытого отхода для войск Филипа. Чтобы надежно окружить болото, пилигримам понадобилось тринадцать дней, и это позволило Филипу и людям изготовить каноэ для отступления, что он и сделал, и достиг реки Коннектикут, потеряв при этом только 14 человек. Этот маневр Филипа можно сравнить разве что с переправой Вашингтона через Делавэр. Пожалуй, Филип даже превзошел Вашингтона, ибо к услугам Вашингтона были все знания, какие только способны предоставить наука и военное искусство, а также орудия и техника, необходимые для постройки плотов и других средств переправы, тогда как Филип был лишен всего этого, владея лишь тем, чем снабдила его мать-природа. И тем не менее он сумел осуществить свой замысел. Филип вообще не потерял бы ни одного человека, не будь у пилигримов нанятых ими индейцев, которые понадеялись на обещания, что им предоставят права, равные с правами их белых братьев. Ни одно из этих обещаний не было выполнено ни пилигримами, ни их детьми, и пилигримам следует признать, что без помощи индейцев они были бы уничтожены. Страну эту им удалось завоевать лишь благодаря хитрости и обману, ибо все их обещания, касающиеся прав индейцев, оказались лживыми.

Теперь, овладев тыловыми поселениями Массачусетса, Филип легко разрушал небольшие города один за другим. Попытка выслать подкрепление из тридцати шести солдат на помощь гарнизону, оставленному в Нортфилде, привела к тому, что двадцать из них были убиты и один попал в плен.

Одновременно Филипу удалось отрезать путь гарнизона к отступлению и захватить все боеприпасы.

Примерно в августе индейцы взяли в плен совсем молодого паренька, четырнадцати лет, муками которого намеревались было позабавиться на следующий день. Но, по словам пилигримов, «Господь смягчил сердца краснокожих, и те отпустили его». Приблизительно тогда же белые пленили одинокого старика из числа людей Филипа; из-за того, что тот не пожелал стать предателем, указав место, где скрывается Филип, пилигримы приговорили его к смерти. Ему отсекли сначала руки, а затем голову. Остается только удивляться, отчего Господь не смягчил сердец пилигримов и не предотвратил этого злодеяния, как то было в случае с индейцами.

Мы хотели бы обратить внимание на поступок Короля Филипа, превосходящий, по нашему мнению, действия в подобных случаях принцев и императоров иных стран. Речь идет о том, как поступил Филип, когда его люди стали ощущать недостаток в деньгах. У Филипа была одежда, искусно расшитая wampum-peag[258] (т. е. индейскими деньгами). Он разрезал ее на куски и роздал своим вождям и воинам. Это было лучше, чем деньги Старого Света во времена Вашингтона. Как нам известно, ни один индейский воин не выразил недовольства. Такое решение Филипа еще больше подбодрило его воинов и укрепило их в стремлении продолжать борьбу, дабы сохранить свои права и изгнать врагов.

Восемнадцатого сентября пилигримы, человек около восьмидесяти, совершали перевозку ценных грузов (одежды и провианта) из Хэдли в Дирфилд. Когда они нагрузили обоз и отправились в путь, Филип и его люди атаковали эту группу пилигримов и почти всех уничтожили. Нападение произошло около Шутар-

Луф-Хилл. Говорят, в этой схватке пилигримы потеряли лучших людей из Эссекса и все товары. Многие в тот день овдовели и осиротели.

Филип, завершив основные операции на западной границе Массачусетса и полагая, что его присутствие необходимо среди союзников, индейцев наррагансетов, дабы не позволить пилигримам обмануть их, направился в земли наррагансетов.

Пилигримы решили ослабить силы Филипа, нанеся удар по наррагансетам. Намереваясь уничтожить союзников Филипа, они набрали армию в 1500 человек. В своем стремлении раз-бить войско Филипа объединились Массачусетс, Коннектикут и Плимут. В декабре 1675 года пилигримы начали наступление. Еще до этого Филип произвел все необходимые приготовления к зиме и хорошо укрепился, что было необычно для его соплеменников, на небольшом острове около Саут-Кингстона, Род-Айленд. Здесь намеревался он провести зиму вместе со своими воинами, их женами и детьми. Было построено около пятисот больших индейских жилищ, в которых у стенок сложили съестные припасы, мешки кукурузы, одежду и утварь. Уложенное в высоту одно на другое, все это создавало защиту от пуль. Всего на острове находилось, предположительно, около 3000 человек (я хотел бы отметить, что индейцы в те времена могли лучше позаботиться о себе, чем впоследствии).

И вот на 19-й день декабря, после того как пилигримы около месяца мерзли в палатках, провианта у них не хватало и к тому же повалил снег, они решили атаковать укрепления Филипа. Другого выбора у них не было.

Измена ускорила гибель Филипа. Один из его людей, надеясь получить награду от вероломных пилигримов, предал свою страну. Звали предателя Питер. Ни один белый человек не знал тайного прохода в укрепление

Филипа. Найти этот проход, а тем более захватить его, для белых было почти невероятным. Единственное место, откуда можно было более или менее успешно атаковать, укреплялось наподобие блокгауза; с флангов оно простреливалось перекрестным огнем из укрытий, а перед ним находился огромный (до пяти метров высотой) завал из срубленных деревьев. Все укрепление было окружено деревьями, покрывавшими весь остров, и водой. И тем не менее пилигримы совершили попытку прорваться в укрепление. Филип приказал открыть огонь, и индейские воины сметали белых с тропы одного за другим, пока не уничтожили шесть офицеров и множество солдат. Но в это время некто капитан Мозли с отрядом солдат каким-то образом сумел проникнуть в укрепление с другой стороны. Нападение было неожиданным; пилигримам удалось захватить форт. Они подожгли его и стали рубить всех подряд — мужчин, женщин и детей. Однако Филип с большой группой воинов смог бежать. Как известно, в этой битве погибло 80 белых и 150 было ранено; многие раненые умерли позже, так как помощь им могли оказать лишь после восемнадцатимильного перехода; много трупов белых было брошено в форту. Говорят, наррагансетов было уничтожено 700 человек. Большинство из них — женщины и дети.

Похоже, Господь все-таки не очень благоприятствовал пилигримам. Принято считать, что страданиям пилигримов нет равных во всей истории и перед ними бледнеют даже ужасы горящей Москвы[259]. Конечно, трудно сравнивать тысячи, десятки тысяч хорошо организованных и дисциплинированных солдат с армией пуритан, к тому же надо принять во внимание развитие науки, образ жизни и обычаи людей того времени.

Мы могли бы согласиться с изложенным выше, признав, что ничего подобного не было известно ни в одной языческой нации мира. Те, кто поистине сами хуже язычников, пострадали от возмездия врагов своих. Филип направился в свои земли, чтобы принять на себя заботу о своем народе и не бросать людей на произвол судьбы. Мы не удивились бы, узнав, что Филип говорит о страданиях своего народа, однако, когда подобным образом говорят люди, называющие себя христианами, мы считаем, что они достойны порицания и не заслуживают жалости.

Известен случай, когда какой-то белый женился на женщине из народа Филипа. Пилигримы объявили его предателем и приговорили к смерти. Он был четвертован. Коль скоро человек этот — язычник, то и слез на его похоронах, по словам пилигримов, было немного. Как видим, он не пожелал пойти против своей жены и детей и не бросил их, за что и был осужден как язычник. Мы полагаем, что ни один честный человек не похвалит за это отцов пилигримов.

Теперь Филип покинул свой край и, отступив в глубь страны, направился к могаукам. Несмотря на то, что в июле 1676 года несколько человек Короля Филипа были убиты могауками, он все-таки стремился к тому, чтобы могауки стали его союзниками. Тут Филип, как говорят, поступил неподобающим образом: он убил несколько могауков, а вину за это возложил на белых, надеясь таким образом привлечь могауков на свою сторону. Если это так, то мы, разумеется, не можем считать, что Филип поступил правильно. Однако нужно учесть, что он был доведен до крайности и помышлял лишь о мести. Впрочем, этот поступок Филипа не хуже действий многих политиков в наше время, которые ради достижения своих целей стремятся по-варварски — мечом, клеветой или любым обманом — навредить друг другу, претендуя, однако, при этом на просвещенность.

Новейшие дуэли между так называемыми высокопоставленными людьми чести подтверждают мои слова.

Продолжая следовать за ходом истории, касающейся Филипа, мы видим, что он с февраля по август провел несколько 5 успешных вылазок против пилигримов, вынуждая их неожиданными нападениями покидать свои позиции. В это же время к Филипу присоединяются многие из индейцев-христиан; полагают, что, будь у них выбор, они бы все присоединились к нему, ибо не питали любви к своим белым братьям.

Как известно, отношение Филипа к пленным было более христианским, чем у пилигримов. Даже миссис Роуландсон, хотя она порой говорит об индейцах с горечью, не сказала в своих записках ни одного худого слова о Филипе. Он даже поручил ей выполнить для него работу; заплатил за эту работу, а потом пригласил пообедать с ним и выкурить трубку. У нас есть много свидетельств, что Филип был добр к пленным, и если англичане хотели их выкупить, то могли это сделать.

Так ли поступал губернатор Уинтроп или любой из отцов пилигримов? Нет. Известно ли, чтобы они принимали в своем доме и кормили взятых в плен индейских женщин? Нет. Такого в истории не найти! Белые пленницы были в полной безопасности, о чем свидетельствуют их собственные заявления. А разве так было, когда в руки пилигримов попадали индианки? Нет. Если индейцев брали в плен, то их либо вынуждали стать предателями и присоединиться к врагам, либо уничтожали на месте. Этот бесчестный метод применял печально знаменитый капитан Черч, совершая свои подвиги, ибо иным способом не выиграл бы ни одного сражения. Так что своим успехом Черч обязан исключительно честности индейцев, говоривших правду, и своему вероломству, с помощью которого он

их обманывал. Следует заметить, что белые люди всегда пользовались доверчивостью индейцев. Со стыдом должен я признать, сколько продажности и обмана вижу среди тех, кто именует себя христианами. Если бы они, подобно моему народу, не провозглашали своего благочестия, то их преступления не казались бы столь чудовищными. Но так как, по их собственным заявлениям, они исключительно добродетельны, то преступления их выглядят еще чернее. Поистине, они подобны горам, окутанным дымом и мраком непроглядным.

Нам, однако, необходимо напомнить потомкам еще об одном низком и гнусном деянии отцов пилигримов. Мы имеем в виду сражение, в котором Филип потерял около ста тридцати человек убитыми и ранеными. Произошло это в августе 1676 года. Самое ужасное заключается в том, что пилигримы в этой битве захватили в плен жену Филипа и его сына, мальчика лет десяти, и продали их в рабство. Далеко, в чужие земли[260]. Я пишу об этом, с трудом сдерживая свои чувства при мысли о том, что люди, называющие себя христианами, способны вести себя столь возмутительно, столь жестоко, способны так низко пасть в глазах индейцев. Я не сомневаюсь, что даже здесь, среди моих слушателей, найдутся люди, достаточно благородные и честные, которые с презрением осудят поведение этих лжехристиан. И уж конечно, никто, кроме людей, одобряющих действия пилигримов, не станет праздновать день их высадки в Америке — день 22 декабря.

Подумайте только и представьте себе — отцы пилигримы явились сюда в поисках свободы, а затем сами устремились опутывать разум народа, который так же дорог Господу, как и их собственный; не удовлетворившись тем, что ограбили и обманули

несчастных индейцев, они захватили в плен жену и сына Короля Филипа и сделали их рабами[261].

Леди и джентльмены! Не знаю как вам, а мне стыдно даже слышать об этих делах пилигримов, особенно когда они притворно провозглашают себя свободолюбивыми и человечными. К сожалению, именно так они и поступают! Захватив людей моего племени, они продают их на Бермудские острова и во многие другие места, а потом в день воскресный эти люди собираются вместе и заявляют, что все равны перед Господом, а богословы добавляют: «Тот, кто говорит, что любит Господа и ненавидит брата своего, тот лжец, и истина не с ним». И в то же время они ненавидят своих собратьев и продают их в рабство. Нет никакого сомнения, что все мои соотечественники, стоило им только покориться, были бы превращены в рабов. Однако индейцы отчаянно боролись за свою свободу. Они скорее уничтожили бы всех белых на своем пути и даже убили бы своих собственных жен и детей, чем поступились бы свободой своего народа. Только это спасло их от рабства. Да, только это. Отнюдь не добрая воля святых отцов пилигримов! Я хотел бы, чтобы голос мой был подобен грому и разносился по всей земле. Тот, кто защищает рабство, лишен стыда и подобен лютому зверю. Он руководствуется самыми низменными и порочными принципами, и мне безразлично, кто он и какое место занимает в обществе, — служитель ли он церкви или самый высокий представитель нации. И тот, кто не противится этим принципам, тот трус и не достоин называться человеком, тем более христианином. Поведением своим он порочит как Конституцию, где сказано, что все люди рождены свободными и равноправными, так и слово Господне, в которое, по его утверждениям, верит.

После того как Филип лишился жены и сына, в сердце его поселилась печаль, но, несмотря на это, он был полон решимости отомстить, хоть и загнан в болота индейцами, обманутыми лживыми обещаниями, и Черчем. И когда один из воинов предложил Филипу заключить с врагами мир, Филип тут же убил его. Как-то в бою пилигримы были потеснены Филипом и, отступая, потеряли одного человека по имени Томас Лукас (из Плимута). Мы полагаем, что он был в родстве с Лукасом и Хэджем, выступившими в бостонском суде в 1834 году против освобождения несчастных маршпи[262] из рабства, в которое их на многие годы ввергли отцы пилигримы.

Сил у Филипа теперь осталось совсем мало; многих из его соратников белым удалось склонить обманом на свою сторону или уничтожить, так что окружить его было не трудно. Вот почему 12 августа капитан Черч сумел обложить болото, где расположился лагерем Филип со своими людьми, и застать их врасплох. Без сомнения, их привел индеец, которого сделать это либо заставили силой, либо посулами вынудили стать предателем. Затем Черч расставил заслоны таким образом, что Филипу выбраться живым было невозможно. Сомнительно все же, чтобы его удалось победить, не будь нападение внезапным; но именно так все и случилось. Горестным оказалось то утро для бедных индейцев, потерявших замечательного и незаменимого человека. Пробираясь из болота, Филип был убит наповал выстрелом какого-то индейца.

И все же я рад, что так случилось, ибо это лишило пилигримов удовольствия подвергнуть его пытке. И отнюдь не ружье белого поразило такого поистине великого человека, каким был Филип. Место, где он пал, было очень топким. При вести о своей удаче пилигримы испустили троекратный вопль радости. Когда Черч

приказал вытащить его тело из болота, один из добросердных христиан при этом воскликнул: «До чего же он грязен! » Дошли до нас и слова Черча, который сказал: «Точно так же, как Филип оставил тела многих пилигримов без погребения, так и его тело не будет предано земле».

Вместе с Филипом погибли пять его лучших и преданнейших людей. Один из них был сыном того, кто сделал первый выстрел в этой войне.

Капитан Черч приказал разрубить тело Филипа. Филип был четвертован, и куски тела повешены на четырех деревьях, а голова и рука были отданы индейцу, убившему его, чтобы тот мог выставлять их напоказ. Зрелище это так радовало пилигримов, что они давали за это деньги, и индеец собрал значительную сумму. Затем голова Филипа была отослана в Плимут и в течение двадцати лет выставлялась на посмешище; рука — отправлена в Бостон, где ее и показывали, ко всеобщему ликованию победителей, а искромсанное тело так и не было преданопогребению. Как сказал поэт:

Где зверя прежде бил, теперь он сам лежит,

И дух сыновний праха не оплачет.

Я испытываю гордость и удовлетворение оттого, что подобное зло не было свойственно индейцам, которые никогда не вешали белых военачальников. Мне хотелось бы напомнить знаменитую речь доктора Инкриса Мэзера. Он говорит, что в течение всей кровавой войны благочестивые отцы горячо и настойчиво направляли свои молитвы к Господу, дабы он благословил их оружие и «предал врагов в руки их». И когда в дни жарких молений успех был на стороне индейцев, это воспринималось как укор со стороны Божественного Провидения (надо думать, в эти дни индейцы молились с большим рвением) и вызывало еще большее усердие. И наоборот, когда успех был на

стороне белых, это расценивалось как проявление воли Провидения в их пользу. Доктор заканчивает так: «И они (пилигримы) не переставали взывать к Господу против Филипа до тех пор, пока не вымолили пулю ему в сердце».

Говоря о массовом убийстве людей Филипа в Наррагансете, доктор Мэзер замечает: «Мы слышали о том, что убито двадцать два индейских военачальника, и все они в один день были низвергнуты в ад». И далее, рассказывая о вожде, который глумился над религией пилигримов и к тому же изрек самое ужасное богохульство, доктор Мэзер сообщает: «Пуля немедленно пробила ему голову и вышибла мозги, отправив его проклятую душу к дьяволам и богохульникам на вечные времена в преисподнюю».

Слова эти поистине отвратительны, но они употреблялись пилигримами, и это такая же истина, как то, что солнце светит на небесах. Проклинать индейцев было обычным делом для пилигримов, что они и делали по примеру своих священников. А их молитвы! Они взывали к Богу, вымаливая пулю в сердце индейцев и вечные муки в аду! Если бы я верил в силу подобных молитв, то подумал бы, что скоро все мы исчезнем. Коль скоро у них принято так молиться — о пулях в людские сердца, — то я не хотел бы, чтобы они молились за меня. Я предпочел бы, чтобы меня избавили от такой милости.

Однако ни в коей мере нельзя оправдать этого незнанием того, как подобает относиться к врагам своим и как молиться за них. Если бы доктор и его паства обратились к Евангелию от Луки, гл. 23, стих 34[263], и прислушались к словам Господа, которому они, по их собственному утверждению, служат, то увидели бы, что поступки пилигримов обличают их самих. И в 7-й главе Деяний (ст. 60)[264] они увидели бы, что слова

благочестивого Стефана, как мы полагаем, значительно отличаются от их собственных. Стефан обращается к Богу с молитвой: «Господи! Не вмени им греха сего! »

Проклятия не слетали с уст этих истинно благочестивых мучеников.

Я убежден в том, что ханжеские молитвы пилигримов, их проповеди и лицемерное благочестие положили начало рабству и деградации цветного населения в американских колониях. Я познал на личном опыте, какое это печальное и отвратительное явление.

Чтобы немного развлечь вас, я расскажу два-три случая. Однажды, лет пятнадцать тому назад, я проезжал через Коннектикут, где обитатели так добродетельны, что убивают кошек за то, что те убивают крыс, и стегают плетьми пивные бочки, наказывая за работу в день воскресный. Была одна из тех суровых холодных ночей, когда земля покрывается сверкающей коркой льда. Я постучал в дом одного человека, чтобы узнать, могу ли я переночевать у него, так как до моего жилища было миль девять. Я знал, что человек он богатый и, если бы захотел, без труда мог приютить меня. К тому же мы оба принадлежали к одной церкви. Хотя он и не прогнал меня (поступи он так, я, вероятно, умер бы от холода), однако оказанный мне прием был почти так же холоден, как и погода на дворе. Положение мое было немногим лучше, чем если бы я остался на улице: он, правда, подбросил немного дров в очаг, но постели не предложил, потому что я индеец.

Как-то раз другой христианин пригласил меня с ним пообедать, но обед мой выставил за дверь. Такая любезность показалась мне довольно странной.

Года два назад зашел я в Лексингтоне в одну таверну. Там в это время был какой-то джентльмен. Не поняв, что я индеец, он начал рассуждать о том, что все

краснокожие должны быть уничтожены. Я вступился за индейцев и спокойно, не горячась, стал их защищать. А когда мы отправились спать, он, узнав, что я индеец, не захотел спать в комнате, расположенной напротив, боясь, что не доживет до утра, ибо его зарежут. Видно, совесть у него была нечиста. Я говорю об этом, дабы показать, что внушенные пилигримами идеи продолжают жить.

Вернемся, однако, к Филипу и его жене. В то время, когда Филип отправился в Бостон, а было это в 1671 году, наряд его стоил около ста долларов. Некоторые писатели утверждали, что индейские деньги (вампум) сработаны так ловко, что подделать их не может ни еврей, ни дьявол. (Высокая похвала индейскому искусству!) Ими индейцы украшали одежду своих сагаморов. Как говорят, индейский наряд жены Филипа был особенно богато украшен. Кое-кто из белых женщин называл ее гордой, потому что она им не кланялась и необычно наряжалась. Осуждая королеву, эти белые леди забывали, что она на самом деле была одной из великих женщин, хотя и не с такой белой, как у них, кожей. Тем, кто упрекает королеву за ее слабости, за привычку любоваться собой, мы хотели бы, однако, напомнить, что все представительницы прекрасного пола, цветные или белые, любят драгоценные украшения и перья. Их любили и продолжают любить индианки. Мы полагаем, что привычку эту белые переняли у своих диких предков тысячи лет назад. Каждый белый, знакомый с историей своего народа, знает, что разницы в этом между индейцами и белыми нет.

Так что же представлял собой Филип, который привлек внимание всего мира, противостоял целой просвещенной нации и выиграл столько сражений? Это был сын своей земли, обладавший лишь данным ему природой талантом. И состязаться он был вынужден с

объединенными усилиями многих талантов, представлявших цивилизацию Старого и Нового Света. Это было равносильно противостоянию одного таланта — целой тысяче. Филип сумел достичь большего, чем многие выдающиеся его предшественники. Да, он превзошел Филиппа Второго, командовавшего высокоорганизованными силами Греции, ибо тот так и не смог осуществить объединение разных народов, как это сумел сделать Филип из Маунт-Хопа. Даже тактика Наполеона, объединившего свои силы и неожиданно нападавшего на врага, сходна с действиями Короля Филипа, как сходны с ними и планы многих атак, проведенных Вашингтоном и обеспечивших ему победу над неприятелем.

В таком случае разве неправомерным будет утверждение, что Филип, обладая одним лишь природным талантом, превзошел их всех, имевших десятки тысяч преимуществ? Ни один воин за всю историю не действовал так мудро, как Филип. Хорошо известно, что ни Черч, никто иной не смогли бы победить, если бы не прибегнули к обману, использовав доверчивость индейцев, так что в конце концов победили Филипа не пилигримы, а индейцы.

Что касается великодушия и щедрости Филипа, то, как известно, они были велики. Никто не может обвинить его в том, что он был жесток к побежденным, равно как невозможно отрицать того, что к пленным Филип относился лучше, чем это делали пилигримы.

Филип, и этого также нельзя отрицать, обладал определенными знаниями, отличался предусмотрительностью и умел продумывать свои действия наперед.

По словам мистера Гукинга, Филип «обладал пониманием и умением видеть главное». По-видимому, мистер Гукинг был великодушным человеком и другом индейцев.

Как глубока была прозорливость Филипа, если, окидывая мысленным взором земли, простирающиеся от Мэна до Джорджии и от океана до озер, он видел, что его соотечественники и братья уступают натиску более просвещенной нации! Как верны его предсказания, что белые люди не только вырубят леса индейцев, но и превратят их самих в рабов. Более точным не могло быть даже вдохновенное пророчество Исайи![265] Леса наши и охотничьи угодья исчезают, мертвецов вырывают из могил, Костры Советов погасли, и уже первым законодательным актом было положено порабощение нашего народа, и закона этого придерживаются до сих пор. Посмотрите только на эти постыдные законы, лишающие нас гражданских прав! Посмотрите на договоры, заключенные Конгрессом, — все они нарушены! Посмотрите на глубоко укоренившуюся практику, когда ущемляются интересы индейцев, проживающих на территориях вновь образованных штатов и попавших под юрисдикцию правительств этих штатов! Да, любой принятый документ предусматривает изгнание индейцев из штата или обрекает на жизнь, опутанную цепями законов, вынуждающих влачить жалкое существование, подобное прикованному к галере каторжнику. Это тот курс, которого придерживаются уже около двухсот лет, — огонь и мор — главное средство пилигримов из-за Атлантики, чтобы сжечь и уничтожить моих несчастных братьев. Отрицать это невозможно.

Что же нам делать? Зарыть в землю боевой топор вражды, несправедливые законы и Плимутский Камень в придачу и стать друзьями? Однако станут ли потомки пилигримов помогать загасить огонь и уничтожить язвы, оставленные их предками? Если да, то, надеюсь, мы не услышим от священников и прочих служителей церкви, будто мы таковы, что другие люди жить с нами

не могут. Как известно, вошло в привычку утверждать, что индейцы не могут жить среди христиан. Даже президент Соединенных Штатов говорит индейцам, что они не могут жить с людьми цивилизованными, добавляя при этом: нам нужны ваши земли, мы должны и будем их иметь. Это все равно, как если бы он сказал им: нам нужны ваши земли, чтобы использовать их и спекулировать ими, это позволит нам выплатить наш национальный долг и поможет принятию в Конгрессе закона об изгнании вас окончательно. Видите ли, краснокожие мои дети, наши отцы осуществили свои планы и отобрали у вас земли, теперь мы богаты и сильны и мы имеем право поступать с вами, как нам заблагорассудится. Мы притязаем на звание отцов ваших, и мы полагаем, дорогие мои сыновья и дочери, что окажем вам великую услугу, изгнав вас прочь, подальше от нашего цивилизованного народа, который вас обманывает, ибо у нас нет закона, чтобы наказать его и мы не можем защитить вас, хоть вы и наши дети. Так что делать нечего и плакать не стоит, придется вам уходить, даже если вас растерзают львы, ибо землю вашу мы пообещали кое-кому другому; давно пообещали, может, двадцать, может, тридцать лет назад, хотя, правда, сделали мы это без вашего согласия. Но так учили нас жить отцы наши, и отвыкать от этого трудно, а потому защиты от нас вы не получите.

Давайте подведем итоги. Не явствует ли из всего сказанного, что причина всех войн кроется в недостатке доброжелательности, что белые всегда были агрессорами и войны, жестокость и кровопролития являются результатом их собственных действий, а не исходят от индейцев? Вы слышали когда-нибудь, чтобы индейцы обидели тех, кто был к ним добр? Нет! И этому есть тысячи свидетельств. Мы часто слышим о военных столкновениях, вспыхивающих на границах. Происходит

это потому, что там царит та же атмосфера недоброжелательности, что и здесь, в Новой Англии. Она сохраняется всюду, где есть индейцы, и в настоящее время нет закона, способного изменить ее. Что же следует предпринять? Правда, время от времени слабый голос поднимается в нашу защиту. Да, мы могли бы говорить о людях выдающихся, но их так мало, что голоса этих людей слышны лишь на небольшом расстоянии. Хотелось бы, чтобы эти голоса звучали подобно грому и люди действовали как на войне, борясь против бесчестных, унизительных принципов, которые лишают человека всех прав потому только, что он необразован и кожа у него другого цвета. Давайте установим законы, по которым каждый получит, что ему причитается, и тогда затихнут войны и люди обретут покой. Предоставьте индейцу его права, и вы можете быть уверены, что война прекратится.

Как вы видите, предсказания Филипа сбылись, и я провозглашаю этого одаренного природой человека величайшим из всех, кто когда-либо жил в Америке. И да пребудет так к вечному позору отцов пилигримов, которые никогда не смогут доказать обратное.

А теперь прочитаем молитву Господню на том языке, на котором говорил Филип.

Nu-chun kes-uk-qut-tiam-at-am unch koo-we-su-onk, kuk-ket-assoo-tam-oonk pey-au-moo-utch, keet-te-nan-tam-oo-onk ne nai; ne-yane ke-suk-qutkah oh-ke-it; aos-sa-ma-i-in-ne-an ko-ko-ke-suk-o-da-e nut-as-e-suk-ok-ke fu-tuk-qun-neg; kah ah-quo-an-tam-a-i-in-ne-an num-match-e-se-ong-an-on-ash, ne-match-ene-na-mun wonk meet-ahquo-antam-au-o-un-non-og nish-noh pasuk noo-na-mortuk-quoh-whonan, kah chaque sag-kom-pa-ginne-an en quteh-e-het-tu-ong-a-nit, qut poh-qud-wus-sin-ne-an wateh match-i-tut[266] .

Заканчивая, мне, недостойному оратору, хотелось бы выразить благодарность за ваше доброе внимание и заверить, что мы признательны за любую помощь в утверждении справедливости. И вы, и я должны радоваться тому, что нам не приходится отвечать за преступления отцов наших, и неправильным будет взаимно упрекать друг друга. Мы можем лишь сожалеть и избегать подобного.

Пусть мир и справедливость отныне навсегда будут запечатлены в сердцах наших. Этого желает вам бедный индеец.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net

Оставить отзыв о книге

Все книги автора

---

notes

Примечания

1

Преподобному Дж. Р. К. — По мнению некоторых американских литературоведов, посвящение почти наверняка относится к одному из американцев индейского происхождения, жителю штата Коннектикут.

2

Предисловие к изданию 1829 г. — Первое издание романа опубликовано в 1829 году на английском языке во Флоренции, в издательстве «Dante's Head Press».

3

Массачусеты (массачусет) — индейское племя приатлантических алгонкинов, жившее к моменту прибытия первых колонистов из Европы вдоль побережья залива Массачусетс, между современными городами Сейлем и Плимут. Племя сильно пострадало от эпидемии чумы, поразившей его в 1617 году, после чего численность массачусетов не превышала полутысячи человек. В 1633 году новый урон племени нанесла эпидемия оспы. Выживших индейцев белые расселили по нескольким миссиям, где массачусеты постепенно вымерли.

4

Вампаноа («восточный народ») — индейское племя приатлантических алгонкинов, близкородственное массачусетам. Их называли также «поканокет» (по главному поселению) и «массасойт» (по имени могущественного вождя). До прихода белых колонистов занимали земли на пограничье нынешних штатов Массачусетс и Род-Айленд. К их владениям относились также некоторые прибрежные острова, в том числе Мартас-Виньярд и Нантакет. Когда в 1602 году владения вампаноа впервые посетили европейцы (британский мореплаватель Бартоломью Госнолд), это индейское племя насчитывало около пяти тысяч человек. Большой ущерб вампаноа нанесла в 1617 году эпидемия чумы. Первые переселенцы с Британских островов застали вампаноа живущими в трех десятках деревень и заключили с вождем племени Массасойтом договор о мире и дружбе, который индейцы соблюдали до самой смерти вождя.

5

… в северных округах Плантаций Провиденс, — Город Провиденс, нынешняя столица штата Род-Айленд, был основан пуританскими переселенцами в 1636 году. Вскоре после этого часть переселенцев, руководимая миссис Энн Хатчинсон, откололась от основной массы пуританских колонистов. Раскольники, назвавшие себя «антиномистами», основали на острове РодАйленд города Портсмут (1638 г.) и Ньюпорт (1639 г.), а на берегу залива Наррагансет — город Уорик (1644 г.). Четыре названных поселения в 1644 году были административно объединены в колонию Плантации Провиденс. Королевской привилегией 1663 года Плантации и Род-Айленд были объединены в одну колонию.

6

Наррагансеты («люди с маленького мыса») — алгонкинское племя, мигрировавшее на территорию нынешнего штата Род-Айленд с юго-запада; считалось самым бедным среди тамошних индейских племен. К белым колонистам относились по большей части дружественно. В ходе войны Короля Филипа (1675 — 1676) понесли большие потери и — подобно большинству индейцев Новой Англии — перестали играть какую-либо роль в истории края. Их максимальное число оценивается учеными в 5000 человек. К середине XX века около двухсот пятидесяти человек входило в Ассоциацию наррагансетов Род-Айленда, но большинство исследователей сомневается, можно ли членов Ассоциации считать настоящими («чистокровными») наррагансетами.

7

... в прекрасном заливе, получившем свое название от этого народа... — Речь идет о заливе Наррагансет у побережья Новой Англии.

8

Пикеты (пиквоты, «разрушители») — алгонкиноязычное индейское племя. Во время первых контактов с белыми колонистами контролировали территорию современного штата Коннектикут к востоку от одноименной реки и часть побережья Лонг-Айленда. Тогда их численность оценивалась примерно в две с половиной тысячи человек. Пикоты заключили с переселенцами договор о дружбе и мирно сосуществовали с ними до 1637 года, когда началась Пикотская война. Главное индейское укрепление на Мистик-Ривер было уничтожено. Племя понесло большие потери и рассеялось среди окрестных племен (мохеганы, найэнтики, наррагансеты). В 1655 году остатки пикетов были частью поселены в двух деревнях близ Мистик-Ривер, частью вывезены на острова Вест-Индии. И в наши дни около сотни человек еще называют себя пикетами, но чистокровных среди них вряд ли наберется больше десятка.

9

Ункас (1606 — 1682) — первоначально был военным вождем у пикотского сахема Сассакаса, на дочери которого он женился. Заручившись поддержкой английских поселенцев, распространил свою власть на территорию мохеган. Во время Пикотской войны стал на сторону англичан, за что был награжден частью племенных земель. Ункасу удалось спасти многих соплеменников от мести белых врагов по окончании войны, что стало причиной охлаждения его отношений с колониальной администрацией. Но вскоре хорошее расположение властей вернулось, так что индейцами неоднократно предпринимались попытки убить Ункаса. В 1643 году Ункас побеждает наррагансетского сахема Миантонимо, а пять лет спустя успешно справился с целой коалицией племен, выступивших против него. Он выступал на стороне англичан во всех войнах, которые те вели с аборигенами. Белые как могли помогали ему (так, в 1645 году отряд под командованием прапорщика Томаса Леффингуэлла вызволил Ункаса из окружения), хотя порой вынуждены были и одергивать его за «жадность и беззаконие», как это сделал Совет колонии в 1654 году. В городе Норуиче (штат Коннектикут) в 1842 году был поставлен памятник Ункасу.

10

Могикане. — В романе автор не различает два родственных алгонкинских племени. Мохеганы (англ. Mohegans) жили на востоке современной территории штата Коннектикут и в течение некоторого времени даже объединились с пиквотами. Именно мохеганы принимали участие в войне Короля Филипа. По окончании войны (1676 г.) они остались единственным значащим племенем в регионе. В конце концов давление белых колонистов вынудило мохеган самоизолироваться в деревне (ныне городок) Мохеган на реке Теме. Впоследствии они перемешались с другими индейскими племенами. Остатки мохеган проживают в настоящее время в штате Коннектикут, поблизости от городов Мохеган и Норуич. Могикане (англ. Mahicans) жили гораздо западнее — в долине реки Гудзон. Они были тесно связаны с делаварами и мохеганами, и белые поселенцы нередко их объединяли под общим названием Волки (англ. Wolf, фр. Loup). Некогда в районе современного города Олбани было около сорока селений Волков. Ирокезы и белые колонисты интенсивно истребляли это племя, пока остатки могикан полностью не перемешались с делаварами, а незначительная часть племени не переселилась на запад Массачусетса, где они к 1736 году сконцентрировались в районе города Стокбриджа в верховьях реки Хусатони и стали известны как индейцы-стокбридж. В настоящее время около полутысячи их потомков живут в резервации Стокбридж-Манси в штате Висконсин.

11

Король Филип (индейские имена — Метакомет или Пометаком; убит в 1676 г.) — индейский вождь, младший сын Массасойта (см. след. примеч.). В 1662 году наследовал своему старшему брату Александеру (Вамсутте) как сахем индейцев вампаноа. Возобновил договор отца с белыми колонистами, однако внимательно следил за их продвижением в глубь индейских владений, стараясь отстоять целостность охотничьих угодий своего племени. В 1671 году англичане обвинили вождя в краже оружия, и Метакомет вынужден был приказать своим воинам вернуть что удастся из похищенного. В 1675 году индейцами был убит краснокожий, которого белые наняли шпионить за соплеменниками. Предполагаемые убийцы были арестованы и казнены по приговору суда. Это побудило вождя призвать свой народ к вооруженному выступлению против колонистов. К вампаноа присоединились нипмуки и наррагансеты. Началась кровавая война Короля Филипа. Метакомет проявил себя изобретательным и весьма рациональным полководцем. Ему удавалось избегать открытых сражений. Военные действия свелись к бесконечной серии засад и избиений. Жена и сын индейского лидера попали в плен и были проданы в рабство. «Королю» пришлось спасаться в болотах, где он вскоре пал от руки изменника. Тело убитого было обезглавлено и расчленено на части.

12

Массасойт (назывался также Осмекин и Усамекин; «Желтый Отец»; около 1580 — 1661) — могущественный вождь племени вампаноа. 22 марта 1621 года в Плимуте Массасойт и некоторые другие индейские вожди подписали договор о мире и дружбе с белыми колонистами. Массасойт соблюдал этот договор в течение всей своей жизни. В 1649 году он продал англичанам земли, на которых впоследствии был построен город Даксбери.

13

Сахем (англоязычное «сейчем») — на языке алгонкинов так назывался глава рода или племени. Эта должность была наследственной. В индейском племени сахем осуществлял функции высшей гражданской власти.

14

... когда высадились у Плимутской скалы... — Осенью 1620 года английское судно «Мэйфлауэр», доставившее в Северную Америку первых переселенцев из Англии и Голландии, подошло к побережью залива Мэн и стало продвигаться вдоль него в поисках удобного места для основания колонии. 11 декабря разведчики с корабельной шлюпки, идя на веслах вдоль берега, обнаружили удобную бухту, которую назвали Новый Плимут. На следующий день здесь, близ утеса, названного Плимутской скалой, и произошла высадка колонистов, положившая начало постоянным поселениям белого человека в Новой Англии.

15

Миантонимо (Майантономо; казнен в 1643 г.) — сахем племени наррагансетов (с 1632 г.). В 1637 году принял участие в Пикотской войне. Англичане не раз обвиняли его в заговорах, но всякий раз вождь умел очиститься от обвинений. В 1643 году его атаковал Ункас, сахем мохеган и его злейший враг. Миантонимо был взят в плен и передан в Бостон, на суд комиссарам Объединенных Колоний. Суд наконец-то изобрел доказательства его «вины». Сахем был осужден, а совершить казнь комиссары доверили Ункасу. Впоследствии Миантонимо был реабилитирован, а в 1841 году ему даже поставили памятник.

16

... легенду о могучем Поухатане... — Речь идет об индейском вожде Вэунсонакокке (1550? — 1618), которого обычно по племенному имени называли Поуатаном. В начале XVH века, после смерти отца, он встал во главе конфедерации шести алгонкинских племен. Человек исключительной энергии и превосходных организаторских способностей, Поуатан сумел объединить под своей властью около ста тридцати индейских селений, в которых проживало около девяти тысяч человек. Всячески противился проникновению белых разведчиков на земли конфедерации. Самое значительное событие этого пассивного в общем-то сопротивления — пленение и убийство командира одного из таких разведывательных отрядов капитана Джона Смита. Однако, несмотря на это, до самой смерти вождя между индейцами и белыми колонистами в целом сохранялись дружественные отношения.

17

... его великодушной дочери Покахонтас... — Ее настоящее имя было Матоака (1595 — 1617). Дочь вождя прославилась своим милосердием к плененным англичанам. Согласно легенде, она спасла многих колонистов от мести индейцев. В 1613 году, когда девушка отправилась в гости к вождю союзного племени, она была захвачена в плен и содержалась в городе Джеймстауне в качестве заложницы. С нею, впрочем, обходились весьма любезно. Покахонтас приняла христианство, получив при крещении имя Ребекка. Один из молодых английских джентльменов по имени Джон Ролф увлекся ею. Губернатор колонии сэр Томас Дейл и отец девушки Поуатан дали согласие на брак молодых людей, считая этот союз символом добрых отношений между коренными жителями и поселенцами. Свадьбу сыграли в 1614 году, а через два года супруги отправились в Англию, где король Яков и королева Анна оказали им почести, достойные наследных принцев. Незадолго до возвращения в Новый Свет Покахонтас заболела оспой и умерла. Ее сын Томас Ролф был воспитан в Англии; повзрослев, переселился в Виргинию, где до сих пор живут его многочисленные потомки.

18

Дю Кюстин Адам Филипп (1742 — 1799) — французский генерал, участник Семилетней войны в Европе. В 1780 году отправился в Америку и так храбро сражался под Йорктауном, что получил звание полевого маршала. По возвращении на родину был губернатором Тулона и депутатом Генеральных Штатов. Перешел на сторону Революции и доблестно сражался в 1792 — 1793 годах. Обвиненный в недопустимых сношениях с неприятелем и мягком отношении к врагам, был казнен по приговору революционного трибунала.

19

... диких берегов Пенобскота. — Пенобскот — залив у северного побережья более крупного залива — Мэн, в который впадает одноименная река, пересекающая современный штат Мэн.

20

… в конфликте, отделившем колонии от метрополии. — Речь идет об Американской революции и Войне за независимость (1775 — 1783).

21

... в Род-Айленде... — В данном случае под Род-Айлендом понимается вся колония, а не одноименный остров.

22

Предисловие к изданию 1833 г. — Второе, исправленное Купером издание, вместе с новым предисловием, отметившим причины исправлений, появи-лось в Лондоне в 1833 году, в издательстве R. Bentley: «The Borderers, or The Wept of Wish-Ton-Wish».

23

... лорды Сэй и Сил да Брук... — Имеются в виду английские политические деятели Уильям Финнес (1585 — 1662), первый виконт Сэй и Сил, и Роберт Гревилъ (1608 — 1643), второй барон Брук. Первый из них участвовал в организации кампании по колонизации Провиденс-Айленд, в 1633 году купил плантацию в Нью-Гэмпшире, в 1634 году получил патент на владение землями на реке Коннектикут (именно он назван в тексте «дарственной»), сам, однако, в Новой Англии никогда не бывал, хотя в 1639 году предлагал ввести льготы для аристократов, переселяющихся в Америку (это предложение было отклонено правительством колонии Массачусетс); второй был одним из руководителей кампании по колонизации Провиденс-Айленд и Генриетта-Айленд.

24

... до берегов Южного океана. — Южным океаном нередко в старину называли Тихий океан (для первых европейцев, пересекших Панамский перешеек и достигших Тихого океана, он и в самом деле был Южным, так как лежал к югу от побережья Центральной Америки).

25

... до самой Реставрации... — Имеется в виду возвращение Стюартов на английский трон в 1660 году; тем самым был ликвидирован республиканский строй, провозглашенный во время Английской буржуазной революции.

26

Стюарты — английская и шотландская королевская династия. Английский престол Стюарты занимали в 1603 — 1649 и 1660 — 1714 годах.

27

... времен Эдуардов и Генрихов... — то есть в весьма отдаленные времена; Эдуард и Генрих — распространенные имена средневековых английских королей.

28

Мелкого дворянства (фр.).

29

Довольный, согласный (англ.).

30

Коннектикут — река в Новой Англии, на северо-востоке США. Начинается близ американо-канадской границы и впадает в пролив Лонг-Айленд.

31

В недавно основанном городе Бостоне... — Город Бостон был основан в 1630 году.

32

Проход среди мелей Нантакета... — Здесь речь идет о проливе Нантакет, отделяющем одноименный остров от материка (полуостров Кейп-Код).

33

... о свержении одного короля... — Речь идет о казненном в 1649 году во время Английской буржуазной революции короле Карле I Стюарте.

34

... о междуцарствии... — Так английские историки-монархисты называют период республиканского правления после победы Революции в 1649 — 1660 годах.

35

... о восстановлении на престоле сына того, кого... прозвали мучеником. — Имеется в виду вступление на престол Карла II, казненный отец которого был вскоре объявлен мучеником.

36

... говорили о Протекторе... — Протектор (точнее Лорд-Протектор) — официальный титул вождя английской буржуазии Оливера Кромвеля, диктаторски правившего страной после победы Революции, с 1653 по 1658 г.

37

Плантагенеты — династия английских королей, правившая в 1154 — 1399 годах.

38

Перев. Б. Пастернака.

39

Апроши — узкие зигзагообразные траншеи, создававшиеся в целях безопасного приближения атакующих к крепостным укреплениям.

40

Фут — традиционная англо-американская мера длины, равная 30, 48 см.

41

Акр — англо-американская мера площади, равная 0, 4 га.

42

... в память о первой птице, увиденной эмигрантами... — Характерная ошибка Купера-романиста. Виштонвишем — в подражание издаваемому животным крику — индейцы называли луговую собачку, животное, родственное суркам. Птица же, которую имел в виду писатель, прозывалась индейцами виппувилл, что являлось точным подражанием издаваемому ею крику, а птица — подвид козодоя (Antrostromus vociferus), распространенный в США и Канаде. Такую же ошибку Дж. Ф. Купер допустил в романе «Последний из могикан».

43

... тот, кто сидит ныне на троне Англии... — В описываемое в романе время английским королем был Карл II.

44

Помазанник Божий — то есть король, власть которого считалась установленной Богом.

45

Уинтроп. — Речь идет о Джоне Уинтропе Младшем (1606 — 1676), американском колониальном администраторе, сыне основателя колонии Массачусетс Джона Уинтропа Старшего. В 1657 году он был избран губернатором Коннектикута, а два года спустя переизбран на пожизненное губернаторство. В 1662 году получил от Карла II хартию для Коннектикута, узаконившую пуританские институты, возникшие здесь.

46

... и его малодушного отца. — Отцом Карла I был Яков I Стюарт (годы правления 1603 — 1625).

47

… Иисус… боролся с язычниками, таинством продлив день. — Речь идет об Иисусе Навине, преемнике Моисея в качестве вождя израильтян при завоевании земель в Ханаане, главном действующем лице названной его именем отдельной книги Библии. По библейскому преданию, Иисус Навин, остановив солнце, помог израильтянам победить хананеян: «Иисус возвал к Господу… и сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим… И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь… слышал бы глас человеческий. Ибо Господь сражался за Израиля» (Ис. Нав. 10: 12 — 14).

48

Анахорет — отшельник (греч.). В современном языке употребляется по отношению к людям, ведущим уединенный образ жизни.

49

... его помазанного господина. — Имеется в виду английский король.

50

Королевская хартия. — Речь идет либо о хартии для Коннектикута, данной королем Карлом II в 1662 году Джону Уинтропу Младшему (см. примеч. 3 к гл. III), либо о хартии, данной королем в следующем, 1663 году для объединенной колонии в составе Коннектикута и Род-Айленда. (Вместо слова «хартия» можно с тем же основанием употребить слова «устав», «привилегия», «грамота».)

51

... своего отца-мученика — то есть казненного в 1649 году короля Карла I.

52

Скиния — переносное святилище в виде шатра, которое Моисей велел сделать во время сорокалетнего странствия своего народа по пустыне в качестве помещения для богослужений.

53

... неблагоразумная жена Лота... — Лот — библейский персонаж, племянник Авраама, праведник, живший в грешном городе Содоме. Когда Бог решил наказать Содом, то Лота он пощадил и вывел его из обреченного города вместе с женой и двумя дочерьми, наказав при этом не оглядываться. Жена Лота нарушила этот запрет, оглянулась и... превратилась в соляной столп (Быт. 19).

54

Мастер — здесь: господин; хозяин (при обращении).

55

... перед самим Советом. — Речь идет о Совете Новой Англии, высшем органе исполнительной власти английских колоний в Америке.

56

Такой реплики в «Зимней сказке» Шекспира нет. (Примеч. перев.)

57

... чем Вера. — Английское имя Фейс (Faith) имеет значения «вера», «доверие».

58

В оригинале обыгрываются разные смысловые значения английского слова quarter. (Примеч. перев.)

59

В оригинале здесь игра слов: «tire» — «уставать» и «одежда». (Примеч.rupee.)

60

Лига — английская мера длины, равная трем английским милям (4, 828 км).

61

Перев. С. Маршака и М. Морозова.

62

Верхние Альпы — департамент на юго-востоке Франции. На его территории расположен, в частности, покрытый вечными снегами горный массив Пелье с вершинами, превышающими 4 км.

63

Самсон — ветхозаветный герой, наделенный невиданной физической силой (Суд. 13 — 16). Купер имеет в виду эпизод, когда Самсон обрушивает на филистимлян крышу, сдвинув два поддерживающих ее столба.

64

Перев. М. Лозинского.

65

Коттон Мезер. — Ошибка автора. На самом деле речь идет о двух церковных деятелях. Джон Коттон (1584 — 1652) — пуританский священник, идеолог вероучения и активный политический деятель. Он написал свыше четырехсот книг и статей по различным вопросам пуританской догматики. Ричард Мезер (1596 — 1669) — пуританский священник и религиозный автор; был одним из главных теоретиков церковной политики пуритан в Новом Свете. Написал множество церковных книг, в частности, был одним из редакторов «Книги псалмов» (1640), тексты которой наилучшим образом подходили к хоровому пению в пуританском богослужении.

66

Королевское общество — полное название: Лондонское королевское общество содействия успехам естествознания; старейшее научное общество Великобритании, одно из старейших в Европе. Основано в 1660 году. Его членами были многие известнейшие ученые.

67

Кибл — в истории английской юриспруденции XVII века известны два выдающихся адвоката из этой семьи: Ричард Кибл (точные даты жизни неизвестны), занимавший ряд крупных должностей в судебных учреждениях высокого ранга, и его сын Джозеф Кибл (1632 — 1710), барристер (то есть адвокат, получивший доступ к разбирательству дел высшей сложности) известной лондонской адвокатской коллегии Грейз-Инн, прославившийся также как читаемый автор популярных судейских репортажей. Пожалуй, именно Джозефа Кибла автор и имеет в виду.

68

Тсуга — общее название группы из 14 вечнозеленых деревьев рода Tsuga семейства сосновых. Здесь речь идет о тсуге канадской (Tsuga canadensis), которая характеризуется пирамидальной кроной и достигает обычно 25 м в высоту при диаметре ствола до 90 см. Изредка попадаются и более крупные экземпляры.

69

. ... качество, отраженное в ее имени... — См. примеч. 1 к гл. VII.

70

Гремучее золото (лат.).

71

Цитата (не совсем точная) из трагедии Шекспира. Перев. М. Лозинского. (Примеч. перев.)

72

Азазелъ — так называется в иудейской религии демоническое существо; в «Книге Еноха» (II в. до н. э.) изображен как падший ангел, совратитель человечества, научивший мужчин войне, а женщин блудным искусствам раскрашивания лица и вытравливания плода.

73

Перев. М. Лозинского.

74

Полуфатом — половина фатома, то есть морской сажени (равной 1, 83 м); то же, что ярд.

75

Перев. Б. Пастернака.

76

Воспитанница (фр.).

77

Йенгизы. — В оксфордском словаре английского языка объясняется, что слово Yangees (или Yankees), которым коренные жители Новой Англии обозначали первых белых поселенцев, произошло от искажения в индейском произношении английского слова English (во множественном числе — «англичане»).

78

Скво — женщина (орбщеиндейск.).

79

Манхэтты. — Имеются в виду индейцы из алгонкинской группы племени канарси, населявшей остров Манхэттен в те времена, когда к его берегам пристали первые европейцы. По ним остров и получил свое название. Индейцы жили на острове в устье Гудзона до 1626 года, когда их вожди продали свои владения голландской Вест-Индской компании.

80

Перев. П. Мелковой.

81

Перев. Ю. Корнеева.

82

Перев. Ю. Корнеева.

83

Молох — раньше, на основе библейских рассказов, так называли божество, которое почитали в Палестине, Финикии и Карфагене и приносили ему человеческие жертвы. В наше время было доказано, что слово молох (молк) обозначает сам ритуал человеческих жертвоприношений.

84

Велиал (Велиар) — в иудейской и христианской религиях так называлось демоническое существо, дух небытия, лжи и разрушения.

85

Shanty (или Shantee) — слово, весьма употребительное в новых поселениях. В узком смысле означает грубую лачугу из луба и хвороста, какие часто сооружают в лесу для временного пользования. Но жители пограничной полосы часто умело превращают их в свои жилища. Единственное объяснение происхождения этого американского слова, которое писатель слышал, предполагает, что это сокращение слова Chiente — термин, бытующий, как говорят, среди канадцев для обозначения собачьей конуры.

86

Сумах — род древесных растений семейства анакардиевых.

87

... Виш-Тон-Виш, или американского козодоя. — См. примеч. 4 к гл. II.

88

Гамстеды — небольшие участки земли, которые предоставляли в собственность белым поселенцам в Новой Англии.

89

Перев. Т. Щепкиной-Куперник.

90

Вампум — ожерелье, пояс или другое украшение из раковин и бус. Нередко индейцы использовали вампумы в качестве своеобразных писем, пересылая с их помощью несложные сообщения.

91

Хартфордское поселение — ныне город Хартфорд в низовьях реки Коннектикут.

92

Перев. В. Левика.

93

Новые Нидерланды. — В начале 20-х годов XVII века голландцы («Датч-Уэст Индиа компани») основали три маленьких поселения в устьях рек Гудзон и Делавэр: Форт-Амстердам (на месте нынешнего Нью-Йорка), Форт-Оранье и Форт-Нассау, которые вскоре объединились в колонию Новые Нидерланды с центром в Форт-Амстердаме. Население колонии составляли переселенцы из различных европейских стран. Колонисты вели постоянные войны с окрестными индейцами. Особенно тяжелой была война 1643 года. В 1664 году колония была завоевана англичанами. Упоминаемые автором «Пять народов» — одно из названий союза ирокезских племен.

94

Перев. Ю. Корнеева.

95

Кугуар — в XVTII — XIX веках считался самостоятельным представителем семейства кошачьих, однако в настоящее время преобладает мнение, что эта встречавшаяся на юго-востоке Канады и северо-востоке США и истребленная в первой половине прошлого века кошка просто являлась редкой разновидностью пумы. Однако упоминание о «полосатости» излишне. Кугуары были ровного рыжего или красновато-рыжего окраса.

96

Текумсе (или Текумса; 1768? — 1813) — вождь индейцев племени шони (шауни), пытавшийся создать федерацию индейцев Среднего Запада, но потерпевший в этом начинании неудачу. Популярность среди соседних племен ему принесли красноречие и поразительный самоконтроль. Широкую известность Текумсе получил только в 1805 году, когда брат его, «Пророк», начал свои проповеди. В 1808 году братья переселились на Типпеканс-Ривер (в современном штате Индиана), где вскоре возник «Город Пророка», откуда Текумсе стал руководить сопротивлением американским войскам. Позднее братья перебрались к британцам, в Верхнюю Канаду. Текумсе пытался поднять на борьбу с американцами племена, проживавшие к югу от Великих озер, но силы индейцев были разбиты отрядом генерала Уильяма Харрисона в сражении при Тигшекано 7 ноября 1811 года. Тогда Текумсе перешел на сторону британцев. В 1812 году, после начала американобританской войны, он был произведен в чин бригадного генерала и старался привлечь как можно больше индейцев в британскую армию. Текумсе погиб в известной битве на Темзе (Верхняя Канада) 5 октября 1813 года.

97

Кровавое нападение Петтиквамскота... — Речь идет об одном из дерзких рейдов индейцев по приграничным городам и селениям Массачусетса и РодАйленда летом 1676 года.

98

Ханаан — в добиблейские и библейские времена так называлась область Сирии и Палестины, охватывавшая побережье Средиземного моря и прилегающие к нему земли западнее реки Иордан. Названа по мифическому прародителю жителей этой области.

99

... жил в обреченных городах Ханаана... — Бог Яхве обещал землю Ханаан избранному народу, израильтянам, и они ее завоевали. О покорении Ханаана израильтянами рассказано в библейской книге Иисуса Навина. Здесь же говорится о разрушении непокорившихся израильтянам городов Иерихона, Гая, Гаваона и др.

100

Мушкет — название, употреблявшееся в ряде европейских армий для кремневых ружей. Настоящие мушкеты, то есть ручное огнестрельное оружие с фитильным замком, были сняты с вооружения в конце XVII — начале XVIII века.

101

... торжественным законом, данным на Горе? — Речь идет о Десяти заповедях, полученных, по библейскому учению, пророком Моисеем от Бога на вершине Синайской горы.

102

… в руки мадианитян… — Мадианитяне (по имени их мифического родоначальника Мадиана, сына Авраама и Хетгуры) были союзом кочевых племен, обитавших в пустыне, расположенной западнее залива Акаба.

103

Йомен — здесь: фермер средней руки, мелкий землевладелец.

104

Кулеврина — здесь: длинноствольное артиллерийское орудие (различного калибра), бывшее на вооружении европейских армий в XV — XVII веках.

105

Перев. Т. Гнедич.

106

Перев. Ю. Корнеева.

107

... со статуей пифийского Аполлона... — Неточность автора. Видимо, надо было сказать об Аполлоне Дельфийском. В античных Дельфах, располагавшихся на склонах горы Парнас, был главный центр культа этого древнегреческого бога. Пифиями называли жриц Дельфийского храма, провозглашавших от имени Аполлона предсказания и пророчества.

108

Вакх — одно из имен греческого бога виноделия и пробуждения природы Диониса.

109

Маниту — в исконном индейском понимании: сверхъестественные силы или существа, выполнявшие роль личного духа-покровителя. Согласно верованиям индейцев, в маниту воплощались неизвестные силы и свойства действительности; одновременно маниту понимались как магическая власть, невидимая сила или причина, которой могут обладать люди, животные и отдельные предметы неживой природы. В куперовских романах часто просматривается иная трактовка этого понятия (в подобных случаях слово Маниту всегда пишется с большой буквы): согласно концепции христианских миссионеров, Маниту, или Великий Дух, является ипостасью библейского Бога.

110

Аполлион — перевод еврейского имени Абаддон («уничтожение, разорение»), относимого к личности разрушителя.

111

Сивилла — прорицательница у древних греков, римлян, евреев и некоторых других народов.

112

Оракул — здесь: жрец, дающий ответы, прорицания, якобы исходящие от божества.

113

Перев. Т. Щепкиной-Куперник.

114

Цезарь Гай Юлий (100 — 44 до н. э.) — выдающийся древнеримский полководец и государственный деятель.

115

... занятое одним из тех, кто посвятил свою жизнь затворничеству и алтарю. — Святой Маврикий (фр. Морис) был римским военачальником, перешедшим в христианство; за этот поступок был подвергнут вместе с соратниками мучениям и казнен в городе Агаунум, в нынешнем швейцарском кантоне Вале. После канонизации мученика город был переименован в его честь. Здесь в IV веке основано аббатство, неоднократно разрушавшееся иноземными захватчиками и снова восстанавливавшееся. Аббатство знаменито своей богатой церковной библиотекой.

116

Перев. П. Мелковой.

117

Прекрасный идеал (фр.).

118

Перев. Ю. Корнеева.

119

... переход избранного им народа через воды Чермного моря. — Имеется в виду известный библейский рассказ о переходе ведомых Моисеем евреев через залив Красного моря после исхода их из Египта (Исх. 13: 17; 14: 31).

120

Гоморра — согласно Библии, погрязший в страшном разврате город, уничтоженный за грехи его жителей гневом бога Яхве (Быт. 19: 24 — 25; Втор. 29:23).

121

Перев. Т. Щепкиной-Куперник.

122

Сагамор — индейский вождь, то же, что сахем. Слово заимствовано из языка алгонкиноязычных индейцев.

123

Перев. Т. Щепкиной-Куперник.

124

Тофет — культовое место в Енномской долине (к югу от Старого города в Иерусалиме), где — согласно Библии — приносили в жертву Молоху младенцев. Форма и внешний вид Тофета неизвестны. Само слово Тофет истолковывают как «очаг», «огненное место». В средневековой Европе понятие Тофет было синонимом ада.

125

Перев. Т. Щепкиной-Куперник.

126

Пекан — род деревьев семейства ореховых; то же, что гикори.

127

... к осуждению КарлаI к смерти на эшафоте. — См. примеч. 9 к гл. I.

128

... родившегося в другом государстве... — то есть в Великобритании.

129

DavisRichardBeak. Introduction to «The Wept of Wish-Ton-Wish» by James Fenimore Cooper. Charles E. Merrill Publishing Company. Columbus, Ohio, 1970. P. VI.

130

Ibid.

131

Dockstader,FrederickJ. Great North American Indians. Profiles in Life and Leadership. N. Y. a. o. Van Nosrtand Reinhold Company, 1977. P. 175.

132

Davis Richard Beak. Introduction to «The Wept of Wish-Ton-Wish» by James Fenimore Cooper. Charles E. Merrill Publishing Company. P. XII.

133

Использован текст, опубликованный в сборнике «Подлинные повествования из ранней истории Америки. Повествования об индейских войнах 1675 — 1699 гг. », том XIV, изд. Ч. -Г. Линкольн (Нью-Йорк, Барнс энд Ноубл, 1952); права принадлежат Чарлзу Скрибнерсу, 1913. Полное название «Повествования» Мэри Роуландсон: «Могущество и милосердие Господа в исполнении Его предначертаний. Повествование о пленении и избавлении миссис Мэри Роуландсон, рассказанное ею для тех, кто хотел бы узнать о проявленном к ней милосердии Господнем. Для ее дорогих детей и родст-венников. Издание второе, выверенное и исправленное. Написано ею собственноручно для себя и ныне опубликовано в ответ на настойчивые просьбы друзей, а также тех, кто пострадал подобно ей». «Видите ныне, что это Я, Я — и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю; и никто не избавит от руки Моей» (Втор. 32: 39).

134

10 февраля 1676 г. по современному григорианскому календарю, среда.

135

Ланкастер, Массачусетс, был пограничным поселением в 30-ти милях к западу от Бостона; население около 50 семей.

136

2 Kop. 12: 9.

137

Пс. 45:9.

138

Иов. 1: 16.

139

Возможно, Бостон или Массачусетский залив.

140

Молящиеся индейцы — чаще всего так называют индейцев Северной Америки, которые приняли христианство и жили в селениях на востоке Массачусетса. Во время войн Короля Филипа молящиеся индейцы оказались между двух огней и были практически уничтожены как другими индейцами, считавшими их предателями, так и англичанами, которые ненавидели индейцев вообще и полагали, что молящиеся индейцы являются агентами Короля Филипа.

141

30 августа 1675 года капитан Сэмюэл Мосли, подстрекаемый группой людей, с недоверием относившихся к индейцам, обращенным в христианство, силой доставил в Бостон пятнадцать крещеных индейцев (молящихся индейцев), которые жили на своей земле в Марлборо, Массачусетс, и обвинил их в нападении на Ланкастер, совершенном 22 августа.

142

В направлении к Принстону, Массачусетс, около Маунт-Вачусетт.

143

12 — 27 февраля они находились в индейском селении на Уэйр-Ривер, около Нью-Брэйнтри.

144

Viz. -videlicet (лат.) — а именно.

145

Пс. 24: 19-20.

146

Капитан Бирс 4 сентября 1675 года пытался спасти гарнизон в Нортфилде, Массачусетс.

147

Пс. 37: 6-7.

148

«Слышал я много такого; жалкие утешители все вы» (Иов. 16: 2).

149

Кванопин был мужем Ветамо. Миссис Роуландсон стала ее служанкой. Сагамор — подчиненный вождь у индейцев-алгонкинов.

150

Быт. 42: 36, Плач Иакова.

151

Нападение на Медфилд произошло 21 февраля.

152

В этой главе Второзакония говорится о благословении Господнем за послушание и проклятиях, обрушивающихся на непокорных.

153

«Тогда Господь, Бог твой, возвратит пленных твоих, и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь, Бог твой» (Втор. 30: 3).

154

Ver.ult. — последняя строка (стих).

155

Пс. 26: 14.

156

С 28 февраля по 3 марта индейцы стояли лагерем между Уэйр-Ривер и Миллерс-Ривер, в настоящее время Петерсхем, Массачусетс.

157

Иер. 31: 16.

158

С 3 по 5 марта индейцы переправились через Бэкаг-Ривер (Миллерс-Ривер) в Оранж, Массачусетс. Английская армия, о которой говорит миссис Роуландсон, была представлена войсками Массачусетса и Коннектикута под командованием капитана Томаса Сэвиджа.

159

Царь Израиля (около 843 — 816 до н. э.), прославившийся быстрой ездой.

160

Ис. 43: 2.

161

Пс. 80: 14-15.

162

Понедельник, 6 марта; переход закончился около Нортфилда, Массачусетс.

163

Жена Лота, покидая город зла Содом, оглянулась, вопреки запрету, и была превращена в соляной столп (Быт. 19: 26).

164

К Сквокегу, около Бирс-Плэйн, в Нортфилд, Массачусетс.

165

«Сьггая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко» (Притч.27:7).

166

К Коуссету, в Южном Верноне, Вермонт.

167

Иов. 1:21.

168

Пс. 117: 17-18.

169

Очевидно, миссис Роуландсон имеет в виду псалом 144: «Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем» (Пс. 144: 4).

170

Пс. 136: 1.

171

Sannup — муж (алгонк.).

172

К долине Эшуэлот, Нью-Гемпшир.

173

Пс. 54: 23.

174

К другому месту, находящемуся в долине Эшуэлот.

175

Апрель 1676 года; около Честерфилда, Нью-Гемпшир. Это самая северная точка, где оказалась миссис Роуландсон.

176

Пс. 118: 75.

177

Воскресенье, 9 апреля.

178

Nux — да (алгонк.).

179

Пс. 45: 11.

180

В направлении к Хинсдэйл, Нью-Гемпшир, около р. Коннектикут.

181

Иов. 19: 21.

182

Суд. 16: 20.

183

Ис. 55: 8.

184

То есть сходны с сатаной.

185

2 Фес. 3: 2.

186

2 Цар. 24: 14.

187

Ис. 54: 7.

188

Ис. 38: 14.

189

Ис. 38: 3.

190

Пс. 50: 6.

191

Лк. 18: 13.

192

Лк. 15: 16.

193

Лк. 15: 21.

194

Ис. 54: 7.

195

Переходы с 14 по 19 (с 20 апреля по 28 апреля) — повторение пути, проделанного ранее. Города «залива» — города около Бостона.

196

Мих. 6: 14.

197

Ам. 3: 6.

198

Мих. 6: 8-9.

199

Ис. 43: 2.

200

Так М. Роуландсон называет колониальные власти. (Примеч. перев.)

201

Пс. 105: 46.

202

Индейцы, принявшие христианство.

203

В подражание колониальной ассамблее Массачусетса.

204

4 Цар. 6: 25. Сиклъ — серебряная (реже золотая) монета у древних евреев. Каб — мера сыпучих и жидких тел, равная приблизительно двум квартам.

205

Нападение на Садбери, Массачусетс, произошло 18 апреля.

206

Nay-bay (алгонк.) — совещание или праздник (у индейцев Северной Америки).

207

28 апреля — 2 мая; к лагерю в южной части озера Вачусит, Принстон, Массачусетс.

208

Джон Хоур был из Конкорда, Массачусетс. Мистер Роуландсон попросил Джона Хоура представлять его на Совете сагаморов и установить сумму выкупа за миссис Роуландсон.

209

Пророк Даниил был брошен в ров с голодными львами, но они не тронули его (Дан. 6: 1-28).

210

Вампум — бусы из отполированных раковин, которые использовались индейцами как деньги.

211

Кёрзи — грубая ткань, сотканная из длинной шерсти (обычно рубчатая).

212

Индеец, который помогал миссионеру Джону Элиоту в печатании Библии.

213

Индеец, помогавший раньше миссис Роуландсон во время ее странствий.

214

Ам. 3: 6.

215

Ам. 6: 6-7.

216

Пс. 80: 14-15.

217

Агаг — царь Амалика. Он был побежден, но не убит Саулом и считал, что спасся, однако его убил Самуил (1 Цар. 15: 32).

218

Седрах, Мисах и Авденаго отказались поклоняться языческому божеству и были брошены в огненную печь, но были спасены ангелом (Дан. 3: 13 — 20).

219

Пс. 105: 1.

220

Иер. 31: 16.

221

Втор. 30: 4, 7.

222

Εκκ. 10: 19.

223

Притч. 18: 24.

224

«Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы» (Пс. 80: 17).

225

«И приведите откормленного теленка и заколите: станем есть и веселиться» (Лк. 15: 23).

226

Пс. 6: 7.

227

Евр. 12: 6.

228

Пс. 118: 71.

229

Исх. 14: 13.

230

Текст публикуется по изд. : IrvingWashington. The Sketch book of Geoffrey Crayon, Gent. London; New York: J. M. Dent & Sons Ltd. , 1906.

231

Из бронзы монумент... — Эпиграф взят Ирвингом из поэмы Томаса Кэмпбелла «Гертруда из Вайоминга» (1809), часть I, строфа 23. Ирвинг приводит эту строфу в несколько измененном виде.

232

... с томом истории, посвященным первым колониям... — Источниками очерка Ирвинга послужил ряд пуританских сочинений XVII века, в частности, «Краткая история войны с индейцами Новой Англии» (1676) преподобного Инкриса Мэзера.

233

Занимаясь правкой печатного варианта настоящей статьи, автор узнал о том, что известный английский поэт почти завершил героическую поэму, посвященную Филипу из Поканокета.

234

Ныне Бристоль, Род-Айленд.

235

История преп. Инкриса Мэзера.

236

... в краях нипмуков... — Нипмуки (от нипамог, «рыбное место у чистых вод») — племя алгонкинской семьи, проживавшее в глубине Массачусетса и отчасти в Коннектикуте и Род-Айленде. В ходе войны с Королем Филипом нипмуки, выступая под началом собственных вождей, стали его верными союзниками.

237

... влияние пророка... подтвердилось в ходе недавних войн с дикарями. — Речь здесь идет о войне 1812 года между США с Англией и ее аборигенными союзниками, которых возглавили два брата из племени шауни Текумсе и Тенскватава. Последнего больше знали под именем Пророка, обладавшего сверхъестественными способностями и потому очень популярного среди союзных индейских племен. Оба брата, подобно Филипу, также составили план общего восстания индейцев разных племен против белых завоевателей.

238

Ложементы — старое название небольших окопов или укрытий для пехоты.

239

... после длительной и кровавой битвы... — Имеется в виду так называемая Битва при Большой Топи (1675), в которой, по некоторым источникам, индейцы потеряли до шестисот человек, а колонисты — около пятидесяти.

240

Рукописи преподобного У. Рагглса.

241

... Ветамо, индейской принцессы Покассета... — Ветамо (ок. 1650 — 1676) известна как правительница покассетов, небольшого рода вампаноа. Она была женой Александера (Вамсутты), брата Филипа, и сестрой его жены Вутонакоске. Сочтя, что муж был отравлен, она возненавидела поселенцев и стала верной союзницей Филипа, помогая воинами и провиантом. Считается, что она была способной правительницей, как и военачальницей, выделяясь также и своей внешностью. Женщины-вожди не были редкостью среди индейцев Востока в период войны с Королем Филипом.

242

Эйпс Уильям (1798 — ?) — миссионер. Индеец из племени пикводов, потомок вождя вампаноа Короля Филипа (Метакома). В 1829 году принял христианство. Стойкий защитник прав индейцев и один из первых индейских историков. В 1829 году им написана автобиография «Сын леса». В числе других сочинений Эйпса особое место занимает памфлет «Апология Короля Филипа», насыщенный гневными нападками на религиозную нетерпимость и фанатизм пилигримов. После публичного чтения «Апологии» в Бостоне в 1836 году следы Эйпса теряются.

243

Филипп Греческий (ок. 382 — 336 до н. э.) — Филипп II, царь Македонии с 359 года до н. э. Отец Александра Македонского; завершил объединение Македонии и к 338 году до н. э. установил гегемонию над Грецией.

244

Хогсхед — английская мера объема, равная 238 литрам.

245

Скванто (англизированное Тисквантум, ок. 1580 — 1622) — индеец-вампаноа, дружественный к английским колонистам, был захвачен в плен и увезен в Испанию, откуда бежал в Англию и затем вернулся на родину. Скванто служил неоднократно переводчиком для колонистов, познакомил их с местами рыбной ловли и охоты, снабжал провизией в голодные зимы, отчего его имя стало символом «хорошего индейца», в отличие от «плохого» — Короля Филипа. Самосет (ок. 1590 — ок. 1653) — вождь Пемаквида, исконный владелец земель в округе г. Бристоля, Массачусетс. Вскоре после вы-садки пилигримов в 1620 году он приветствовал их, по преданию, словами: «Добро пожаловать, Инглиш», поскольку, очевидно, уже имел контакты с англоязычными рыбаками на побережье. Самосет познакомил пуритан с вождем Массасойтом, с которым был дружен. По некоторым источникам, он же совершил первую уступку земель пуританам Новой Англии.

246

Стэндиш Майлз (1584 — 1656) — колонист, американский военачальник, известен кровавой расправой над индейцами, собравшимися для торга у поселения Уэссагассет.

247

Массасойт (1580 — 1661) — вождь индейцев вампаноа. Один из наиболее могущественных правителей в Новой Англии. В 1621 году он подписал в Плимуте договор с пилигримами и строго придерживался его до конца жизни. Сын его Метаком стал известен под именем Короля Филипа.

248

Александер (или Вамсутте) — один из сыновей Массасойта, получил христианское имя и вместе с братом Филипом был послан для получения образования в Плимут, но умер, ненадолго пережив своего отца.

249

Мэзер Инкрис (1630 — 1723) — американский пуританский священник. В числе его произведений «История войны с индейцами» (1676), написанная сразу после войны Короля Филипа.

250

Лк. 6:31.

251

Иов. 3: 4.

252

... 22 декабря 1622 года. — День высадки пилигримов в Плимутском заливе отмечается в США 22 декабря как национальный праздник — «День праотцев», или «День отцов пилигримов».

253

«Плимутский камень» — один из памятников города Плимут (С ША) Согласно легенде, на этот большой валун ступали пилигримы, высаживаясь из «Мейфлауэра».

254

4 июля — национальный праздник США — День независимости.

255

Хананиты (ханаане) — первые жители земли Ханаанской, поселившиеся там до израильтян.

256

Осамекван (Осмекин, Осамекун) — второе индейское имя Массасойта.

257

Уильяме Роджер — американский священник, известный богослов, друг и защитник прав индейцев.

258

Wampum-peag, или Wam-pum — цилиндрические бусы, изготовленные из раковин, проткнутых и нанизанных на шнурок. Использовались индейцами Северной Америки в качестве денег или украшений.

259

Очевидно, автор имеет в виду пожар Москвы в 1812 году и говорит дальше об армии Наполеона.

260

Смотри «Повествование о пленении и избавлении миссис Мэри Роуландсон».

261

Жену и сына Короля Филипа пилигримы продали в рабство на один из островов Вест-Индии.

262

Маршпи (машпи; от индейск. массапи) — жители резервации для христианизированных индейцев алгонкинов на Кейп-Коде; численность их в течение XIX века варьировалась от 300 до 400 человек; постепенно сильно подверглись метисации.

263

Лк. 23: 34: «Иисус же говорил: „Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят“».

264

Деян.

265

Исайя — один из ветхозаветных пророков.

266

«Отче наш, сущий на небесах! да светится имя Твое... (Мф. 6: 9 — 13).